ВСЕВОЛОД

ИВАНОВ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

ВСЕВОЛОД

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

●

Издание осуществляется под редакцией
Т. В. Ивановой
А. И. Пузикова
С. В. Сартанова

●

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

ИВАНОВ

ТОМ ВОСЬМОЙ

●

ХМЕЛЬ, ИЛИ НАВСТРЕЧУ ОСЕННИМ ПТИЦАМ

●

СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

●

ВОСПОМИНАНИЯ

●

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАМЕТОК РАЗНЫХ ЛЕТ

●

ПИСЬМА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1978

Р2
И20

Составление
Т. В. ИВАНОВОЙ

Подготовка текста
Л. ГЛАДКОВСКОЙ и М. СОТСКОВОЙ

Комментарии
Л. ГЛАДКОВСКОЙ

Оформление художника
Л. ЧЕРНЫШЕВА

И $\frac{70302\text{-}398}{028(01)\text{-}78}$ подписное

АВТОБИОГРАФИИ

I

Рожден в поселке Лебяжьем, Семипалатинской области. Отец — Вячеслав Алексеевич — был из приисковых рабочих, самоучкой сдал на учителя сельской школы. Но учил, особенно меня, мало, все больше по монастырям и по бабам ходил. От водки сошел с ума, немного оправился, не видал я его семь лет, в 1919 году приехал повидать, а на третий день брат мой Палладий нечаянно его застрелил из дробовика (сам Палладий через год умер). Мать, Ирина Семеновна, казачка, и сейчас живет в поселке, через дядю пишет — неграмотна — «приезжай, приготовила пуд масла и насушила боярки»...

Знаю: в поселке спеет боярышник, стерляди идут густо и над солонцами, как спелые ягоды, утки. А я сижу в Петербурге и пишу романы.

Учился в сельской школе и — полгода — в сельскохозяйственной. С четырнадцати лет начал шляться. Был пять лет типографским наборщиком, матросом, клоуном и факиром — «дервиш Бен-Али-Бей» (глотал шпаги, прокалывался булавками, прыгал через ножи и факелы, фокусы показывал); ходил по Томску с шарманкой; актерствовал в ярмарочных балаганах, куплетистом в цирках, даже борцом.

С 1917 года участвовал в революции. После взятия чехами Омска (был я тогда в Красной гвардии), когда одношапочников моих перестреляли и перевешали, — бежал я в Голодную Степь и, после смерти отца (казаки думали: я его убил — отец был царелюб, хотели меня усамосудить), дальше за Семипалатинск к Монголии.

Ловили меня изрядно, потому что приходилось мне участвовать в коммунистических заговорах. Так от Урала до Читы всю колчаковщину и скитался, а когда удалось мобилизовать, то прикомандировали меня, как наборщика, к передвижной типографии Штаверха. Паспорт у меня был фальшивый: «Евгений Тарасов».

Дальше два случая:

Когда поезд окружили партизаны, комендант поезда прапорщик Малиновский сказал мне:

— Давай свою шинелишку, а сам мою бобровую шинель возьми. Я побегу, тут в сторону дорога открыта.

Я отдал. Прапорщик не убежал, и в полуверсте его зарубили. Подошли партизаны (в белых халатах — чтоб на снегу не заметно), старичка генерала какого-то пристрелили у вагонов, мичмана с отмороженным ухом и человек тридцать добровольцев, выданных железнодорожниками.

А когда вечером совсем трупы поубрали, пристыла кровь (кровь на снегу как линялый, изъеденный молью бархат), удумал я прогуляться. Накинул на плечи шинель и вышел. А на снегах — ночь как лед морской. Проезжают мимо поезда верховые двое, мельком оглянулись и дальше. И вдруг — чувствую, лошадиная морда в плечо. Спрашиваю:

— Чего?

Отвечают спокойно и трезво:

— Из-за вас седни товарища Суменина порешили! Становись на коленки, богу молись, я тебя сейчас на тот свет.

И в седле закачался, потом из-под тулупа в каждую руку наган. Оказывается — погоны офицерские я забыл снять. Попробовал сказать, что рабочий, — матерятся. Тогда говорю со злостью:

— Нет, мол, на колени не стану и молиться твоему богу не буду — не верю. Стреляй.

Наклонился он с седла, под шапку мне смотрит — широкобородый, в стельку пьян (по духу чую), страшно:

— Ка-ак ты, такой-сякой, без бога смешь жить?

И пошел у нас тут спор о вере — старовер оказался, кержак-раскольник. Веру я мужицкую знаю крепко. Наганы спрятал, говорит:

— Эвон, огонь видишь: неси туды моим приказаньем мешок муки и бочонок масла.

— У меня нет.

— Казенный на складе иметься?

— За замком, ломать не могу, хоть бы имелось.

— А ты не ломай, ты пленный, законно не имешь прав ломать. А я сломать могу. Покажь.

Три версты тащил я ему из сломанного вагона куль крупчатки и впереди себя катил бочонок масла. А в избе баба с широким — как телега — задом. По скамьям куски ситцев, на полатях барские сундуки, картина какая-то, проткнутая штыком, граммофон гудит. На столе в ведре самогона ковш. Пили мы всю ночь, ширококостая баба пекла блины, и спорили мы о боге и троеперстном кресте.

— Приезжай, — говорил, обнимая меня, Селезнев. — Приезжай ко мне на лето, Сиволот. Больно ты материться можешь и в бога не веруешь, весело, приезжай.

А на другой день увезли нас в Ново-Николаевск. В городе мороз и ветер. Тиф. Трупы валялись у насыпей, и когда я шел к станции железной дороги, видел: собака тащила человечью ногу с выеденной до кости икрой. Из Чека меня направили еще куда-то. Там порылись в бумажках и переспросили:

— Ваша настоящая фамилия Иванов?

— Да, Всеволод Иванов, а по «очкам» — Евгений Тарасов.

Еще подумал некий во френче, написал записочку, в какое передвижное Чека, а там порылись опять и сказали торопливо:

— Раз вы Всеволод Иванов, значит, вы арестованы.

Арестованных и колчаковских пленных тогда было тысяч десять. Поездами привозили с разъездов трупы замерзших — на кого мне теперь сердиться? Оказывается: был еще у Колчака Всеволод Иванов, редактировал в Омске газетку и писал патриотические стишки. В камере помещалось нас семнадцать человек, наутро пришел солдат и сказал:

— Одевайтесь, на улку айда! Барахла можно не брать.

— Куда?

— «На колчаковску ярманку».

Повели нас всех за город. В испуге я забыл надеть шапку, волосы у меня тогда были до плеч, ветер на улице так и вздыбил. Конвойный обернулся:

— Ты пошто без шапки?

Объясняю. Без шапки, говорит, нельзя. Остановил отряд. Утро было уже большое. Служащие шли в учреждения. Взошел конвойный на тротуар и с какого-то буржуя сдернул хорошую меховую шапку:

— Ну, теперь пошли.

Тем временем столпились. Слышу, кричат:

— Товарищ Иванов!

Смотрю: наборщик Николаев, в семнадцатом году вместе на конференции печатников были. Рука на перевязи и на груди красноармейские значки. Комиссар, видимо. Объясняет конвойному, почему меня нельзя расстреливать, ибо я совсем большевик. Солдату, должно быть, надоело слушать, докурил папироску и сказал:

— Наше дело разве судить? А раз тебе его надо — бери.

Николаев вывел меня из толпы под руку, а остальных увели за город.

Через час мне дали временное удостоверение и пропуск из города.

Это, конечно, не все — так как идет с 1917 года одна моя дорога — смертная. И тому, что жив,— радуюсь.

Видел растянувшиеся на сотни сажен мерзлые поленницы трупов. В снегах — разрушенные поезда, эшелоны с замерзшими ранеными. Видел, как партизаны жгли трупы (закапывать не хватало сил), — один ряд трупов, другой ряд бревен из изб, и так на двухэтажную высоту. И от человечьего дыма небо было словно копченое. Тупики, забитые поездами с тифозными, и сам я в тифу, и меня хотят соседи выбросить из вагона (боятся заразиться), а у меня под подушкой револьвер, и я никого не подпускаю к себе (выбросят — замерзнешь, а наш вагон все же кто-то топил). И так в бреду семь суток лежал я с револьвером и кричал:

— Не подходи, убью!

А по бокам дороги в крестьянских хлевах награбленные штуки материй. Ветер, словно камни, и простые, как огонь, смерти. И мохноногие мужики, учившие меня — не знать страха:

— Коли ты в бога не веруешь, дави кулаком на сердце и главно дыши, парень, поглубже, чтоб пропотеть. Раз вспотешь, все можно сделать.

В Татарском уезде, в тайге, был инструктором по внешкольному делу. Там за открытие школы и избы-

читальни в поселке Брусничном подарил мне сход два мамонтовых клыка, найденных в те дни в Урмане.

В Омске был на газете выпускающим и корректором, из Омска помог мне выбраться Алексей Максимович и Г. Устинов — друг вечный. В Петербург прибрел в январе 1921 года, здесь и стал питаться близ Дома ученых и писать, что было давно надумано. В мае попал к «Серапионам» — братом Алеутом.

Пишу я с 1916 года, но мало печатал. Всю революцию не писал, разве статьи (очень глупые). Напечатаны книжка рассказов «Лога», повести: «Цветные ветра»; «Партизаны»; «Бронепоезд 14-69». Печатается книга рассказов «Седьмой берег», в «Красной нови» — роман «Голубые пески» и кончаю роман «Ситцевый зверь».

Приблизительно — все.

1922

II

Родился в поселке Лебяжьем, Семипалатинской области, на краю киргизской степи — у Иртыша. Мать, Ирина Семеновна Савицкая, родом из ссыльнокаторжан польских конфедератов, позднее смешавшихся с киргизами. Отсюда мое инородческое, да и у всех сибирских казаков много монгольского. Отец, Вячеслав Алексеевич, «незаконнорожденный» сын туркестанского генерал-губернатора (фамилию заимствовал, кажется, Кауфман) от экономки Дарьи Бундовой. Отец воспитывался в приюте, оттуда бежал и стал приисковым рабочим. Позднее он самоучкой сдал на сельского учителя,— он знал семь восточных языков, но его судьба неудачна, и случайно — молодого совсем — его убил брат мой Палладий.

Год рождения моего — 1895 или 1896, точно не помню.

Учился в сельской школе, оттуда бежал с цирком. Сначала работал на турниках, а позднее был барьерным клоуном. Кормили меня очень плохо, и цирк мне надоел. Я упросил дядю, подрядчика Петрова, определить меня в сельскохозяйственную школу. Мне нравилась блестящая форма с медными пуговицами и то, что учеников в городе называли «козлами» за озорство. Озорничать мне пришлось недолго, и школу я бросил

через год. Тогда дядя сунул меня сначала в приказчики (мы ездили менять мануфактуру на масло в киргизскую степь), а дальше в типографию. Здесь мне понравилось больше, и, с летними перерывами, я был наборщиком с 1912 по 1918 год.

Летом я ездил с цирками, был «факиром и дервишем» Бен-Али-Бей, шпагоглотателем, клоуном и куплетистом; служил в шантане, в маленьких труппах, или просто бродил пешком не из любопытства, а со скуки.

Читал много, подряд от Дюма до Спенсера и от сонника до Толстого. Книги никогда на меня большого влияния не имели, и читал я их тоже со скуки, так как водки не пил (я видел, как мучилась мать и вся семья от пьянства отца, и 8-ми лет дал зарок не пить и не курить; зарок я нес до 1919 года), женщин я боялся.

Первый рассказ написал осенью 16-го года, и он был напечатан в газете «Приишимье» в г. Петропавловске, Акмолинской области. Я решил, что если меня напечатали в газете, то напечатают и в толстом журнале: следующий рассказ я послал в «Летопись» Горькому. Послал и стал ждать славы. Самый счастливый день в моей жизни был через две недели, когда в грязный, длинный и темный подвал типографии вошел почтальон и подал мне письмо. Вся типография собралась читать письмо Горького. Все после этого письма решили, что я великий человек, и управляющий тоже согласился с этим и выдал нам десять рублей аванса на «вспрыскивание». Друзья мои перепились, а я сидел среди них трезвый — и чувствовал себя пьянее их.

Тогда я в две недели подряд написал двадцать рассказов и некоторые послал Горькому. А он мне написал, что это плохо и надо учиться и читать. Учиться я не умел, но начал, и не писал два года. В эти два года я прочел столь много книг, сколько я не прочту, наверное, во всю дальнейшую жизнь. Только ничего не читал по общественным вопросам, и когда началась революция 17-го года, я не понимал разницы между эсерами и социал-демократами. Я сразу записался в обе партии.

Я просветился быстро, стал секретарем Комитета общественной безопасности — и пошло.

Про литературу я забыл, говорил больше всякие речи, писал статьи и позднее защищал Омск — в Красной гвардии — от наступающих чехов. Мне казалось тогда,

что прерывают человеческое счастье, и стыдно было бежать от них в степь.

А бегать пришлось долго, и всю колчаковщину я жил под мыслью — придут сейчас, узнают и убьют. Советская Россия чудилась мне раем, и из Сибири я не бежал в Советскую Россию не от трусости, а оттого, что никогда не бывал дальше Самары. Тяжело одному идти в незнакомые места.

О жизни своей тогда я написал уже много, и не хочется повторять.

В конце 20-го года в Петербург мне помог перебраться Горький. Здесь вначале я едва не умер с голоду (Горький находился в Москве, и я приехал в пустой для меня город), потом Алексей Максимович кормил меня в Доме ученых. Я тогда был робкий, а он густым басом, как его усы, говорил: «Вы не думайте, вам надо хорошо питаться. Ешьте». Я в хороших людей не верю, — мне кажется, они притворяются из презрения к человеку, — а Горький перепутал многие мои мысли.

Книг я написал много, и думается — будто писателем быть не весело. Обыкновенные люди живут лучше, и радости их проще и обильнее. Впрочем, я многим доволен и когда думаю — на кого пожаловаться и о чем жалеть, — я ничего не могу подобрать.

Москва, 18 февраля 1924

ХМЕЛЬ,
ИЛИ НАВСТРЕЧУ
ОСЕННИМ ПТИЦАМ

Пятилетний внук мой Петя обошел сегодня вокруг полянки, на которую выходит фасад нашей дачи. Вдоль полянки течет неказистая речушка и торчат ольха да береза, прекрасные лишь тогда, когда среди них курится и затухает туман. Но если бы вы слышали, как рассказывал обо всем этом Петя! Он видел три необыкновенных моста, клокочущую реку, громадных рыб в ней, церковь, где «рассказывают сказки» (по-видимому, объяснение взрослых), дремучий лес и самые разнообразные деревья, вплоть до пальм. Мир был огромнейший, веселый, двигающийся, творящий! Глаза у мальчика горели, он весь дрожал от восторга. Прогулка продолжалась час, а рассказывал он три часа и, наверное, рассказывал бы еще, кабы не прибежал второй Петя и не позвал его играть.

«Хмель» — совсем не очерки, претендующие на прямое и точное описывание увиденного. Должно быть, я к этому не способен. «Хмель» — лишь избавление от той приятной тяжести, которую я взвалил на себя, когда отправился в Восточную Сибирь. Впечатления мои могут быть преувеличенными или преуменьшенными; в том и другом случае героям встреч это будет, наверное, неприятно. Вот почему я заменил настоящие имена псевдонимами.

Кроме того, все, что я видел, — за небольшими исключениями, — казалось мне крайне необычайным, фантастичным; все время во мне трепетало ощущение необыкновенной яркости наблюдаемого — как в детстве, как у моего внука Пети. Да простят мои собеседники мою вечернюю службу, идущую, может быть, нестройно. Лемех мой спахан и истерт от долгой работы, ибо пашня была длинна.

Странно все-таки мы устроены! Чем жизнь становится значительней, уснащенней знаниями, величественнее, а значит, интересное, тем больше мы стремимся путешествовать, словно надеясь в далеких краях найти и увидеть истоки того, что нас сегодня так возвышает.

Друзья ждали меня в Чите. Мы избрали для путешествия Онон и Чару. Река Онон течет в южном конце области, Чара пересекает крайний север ее. Онон через Шилку впадает в Амур, Чара через Олекму — в Лену. По Онону мы решили доплыть до Шилки, а по Чаре до Лены. Обе реки не судоходны, пароходства там нет — значит, нам нужно плыть или на лодке, или на плотах.

Читинский аэродром еще не принимает «ТУ-104», поэтому для летящих в Читу существует иркутская пересадка. Накрапывал легкий и мелкий осенний дождичек, и все вокруг — пассажиры, носильщики, багаж, аэропорт, самолеты — выглядело немножко линялым, будто на старинной литографии. Приближалась ночь, залы были наполно набиты людьми; я сдал свой багаж в камеру хранения и безмятежно сел на скамеечку в садике, перед зданием аэропорта.

Дождичек скоро кончился, и распахнулось небо: густо-зеленое в середине и ослепительно алое по краям, будто Байкал весь захлестнулся одной волной и мчится над нами, освещая нас блеском пожарищ, пылающих на его берегах! А глубина зелени все нарастала, а ярь алости все расширялась... И где-то на краю светилось прозрачно-зеленое облачко, и на нем словно подпрыгивало и словно шипело что-то мучнисто-белое, тотчас же напомнившее мне детство и «налистники» — блины, которые мать пекла на капустных листьях. И я вспомнил Иртыш, наш дом, детство, пылающую печь, снега за окнами и мать со сковородником в руке... Уже ради одного этого внезапно всплывшего воспоминания стоило прилететь в Иркутск!

— Притягивает к скамейке, думаю: он ли?

Этот приятно улыбающийся человек в черном — Мординов Николай Егорович, якутский писатель, автор превосходного романа «Весенняя пора». Якутские писатели после пленума писателей Российской Федерации возвращаются из Улан-Удэ к себе на родину.

Алое по краям неба замирает, тем мощнее выступает зелень глубины. И хотя аэропорт освещен сильно, все же зелень неба, если не в силах придавить этот свет, должна пробиться сквозь фонари и положить свой отпечаток на лица моих собеседников. Но в лицах якутских писателей нет никаких оттенков зеленоватости, они пылают тем внутренним светом, название которому я еще не могу подобрать: я слишком долго и внимательно глядел в небо, и во мне еще хранятся его краски. Но я найду, найду. Я ищу.

А тем временем идет разговор и о пленуме, и о нашей предполагаемой поездке по Чаре к Лене и, значит, в Якутию. Плавание, говорят якуты, трудное, много порогов, и вообще по Чаре мало кто ходит, разве охотники. «Вокруг — тайга, притына нет, зато у нас, в Якутии, мы гарантируем вам славное пристанище». Ну, и, разумеется, «как это вы, несмотря на годы...», словно мне сто лет. Да иначе, пожалуй, они и сказать не могут. Сибирь — страна молодежи, и седовласых путешественников вроде меня встретишь тут не так уж часто. В Наминге, возле Чары (простите, что забегаю вперед, но так уж к слову пришлось), на литературном вечере в клубном зале, где сидело человек триста, сед был только я один.

Диспетчер с обидной отчетливостью провозглашает по радио отправление самолета на Якутск. Мы расстались, пообещав друг другу непременно и поскорее встретиться в Якутске.

— Теперь меня к Лене будет тянуть больше, чем когда-либо, — добавил я, и не из любезности, а с полным сердцем.

Якуты ответили:

— Насколько нам известно, Чара тянет хорошо: вы быстро очутитесь на Лене.

Если б я в те минуты подозревал, как умеет «тянуть» Чара!

Прошел к самолету на Воркуту рослейший, молодцеватейший детина в длинном осеннем пальто и шляпе, надвинутой на самые уши, точно он ждал шторма. «Пожалуй, действительно осень», — подумал я, глядя на него. А тут у перил приосанился, подбоченясь этаким фертом, юный железнодорожник в кителе. «Нет, пожалуй, до осени далеко!» Подбежали девушки в одних ситцевых платьицах, даже без платочков.

— Посадка на Братск началась?

— Через полчаса.

Небо между тем перестроилось: тучи заволокли его. Мелькали, правда, звезды, но так мало, что по пальцам пересчитаешь.

И опять пришло в голову: «Что же такое особенное нашел я в лицах якутов? И это же мелькает на лицах девушек в ситцевых платьях. И на лице железнодорожника». И опять не смог подобрать я определения.

Так я и пересыпал свои думы, как пересыпают зерно для освежения из закрома в закром. Впрочем, торопиться мне было некуда. То я представлял якутских писателей спускающимися со ступенек аэропорта, то пожимающими мою руку, то подхватывающими свои чемоданчики, чтоб идти к самолету... Нет определения, да и только! Стружка сыплется, шуршит, а предмета, который выстругиваешь, все нет и нет.

Появился еще знакомый, теперь уже не писатель, а экономист; я разговорился с ним в очереди камеры хранения. Он сделал кислое лицо, услышав, что я еду на Онон и Чару.

— Ну, абсолютно не задетые культурой места и меньше всего типичные для нашей семилетки! Ваше место — Братск. Я тоже оттуда и могу показать вам Братск с такой стороны, что охнете!

Теперь он повел меня познакомиться с молодежью Братска — девушками из самодеятельности, приезжавшими в Иркутск на смотр, теми самыми девушками, на которых я дивовался, что они в одних ситцевых платьях.

Девушки бодры той бодростью, которую дает недавний свет сцены, аплодисменты, похвалы. Они говорят со мной быстро, уверенно и так задушевно, словно знакомы со мной лет десять. И опять я чувствую в их лицах то самое, что чувствовал в лицах якутов и что я не могу объяснить самому себе.

— Онон слышали, а Чара? Что это такое? Река?

— Да у нас же Ангара. Река — всем рекам речища!

— К нам в Братск все писатели едут, а вы — на Чару?

— Меняйте билет. Мы вам такой банкет закатим!

Банкет?! На выдумщицу зашикали: перестрел. Она тут же, впрочем, уразумела, что банкет надо «согласовать», а вот «встречу» можно и обещать.

— Встречу, встречу!

Так мы и договорились о встрече — после Чары, Лены и Якутска — в Братске.

На скамеечке, которую я облюбовал, пожилая женщина в зеленом пальто уже разложила чемоданы, свертки, пакеты. Я хотел было пройти мимо, она указала на оставшееся место.

— Но ведь вам тоже сидеть нужно.

— Ничего, я постою. А кроме того, надо бы в ресторан, закусить, только туда с вещами не пускают.

— Оставьте вещи в камере хранения.

— Камера хранения переполнена. Хочется есть, — добавила она протяжно. — Всего минут десять. Вы — в Читу?

— В Читу.

— И я в Читу.

Так я и остался хранителем вещей женщины в зеленом.

— А вы пианист? — спросила она меня, уходя.

— Вовсе нет.

— Мне почему-то показалось, что пианист. Крайне люблю музыку.

И она сделала такой жест рукой, словно раскуривала трубку.

— Ну, я пошла.

— Пожалуйста.

Я поплотнее уселся на скамейку. Если женщина сказала, что вернется через десять минут, жди через час. Да и как можно насытиться в ресторане за десять минут? И вдруг ей захочется съесть не одно кушанье, а два и еще вдобавок мороженое?

Миновал час, два. Я продрог, и раздражение незаметно распаляло меня. Что за легкомыслие! Уйти на десять минут и не вернуться через два часа! Почему она думает, что я лечу в одном с нею самолете? На Читу идет несколько самолетов, и благо, что мой летит в семь, а то бы, будь мой рейс, я сел бы, бросив ее чемоданы,— и поминай, как звали! Или она заболталась в ресторане, или выпила водки, и ее распарило?

Три часа. Четыре. Окна в ресторане потухли. Садик перед зданием аэропорта опустел, самолеты снижались редко, точно и они спали. А я все кружил и кружил вокруг скамейки.

В ближайший час должен появиться и мой самолет, а женщины все нет и нет. Поставить ее вещи на хранение? Но как ей вручишь квитанцию? И какая у нее фамилия? Кроме того, при сдаче вещей, кажется, просят паспорт? А я-то еще нашел в ее лице что-то схожее с лицами якутских писателей и девушек из самодеятельности Братска...

...Ну, разумеется, хмель!

Ехал я как-то на автомобиле из Праги в Карловы Вары. Узкое шоссе, крутые повороты, городки с острыми крышами, холмы, заводы, шахты, пирамидообразные выбросы породы. Затем земля стала красноватой, словно посыпанная толченым кирпичом, и появились поля хмеля. Косо стояли высокие — выше телеграфных — столбы, перевитые веревками, как сетями. И свисал хмель, уже потускневший несколько, но все еще сильно желтый, особенно на красноватом фоне земли.

На край плантации, положив руки на плечи друг другу, вышли три чеха. Они пели какую-то песню — не ту песню, которую поют от пьяной тупости, а ту, которую поют, когда сердце переполнено радостью, творчеством, высокой жизнью, когда песня соединяет многие радости в одну и широко разносит ее по всему доброму миру.

Мой сосед чех сказал, что такое случается: убираемый хмель даже без хмеля хмелит. Хмелит сама счастливая работа. Наверное, он был прав.

Ну, конечно же, прав!

Хмель, хмель...

Зеленое пальто прибежало, запыхавшись, за полчаса до отлета.

Она схватила чемоданы и, с трудом поднимая на меня опухшие веки, быстро сказала:

— Вы, как чуткий к чувствам человек, как пианист, должны понять...

— Право же, я не пианист.

— А кто вы такой?

— Ну разве время разговаривать о наших профессиях? Пойдемте взвешивать чемоданы.

2. Ничего нет хорошего в том, когда у тебя свой кнут на чужих коней

В Чите меня, как я уже говорил, ждали два приятеля — литераторы Василий Григорьевич и Гоша. Они однолетки, каждому под сорок, только Гоша пишет для детей и оттого, должно быть, моложав и кажется простодушным; Василий Григорьевич пишет для владетелей жизни — взрослых и поэтому солиден, нетороплив, говорит тихим, но внушительным голосом; пьяницы, заметил я, от его голоса сразу трезвеют. Толстые, крепкие полки в комнате Василия Григорьевича уставлены почтенными томами, которых обыкновенные люди давно уже не читают; Василий Григорьевич не только читает их, а изучает — прочно, твердо, на всю жизнь. Боюсь, что у Гоши полок совсем нет и самая любимая его книга — «Календарь природы».

Василий Григорьевич — романист; он, впрочем, пишет и стихи, но каждое его стихотворение похоже на роман. К своим обязанностям романиста он относится как ученый; если он описывает в романе сталевара, то едет на несколько месяцев на завод и работает подручным у сталевара возле печи; если создает колхозника — отправляется и работает долго в колхозе. Гоша — поэт, сказочник, хотя несколько лет тому назад служил инженером, а еще раньше — обыкновенным рабочим. Наверное, он отлично работал, но, глядя на него, почему-то думаешь, что и на работе он много придумывал сказок. Так думать мне приятно потому, что, как я заметил, детские писатели — крайне положительные люди, и откуда у них берется фантазия, мне непонятно.

Обоих приятелей сдружила страсть к путешествиям. Это тот самый верхний стык стропил и скатов, гребень, конек кровли, который вроде и незаметен, а между тем очень украшает и возвеличивает дом. Но и в путешествия они отправляются по-разному. Василий Григорьевич снаряжается обстоятельно, но берет только самое необходимое. Гоша откладывает снаряжение до последнего часа и берет его обычно взаймы у друзей — много и случайно. Чужой у него спальный мешок, чужое ружье, приемник, магнитофон необыкновенной тяжести, пожалуй, и фотоаппараты у него чужие. Даже заготовленное к путешествию Василием Григорьевичем

имущество он ухитряется превратить в чужое, «принадлежащее природе».

Всю зиму Василий Григорьевич приготовлял моторную лодку для поездки по Чаре и Онону. Готов был и шестизарядный дробовик и многое другое. Весной Гоша решил испытать это снаряжение и по Ингоде и Шилке поплыл на Амур. Весна была многоводная. Амур широк и буен — Гоша утопил лодку, мотор, шестизарядный дробовик и сам чуть было не утонул.

— Как же мы поплывем? — спросил я своих друзей с недоумением.

— На Ононе и Чаре люди радушны,— ответил Гоша, улыбаясь.

Улыбается он чудесно: чуть наивно и чуть иронически. Его улыбка вызывает и у вас улыбку, сердиться на него невозможно; кроме того, приятно, что он не утонул. Наверное, поэтому-то Василий Григорьевич подтверждает:

— Да, люди на Ононе и Чаре радушны, а затем у нас есть надувная резиновая лодка.

Соображения о резиновой лодке кажутся мне весьма дельными. Кроме того, читинские общественные деятели, любезные и снисходительные к писателям, одолжили нам на две недели ГАЗ-69, и завтра мы отправляемся на нем к Онону.

Как беспечно и как сладостно на сердце, когда, успокаивая свое нетерпение и стараясь заглушить его шутками, погрузишься в ГАЗ-69, выедешь рано утром на мокрое шоссе, минуешь последние читинские домики с еще закрытыми плотно ставнями, минуешь черную и словно натянутую меж камней Никитишну, а за ней строптивую Кручину, проедешь Атамановку, увидишь Ингоду, такую полноводную, что это настораживает, перемахнешь мост, покрытый липкою жижею после дождя, полюбуешься своротом шоссе на Агинск, переночуешь в комнатах дорожного мастера на Дарасуне, выпьешь удивительно вкусной дарасунской воды, которую, по словам Василия Григорьевича, «вывозили прежде на продажу за границу»! Вывозили ее или нет, кто знает, но факт, что вода приятно освежительна, пьешь — и не напьешься, и что в Чите дарасунской воды достать невозможно! Да не только в этом беда — беда, что вообще курорт запущен. Погода солнечная, ясная, а возле источника — глубокая осенняя грязь, и курортники идут сю-

да по деревянным мосткам. Впрочем, по вечерам возле старинного курзала оркестр играет польки и вальсы, пожилые курортники гуляют при тускловатом электричестве, а молодежь пламенно танцует.

— К Онону?— сардонически спрашивает меня знакомый бурятский артист, великан собою.— Ехали бы вы лучше к нам, в Бурятию.

— А почему же нельзя на Онон?

— В Монголии огромные дожди, и Онон оттуда хлынул и такое размазал... Впрочем, увидите сами. Налезло же к нам в этом году воды! Амур, говорят, поднялся на двенадцать метров.

В Амур втекает Ингода, Шилка, а значит, и Онон. Ингода действительно полноводна; возможно, полноводен и Онон... все же двенадцать метров!

День почти зноен. Шоссе раскатистое, гулкое, и свет, точно эхо, близок и радостен тебе; теплом и светом обдают тебя роскошные леса, которые отовсюду — с холмов, гор и долин — налезают на дорогу.

Но вглядываешься в лес — и что там такое блестит тускловато, вроде воска? В чем отражаются стволы лиственниц и берез? «Направо — вода, налево — болото, повернешься назад — топь»,— вспоминаются слова из какой-то старинной книги.

Речушки превратились в безумно строптивые реки, реки — нечто насмешливо злое, несообразное. Начинаешь верить, что Амур действительно поднялся на двенадцать метров.

Ночевать нам выходило на Акшинке — неказистой речушке, притоке Онона. В этой речушке вода раньше— по колено, разве где попадается омут. Теперь, поднявшись на высокий ее берег, посмотрели мы — и охнули! Налюбоваться вдоволь невозможно. Всюду вода, всюду сверканье и бурленье, лазоревые острова, радужные туманы над ивняками, и дорога, пролегавшая у высокого берега, километрах в двух-трех от речки, теперь полузалита водой.

Обогнали — едучи вéрхом высокого берега,— трактор, волочивший комбайн. Комбайнер-бурят с торжественно безгрешным лицом индейца, когда машина наша, поравнявшись с ним, дала гудок, даже и не взглянул на нас. Он смотрел на воду.

— Воду жать собираешься, что ли?— крикнул ему Гоша.

Комбайнер ответил звонким голосом, словно лозунги выкрикивал на манифестации:

— Конь овса требует! Овес жать еду!

— А почему именно конь требует?

— Во-первых, конь к овсу привык,— насмешливо ответил комбайнер, повернувшись к нам,— а во-вторых, на коня в этом году большая надежда. Там, где трактор надсадится, конь терпит.

Спустились мы к самой Акшинке, к скалам, поросшим кривыми березами. Всю ночь возле нас тяжко и неприветно ревел поток. Едва рассвело, как мы поспешно спустились к реке. Обычный перекат превратился в черный порог, в пене которого — холодное мерцающее свечение.

— Фу-ты ну-ты, какая глубина сказания! — воскликнул Гоша, и в голосе его почувствовалась хорошая зависть поэта к другому, зависть, когда один высказывается быстро и легко, а другой готовится сказать то же самое, но не успевает.

Канавы шоссе полны водой — и не стоячей, а отстоявшейся за ночь, лазурной и быстрой. Вода тревожила, она уже казалась произволом — течет, куда ей приглянется, нет ей меры, выбор в ее руках, а не в руках человека.

И наконец мы увидели Онон.

3. По мерке мастера знаешь, а Онон — мера вод

С того места, откуда мы увидали его гулкие воды, по обоим берегам возвышались горы. Только с нашей стороны они были безлесыми, да и скал встречалось мало.

Но не горы сдерживали Онон. Сдерживало собственное стремление поражать. «Могу и смыть, а вот любо мне, чтоб стояли горы, они и стоят»,— так, казалось мне, думал он. Так думал я, глядя на эти крылатые и звонкие воды.

Онон не лился, не тек, отражая небо и горы. Он не желал никого отражать, пусть отражают они его! И действительно: на горах и, чудилось мне, в небе отражалось клокотание и разлив Онона. Он — мера вод и мера жизни!

Радушно светит солнце. Чутки к малейшему движению ветерка осенние травы. Но все замерло. Воздух не-

подвижен. Только одно дрожит — река, и дрожат в ней не отдельные ветви деревьев, а целые деревья, целые рощи.

Смотришь, и словно обменял сам себя на одно из этих деревьев: сам начинаешь дрожать. Возле шоссе углубляли и расширяли канаву дорожники.

— Каковы прогнозы насчет Онона?

Красавец с мягким меловым лицом ответил:

— Сказывают, дожди в Монголии прекратились. Значит, спадет.

— И быстро спадает он?

— Да два-три дня. Он переменчив.

— Переправа работает?

— Какая там переправа! Какой паром, когда дуга там пять километров!

— Позвольте, но как же нам быть? — крайне серьезно сказал Василий Григорьевич дорожному красавцу.— Мы едем на паром, чтоб тем берегом проехать на рудники Шерловой Горы, а тут, выходит, возвращайся к мосту на Чиндант.

— И возвращайтесь, пока тот мост не смыло,— тоже крайне серьезно ответил дорожник.

— Но ведь крюку-то полтораста километров!

— Пожалуй, и все триста. На правый берег вам нет переправы, на левый нет проезда, все притоки разлились; надо ехать кружным путем, вернуться на Дарасун, там сворот на Агинск, а потом Агинской степью к Чиндаиту, если его не смыло,—уже совсем серьезно заключил красивый дорожник.

Василий Григорьевич молча пожевал губами.

— Сказка!—проговорил Гоша.— Весна осенью. Что же, сворачиваем к Хапчеранге, до нее километров тридцать, что ли?

— Тут вблизи село есть Мангут, а вблизи села — вдоль Онона — дорога на фермы и тому подобное. Если вода спадает, не лучше ли нам обождать у Онона, а то в Хапчеранге литературные вечера могут нас задержать.

— Кроме того, здесь нам легче узнать, снесло у Чиндаита мост или нет,— добавил я.

Василий Григорьевич взглянул на меня. «А откуда им здесь знать, снесло мост или не снесло? Да и зачем знать рыбакам, скажем, или работникам фермы?»— говорил его взгляд.

Через село Мангут мы спустились к Онону на поемные луга и направились вдоль реки по еле заметной дороге к виднеющейся вдали колхозной ферме, над которой кружились не то грачи, не то галки.

По-прежнему все предвещало спад воды. Небо ясно. Воздух неподвижен. Рыбак с присаленной головой, в новой рубахе, словно он плыл на свадьбу, ответил нам, спуская лодку:

— Непременно спадет, этой же ночью.

Вода тихо, точно извиняясь за беспокойство, плескалась у самой дороги. Кусты и стога сена сидели в воде. Хотелось найти сухой холмик для ночевки — и мы искали довольно тщетно и довольно долго. Уже ферма осталась далеко позади, уже показалась другая — длинный мокрый сарай, где хрипел, не переставая, конь, — изба с покосившейся дверью, возбужденные колхозники возле трактора.

— Куда вы тащитесь, граждане? За пригонами топь.

— А вы чего тут делаете?

— Да вот присадили нас к сену, спасать. Обсуждаем: куда и как.

И больше не обращая на нас внимания, принялись за свое. Особенно кричал низенький, плотненький, пузатенький в кепочке блином:

— Я настаиваю, что не спадет... Стога наверх надо тащить!

— Да отовсюду же слушай: спадет.

— Говорю тебе: не спадет, ты меня пойми.

Возражавшему, видимо, не очень-то хотелось волочить стога на возвышенные места, в предгорье. Он сказал:

— Поймешь у волка слезы!

— Пускай я волк, ты пускай овца, но все-таки ты меня пойми. Я говорю: вода не отстанет, смотри, струечки вроде засасываются? Отрежет она от нас луга вчистую!

Голоса спорящих стихали, высокие камыши и тальник закрывали их. Проехав с километр прямо по сырой траве и камышам, мы наткнулись на какую-то заброшенную дорогу. Она привела нас к старой протоке, а затем на низенький холмик возле — так мы во всяком случае предполагали — главного русла Онона. По ту сторону тускловато поблескивали серо-желтые галечники, а за галечниками — опять река, опять галечники, кусты,

река, и так до бесконечности, до лиловой, изрезанной острыми скалами цепи гор.

Разбили палатку, развели дымокур от комаров, но комаров по всему низу не было.

Гоша, высказав предположение, что комариные личинки унесло стремительными ливнями, добавил:

— Тем легче будет спускаться нам на лодке.

— На какой лодке?— осторожно спросил Василий Григорьевич.

— На нашей, резиновой.

— И куда?

— К Чиндантскому мосту.

— А машина?

— Машину туда отправим порожняком.

— На Амуре не потонул, в Ононе, думаешь, выйдет?

Влево от нас шла старая протока и луг, поросший желтыми цветами, похожими на ромашки. Спутники мои начали рыбачить, а я отправился гулять по лугу, срывая цветы. Кое-где луг прорезали тальники: изящные и вежливые братья, деревья эти росли группами, не обгоняя друг друга, все ровные и в толщину и в длину и едва ли не с одинаковым количеством листьев. Продолговатые их листья, искрясь от прошедшего ночью дождичка, за день не высохли — такая влага лежала над лугом.

Позади себя я услышал словно бы треск падающего дерева. «Да тут вроде и нет толстых деревьев?»— подумал я, оглядываясь и меньше всего располагая увидеть на лугу мотоциклет.

Два рыбака с припасами, спиннингами, надувной лодкой, сетями, ведрами, мешками остановились подле меня.

— Спадает?

— Говорят, этой ночью спадет.

— Непременно!

— А вы откуда?

— Из Хапчеранги.

— Как там?— спросил я неопределенно.

— Живем, вас ждем.

— Неужели?

— На геологов вся надежда. Сами знаете, с рудами у нас плоховато. Да, надо думать, найдете?

— Значит, геологи для вас вроде хмель жизни? — ответил я неопределенно.

— Хмель хмелем, а геологам верим, — бойко сказал рыбак, отъезжая.— Приходите рыбу кушать!

— На свою надеемся.

Рыбак засмеялся:

— Река спадет, рыба будет, а без спада и не надейтесь.

Мотоцикл уверенно двинулся по лугу к реке.

Наломав сухих сучьев для костра, я вернулся к палатке. Несмотря на мутную воду, рыба клевала. Пока Гоша чистил рыбу для ухи, Василий Григорьевич надул резиновую лодку, и мы, занеся лодку на километр выше против течения, поплыли к галечникам. Несло нас страшно. Еле-еле, воткнув лодку в кусты и едва не пропоров ее, пристали мы к берегу. А возвращаться было совсем трудно, к тому же мы забыли весла на грузовике, и Василий Григорьевич греб железной лопатой — орудием, как известно, мало приспособленным для гребли. Как раз против нашей палатки река, оказывается, разделялась надвое, образуя острый мыс, украшенный в воде острыми коряжинами. Нас и несло на эти коряжины. Василий Григорьевич греб со всей своей силой, и черенок лопаты подозрительно потрескивал. Пристали мы к берегу благополучно, хотя и далеко от наших палаток.

Молча ели уху, молча жевали хлеб и молча легли спать.

Спали плохо. Один думал о жерлицах, перемётах, плавании по Онону на резиновой лодке; другой — о сказке, действие которой происходило бы вот на этой грязнейшей и грознейшей реке; третий — о том, что путешествие свершается не так гладко, как ты его задумал, да это, впрочем, и к лучшему!

Среди ночи я вышел из палатки.

Вечерняя заря давно потухла, утренняя еще не разгорелась. Теплая темнота царила кругом. Небо по-прежнему не тучилось, а обозначалось чем-то широким, глубоким, тревожным. На западе тлел еле заметный свет, сквозь который тускло и трепетно просвечивали звезды.

Верхушки кустов в реке казались заостренными. На той стороне то затухал, то затяжно поднимался грохот: где-то образовался затор, и вода прорывалась, гремя гальками. А потом уже стало твориться вообще что-то непонятное. Где-то трубило, свистело и вдруг ударило в воду, и запахло чем-то затхлым. Казалось, что почва под моими ногами затрепетала. Видимо, обрушился бе-

рег, и крутой, надо полагать. Река покрылась тускло-коричневым туманом. Он толкался с берега на берег, заткнув все протоки, острова, мели. Я затосковал, в каком-то смысле чувствуя себя затопленным.

Но какое ж наслаждение, когда взамен сырости, тоски, затерянности вдруг, в одно мгновение, перед вами развертывается вся река, словно вы выскочили из затора! Без затруднения я видел вдали лодку, гребцов и даже слышал хриплые от речной влаги голоса их. Экая беда, подумаешь, если это не лодка и не гребцы, а всего лишь вывороченные деревья комлями вверх! Оно даже и забавно.

Главное, что ночь кончилась, наступило утро.

Солнце еще не взошло, но на лугу — под водой — я мог явственно видеть те самые желтые цветы, похожие на ромашки, которые я рвал вчера и которые стоят в консервной банке возле моей палатки. Они стоят в банке и на воздухе, а те, что на поле, те, повторяю, под водой и продолжают цвести, только цвет у них странный, точно они зажжены.

Берег со вчерашней ночи заметно уменьшился. Наша палатка стояла, окруженная водой, и так вежливо-вежливо, точно вода говорила нам: «Вы уж извините, но я наступаю, ничего не поделаешь; даю вам, так сказать, время на отступление».

Мотоциклистов, уверявших меня, что Онон уйдет, давно и след простыл.

Собрались мы очень поспешно. Ночь была сырая, и шофера знобило. Кажется, и нас познабливало. Шофер, выставив из машины ногу в резиновом сапоге, время от времени дрыгал ею, словно отталкивая воду.

И до самой фермы пробирались мы по траве, которая покачивалась под водой.

У фермы остался лишь небольшой кусочек сухой земли — возле избы и сарая, где по-прежнему хрипел больной конь. Мальчишка в подсученных штанах, забравшись на самые верхние штанги ограды, наблюдал за тем, как трактор прямо по воде волок на возвышенность стог сена. Стог не был, по-видимому, велик, да и свален был, наверное, на жерди, все же странно было глядеть на это шествие. Второй трактор спускался с горы, где уже виднелись стога вытащенного с лугов сена.

— Валяй, валяй, дядя Егор, тащи!— кричал мальчишка.

Хмель работы захватил и его. С каким бы удовольствием повозился он сейчас возле трактора, но, видно, не пускали из избы дела.

— Правей бери, дядя Егор, правей! Там сухо!

— Ехидная река у вас,— сказали мы, поравнявшись с трактором.

— А чего? — спросил тракторист, вроде и обидевшись.

— Видишь, чего натворила.

— Вол и тот бодается, а тут река. Мы привыкли. Не то что переспать, зажмуриться не дает, это верно! Но рыба есть, сено есть, лес есть, а в остальном нас заживо не задушишь. Нет, у нас в Мангуте колхоз удачный. Наловили рыбы-то?

— Какая тут рыба!

— Верно, в нашей реке рыбу ловить надо умеючи, а то она тебя поймает. У вас какая тут резина?— спросил тракторист, указывая на край торчавшей из машины надувной лодки.

— Резиновая лодка.

— Ха-ха! По нашей реке вернее на своем заду плыть, чем на такой штуке. Ха-ха!.. Семка-а! — заорал он мальчишке на жердях.— Чай вари, неумывака!

Относительно резиновой лодки — задолго до тракториста — мы и сами пришли к тому же заключению. Только мы молчали, а он не постеснялся высказать свою и нашу думу.

— Слушайте,— сказал я трактористу, отъезжая.— Вода, как по-вашему, спадет?

— Не сегодня-завтра. У нашего бригадира зубы ломит — к спаду, ха-ха! Да и другие приметы есть, ха-ха!

И не поймешь, шутит он или всерьез. Будем думать, что всерьез, и, ожидая спада, поедем с литературным вечером в Хапчерангу.

Тем более что окрестности там, говорят, величественны и красивы.

Да и история рудников Хапчеранги не мала: существуют они уже сто лет, а за сто лет сколько может накопиться преданий!

4. Хапчеранга

Старинный рудник Хапчеранга, стиснутый горами, лежит в долине шириною приблизительно в пять километров. Кое-где долина поросла мелким лесом; вообще

горы голы, разве пробьется мелкая травка, да торчит лиловый, далеко видный иван-чай. Долина кончается болотами и степью, за которой лежат уже монгольские края. Из степи зимой дуют свирепые и продолжительные ветры, «как в трубу». Но сколь ветры ни свирепы, сдуть вековечную рудничную пыль они не в состоянии. Комьями лежит она по дороге, лепится на дома, и местная речушка у моста похожа на ящик для раствора извести.

— Кабыть только грязево,— сказала мне старушка, не то коридорная, не то пришедшая помогать коридорной.— Грязево-то не беда, вот бы руду нам побогаче!

За столетие к руднику образовалась привязанность, и даже эта старушка, у которой на руднике работают только троюродные племянники, приходит в ужас, что рудник в случае отсутствия руды закроют.

— Вы что же, из геологов?

— Нет, писатель.

— Описатель? Стало быть, руду таки нашли, что приехали?

Жаль мне ее разочаровывать, но я объясняю, что пишу романы, и о том, найдена ли руда, знать геологам, а не мне. Старушка, пхнув ногою пробежавшую кошку, обрушилась на нее с ругательствами, часть которых, несомненно, адресовалась ко мне: не пиши романов, а помогай геологам! Ну что же, по-своему она права.

Геологи тут всюду: выглянул в окошко, а к рудничному управлению идет группа, размахивая длинными молотками, и впереди — стройная девушка в легких шароварах; коридор старинной деревянной нашей гостиницы завален рюкзаками и чемоданами геологов; поглядишь на окрестные горы — все они сверху донизу изрыты геологическими траншеями.

— Знахари-то они знахари, да выходит — не те,— продолжает старушка.

— Ничего, назнахарят-таки,— успокаиваю я.

— Дай бог,— говорит старушка,—да мне-то и что? Моя смертная траншея уж близка. У других долга печаль, других жалко.

«Экая ведь вымуштрованная старушенция! — подумал я.— И траншеи знает». Впрочем, что тут удивительного, когда геологи у всех на языке!

Нельзя, однако, утверждать, что бедные руды, которыми сейчас приходится довольствоваться хапчеранг-

скому руднику, да и соседним рудникам тоже, вселяли в жителей такую уж жестоко непроходимую разочарованность. Во-первых, повторяю, надежда на геологов; во-вторых, на самих себя и растущую технику обогащения и разработки руд. Вдруг да в бедных рудах обнаружат ценнейший и редчайший минерал? И так тоже ведь случалось. И, наконец, двадцатый век — век вовсе не пессимистический, несмотря на наличие атомных бомб, а может быть, и вопреки наличию, и среди обитателей двадцатого века — обитатели нашей страны, по-видимому, люди самые оптимистические.

Хмель жизни торжествует даже и на отдаленнейшем руднике, в Хапчеранге!

Утром, после литературного вечера, на котором хапчерангские читатели задавали дельные, а порой и мудрые вопросы, сидел я на лавочке подле нашей гостиницы и разглядывал ларек, подпертый несколькими пьяными субъектами, чей организм, по-видимому, требовал дополнения. Подальше за ларьком влево лепилась к горе обогатительная фабрика. Переделки, годы, реконструкции — удачные и неудачные — украсили ее пристройками и надстройками, так что теперь, окрашенная в единый белый цвет, она напомнила мне тибетский храм Поталы в Лхасе, который когда-то в детстве я перерисовывал несколько раз из журнала. Прелестное, жуткое любопытство, с которым я некогда рассматривал эту картинку, вновь посетило меня. Охваченный воспоминаниями детства, вглядывался я во все меня окружавшее: рядом с ларьком строили не то магазин, не то столовую, судя по высоким и широким окн м, — там суетились рабочие, выгружали кирпич и балки, сновали грузовики.

Минут пять спустя ко мне подсел некто, коротконогий, пожилой, в синем истасканном ватнике, с длинным не по росту каким-то оржавелым лицом. Кивнув в сторону ларька, он сказал пренебрежительно и в то же время смущенно, словно для того лишь, чтоб завязать разговор:

— Ораторы!

— Да они ведь молчат.

— Выпьют — вот и заорут. А с чего их всех топырит?

— Наиболее слабых. Перспектив у вас, говорят, в Хапчеранге мало, вот они и сохнут. Вот и смачивают себя, чтоб разопреть.

— Перспективы есть везде, если ты сам с перспек-

тивой. А коли подлец — нет тебе никакой перспективы.

Собеседник мой явно был не в себе. Я в ответ ему только руками развел, а он, и не взглянув на меня, насупившись, наморщившись, пошел к мосту. С моста этого, под которым тощая речка похожа на грязную лужу, он долго смотрел на берега ее, и, должно быть, горчайшие думы мучили его. Я поднялся, чтобы пойти в гостиницу укладывать вещи. Онону пора спадать, да и машину ждут в Чите, нельзя ее долго задерживать.

Уходя, я взглянул за строящийся магазин: там на берегу стояла девушка —судя по форменному коричневому платью, школьница. Разумеется, она делала вид, что нисколечко и никого не ждет, и стояла, ото всех отвернувшись. Я подошел к ней.

Она перебирала белый, сильно накрахмаленный фартук и, когда я поравнялся с ней, обернулась, а руки ее по-прежнему быстро перебирали фартук, быть может приготовленный ко вчерашнему литературному вечеру.

— Здравствуйте, — сказал я.

Она резко кивнула головой и сразу заговорила:

— Я, извините, на вечере у вас вчера не была. И, кроме того... — Но тут она прервала себя и спросила то, что, возможно, собиралась спросить на вечере: — А вы поэта Роберта Рождественского знаете? А поэта Евтушенко? А новые их стихи знаете?

Я ответил, что поэтов этих я читал, видел, слушал, но, кроме этого, ничего о них не знаю, да я и действительно ничего не знал. К сожалению, и новых стихов их я тоже не знал. Впрочем, видимо, не это интересовало ее сильнее всего. Легонько, точно в такт постукивая ногой по обрыву, она продолжала тем же отрывистым и, как мне показалось, не своим голосом:

— Скажите, в чем будет заключаться этика коммунизма?

— Думаю, в том же, в чем она заключается сейчас.

— А именно?

— Уважать друг друга, поддерживать, любить отечество, науку, искусство...

— Какая ж разница? — Голос ее задрожал, и что-то очень живое засветилось у нее в глазах.

— Разница в том, что при коммунизме этические нормы будет легче выполнять.

Она так вся и загорелась.

— Да, да! Понимаю. Деньги! Очень, очень большое

зло. Так можете намошенничаться, что и сами не разберетесь. — И опять торопливо, вся горя, она спросила: — Еще вопрос. Должен ли человек быть честен сам с собою?

— В вашем возрасте обязательно.

— А в вашем?

Я попробовал отшутиться.

— В моем — по возможности.

— Нет, нет. Всегда!

— Да, всегда нужно чувствовать и осязать хмель жизни.

Она посмотрела на меня, должно быть не поняв моего ответа.

— Еще вопрос. Поэзия воспитывает или только украшает?

— Все украшающее жизнь воспитывает.

— Вот вы сказали что-то о хмеле. Это пиво или водка?

— Ни то, ни другое. Опьянение жизнью без пива и водки.

— Ни пива, ни водки не пробовала. Что такое опьянение жизнью?

Помолчав, я сказал:

— Мне кажется, что вы вот опьянены жизнью.

— Я, я?..— протянула она с изумлением. — Ой ли! На меня так часто тоска нападает и так часто я плачу, что стыдно. Вам некогда со мной разговаривать, я видела, как ваш шофер торопил с бензином — надо, говорит, скорее уезжать.

— Нет, я не очень тороплюсь.

— Конечно, хорошо бы задать вам вопросы в письменной форме...

Она так и сказала: «в письменной форме»!

— ...но в письменной, может, еще хуже получится, чем сейчас. Садитесь, пожалуйста, сюда вот, на обрывчик, нас отсюда не увидят и вас не позовут. И, если можно, не глядите на меня: мне стыдно рассказывать, а рассказать надо во что бы то ни стало. Вы один мне можете посоветовать.

— Но почему же я?

Она посмотрела в землю.

— Не знаю.

— Разве у вас мало подруг, преподавателей, родственников?

— Много.
— И разве они все плохие люди?
— Много и хороших.
— И умных?
— И умных.
— Так почему же я? Вы меня читали?
— Проходили в школе. Читать — мало читала.
— Тем более странно, не правда ли, что именно со мной вы хотите советоваться.

Она подняла на меня суженные глаза.
— А я думала, вы храбрее.
— Дело тут, пожалуй, не в храбрости, а в пригодности.

Она опять подняла на меня глаза. «Уж разрешите мне судить — пригодны вы или нет!» — говорил ее взгляд. Словами же она добавила:
— Нет уж, лучше в письменной форме...

Так мы и расстались.

5. Увы, мы едем через Агинск на Чиндант

Все предсказания и предзнаменования оказались впустую. Онон не только не спадал, но и поднимался. Мы смотрели на него опять с горы возле села Мангут, и многие острова, которые несколько дней тому назад задорно топорщились и, казалось, никогда не уступят гнету, теперь лежали под водой.

— Экая задиристая река! — вздохнули мы и повернули машину на Читинский тракт.

Притоки, впадавшие в Онон, по-прежнему струились полноводно и бурно.

Шоссе становилось чище и ровней: мягкие стволы лиственниц и чувствительные березы снова обступали его. Миновали Дарасун, трех курортниц с лицами, словно мякиш гриба-дождевика, школу, обращенную почему-то фасадом не к саду, а к шоссе, приближался сворот на Агинск.

В деревянном домике с перегородками все заполнено письменными столами, так что ходят здесь боком, а диван кажется очень странным и ненужным сооружением. Пахнет типографской краской, шелестят корректуры: здесь сразу две редакции агинских газет — бурятской и русской.

Говорят мягко, тихо; подробно расспрашивают о моих странствиях последнего года — об Индии, Японии, Франции, Англии — и, расставаясь, вполголоса просят еще заезжать:

— И вы, быть может, что-нибудь упустили рассказать и упустили спросить. Очень просим.

— А как степь?

— То есть в смысле разлива? Летом сыпало, а сейчас в некотором смысле весна, хотя по календарю и осень. Можете гнать спокойно сто километров в час.

Признаться, мы не поверили. Шофер, превосходно знавший дорогу, напрямки ехать отказался, а, чтоб миновать разлившиеся речушки, направился стороной, холмами. Правда, это нам с руки: дорога должна была вывести нас прямо к Чаше Чингисхана.

Какая молодая и любезная степь! Куда ни взглянешь — все вызывает кроткую улыбку. Щеголевато красуются синие пушистые долины, а холмы просто превратились в великих шалунов — такое разнообразие цвета, запаха, пения и свиста.

Круглое, как яйцо, степное озерко, к которому мы спустились, чтоб набрать воды в закипевший радиатор, окружено нимбом желтой, ярко цветущей водоросли: голубая вода, желтый пояс водорослей, зеленые пологие берега, а над всем этим — мелкие, как жуки, белые облачка в небе. Сидеть невозможно от удовольствия!

И я поспешил от берега вверх по откосу, мимо тарбаганьих нор, заросших бурьяном. Пройдусь хоть немного по дороге, надышусь тишины, запаха трав, пения птиц.

Куда как отлично! Пригорочек скоро закрыл от меня озерко, пылание желтых водорослей, машину. Но поднялся другой пригорок, по правую сторону дороги. Там виднелся каменный скотный двор, чистый, заново сложенный. Поодаль — жилой дом, тоже недавней кладки, под белой жестяной крышей. На крыльце дома кипел самовар, и крошечный бурятенок в ситцевой рубашонке до пят пытался раскурить от него, по-видимому отцовскую, трубку. За домом что-то тесали, и звук топора разносился по всей степи.

Бурят верхом на сером коне гнал ко двору небольшую отару.

— К нам, что ли? — спросил он, останавливая коня, который сразу зажмурил от радости серые и точно за-

дымленные глаза. Шарообразные ноздри его жадно ходили, вдыхая запах двора, степи и еще бог знает чего, что, по его конскому мнению, было очень приятно.

Я указал на озерко.

— Машину поим. А сами — к Онону.

— Бурлив он нынче, однако. Если степь не поможет, с луговым сеном у нас нынче будет плохо. Заходи, однако, в чабаний красный уголок, — сказал он, указывая на дом. — Газеты есть, радио есть, чай, видишь, готов. Писатели, однако?

Я спросил с удивлением:

— Вам-то откуда известно?

— У нас в Агинске, похоже, выступали. Потом радио передает: поедут, мол, на Шерлову Гору. Я гляжу: идет человек дорогой, под холмом — машина. На Шерлову Гору есть прямой путь, зачем ему окольный, наш? Поди, так, писатель, думаю? Хочет взглянуть Чашу Чингисхана, поди?

— Умозаключение совершенно правильное.

— Как?

— Правильно, говорю, рассуждаете.

— А почему ж неправильно б? Чаша Чингисхана — редкое место. Ее строил не хвастун и надувала. Геологи нам говорят: ее выдуло наукой, чашу-то эту. Кто спорит? Наука. Верно. А старики говорят: сам Чингис перед смертью заказал, чтоб намекнуть, где схоронен. Тоже верно, потому что сказка.

— И так и этак? Разве две правды бывает?

— Кто сказал, что две правды? Я сказал: наука — раз, сказка — два. Одно другому не мешает. — Он подмигнул. — Выходит, сказку забраковал?

— Почему же? Очень прошу, расскажите.

Овцы сами вошли во двор. Мальчишка в длинной рубахе принес отцу трубку, которую он так и не разжег. Чабан, держа трубку у рта, а другой рукой поглаживая гриву коня, рассказал мне короткую, но довольно любопытную сказку:

— Старики говорят так, что Чингисхан перед смертью велел похоронить себя в Ононе. «Отведите,— говорит Чингисхан,— реку Онон в сторону. И отведите, пока мои пленники не разбежались,— у вас они непременно разбегутся. И когда отведете, закопайте труп мой на

дно моего Онона и опять пустите реку по старому руслу. Тут я буду лежать спокойно: никто никогда столько пленных не соберет, чтоб отвести Онон! А чтоб напоминать о моей силе, выбейте сейчас же гранитную чашу и поставьте на берегу: вот, мол, какой был сильный, из какой чаши выпивал!» Ну, выдолбили из гранита чашу, поставили на трех звериных лапах — а сам главный зверь, дескать, под землей; и когда помер Чингис, то, как завещал, прах его, отведя Онон, закопали на дне реки. И тут, как водится на поминках, пели, что положено, и весь народ, собравшийся на поминки, пил из той чаши. И на всех хватило! А когда опять пустили Онон по старому руслу, сама собой уже не вином, а гранитом заполнилась чаша. И так стоит до этого времени. Хороша сказка?

— Хороша, — ответил я задумчиво и посмотрел в сторону Онона.

Мне представилась его громада и вспомнилось, что я всегда с живейшим удовольствием и чувством странной тревоги гляжу на Онон. Онон — это Ганг монгольских пустынь и гор, река, давно и разноцветно иллюминированная легендами, песнями, баснями, рассказами историков и романистов. Главным в иконостасе легенд, конечно, нужно назвать Чингисхана, жестокого завоевателя, чрезмерно уверенного в благоденствии своих завоеваний. Впрочем, какой завоеватель не был уверен, что он несет благо своим подданным, даже тогда, когда он их вырезал поголовно?

Легенды легендами, но паломников здесь мало — вернее сказать, нет совсем. Дацаны пустуют, буддийские ступы развалились, а ребристые плиты из черного песчаника на могилах былых героев не сохранили ни имен их, ни подвигов. Поэты, археологи и просто мечтатели любят сидеть на этих берегах, вдыхая запах полыни и глядя на горы неизъяснимой красоты и прелести.

Но если вглядеться, то и здесь без затруднения можно увидеть вьющийся хмель жизни. Среди гор, в степи нет-нет и проглянет бурильная вышка и сверкнет металл, точно ожерелье, вынизанное монетками. Проедешь дальше — стучит трактор, а за ним высится где-то в рабочем поселке труба, а то и две, завода. Стада, что прежде зимой и летом бесприютно бродили по пред-

горьям Онона, имеют для отдыха крытые дворы и приобретают, так сказать, историю.

Нет, теперь Онон не тот, хотя и сказка тоже недурна.

— Недурная сказка, — повторил я.

Чабан буркнул неожиданно сердито:

— Выкопать бы его, однако, к чертям собачьим!

— Вот тебе и на! — воскликнул я. — Почему нужно выкапывать Чингисхана?

— Выкопать и выбросить! От его плохого характера Онон бурлив, однако. Мало поклонов ему, скажи пожалуйста! Сена нет, с уборкой запаздываем, с колосовыми плохо, тьфу! Из райкома — нагоняй, из райисполкома — нагоняй, сельсовет рычит, от всех крик, а мы за него, закопанного, отвечай? — И он продолжал сердито: — Пойдешь или нет в красный уголок?

— Да вон машина сюда поднимается, пора к Чаше.

— Счастливо. Пишите о нас веселее. У нас, конечно, задолженность есть, однако мы добрые работники и нас лодырями дразнить не придется.

Наш «газик» опять углубился в степь, но не прошло и пяти минут, как мы услышали позади себя тарахтенье мотоцикла.

— Показать вам дорогу к Чаше, однако, а то много ответвлений.

Мне подумалось, что ему не столько хочется показать дорогу — хотя ответвлений было и на самом деле много, сколько новенький свой мотоцикл. Эскортировал он нас самым почетным образом километров десять, а затем слез и, картинно оперпись на мотоцикл, сказал:

— Про нас, чабанов, дурного написать нечего, знаю: степь еще порядочная лентяйка и капризничает. Хочу, однако, сказать о производстве мотоциклов. Пора! Он ничем не плох, зачем хаять? Он очень хорош для нас и нужен. Но отчего, скажи мне, никак нельзя шины купить? Нигде! Ни в Чите, ни в самом большом городе. У меня товарищ — постарше будет, посерьезней — купил мотоцикл, шины износил, а теперь жена начинает рожать... ему за врачом, спешно! Шин нет. Вместо шин намотал веревки. Он недалеко от Чиндапта, хотите, адрес дам, проверить? Целый роман можно написать. Разве это дело?!

Он ухмыльнулся.

— Конечно, и на веревках вместо шин ездим. Хитер человек. Тут как-то выехали мы на Онон погулять. Глядим, думаем — кто это нас морочит? А какое там мороченье, факт! Река. Вдоль берега, у каждого берега, значит, мотоцикл на воде, на камерах! А между мотоциклов — сеть. Ну и плывут по Онону, ну и гребут рыбу. Хитер мотоциклист, а? Хитер-то хитер, но почему, однако, шин для нас нету? Чабан вам шерсть доставляет, шкуру, мясо, а вы ему шину не можете надуть? Очень плохо.

И, сделав нам под козырек, чабан отъехал.

Поселок бежит мимо скал, за которыми — Онон. Берега его здесь высоки, каменисты, покрыты травами, а кое-где и мелким кустарником, над кустарником высится дикий абрикос и березы, — уже одна такая дружба причудлива.

Гранитная Чаша Чингисхана — в некотором отдалении от прочих скал, словно природа, выдувая ее, понимала, что делает. Это огромный гранитный монолит величиною с одноэтажный дом. Ветерок шуршит и шаркает по осенней траве, но к монолиту и не прикасается, будто говоря: «Моя работа окончена, а дальше вы уж как хотите».

Протираешь глаза, отходишь, смотришь со всех сторон, пытаешься обмануть себя: «Да нет, не похоже!» — стараешься сохранить покой и, мало понимая самого себя, весь переполняешься чудным, чистым и сладким чувством восхищения.

Да, монолит — чаша (даже ободок выведен по краю), чаша, покоящаяся на трех лапах, и что, быть может, самое удивительное — монолит похож на те плоские сосуды, которые употребляют кочевники, чтобы пить чай или кумыс. И стоит он не прямо, а наклонившись чуть-чуть набок, так, как отодвинул чашу номад, досыта напившись кумыса!

Гоша приветливо поклонился Чаше. Василий Григорьевич глядел вполглаза, скрестив руки. «Важнейший случай, — казалось, думал он. — Сколько же нужно лет дуть, чтобы образовать такое? И тут дело не в ярости ветра, а, так сказать, в искусстве его. Ведь скала-то наверняка не была круглой, когда он начал обдувать ее. Непонятно!»

И он спросил:

— А вы уверены, что это все-таки ветер?

Василий Григорьевич — страстный поклонник красот природы, но мне думается, что он большой неохотник до «чудес» ее, до того, что с трудом или даже совсем не поддается объяснению. В таких важных случаях он предпочитает все же отдать чудо человеку, чем природе.

Даже нам, людям двадцатого века, убежденным, что нам уже известно все и вся, может казаться, что монолит создан человеческими руками, в то время как совершенно ясно, что это плод выветривания. У подножия монолита речные голыши редкой формы и окраски, осколки кристаллов горного хрусталя.

Отсюда до Чиндантского моста на машине рукой подать — километров тридцать. Дорога гладкая, ровная, налево — степь да травы, направо — тучнейший Онон, весь словно отделанный тушью, без красок. Выглядит он зловеще, сердит, и мы едем по деревянному Чиндантскому мосту медленно-медленно, точно на цыпочках. На мосту, по обеим сторонам — груды камней, чтоб не снесло. На лугах вода глушит и гонит под себя ивовый подрост, а подрост есть подрост — на него наваливается экая туша, он же, хоть и голову теряет, все ж лезет вверх, к солнцу.

Ночевать мы расположились на речке Борзянке, притоке Онона, под самым хребтом Адун-Чолон, за которым — Шерловая Гора. В Борзянке, передают, сейчас много рыбы; и действительно, на мосту через нее — рыболовы с удочками, мотоциклеты и «газики» с рыбаками снуют по шоссе непрерывно.

Через луг, с гор, прошло коровье стадо на водопой и долго, с наслаждением, как ни прикрикивал пастух, стояло в речке. Затем по склону горы к водопою катились бараны, открыв позади себя глыбы слоистого черного камня. К палатке нашей подъехали верхом два пастуха. Спросили без особого, впрочем, интереса, а из вежливости: кто, откуда, зачем — и предложили купить у них сазанов. Набили сегодня острогой за день сотню.

— Ход сазаний? — спросил Гоша.

— Ход.

Василий Григорьевич, готовя удочки, сказал, что сами наловим. Гоша, осмотрев сазанов, добавил, что продавать такую великолепную рыбу стыдно: нужно или самому есть, или дарить, тем более что здесь перед вами писатели, поэты — люди, обожающие подарки.

— Шутник, тебе бы толстым быть, тяжелым, — сказал, отъезжая, пастух, а второй, перед тем как отъехать, попросил сигарету и вместо одной взял из пачки пять.

Пока развертывалась палатка, клались спальные мешки, разжигался костер, Василий Григорьевич таскал одного за другим плотных и жирных карасей. К палатке поставили «тару», судя по этикетке — ящик из-под водки, который мы подобрали на шоссе; на этой «таре» лежал самодельный радиоприемник и как-то странно попискивал.

— Что это с ним? — спросил сдержанно Василий Григорьевич, соскабливая на крышке «тары» золотистую чешую с карасей.

А приемник и скажи: «Говорят все радиостанции Советского Союза».

Василий Григорьевич гневно взглянул на трепещущего в его руках карася и отбросил его в сторону. Гошино лицо зарделось, а лицо Василия Григорьевича стало каким-то прозрачным и острым. А на меня словно дунула гроза и потушила все огневое, теплое. Война? Да нет, не тут ей быть услышанной. Хотя почему не тут? Нет.

Герман Титов на «Востоке-2» полстел в путешествие по космосу вокруг Земли.

— Важный случай, — сказал Василий Григорьевич, ловя в траве отброшенного карася.

— Прямо сказка! — проговорил Гоша и посмотрел в небо, волнистое, степное и как бы душистое.

Полагаю, что моим спутникам: и тому, кто чистит сейчас карасей, и тому, кто подкладывает досочки в костер, и дремлющему у палатки шоферу, который презирает кухонное мастерство, но не еду, — всем им, с детства видевшим развитие науки и техники в Советском Союзе, не так странно и удивительно слышать о полете в космос русского пилота, как мне, который мальчиком пятьдесят, что ли, с лишком лет тому назад вот у такой же речушки, у костра, в сибирских степях пася коней, читал роман Жюля Верна о полетах в таинственное мировое пространство. Я верил этому и не верил; во всяком случае я очень боялся обмануться. Временами, отложив книгу, я ставил себя на место жюльвернского пилота и воображал, что опускаюсь в этом снаряде после полета над Землей на самую широкую песчаную улицу Павлодара. Ах, мне так хотелось поразить всех

павлодарцев и особенно парикмахера Филиц-Мозера, который ходил гулять по павлодарскому откосу летом в белых штанах и цилиндре! Не беда, что мечты остались мечтами и я палец о палец не ударил для того, чтобы осуществить мечту о полете в мировое пространство: по-видимому — плохо ли, хорошо ли,— мне было суждено осуществить что-то другое.

Однако отголосок этих детских мечтаний, которые сейчас называют «научно-фантастическими», остался во мне навсегда; впрочем, я и не старался унимать их, делать их безгласными. Тем приятнее мне было узнать о космическом полете Германа Титова, глядя на эти пологие степные откосы, на степную речку без деревьев, на стада, на дымок возле кошар и на трепещущих карасей, выпотрошив которых несет мыть на речку мой внимательный и проворный спутник Василий Григорьевич. Я словно снова окунулся в детство, которое, казалось, тухнет, угасает, замолкает во мне и только иногда во сне едва-едва слышно в отдалении.

Хмель, хмель, пушистый и святой хмель жизни!

6. Мы немного гостим на Шерловой Горе и в необычайном Адун-Чолоне, в «Стаде Каменных Баранов»

Шерловая Гора — поселок, рудник, комбинат по добыче оловянных концентратов, которые, как говорят, здесь значительно богаче, чем в Хапчерангском комбинате. Впрочем, здесь все месторождения богаче. А Шерловая Гора —«шерл» по-старинному драгоценный камень — одно только хвастовство. Никаких теперь драгоценных камней на Шерловой Горе не добывают; оловянный концентрат, рудник и обогатительная фабрика — совсем по низу горы.

Я не приезжал в поселок уже года три. Хотя накрапывал дождь и напыщенная вершина Шерловой Горы скрывалась в тучах, все же заметно, что в поселке стало как-то светлее и суше. На улицах прежде стоял тяжелый, удушливый запах не то гари, не то отбросов; его теперь нет. В саду возле клуба торчали тогда, в мой последний приезд, недавно посаженные розги и колыхалась какая-то гнилая вонь; теперь деревья, тень, тухлоты и след простыл, а клуб, кирпич колонн которого

лупился тогда и торчал, забрызганный грязью, всем существом своим жалуясь, что его не достраивают (к тому ж, бедняга, он попал в борьбу с излишествами), теперь блестел, как древко знамени! Пусть ступени клубного крыльца намазаны известью и перекрыты досками — клуб в приятном сознании, что он не только работает, но уже доработался до капитального ремонта.

Конечно, нам с вами, живущим в Москве и других столичных городах, не в диковинку хорошая столовая и пирожные, но если в рудничном поселке чистая, большая, без очередей столовая, где не только отличные кушанья, но и пирожные, я считаю долгом об этом сообщить, чтоб и другим рудникам была наука и красноречивый намек. Не к чему плодить брюзгачей!

На втором этаже, над отделением связи, которое по-прежнему грязно и хмуро, как прежняя почта, есть магазин-школа, где учатся торговать молодые продавщицы. Я купил здесь небольшой чемоданчик для камней, которые думал собрать на Адун-Чолоне. Чемодан мне показался сделанным лучше, чем другие, купленные мною в иных местах, и все лишь потому, что продавщицы не утеряли наивности и обращались с покупателями, как с друзьями, они даже улыбались нам, боже мой!

Утешенный продавщицами, я разговорился и с покупателями. Не обошлось без страстных жалоб, хотя жалобы были разные.

Одна жаловалась, что лес далеко: тяжело ездить за грибами и ягодами, да и администрация туго отпускает автобусы, а так жить можно. Другой — угрюмый, многим недовольный, по-здешнему «тухтырь» — подхватил:

— Жить-то можно. Кино есть, концерты наезжают, самодеятельность там. А пора бы о своем театре думать; комбинат, электростанция, рудники всюду, уголь достаем, и мы, Шерлова Гора, в центре. Вот я, скажем, в Хапчеранге работал — какое сравнение? Там затхлость, оттуда к нам бегут! Где вы будете вечером? В клубе? Обязательно приду. Подготовлюсь и приду.

Боюсь, что «обогатительный техник» слишком усиленно «готовился». Один такой, тоже «техник», пришел на наш вечер, как говорится, «дыхнет — и все вокруг мрет» и еще обижался, что мы не желаем слушать его поэму о полете Германа Титова, которую он только что закончил творением.

Возможно, что кому-нибудь из моих читателей и скучно будет пробегать строки, описывающие литературный вечер в каком-то рабочем клубе, где-то там у черта на куличках. Думаю, что если это и произойдет, то не от безучастности, а от недостатка воображения. Попробую помочь им.

Несмотря на дождь, размякшую землю, когда можно шлепнуться и растянуться на каждом шагу, плохое освещение на улице и в клубе, где вдобавок из-за ремонта, лесов, сырой штукатурки было сыро и неуютно, слушателей набилось в зале сотни три-четыре.

Посмотришь в зал и видишь, что книга и творец книг для этих собравшихся здесь что-то близкое, дорогое, от чего они чувствуют себя могучими, жадными к жизни, яростными в труде и вольными в воле своей. Нет ни одной мямли, разини, рохли; и если у тебя, поэта или романиста, есть нерешительность, вялость или просто даже утомление, быстро исчезает оно. Ты чувствуешь себя пламенным, сильным, скажу даже, прекрасным — не нужно бояться хороших слов. Один замешкался где-то, вошел, когда уже вечер начался,— как осторожно он шел среди стульев, ища себе место, с каким восхищением смотрел на эстраду и на всех собравшихся. «Ну, ведь это отлично же, что столько писателей и столько слушателей, ах, как отлично!»— говорило его лицо и вся его фигура.

Среди собравшихся были люди, очевидно, не только читающие, но сами пробующие писать. Спрашивали: как организовать литературный кружок и нельзя ли из Читы прислать им руководителя? Руководителя слать — слишком дорогое удовольствие, да и не так легко подобрать умелого руководителя, а вот подумать о том, чтобы начать сбор материалов для истории Шерловой Горы, типа тех книг, которые когда-то входили в серию «Истории фабрик и заводов», мне кажется, стоило бы.

Когда-то на Шерловой Горе старатели искали аквамарины и топазы. Занятие было и не очень-то прибыльным и не очень-то легким. Всякая всячина вместе мешалась: и кривда, и беспутство, и ложь. Надо было копаться тут долго, чтоб наткнуться на что-нибудь доброе, да и то перекупалось живодерами, оставался, как говорится, белужий хвост в реке да плеск. Разработка камней окончилась в предреволюционное время или около того. Но сохранились еще старожилы, как, напри-

мер, интереснейший рассказчик краевед А. Г. Федоров, живущий и поныне на Шерловой Горе, большой знаток и любитель камня. Он может многое рассказать об истории Горы и истории Читинской области вообще. Я его давно уговариваю: «Напиши, Алексей Григорьевич, напиши!» — а он все мешкает. Его следовало б попросить рассказать, да и записать рассказы. Есть и другие люди, которых тоже следовало бы попросить рассказать. Рассказы эти драгоценны. На Шерловой Горе изменения большие и, как видно, предстоят еще бóльшие. Сейчас как раз время записывать ход этих изменений, не ограничиваясь одними только архивными записями.

Каменный следопыт мой, Алексей Григорьевич, хоть и жалуется на слабость ног, все же охотно поехал с нами в горы Адун-Чолон, которые он исходил — и сам по себе и с геологами — вдоль и поперек.

И я понимаю его. Даже если быть совсем без ног, все равно следует ехать: обуздать себя, зная Адун-Чолон, невозможно.

Километрах в трех от Шерловой Горы ютится среди голой и, должно быть, бесплодной равнины серый, невзрачный выселок — не помню уж его названия. Избы — все на одно лицо, словно с одного конвейера, все новые и все безобразные, выстроенные по струнке в унылый ряд; позади изб — не то склады, не то лесопильня, не то еще что-то в этом роде. Тишина слепая и удручающая. Только с телеграфного столба, к которому привязана косолапая бесхвостая лошадь с мокрыми суконными ушами, из пластмассового блюда — нескончаемый малопонятный рев радио. Усатый благообразный дядя с безумными глазами навыкате вслушивался в этот рев, блаженно, легко и привычно пошатываясь. Рядом — продовольственный магазин, тоже изба; двери, обитые рваной кошмой и клеенкой, закрыты на толстые железные болты, поверх которых фанерка и надпись: «Обеденный перерыв». Почему обеденный перерыв в десять часов утра — неизвестно.

За выселками — бессильная, хотя с виду и лютая, черная-пречерная топь. Прах ее знает, может быть, она действительно засосет? И мы тихо, испуганно объезжаем ее. И все вокруг топи уныло, косно, все словно ждет: когда же она высохнет?

Миновали топь, миновали деревянную кошару с длинным забором. У кошары на камне — бурят, старенький,

легонький, пушистенький какой-то. Быстро жуя передними зубами, он макал краюху хлеба в миску молока. Когда мы поравнялись, бурят снял шапку и пожелал счастливого пути и возвращения.

Машина быстро поднималась на перевал.

Вправо — развалины буддийской ступы из серого камня со следами побелки. Еще недавно, по словам Василия Григорьевича, здесь валялись деревянные идолы, теперь их нет. Буддисты для своих ступ всегда выбирают видные места: думаю, эти ступы разглядишь километров за десять. Когда-то в древности тибетские ламы собирали для Лхасы в окрестных горах кристаллы горного хрусталя: возможно, возле ступы они имели и жилище, но я не нашел его развалин.

Открылся Адун-Чолон — волшебная и всегда ласкающая красота Забайкалья, перед которым все другие хребты кажутся напыщенными и дерзкими.

Впрочем, «открылся», пожалуй, неверно сказано. Адун-Чолон имеет свою тайну: он открывается не сразу, как сразу, получив стадо овец, вы не в состоянии запомнить каждую овцу в отдельности, сосчитать всех вы можете, но, чтобы на взгляд знать каждую овцу, надо привыкнуть и вглядеться. Так и Адун-Чолон. Спервоначала это нагромождение скал, приподнятых холмами степи, и все. Вы смотрите даже и бесчувственно. «А еще утверждают: здесь поэтическая природа!» Но вы приблизились, начинаете вглядываться — и вы уже развеселились, вы уже покорены Адун-Чолоном, вам уже нравится не только все стадо, но и каждая овца в отдельности. Кстати, я забыл сказать, что Адун-Чолон в переводе на русский с бурятского значит «Стадо Каменных Баранов», вернее сказать — овец, кротких, кудрявых и счастливых овец на весеннем пастбище.

Мы торопились — машине пора вернуться в Читу, — и все же я позволил себе уговорить своих спутников прожить на Адун-Чолоне четыре дня. Если допустить, что красоты природы способны делать человека счастливым, — я был счастлив эти четыре дня! Когда-то давно-давно старатели говорили мне: «Поймаешь золотую жилу, начнешь намыв — ни в руках, ни в ногах уже нет сил, дыханье сперло, в голове туман, а сердце такое яркое, будто цветешь». Вот и я был в таком «намыве», в таком «цветении».

Василий Григорьевич выбрал нам для стоянки удивительно красивое место возле красной гранитной стены напротив трех рыжих скал, похожих на гигантские квашни, из которых полезло тесто. Скалы Адун-Чолона не торчат из степи, нет. Из густотравянистой долины степь медленно и уверенно поднимается вверх и развертывается пучком скал самой неожиданной и причудливой формы. Поразительна настойчивость этой причудливости — она всюду разнообразна.

Издали скалы или клубок скал сначала толкают вас на воспоминание: вы вспоминаете замки, соборы, старинный город, беспокойную жизнь в них, рыцарей, королей, просто обывателей, вспоминаете полузабытые восторженные легенды... Долина кончается, вы поднимаетесь медленно к скалам и понемногу начинаете сознавать себя одураченным. Впрочем, вы быстро смягчаетесь и остро радуетесь своему счастью.

Редкое перо способно выразить певучую и ароматную красоту скал Адун-Чолона!

Залитые розоватым утренним светом, чистым и жгучим, неизвестным нам, московским жителям, небо и скалы отливают красками радуги. Зелеными, желтыми, синими, оранжевыми. Кое-где к камням прислонились березы с маленькими листьями, они как бы стыдятся и боятся прикрыть это великолепие.

Помосты, плиты, легкий и кипучий взлет камня наверх, точно вы поднимаетесь по лестнице, и вдруг обрыв, и вдали за цветущими лугами опять очертания башен, пылкий и фантастический мираж скал: нигде скалы не приходят в ярость, всюду разлито доброжелательство камня, всюду камень слегка похож на задуманные скульптуры, которых чуть-чуть коснулся резец скульптора, полные очертания этих изваяний вы должны досоздать своим воображением.

Сколько раз притомлялся я, бродя среди этих скал, но заморить вовсе они меня не могли да, думаю, и не желали. Остановишься, прислонишься к камню, смотришь в долину, где ходят косцы, ждут их с обедом грузовики, а косцы все не могут остановиться, все косят, косят, и слабый свист косы, словно полет шмеля, нарушает безмолвие скал. От долины, от косцов, от их пестрых рубах я опять поднимаю взор к скалам: они вновь наполняют меня силой и радостью. Я иду дальше.

Спускаешься в долину, переходишь ее, поднимаешься к скалам, еще тобою не виданным; проходишь мимо древних «копанок», где когда-то добывали дымчатый хрусталь для очков и концы кристаллов — «быков» — для украшения древних храмов, и посейчас здесь можно найти цветные камни, остатки кристаллов, верхушки которых отбиты. Перепадет дождь, который загонит тебя под каменный навес,— их здесь много; после дождя скалы огнеглазы и еще более прекрасны. Кажется, что степь, и травы, и цветы великодушно провожают камень до того места, где ему уже невмоготу, и он вылетает из-под земли и развертывается чарующим веером скал.

В самом деле, нет ничего удивительнее и красноречивее безмолвия этих дивных скал Адун-Чолона!

Вырастают тени, усиливается прохлада, горы вдали сливаются, затем к ним примыкают долины, затем и мы сливаемся с горами и долинами, погружаясь в пушистую тьму.

Сон. И во сне — скалы Адун-Чолона, похожие на лепные украшения, что на ваших глазах лепятся, стынут, крепнут и — сыплются... Это значит — утро, костер, чай, и опять скалы, долины, красота, смертельная, но не мертвая усталость, очарование, чистая и свежая радость жизни, постоянное чувство возвышенности и хмель, хмель...

7. Краткое описание пути

Вот грузятся в машину канистры бензина, спальные мешки, палатка, чемоданы с камнями, лопаты, запасный баллон; вот машина описывает мимо затоптанного и залитого костра, брошенных головешек и пустых консервных банок плавный полукруг по вымоченной росой траве; вот она взбирается на перевал и летит мимо разрушенной буддийской ступы, мимо топи, вбегает в поселок Шерловой Горы, заправляется, поворачивает обратно, теперь уже пересекает топь, пересекает Адун-Чолон по долине, откуда скалы чуть брезжутся, мчится пыльным проселком мимо Борзянки, где по-прежнему сидят рыболовы, мимо села Чиндант и через деревянный мост, под которым Онон по-прежнему в переборе,

по-прежнему бурлит и кто знает, когда спадет; вот пересекаем мы Агинскую степь, минуем стада, отары, стойбища, сопки, лесистые по одну сторону и голые по другую, проскакиваем Агинск, бежим через горы, покрытые соснами с их забористым и привязчивым запахом смолы и какого-то запашистого кустарника, который мои спутники называют можжевельником и который на можжевельник совсем не похож, разве что по запаху; вот мы пересекаем Ингоду и углубляемся в леса, уже причитинские, из которых всюду на шоссе выходят грибники с огромными корзинами, полными груздей; вот мы влетаем в Читу, спим, плотно обедаем, пьем крепкий-крепкий чай — его называют «чюфирка», приобретаем билеты, энергично торопимся на аэродром, грузимся в серый грузовой самолет, садимся на холодные скамьи вдоль стен и с удивлением отмечаем, что из восемнадцати пассажиров — половина детей. «Почему вы с детьми летите в Чару?» — «Мы не в Чару, а на Удоканскую экспедицию». — «Позвольте, но это же высоко в горах, там, по-видимому, для детей мало подходящий климат!» — «Так уж завербовались, поживем — увидим». Оптимистичен русский человек! Вот самолет наш летит над тайгой, горами, озерами и реками, и мы с трудом привыкаем и не можем привыкнуть к мысли, что сухопутного пути, шоссе, проселка от Читы до Чары нет и не было, что машиной здесь можно ездить только зимой, когда земля, вернее сказать, топи замерзнут; вот мы, весьма довольные собой, думаем, что летим на Север навстречу перелетным птицам, так как со дня на день нужно ждать начала перелета; вот перед нами показываются домики Чары занимательно желтого цвета, ограда из жердей вокруг песчаного аэродрома, стадо коров за нею, опять какое-то озеро и река — ах, да это и есть долгожданная Чара! Самолет снижается. Мы заходим в райком, а затем завхозяйством, усатый и бравый мужчина в черном галифе, сапогах и суконной рубашке самолично провожает нас к избе, над которой прибита дощечка «Каларская гостиница», Чары — Каларского района; вот мы располагаемся на панцирных кроватях и с подозрением смотрим на свежевыбеленные известкой стены; вот мы размышляем вслух, на чем бы нам спуститься вниз по Чаре и разузнать, как и что, а секретарь райкома сообщает нам, что председатель

оленеводческого эвенкийского колхоза «Заря», расположенного в чарских низовьях, находится здесь и возьмет нас с собою в лодку — «и вы поплывете»; вот мы ложимся спать и мирно спим.

8. *Мы плывем, а Марк Осипович осваивает вторую профессию*

Причалены плоты, короткие, из одного наката бревен. Река стремительная, прозрачная, коварная, чуть повыше берег ее укреплен «ряжами» — рядами бревен, похожими на старинную крепостную стену. И, однако, за последние несколько лет река смыла две или три улицы поселка. Вода в Чаре холодная; впрочем, поодаль, за кривыми зарослями ивняка, на песчаной отмели купаются ребятишки.

Мы сказали в райкоме, что предполагаем вначале проплыть по Чаре до колхоза «Заря», а затем и подальше.

— Куда это подальше? — настороженно спросили нас.

— Ну, к порогам и еще...

— Через пороги, что ли?

— Сначала надо посмотреть...

— Наша природа не любит «посмотреть», она, знаете, любит решительность, да и то не всегда. К примеру сказать, собрались в Свердловске шесть туристов. «Куда бы нам, ребята, этой осенью податься?» И кто-то, слышавший, что хребет Кодар — один из труднейших, говорит: «А не податься ли нам на Кодар?» — «Где это?» Они даже толком не знали, где Кодар! «В Каларском районе Читинской области, на Крайнем Севере». — «Вот здорово! Поехали!» Товарищи, так нельзя! Карту взяли чуть ли не из географического атласа, увеличили ее фотографически, словно от увеличения там прибавится точности. В Читинской турбазе не зарегистрировались, проводников не взяли. «Куда?» — спрашиваю. «Через Кодар, на Витим»,— отвечают, и только их и видели! Проходит время, вдруг узнаем: одна ногу вывихнула, у другой позвоночник поврежден, требуется в горы вертолет. Посылаем. Вертолет снизиться в топь не может, ему хоть маленькая, а площадка нужна, а они в топи стоят. Вертолетчик им приказывает: «Несите

увечных дальше!» Понесли. Взял девушек вертолетчик, а четверо парней отправились дальше. Ну, карта дрянная, проток какой-то не указан, повернули в сторону и ушли куда-то в тайгу. Теперь вот ищем их. И никаких следов! Так, повторяю, товарищи, нельзя!

И, помолчав, доброжелатель наш сказал:

— Конечно, писатели должны ездить, познавать. Вот что. Возвратился из санатория председатель колхоза «Заря», он плывет туда на своей моторной лодке. Попросим его помочь вам: и туда и обратно. Бензин? И бензином поможем.

В дальнейшем разговоре я заметил, что места здесь красивые какой-то своеобразной, особенной красотой. Доброжелатель переспросил:

— Особенной?

— Особенной.

— Может, и так. Эта красота требует от человека особенно энергичной деятельности. Вот вы смотрите на мою железную печку и, пожалуй, удивляетесь: неужели в райкоме не могут поставить кирпичной? И грязи меньше и возни. Поставили бы с удовольствием, но как поставишь, когда глины нет. Нету! Из речного ила кирпич жечь еще не научились — рассыпается, да и нечем скреплять кирпич: нету глины!

— Обыкновенной глины нет?

Мое восклицание понятно. Трудно себе представить, чтоб огромный район размером, скажем, с Болгарию, с необъятными лесами, тайгой, реками, долинами, высокими горами не имел самой обыкновенной глины.

Когда мы подходили к райкому, мы невольно остановились у калитки — она оказалась самозакрывающейся: какой-то Архимед прибил вместо пружины двуручную пилу. От калитки мы невольно подняли глаза к хребту Кодар. До него по прямой километров пятнадцать, но благодаря отменно чистому воздуху Кодар как бы отодвигает пространство. Весь он теперь — сверху донизу, на полнеба — золотисто-коричнев, только вершины горят темно-красным, да кое-где среди скалистых обрывов белеют пятна снега, и кажется, что снег лежит на высоком постаменте. Туманы, как будто взявшись за руки, пляшут среди бесчисленных скал. И оттуда, словно хор, поет нескончаемый ветер. Властен старик Кодар! И небо-то над ним какое-то простодушно-напуганное, сероватое-голубое.

А ближе к нам — гора Зарод, как бы отброшенная от хребта за плохие помыслы и имеющая вид короба, поставленного на ребро. Невольно чувствуешь себя взбудораженным, и хочется немедленно туда попасть. А как? Где достать грузовик, да и то на грузовике, говорят, можно проехать лишь километров десять, а дальше — на оленях или пешком. Олени сейчас все на пастбищах, далеко. Пешком идти нет времени.

Пока я вспоминал свои впечатления от Кодара, наш доброжелатель продолжал:

— И сами ищем глину и других просим искать: у нас тут едва ли не из семнадцати, а из десяти институтов так уж наверняка, экспедиции. Все попутно смотрят, нет ли глины, а ее нет. Места сложные.

По его тону заметно, что, несмотря на «сложность мест», он эти места любит и радуется, когда другим они нравятся. В сущности, он и против туристов ничего не имеет, его только раздражает легкомыслие. Кодар, в сущности, не хребет — это целая горная страна с множеством труднопереходимых рек, с малодоступными гольцами, со смертельно опасными топями. Для эвенков дорога есть повсюду, и те опасаются туда ходить, разве что самые опытные охотники.

— И места сложные, и жизнь сложна. В Чаре еще ничего, а вот увидите Намингу или Читконду — о-о! Да и что значит — в Чаре ничего! Летом дорог сюда нету. Если что понадобилось — самолетом. А во сколько обходится самолетом килограмм? Продовольствие везем зимой по льду грузовиками; семьсот километров — расстояние, равное тому, что от Москвы до Ленинграда. С пищей в Чаре туго: все больше консервы, скот разводим, но только на молоко, а лишку взять трудно, даже с курами трудно. Огурцы, скажем, цвести цветут, и ботва хороша, а как подойдет время к плоду, вытянется с мизинец, и конец: заморозок. А в Наминге, там у нас медь,— вы после плавания по Чаре ведь в Намингу? — так в Наминге, не говоря уже о Читконде, даже и картофель не растет: тысяча триста метров там высоты, кажется так. У нас, спасибо природе, хоть картофель есть, ну и олешки.

«Олешками» здесь называют оленей. Они действительно олешки-орешки: маленькие, веселые, с огромными простодушными глазами и бархатными рогами — толь-

ко для украшения, и никогда не подумайте, что для чего-нибудь другого!

— Прослышали люди... конечно, имеются среди них и мечтатели, романтики, что ли, по-вашему, но есть и другие — увидите... Прослышали, что в Наминге богатые залежи меди, и решили, что заработки тут золотые. Ну, и милиции нет, тоже для некоторых — увидите — основание. И что думаете? Теперь за три недели вперед записывайтесь в Чите, чтоб лететь сюда. Вербовочная контора, перед тем как подписать с вами обязательство, требует от вас, помимо справки о врачебном осмотре, анкету и тому подобное. Но каких вы от него ни берите анкет, как его ни прочищайте врачебно, как ни просматривайте, где вам обнаружить — надолго ли у него хватит выдержки? Тысяча триста метров высоты и обыкновенный рабочий день! Ну, некоторые держат себя властно и перемалываются, а некоторые горько стонут и даже руки ломают, тьфу! Скажите таким — вы писатели, к вам прислушиваются,— что здесь жизнь лягается.

Негодовал он искренне и сурово. Мы обещали передать это нашим читателям, не ручаясь, впрочем, что прочтут именно те, которым следовало б прочесть.

Мы идем по деревянным зыбким тротуарам к гостинице. Вправо и влево — черные застывшие клубки грязи, в дождь здесь топь выше колен. За топью — штакетники, за ними — дома из лиственницы цвета осенних листьев, иногда и бурых, но чаще всего желтых. Сверху и с боков завывает горный хор, напоминая о скалах и гольцах Кодара. А впереди нас — другие хребты, среди которых и лежат Наминга и Читконда; вид довольно-таки зловещий.

Сеней у гостиницы нет. Дверь открываете прямо в одну пз комнат. Их две, по шесть кроватей в каждой. Беленая перегородка, в которой дверь, и неподалеку от нее — дыра, чтоб проходило из комнаты в комнату тепло, так как подставка для железной печи только в первой комнате. Стол, покрытый газетой, две тумбочки, два табурета, умывальник, скука и теснота, даже радио, нахрипевшись вдоволь, до устали, не бороздит душу.

Лежали мы на панцирных кроватях и рассуждали, когда же поплывем и как поплывем.

Распахнулась дверь, и появился небольшого роста человек в тапочках, в клетчатой, не подпоясанной и не вправленной в шаровары рубахе, остроносый, с привычкой глядеть иногда в сторону, чтоб не смущать вас все время взглядом своих довольно проницательных глаз. «Геолог»,— подумали мы и не ошиблись. «Приятный товарищ»,— еще подумали мы и еще раз не ошиблись.

— Это вы хотите с председателем «Зари» плыть?

— Мы.

— Писатели?

И это мы подтвердили. Тогда вошедший представился:

— Геолог Удоканской экспедиции Марк Осипович Фаерман... У «Зари» на борту много людей и груза. Кроме того, скоро районная партийная конференция, подготовка к Двадцать второму съезду партии; председатель колхоза, пожалуй, еще задержится, а вам, я понимаю, ждать некогда?

Мы подтвердили, что некогда.

Марк Осипович говорит плавно, охотно отвечает на любой вопрос и охотно, что ни попросишь, разъясняет. Я забегаю вперед, но скажу, что ни разу я не заметил, чтоб он был настроен против кого-либо враждебно.

— Что же вы предлагаете, Марк Осипович?

— Предлагаю вам плыть со мной. У меня поездка в тот район — проверка заявки на слюду.

В противоположность многим геологам, которые, если спросить, предположим, о поисках глины, непременно начнут мяться, изображая, что боятся выдать невесть какую государственную тайну, Марк Осипович отвечал сразу и обстоятельно; впрочем, на вопрос о подлинной государственной тайне, я уверен, ответил бы также внушительно: «Об этом сказать ничего не могу»,— и вы бы с удовольствием поняли, что в этом огороде вам делать нечего.

— Вас удивляет, что собираюсь в экспедицию накануне глубокой осени? Я привык, да с эвенками и не пропадешь. Им все равно, что лето, что осень, что зима. Теперь относительно слюды. Слюда — остродефицитный минерал в промышленности. Заменителя ей не найдено, и кажется, не скоро найдут. Запасы в недрах имеются, но заказов еще больше. Надо искать и искать. Увидел я этой весной в райкоме, в шкафу, куски руд. «Отку-

да?» — «Да еще до войны краеведы принесли, а кто — уж и неизвестно, давно принесено». Ну, другие руды меня не заинтересовали, а вот большой кристалл слюды — любопытно, откуда? Всю весну и лето у всех расспрашивал. Наконец месяц тому назад отвечает мне Николаев, эвенк, зампредседателя «Зари». «Вроде,— отвечает,— мы нашли». — «Кто мы?» — «Отец да я! Тогда я еще маленький был, далеко до войны. Многое испытал с тех пор. Забыл, поди, место. А старик, поди, совсем забыл, совсем больной и старый». Показываю карту. Эвенки, знаете, великолепно в картах разбираются, даже если впервые их видят. Объясни ему только значки, а дальше он лучше вас поймет. Смотрит. «Вроде здесь. Тут ручей, а тут скалы, а тут вот куски руды валяются». Я ему возражаю: «Малопонятно одно: как это геологи, которые в этих местах каждый вершок исходили и знают цену слюде, мимо такого богатого по виду месторождения прошли?» Он отвечает: «Ничего удивительного нет. Это только вам так кажется, что вы все знаете и все замечаете». Месяц прошел, пока я исхлопотал ассигнования на поиски, а теперь еду. Трепещу, признаться. Ход конем я уже сделал, а как вот старик Николаев?

Он вдруг поднялся, но не быстро, а немножко с ленцой, такая уж у него манера.

— Обедали?

— Собираемся.

— Так собирайтесь ко мне. Я вчера таймсня килограммов на восемнадцать выбороновал спиннингом.

Да, такую рыбицу — пуд пять фунтов — выволочь спиннингом, что тащить борону! Глядя на этого тайменя, я даю зарок верить каждому слову Марка Осиповича, и, кажется, зарок не подвел меня. Барон Мюнхгаузен и Тартарен сильно зачернили нам образ правдивого охотника, но были ж, однако, охотники, которые не только не лгали, но остались образцами искренности и в рассказах своих и в жизни: И. Тургенев, С. Аксаков, М. Пришвин. Марк Осипович не писатель и не собирается им быть; как рассказчика я его причисляю скорее к людям типа Пришвина, чем к Тартарену. Он окончил геологический институт, а сейчас заканчивает в Иркутске второй — заочный по звероводству и звероловству. Он на пятом курсе и недавно летал сдавать зачеты. Родом он из Киева.

— Киев удивительно красив,— сказал я,— и не похож ни на один город мира, хотя в чем его особенность — объяснить не смогу. Не манит вас туда, Марк Осипович?

Остановился он в домике своего приятеля, охотника, на улице, ведущей к аэропорту. Железная печка вынесена во двор. Марк Осипович ставит на нее широкую сковороду; хозяин, рослый мужчина, уезжающий завтра не на охоту, а в санаторий по профсоюзной путевке, разжигает печь. Поодаль присел на корточки наш будущий рулевой на моторке — Иван Ильич, хмурый, в темной фетровой шляпе; за ним на завалинке лежит рыжая крупная лайка и кусок медвежьей шкуры. По улице идут в столовую вертолетчики, а над всем — зубчатые лилово-алые вершины хребта Кодар.

На кольях забора, как на Украине,— вымытые горшки. Хозяин бросает масло на сковороду, масло шипит; Марк Осипович, держа большие ломти рыбы, щурясь, подходит к сковороде, кладет на нее рыбу и поворачивается ко мне.

— Не манит ли меня в Киев? Куда манить! Родных у меня нет: все в войну перебиты. Да и воспоминания нехороши. Нет, не манит. А вот в тайгу меня манит непрерывно. Я и отпуск в ней провожу — не в санатории, не в Крыму, как у нас тут заведено: кто на водку не разоряется, копит и едет дразнить Черное море.

— А зачем же вам опять учиться? Почему опять институт? Разве в институте вас научат стрелять зверя лучше, чем в тайге?

— Где лучше! Дело, видите, в том, что я изучаю не только звероловство, но и звероводство. Стреляем мы много, этак и тайгу нетрудно обеззверить. А что тайга без зверя? Вот я и буду звероводом, чтоб потомкам хорошее наследство оставить. Я ведь зверя люблю. По-особому, конечно, но люблю.

С завалинки спрыгнула лайка. Чуть волоча заднюю ногу, она подошла к Марку Осиповичу и нежно поглядела на него. Переворачивая ножом кусок рыбы на сковородке, Марк Осипович сказал, локтем указывая на лайку:

— Кстати, о звере. Видите, ногу волочит? Это в прошлом году медведица повредила. Вон там, в горах, случилось. Собаки окружили медведицу, грохочут. Я было посетал; Бушуев, хозяин вот этой избы, под-

бежал раньше. Бегу и я, так что все лиственницы вокруг в брызгах! Выбегаю на полянку. Собаки грохочут, а мой Бушуев стоит и метится, стоит и метится. «Что за притча?» — думаю. Руки у Бушуева дрожат, никогда с ним такого не бывало. Дело в том, что медведица, вместо того чтоб на нас кинуться, заботливо так на медвежонка смотрит, который на лесину карабкается, спасается, лапчонками быстро так перебирает. Медведица глядит. Бушуев глядит. И я гляжу. Только перевожу глаза — мать пресвятая богородица! — ползет наш желтый пес с перебитой лапой. Медведица его хватила, чтоб не брехал. Тут меня взорвало. «Ах, вы так, почтеннейшая?» И — трах ее! А вообще-то я к зверю не настроен враждебно.

От долгого пребывания среди сибиряков-охотников язык у Марка Осиповича смелый, вольный и живописный; изредка лишь пробиваются канцелярские обороты, и то, когда он в досаде.

Рано утром прошли мы мимо высоко вытянувшегося картофеля к опрятному домику Ивана Ильича, возле которого развешаны сети. (Сетями, как известно, пользоваться запрещено, но в этих отдаленных местах, где «скотского мяса, не дадут наврать, и по праздникам не получишь», на рыболовные сети смотрят снисходительно.) Иван Ильич встретил нас угрюмей вчерашнего. В домике чисто, приятно, младшая дочь учится в школе, сыновья: один — в армии, другой — милиционер. Пока мои спутники ходили за бензином, а Иван Ильич готовил мотор, я спросил жену его:

— Чего это муж-то такой мрачный? Болен? Вроде и не плохо живете и дети не бедствуют.

— Молоко свое, рыбу достаем, мясо тоже — зверя бьет. А вот в городе, оказывается, жить не умеем.

— В Чаре, что ли?

— То-то что в Чаре. Переезжать собираемся. Обидели Ивана Ильича. Прямо на весь город по радио «тунеядцем» назвали! Трезвый еще сдерживается, а как выпьет, так навзрыд. «За что, — говорит, — воевал? Ведь пять штук медалей имею за Ленинград! Ревматизм, порок сердца нажил!»

Лодка, узкая, длинная — такие, наверное, были и при Ермаке, Хабарове, да и раньше — прикреплена цепями к бревнам ряжей. Отблески реки скользят по борту лодки. Приглядываюсь к Ивану Ильичу, который,

укрепив мотор, ставит рядом с собой бензиновые канистры, ящик с продовольствием. На лице его ничего «тунеядческого» нет, лицо как лицо. (Правда, за доставку обратно он слупил с нас за триста километров по воде шестьдесят рублей — бензин причем был наш! — но я извиняю это тем, что он, слыша наши разговоры о литературе, принял нас за собратий тех, кто назвал его столь обидно.)

Километров через пять мы вступаем в преддверия лиственной тайги. Начинаются отмели. Лодка лихо их огибает. Поднялась стая уток. Марк Осипович готовит спиннинг.

«Т-з-з-з!..» — свистит блесна.

Марк Осипович мотает леску и, чувствуя, что рыбы нет, спокойно говорит:

— Оставайтесь до сентября. Начнется перелет...

— Да мы и так все время от Онона до Чары едем навстречу перелету.

— Ну, это лишь одиночные стаи. А вот когда полный лет с просторов Севера — тучи! Гуси, утки, лебеди. Поехали мы — тоже с Бушуевым — лодкой на озера. Попросили нас дичи заготовить для столовой рудника в Наминге. За три часа набили мы полную лодку. Не верите, в Наминге спросите. И преимущественно гусей, хотя и неприятно их было бить. Гусь летит там низко, стаей. Бьешь в передних. Они падают. И что вы думаете? Стая отлетает, задние заменяют передних, и стая опять летит на тебя. Героическая птица гусь! Жалко даже. Не раз с одного выстрела убивали по три-четыре.

И Марк Осипович, снова забрасывая блесну, с озабоченным видом прошептал в реку, очевидно, рыбе, которую он видел:

— Ходи-ка сюда!

А рыба и не шла.

Молчание прервал заработавший мотор. Омут остался позади, а за ним блестел и переливался перекат и песчаная отмель.

Гляжу на Чару, не отрывая глаз, и временами глубоко вздыхаю от восхищения. То ли давно не видел я лиственной тайги, то ли впервые вижу такое поразительное сочетание лиственниц, песка и стремительно дробящейся синей воды? Огромные лиственницы, прямые и свежие, еще в пяти шагах от берега стоят

недвижно, точно замирая от страха. Но вот они приблизились, воды как бы притягивают их своей дрожащей глубиной, они наклоняются — все ниже и ниже... Иногда наша лодка проносится под их сводом, почти касаясь хвои. Иногда лодка огибает дерево, уже упавшее в воду, ствол которого непременно тянется по течению, а вершина, ободранная, острая, то окунаясь в струи, то выскакивая, издает глухой, чуть уловимый звук: «Дз-быззы-дзы-ы...»

Лиственницы наш рулевой Иван Ильич называет «листвлянками», и они, по его словам, склонны к «большим выворотам». Дело в том, что лиственница в этих местах растет до определенного размера, позволяемого ей вечной мерзлотой, которая здесь почти всюду. Корни лиственницы, стало быть, растут не в глубину, а в ширину. Река с легкостью и, я бы сказал, с каким-то затаенным сладострастием вырывает лиственницы из почвы и уносит их, образуя завалы.

Особенно велики завалы на мысах, там, где река делает изгиб или раздваивается. Окруженные белесыми песками завалы лиственниц причудливы, а порой и страшны. Корни, как я уже говорил, растут здесь в ширину, перепутаны, и когда вывороченное дерево попадает в завал, да еще комлем вверх, то нередко кажется, что это стальные великаны натянули на себя широкополые шляпы. Стальные — потому что стволы их обнажены, вода с легкостью обдирает с них кору,— они цвета полированной стали, чуть, пожалуй, тускловатой, и вдобавок ствол крепости необычайной: столетиями способен он пролежать в земле, не загнивая и не делаясь дряблым.

Мы завтракали на песках возле одного такого завала. Нанесенные водой лиственницы лежали друг на друге в несколько рядов, устремляя вверх свои темные комли. Я насчитал триста шестьдесят семь лиственниц и бросил считать — позвали пить чай.

Река петляет. Хребет Кодар то приближается, то отдаляется. То мы видим во всей ее красоте гору Залом (подле нее, говорят, геологи нашли большие запасы каменного угля), то Залом исчезает. Иногда солнце светит нам в спину, иногда в лицо.

— Река ходит шибко,— говорит Иван Ильич,— мысов-то, мысов!

Марк Осипович, по-прежнему продолжая «сечь» реку спиннингом, подхватывает:

— Зато по таким мысам зверя гнать удобно зимой. По льду зверь боится быстро бежать, а в лес его собаки не пускают. Ну, идешь наперерез мыса, там и встречаешь его. Надо вам добавить, что наша собака, лайка, в отличие от гончих гонит без голоса. А когда «поставит» зверя, дает голос. Услышишь, и на сердце такое, что вроде не доел, а там начинает тебя вроде дратвой всего прошивать. Стоит он не вялый, рога, как черт-дьявол, кто ни подойдет, тот не отойдет,— кто это? Сохатый. Хе-хе! — Марк Осипович смеется негромко, про себя. — Главный вопрос, к которому я возвращаюсь,— рыба... Выключи-ка мотор, Иван Ильич.

Два часа дня. Перекат. За перекатом — глубина, темно, как в земле. Марк Осипович приподнимается, поддергивает высокие болотные сапоги и, сутулясь, «сечет» спиннингом.

— Здесь водятся ленки. А взять вряд ли возьмут. Да и таймень в эти дни лишь начинает спускаться с холодных горных ручьев в Чару. Рыба сейчас неохотно берет — особенно у писателей,— шутит он.

Так оно и есть. Несколько часов два спиннинга почти подряд «секли» реку непрерывно, и — ни одного клевка.

9. Эвенкийский оленеводческий колхоз «Заря» и Саломатовский порог

Весь поселок вышел нас встречать на крутояр.

Сознаюсь, я пренаивно полагал, что увижу здесь эвенков в их национальных костюмах, окруженных оленями, а за оленями — чумы. Ничего национального здесь я сразу не заметил, если не считать плосковатых, слегка скуластых лиц да узких глаз, наполненных черным огнем. Одеты эвенки так же, как и все мы, разве только тут больше, чем где-либо, резиновых сапог. Женщины одеты даже и щеголевато. (Одна эвенкийка пришла на наш литературный вечер в модной шляпке, в очень красивом платье и, кажется, в перчатках.)

Среди полусотни или больше новых лиственничных домов — только один чум, служащий, по-видимому, погребом. Чум — неподалеку от клуба, крыт лиственничным «корьем». За чумом старик эвенк ведет на паст-

бище несколько оленей с коричнево-бархатными рогами, огромными, совсем не по их росту. Глаза у оленей кроткие, домашние, а рога дикие, из чего можно заключить: оленям приходят иногда в голову древние мысли, что и случается в действительности.

Кроме клуба (о котором речь впереди, как и о нашем литературном вечере), здесь имеется интернат для детей, родители которых — охотники или оленеводы — уходят надолго в тайгу, общежитие — дом молодых холостяков, пекарня и большой, только что отстроенный магазин, обнесенный гигантским деревянным забором; подобные я видел на гравюрах, изображающих старинные сибирские крепости. Улицы засыпаны упругой лиственничной щепой; куда ни пойдешь — всюду сопровождает тебя сладкий смолистый запах.

Мы поселились в домике фельдшерицы Лили, муж которой, Иван, служит при клубе механиком. Лиля — бойкая, говорливая, большеглазая женщина, а муж ее, с ласковыми, смирными глазами — из тех, в которые всегда страшновато смотреть,— наоборот, медлителен и молчалив. Комната, как и всюду здесь, единственная в доме, разгорожена, как и всюду здесь, дощатой перегородкой. За перегородкой — горние дела: врачебный пункт; Лиля принимает здесь больных. Два дня спустя после нашего приезда в соседнем доме раздался взрыв. Клубы мягкого дыма хлынули из окон и дверей. Молодой эвенк — не то от патронного капсюля, не то от брошенной в банку папиросы — взорвал порох. Все обошлось довольно легко: эвенк обжег себе лицо, не повредив глаз. Возвращаясь в Чару, мы обогнали лодку, на которой его везли в больницу; больной, прикрыв лицо платком, лежал в лодке — загорал. Прогресс, как видите, шествует повсюду.

Дверь в сени обита оленьей шкурой. Но с потолка свисает шнур: электричество появляется зимой. Летом, во-первых, ночи коротки и светлы, а во-вторых, много работы, где там забавляться светом. Возьмите, к примеру, покос.

Когда мы зашли в дом, Лиля и ее муж Иван только что вернулись с покоса. Лето на редкость дождливое, поэтому в ясный день косят все жители поселка. Покосы здесь своеобразны: косят в болоте, косцы все в резиновых высоких сапогах, а скошенную траву сушат, развешивая ее на кустарники.

Лиля приняла нас заботливо, как родных. Иван немедленно разжег на дворе железную печку и поставил варить и жарить щук, несколько штук которых поймал утром на соседнем озере.

— Клюют? — спросил задумчиво Марк Осипович.

— И щука берет и окунь.

— Сходим завтра утром со спиннингом!

Спрашиваю у Лили:

— Ну, как вам тут живется?

— А очень хорошо! Пожаловаться не на что: и пища, и радио, и все «кина» присылают. Нет, мы довольны. Конечно, есть недостатки...

— Например?

— Привезли, например, в магазин персидские ковры — не успела купить, расхватали.

Читатель, наверное, улыбнется: откуда быть в тайге персидским коврам? И что, мол, писатель выдумал! Никакой выдумки. «Персидским ковром» называют здесь два с половиной на полтора метра кусок хлопчатобумажной материи, покрытой узором, несколько схожим с персидским ковром. Кусок этот прибивают у кровати на стенку для украшения, и он очень ценится. При мне в Читинский обком партии, в отдел культуры пришел некий ловкач, который предложил обкому свое изобретение — быстрое и дешевое печатание таких вот «персидских ковров». Причем желательность «внедрения» своего изобретения ловкач обосновал важностью борьбы со спекулянтами. Значит, действительно велик спрос, если уж «изобретатели» печатания «персидских ковров» появились!

— Появятся еще у вас персидские ковры,— успокоил я Лилю.

— Вы уверены, что появятся? — с надеждой спросила она.

— Уверен. А еще какие недостатки?

— Да вот еще «посылки — почтой» не высылают нам спиннинга. А спиннинг для нас — вся жизнь.

— И спиннинги у вас появятся,— ответил я твердо. Боюсь, что Лиля посчитала меня за болтуна, потому что других недостатков она не назвала.

Марк Осипович вернулся от Николаевых. Председатель колхоза еще не приплыл из Чары, а зампредседателя не решается вытребовать оленей из тайги для «слюдяной поездки».

— Вообще-то эвенки оленей дают охотно, и «олешки» — не проблема. Проблема — Николаевы. Либо старику действительно неможется, либо старик крутит. Бедро, голень, видишь ли, у него сегодня заныли! Боюсь, заныло у него другое. Старики эвенки неохотно показывают нам рудные места. Придут шахтеры, разведут рудник, зверя перепугают — чем охотнику жить?

— Однако вы сами говорите, эвенки охотно дают своих «олешек» геологам?

— Охотно. А почему? Рубль в день за оленя, десять рублей старыми деньгами! Это большой заработок. Десять оленей у него — сто рублей, пожалуйста. А попробуй-ка выколоти эти сто рублей на покосе или даже на охоте? Выгодно — и мирятся.

— А сам молодой Николаев?

— Молодой Николаев пойдет охотно, но уж очень был юн, когда они наткнулись на руду; кажется, не очень-то твердо помнит то место. Да и неизвестно, председатель отпустит ли его: сенокос, конференция, зима на носу... — Марк Осипович поворачивается к хребту Кодар и рассматривает тучи. — И без того дней у нас мало, а тут, боюсь, еще дождь. Смотрите, сколько туч-то наломало. Мобутовцы!

Марк Осипович никогда не ругается. Самая злая ругань на его устах — «мобутовец».

— Да и вам в тайгу под дождем какая радость!

— Мы дождь-то не очень замечаем.

Утром я проснулся часов в шесть. Иван и Марк Осипович уже ушли на озеро. Пока Лиля хлопотала над завтраком, пока Иван Ильич готовил лодку зампредседателя, молодой Николаев и старый тощий эвенк в очках показывали нам свой поселок.

Вошли в магазин, просторный, светлый. Широкие шкафы еще не поставлены вдоль стен, прилавок еще не покрашен, но заметно, что в магазине поместится много товаров, а продавцам за прилавком будет стоять приятно. Николаев подводит нас к большой печи и говорит с удовольствием:

— Прошу заметить, глины в районе нет. Кирпичи, прошу заметить, делают из ила, они оттого рыхлы и печи валятся. А эта никогда не упадет! Кирпич огнеупорный.

— Хотите сказать, что привезен из Читы?

— Именно. Из Читы самолетом, а сюда лодкой.

— Вскочило это колхозу в копеечку?
— Что поделаешь, приходится жить культурно.
Я спросил:
— Поедете с Марком Осипычем слюду искать?
Он ответил уклончиво:
— Следовало бы.
Я воскликнул:
— Дело государственное, культурное!
— Конечно, а только что же зря олешек в тайгу гонять?
— Как зря? Вы же принесли в райком руду?
— Вроде и мы. Кабы я ее дома приберегал, а то сдал, сказал место, да и забыл.
И то верно.
За колхозом «Заря» до самого Саломатовского порога река все расширяется, все наливается, и плесы за перекатами и отмелями все длинней и глубже. Притоки втекают как-то незаметно, без шума и грохота, точно река бережет весь шум для перекатов.
Горизонтально к воде качаются и шуршат не только те лиственницы, что растут на берегу, но метра на три ниже из серо-голубого ила, уже у самой воды, торчат такие же лиственницы, точно отражение, только без хвои. Эти лиственницы когда-то (быть может, во времена первых казаков, проходивших этой рекой) затянуло в воду, покрыло илом, затем река отошла, берег поднялся, на нем снова вырос лес, снова подошла река, стала мыть берега — и вымыла этих великанов, что пролежали в иле сотни лет!
— Ну, уж если здесь не «посечь»,— говорит, поднимаясь во весь рост, Василий Григорьевич,— будет преступлением! Я же вижу их, вижу тайменей.
И таймени видят блесну, но не желают ее брать.
— Поплыли? — упавшим голосом сказал Василий Григорьевич.
— Поплыли,— ответил Иван Ильич мрачно.
А места все красивей, все величественнее.
И хребет Кодар заметно приблизился.
Что это? Крутой берег не из песка, а из синего ила, перемежающегося с кусками спрессованного снега, похожего на лед. Вечная мерзлота? Ил, плотный, мокрый, образует что-то вроде длинных гротов, с потолка которых непрестанно отрываются куски и кусочки, окрашивая

реку — от берега до берега — из темно-синей в светло-голубую.

— Тут вулкан был,— заметил спокойно Иван Ильич.

— Вулкан?!

— Грязевой вулкан. Лет пятнадцать назад он был еще в тайге, бурлил, клокотал, а теперь река его смыла, только остатки торчат.

Вулкан в вечной мерзлоте?

— А черт ее, эту вечную мерзлоту, поймет! — говорит Иван Ильич, осторожно огибая берег из голубого ила. — Копал я как-то колодец в колхозе «Таежный»: у них вода далеко, вздумали поискать ближе. И на глубине четырнадцати метров, в вечной мерзлоте, наткнулся я на бревно лиственницы, не в охват! Четырнадцать метров!

Чара перед Саломатовским порогом особенно широка. Она огибает Утюг, песчаный мыс, образует залив, словно желая отдохнуть перед тем, как войти в ущелье, а затем среди валов из гранитного валуна — была не была! — кидается к скалам.

Скалы справа, скалы слева, будто желают образовать свод над рекой. На скалах — лиственницы, березы, мелкий кустарник; на душе веселее, когда смотришь на зелень. Скалы бегут вверх, словно воевать с кем-нибудь собираются, словно им мало здесь шума и грохота, словно мало ветра и влаги.

Под ногами сыро, ноги скользят по гальке; поднимешься чуть на берег — мокрые деревья, мокрый мох. Все пропитано влагой. Влажный, властный и сильный ветер дует и не в состоянии сдуть эту влагу. Ветер злится, и гул мчится по камням.

Перед нами — порог.

Голубые волны взметываются кверху, как прибой на море, перекатываются через невидимые валуны, падают, опять устремляются вверх, опять падают.

— Ремесло большое,— говорит Иван Ильич, рассматривая волны и заложив руки за спину.

— А проплыть все-таки можно,— нерешительно утверждает Гоша.

— На плоту можно, а лодкой нельзя.

— И лодкой можно. Говорят, две недели назад какие-то гидрологи проплыли тут на резиновой лодке.

— Никто не видел, как они проплыли. Может, лодку на руках по берегу обнесли?

— Ну, а следующие, Иван Ильич, пороги каковы?

Нахмурив брови, Иван Ильич ответил:

— Следующие? К следующим я не плавал. Сколько лет живу, а нужды не было к ним плыть.

— Нужда-то есть, да уменья не хватит,— сказал, помолчав, Василий Григорьевич и, как всегда, сказал правильно, хоть для нас и не очень лестно.

Надо сознаться, да уменья не хватит.

И главное, никому не известно, какие пороги впереди и сколько их! На карте «Атласа мира» Саломатовский порог, например, обозначен, а на крупной карте Читинской области его совсем нет. И можно ли те другие пороги, что лежат дальше, обойти по берегу, или скалы там вплотную подходят к реке?

— Предлагаю приплыть сюда осенью будущего года,— говорит Василий Григорьевич,— пожить подольше где-нибудь рядом, исследовать пороги, а тогда...

Да, тогда! А сейчас? Сейчас прощай Олекма, в которую впадает Чара; прощай Лена, в которую впадает Олекма; прощай вообще Якутия!

Уместно также было вспомнить тут случай с безрассудными туристами из Свердловска.

— Куда теперь? — спросил Иван Ильич.

— На Горячие Ключи.

То есть обратно.

За песчаным мысом Утюг лодку воткнули в берег и по медвежьим и козьим следам — здесь, по-видимому, звериный водопой — вышли на перешеек, откуда увидали озеро Горячих Ключей.

Озеро небольшое — километра два-три в длину и полкилометра в ширину — раскинулось в долине, густо заросшей лиственницами. По ту сторону озера, в левом краю его (если смотреть с перешейка), и бьет мощный сероводородный источник, температура воды его — шестьдесят градусов. В народе ходит слух, что источник очень целебен. Райисполком поставил возле источника две избы для больных, над источником — сруб, два отделения, комнатки для мужчин и для женщин; сюда даже завезены эмалированные ванны! В крошечном коридорчике чья-то сердобольная рука повесила расписание: со скольких минут начинать принимать ванны и на сколько увеличивать лежание в них.

Ну, авось поможет и нам: отказаться от Якутии, Олекмы и Лены — тоже болезнь! Черпая нестерпимо

горячую воду ведром прямо из источника и через деревянный желоб наполнив ванны, полезли и мы туда.

И лежали согласно расписанию.

И вроде бы помогло.

Распаренные, утомленные, долго мы сидели на поваленной сучковатой лиственнице, служащей больным скамейкой для отдыха и приспособлением для чистки рыбы: половина лиственницы густо покрыта блестящей рыбьей чешуей. Рыба здесь — большое подспорье для больных. Ее ловят сетями, но и удочкой за час можно наловить ведро окуней.

Обратно через озеро на перешеек переправляли нас плоскодонкой двое мальчишек. Один из них, постарше, лет тринадцати, востроглазый, спросил меня:

— Дедушка, а вы — в Чару?

— На денек в «Зарю», а потом в Чару.

— Возьмите меня с собой!

— Вот те на! Учебный год еще не начался, да и с тобой, поди, тут родители?

— Родители. А я у них отпросился.

— Зачем же тебе в Чару?

— Кино. А то здесь скучно.

— Скажи, пожалуйста! Какая ж тут скука! Тут раздолье — тайга, звери, лоси, медведи...

— Что, видмеди? Вон там, в овраге, видмедь лежит. Вчерась на него наткнулись. Воняет уж. Скучно на них смотреть, на видмедей-то.

На лице паренька действительно скука. Другим бы мальчишкам посмотреть на этого вонючего медведя — на всю жизнь хватило бы рассказывать, а этот... Да что осуждать мальчишку! Сами мы тоже хороши. Нет чтобы повернуть плоскодонку и посмотреть в овраге медведя! Даже Гоша и тот молчал, а ему-то медведь куда как нужен для сказок.

В ограде фельдшерского домика мы наткнулись на зрелище, для рыболова праздничное. В течение трех или четырех часов Марк Осипович и Иван натаскали спиннингами около ста килограммов окуней и щук. Еле дотащили.

Рыба заполняет железное корыто, какой-то полотняный полог и лежит просто на траве. Приглашены все соседи; каждому дарится несколько щук. Улов, впро-

чем, удивляет только нас, приезжих. Эвенки берут щук спокойно, говоря:

— Значит, щука начала клевать? Скоро, значит, и таймень будет брать.

10. Литературный вечер в эвенкийском клубе

В избе Василий Григорьевич диктует Ивану афишу нашего литературного вечера, а в ограде, возле забора и железной печки, Гоша, Лиля, молодой Николаев и худощавый эвенк в очках внимательно наблюдают, как впервые — и, может быть, не только в их поселке, но и во всем районе — готовится фаршированная щука. Готовит ее Марк Осипович, готовит с наслаждением, восторгом даже. Наслаждение его усиливается еще и оттого, что он чувствует, как окружающие изумляются его искусству.

— Лиля, гляди и учись,— говорит он, ловко разделывая щуку. — Чем лаптю кланяться, лучше поклониться сапогу.

Я подсаживаюсь, чтоб полюбоваться его работой, и между прочим рассказываю о Горячих Ключах, о мальчике и вонючем медведе в овраге.

— Повестей о медведях тут сколько хотите,— говорит Марк Осипович,— потому что зверь этот хитер, силен и с неожиданностями. Есть такие, что умрут от разрыва сердца при первом звуке вашего голоса, есть и такие, что задерут вас, не моргнув глазом. Стоит тут недалеко гора Большой Казбек...

— Почему Казбек?

— Ну так, взяли да и назвали ее первые открыватели. Мыли мы в тех местах шихту, брали пробу. Был я с приятелем, ну и, разумеется, палатка. Всем хорош, геолог прекрасный, но вдруг оказалось — медведей боится. Это тоже не редкость. К тому же там действительно медведь бродил, людоед, уже двух человек уничтожил. Это вам подтвердят...

Вдруг Марк Осипович закричал с азартом:

— Лиля, фарш готов?

Фарш — из мякоти щуки с прибавкой моркови и свеклы, сорванных тут же, в огороде. Лиля несет фарш Марку Осиповичу с воодушевлением и боязнью. Ей страстно хочется научиться фаршировать щуку.

Накрапывает дождь, но никто на него внимания не обращает. Из окна доносится голос Василия Григорьевича, оканчивающего афишу: «Вопросы и ответы. В заключение — фильм». Всюду поблескивают рыбы: в железном корыте, на лавках, на траве.

— Щука-то, поди, развалится и упадет, когда мы ее понесем на сковороду,— говорит Лиля.

— Ну да! Ничего не развалится. И, кроме сковороды, мы ее еще — в кастрюлю; кастрюля лучше изнуряет рыбу. Развалится?! Весь фокус тут, чтоб приготовить удачный фарш. А ты как будто ничего приготовила. Ну, давай набивать! Будет, знаешь, мое почтение! Яиц не пожалела? Яйца, знаешь, крепость фаршу дают. Та-ак, а пожалуй, маловато будет нам сковородки и кастрюли?

— Можно и две кастрюли?

— А что ж! Хватит и на две. — Марк Осипович рассматривает огромную, метровую щуку. — Подтащил я эту к берегу, а чем ее добить? Ни мелкокалиберки, ни молотка. Сунулся в карман, а там флакон от одеколона, толстый, прочный. Я и хвать флаконом ее по башке! Ничего получилось.

Лиля говорит с уважением:

— У тебя всегда получается.

Я прерываю:

— Позвольте, а как же с людоедом?

— С каким людоедом?

— Да вы начали рассказывать о медведе возле Большого Казбека.

— А, отвлекся! Легли мы. Ночь. Приятель то и дело будит меня: «Марк, кто-то ходит!» — «Мерещится тебе!» — «Ей-богу!» Прислушаюсь. Никого. Уж недалеко к рассвету, будит он меня опять и шепчет: «Марк, теперь-то, честное слово, медведь». — «Иди к черту, спать хочу! Где медведь? Тьма!» — «А вон он стоит». Выход из палатки — на веревочках, я дернул потихоньку. Высунул голову. Тьма не тьма, а так чуть-чуть светает. Роса по верху травы еле-еле поблескивает. И стало как-то нехорошо на сердце. «И полно,— думаю,— тут что-то неспроста». И приятель рядом порывисто так дышит; ухватился за древко, аж палатка вздрагивает. Постепенно кое-что вижу. Прямо от нас — ложбинка, ручеек. А на том крутоватом бережку стоит зверь. Стоит так, как мне его эвенки описывали; они это умеют,

передать вам невозможно, а зверя узнаешь. Он. Людоед. Спустя минут пять, что ли, стало совсем светло. Видно даже, как ноздри у медведя движутся. Беру карабин и думаю: «Как быть? Бить надо верно. Ранишь, упадет под обрыв, в ручей, поднимется — и на нас, ну и готовь саркофаг». Жду, когда боком ко мне встанет. А тут еще приятель с испугу подталкивает меня легонько — действуй-де. «А вдруг,— думаю,— подтолкнет не вовремя, когда я нажму?..» И как дам ему ногой в живот! Он летит в другую сторону палатки, а я — «ба-ах!». Зверь упал, ногами задрыгал. Мой приятель, хоть и испытывал от моего удара большую боль, позабыл ее, да и закричи в восторге: «Ура!» А кричать в таких случаях не надо. Зверь собирает тогда все силы и уходит. А там попробуй найди его в тайге. И этот собрал — и ушел. Правда, когда совсем рассвело, мы его обнаружили метрах в двадцати от нас. Мертв. Удивились мы. Я ему артерию пробил, а он набрал-таки сил уйти. Медведь — зверь со всем прибором.

Худощавый эвенк в очках подтвердил:

— Это верно. У него прибора много. Раньше, когда шаманы были, медведей резали из дерева и много их ставили вокруг помоста, на котором шаман камлал, то есть плясал и, ну там, пел, что ему положено было.

— Так-то оно так,— подтвердил Марк Осипович,— а все-таки самое священное животное — волк. — И он обращается ко мне: — Эвенки великолепно делают силки и капканы, но к волкам их не применяют. Знают логова, нуждаются в деньгах — по цене шкура волка равна шкурке соболя,— но волчьего логова никогда не разорят.

— Это только некоторые старики,— говорит с явным неудовольствием молодой Николаев. — Молодежь этого не придерживается.

— А может быть, и некоторые минералы вроде слюды тоже священны, как волки? — спрашивает, ухмыляясь, Марк Осипович.

— Ну, это уже глупость.

Я перевожу разговор на шаманов. Худощавый эвенк в очках, выговаривающий букву «ш» как «с», говорит о них охотно:

— Теперь шаманов нет, а раньше были большие, хорошие головорезы. И голос, однако, у них был

большой. И, бывало, вылечивали, хоть брали дорого. Я мальчишкой часто видел, как они шаманят. Сначала делают ему помост из больших не пиленых, а колотых плах — это непременно. Зачем — не знаю. Помост делают так — по пояс мне. А вокруг помоста ставят вырезанных из дерева больших волков, медведей, тайменей, щук, птиц, всю тайгу и всю тундру. И еще подводят олешка к помосту. Шаман присядет — и сразу вспрыгнет на помост. Большая сила. Мы пробовали, никак не выходит. Потом он камлает, потом упадет на край помоста, наклонится, а тут уж олешка подвели ему. Он надрез сделает, руку сунет, вырвет сердце и больному приставит. Надо большую силу иметь, чтоб у живого олешка сердце рукой вырвать.

— Самодурство,— сказал решительно Николаев.

— Конечно, самодурство. Однако были случаи. Вот у меня отец одну весну неудачно рыбу ловил. Рыба в сети, а вдруг начинает переметываться через сеть и уходить. Позвал шамана, тот тоже был рыболов и охотник. Постучал тот бубном над сетью, сказал какие-то слова — перестала рыба переметываться.

— И опять самодурство,— продолжал свое Николаев.

— Конечно, самодурство. Но только тот шаман за снежными баранами умел охотиться.

Марк Осипович объяснил:

— Снежный баран — редкое и необыкновенно чуткое животное. Живет высоко в гольцах, подступы к нему трудны, да и мало баранов-то. А оттого мало, что гибнут в снежных обвалах. Правда, они их умеют чуять, но все-таки не всегда. Это верно. Из эвенков за снежными баранами никто не охотится... Но и охотиться на них нужна особая сноровка...

Марку Осиповичу помешали окончить рассказ о снежных баранах — появился Иван: писателей, дескать, ждут в клубе.

Я, как видите, внимательно слушал Марка Осиповича, глядел, как он готовит фаршированную щуку, и даже записывал некоторые его рассказы. Но в глубине души я был немало смущен. «Что же мне-то рассказать эвенкам? — думал я. — Что их способно заинтересовать из виденного мною на белом свете, из того, что написано мною и моими друзьями?» Я перебирал и то и другое — и видено мною немало, и написано тоже.

Клуб для небольшой деревни, где сорок — пятьдесят дворов, довольно вместителен: десять рядов стульев, кинобудка, эстрада и посередине, как водится, железная печь. На эстраде во всю заднюю стену — экран, плакаты и большими буквами: «План выхода из клуба»,— хотя две двери отовсюду видны явственно и выходят они прямо на улицу.

Слушатели одеты празднично. Не шелохнутся, не кашлянут, даже мальчишки и те замерли. «Что за диковина? — думаю. — Откуда такое внимание?» Ну, а потом, когда разговорились, когда посыпались вопросы, стало ясно, что внимание — от действительного интереса к литературе и, более того, от отчетливого знания ее.

Знают не только столичную литературу, но и областную не меньше.

И зарубежная литература им известна, особенно, разумеется, классики. Некоторые из слушателей — люди со средним образованием, а трое — с высшим, один из них «литератор», то есть преподает в школе литературу.

Разговаривали долго, до часу ночи. Узнав, что в этом году я был во Франции, Японии, Англии, задавали много вопросов: как там теперь живут и многое ли знают о нас? И ни одного вопроса, который можно было б назвать наивным и которого, признаюсь, я — по своей наивности — ожидал!

Вот несколько вопросов, которые я успел записать: они указывают на широту мысли и воображения нашей аудитории.

— Вы рассказывали об Японии: какие из японских книг надо прочитать, чтоб лучше узнать современную Японию?

— Какие вы лично знаете иностранные языки и много ли знают языков советские писатели вообще? И сколько им как минимум положено знать языков?

— Кто из советских писателей знает эвенкийский язык, чтоб дать нам консультацию, когда мы напишем по-своему, по-эвенкийски?

— Вы, видно, много ездите; как вы организовали свой труд, чтоб успевать еще и писать?

— Вы говорили о Наири Зарьяне, вашем спутнике по Японии, думает ли он писать книгу об Японии?

— Что пишет крупного Илья Эренбург?

— Кем был в вашей жизни Максим Горький?

— Жив ли кто из семьи Горького и что они делают?

— Что нового написали читинские писатели? К нам приезжал из Читы писатель Илья Лавров; говорят, в романе «Встреча с чудом» он описал наш колхоз. Если так, надо бы почитать и обсудить роман: сколь верно описано?

— Очень просим и вас и ваших товарищей пожить у нас годик, вникнуть поглубже, понять получше. Мы создадим все условия.

Несмотря на то, что завтра на покос идти с рассветом, из клуба никто не уходил. Трое ребятишек, ожидавших своих матерей, спали на стульях. Стало совсем тепло. Раскрыли двери, и с площади нас то и дело обдавало прохладным и влажным воздухом ночи.

Когда слушатели разошлись, Марк Осипович подвел меня к плану работ колхоза, вывешенному возле кинобудки.

— Читайте-ка,— сказал он. — «В том числе оленей имеется три тысячи голов. А с выращенным... три тысячи пятьсот девятнадцать».

— Ну что ж, прирост хороший.

— Хороший-то хороший, а вы читайте дальше: «Утеряно без вести и затравлено хищниками сто тридцать шесть голов оленей»! Почти треть выращенного приплода! А вы говорите, что нам, охотникам и звероловам, нечего делать в тундре! Волков бить прежде всего! Но прежде чем переходить к волкам, я доскажу вам о снежных баранах.

Признаться, взволнованный литературным вечером, я и забыл про снежных баранов. Я засмеялся.

— То снежный человек, то снежные бараны.

— Нет, снежные бараны действительно существуют, хоть и редки. Их валят, когда они, «королясь», сражаются из-за самок. А вообще охотиться на них крайне трудно. Гольцы, мох да камень — подступа нет. И вот с год тому назад приехали на Кодар два каких-то знаменитых стрелка: добыть для музея шкуру снежного барана. Не вы ли, Николаев, давали им олешек и проводников?

— Не мы,— сухо ответил Николаев, опасавшийся, по-видимому, опять намека насчет слюды.

— Мех у него к зиме, правда, красив. Ну, ходят стрелки день, два, три по гольцам, две недели ходят. Ветра, холода, в животе уже — голодьба. Возвращаются они как-то к скалам, у подножья которых их лагерь и

олешки с проводниками. Старший, Петр по имени, говорит младшему, Семену: «Знаешь, Сема, устал я. Давай перед спуском к лагерю покурим-потянем, родителей помянем». Ищет Семен табак в карманах — нету. Ищет и Петр — нету! Фу-ты, боже мой! От потери табаку еще большая усталость, прямо ноги не двигаются. Вдруг Семен вытаскивает из кармана ватника маленькие костяшки домино, бог весть как туда попавшие; может, в спешке, когда на охоту собирался, сунул? «Ну, что ж делать, Петр, давай сыграем, все-таки отвлечение от дум». Сыграли партию и увлеклись. Вторую, третью... Только через полчаса или час спустя поднимает Петр голову, чтоб сплюнуть,— видит метрах в ста в скалах... какое-то скульптурное изображение на плоскости...

— Горельеф?

— Вот именно! Горельеф на скале. Чей же? Козла.

— Наскальные изображения?

— Какое! Просто снежный баран стоит у скалы, и все. Тут только Семен вспомнил, что проводники-эвенки не раз утверждали, будто горные бараны страшно любопытны, и тот, кто горазд на выдумку, может их приманить. Глаза у них, как телескопы, вот они и видели: сидят на камнях люди, странно размахивают руками... ближе, ближе... и встали у скал горельефами! Хорошо. Кладет наш Семен камушек домино, незаметно наклоняется, хватает винтовку — трах! Есть шкура.

Николаев, смеясь, протестующе воскликнул:

— Это уж сказка! Анекдот.

— Есть свидетели, подтвердят.

— Тебя любят, тебя все подтверждают.

— Так и ты слюду подтверди!

Вот к чему вел свой разговор о снежных баранах Марк Осипович!

Перед сном, отведав фаршированной щуки, которая удалась на славу, мы подарили свой спиннинг Ивану. Случалось мне видеть счастливых людей, но такого счастливого я видел впервые. Он как-то весь заспесивился, заважничал и, схватив спиннинг дрожащими руками, вдруг сказал:

— Очень удачный литературный вечер!

Мы не засмеялись: мы поняли, что́ именно он хотел сказать. А Лиля добавила:

— Теперь я верю, что и персидские ковры привезут.

Этому я тоже верю.

Поутру накрапывал дождь. Иван Ильич сидел, нахохлившись, у руля, и вся его фигура говорила: «Многое я видел, многое вытерпел, но такое впервые!» Дождь прикрывал деревню, озерко, дождь был как пелена, на фоне которой горельефом вырисовывались Марк Осипович, Лиля, Иван со спиннингом, худощавый эвенк в очках, эвенкийка в модной шляпе и туго обтягивающем ее модном, едва ли не парчовом платье.

Гоша крикнул, когда лодка отчалила:

— Желаем всем счастья, а вам, Марк Осипович,— слюду найти!

Марк Осипович, поддернув резиновые ботфорты, предостерегающе поднял руку и сказал хриплым голосом:

— Но-но, не сглазьте! Чего не чаешь, то скорее сбудется.

11. «Светоч железный, а ум деревянный» *Мы таки улетаем в Удоканскую экспедицию*

Мы приплыли в Чару поздновато. Кое-где у почты, райкома, райисполкома, магазина зажглись желтоватые лампочки, разливая тускловатый свет по черной земле и серым тротуарам. По дороге в гостиницу зашли в книжный магазин: не получены ли новые книги к Дню шахтера? Продавщица узнала нас (мы были у нее перед отъездом) и подала нам стопочку «свежих стихов». Василий Григорьевич спросил:

— Стихи покупают?

— Местные плохо, все больше геологи да туристы.

— Кстати, что слышно о свердловских туристах?

Ответил вертолетчик, отбиравший книги по политэкономии:

— Вот еще беда! Тут самое время овощи везти из Читы, а ты ищи туристов. И самолеты гоняем и вертолеты. Пока нашли в речке ручные часы, а у берега плот и рюкзак на нем. Людей же следа нет.

И все опять углубились в книги, изредка обмениваясь сдержанными фразами. Вдруг ввалился туполицый белесый парень в расстегнутой серой рубахе до колен, что-то пробурчал одному, другому. Его переспросили:

— Да врешь!

— Молва ходит,— пробормотал он и вышел, а за ним следом вывалились почти все, кто был в магазине.

Недалеко от магазина — столовая. Ветхая старушка, сопровождаемая не то внуком, не то сыном, несла оттуда домой ужин. Три судка стояли на земле, два она держала в руках. Отсвечивали стеклянные пуговицы на ее коротком пальто.

— Гриша! Гриша! — восклицала она отчаянно, поднимая судки.

А Гриши и след простыл.

Василий Григорьевич сказал с глубоким вздохом:

— Теперь увидим картины.

Старушка, вкладывая какой-то свой глубокий смысл в слова, сказала древним, напевным говором, указывая на электрическую лампочку:

— И светоч им поставили железный, а ум у них все деревянный. — И, чихнув, добавила: — И чо они к ней приладились, трафи их!

Водку в Чару, а тем более в Намингу — центр Удоканской экспедиции — завозят редко. Но близок День шахтера, и, кроме книг, Чара получила водку. Мелькнули первые признаки пьяной грозы: старушка и ее вопль «Гриша!», исчезновение покупателей из книжного магазина, нервно зевающий прохожий, вытаращенные глаза которого словно прикованы к счастливцу, несущему четыре бутылки...

Климат ли, тяжесть ли работы в условиях Крайнего Севера, странные ли пейзажи, вызывающие, как я слышал, «на рисковую жизнь», или просто здесь есть люди нравственно слабые, безвольные, но с претензиями на «кураж», а водка этому помогает,— но пьянство здесь принимает отвратительные формы. Одного — того самого белесого, что ввалился в книжный магазин с сообщением о водке,— дежурная не пустила, он дремал на крылечке, свесив ноги, пока дежурная не ушла, а затем, уже около полуночи, влез в окно, пытался стащить меня за ноги с кровати («мое место!»), орал, курил, поджег одеяло, долго тушил его, топча ногами, в то время как его приятель кричал ему:

— Сеня, замолчи! Если не замолчишь, получишь в морду. Я тебе говорю, я, Альфред. Я семь лет просидел в тюрьме и утверждаю, что кто не сидел, тот для меня не человек. Сенька, замолчи!

Вот уж действительно «худой поп свенчает, и хорошему не развенчать». На другой день пьяницы исчезли — и Альфред и Сеня: наверное, не смогли выбраться из канавы. Их кровати заняли приехавшие по партийным делам местные работники — люди хорошие, умные, трезвые. Но и эти умные, трезвые люди ничего не могли ответить мне на вопрос, как же быть, как же бороться с пьянством. Они пожимают плечами и, зябко грея руки у печки, которую прошлой ночью пинком ноги свалил белесый алкоголик, отвечают:

— Да-а, дела-а!..

С утра на улицах — вислоухие пьяницы. Шатаясь, бредет геолог, которого мы вчера видели в книжном магазине выбирающим стихи. Он молод, ему двадцать три — двадцать четыре, он рыжеборощ, стоял у прилавка и перелистывал книгу, сам весь ладный, точно кованый, с темными и блестевшими, как вишни, глазами. А теперь — валится и не свалится средь улицы, весь в грязи, штаны обвисли, рубашонка мокрая; и весь он какой-то жалкий, и глазенки ввалились, как у висельника, тьфу!

Идем на аэродром.

Молодые люди с молодыми бородками тащат железные печки, палатки, мешки с мукой, резиновую лодку. Они кивают нам головой и спрашивают:

— Писатели? Шли бы в столовую.

— Ждем вертолета.

— Ждать долго, он на Намингу грузы подает. А в столовой для писателя любопытно: перепились и в столовой и около, дерутся палками и чем попадет.

— Куда как любопытно!

У вертолетной остановки сидим долго — с девяти утра до шести вечера. Сидеть, впрочем, очень интересно. Весь быт аэропорта маленького таежного городка на наших глазах.

То и дело, поднимая грязно-желтые гигантские клубы песчаной пыли, снижаются и взлетают самолеты и вертолеты. Вышла из самолета комиссия из Читы с портфелями и чемоданчиками, за ними потянулись женщины с узлами и ребятишками, а затем показался большой компрессор, возле него абсолютно пьяный компрессорщик, безбожно бранящийся. Он бранился часа три — выбранив по дороге и нас, — требуя, чтоб его немедленно отправили в Читконду. «Без меня не быть Дню шах-

тера!» Наконец он так всем надоел, что его отправили с вертолетом.

Тут же рядом штурман самолета просит у диспетчера:

— Ну, дайте хоть сто литров бензина!

— Да нету у нас ничего.

— Я ж вылететь не могу. Командир отряда разрешил заправиться у вас.

— С ума он сошел. Нету у нас ничего.

— Э, брось! Заправь.

Удивительное дело. Как послушаешь — бензина нет ни у кого. А все же грузовики ходят, моторки стучат на реке, вертолеты взлетают.

В городе по тротуарам на велосипеде не покатаешься. На улице — засохшая валиками грязь. Единственно ровное место — аэродром. И вот, пока не подлетают самолеты, девчонка лет шестнадцати, с косичками, в коротеньком розовом платьице, гоняет на велосипеде по взлетной дорожке. Я покупаю в буфете плитку шоколада, подхожу к ней и протягиваю шоколад. Она смотрит настороженно.

— Это почему же?

— Вам.

— А почему мне?

— У меня сегодня день рождения.

— Поздравляю вас. — И она берет плитку.

Наконец мы в вертолете. Штурман помогает мне влезть и говорит:

— Не забудьте, прошу у всех автограф. Над такими горами полетим, что даже и нам всегда в редкость. Автограф, так сказать, подчеркнет.

И он зачерпывает воду в ведерке консервной банкой, оплетенной проволокой, концы проволоки закручены и образуют ручку.

— Полетели, — говорит штурман помощнику. — Сколько сейчас?

— Без пяти шесть.

— Ну, вернемся — побреемся, чаю попьем, а к семи в кино.

Перед взлетом я расспрашивал диспетчера, каковы дороги на Намингу, какова там жизнь. Диспетчер рассказал:

— Вертолеты у нас больше грузовые. Пассажиры едут машинами, грузовиками. Дорога ужасная,

шестьдесят километров двенадцать часов в лучшем случае, а то и все сутки. А в Наминге что главное — милиции там нет.

— Как же нет милиции? Ведь, говорят, там работает тысячи полторы.

— Вроде. А милиции нет. Вы относительно прописки? Тут уж я не знаю.

— Значит, ни скандалов, ни драк, ни пьянства?

— Сложа руки снопа не обмолотить. Сами, видно, управляются.

В круглый иллюминатор видно, как аэродром поехал вкривь, мелькнула взлетная дорожка, возле нее девчонка с косичками на велосипеде, домики цвета брюквы, леса как сток для туманов, река с ее извилинами, столь нам знакомыми, отдельные горы, а вот и сам батюшка хребет.

Ничего не скажешь, горы на редкость суровы!

Мы летели над ущельем и в то же время самим ущельем; я мог это сверить легко — скалы шли острой каймой вдоль движения нашего вертолета. Кое-где кайма прерывалась, скалы отступали в сторону, и мы видели круглое голубое, иссиня-голубое, неподвижное озеро. В другом ущелье, к удивлению нашему, мы увидали снег: он лежал плотно, широко, привычно, не сопровождаемый ни ручейками, ни лужицами, как это бывает весной,— он лежал тут и зиму и лето. За снегом вскоре начался кедровый стланец, затем поднялись жидкие лиственницы, им сопутствовали желтые оленьи мхи, ягель. Ущелье сузилось, смутно зазеленели внизу густые, уже настоящие леса. Приближалась Наминга.

Штурман наклонился к моему уху и, стараясь перекричать гул вертолета, сказал, указывая на окно:

— Вот здесь, видите, скала краснеет? Мы позавчера сохатого видели. Мы летим, а он и не шелохнется. Я нарочно над ним, а он рогом не повел. Либо привык, либо такой уж важный.

Вертолет спускается на площадку из досок. Прежде всего видишь множество выкорчеванных пней, речку без воды, мост через нее, серые камни и тут же, сразу за камнями, мостом, вывороченными пнями, — горы, стланец и опять ровный подъем гор. Пока не привыкнешь к этому оптическому обману, долго будет казаться, что горы все время где то возле тебя — так здесь прозрачен воздух. И ущелье, где расположен поселок На-

минга, тоже кажется крайне узким: раздвинь руки — и достанешь до скал.

Тем временем возле площадки собралось много разнообразного люда, и люд этот отличен от чарского. Каким-то особым светом озарены здесь люди, а может быть, это мое первое впечатление таково от света солнца, приближающегося к закату? В Чаре и люди-то одеты более однообразно. А здесь рядом с резиновыми ботфортами стоят узенькие девичьи брючки — совсем по-московски, рядом тоже девушка в стеганых ватных штанах, а дальше — в плиссированном платьице выше колен. Тонкий малый загар лежит на всех лицах, и это придает им какую-то милую, неясную значительность.

Мы отошли немного от вертолета, и я почувствовал в воздухе теплую смолистую пахучесть. Нас встречал художник из Иркутска — высокий ласковый человек. Мягко улыбаясь, он предупреждал нас о ямах, ухабах:

— Здесь кругом все такое, привыкайте. Ровные места будут еще не скоро. И сама руда в подвале, ну и мы около.

Пока мы огибаем большие серые камни (принесенные разливами Наминги, которой, повторяю, сейчас в русле нет), вывороченные пни, новые ярко-желтые дома из лиственницы, крытые темным толем, палатки с железными трубами, каменным фундаментом и завалинками; пока подходим к гостинице, где я испытывал великое наслаждение, дыша густым запахом лиственницы; пока устраиваемся на койках; пока разговариваем со старшим геологом — молодым, очень энергичным и хорошим рассказчиком; пока он приглашает нас пить чай и ужинать (извиняясь, что выпивки здесь, в Наминге, нет и не водится); пока мы надеваем свежие рубашки и галстуки (потому что квартира у старшего геолога необыкновенная, ну прямо московская, с центральным отоплением; жена у него учительница, живет при школе, а школа переезжает в новое, еще лучшее помещение); пока...

А пока позвольте мне, дорогой читатель, сказать вам несколько слов о Наминге и Удоканской геологической экспедиции.

Читатель, интересующийся богатствами Восточной Сибири, уже, наверное, знаком со статьями и очерками.

рассказывающими о находке больших залежей медной руды в горах. Я ничего нового к этим статьям добавить не могу. Да и самим геологам, мне думается, точно неизвестно, сколько в этих месторождениях меди. Горы на весы не положишь. Много — и все. Я тоже думаю, что много. Но это далеко не все.

Природа, бросив в горы медную руду, воздвигла вокруг нее, будто нарочно, такую броню, что пробить ее и думать страшно. Мне во всяком случае.

Наминга лежит на высоте что-то около тысячи трехсот метров над уровнем моря. Руда лежит и ниже Наминги и выше. Лежит она внутри гор, как орех в скорлупе. Кое-где скорлупу можно сбить, то есть, видимо, добывать орех открытым способом, а кое-где скорлупу нужно долго и усиленно пробивать.

И вот этот орех с медным ядром ощупывают, осматривают, пробиваются к ядру со всех сторон — ведут штольни, бурят, взрывают. Промышленной разработки нет, и трудно сказать, когда она еще будет, но штольни уже имеют характер не геологический: они не узкие, похожие на норы, а промышленные, широкие — свободно катится большая вагонетка с рудой, и вы не прижимаетесь к стене штольни, а стоите свободно.

О промышленной разработке думают усиленно. Кое-где геологи уже превратились в проходчиков, и, думаю, не один из них останется тут навсегда, когда начнется промышленная эксплуатация рудника.

Наверно, читатель, вам уже ясно, что я плохо разбираюсь в металлургии и технике, а в металлургии меди тем более. Однако и я в состоянии понять, что рудник и обогатительная фабрика при нем, не говоря уже о металлургическом комбинате, не могут существовать без дороги.

А дороги к Наминге, к Удоканской экспедиции нет.

От Чары к Наминге есть шоссе. Да, есть. Но я уже сообщил вам, что по этому шоссе — шестьдесят километров! — грузовик или легковая идет самое меньшее двенадцать часов. Мне очень хотелось вернуться обратно по этому шоссе: ущелье, по которому оно идет, говорят, очень красиво, но геологи, глядя на мои седые волосы, возражали: «Не ручаемся ни за что». Так мне и не удалось поехать.

Есть, как вы видели, вертолеты. Посадочных площадок для самолетов нет, да и не скоро они будут.

Выходит, для того чтоб получить медь, а получить ее нужно, и, что самое главное, ее уже получают, — выходит, что нужно вести шоссе.

Очень хорошая вещь — шоссе!

Ближайшая станция железной дороги от Наминги — семьсот километров. Возможно, немного меньше, ну, скажем, шестьсот с гаком, но разве это так уж мало?

Позвольте несколько раскрыть эти семьсот или шестьсот километров.

Семьсот километров — это не просто семьсот километров по доброй и снисходительной русской равнине, нет! Чтоб получить семьсот километров шоссе в здешних местах, вам понадобится пробить семисоткилометровую брешь в непроходимой тайге, топях, гарях, горных реках, через треклятые скалы и долы. Добавьте к этому гнус, комаров, оводов, сырость, дожди, а зимой такие метели, что каждый шаг ваш проваливается в яму, дыру, соскальзывает с крутого берега в болото! Постоянно под ногами у вас вечная мерзлота — самое капризное и злое вещество в мире: она ползет и тает в тепло и пучится в морозы, разрушая все вокруг себя.

И все-таки шоссе ведут.

И подведут к самой Наминге.

И повезут медную руду к железной дороге, если где-нибудь возле самой Наминги не выстроят комбинат: тут близко, в Читконде, найдены запасы отличного каменного угля, а где-то в горах Кодара — строительный вулканический туф. Я держал вчера с великим наслаждением в руках кусок этого туфа.

Хорошо!

Правда, о сильном характере и воле нашего советского человека иногда напишут такое слащавое и приторное, что хочется отбросить это смеясь.

Но здесь, поглядев, в каких нелегких условиях живет и трудится наш советский человек, следует отдать должное хмелю его вдохновения.

И сколько тут ни хвали его мужество, стойкость, сколько ни возвышай его — все будет мало.

12. Наминга и ее окрестности

Простите, что сейчас хочу занять ваше внимание пустяками. Впрочем, и пустяк иногда может быть полезен.

Спал я чудесно. Снился мне длинный сон — весьма содержательный разговор с сохатым, над которым все время кружил вертолет, и вертолетчик просил у меня и у сохатого автографы. Проснулся в седьмом часу утра в прекраснейшем настроении. Вдыхая божественный запах лиственницы и любуясь желтыми, точно гриб лисичка, стенами, я стал одеваться. Вот здесь-то и начинается мой важный пустяк. Я внезапно обнаружил на пятке носка дырку. Ну, добро б в другом месте, а на пятке... и к тому же писателю нехорошо ходить с голой пяткой! И я решил пойти в магазин.

Вышел я на крыльцо. Оград здесь нет, дома построены прихотливо. Через дом от нашей гостиницы виднелась столовая. «В магазин еще рано, — думаю, — зайду в столовую, выпью чаю». Но и столовая была закрыта. К слову сказать, столовая в Наминге грязная, сырая, тесная; к счастью, подают тут (вернее, сам берешь) быстро, так что рад, когда выскочишь.

Я присел на вывороченном пне в нескольких шагах от столовой, где бормотали, хлопали дверьми, переставляли столы, лязгали металлическими тарелками; вот с грохотом упала связка дров, должно быть брошенная возле плиты. В очереди, образовавшейся возле столовой, молча курили. Сыпал редкий, мелкий и мягкий дождичек, который у нас называют грибным и на который всегда смотрят с улыбкой. Здесь никто не улыбался, дождик никого не радовал: грибов никаких тут не дождешься, даже в консервированном виде.

Поравнялась со столовой грузовая машина, от дождя вся в перловом блеске. Шофер, дюжий волосатый мужчина с громким и звенящим голосом, высунулся из машины.

— Сергей здесь?

— Я здесь, Костя, — отозвался из очереди неказистый человек, который стоял ссутулившись, пригнувшись, напоминая трубочку или что-то вроде коловорота: голова в плечи, руки в карманы, ноги под плащом.

— Давай тута закусим. Столовой-то некогда ждать.

— А где? — не покидая очереди, спросил «коловорот».

— Да вот хоть тута, — сказал шофер Костя, кивая на мой пень. — Возле художника. Об искусстве поговорим; мы тоже из самодеятельности. Художник валит к нам повально. Я как-то из Наминги четырех привез.

Но обоим им было не до художников и не до меня. Шофер говорил, лишь бы развлечь товарища. Я быстро это понял: как только они уселись по ту сторону моего комля, среди вывороченных и обрубленных его корней, они оба мгновенно забыли обо мне. Впрочем, шофер вспомнил, когда, раскрыв банку тушенки и нарезав хлеб, пошел в столовую за чаем: он и мне принес кружку, сказав, что уважает художников — «крепко берут!», а что берут — ему не было времени разъяснять.

А мне хотелось с ними разговориться. Шофер грузовика был, по-видимому, и общителен и наблюдателен, несмотря на то, что он принял меня за художника. «Люди искусства в какой-то степени все схожи», — подумал я.

При первых же словах, которыми обменялись пившие чай, я понял, что мое приставание к ним с разговорами было бы неуместно и неприлично, хотя говорили-то они о вещах самых обыкновенных. Но бывает такой разговор, сущность которого не в словах. Я слушал их с напряженным вниманием, стараясь уловить смысл недомолвок.

Сергей, человек похожий на коловорот, был бетонщиком, и, по-видимому, — едва ли не сегодня — ему предстояло покинуть Намингу, а покидать ее страстно не хотелось: и потому, что полюбил работу, и потому, что тут друзья, и потому, что каждый шаг по этим местам, на которые я смотрю с таким недоумением, ему и дорог и люб. Кроме шофера Кости, должен был появиться третий друг, — имени его они не называли, говорили просто «Молния», как я понял позже: по имени листовки-«молнии», выпускаемой экспедицией в случае какой-либо производственной победы. Уезжал Сергей из-за болезни детей: климат Наминги оказался для них вредным.

— Сложились? — спросил шофер, громко жуя хлеб.

— Да, всю ночь укладывались. И откуда столько добра набирается!

— Персонаж, — ответил неопределенно шофер. — Ну как, вчера напоследки опять не схватило бетон?

— Не схватило, Костя, — хрипловатым шепотом отозвался бетонщик. — Да уж что! Мне уж теперь вроде и безразлично.

— Не скажи. Мысль, она в тебе мелькает всегда.

— Мелькать-то мелькает, Костя, да видишь, и домелькалось, — проговорил бетонщик с глубоким вздохом. — Дети...

— Дети. Оболочка.

— То-то что дети, — еще более хрипло прошептал бетонщик. — Поверишь ли, изумился так, когда от врача жена вернулась, что три дня сердце билося-билося, будто перстом тычет. Жене легче: ревет.

— Ну тоже — легкость! А вон и Молния. Да и баба твоя. Ты что, еще в контору? Вчистую рассчитался?

— Сожаление в письменном виде получил, — прохрипел бетонщик.

Мужчина в пыльном комбинезоне и чистой шляпе, надетой, видно, для парадного случая, почти такого же роста, что и шофер, только лицом поуже, показался в дверях клуба. Заметив шофера и бетонщика, он ускорил шаги. Все в нем дышало и торжеством победы и грустью расставания. И как бы в ответ этому расставанию все вокруг меня стало печальным и грустным. «Почему, если человек запоет счастливую песню, ему нельзя окончить напева? — подумал я. — Почему бы бетонщику Сергею не дожить здесь до того дня, когда возникнет здесь большой город, когда по-другому будут выглядеть эти скалы, леса, реки, когда вот теперешние дни и вот эта самая грязноватая дорога, у которой мы сидим на вывороченном пне, станут уже далеким и героическим прошлым?»

— Вот как ходят люди! — намеренно бодро воскликнул шофер, вставая и идя навстречу Молнии. — В шляпе! У тебя, брат, «молния», а Сергей своей так и не дождался.

— Увозишь из Наминги?

— Увожу.

— Дело, — певуче произнес Молния, и по голосу его чувствовалось, что ему хотелось бы сказать: «Плохое, брат, дело, очень нам горько».

Не хотелось мне докучать друзьям. Я поднялся. Когда я вернулся из промтоварного, столовая опустела, и грузовик ушел. Подавальщица сказала, что бетонщик Сергей с семьей погрузил чемоданы, а Молния отправился его провожать.

— Хороший, должно быть, человек, Сергей этот? — спросил я.

— Одобрен, — ответила подавальщица.

— И много у вас таких?

— Если не поют, так подтягивают, — сказала она, убирая тарелки.

Подавальщица, как видите, была склонна к афористичности.

От больших и содержательных встреч очень трудно переходить к потешкам, но уж позвольте.

Я, кажется, говорил вам, что у меня протерлись носки и мне понадобилось купить новые.

Итак, пришел я в промтоварный, находящийся за конторой экспедиции, неподалеку от вертолетной площадки. Покупателей немного, хотя выбор товаров солидный: есть и сукна, и готовое платье, и парфюмерия, и обувь.

Прошу.

— Дайте мне, пожалуйста, носки.

— Носков нет.

— То есть как нет носков?

— Ну нет. Два месяца уже не забрасывают.

— А как же люди ходят без носков?

— Так и ходят.

— Безобразие!

— Конечно.

— А вы писали вашим торговым организациям?

— Писали.

— И что ж?

— Не отвечают. Мы далеко.

— Далеко, конечно, а все же без носков как-то малоутешительно.

— Какое уж тут утешение!

«Диковина! — думаю. — Ну, телескоп там или счетную машину сложно вырабатывать, значит, можно и подождать, пока их повсюду завезут, а тут ведь носки. Эка невидаль! Всюду их сколько угодно. Почему же нельзя завести и в Намингу?» Мне-то придется, видно, приобрести в Чаре. Я так и сказал продавщице. Она загадочно улыбнулась. Позже, в Чаре, я понял ее улыбку: и там носков не было.

Возвращался я в гостиницу мимо клуба. Большое извещение-«молния» — афиша о нашем литературном вечере и еще крупно: «Ситцевый бал!» Нет, это не фильм, а самый настоящий ситцевый бал на высоте

тысячи трехсот или более метров над уровнем моря у шахтеров и геологов.

Младший из художников, приткнувшись к завалинке, писал палатки, пни, лиственничный домик, трактор. Возле трактора — деревянное корыто, собака лакает из него воду, в воде отражаются, сияя, горы (а значит, дождь прошел, а я и не заметил...).

— Как бы собака гор не вылакала, — сказал я художнику.

Он понял меня.

— Действительно, выразить все это очень трудно. Странный здесь воздух, и свет странный. Мучаешься, бьешься: все перспективы смещены.

На крыльцо вышел, облизывая деревянную ложку, московский геолог, старший научный сотрудник геологического института, наблюдающий за введением нового метода крепления. Держась за дверь и слегка покачивая ее, он сказал:

— Трудно. Здесь все, в сущности, трудно, куда ни сунься. Но это дразнит, тут много молодежи, и отсюда — задор, храбрость. Скажем, воздух... Вот вы сейчас, когда поедете на штольню, обратите внимание, — добавил он. — Пускают сжатый воздух шести атмосфер. А через полтора километра прохода по штольне он уже — две с половиной атмосферы! Тут тебе и поработай! Тут всякие мысли! А как оттягивать газы, если штольня чуть ли не четыре с половиной километра?

По-видимому, геолог нашел в этих словах «четыре с половиной километра» какую-то большую для себя радость, которую ему захотелось передать и мне.

Он нахмурил густые и короткие брови, подыскивая нужные слова, а затем улыбнулся.

— Четыре с половиной? Тут не пересластишь любой похвалой. Вы вглядитесь в затруднения с вечной мерзлотой, затруднения с цементом, даже с глиной, которую везут сюда на самолетах и вертолетах черт знает откуда! Сейчас, например, понадобилось в самой штольне делать компрессорную. Для этого нужно пробить скважину в двести метров с точностью в один метр. Один метр, вникаете? Геологи утверждают, что такой точности они соблюсти не в состоянии. И все-таки соблюдут.

— Хмель? — спросил я.

— В каком смысле?

— Хмель творчества.

Геолог поскреб пальцем дверь, покачал ее.

— Я ученый-специалист, человек трезвый, мне это сравнение кажется сомнительным. Но, если хотите, и хмель творчества наличествует. Но здесь, ввиду трудных условий, творчество должно идти в переслой, пластами — с наукой. Людям нужно побольше учиться и сюда побольше везти ученых-специалистов. А чтобы заполучить их сюда, надо их вдохновить, воодушевить; это уж, извините, дело художников.

— Художников, художников! — подхватил молодой живописец, поднимая кисть к носу. — А как вдохновишь, когда губы обветрились, лицо горит от здешнего воздуха, в глазах двоится от этого света, в рисунок сотни поправок вносишь...

— Уверяю вас, у меня точно такое же настроение, — признался геолог. — Вечером придешь с исследования, чувствуешь: терпение твое кончилось. Ну, невозможно втолковать, невозможно пересилить консерватизм! Да и действительно попробуй, когда к деревянному креплению привыкали веками, а тут им пропагандируют почти что один винт, болт! Долго не можешь заснуть. Бередишь себя, волнуешься, а утром встал — ощущаешь с удовольствием, что нашел-таки способ договориться. Ну, и сызнова стараешься помочь людям открыть истину.

Нетерпение наше было велико. Мы с радостью отправились к штольням. До самой дальней, пятой, от поселка несколько километров — и все в гору. Но в гору — это еще полбеды, беда — сама дорога. Камни неровные, то тупые, то острые, то гладкие, то ребристые, точно кто-то нарочно набросал их в самых страшных положениях. А подле этой «дороги» — другой вал из камней, тех, что оказались совершенно уж непроходными.

Разумеется, телеграфные столбы. Но кругом камень, вкапывать некуда, поэтому столбы обложены пирамидами из камней и таким образом несут свои обязанности. Впереди нас шел грузовик, вез смену, и мы имели возможность видеть свою поездку как бы в зеркале. На каждом метре пути грузовик принимал самые невероятные изгибы, точно лоза под ветром. Люди качались, падали на колени, выпрямлялись и опять валились. А каково тут зимой, когда на россыпях скапливаются снега, грозящие обвалами?

— Зимой или в бури тут у нас, на пригорочке, постоянно либо трактор, либо бульдозер дежурит, — пояснил

шофер. — Автомобильные шины тут стираются дотла через пять тысяч километров.

Каково?

На каменные россыпи, чуть посыпанные кедровым стланцем, смотришь с раздражающей тоской ожидания: того и гляди двинутся, а двинувшись — сотрут и тебя, и машину, и дорогу, и телеграфные столбы! И твердо знаешь, что не тронутся, что лежат тут тысячелетиями, лежат, чтоб прислушивались вы к ним, а злоба все-таки растет.

— Камень тут артачится вовсю, — заметил шофер.

Подлинно: артачится.

Когда мы подъехали к буровой подле пятой штольни, старший геолог, сопровождавший нас, озабоченно ушел к вышке. Поломка бура. Порода здесь необычайно крепка, и к тому же из-за частых сейсмических явлений, землетрясений — частых, принимая во внимание тысячелетия, — порода местами «крошеная», труднопроходимая, с трещинами.

Геолог возвращается, пожимая крепкими плечами.

— Всего не уследишь. Условия Крайнего Севера, будь они неладны! Вот и налаживай тут «геологическую оценку содержания меди в руде». Плохо, когда руды мало и она бедная, но и с богатой рудой, как видите, тоже не сладко.

Я рассказал ему о Хапчеранге, откуда мы начали наш полет навстречу осенним птицам.

— Нет, в Хапчеранге намеки есть,— сказал он, выслушав меня. — Все дело в воображении: надо уметь увиденное дополнять догадками.

— И в геологии?

— А вы думали, только в романах? Если бы вы знали, сколько раз эту Наммингу хотели бросить! И как мы держались за свои догадки! И додержались. Теперь на нас, первоисследователей, смотрят с почтением, как на стариков.

Первоисследователю нет и тридцати, замечу кстати.

Мы шли по пятой штольне, рядом с поблескивающими рельсами, сторонясь вагонеток с рудой, шли бодро и легко. Какая-то странная крепительная свежесть поддерживала нас. В одном месте стену штольни украшала серовато-лиловая выпуклость. Влажная, тугая, она вызывала странную тревогу, хотелось торопливо миновать ее, но, разумеется, мы пошли даже медленнее.

Наши шаги, прерываемые падением крупных капель с потолка штольни, отдавались глухо.

— Ископаемый лед, — сказал геолог. — Послан сюда миллионы лет назад, и видите, врезался в коммунизм.

Я взглянул на лед подозрительно. Его холод не вызывал во мне ничего, кроме досады. Когда-нибудь позже я, наверное, смогу вообразить все то, что могут вызвать слова «миллионы лет назад», дополненные синеватым поблескиванием этой влажной поверхности, но сейчас... сейчас мне хотелось, чтоб старший геолог увел нас подальше.

Наконец, пройдя многие сотни метров, мы добрались до конца штольни. Проходчик в мешковатом комбинезоне таранил гору. Вагонетки, повизгивая и погрохатывая, пересовывали к отвалу глыбы медной руды.

Эти отвалы растут и растут, приближаясь к горному озерку, дно которого сплошь покрыто пустыми консервными банками, золотисто поблескивающими в голубой воде.

Расставаясь с нами, проходчик, тот, что таранил гору, сказал:

— Хотелось бы попасть на ваш литературный вечер, посоветоваться. Да вот не знаю, успею ли?

— О чем же посоветоваться?

— Хотел подписаться на Есенина и опоздал. Не имеют ли писатели возможность пособить?

И опять началась адская дорога — теперь уже к четвертой штольне.

На одном повороте, когда у нас чуть было не вылетели зубы, геолог сказал:

— Дорога еще ничего. Дорогу мы наладим. Текучесть рабочей силы большая — вот беда! Есть, конечно, твердые кадры, и замечательные кадры, например Павлов и Сибиряков. Работали прежде по самолетостроению — куда как далеко от нашей специальности! — а приехали сюда и приобрели навык во всех наших профессиях. Во всех! Этими мы гордимся. Но достаточное количество потребных нам кадров еще далеко не набрано.

— И ученых-специалистов не хватает?

— Я и об ученых. Все мы должны быть тут учеными, тут без учености пропадешь. Наши горы только ученых принимают, иначе перессоришься с ними. Учим. Для

задержки кадров строим дома, а из-за построек перерасход.

— Не строить тоже плохо.

— Кто говорит хорошо? Обучишь человека, поселишь его в новый дом, а он говорит: «Семью бы надо выписать, да все дорого, и ни молока, ни овощей». А бывает, что и с семьей уезжает.

Я рассказал о случае, свидетелем которого был сегодня.

— Вот видите! И с заработками у нас неважно: платим меньше, чем в Балее.

Я многозначительно промолчал. В Балей — золотоносный район Читинской области — мне попасть не удалось. Поэтому мнение старшего геолога я не мог ни подтвердить, ни опровергнуть.

13. Из Наминги и ее окрестностей мы летим в пустыни Читнонды

Сворачиваем с «шоссе» к четвертой штольне. Дорога свежая: вывороченные пни, взорванная скала, выброшенные камни; ее только что провели сообща, всем поселком, в прошлое воскресенье. Вдоль дороги валяются кувалды, ломы, топоры: не успели убрать. Дорога огибает слегка мутное, но все же синее озерко и поднимается ко второму, соседнему. Здесь, в горе, «зарезка» четвертой штольни.

Снят лишь верхний — на метр-полтора — слой камня. У этого обнажения — ворота из свежей, с каплями смолы лиственницы, грузовики, компрессор, сарай — «кладовка» по-здешнему. Горит костер, забойщики варят кашу. Когда мы подходим, забойщик, ставя котелок каши перед товарищами, говорит древнейшее сибирское пожелание:

— Весь исхлебать!

И приглашает нас к тому же.

Через дорогу, по откосу к горному озеру, — кедровый стланец. Он обгорел, черный.

— Жаль,— сказал я,— красота портится!

— Нежен он уж больно, — отозвался забойщик, — никак к человеку не привыкнет. От нашего костра искорка в него, он весь и вспыхни.

Котелок быстро опоражнивается. Забойщик встает.

— Идите в кладовку. Сейчас заряд буду палить!

Мы стоим под плохо настланной, из горбылей, крышей и ждем взрыва.

Перед нами бревно, с которого плотник очищает кору.

— И озерко жаль: испортится от заваленной породы.

— Э, озера тут на каждом шагу, — говорит плотник. — Вон туда, за это озеро, идите выше по долине — сколько их! А за долиной, сказывают, мерзлоты нету; видать, город будем рубить.

— Какой город?

— А для всех. На рудник скоро тыщами повалят.

Короткий и какой-то не очень внушительный взрыв. По зеленоватой осыпи струится несколько камешков, они ударились о телеграфный столб, на него еще не натянута проволока. И все.

— Гляди-ка, белка.

Белка, должно быть потревоженная взрывом, выскочила и бежит мимо черного стланца по зеленому, как по паркету.

— Странной какой-то расцветки: черноватая!

— Тут они все такие. Попадаются и прямо черные.

— Ну уж!.. — выражает шофер сомнение плотнику.

— А ты вот постой с топором столько, сколько я в лесу стоял, так не будешь — «ну уж!..».

Плотник бросает окурок осторожно, чтоб не попасть ни в стланец, ни в холмик мха. Мхом здесь конопатят пазы в домах вместо пакли.

— Дом будете рубить, что ли?

— Дом не дом, а сторожку непременно, — отвечает плотник.

— От мха какой прок — поди, холодно, дует? Ветра-то здесь какие!

— Терпится. Не пакли ж ожидать? Какая тут пакля, когда и глины нет!

Отсутствие глины как-то особенно всех раздражает. Тут богатейшая руда, по проценту невиданная в мире, а глины нет! Право, безобразие!

— Оттого и горы не горы — развалины, что глины нет,— добавил плотник, расставаясь с нами. — Приезжайте вдругоряд, у нас будет красивей.

— А вы к нам на литературный вечер,— сказал я.

— Это что ж такое?

— Стихи будем читать, рассказы рассказывать, отвечать на вопросы.

— Я больше критику люблю. Другой так двинет, будто под лопатку жердняком. Так бывает пригончиво, такой глаз верный, любо-дорого!

(«Жердняк», позвольте пояснить,— рогатина.)

С тем и расстались.

Побывали мы еще на одной штольне, замечательной для нас, людей мало осведомленных в горном деле, тем, что тут мы имели возможность сравнить проходку геологическую с проходкой, имеющей промышленный характер. Вначале проходка была геологическая, то есть геологи пригоняли ее к своим нуждам: посмотреть на руду, взять образцы породы, нащупать толщу и простирание рудного тела. Но вот теперь геологам нужно уже приноравливаться к нуждам промышленной добычи — и, так сказать, коридор коммунальной квартиры расширяется до размеров коридора министерства. Идешь по такой улучшенной штольне — просторно, светло и как-то легко дышится,— сердце весело, по-молодому сжимается.

Кроме того, эта штольня отличается своим большим отвалом: она уже давно выдает руду, вагонетки то и дело сбрасывают зеленоватые камни, и они медленно катятся по откосу, плотно укладываясь внизу. Я решил взять на память несколько образцов и пошел по отвалу.

Я шел по камням легко, словно по штучному полу. Какое-то хорошее легкое волнение владело мною. Год, два, ну от силы три года — и эта руда окажется в плавильной печи где-нибудь недалеко отсюда, вон там, куда нам недавно указывал рукою плотник четвертой штольни.

— Эвона там — взлобок, бугор, взлобина, речка, а дале — камень пойдет ровный, вон там и комбинату быть.

Вполне, вполне возможно! Жаль, что мы будем отсутствовать при закладке комбината, а вдруг и мы приедем сюда, кто знает!

Я шел, глядя в землю и время от времени поднимая приглянувшийся мне камень. Я шел, и мне казалось, что я отправился исполнять очень важное и большое поручение — голубое поручение. Да-да, именно голубое. Дело в том, что на отвале через каждые три-четыре шага можно было поднять ярко-голубой камень,— ну, такой яркий, как, скажем, изразцы на куполах самаркандских мечетей. Казалось, что камень пригорел, опаленный цветом неба. На языке геологов это называется окислением руды. Я бы назвал это цветом встречи. Мил-

лионы лет лежала медная руда в земле; человек поднял ее к солнцу, огляделась она, увидела эти горы, реки, снега, наконец, самого человека, обрадовалась и загорелась голубым огнем. Иные камни до того голубые, что я глядел на них, весь обомлев, вздрагивая. Я хватал то один, то другой, иные были так велики, что не умещались в пригоршне... но нельзя же взять весь отвал!

Когда мы подошли к конторе экспедиции, там, ожидая представителя профсоюза — он шел с нами, — оживленно беседовало несколько вновь приехавших. Один, рослый, пухлый, с угодливыми глазами, — видимо, из тех, которых в народе зовут «обещателями», — сразу же обратился не к председателю профсоюза, а к нам:

— Товарищи писатели! Мне здесь не дают искупить вину!

«Обещатель», шофер-механик, приехал сюда, не пройдя комиссии по вербовке. По его словам, он истратил все, что имел, и теперь ему не на что уехать. Вдобавок хочется ему искупить вину: он бывший уголовник, амнистированный в 1958 году. Второй — маленький, молодой, стройный, в сером полосатом костюме и в розовом, выцветшем платке на голове, завязанном по-казахски. Он горняк из Караганды. Что его привело сюда?

— Жарко там, — улыбается он во все лицо, — очень захотелось в холоде поработать.

— Поди, алименты, — сказал горестно работник профсоюза. — Вы не поверите, сколько у нас алиментщиков скрывается. Просто стыдно назвать! А вам что?

Третий из «обиженных» — длинный, очень милый на вид юноша. У него все в порядке. Он приехал по направлению вербовочной комиссии, прошел и врачебную комиссию и место уже получил. Но дело в том, что приехал грузчиком, а по специальности забойщик.

— Я согласился на грузчика, только чтоб сюда попасть.

— Ну, и попал. Чего же еще?

— Увидел — и захотелось в штольню. Могу ко Дню шахтера рекорд дать, уважьте, товарищ! Вы ж профсоюз, сила ж здесь.

«Профсоюз» ухмыльнулся.

— То-то что сила. Дай бог погореть, да не дай бог овдоветь. А мы вдовые, без милиции. Всё — сами. Ну, пойдемте в контору, там поговорим подробнее.

Перед тем как представителю профсоюза скрыться, он спросил нас:

— Вы что ж, завтра в Читконду?

— В Читконду.

— Там горы так горы! Не горы, а горный зверь, можно добавить. До Читконды вертолет летит минут двадцать, полчаса, иногда меньше. По земле дорога туда только зимой, а летом зажоры, колдобины, ямины да речки. Бухгалтер, впрочем, ходит к нам двенадцать часов.

— Какой бухгалтер?

— Читкондинский, с отчетом, пешком. Как надо отчет сдавать, так и идет. А вообще-то ходу нет: можешь так бултыхнуться, что и не всплывешь.

— Все ж вы утверждаете, что бухгалтер ходит? Колдовством, что ли?

— Зачем колдовством? В наших местах никакое колдовство не поможет. Просто ходит, — спокойно ответил мне все тот же профсоюзный работник.

Грохот вертолета, как это ни странно, помогает сосредоточиться. Исчезает шарканье ног, топот, говор — однообразный и глухой шум мотора заглушает все, и то, что припасено для вас горами, развертывается во всем своем первозданном величии.

Вертолет тем временем начал свой взбег на небеса, не покидая гор. Мы то поднимались, переваливая через какие-то хребты, то опускались в ущелья, и тогда казалось, что скалы смотрят на нас с кривой, но все же одобрительной улыбкой. Я чувствовал себя и смущенным и взбудораженным. Зубчатые и узорчатые скалы вваливаются друг на друга, падают, вокруг них беззвучно шумят потоки, а в щелях лежат плотные и бездушные снега.

Глядя на эти снега, я думал, что зиму здесь переносить легче, чем лето. Снег придает этим скалам мягкость. Путь ваш приобретает одно, пусть даже и очень острое, направление, но одно. Летом здесь тысячи направлений, и каждое из них дрожаще, липко и клейко, как смерть. Шаткие дожди, цепкие камни... да, страшноваты вы, рудожелтые, покрытые оленьим мхом, ягелем, зыбкие пустыни Читконды.

Холодным пламенем мелькнуло озеро. Вертолет устремился прямо на приозерные курчавые кочки: мы и не заметили, что среди нежной зелени и трепетных ручьев

прячется площадка из досок размером не больше деревенской крыши. Прыгая через ручьи, брызгая грязью и размахивая руками, к вертолету бежали люди: женщины в шароварах и сапогах, мужчины почти без исключения то с широкими, то с узкими бородами, стройные, длинноногие, — я наблюдал за ними очарованным взглядом. Конечно, я не мальчишка, хотелось показать, что во мне нет и следа того пронзительного и трепетного восхищения, которое я испытывал в детстве, читая «Капитана Гаттераса» Жюля Верна или что-либо в этом роде, но я не мог сдержать себя — жадный восторг владел мною.

14. Вечер в Читконде. Дикие снега и упоительные лавры

От вертолетной площадки до того места, где речушка Читконда начинает пересекать поселок, хода минут десять, если не меньше. Всюду щепа, выкорчеванные пни, новые домики из лиственницы, а вокруг необозримые, блестяще зеленые леса, щетинистые буро-желтые горы, снега в расщелинах, за снегами плоскогорье, и там — бурильные «на уголь» вышки.

— И хорош он?

— Уголь-то? Благодатный.

— И много?

— Понадобится, все горы отопим.

Жаль, накрапывает дождь. Где-то тут, в километре-двух, шумит водопад, но месить грязь не хочется, подождем вёдра.

Присели у склада, неподалеку от столовой, которая здесь — да, кажется, и повсюду в подобных геологических закоулках — носит странное и сложное название «котлопункт». В этом «котлопункте» геологи оплачивают только продукты без тех солидных начислений, которые незыблемо умеет сооружать ОРС.

Подле угла длинного склада — стадо оленей и сам оленевод Нил Иванович, надменный, темнолицый, скуластый эвенк. На нем торжественная штормовка цвета хаки, фуражка военного образца, он смотрит на нас невозмутимо и отвечает еще невозмутимей. Олени, устремив на нас золотистые задумчивые глаза, казалось, говорят о своем хозяине: «Вы уж извините, какой есть, такой есть». Наш друг Гоша предлагает Нилу Ивановичу

записать его рассказы о тайге на магнитофон, для передачи по радио.

— Это, однако, можно, — небрежно сказал эвенк. — Откуда вы? Из Читы? Это можно. Рассказов много: тайга.

— А вы далеко ходили? — спросил я у эвенка.

— Они ходили, — ответил он, указывая на геологов, — я провожал. Ходили, поди, километров сто, а то и двести, кто мерил!

Мне захотелось пойти к нему домой, посмотреть, как он живет.

— А где вы остановились?

Он неопределенно указал на лес.

— Тут скользим. Олешек, поди, кормить надо: ягель там.

Паузы несколько томительны. На лицах геологов мелькают усмешки: мы, по-видимому, не можем найти «подхода», а геологам вмешиваться неудобно. К тому же Гоша, волнуясь, не совсем ясно выговаривает слова. Эвенк, щурясь, склоняет голову вбок, вслушиваясь в слова Гоши.

— Правда ли, Нил Иваныч, что вы ни разу не блуждали в тайге?

— А разве ты в своей деревне блуждаешь?

— Ну, в деревне три-четыре улицы.

— Для меня тайга — та же деревня.

— Даже в местах, которые вам совершенно незнакомы?

— Говорю, деревня.

Нил Иванович действительно тайги не опасается, но вот магнитофона он убоялся: страшно стало, что заблудится в словах. Мы его ждали три часа возле магнитофона — он не пришел. И на другой день он не появился в поселке.

Дождь усилился; и мы зажигаем в нашем новеньком домике железную печку. Раскаленное железо славно припекает, спотыкающиеся лучи пламени скользят по каплям смолы на стенах, а за порогом сквозь раскрытую дверь среди мха, похожего на кораллы (травы здесь нет или, во всяком случае, она очень редка), — щепа, щепа, щепа... Дров собирать не нужно, просто выйдешь за порог и наберешь щепы сколько тебе хочется. Проходит мимо высокая и красивая девушка-геолог в широченных, как у запорожца, шароварах, вязаном

свитере, белой шляпе с поднятым черным накомарником. Кивнув мне с одобрительной улыбкой, она спросила:

— Любуетесь на романтику?

— Любуюсь. А вы? — спросил я громко; что-то странное мелькало в улыбке этой девушки, мягкое и горькое одновременно; мне стало как-то немножко не по себе.

— Уже нет. Привыкла. Я еще в Хапчеранге начала привыкать...

«Ах, вот оно что!» — подумал я. Девушка глядела несколько в сторону. Мне казалось, что она не прочь отвести разговор, если я перебью ее. Я молчал.

— ...Иногда, впрочем, очнешься, посмотришь: зимой здесь, у-у, строго, да и упоительно красиво! Гулко так: ветка упадет, и будто на весь мир... Куда там Джеку Лондону!

— Тут много читают Джека Лондона.

Продолжая глядеть в сторону, она покачала головой.

— В Тамбове я его много читала, здесь — больше Александра Грина.

— А в Хапчеранге кого читали?

— Повторяю вам: у нас читают не Джека Лондона, а Грина, и даже, пожалуй, большинство читает Льва Толстого или Горького. Снега променяли на лавры. Толстой, а Горький в особенности предпочитали зиме лето, ягелю запах лавра. Впрочем, и у Джека Лондона не во всех рассказах действие происходит на Севере. Кстати, о лавре. Мы вас очень просим рассказать нам сегодня побольше о Максиме Горьком. А я вам сейчас такую упоительную баню приготовлю! Жалко, веничка здесь сделать не из чего: полярная березка никак не годится.

Баня и без веничка оказалась великолепной: жаркая, пьянящая. Каменка звенела, поднимая к потолку выплеснутую на нее воду клубами бодрого и игривого пара. Парились долго. Гоша был несколько робок и нетверд в пару, Василий Григорьевич нырял в пар уверенно и небрежно.

Когда мы из бани шли в свой домик, чтоб оттуда направиться в красный уголок, над нами светозарно и тихо посверкивало тонкое, очистившееся небо, раскрывшее всю свою трепетно-бескрылую лазурь. Трепетно шумел лес, словно изгоняя спотыкающийся дождик. Большим, ровным и плавным треугольником прошли над лесом гуси. Стройная девушка-геолог, разговорившаяся

со мной, ждала нас у дверей красного уголка. Она остро взглянула на меня и, следя за моим взором, сказала:

— Гуси? Пролетная стая: на юг жарит, к лаврам. К дождю.

— Почему к дождю?

— Так наш проводник-эвенк сказал. Если гусь летит первым на юг, начнутся дожди. А если лебедь — снег. Лебедь, видите ли, на клюве снег несет, а гусь — дождь. Впрочем, пожалуйте, вас ждут.

Красный уголок недавно срублен. Стены ясные, широкие, еще без плакатов и портретов, и оттого чудный запах лиственницы вдыхаешь почти с благоговением. Простой дощатый стол покрыт газетой, на нем радиоприемник и, на случай если погаснет электричество, керосиновая лампа. Гибкие трубы печки пересекают комнату, беспокойно потрескивают в печке щепы. Лица слушателей чуткие, тонкие, пытливые, от пламени печки кажущиеся еще более пытливыми и нежными.

И мне казалось, что я уже понял едкий сарказм девушки-геолога. Она хотела, чтобы я сразу нашел верный тон беседы. Приближалась зима, быть может самое суровое время яростных сражений с грозной и мрачноватой таки природой. Слушать собравшимся хотелось о тех героях, которые не страшились крутизны жизни, которые сквозь темень, ветры, мрачные снега, дикие леса и глухие горы всегда видели впереди живой и яркий факел победы!

— Вы хотите слушать о Максиме Горьком? — спросил я. — Вы правы. Я прожил довольно длинную жизнь, видел немало писателей, художников, людей науки и искусства. Я наблюдал за ними с напряженнейшим вниманием. И до сего времени я не встретил ни одного, кого можно было б, хотя в отдаленной степени, сравнить по уму, характеру, воле с Максимом Горьким. Какое горячее и пленительное сердце, какой глубокий и чистый разум, какое ясное и чуткое понимание человека и его дела! Я жалею только об одном — что не могу со всей яркостью передать вам то непрестанно разгорающееся пламя жизни, которым постоянно светился Максим Горький.

— Он хорошо знал Сибирь? — несколько пугливо и тревожно спросила меня стройная девушка-геолог.

Она сбросила плащ, на ней была красная жакетка, такая же красная маленькая шапочка, не закрывающая

высокой прически, виден был белый воротник кофточки. Молодой человек, длинноволосый, худой, в серо-лиловой безрукавке, облокотившись на чурку, не сводил с нее мечтательных и влюбленных глаз.

— Знал ли Горький Сибирь? Он знал ее только по книгам, но так как книги были для него второй душой, то он знал Сибирь, как свою душу. Я сегодня с одним читателем несколько поиронизировал относительно лавра и лавров. И, идя сюда после этого иронического разговора, вспомнил одну свою беседу с Горьким — за несколько месяцев до его кончины — в Тессели, в Крыму, среди лавров и кипарисов, хотя, впрочем, не утверждаю, что там растут лавры. Ну, допустим, растут, допустим, что я ощущал их мерцающий запах. Вечерами через сад, по склону Горький вел нас к морю. Не доходя до обрыва, мы останавливались на дорожке, и Горький указывал на чащу терновника. Терновник рос густо, своенравно, цепко. Мы врубались в него, очищая место для сада. Рубить еще ничего, но таскать его на дорожку было трудно: он как бы раздувался, хлестал по рукам, цеплялся за все, за что можно уцепиться. И все же в конце концов мы собирали его в огромную кучу и зажигали. Смеркалось, пока мы рубили и таскали его. Черные бакланы летели вдоль обрыва к долине Лапси, к камням возле маяка. За костром, который разгорался медленно, виднелась с одной стороны стена Яйлы, уже уходящей во тьму, деревья, среди них темный дом, а с другой — обрыв, шумящее море и иногда проплывающий корабль. Когда костер разгорался, на борту корабля, точно в ответ, начинали загораться струящиеся и мягкие огоньки.

Скрылся корабль. А костер все горит и горит... И уже не видно ни моря, ни гор, ни деревьев, только одно это расширяющееся трескучее пламя да тьма над обрывом, заметным лишь по шуму моря. Молчание. И, подталкивая тростью ветку — у него уже не было сил наклониться и взять ее, — Горький сказал мечтательно: «Всю-то жизнь мне хотелось попасть в Сибирь, в тайгу, развести там большой-большой костер и просидеть возле него всю ночь. И, может быть, не одну. Мне всегда казалось, что люди живут в Сибири необыкновенно яркой, смолистой жизнью. Именно смолистой! И запах, и огонь, и звучность».

Он замолчал, сделал несколько шагов в направлении дома, поднял трость, точно проверяя, так ли она нужна на сибирских дорогах, и проговорил: «Как только себя немного получше почувствую, непременно — в Сибирь. И подальше, к Байкалу. — А затем, еще помолчав и еще раз подняв вверх трость, добавил: — А может быть, и дальше Байкала».

15. Хмель на клюве лебедя

Мы засиделись дольше полуночи: геологи расспрашивали об Индии, потом почему-то Сингапур занял их, хотя я и пробыл в Сингапуре всего два часа и тамошние мои наблюдения были не столь уж обширны.

Стало совсем темно, и лишь благодаря щепе тропинка отмечалась тонким, сквозящим светом. Позади кто-то из молодежи серебристо смеялся, а сбоку тихо и прозрачно поддакивал ручеек. От красного уголка до нашего домика шагов полтораста, не больше, но и на этом коротком пути я растерял своих друзей и к домику пришел один. Оказалось, что девушка в красном растопила нам печь, поставила чайник и положила возле печки запас дров.

— Спокойной ночи и до свиданья, — сказала она, светло улыбаясь. — Я же говорила, что у нас преимущественно читают Толстого.

И девушка в красном скрылась.

Когда мы возвращались в Чару, я был очень рад, что вертолет остановился по пути на несколько минут в Наминге.

В горах выпало много снега, кое-где он лежал и по берегам рек, отливая бирюзою. Снега переплетали ущелья белыми лентами, и горы от этого казались более легкими и манящими, чем тогда, когда мы летели в Намингу.

А в Чаре было тепло, сухо, с реки дул теплый нежный, нагретый солнцем ветер. Улетать не хотелось. Но самолет уже ждал, и вот мы на его скамье — и Чару точно выплеснуло!

Опять тайга, горы, реки, озера, по-прежнему все пышно-зелено, только кое-где лиственницы позолотило, они стоят лучистые, сияющие, чуть-чуть склоненные вперед, а может быть, так кажется оттого, что самолет делает крен? «Но что такое? — хочется воскликнуть мне. —

Что это за серые и белые пятна над тайгой?!» Ба-а! Да это ведь стаи осенних птиц. Это вот гуси, а это — лебеди! Да, да, лебеди. Стая за стаей летят они к заветному югу. Над ними лучезарное небо, под ними — высокая, вековечная тайга... А самолет? А что им самолет!.. Они летят, и временами кажется, что позолоченные лиственницы, похожие на те столбы со свисающими гроздьями хмеля, которые я когда-то видел в Чехии, — лиственницы на мгновение касаются птичьих клювов. Не осень и не снег несут гуси-лебеди, а хмель, блистающий и заздравный хмель жизни.

Хмель, хмель, хмель творчества...

Кудрявый и душистый пламень жизни!

1962

СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ

Этот человек пронесся по жизни с неукротимостью и мощью удивительнейшей! Он был грузен, широкоплеч, высокогруд, одно плечо у него было слегка приподнято, как будто для того, чтобы легче было раскидывать препятствия. Он был одинок, но весел, оптимистичен, и, казалось, одного его волоска было достаточно для того, чтобы наполнить оптимизмом десяток тех воробьиных душ, которые постоянно клевали его. В 1761 году он пишет записку «О размножении и сохранении русского народа», где говорит, что России надо много населения и очень много науки. Он говорит об этом настолько беспощадно, что записку напечатали целиком только сто десять лет спустя, в 1871 году!

Он постоянно учится и учит. Этот крестьянин, великий северный мужик, пришедший в Москву в Заиконоспасские школы, голодный, сердитый, до самой смерти своей нуждающийся, неустанно учит. Он бьется с немцами, заполнявшими тогда Петербургскую академию и в большинстве своем авантюристами и прихлебателями, открывает Московский университет, заботится о своих учениках, делится с ними деньгами, и ему везде тесно, этому человеку.

Ровно двести лет назад его отправили учиться горному делу в Германию. Молодой студент, прикоснувшись к минералам, к философии, к математике, понимает, что эти науки только тогда придут к народу, когда их объяснишь простым и ясным языком. Он ищет этот язык. Естественно, что он обращается к поэзии. Она наполнена латинизмами и полонизмами, она находится под колоссальным влиянием Киевской духовной академии. Тогда студент присылает из Германии «Оду на взятие Хотина», прилагая к ней, чтобы объяснить свое открытие, «Письмо о правилах русского стихосложения».

Эти две работы начинают историю и великого ученого Ломоносова, и одновременно историю нового русского языка — языка Пушкина, Толстого, Горького.

Он привозит на своих широких плечах из Европы груз двух столетий — XVII и XVIII, чтобы своим поразительным, ясным языком рассказать русскому народу, зарождающимся русским ученым, что сделала в науке Европа за эти два столетия. Грозно стоит он в академической аудитории, «на русском диалекте показывая лекции». С напряженным вниманием слушают его «воинские и гражданские чины» и любимые им разночинцы. Он изобретает русскую научную терминологию, чтобы быть понятным, а не найдя необходимых терминов, спешит запечатлеть свои открытия в латинских диссертациях. Он открывает химическую лабораторию, работает в ней и тут же пишет «Древнюю русскую историю».

Он восхищен и радуется тому, что так много видит и понимает. Он занят мозаикой, стеклянными и бисерными заводами, и этого ему мало,— он воспевает в стихах «Пользу стекла». Ему мало того, что он один умеет писать, и он хочет, чтобы и остальные писали ясно, и чисто, и великолепно. И он создает риторику, книгу, в которую вкладывает все тогдашние знания Европы о том, как надо писать сочинения. Мало того, он пишет грамматику, выдержавшую 14 изданий, число необычайное в те времена!

Неустанно и неколебимо, дерзко он защищает науку. Он, который благоговел перед настоящими учеными, «шумит» с немцем Шумахером, начальником академии, лгуном, подхалимом и вором. Послушайте, как доносят на Ломоносова: «Приходит он в палату, где профессора для конференции заседают... и, не поздравивши никого и не скинув шляпы, идучи мимо профессорского стола, остановился и весьма неприличным образом обесчестил их и крайне поносный знак (кукиш) самым подлым и безобразным образом руками против них сделал. И поносил он профессоров... называя их плутами и другими скверными словами, которые и писать невозможно!»

Он никогда не был воином и не любил войны. С какой тоской в одной из своих од он говорит о войне:

Иль мало смертны мы родились,
И должны удвоять свой тлен?
Еще ль мы мало утомились

Житейской тягостью бремен?
Воззри на плач осиротевших,
Воззри на слезы престаревших,
Воззри на кровь рабов твоих!

Но, чтобы отвоевать для своей науки лучшее место в залах академии, заполненных чужими людьми, он пишет множество од о военных победах, и гений его так неукротим, что и в этих одах переливаются и блещут его родное северное сияние, тепло и сладость деревенской избы, величие и грохот Северного моря! Он ценит эти войны главным образом за то, что тогдашняя Россия, побеждая европейскими знаниями азиатское хищничество, побеждает его и внутри себя.

Он пишет надписи на программах для придворных фейерверков или для торжественных выездов цариц, чтобы тотчас же углубиться в смысл северного сияния, «от электрической силы происходящего», чтобы дать новую теорию цветов, чтоб, рассматривая «Явление Венеры», первым в мире указать на существование вокруг этой планеты воздушной атмосферы. Он — поэт! Он радуется своей науке, стихам, своей семье, родственникам, хорошему вину, приятной беседе. Он яростно обрушивается на придворного песенника А. Сумарокова, когда тот издевается над его одами. Для ученого эта ярость непонятна, но он и поэт и ученый, и мы можем быть только благодарны этой ярости. Нельзя без восхищения читать его записку «О северном ходе в Ост-Индию Сибирским океаном», которую он сопровождает стихами:

Там мерзлыми шумит крылами
Отец густых снегов Борей,
И отворяет ход меж льдами,
Дать воле путь в Восток твоей...

Эти стихи поэта и мужественная мудрость ученого воодушевили две экспедиции, которые ринулись в северные моря, чтобы пройти к Восточному океану. Экспедиции эти не дошли до теплого моря. Но потомки этих отважных северян создали эпос «Челюскина», прорезали граниты, поставив среди них гигантские сооружения Беломорско-Балтийского канала, и в одно лето черпают воду и из Северного моря, и из Великого океана с борта одного и того же корабля!

Этот северный крестьянин, собирая географические известия о России, чтобы составить точные карты, предлагает послать хороших живописцев в старинные русские города, чтобы сохранить для потомков и для художников «имеющихся в церквах изображений государственных — иконописною или фресковою работою — на стенах или гробницах состоящих, снять точные копии величиною и подобием». Он хочет, чтобы и история и искусство работали, «не искажая истины»! Таков и он сам в истории — поэт, художник, ученый, не искажавший истины, не искажавший своего духа, своих знаний, и вот почему восхищаются им дети социалистического отечества, вот почему так трогательно и нежно читают они строки, найденные после его смерти.

«За то терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтоб показать свое достоинство. Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют».

1936

ВСТРЕЧА В СТЕПИ

Вспоминается мне степь, обоз из пяти телег, крытых рогожами, и в телегах большие, обитые жестью, сундуки. Мы везем менять товары на масло у казахов. Я, подручный приказчика, служу только полгода и еще не приобрел ни смелости, ни проворства, и оттого, наверное, мне часто делается грустно. К тому же эта многочадная, бескрайняя и многоречивая степь гнетет меня. Я еще не знаю карты — этих часов пространства — и потому не вижу в степи ни начала, ни конца. Овраги все похожи друг на друга, возле всех колодцев стоят одинáковые деревянные тяжелые ведра, и всюду солоноватая вода.

Однажды мы увидали в степи, далеко-далеко, белые домики. Словно большие вылитые квадраты, стояли они на равных расстояниях один от другого, и было странно смотреть на них в этой степи, где все намалевано как попало.

— Это хохлы! — сказал, зевая, приказчик, которого я разбудил своим любопытством. — Менять они не будут, мы у них хлеба попросим, да и пойдем дальше.

Но дальше мы пошли не скоро. Приказчик пошел поразмяться по улице и, вернувшись, сказал, что надо разбивать ночлег и что утром Ахметка, работник, поедет за пустыми бочками в поселок, к нашему хозяину, а мы будем здесь ждать Ахметку. Ночью к приказчику пришли гости, девчата и парни, и из разговоров я понял, что не бочки нужны приказчику, а взаимность чернобровой и смешливой дивчины. Всходил шалфейно-желтый месяц, приказчик клал длинную руку на талию дивчины, и они шли гулять. Так как я знал намерения приказчика и они мне были противны, то мне скучно было жить в этом заброшенном в степи селении, а особенно мутно делалось, когда раздавались по селу песни. Так как

деревней я ходить, из-за лютых собак, боялся, то я шел за огородами,— и здесь на меня нападала такая темная, такая мрачная степь, что меня всего трясло от страха и от злости на этот страх.

Раз я вышел к кузнице. Было уже поздно. Глянцево поблескивали угли в горне, освещая несколько мужиков, сидевших на полу. У порога на табурете я увидал большого волосатого мужика в рваном летнем пальто, накинутом на плечи. Он только что окончил песню, ее последние слова неслись еще, когда я подходил к кузнице. Пел он не громко и не протяжно, и мне понравилась его песня. Теперь он, должно быть отдыхая, торопливо курил, и когда он сильно затягивался, то огонек папироски освещал его грубое бронзово-бурое лицо. Я опустился возле станка и тут разглядел одного из мальчишек, которого я часто встречал возле наших возов. Глаза его всегда сверкали неиссякаемым любопытством. Он, по-видимому, все знал, и я спросил его:

— Сектанты, что ли?

— Сиктанты!.. Сам ты сиктант!.. — зашептал мальчишка неистово: — Шевченку, Тараса, читают.

В словах его такой неизглаголенный восторг, что я замолчал и стал ждать. Но мальчишка не мог успокоиться. Он шептал, слюнявя своими губами мои пылавшие уши:

— Ходоки это, землю ищут, тесно им на Украине, вот и пошли... А он книжки читая...

— Зачем?

— Затем и читая, что идут. Тарасу Шевченку читая... во-о...

Огнедышащий, но малотолковый мальчонка замолк, потому что кто-то возле горна спросил:

— Оглушился, Семен?

— Оглушился,— ответил чтец, бросая почти воображаемую теперь папироску, сплевывая и растаптывая больше воображаемые остатки ее. — Буду читать дальше.

— А ты читай! — сказал все тот же властный голос.

Семен кашлянул, погладил грудь, и тут я заметил, что на коленях у него лежит книга. Это была обтрепанная, жалкая книга, и чтец держал ее так, как будто кто мог спросить ее для того, чтобы сверить, то ли он читает. Он приложил ладонь к щеке, подержал ее так минуту, отнял, сложил руки на книге и поднял глаза к небу. Глаза у него были большие, яркие, и что-то теп-

лое чувствовалось в них. Он заговорил нараспев, сильно вытягивая некоторые слова, так что минутами казалось, что он поет:

Ой три шляхи широкії
Докупи зійшлися,
На чужину з України
Брати розійшлися.
Покинули стару матір.
Той жінку покинув,
А той сестру, а найменший —
Молоду дівчину.

Посадила стара мати
Три ясени в полі.
А невістка посадила
Високу тополю.
Три явори посадила
Сестра при долині,
А дівчина заручена —
Червону калину...

Откуда-то издалека, словно эхо, донеслась очень жалобная песня, где-то звякнуло окно, кто-то свистнул, а у горна сказали:

— Это старостова дочка домой пришла. Ее за жандарма выдают, а она другого любит... ну и поет...

Голос у говорившего был бледный, тоскливый, и мне почему-то подумалось, что это его и любит старостова дочка и о нем она тоскует. К тому же говоривший вздохнул. А за ним вздохнули все, как будто поднялись на большую гору, и тут я понял, что вздыхали оттого, что впитывали стихи, потому что, как только Семен сказал первые слова продолжения, все затаили дыхание:

Не прийнялись три ясени,
Тополя всихала;
Повсихали три явори,
Калина зов'яла.
Не вертаються три брати,—
Плаче стара мати,
Плаче жінка з діточками
В нетопленій хаті;
Сестра плаче — йде шукати
Братів на чужину...
А дівчину заручену
Кладуть в домовину.

Не вертаються три брати,
По світу блукають.
А три шляхи широкії
Терном заростають.

И когда он кончил чтение, опять все широко вздохнули, и мужик с властным голосом пошевелил меха, разгорелись угли, и он закурил. Кроме него, курить никто не стал, даже певец. Помолчали, затем Семен опять начал свое не то пение, не то чтение, и чем он больше читал, тем чище и как бы просторнее становился его голос. И скоро мы забыли все — и эту кузницу, и это село в далекой и мрачной степи, где-то в Сибири, и всю горечь неизвестной жизни, предстоящей нам, и всю горечь теперешней. Мы уже не жаловались, а жадно прислушивались к этому мудрому и вечно бодрому голосу поэта и осанисто осматривали мир. Семен читал долго, пока не занялась заря. Затем ходоки встали и стали укладываться на ночлег, тут же в кузнице, головами к горну. Теперь, при свете зари, я мог разглядеть их лица. Это были пожилые люди с усталыми движениями, с какими-то дымчатыми глазами. Они пошли к колодцу, напились, и старик с тоненькой бородкой сказал нам:

— Спасибо, добрые люди, что слушали. Других слов нету.

И мы молча ушли.

Я шел прямо по улице, уже не боясь ничего. Мне казалось, что я увидал многое — целый народ, и это был пленительно-ласковый, смелый и дружеский, хоть и страдающий народ. И много лет спустя, когда я, уже взрослым человеком, впервые увидал Украину — Украину уже свободную и счастливую,— передо мной зазвенел вдруг голос певца-рассказчика, вспомнилась сибирская степь, мелькнул горн кузницы и прозвучал ласковый голос старика-ходока: «Спасибо, добрые люди, что слушали. Других слов нету».

1939

МОЕ ОТЕЧЕСТВО

В трамвае тесно и жарко. На небе редкие, пухлые облака, те, на которые всегда хочется махнуть рукой,— ни тени от них, ни влаги. Улицы горячи. Трамвай несется быстро. На переднем месте, у площадки, возле открытого окна сидит седенькая, тоненькая старушка. Большой курчавый рабочий держит в своих громадных руках седенькую головку старушки. Они смотрят в окно. Ей не хочется показать своих покраспевших век. Но на сына взглянуть надо. И мы видим ее лицо. Сколько в нем нежности, любви, ласки.

Рабочий рядом в форменной куртке говорит старушке:

— На фронт?

— На фронт, милый,— отвечает старушка и прижимается, тонет в больших руках сына. — Который раз на фронт провожаю, кажись бы привыкнуть, а сердце — оно и есть сердце.

Навстречу мчится грузовик с мобилизованными. Удалой мотив песни на мгновение заглушает звон трамвая. Все смотрят на грузовик. Лицо у старушки меняется, она сияет, а когда грузовик проскочил, она озабоченно обращается к сыну:

— Это как же, Крохолец-то вперед тебя успел в машину попасть? Стало быть, он раньше тебя на фронте будет?..

Вот они, эти великие слова матери! Вот она, гордость нового человека, строителя советского общества.

Или идешь через Красную площадь. Сегодня второй день войны, все заняты — кто на собраниях, кто на мобилизационных пунктах, кто усиленно, почти без перерыва и отдыха работает,— и все же через всю площадь,

мимо Исторического музея, под жарким солнцем стоит нескончаемая, во много рядов, очередь — к Ленину.

Рабочие, красноармейцы, работницы, инженеры, ученики,— у всех на устах одно слово:

— Война.

За два года второй мировой войны это слово «война» мы произносили часто. Оно грызло нам сердце, когда полчища фашистов залили кровью Францию, когда война зажглась в пустынях Африки, когда тонули корабли в Средиземном море, когда была захвачена Греция, когда предательски уничтожались славянские народы на Балканах, когда мы слышали стоны их,— когда мрак встал над Европой!

Мы стояли, сжав руки и стиснув зубы. Мы были готовы к нападению любого врага. Мы не готовились ни на кого нападать. Мы просто были зорки — привыкли к опасности.

И вот война подошла к рубежам моей страны, моей любимой отчизны, к моим полям, к моим фабрикам и заводам, к моим школам и библиотекам, ко всему тому, что принадлежит мне, советскому гражданину,— война, навязанная нам отрепьями человечества, подонками его,— война хочет поглотить мою культуру.

Поглотить? Сжечь? Уничтожить? Никогда!

Я русский. Мое отечество от Белого моря до Тихого океана. Это они, мои предки, шли по степям и тайге Сибири вместе с Ермаком; это их казацкие кони пили воду из Рейна, и это их знамена колыхал ветер на улицах Берлина, и это они защищали свою родину, когда стояли плечом к плечу на полях Бородина, и это от моих предков бежал, в испуге бросая оружие и снаряжение, свою гвардию, всегда непобедимый Наполеон. Это они — рязанские, тамбовские, тульские, сибирские мужики победили Наполеона и погребли его армию на своих полях. Русский народ не хотел отдавать своей земли врагу и никогда не сдавался, как бы трудно ни приходилось!

Народ мой ждал. Народ мой верил в свое будущее — светлое и крепкое. Он бился за это будущее в сотнях Разина, в полках Пугачева, на Пресне в 1905 году. Он говорил: «Не мне счастье, так детям».

И он дождался.

Пришел — Ленин.

Пришел — Октябрь.

И вот тогда мой народ совершил самую великую победу из побед, такую победу, которую никогда не совершал ни один народ!

У моего народа были границы государства. Оно называлось Россией. Но в границах этого государства была еще граница других народов, и эти другие, «иноязычные», как тогда говорилось, угнетались, и правящие классы старались отделить их от русского народа. Это не всегда и не со всеми удавалось. Всегда передовые люди России ненавидели малейшие намеки на русский шовинизм.

Октябрь не раздвинул географических границ государства. Но он уничтожил границы внутри этого государства, он уничтожил великорусский шовинизм. Вот это-то явление и придало нашей стране мощь и силу невиданную.

Вот я. Я остался русским, как и был им раньше. Но в мое сердце вошли мои родные братья, о которых я слышал, но сердца которых знал плохо. Я полюбил их и полюбил навсегда! Ко мне в сердце вошли украинцы, казахи, армяне, грузины, узбеки, туркмены... и великое множество больших и малых братьев-народов. Я стал понимать много языков и узнал много культур. Я по-иному увидал Грузию, Армению, Казахстан, Украину, Узбекистан, Белоруссию!..

Братья!

Мы братья; мы товарищи; мы бойцы социализма; мы сыны великого Советского Союза. Вот почему мы переносили и перенесем любые невзгоды; вот почему мы били и побьем любого врага! Мы братья, и мы защищаем наш большой светлый дом, который мы строили двадцать три года, с первых же дней Октября, и будем строить его. Этот дом называется социалистическая отчизна.

Мы готовились к той минуте, когда коварный, озлобленный враг вылезет из норы, чтобы подкрасться к нашему дому и зажечь его. Эта минута настала. Сердце сжалось, когда я услышал это слово — «война», и оно громко прозвучало в моем сердце. Это был трубный, призывный клич моей родины, моей отчизны, моей счастливой и гордой страны социализма! Он потряс меня с головы до ног, и я чувствую, что я необходим

отечеству еще более, чем когда бы то ни было. И мой долг — откликнуться на этот клич, выполнить волю моего отечества.

Работать — будем работать так, как никогда не работали!

Для нашего отечества мы добьемся победы. И я вижу предзнаменование этой победы. Оно есть! Это — единодушие нашей партии, нашей страны, всех народов моего великого отечества.

24 июня 1941 г.

РУССКОЕ ПОЛЕ

Это удивительное событие случилось под Сталинградом в конце 1942 года.

Двадцатипятилетний командир эскадрильи штурмовиков лейтенант Гавриил Иванович Игнашкин получил задание: разгромить в тылу врага аэродром, на котором, как сообщила разведка, стояло не меньше сотни транспортных самолетов и истребителей. Лейтенант Игнашкин поднял два звена «илов» и полетел.

От аэродрома, где находились самолеты его полка, на юг, к аэродрому противника, можно было лететь почти по прямой. Однако Игнашкин решил описать дугу, чтобы налететь на немца из-под солнца. Поэтому он спустился вниз по Волге.

Когда он покинул лозняки и крутые яры правого берега, поднялся над степью, он заметил легкий туман. Игнашкин вгляделся и почувствовал беспокойство. Дело в том, что кабину его самолета наполнял странный запах, причину которого было трудно отгадать.

Откуда этот запах?

Лейтенант вспомнил большие праздники в селе, где и отец его, и дед, и он сам в ранней юности крестьянствовали. Они были очень бедны и поэтому только в большие праздники могли печь пироги, и так как в Орловской области не столь уж много дров, то, экономя топливо, постоянно пироги те либо не допекали, либо, торопясь, перепекали. Так вот теперь запах, наполняющий самолет, напоминал запах подгоревшего хлеба.

Лейтенант великолепно знал свою машину. Мало ли какие запахи свойственны ей! Но запаха подгоревшего хлеба она никогда не издает.

Туман густел. Запах подгоревшего хлеба усиливался.

Лейтенант, чтобы выйти из тумана, стал подниматься.

«Откуда он, туман? — размышлял лейтенант. — По данным метеосводки, не должно быть тумана! А метеосводка у нас всегда правильная. На всем пространстве от Волги до Дона не может быть тумана».

Тревога, таинственная и какая-то горькая, наполнила его сердце. Что такое? Почему?

Он набирал высоту. Он поднялся на восемьсот метров. Люди его эскадрильи не были подготовлены к полетам на высоте. Да к тому же странный туман, видимо, также тревожил их. Они ближе прижимались к ведущему самолету. Туман между тем не уменьшался. Всюду, куда хватал глаз — вперед на сотню километров, с боков на сотню, — земля была покрыта этим туманом.

Ни лейтенант Игнашкин, ни его ведомые на «илах» никогда не поднимались на высоту трех тысяч метров. И все же добрались, потому что от самой земли до трех тысяч метров в неподвижном и горячем воздухе лета стоял туман.

И только когда самолеты вышли из полосы тумана и лейтенант увидал уже внизу, словно застывшие перья, полосы тумана, он понял, откуда это.

Горели нивы. Дым!

Да, горел хлеб и горел на корню, горел на всем пространстве от Волги до Дона.

Горел людской, крестьянский труд. Горела русская, донская, казачья земля, горела, подожженная немецким войском.

Горько было лейтенанту вести самолет над этим дымом. Отец его так воспитывал детей: все в людях, а сам работает дома. Тяжело с девяти лет ходить по людям, поднимать чужую землю, копать или полоть, или даже просто караулить урожай, или скот, пасущийся на лугу. И все же, несмотря на все тяготы, Игнашкин любил поля, поднимающиеся хлеба, запах созревающей нивы...

Земли не было видно. Лейтенант шел на высоте. Время истекло. Он подлетал к Дону по всем расчетам. И он начал пробивать дым. Как бы ни горек был этот дым, но Игнашкин не имел права вернуться — задание срочное, совершенно необходимое.

Он перелетел Дон. По ту сторону реки дыма не было. Лейтенант снизился. Он пролетел речушку, горку, лесок и за лесом увидел совершенно открытое поле — российское, донское поле.

Лейтенант летел бреющим.

Поле было недвижно. Лучи солнца озаряли его с востока, и лейтенант видел впереди тень своего самолета, крадущегося к вражескому аэродрому.

Направо и налево, в безмолвности — ибо ничего, кроме гула пропеллера, лейтенант не слышал, а гул этот был для него уже привычен, вроде тишины,— так вот направо и налево лейтенант видел на поле поверженные немецкие танки, исковерканные орудия, брошенные повозки и трупы, трупы гитлеровцев. Минуты шли за минутами, километры шли за километрами, но всюду, куда он ни бросал свой взор, всюду лейтенант видел разбитые танки, орудия, повозки, покинутые мертвецами окопы и всюду неубранные трупы немцев, словно их столько набили, что и хоронить-то некому!

Лейтенант увидел впереди себя большак.

Дорога, широкая, в выбоинах, наполненная белой пылью сверх края, лежала неподвижная и пустая. Лейтенант полетел вдоль нее, па высоте двадцати метров, так, что можно было разглядеть следы от автомобильной шины.

И вдруг он увидел впереди крестьянина.

С запада на восток по большаку шел крестьянин с палочкой, с сумкой за плечами.

Увидав русские самолеты, крестьянин остановился, снял шапку и, перекрестившись, показал на восток,— дескать, туда иду.

Лейтенант приветствовал старичка, показав, что он сам идет на запад. Оглянулся.

Старичок уже надел шапку и по-прежнему шел большаком, пустынным, пыльным и жарким, на восток.

Лейтенант подумал: «Да что, он не знает, что там линия фронта?» Лейтенант заметил место, где встретился старичок. «Возвращаясь,— думает,— посмотрю, куда все-таки он пошел этим страшным полем».

Летит лейтенант. Летит полчаса, час...

По расчетам лейтенанта километрах в двадцати должна уже быть железная дорога.

Так оно и есть. Видит — линия. Справа, значит, надо быть аэродрому.

Видит — стоят на аэродроме вражеские самолеты. Лейтенант подает команду: атака!

Высота у него к тому времени была триста метров. Стал он обстреливать аэродром из пушек, из пулеметов...

Потом по бомбе сбросили. Немцы из зениток открыли такой огонь, словно вся земля подряд пушками уставлена.

Лейтенант — по оврагу, бреющим. За ним ведомые.

Поднялся повыше. Видит, горят три огромных факела на аэродроме. Значит, транспортники пылают. Затем послышался взрыв,— склад со снарядами. Сделано, словом, все, что нужно. Лейтенант чувствовал удовлетворение.

С той цели, которую он разгромил, лейтенанту по прямой было ближе к своему аэродрому. Но вспомнил он хлебный дым, через который должен лететь, вспомнил старичка-крестьянина с котомкой, и захотелось ему увидать: куда же все-таки старичок идет?

И лейтенант повернул на прежний курс.

На большаке старичка уже не было.

Однако вскоре лейтенант обнаружил старика.

Он подошел к самой линии фронта и полз через нее.

Он полз на восток, к своим, к родным, к милой армии, к сыновьям, которые ушли с ней, к детям, которые уехали в эвакуируемых поездах, к односельчанам, которые угнали стада... Он полз с запада на восток!

Увидав приближающиеся русские самолеты, старик встал на колени, положил перед собою шапку и поднял кверху руки.

Этим жестом он говорил: «Возьмите меня, летчики, возьмите меня, я не могу быть среди немцев!»

Лейтенант так и понял его.

Но лейтенант не имел приказания на посадку. Да и как мог он сесть?

Лицо и руки лейтенанта были мокры от слез.

Когда лейтенант спустился на свой аэродром, его окружили ведомые:

— Товарищ командир, вы заметили старика, как он просился?

— Конечно, видел.

* * *

Русский человек, разозлясь, редко употребляет высокопарные слова, а того реже — высокопарные жесты. Сверкнет он глазами, стиснет зубы так, что стальные желваки забегают по челюстям, да еще, пожалуй, пустит

крепкое слово, от которого и сосна качнется до корня,— и все.

Вспоминая те горящие хлеба, те разрушенные немцами села, которые они видели, и, наконец, того старика, который полз через фронт на восток, летчики подразделения старшего лейтенанта Игнашкина совершили много славных дел.

Есть под Сталинградом пункт Гумрак. Там километра на два скопились немецкие танки. Лейтенант Игнашкин привел к Гумраку свои самолеты — восемнадцать «илов» и двенадцать истребителей,— и в великую ненависть вошли его ребята. Отбомбили. Видят, много очагов пожара,— ну, и уходи, казалось. Нет! Самолеты зашли еще раз, чтобы на бреющем окатить противника из пулеметов и пушек. Затем еще и еще! Игнашкин их и увести не может. Свыше сорока танков вывели из строя, а им все мало! Игнашкин собирал их минут сорок, так и не собрал, пришлось одному уйти, они уже вернулись сами — и вернулись без потерь.

Делали в день по четыре-пять вылетов.

— Устали? — спросит командир полка.

Конечно же устали, да и не ели к тому ж. Однако говорят командиру:

— Нет. С чего ж уставать: дело привычное.

И командир знает, что устали. Но знает он также, что русской ненависти не остановишь. Он говорит:

— Летите.

* * *

За штурмовки под Сталинградом лейтенанту Игнашкину присвоено звание Героя Советского Союза. У него не было ни одного случая, чтобы он не выполнил боевого задания. Игнашкин сделал девяносто семь удачных боевых вылетов. Если вы попробуете помножить эти девяносто семь боевых вылетов на количество уничтоженных танков и самолетов противника, то получится цифра, которая вполне определяет силу ненависти, наполняющей лейтенанта Игнашкина.

Я видел его сразу же после получения Золотой Звезды Героя Советского Союза и ордена Ленина. Он стоял передо мной в полушубке, в шапке-ушанке. Длинная, сумрачная от меблировки и темных обоев комната окружала нас. Всюду лежали папки, книги. Это были

книги по истории России! И должен заметить, что, несмотря на свою молодость и округлое лицо, Игнашкин казался здесь на месте.

Я спросил его:

— Долго пробудете в Москве?

Он ответил:

— Завтра уезжаю. Под Сталинград. У нас, среди летчиков, есть такое животрепещущее мнение, что за того старика, который по полю через фронт полз, не совсем еще отплачено. Надо работать.

10 марта 1943 г.

БАЛЬЗАК

В 1799 году, одиннадцать месяцев спустя после битвы у пирамид, генерал Бонапарт возвратился во Францию. Рождалась Французская империя. Умирала французская свобода.

В том же году родился Оноре Бальзак, величайший романист Франции. Бальзак проклял и осмеял низменный строй жизни, создаваемый буржуазией, богачами, банкирами. И проклятие его звучит и поныне, быть может даже с еще большей силой.

Бальзак писал огненным и гневным пером.

Пусть он, как человек своей эпохи, жаждал денег и славы. Одно дело жаждать, другое — утолять жажду. Даже на вершине славы он все же имел денег меньше, чем любой банкир.

Пусть он был легитимист, католик, пусть называл себя дворянином самой древнейшей крови. Талант его был так огромен, стремление к реализму и жизненной правде столь мощно, что мундиры легитимиста и католика постоянно трещали по швам и расползались на нем. И если говорить о древнейшей крови, то в нем действительно бурлила и клокотала древняя и отважная кровь свободолюбивого француза. Вот почему он постоянно был строителем.

Но строителем в кандалах. И когда вы читаете его книгу, его несравненную «Человеческую комедию», вы всегда слышите звон этих кандалов, тяжелое дыхание исполина, которому трудно идти и трудно работать, но который неустанно идет вперед и неустанно строит. В молодости ему казалось, что он приобретет свободу своего искусства посредством денег. Он кинулся в предприятия, был типографщиком, издателем, мечтал о грандиозных и прибыльных изданиях, но, конечно, разорился,

потому что был честен, а кругом его царили и управляли миром мошенники. И позже, всю жизнь, он шел по глубокой грязи долгов, сопровождаемый воем заимодавцев и ростовщиков.

Разгневанный, познавший жизнь и тех, кто управляет ею, Бальзак вступил в литературу. Бальзак по природе своей был организатором. Но трудно организовать волчью стаю, если у тебя самого не волчьи аппетиты и не волчье сердце. Поэтому-то все коммерческие предприятия Бальзака не удавались. Но стоило ему лишь вступить на путь подлинного искусства, на путь подвига, как весь его организаторский талант оказался нужным и необходимым. Бальзак смог вывести и показать человечеству множество всевозможных типов, показать организации, которые управляют человечеством, и мотивы, по которым они управляют.

Бальзак вывел от трех до четырех тысяч типов, целый город самых разнообразных людей из всех кругов общества. На тридцать пятом году жизни, в расцвете сил, он задумал грандиозное предприятие, многотомный труд — «Человеческую комедию». Какая вера в себя, какая вера в искусство, какая вера в свой народ, который должен был поддержать его в этом замысле! Тридцати пяти лет он задумал написать и переписать, переделать из прежде созданных, 143 произведения. Он не был фантастом, хотя буржуазные историки литературы всюду бормочут об его фантастичности и чудачествах. Прежде всего то, что он не был фантастом, доказывается тем, что из 143 задуманных произведений «Человеческой комедии» написано было 92 — две трети задуманного. Две трети «Человеческой комедии» были написаны в поразительно короткий срок,— ведь Бальзак не писал сразу набело, у него не было ни пишущей машинки, ни стенографистки. Работая по четырнадцать — шестнадцать часов в сутки, Бальзак переписывал свои романы по нескольку раз, вводил и в корректуру многочисленные исправления. Какая уж тут работа для денег! Это истинная и вдохновенная работа для народа, для искусства, для потомства.

Не деньги водили его пером, а ненависть к деньгам, к буржуазии. Его комната была превращена им, ради искусства и ради народа, в крепко замкнутую одиночку. Если он и вырывается отсюда в «свет», в салоны, где ему лепечут комплименты перезрелые красавицы, то

лишь для того, чтобы еще раз разглядеть отвратительную и жадную сущность этого «света», чтобы еще сильнее обличить его.

Романтизм, ставящий на первый план фантазию, безудержную выдумку, опирающийся на легенду, на прошлое, в конце концов чрезвычайно облегчал труд художника, избавляя его от тяжелого контроля над самим собой, над своими наблюдениями. Романтиком легко быть, и в этом объяснение того смерчеподобного успеха, который имел романтизм, чрезвычайно быстро распространившийся по Европе.

Реализм, одним из крупнейших представителей которого был Бальзак, необычайно трудоемок, требует большого напряжения в работе, острого взгляда и непрестанных наблюдений. Реализм требует наблюдения и за фантазией, а фантазия в те дни была избалована романтизмом, и ее не так-то легко было подчинить реальным, жизненным положениям. Четыре тысячи типов, созданных Бальзаком, были как бы четырьмя тысячами живых людей, с их сложными потребностями, страстями, денежными интересами, с их претензиями к искусству, с их смутно или ясно выраженными идеями. Это была не сказка, не «Тысяча и одна ночь», а это была сама действительность, которая не хочет и не может повторяться, которая всегда разнообразна и которою управлять можно лишь тогда, когда ты всецело и неустанно наблюдаешь за нею, следишь, живешь ее реальными и жизненно необходимыми интересами, живешь, опираясь на высокие идеалы искусства!

Бальзак любил свое искусство и свой народ. И любовь свою к народу, к искусству он мог передать только средствами искусства, только защищая искусство и народ.

Первым признаком любви к искусству является любовь к своим сверстникам, занимающимся искусством. Бальзак и в письмах своих, и в статьях, и в романах много говорит, а главное, говорит с уважением о своих сверстниках. Величие гения заключается в том, что он спутников своих считает тоже великими и тем самым уговаривает их свершать великие задачи. Пусть гений иногда даже и ошибается, пусть спутники его не в состоянии будут иногда пройти той дорогой, по которой он им советует идти; все равно из десятерых восьмеро пойдут и дойдут!

Бальзак, при всем его внешне холодном отношении к народу, был, однако, подлинно народным писателем, потому что он с удивительной яркостью и выпуклостью передавал свою ярость к богачам, тем самым выражая ярость и ненависть народа.

Критика буржуазного общества насыщает все романы «Человеческой комедии». В ней — сила и пафос этих романов. Биржевые олигархии и деревенские ростовщики, провинциальные купцы и их столичные собратья, украшенные купленными гербами, авантюристы, нарушающие закон, и авантюристы, подкупающие его, гнусные скряги и не менее гнусные расточители окружают нас со всех сторон, когда мы входим в мир «Человеческой комедии». Бальзак раскрывает перед нами паразитарную, хищническую сущность всех этих людей, показывая, что не производство материальных ценностей, а спекуляции ростовщиков, афера являются типичнейшими методами капиталистического обогащения, что все эти люди ничего не создают, только захватывают и накапливают. Буржуазный мир, изображенный Бальзаком,— это страшные джунгли, где люди, как хищные звери, перегрызают глотки друг другу.

В этой волчьей грызне человек перестает быть человеком. Типографщик Сешар грабит родного сына, а дочери старика Горио — родного отца. Брак превращен в коммерческую сделку. Бальзак срывает лживую маску с буржуазной прессы, с буржуазной законности. Вотрен в романе «Отец Горио» говорит о том, что уголовный суд годен лишь на то, чтобы «лаять на воров, защищать богачей, посылать на гильотину благородных людей», что судьи заботятся только о том, чтобы «богатые спали спокойно». В романе «Утраченные иллюзии» Клод Виньон говорит, что «газетное дело превратилось в промысел и, как все промыслы, не знает ни стыда, ни совести». И действительно, как бы в подтверждение этих слов, почти на всем протяжении романа раскрывается вонючая кухня газетных сплетен и интриг, имеющих целью оплевать все красивое и передовое, раздавить грязным сапогом клеветы все свежие литературные побеги.

Сквозь всю «Человеческую комедию» проходит тема враждебности буржуазного мира искусству, тема трагической гибели таланта в мире чистогана. В погоне за успехом и деньгами поэт Люсьен Шардон теряет со-

весть, а вместе с нею и талант. Картины Пьера Грасу обогащают не художника, который их создает, а спекулянта, который их продает.

Ломая традиции буржуазного романа с нравоучительным концом, где порок обязательно карается, а добродетель увенчивается, Бальзак в повести «Прощенный Мельмот» пишет: «Поразительная цивилизация! Общество жалует добродетели на старость сотню луидоров ренты, третий этаж, хлеб в умеренном количестве, несколько поношенных галстуков да немолодую жену, сопровождаемую ребятами. А пороку, если у него хватит смелости, если он умеет ловко повернуть в свою пользу, общество прощает украденные им миллионы, общество его осыпает лентами, начиняет почестями и заваливает знаками уважения».

Бальзак сам охарактеризовал народ как «людей пота и воли, труда и терпения», подчеркивая, что «благородный тип встречается только в народе». Об этой стороне творчества Бальзака говорит Энгельс: «Единственные люди, о которых он всегда говорит с нескрываемым восхищением, это его самые ярые противники, республиканцы — герои улицы Cloître Saint Merri, люди, которые в то время (1830—1836) действительно были представителями народных масс. Я считаю одной из величайших побед реализма, одной из наиболее ценных черт старика Бальзака то, что он принужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он *видел* неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он *видел* настоящих людей будущего там, где их единственно и можно было найти».

Всем этим и близок Бальзак нашему советскому читателю.

В 1911 году А. М. Горький с поразительной точностью и с еще более поразительной прозорливостью писал:

«Человеческая комедия» была прочитана мною уже лет в двадцать; эта книга нанесла сильнейший удар моему неоформленному романтизму, и я почувствовал в ней гений Бальзака и полюбил его горячей любовью, как, вероятно, любят учителя и друга.

Двумя-тремя годами позднее в России явился перевод полного собрания сочинений Бальзака, я дважды

прочитал все его книги и тут понял всю величину этого писателя, эпический размер его таланта изумил и пленил меня. Широта его планов, смелость мысли и гениальные предвидения будущего, уже во многом оправданные настоящим,— делают его одним из величайших учителей мира».

Гениальные предвидения — это, конечно, предвидения судеб Франции, которую ведут богачи, банкиры, империалисты. Это путь завоеваний, чаще всего оканчивающийся поражениями. Это путь неимоверного угнетения и эксплуатации масс, заканчивающийся революциями. Но в этом высказывании о Бальзаке, говоря о его гениальном предвидении, М. Горький и сам очень много предвидел. И, разумеется, те авантюры, в которые богачи, банкиры, все те, кого ненавидел и кого обличал Бальзак, бросают современную Францию на борьбу против свободы, революции и прогресса. Войну 1914—1919 годов французские банкиры заканчивают вооруженной интервенцией против людей, строящих новое общество, против Советской России. Войну 1939—1945 годов французские банкиры заканчивают Североатлантическим пактом.

Многое, разумеется, изменилось в мире со времен Бальзака. В его времена банкиры спекулировали преимущественно на росте и развитии промышленных предприятий. Военные авантюры не занимали так уж много места в их занятиях, хотя, конечно, наполеоновские войны весьма способствовали их обогащению и их аппетитам. Ныне банкиры занимаются преимущественно войнами: они стали империалистами в самом гнусном и отвратительном значении этого слова.

И сам Бальзак, создавший несравненные типы банкиров, военных и промышленников, Бальзак, обожающий едкое и острое слово, смеется из гроба над теми, кто хочет унизить и свести до ничтожества великую Францию. Нельзя продать то, что не продается: нельзя продать гений народа!..

1949

АНАТОЛЬ ФРАНС

Есть имена в истории культуры, которые прочно войдут в память народа.

Таково имя Анатоля Франса.

Анатоль Франс, со всем блеском своего таланта, задолго выбил насмешливую эпитафию на камне, под которым предстоит покоиться дряхлому, постылому правительственному строю банкиров, клерикалов, националистов.

Поэт и мыслитель, воспевший и выразивший душу и ум Франции, он вместе с тем был бойцом за счастье своей родины, за социальную правду на всей земле, для всего человечества.

За двенадцать лет до Октября, в дни стачек и восстаний 1905 года, Анатоль Франс написал следующие пророческие строки: «Общественные дела в нашей стране — легкая комедия в сравнении с мрачной драмой, разыгрывающейся в России. На берегах Невы, Вислы и Волги решается в данный момент судьба новой Европы и будущего человечества. Удивительный обмен понятиями и идеями! Наши отцы в 1789 году преподали Европе урок буржуазной революции, а сейчас русские пролетарии, в свою очередь, дают нам урок социальной революции...»

«Каков бы ни был исход этого страшного и огромного мероприятия, русские пролетарии осуществили действие, имеющее решающее значение для судьбы их страны и всего мира. Русская революция — это мировая революция». (Сборник статей «30 лет социальной жизни».)

И позже, когда социальная революция в России свершилась, он горячо и страстно приветствовал создание нового общества, которому было суждено и перестроить свою страну и, в сильнейшей степени, суждено

было воздействовать на всю мировую культуру, в том числе и на передовые, прогрессивные слои французского народа.

Великая Октябрьская революция привела в трепет все буржуазные правительства. Началась организация военных походов, чтобы разрушить молодую Советскую республику. Франс с гневом обрушивается в 1919 году на капиталистические правительства, которые, не удовлетворившись у себя удушением «всякой свободы, всякой политической жизни, всякой мысли и даже подобия мысли, в настоящий момент стараются потопить в крови русскую революцию». В «Юманите» печатается протест французских писателей и ученых против блокады и военного вмешательства в дела России. Первым под этим протестом подписался Анатоль Франс.

Ленин на VII Всероссийском съезде Советов в 1919 году сказал по поводу этого протеста:

«Если французская буржуазная интеллигенция, после недавней победы самой бешеной реакции на выборах, после того режима, который там существует теперь по отношению к большевикам, если она говорит, что ей стыдно становится от союза реакционнейшей Франции с реакционнейшей Германией с целью душить голодом рабочих и крестьян России,— то мы говорим себе: это, товарищи, третья и крупнейшая победа. И я желал бы посмотреть, как при таком положении внутри государства господа Клемансо, Ллойд-Джордж и Вильсон осуществят свой план новых покушений на Россию, о которых они мечтают. Попробуйте, господа!»

Какими путями пришел Франс, этот крупнейший художник слова и мыслитель Франции, к необходимости союза с народом? Был ли этот путь легким или тяжелым? Был ли этот путь извилистым или прямым?

И чему учит нас этот путь? И чему учит все творчество Анатоля Франса?

Попробуем ответить на эти вопросы.

Анатоль Франс родился в 1844 году, полстолетия спустя после громовых дней французской буржуазной революции и почти тридцать лет спустя после свержения Бонапарта.

Революция была задушена. Но она не умерла. Она готова была — с удесятеренной силой — сверкать и греметь над Францией. Молнии и громы революции скры-

лись в цехах заводов, в подвалах, где жила беднота, в казематах Парижа, куда сажали эту бедноту, готовую всегда бунтовать.

Но и Бонапарт не умер. Порадовавшись свержению Наполеона Бонапарта, французская буржуазия не переставала мечтать о торжестве бонапартизма и о французской империи. Разумеется, ей нужен был Бонапарт несколько иной окраски, соответственно духу времени, но, в общем, Бонапарт-генерал, который в интересах буржуазии пользовался бы неограниченной властью и умел бы прописывать и своему народу и другим окружающим и не окружающим Францию народам жаропонижающее в виде пуль и штыков. Буржуазия хотела спокойно воевать и завоевывать, она хотела, чтобы народ исправно платил налоги, чтобы рабочие безропотно и за мизерную плату работали 15 и 18 часов в сутки, чтобы крестьяне не требовали земли, чтобы все исправно молились и почитали бы кюре, который, в свою очередь, почитал бы государство и молился за него, и чтобы искусство было послушным и восхваляло бы буржуазное правление. Короче говоря, желания буржуазии выполнялись — бонапартики росли, как грибы после дождя, показной Париж разрастался и блистал роскошью, бульвар Пуассоньер торговал великолепно.

Анатоль Франс жил во времена революций. Во времена колониальных, завоевательных и оборонительных войн Франции. Во времена, когда биржевики, милитаристы, националисты, спекулянты от науки и продажные журналисты заполнили Францию. Во времена, когда усиливалась, идеологически вооружаясь, французская буржуазия и когда важнейший отряд буржуазной идеологии — католичество приобрело особо важное значение.

Еще в ранней юности Анатоль Франс имел возможность слышать гул Парижа, добывающего золото. Он мог обонять запах мертвечины, которым отдавала роскошь, купленная на это золото. Он мог слышать сарказмы парижан низших или почти низших классов, ненавидящих этот торгашеский, лживый и мелочно расчетливый Париж.

Анатоль Франс родился в семье мелкого торговца книгами, человека полуграмотного. Дед его был сапожник, надо думать, еще менее грамотный, чем отец. Книжная лавка его отца была невелика, и с ее полок книги

вряд ли попадали в руки купцов или аристократов, вернее сказать, эти книги делались достоянием людей с небольшим достатком. А такие люди любят говорить остро, и говорить о правде, и мечтать о социальной справедливости. Я думаю, что они преподали юному Франсу не один пример бесстрашия и храбрости в обращении со словом.

Обучался Анатоль Франс в католическом лицее св. Станислава. Он вынес оттуда лишь одно глубокое убеждение, к тому же подкрепленное соответствующими знаниями: католицизм совершенно враждебен свободе и прогрессу. И начинающий писатель поспешил выразить это мнение, правда в еще не совсем ясной форме, в первой своей пьесе — «Коринфская свадьба», вышедшей вслед за биографическим исследованием о романтическом поэте Альфреде де Виньи и первой книгой стихов «Золотая свадьба».

По окончании лицея он работал в газете обыкновенным рецензентом.

Ничто так не обогащает писателя, как работа в газете, работа даже самая обыденная. Газетные столбцы, в создании которых участвует писатель,— это страницы его будущих книг. Через посредство газеты он встречает множество людей, представителей всех классов общества,— в их торжественные, горестные, радостные или ужасные минуты жизни. И так как писатель обычно работает в газете когда молод, когда память его особенно восприимчива, наблюдения эти остаются в нем навсегда, служа ему запасной кладовой, куда он может обращаться в любое время, в полной надежде, что отказа не будет.

Работа в газете была для Анатоля Франса вторым лицеем. Из лицея св. Станислава он вынес презрение и ненависть к католичеству. Из работы в газете он вынес ненависть и презрение к буржуазии, ко всему капитализму, к империализму.

Я не хочу сказать, что, работая в газете, Анатоль Франс целиком сложился как писатель и как мыслитель. Нет, путь его исканий правды был тяжелым и сложным. Он с недоумением и с напряжением вглядывался в лица лицейских преподавателей, которые спокойно и методически пытались внушить ему вздорные легенды, находя в них глубокий и спасительный смысл для человека. Ему казалось странным, что уче-

ные люди могут верить бессмыслице и чепухе, тогда как их обязанность, казалось бы, в том и заключается, чтобы обнаружить и раскрыть эту бессмыслицу и вздор, которые он, неопытный юноша, отчетливо раскрыл для себя, но не умеет еще показать людям.

Но, приглядевшись к людям, работая в газете, Франс понял, что религия — это не единственный способ обманывать простого человека. Возможно, что он не соединял тогда еще вместе обман и эксплуатацию человека человеком, но, как бы то ни было, и то и другое приводило его в возмущение. Рыскающие вокруг него торгаши, биржевики, спекулянты, военные — все твердили, что без обмана жить нельзя, что никакой правды нет, и что весь мир — обман, все государство — обман, все крадут, убивают, и что фраки и мундиры прикрывают лишь честолюбие и жажду наживы.

Но как же окружающий мир, прекрасный и великий? Как же цветущие деревья, кусты, зеленые травы, лепет птиц в небе, лепет любви среди молодых людей? Неужели счастье для людей невозможно и чем дальше, тем все будет хуже, тем хуже будет человек, ибо капитализм разрастается и готов поглотить все?

И чем дольше он жил, тем напряженней он вглядывался в мир, тем сильнее охватывало его желание вскрыть все звериное обличье буржуазного мира, подвергнуть его яростному порицанию. Он любил Францию, любил этот могучий ствол, от которого бури и непогода отламывали ветви, уносили некоторые листья, но корни которого за тысячелетия крепко вросли в землю и могут держать и этот древний ствол и мощную крону, уходящую в небо, еще тысячелетия! Все эти многочисленные паразиты, которых он видел, энтопаразиты и эктопаразиты, на поверхности дерева и внутри его, как и все паразиты вообще, гораздо меньше своего хозяина. Их необходимо разглядеть, рассказать о них лесникам — и смести их.

Мне представляется лицо Анатоля Франса тех времен, со взглядом, как описал его Ромен Роллан в своем дневнике: «...взгляд тяжелый, суровый, неуверенный усталый...» Он устает от дум, от стремлений, которые он боится не выполнить. Вот почему первый роман его выходит, когда ему уже тридцать четыре года. Между первой его книгой стихов и первым романом лежит длинная вереница лет — девять лет размышлений

и раздумий. Обычно в первые годы работы писатель создает самое большое количество своих произведений.

«Преступление Сильвестра Бонара» — первый роман Анатоля Франса — имел огромный успех и был увенчан Французской академией. Писатель сразу покорил большие читательские круги. Читатель полюбил Анатоля Франса и был верен ему до конца его творческой жизни. Со своей стороны Франс не обманул читателя; художественная сила его дарования иногда, правда, снижалась, но никогда не влачилась в грязи, никогда не пресмыкалась, никогда не прославляла зло и злых, всегда была человеколюбива.

Вслед за романом «Преступление Сильвестра Бонара» Анатоль Франс начинает выпускать свои романы, в той или иной степени отражающие настроения и думы передовых слоев французского общества и всего французского народа.

Три линии можно разглядеть в творчестве Франса. Первая линия — это исторические романы и рассказы. Вторая — современные. И третья — утопические, фантастические романы.

Буржуазная критика с удивительным единодушием, говоря о творчестве Франса, называет автора скептиком, отрицателем, а все его романы и рассказы — скептическими, нарисованными, так сказать, одной краской, в одном настроении. Не подозрительным ли кажется это единодушие критики? Почему так превозносится скептицизм Анатоля Франса и так усердно замалчиваются все остальные стороны его творчества? Почему Анатолю Франсу приписываются мысли героев его произведений, мысли, которые он вкладывал в уста отрицательных персонажей, созданных как контраст персонажам положительным? Почему замалчивается самое главное в творчестве его — полное отрицание буржуазного, капиталистического строя и необходимость создания строя более справедливого, социалистического, коммунистического?

Разве буржуазные критики не понимали этого? Понимали, конечно. Но делали вид, что не понимают. Они сознательно превращали Франса в отрицателя, в насмешника над людьми, в писателя, ненавидящего все реальное и простое и любящего только дурачков, простофиль, людей, изуродованных жизнью.

Между тем Франс если и смеялся, то над буржуазией, над ее предрассудками и преступлениями. Если он отрицал, то он отрицал классовое общество. Если он ненавидел, то ненавидел империализм.

А любил он простой народ, его неугасимую веру в добро, веру в приход социальной справедливости, его надежды на торжество правды. Достаточно прочитать один небольшой рассказ — о зеленщике Кренкебиле, чтобы возненавидеть все буржуазные правительства и весь капитализм.

Обстоятельства не позволяли буржуазии физически уничтожить Анатоля Франса, хотя она и уничтожила бы его с большим удовольствием.

Вскоре после выхода атеистического романа «Восстание ангелов» папа Бенедикт XV издал приказ по форме, установленной католицизмом много веков назад. Этот приказ запрещал католикам чтение романа, как книги, написанной рукой дьявола. Восемь лет спустя Ватикан включил *все* сочинения Анатоля Франса в список запрещенных и безбожных. Писателю в то время было 78 лет. И, конечно, будь это во власти Ватикана, он, согласно вековой традиции, сжег бы этого престарелого писателя на костре вместе с его книгами, а буржуазия только аплодировала бы этому аутодафе.

Не имея возможности сжечь Анатоля Франса, не имея возможности даже посадить его в тюрьму, не имея возможности замолчать его творения, которые были известны всему читающему миру,— буржуазная пресса и ее подхалимы начали превращать пророка и обличителя в скептика, эстета, циника. Его знание истории, философии и просто знание современности объявлялось сомнительным; строение его романов — бесформенным; его объективность — объективностью шутки и баловства. Словом, огромного писателя пытались постепенно превратить в шута, специальностью которого были парадоксы, а все его разнообразные творения рассматривались как один длинный монолог паяца. После его смерти свистопляска эта усилилась. Прочтите все эти книги — «Анатоль Франс в халате», «Беседы Анатоля Франса», все эти воспоминания секретарей или людей, знавших его,— вы всюду увидите только скептика, баловника, человека, презирающего мир, труд, любовь и даже борьбу людей за лучшее будущее. Поразительно и гнусно это

единодушие буржуазных журналистов, мстящих мертвецу за ту правду, которую он о них высказывал!

В интересах общечеловеческой культуры, в интересах развития истинной, социалистической культуры это мнение буржуазных литературоведов и журналистов должно быть опровергнуто.

Энциклопедически образованный, одаренный мощной силой воображения, Франс с охотой занимался прошлым.

Но он своевременно и глубоко запечатлевал и наиболее значительные события своей эпохи. Его книги о кондотьерах современной буржуазной Франции, о политических карьеристах, о беспринципных мошенниках облетели весь мир. И книги эти не только облетели,— они и пустили семена на далекой и, на первый взгляд, чуждой им почве.

Всем известен цикл его романов, объединенных названием «Современная история». И если мы добавим сюда еще одно слово — Франции, то эта книга действительно могла бы служить беллетристическим изложением истории современной Франции, и чуть ли не до наших дней. Буржуазия, во всяком случае, там нисколько не изменилась, а если и изменилась, то к худшему, хотя вряд ли она может быть худшей, чем в «Современной истории». В четырех романах, обрисовывающих эту «историю»,— «Под придорожным вязом», «Ивовый манекен», «Аметистовый перстень» и «Господин Бержере в Париже» — Анатоль Франс с предельной ясностью и широтой показывает как провинциальную Францию, так и Париж. Перед вами проходят аббаты, генералы, префекты, капиталисты, аристократы, ученые, среди которых особенно удачно выписан образ умного, снисходительного и в то же время чрезвычайно справедливого и ищущего справедливость господина Бержере. Вы видите; осязаете эти цепи интеллектуального угнетения, которые наложены на французский народ. Вы видите продажных политиков, биржевиков в рясах, шарлатанов от науки и искусства, вы понимаете истоки разложения буржуазной семьи.

И перед вами встает фигура великого социального обвинителя и одновременно — оптимиста, верящего в будущность, в грядущее счастье человечества. Этот оптимизм пронизывает собой каждую строчку, каждую страницу творений Анатоля Франса, потому что он опи-

сывает, с силой чрезвычайно убедительной, как меркнут и линяют желтые идолы буржуазного строя, как растет ком роскоши, чтобы застрять в горле буржуа, чтобы он подавился этим комом!..

В девяностых годах вся Франция была чрезвычайно взволнована делом Дрейфуса. Капитан Дрейфус, еврей, офицер французского Генерального штаба, был обвинен в шпионаже и осужден к пожизненному заключению. Обвинение было заведомо ложным, но реакционным кругам нужно было осудить Дрейфуса, и он был осужден. Через три года началась агитация демократической интеллигенции за пересмотр дела Дрейфуса. Это была борьба гуманизма с мракобесием, людей света с людьми тьмы, это была борьба с отцами тех, кто вырос позже,— Гитлера и Лаваля.

Романист Эмиль Золя опубликовал открытое письмо президенту республики — «Я обвиняю». Начался процесс Золя; знаменитый романист был осужден и вынужден бежать в Англию. Но дело борьбы за Дрейфуса не утихало, а расширялось. Анатоль Франс выступал с речами и статьями в защиту Дрейфуса. Военный суд в Ренне пересмотрел дело — и вторично осудил Дрейфуса. Но все же, в результате широкого общественного движения, в результате опубликования бесспорных улик, доказывающих, что Дрейфус невиновен, президент республики вынужден был помиловать Дрейфуса. Прогрессивные круги победили.

В романах «Современной истории» Анатоль Франс широко освещает дело Дрейфуса и связанные с ним интриги монархистов, клерикалов, бичует избирательную систему, способствующую процветанию позорной юстиции и не менее позорного милитаризма. Эпиграфом к «Современной истории» могли бы служить его же собственные строки из «Острова пингвинов», где в аллегорической форме он излагает историю буржуазной Франции:

«Великий пингвинский народ не имел более ни традиций, ни интеллектуальной культуры, ни искусства. Прогресс выражался в смертоносных изобретениях, в гнусных спекуляциях, в уродливой роскоши. Столица Пингвинии, как все тогдашние большие города, приобрела космополитический и денежный характер: там воцарилось огромное и повальное уродство...»

Из утопических романов Анатоля Франса наиболее значительны «Восстание ангелов», «Остров пингвинов» и «На белом камне».

«Восстание ангелов» — роман атеистический. Но, вместе с агитацией в пользу атеизма, роман агитирует за восстание против правящих классов, за борьбу против угнетателей, за борьбу против капитализма. Тему романа вскрывают несколько строк: «...в начале XX столетия христианской эры, обратив с высоты небес взоры на Францию, он увидал, что в этой стране под именем республики образовалась плутократия и что под видом демократического управления крупные финансисты пользовались здесь верховной властью без всякого надзора и ограничения». Это — в аллегорической форме — поэма восстания.

Во всем творчестве Анатоля Франса, начиная с его самых ранних работ, всюду — неотъемлемо, неотступно — течет поток ненависти к церкви, к католической особенно, потому что именно католическая церковь, Ватикан, наиболее реакционная церковь, всегда служившая делу угнетения народа,— вернейший и незыблемый оплот абсолютизма, капитализма, империализма. Франс всегда обличал и разоблачал этот реакционный католицизм. Он разоблачал его и теми способами, которые применяли Рабле, Боккаччо и Вольтер, то есть сатирически изображая быт служителей католической церкви. Но еще сильней он бил в самую уязвимую и наиболее опасную для человечества сторону церкви — в ее властолюбие, интриганство, в ее постоянное стремление стать на сторону самого подлого, самого гнусного врага народа. Он срывал облачение с кардиналов и пап и показывал, что под этим облачением скрыто сердце банкира, биржевика, что под облачением спрятаны пулемет и бомбы!..

Утопия «На белом камне» была напечатана в газете «Юманите» в 1904 году. Анатоль Франс рисует нам в этой книге социалистическое будущее, говорит о грядущем обществе, которое безусловно уничтожит имущественное неравенство, войну и обеспечит человеческой личности свободное развитие. Франс не был марксистом, и потому утопия его имеет много недостатков; но недостатки эти во много раз меньше достоинств этой книги, написанной писателем необъятного таланта, человеком, превосходно знающим буржуазную культуру и отчетливо

видящим ее распад. Вспомните его строки об Америке. И подумайте о том, что строки эти написаны 45 лет тому назад. Какая прозорливость, какая широта ума, какая могучая правда гремит в этих строках!

«...Вы разве не видите, что Америка становится воинственной? После превращения Кубы в вассальную республику, после аннексии Гавайи, Порто-Рико, Филиппин — уже нельзя отрицать, что Американские Штаты превратились в завоевательную нацию. Один американский публицист — Стэд сказал при аплодисментах всех Соединенных Штатов: «Американизация мира на ходу». А господин Теодор Рузвельт мечтает водрузить звездное знамя над Южной Африкой, Австралией и Вест-Индией. Господин Теодор Рузвельт — империалист и хочет, чтобы Америка стала владычицей мира. На свое горе, он читал Тита Ливия. Завоевания римлян не дают ему спать. Читали ли вы его речи? Они воинственны. «Друзья мои, деритесь,— говорит господин Рузвельт,— деритесь отчаянно. Что хорошо на свете, так это удары. Мы живем на земле для истребления других. Те, кто говорят противное, люди безнравственные. Не доверяйте мыслителям. Мысль изнеживает. Это — французская болезнь. Римляне завоевали мир. Они потеряли его. Мы — современные римляне». Красноречивые слова, подкрепленные военным флотом, который скоро займет второе место в мире, и военным бюджетом в миллиард пятьсот миллионов франков...»

Эти слова бьют по американским империалистам, мечтающим о создании «вашингтонской империи», бьют с еще большей силой, ибо американский военный бюджет при Трумэне увеличился во много раз, равно как возросла и свора продажных журналистов, воспевающих «американских завоевателей».

Однако если многие явления нашей современности позволяют именно теперь так живо ощутить сатирическую прозорливость Анатоля Франса, то они же с такой же ясностью вскрывают и глубину некоторых ошибочных взглядов, долгое время тяготевших над мировоззрением и творчеством писателя. Автор романов «Боги жаждут» и «Восстание ангелов» высказал немало скептических соображений по поводу возможности перестроить общество при помощи революции. К чести

писателя нужно сказать, что в напряженной борьбе скептического начала его мировоззрения со все более укреплявшейся, главным образом под влиянием революционной борьбы в России, верой в светлое будущее человечества — эта вера одержала верх. Враги мира и прогресса пытаются играть на отдельных ошибочных позициях Анатоля Франса, пытаются составить из заблуждений великого писателя некую «философскую систему» и, противопоставляя ее прогрессивным идеям творчества Франса, выдают за подлинное мировоззрение писателя. Но эти попытки обречены на провал. Путь Анатоля Франса к постижению истинных законов развития общества был нелегким. Он совершил на этом пути немало ошибок. Но он находился в непрестанном движении вперед. Слабые стороны его мировоззрения нашли отражение и в его художественных произведениях. Это снижало силу его ударов по внушавшему ему отвращение буржуазному миропорядку. Однако могущество его художественного таланта, сила его сатирического пера были достаточно велики для того, чтобы противник ненавидел его и за эти порой ослабленные удары.

Не только своими художественными произведениями, беспощадно разоблачавшими гнусность и мерзость буржуазного общества, боролся Анатоль Франс с теми, кто, по его словам, являясь «врагами мира и свободы... грозит раздавить демократию, обрушив на нее все, что не мыслит вовсе или мыслит только против мысли...». С пламенными речами обращался он к многолюдным собраниям трудящихся Парижа, и его страстный голос часто звучал со страниц прогрессивных французских газет.

Анатоль Франс не был *только* писателем. Созданный буржуазной критикой миф о «затворнике в башне из слоновой кости», «скептическом созерцателе окружающей жизни» является своекорыстной ложью, назначение которой — скрыть за фигурой «писателя в халате» подлинный облик неутомимого и прогрессивного общественного деятеля, до конца своих дней не покидавшего арены политической борьбы.

В качестве председателя возникшего еще в 1905 году «Общества друзей русского народа» Анатоль Франс с воодушевлением и страстью боролся за распространение правды о русской революции. Он беспощадно клеймил гнусный союз французских банкиров с российским

самодержавием и в то же время говорил о величайшей готовности французского народа предложить союз и дружбу «мужественному, храброму, великодушному русскому народу».

Тогда же, в 1905 году, Анатоль Франс писал, что русская революция — революция всемирная... На берегах Невы, Вислы и Волги — вот где решаются ныне судьбы новой Европы и будущего человечества. Не удивительно, что в первые же дни Октября его голос борца за прогресс зазвучал с новой силой и новой страстью. Это был голос писателя-борца, который искренне, горячо и вдохновенно приветствовал рождение нового мира. Марсель Кашен в одной из своих статей рассказывает, какой яркий и глубокий отклик вызвали у Анатоля Франса великая победа русского пролетариата в октябре 1917 года и дальнейшее социалистическое строительство. «Всей душой, всем своим пламенным сердцем следил он за успехами революции, приветствуя каждую новую победу большевиков. Я помню, как вскоре после моего возвращения из России в 1920 году Анатоль Франс попросил меня рассказать о моих впечатлениях, о людях, с которыми я встречался, о событиях, которых я был свидетелем. В течение нескольких часов он жадно слушал мой рассказ, добиваясь от меня мельчайших подробностей, желая знать все о перспективах развития новой России. Я рассказал ему, что Ленин высоко оценил его статьи в защиту революции, и это глубоко его взволновало».

В день пятилетия Октября Франс обратился к Советской России с приветствием, открыто выражая свое восхищение революцией, которая «дала миру, впервые за многие века, пример власти, созданной народом и для народа».

Необходимым оружием, каким мастерски владел Анатоль Франс в своей неутомимой борьбе за мир, прогресс и демократию, было вдохновенное, могучее слово правды. «...Анатоль Франс и немало других — все это были безукоризненно правдивые и суровые обличители пороков командующего класса»,— писал А. М. Горький, подчеркивая обличительную и разоблачительную силу творчества и деятельности Франса.

Вот почему в лагере современных поджигателей войны имя Франса неизменно вызывает ненависть. Вот

почему и сейчас не прекращаются попытки оболгать и оклеветать его творчество.

Всем трубадурам самой махровой реакции и проповедникам космополитических «теорий», разумеется, ненавистен писатель, сказавший с такой исчерпывающей простотой: «Капиталистический строй создал во Франции, как и во всем мире, интернационал трудящихся и космополитизм банкиров».

Им ненавистен писатель, обращавшийся к интеллигенции со словами: «Есть только одна сила, которая может обеспечить мир надежным, я бы сказал, научным способом, это — сила пролетариата...»

Все мы — люди, горячо и гневно ненавидящие поджигателей войны, — с полным правом видим в этом выдающемся писателе и борце за мир нашего друга и соратника. Мы вспоминаем слова, обращенные им к французской молодежи: «Вы будете счастливее нас и сделаете больше, чем мы... Покидая вас, я бережно унесу с собой мечту о том, что вы и после нас будете трудиться над укреплением союза народов и над устройством мирной жизни на земном шаре».

Перед нами прошли главные этапы творчества и общественной жизни Анатоля Франса. Это был тяжелый, сложный и длинный путь. Но это был путь любви и уважения к человеческой личности, а значит — путь победы. Да, Анатоль Франс осмеивал и разоблачал всю вредность капиталистического государства; да, он осмеивал представителей класса эксплуататоров, клерикалов и милитаристов. Но об одном классе он говорил всегда с любовью и уважением. Это — о трудящихся, о тех, перед которыми он выступал с речами на рабочих собраниях Парижа, клеймя реакцию. Это — о классе тех, кто свершил Октябрь, кто построил невиданное в мире, новое, социалистическое общество.

Вот чем дорог Анатоль Франс советскому читателю.

Для нас, советских писателей, он дорог еще и тем, что он воплощал в себе много хороших качеств писателя. Он был необыкновенно трудолюбив. И в этом благородном труде своем он не замыкался в какой-либо отдельной области творчества. Он был и стихотворцем, и биографом, и романистом, причем писал и исторические романы, и современные, и утопические. Он был рассказчиком-новеллистом, он был драматургом. Он был публицистом. Он был оратором. Он делал все, что дол-

жен делать писатель. Нет, кажется, ни одного литературного жанра, который бы он не попробовал, в котором он не был бы специалистом. Он написал 50 книг самого разнообразного характера.

В этих пятидесяти книгах — пятидесяти колоннах, которые окружают бессмертный храм его славы, — горят и будут вечно гореть его слова, которые он вложил в уста восставшего ангела Нектария: «Он говорил о любви, о страхе, о тщетных распрях, о побеждающем смехе, о спокойных светах разума, о стрелах иронии, поражающих своими золотыми концами чудовищ Невежества и Ненависти. Он говорил также о Любви и Страдании, склонивших над землей свои головы близнецов, и о желании, творящем миры».

Он говорил о человеке, о его великом будущем. Человек «освятил своей кровью священную любовь к родине, которая должна будет, если только человек до конца исполнит свое назначение, охватить и успокоить в мире всю землю».

Это время пришло. Социалистическое отечество воспитало в человеке титанически мощное чувство любви к своей родине. И сейчас со всей отчетливостью видно, что человек до конца исполнит свое назначение, что силы мира и демократии непобедимы.

1949

ИВАН КАСАТКИН

Скромность, несомненно, качество хорошее. И все замечают, что чем человек лучше, чем он талантливее, тем он скромнее.

Однако, думается мне, в художественной литературе чрезмерная скромность иногда и мешает, особенно если у писателя биография героическая, большая, честная. Писатель, сознавая, что жизнь его поучительна и рассказать о ней следовало бы, все же не успевает высказать себя целиком. Из скромности он откладывает эту, в сущности говоря, основную и важнейшую работу на будущее.

Иван Касаткин родился 30 марта 1880 года в семье бедного крестьянина деревни Барановицы Костромской губернии. Детство его было робкое и строгое. Ища счастья, семейство Касаткиных отправилось в Нижний и, не имея средств не только на квартиру, но даже на постоялый двор, поселилось на лугу под кремлевской стеной. Семья нищенствовала, нищенствовал и девятилетний Ваня.

Об учении, конечно, нечего было и думать: до тринадцати лет он был неграмотным, служил «мальчиком» по пивным и прочим «заведениям» на ярмарке и в Канавине. Разумеется, страстно хотелось учиться, и к тринадцати годам Ваня выучился немного читать по книжкам, которыми он торговал вразнос.

Он часто менял профессии: не потому, что они были тяжелы или неприятны ему, а потому, что пытливость и ум молодого слесаря, машиниста, кочегара, электротехника, рабочего лесопилки или лесничества казались хозяевам и подозрительными и опасными.

1902 год. Иван Касаткин в Питере; здесь он знакомится с рабочими кружками, вступает в партию и начинает вести подпольную партийную работу. Года за два

перед этим он написал первые стихи. Стихи и работа в подпольной типографии — сколь это казалось великим и возвышенным для двадцатидвухлетнего молодого человека! Это действительно было и великолепно, и возвышенно, и опасно: между 1902 и 1905 годами Иван Касаткин сидел трижды в тюрьме.

Затем он начал писать прозу, и тоже своеобразно. Он сочинял полубеллетристические прокламации,— дело происходило в Петрограде и в Воронеже,— сам их печатал, сам распространял. Сидя в Нижегородской тюрьме в 1904 году, он стал писать рассказы: «Нянька», «На барках». Но напечатать эти рассказы ему удалось только три года спустя в одной из волжских газет.

Если человек из народа писал талантливо, его творчество, как правило, привлекало внимание М. Горького, страстного искателя народных талантов. В то время,— да и позже,— появление в литературе без Горького было немыслимо, как немыслимо стать образованным человеком без библиотеки, без книг. Касаткин послал Горькому на Капри газетные вырезки своих рассказов. Разумеется, Горький не мог не заметить это оригинальное и самобытное дарование, не мог не полюбить эту чистую и возвышенную душу. У Касаткина с Горьким завязалась длительная переписка. Рассказы Касаткина стали появляться в знаменитых тогда сборниках «Знание» и в больших журналах.

Много лет спустя, в 1935 году, Касаткин, вспоминая прошлое, писал Горькому:

«Четверть века минуло с той поры, как в костромских лесах, в ссылке, я получил с далекого Капри первое Ваше письмо, первую критику на мои писательские шаги и ободрение. С тех пор и доныне, где бы я ни был, всюду мне сопутствовал ваш голос неповторимого учителя и друга».

Хотя Иван Касаткин видел и знал жизнь во всем ее многообразии, он писал главным образом о крестьянах. Тому причиной были яркие впечатления детства, от которых он отходил медленно, и то, что тяжелая крестьянская доля волновала его чрезвычайно. Вот это свое волнение он и стремился высказать раньше всего.

Горький понимал это. Около 1909 года, вспоминая, по-видимому, рассказ Касаткина «На барках», Горький писал ему: «Мужик требует крепкого, сурового слова,

резких красок, и если Вы его такими словами напишете, он будет лучше, сильнее, здоровее. Попробуйте-ка! Не подсахаривайте действительность, она и без этого красива и дьявольски вкусна, несмотря на горечь свою».

Именно об этой горькой красоте жизни, о дьявольски вкусной и трудной прелести ее писал Иван Касаткин. Великие и героические люди Октября прекрасно чувствовали и ценили эту сторону творчества Ивана Касаткина. В 1919 году одной из первых книг художественной литературы, которую начало выпускать издательство ВЦИК, была книга Касаткина «Лесная быль». Эта книга, с посвящением Владимиру Ильичу, лежит на столе в музее-квартире Ленина в Кремле.

Пусть дружба кончается бессмысленным убийством («Так было»), пусть любовь к ребенку кончается тем, что обезумевший и пьяный от голода отец, желая развеселить своего ребенка, чуть не доводит его щекотанием до смерти («Веселый батя»); пусть свободная и радостная жизнь лесного зверья кончается тем, что охотники уничтожают этих зверей («Лоси»); пусть жизнь красавицы Насти и ее любовь кончились сумасшествием («Лесовица») — все равно, река огромна, светла, по ней плывут большие барки, есть люди, наполненные жаждой свободы, вокруг есть свет, радость, встречается и счастье («На барках»)!

Иван Касаткин помнил отчетливо свое детство, и когда он вспоминал его, а вспоминал он его очень часто, глаза его гневно вспыхивали и строгая улыбка показывалась на его губах. Он любил писать о мечтаниях детей. Конечно, мечтания деревенских мальчиков, так же, как и мечтания самого Вани Касаткина, когда он с родителями приплыл в Нижний, кончаются нищенством, унижением, тоской, но все же в мечтаниях есть и радость и поэзия. Хороши и нежны краски, которыми он пишет детей! Чудесный рассказ «На барках», хотя там и описываются взрослые люди, полон детскости, того ласкового и простого отношения к жизни, которое так ярко ощущается в его рассказах о детях. Все это позволяет думать, что, если б Касаткин смог полностью развернуть свой талант, он создал бы огромное, радостное и светлое произведение.

Касаткин обладал недюжинным даром сарказма, который тоже сыграл бы свою роль, когда писатель стал бы писать большой роман. Пока ведь он писал преиму-

щественно вещи не крупные по объему, хотя и превосходные по исполнению. У него, например, есть замечательный рассказ, который по стройности и по тому, как выпукло написаны фигуры действующих лиц, река, ледоход,— вполне может считаться одним из первоклассных рассказов русской литературы.

Я говорю о рассказе «Мужик». Вот его краткое содержание: тронулась было река и остановилась. Мужик едет в больницу, чтобы привезти свою жену и новорожденного ребенка. Лодочник, переправляя на ту сторону барина, берет с собой в качестве помощника этого мужика. По дороге мужик хочет потолковать с барином, но барин слушает его плохо, а затем ему кажется, что мужик грубит. Когда лодка, с большим трудом переправлявшаяся через реку, уже видит противоположный берег, лед снова трогается. Грозит опасность. Мужик и лодочник спасают барина. Выбравшись на берег, барин вместо благодарности, вместо того, чтобы хоть довезти мужика к его жене, отправляет его «за грубость» в кутузку.

Боже мой, какой иронией, нежностью, какими великолепными описаниями полон этот рассказ! Читая его, думаешь: огромна сила писателя и как этой огромной силой мог великолепно владеть Иван Касаткин!

С 1925 по 1935 год Касаткин был усиленно занят редакторской работой. Он редактировал еженедельный журнал «Красная нива», что само по себе требовало очень много времени, редактировал журнал «Колхозник» и, кроме того, был редактором Гослитиздата. В свободное время мы любили с ним бродить и по улицам столицы, и за городом, и особенно вдоль Москвы-реки.

Мы медленно поднимались на высокий правый берег реки, и долго сильный и ласкающий блеск воды отражался на его узком лице с выпуклым лбом и большими ласковыми глазами.

Но вот мы наверху. Москва лежит под нами, полная мягкости и пышности. Касаткин глядит на город, застенчиво улыбаясь, а затем начинает рассказывать своим негромким грудным голосом, как он впервые попал в город и как это было удивительно прекрасно!

Он прислоняется к дереву и стоит так долго.

Фигура его слегка согнута. Всей тяжестью своего тела он упирается на бедро, и поза его кажется очень

непринужденной. Но мне косые складки его одежды мерещатся бронзовыми. Я очень уважаю его. Он говорит о детстве, а я вспоминаю сборники «Знание» в обложке из толстой бумаги, шершавой и мягкой на ощупь. С каким трепетом и радостью мы раскрывали в юности страницы этих сборников, рассказы и романы которых, по своей живости и красочности, казались нам тогда лучше самой великолепной масляной живописи! А ведь среди этих страниц было немало страниц Ивана Касаткина!

Я высказал свои впечатления юности от сборников «Знание», подчеркнув именно живописность их, когда мы однажды шли мимо храма Христа Спасителя. Глядя на пышный купол храма, а затем переведя взор на скромное наше небо, Иван Михайлович сказал:

— Всегда, когда мы строим здания или пишем картину, нужно помнить, что это московское небо. Оно написано нежными красками, даже слишком нежными. И нельзя, имея такое небо, злоупотреблять золотом. Тогда, в сборниках «Знание», мы слишком, как бы сказать, подзолачивали жизнь, сверкали металлом. Но тогда это было понятно и законно. А сейчас совсем нет нужды злоупотреблять золотом, и мы совсем забыли о простом московском небе. Сейчас надо писать просто. Очень просто.

Касаткин подарил мне книгу своих рассказов, только что напечатанную. Мне чрезвычайно понравился в книге его рассказ «Летучий Осип». Описывалась гражданская война, стало быть, рассказ был тогда современен. И во-вторых, рассказ был посвящен теме не совсем обычной для Касаткина — теме любви. Правда, любовная тема разработана была не широко, и в рассказе больше говорилось о мести за надругание над любовью, чем о любви. Тем не менее тема эта была для Касаткина новой.

И я спросил его — почему он так редко касается в своих рассказах темы любви? Да, действие его рассказов происходит в деревне, среди мужиков, но разве мужики не любят, разве им не свойственны любовные страдания и радости, великая жертвенность любви? Мне, например, доводилось видеть очень трогательные сцены большой любви именно среди мужиков.

Тогда Иван Михайлович сказал:

— И я видел немало сцен любви. И я знаю, какое это нежное, высокое чувство! Ты порадовал меня, обратив свое внимание на этот рассказ. Мне он самому нравится. Я намеренно слегка коснулся любви в этом рассказе, потому что рассказ этот — как бы вводная глава к тому большому роману о высокой любви, который мне хочется написать. И хочется, чтобы роман происходил среди мужиков, в деревне, сейчас. Порой мне кажется, что я жил тогда ради этой великой темы, которую хочу сейчас разрабатывать.

Помолчав, он добавил:

— Прежде, видя эту чудовищно-страшную жизнь мужиков, мне, знаешь, как-то даже было стыдно писать о любви. В ней ведь есть какая-то отрада. А мне прежде всего хотелось рассказать именно о страшном. Наблюдать это страшное приходилось не только мне одному. Ах, кабы только одному! Об этой страшной жизни мне говорили тысячи людей, и кажется, что шепот их я слышу и сейчас. А про любовь мне говорили, быть может, один или два человека. Вообще русские мужики не очень-то словоохотливы, когда дело касается описания этого нежнейшего чувства. Возможно, взор мой недостаточно проницателен,— не знаю. Но я отлично помню, что о голоде, холоде, нужде мне рассказывали очень многие. И вот когда я перебирал в памяти эти слышанные мною рассказы, я требовал от себя рассказа — как страшна жизнь мужика и почему ее нужно переделать, исправить... — И он добавил тихо: — Сделать ее совершенной. Ты подумай только, сделать совершенной жизнь русского мужика, такой совершенной, чтобы рассказ о его любви не казался надуманным, пустым!

Зимой он часто надевал бурки с длиннейшими валяными голенищами. Глядя на него с восхищением, я думал, что сейчас, окончив разговор со мной, он подхватит чемодан и уедет в дорогие ему лесные дебри, чтобы писать свой роман. Голенища бурок подвернуты, бурки тяжелы, и кажется, что они наполнят сейчас комнату грохотом, но он умеет ступать ими мягко, словно идет по снегу.

В клетке с металлической проволокой спит его любимый попугай. Это хорошо, что он спит: мне не нравится голос попугая. Зато на улице трещит трамвай тем же неприятным голосом, как и эта красивая птица. Голубовато-коричневый булыжник улицы отсвечивает,

и свет, попадая на клетку, играет на узлах проволоки.

Клетка прикрыта большим платком. Услышав приближающиеся шаги хозяина, попугай просыпается и начинает стучать клювом о клетку. Касаткин сдергивает платок. Ему хочется похвастать, как много слов знает его Жако. Но попугай, должно быть чувствуя мою неприязнь, вернее сказать неуважение к нему,— упорно молчит.

Тогда Касаткин полушутя обращается ко мне:

— Жако оттого упрямится, что ему стыдно демонстрировать перед тобой, таким знатоком русского языка, бедный мой словарь, которому я его научил. — И вдруг с полной искренностью он восклицает: — Ты его научишь огромному количеству слов! Он у тебя станет веселее. Я дарю тебе Жако!

Мне трудно убедить его, что я не испытываю никакой любви к попугаю, что он мне совершенно не нужен. Что же касается нашего дела, то очарование его не в обилии слов, а в умении свободно располагать ими, в том волшебном умении, которым так великолепно владеет Касаткин и которое, быть может, представляет главную прелесть его творчества. Ведь не к остроте же сюжета стремится он, не к фантастике, а к возможно полной глубине передачи своих жизненных наблюдений.

Именно это умение живописать словом непрестанно тянет его к столу. Писать, писать!

Но на столе писателя, особенно если он, вдобавок, и редактор, лежат не только его рукописи. Поэтому надо не только писать, но и читать!

Как-то я сказал ему, что подлинный писатель читает с наслаждением рукописи своих собратьев, чтобы помогать им идти правильно по тяжелой и длинной дороге. По этой литературной дороге лучше всего идти с товарищами. Когда парни идут толпой через село по большой дороге, как хорошо поется песня!..

Он подхватил с удовольствием:

— Да, да, правда, читаешь, испытывая наслаждение. — Но тут же он прибавил: — И со злостью: очень уж много пишут ерунды! — Лицо его мучительно сморщилось.

Рукописей присылали ему, как он жаловался, пуды. Но сердило его не чтение рукописей, хотя на это уходило много времени, а сердило то, что истинных крупи-

нок таланта попадалось не так-то уж много. Самородки, особенно крупные, встречались редко. Крепкий кварц руды приходилось дробить в тысячах тонн, прежде чем удавалось собрать в одно драгоценные крупинки золота. Касаткин неустанно дробил. Мельчайшая и вреднейшая пыль от этого дробления попадала и разъедала легкие. Не всегда ему свободно дышалось.

Но все же эта пыль не заглушала его крепкого и ясного голоса творца, поэта, мечтателя, провидца.

Он обладал тем же великим талантом, каким в величайшей степени обладал Горький: умением восхищаться. Касаткин порой ошибался, как ошибался и Горький, в оценке дарования того или иного писателя. Но это были великолепные ошибки! Они помогали расти писателю, а главное, создавали вокруг него то, что мы теперь называем творческой атмосферой.

Пусть он иногда преувеличивал, пусть видел большой талант там, где был лишь намек на дарование,— все равно люди, обласканные им, передавали другим созданную у них уверенность, что талантов в стране очень много, что каждый, в ком блестит даже чуть заметная искра писателя, непременно будет замечен и непременно может надеяться на помощь.

Поэтому очень часто в разговорах он жаловался на нашу критику, которая плохо замечает таланты и плохо учит эти таланты. А учить надо упорно, непрестанно! Учить мастерству, бережному и чуткому отношению к искусству, страху и восторгу перед искусством, перед святостью его.

Какой великой болью полны слова Касаткина, написанные в январе 1932 года Горькому! Пишет не редактор, а родной брат молодого писателя, пожалуй, даже отец его: «...писатель растет пока самоощупью. И некоторые из них, при отсутствии критических пестунов, заражаются весьма вредным самомнением насчет своих творений, весьма серых и беспомощных, чтобы отразить наше такое богатое, такое цветистое и гулкое время. Вот тут трудности для редактора! Требовательное, строгое отношение к рукописи, указание больших и малых прорух умный и чуткий автор приветствует. А много ли таких авторов? Большинство или равнодушно к указкам, или почтет тебя злодеем...»

Он страстно желал, чтобы о темном прошлом и о том, что темное это и страшное прошлое врывается по-

рой в нашу жизнь, о неизбежно грядущем светлом будущем, рассказывали сотни и сотни писателей. Творить в наших условиях — значит яростно отбрасывать дурное, преступное, темное, ужасное! Творить — значит создавать справедливое, вечное, красивое, доброе!

Люди нашей страны, советские читатели и писатели, все, кого неустанно учил и учит Иван Касаткин, всегда будут чтить строгий и вместе с тем блистательный дар его, дар рассказчика, поэта, человека — одного из тех простых, героических, страстно жаждущих истины и красоты людей, творчеством которых жила, живет и будет жить наша страна!

1957

РЕЧЬ НА ТРЕТЬЕМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ

Дорогие товарищи!

Я испытываю хорошую, возвышенную радость, когда слышу с трибуны Третьего съезда писателей СССР так много высказываний о самом главном для нас — о писательском мастерстве и о необходимости повышения этого мастерства.

Яркий разговор этот начался тревожно-ироническими фразами Константина Федина, заблестел бурным фейерверком речи Семена Кирсанова, был развит умным, точным, сжатым выступлением Турсун-Заде, украшен прозрачно-тонкими размышлениями Максима Рыльского и подхвачен многими другими ораторами.

В течение сорока четырех лет моей литературной работы ни один час ее не был для меня легким, воздушным, чем-то само собой разумеющимся. Да, это наслаждение, но это было сумрачное, жгучее, тяжелое наслаждение поисков возможно ярче, сильнее, выпуклее выразить свой художественный замысел.

Почти на заре советской литературы, в 1921 году, я вошел в круг советских литераторов.

Тогда, как и сейчас, я был твердо убежден, что новое революционное содержание требует и новой формы. Я не отрицал учения у классиков, да и как я мог отрицать классиков,— я, самоучка, знавший только сельскую школу? Однако я считал, что революция чем-то дополняет классиков, чем-то поправляет их, чем-то помогает мне в моих поисках. Помогает хотя бы тем, что могу не заниматься прямым и слепым подражанием.

Поэтому для меня было просто непонятно, когда однажды, в отчаянно жарких спорах, один молодой писатель, последователь Льва Толстого, спросил:

— Ну, что вы там твердите — форма, форма? Бесспорно, что Лев Толстой писал лучше всех? Бесспорно! Ну, так надо взять всю манеру и стиль Толстого и вложить в них наше революционное, большевистское содержание. Ведь не предполагаешь же ты сам найти литературную форму лучше толстовской?

Наверное, я сказал, что именно так и предполагаю. Молодость, как вы знаете, самонадеянна.

Мне казалось, что виденный нами, пережитый нами эпос Октября и гражданской войны можно изобразить лишь образным, метафорическим, возвышенным слогом, а ритм книг должен быть стремительным, обрывистым, в наиболее пафосных местах переходя в стихотворения без рифм.

Так были мною написаны «Партизанские повести». Только так, казалось мне, можно было рассказать о недавних битвах, о крови и пыли боевых дорог, о счастье и горе борьбы за землю, за социализм, за мир!

И вряд ли я мог бы тогда поверить, что через десять лет с небольшим я признаю,— влекомый своим собственным внутренним убеждением,— что писать мне надо по-другому— проще, яснее, доступнее.

Этого требовала жизнь. Этого требовал я сам.

Жизнь требовала в искусстве психологических углублений, более четкой вырисовки характеров, более широкого общественно-политического фона, а эти требования можно было выполнить за счет сжатия украшений, более спокойного речевого течения ритма, меньшего импрессионизма, меньшей схематичности.

Это движение к ясности, простоте, четкости — к Пушкину, Толстому, Чехову, не говоря уже о Горьком,— было не только частью моей биографии, — об этом не стоило бы и говорить,— это было частью и важным этапом жизни почти каждого художника времени конца тридцатых и начала сороковых годов.

И этот процесс движения происходил не только среди некоторых писателей или поэтов, но и среди живописцев и композиторов.

В этом многолетнем движении советской литературы к простоте, к наибольшей выразительности, к наибольшему эмоциональному воздействию на читателя, к наибольшей исторической правдивости советские писатели достигли очень больших успехов. Не говоря о русской литературе, давшей мировой культуре ряд великолеп-

ных художников слова, на глазах старшего поколения наших писателей выросли национальные литературы, литературы, зачастую не имевшие до революции своей письменности или имевшие ее в ограниченных размерах.

Итак, у нас много превосходных писателей, много отличных книг,— казалось бы, беспокоиться не о чем. Однако почему же такой острый интерес возбуждает среди делегатов съезда поднятый вопрос о качестве книг, о писательском мастерстве? Разве больше стало печататься плохих книг, чем прежде? Не думаю. Вряд ли можно ждать, чтобы все книги были хорошие. Какой-то процент плохих, даже бездарных, бесполезных книг,— среди книг хороших и полезных,— почти неизбежен.

Мне кажется, что острота внимания к повышению мастерства писателя, к повышению качества книги прежде всего объясняется великими днями, которые сейчас наступили, днями грандиозной семилетки, теми высокими задачами, которые поставила партия и Советское правительство перед народом, задачами построения коммунистического общества.

Мы, писатели, должны рассказать и нашему народу, и народам социалистических стран, и народам стран капитализма — как, почему, где, какими средствами, какими людьми мы будем строить новое общество.

Этот наш рассказ должен вдохновлять людей нашей страны, должен вызывать восхищение и восторг среди людей, которые обитают за границами нашей страны, должен вызывать подъем нового уважения к народу, каждый день жизни которого — подвиг во имя гуманности, мира и счастья человечества! *(Аплодисменты.)*

Вот почему нам кажется оскорбительным появление пошлых, бездарных, плохо написанных или никак не написанных книг в эти замечательные, благородные дни, которые мы с вами переживаем и долго еще будем переживать.

Благодаря превосходной работе наших журналов и издательств мы имеем сейчас довольно большой отряд литературной молодежи. Я знаком со многими книгами и рукописями молодых писателей. Так, например, работая в Литературном институте в качестве председателя экзаменационной государственной комиссии, я прочел не менее двухсот пятидесяти — трехсот дипломов —романов, пьес, книг стихов, рассказов. Могу с полным

убеждением сказать, что среди молодежи немало очень талантливых писателей с большим будущим.

Вот этим-то молодым писателям мы особенно должны помочь в том, чтобы они не выпускали плохих книг, не портили себе начала пути, не сбивались бы с творческого пути на путь халтуры, подражательности, безразличия, делячества.

Как помочь? Прежде всего усилением доброжелательной, отнюдь не зубодробильной критики. Это, конечно, само собой разумеется. И на этом даже очень-то и настаивать не нужно. Я думаю, сама жизнь ведет критику к этому пониманию — и к этому пониманию, и к этому делу.

И второе. Нужно позволить и помогать молодым авторам экспериментировать, искать свой стиль, свою манеру письма. Это очень важно!

Никому не придет в голову оспаривать тот факт, что прогресс в науке — физике, химии, медицине и т. д. — немыслим без эксперимента. Однако же попытки экспериментировать в литературе встречаются без одобрения, и экспериментатор рискует попасть в формалисты. А это, по-моему, вздор! Никакой опасности формализма в нашей литературе нет и просто быть не может, потому что это пройденный и очень короткий этап в жизни отдельных литераторов и никак не охватывавший всей советской литературы.

Нашим художникам слова надлежит так подать наши передовые идеи, творческий порыв, которым охвачен весь советский народ, так описать нашего современника, как никогда и никто еще не описывал! А для того, чтобы этого достигнуть, нужно громить бездарность и всячески поощрять людей талантливых, ищущих, смелых.

И не бояться!

У нас иногда появляются аппаратные таланты, даже гении. (*Аплодисменты.*) Эти таланты и гении, как ни странно, измеряются не качеством их книг, а размерами и высотой кресла, которое они занимают в том или ином учреждении. (*Аплодисменты.*) С этим вредным явлением нам тоже не мешало бы бороться, потому что аппаратные гении склонны подравнивать настоящие таланты под свой уровень (*продолжительные аплодисменты*) и наводнять книжный рынок своими посредственными произведениями. А произведения эти вредны не только тем, что они серы, скучны, но еще и тем, что

могут развращающе действовать на молодежь, снижать ее стремление к истинному искусству, к истинной борьбе за качество.

Литература наша занимает в мире, в истории развития мировой культуры, одно из первых и почетнейших мест, ибо эта литература той самой страны, авангарда прогрессивного человечества, которая вступает в коммунизм.

Нам, советским литераторам, надлежит еще выше поднять знамя советской литературы, потому что, как и наша страна, мы, советские писатели, имеем неисчерпаемые возможности и предпосылки для всестороннего творческого роста. Самая высокая взыскательность и самое свободное изъявление талантов, самое широкое изыскание творческих индивидуальностей, таящихся в народе,— вот наше призвание на данном решающем историческом этапе развития нашего социалистического отечества. *(Продолжительные аплодисменты.)*

1959

БОЛЬШОЙ СВЕТ

(О творчестве М. М. Пришвина)

Несколько лет тому назад, путешествуя по горам Джунгарского Алатау, выехал я к китайской границе и остановился на погранзаставе, у начальника охотничьей команды. И сам начальник команды, уроженец Воронежа, и мой спутник — охотник казах, подружились еще во времена гражданской войны. Они были тогда партизанами. Люди, как можете судить, не молодые. Но общеизвестно, что охота не старит. Оба попрежнему неутомимы и неугомонны.

Хотя почти всю летнюю ночь мы предавались воспоминаниям и рассказам о прошлом и настоящем, рано утром я уже услышал за дверьми домика громкий разговор двух друзей. Начальник команды, как всегда, говорил складно и ровно. Казах-охотник прерывал его речь беспорядочными и горячими восклицаниями:

— Ах, какая сильная правда! Прямо жгет! Ах, как хорошо все раскрывается!..

— Ну так слушай же, не прерывай,— говорил начальник команды и продолжал свою речь.

Речь его показалась мне необычной. Я поспешно оделся и вышел.

Под объемистым котелком, где варилась каша, горели большие поленья. Но пламени костра почти не было заметно,— такое сверканье и такое солнечное сиянье царило вокруг. Сияли, покрытые неправдоподобно белым снегом, вершины высоких гор. Сиял внизу стрекочущий горный поток. Сияли скалы над ним. И сияло небо, казалось выгоревшее под этим могучим казахстанским солнцем. Остановившись на пороге, я невольно зажмурился и протер глаза.

Казах-охотник сказал мне с гордостью:

— Наше солнце умеет светить.

И, простерши почти с торжественной важностью руку к земле, казах продолжал:

— Но и это светит тоже очень горячо. Это тоже дает большой свет.

У ног его лежала пышная шкурка рыжей лисы, в которой почти утопала раскрытая книга. Оказывается, начальник охотничьей команды не речь говорил, а просто-напросто читал книгу! Но, чтобы так воодушевленно и, я бы сказал, вдохновенно читать,— как же нужно любить и уважать эту книгу! Что это за книга?

Я поспешно взял ее.

Передо мной был том сочинений Михаила Пришвина.

Начальник охотничьей команды, уловив, по-видимому, умиление на моем лице, спросил:

— Знаете?

— И книгу знаю, и даже человека, который написал эту книгу, знаю,— ответил я.

— Ах ты какой! — воскликнул казах-охотник. — Почему ты раньше не сказал? Сколько дней вместе ездим, а он — молчит! — И, указывая на своего друга, казах продолжал: — А я к нему на один час приеду: мы три часа эту книгу вместе читаем. Большой человек писал эту книгу. Казахстан освещает своим большим светом, и я его очень хорошо вижу. Дальний Восток освещает — вижу. Север — вижу. Куда меня ни поведет,— все вижу, будто свои руки! Что ж... большой человек большое и может показать. Всю Советскую страну в одной книге показывает, а?.. Ах ты, каким большим светом человек может владеть,— и как я этого человека уважаю!..

Он всплеснул руками и сказал мне:

— Ты не возражаешь, будем читать? Будем сыты этой книгой сегодня с утра, а потом пойдем в горы. — И он обратился к начальнику охотничьей команды: — Читай, Иван Григорьич, читай. Ты очень правильно читаешь: от книги большой свет идет. Любит он все это... — Казах указал на горы, скалы, бурлящий внизу поток, продолжал: — Да мало, что любит! Любить это и зверь может. Очень он хорошо знает, как это все на пользу человека направить!..

Перечитывая недавно книги Пришвина, я перечитал и письмо Алексея Максимовича Горького о творчестве Михаила Михайловича Пришвина.

«Так вот, Михаил Михайлович,— пишет Горький,— в ваших книгах я не вижу человека коленопреклоненным перед природой. Да на мой взгляд, и не о природе пишете вы, а о большем, чем она,— о земле, великой матери нашей. Ни у одного из русских писателей я не встречал, не чувствовал такого гармонического сочетания любви к земле и знаний о ней, как вижу и чувствую это у вас».

Сопоставьте эти строки с тем, что говорил выше казах-охотник, что горящим взглядом подтверждал русский пограничник, начальник охотничьей команды,— и вы увидите, что Горький и два простых охотника с гор Джунгарского Алатау сошлись в оценке значения книг Пришвина.

И, разумеется, это случай не единственный.

Бесчисленные читатели Советской страны разделяют мнение Горького о творчестве Пришвина.

Любовь и уважение советских читателей к творчеству Пришвина вполне заслужены им. Он служит свою высокую и благородную службу искусству в полном значении этого слова — бессрочно. Подумать только, что он работает в родной литературе сорок пять лет, то есть почти полвека,— и как работает! Воистину это писатель-труженик, пытливейший искатель чистого и высокого слога, исследователь тончайших и нежнейших чувств человека, писатель-патриот, писатель-путешественник, живописующий своим великолепным языком одинаково сильно Дальний Восток, Среднюю Азию, север России и Подмосковье.

Эта неиссякаемая сила Пришвина проистекает из одного источника.

Он бесконечно любит свою родную землю и с громадной творческой мощью стремится выразить свою любовь.

Пришвин стал писателем в возрасте довольно зрелом — тридцати пяти лет.

И он выступил сразу в качестве вполне оригинального и самостоятельного автора, со своим творческим лицом, соединяя в себе талант художника и наблюдательность ученого.

Необычайное дело! Первая книга Пришвина, вышедшая в 1908 году,— книга о русском Севере,—«В краю непуганых птиц», помимо общего признания его как

художника, принесла ему избрание в действительные члены Географического общества. Насколько я знаю, это первый случай в русской литературе, когда писателю за его первую книгу присуждается такое почетное и ученое звание.

Присуждение этого звания прежде всего доказывало, что Пришвин не только понял, но и осуществил простую, но порой трудно усваиваемую художниками истину: для того чтобы стать хорошим писателем, надо очень хорошо изучить жизнь.

А для того чтобы стать не только хорошим, но и отличнейшим, первоклассным, классическим русским писателем, каким стал Михаил Михайлович Пришвин, надо, зная жизнь, уметь хорошо бороться за счастье народа.

Ибо мастерство вырастает из сознания своей ответственности, как человека и художника, перед народом.

Михаил Пришвин, создав из себя правдивого, искренне борющегося за интересы народа человека, создал себя и как писателя. Когда знакомишься с юными годами учения Михаила Пришвина, видишь, что жить и учиться ему было очень трудно. Перечисление простых географических мест, где учился Пришвин, укажет на то, какие трудности и тягости приходилось переносить будущему писателю для того, чтобы продолжать и закончить свое образование. Он начинает его в Елецкой гимназии, то есть в центре России. Исключенный из гимназии, он вынужден продолжать образование в Тюменском реальном училище, то есть в Сибири. Продолжает — в Риге, в Рижском политехникуме, где работа в марксистском кружке приводит его к длительному одиночному заключению в тюрьме, а затем к высылке за границу. Заканчивает он образование в Германии, в Лейпцигском университете, на агрономическом факультете.

Если вдобавок ко всему этому прибавить, что стремящийся к образованию юноша всегда крайне нуждался в денежных средствах, то перед нами встанет картина, обычная для дореволюционной России: упорство, стойкость, жажда учения и жажда правды — с одной стороны; и тупое безразличие, дикое насилие, издевательство над молодыми стремлениями — с другой.

Вернувшись из-за границы на родину, Пришвин превращается в земского агронома и составителя книг

по сельскому хозяйству, а затем — после путешествия на Север — он делается писателем. Хотя, как мы говорили, его первая книга принесла ему известность, однако нельзя сказать, чтоб известность эта была так уж велика. Мы, послереволюционные писатели и читатели, часто рисуем известность писателя по тому, что мы видим сейчас. Мы в данном случае ошибаемся.

Известность дореволюционного писателя всегда носила ограниченный характер. Разумеется, всем были известны имена Льва Толстого или Максима Горького, но таких знаменитых имен было очень мало. Круг читателей был, сравнительно с нашим временем, очень узок.

Да, Пришвин был известен в читательских и писательских кругах,— и все же тиражи его книг *никогда* не достигали цифры, которая была обычна для хорошей книги.

Сейчас каждая книга Пришвина выходит, самое меньшее, тиражом в тридцать тысяч экземпляров, а общий тираж книг Пришвина шагает за миллионы.

Уже это одно говорит, что творчество Пришвина развернулось во всей силе и красоте, во всей мощи его чудесного таланта, во всем мастерстве несравненного знатока слова, кудесника русского языка в наши, советские дни.

Возьмите, например, изумительную его поэму о Дальнем Востоке «Жень-шень».

Я, признаться, брал эту книгу впервые с предубеждением. Помилуйте, думал я, ведь есть несравненный Арсеньев, есть его «Дерсу-Узала», уж куда там еще и нам обращаться к этой теме! Но, прочтя первые страницы, я понял свою ошибку. Пришвин, своеобразный и оригинальнейший художник, подошел к теме Дальнего Востока совсем по-другому, чем Арсеньев, и увидал то, что Арсеньев и не мог увидеть. Пришвин, таким образом, по-новому показал и Дальний Восток, и даже творчество такого изумительного художника, каким был Арсеньев.

Поэма «Жень-шень» полна дивного очарования. Мне кажется, что за исключением Гоголя ни у одного русского писателя лиричность, песня в прозе, выражающая любовь к жизни, не достигала такой силы и красоты,

какой она достигает у Пришвина в его поэме «Женьшень». Но у Гоголя его лиричность была овеяна нотками трагическими. У Пришвина лиричность полна радости, свежести и неколебимой веры в творчество человека. Недаром же, заключая поэму, Пришвин говорит: «Да, мне кажется, в этом и есть творческая сила корня жизни, чтобы выйти из себя и себе самому раскрыться в другом».

Горький сказал: «По вашим книгам, Михаил Михайлович, очень хорошо видишь, что вы человеку — друг. Не о многих художниках можно сказать это так легко и без оговорок, как говоришь о вас».

Оттого, что Пришвин человеку друг, читать его легко и приятно, как легко и приятно беседовать с верным и крепким другом. Кроме того, это друг, который много видел, много знает и многому может поучить тебя. Мало-помалу, читая его книгу, невольно превращаешься в ребенка, для которого каждый предмет представляется тайной и загадкой. Ты мучаешься, терзаешься в стремлении отгадать эту загадку, но вот подошел верный друг и, не делая чересчур умного лица, не навязывая тебе своих знаний, отгадывает загадку, раскрывает жгучую тайну. До беседы со своим другом тебе казалось, что ты знал о мире достаточно много, а поговорил, и видишь, как мало ты знаешь и как много тебе еще нужно знать!

Вот это-то состояние духа и называется обогащением.

А какой он удивительный мастер рассказа!

Искусство рассказа достигло у нас, в русской литературе необыкновенного совершенства. Назовешь имена Чехова, Толстого, Горького, и кажется, что в области рассказа не только трудно, но и невозможно дальнейшее совершенство. Однако прочтите рассказы Пришвина, и вы увидите, что совершенство содержания и формы, совершенство языка вступает в рассказах его на какую-то новую и прекрасную ступень.

В цикле, который называется «Рассказы наших дней», есть рассказы, написанные с изумительным мастерством и силой. «Кладовая солнца», «Мои тетрадки», «Москва-река», «Лесной хозяин»,— какие это замечательные картины русской природы, какие это ценные страницы из великой истории русского человека наших дней!

Максим Горький писал когда-то Пришвину:

«И особенно русский человек после того, что пережито, и притом, что переживается им, заслуживает какого-то иного, более повышенного отношения к нему, более внимательного и почтительного. Разумеется, я очень хорошо вижу, что он все еще не ангел, но мне и не хочется, чтобы он был ангелом, я хотел бы только видеть его работником, влюбленным в свою работу и понимающим ее огромное значение.

Для всех нас, встающих на ноги к творчеству новой жизни, глубоко важно, чтобы мы почувствовали себя очень родными и близкими друг другу. Этого требует суровое время, в которое мы живем, и грандиозная работа, за которую мы взялись».

Эти изумительные по выразительности и правдивости слова Горького ценны и нужны нам ныне, так же, как они были ценны и нужны тогда, когда они были написаны. В семье советских народов, которые под руководством Коммунистической партии свершают строительство пятой пятилетки, строительство коммунизма, в этой дружной и прекрасной семье русский народ играет роль старшего брата, а русский язык — роль старшего из языков.

Поэтому-то борьба за чистоту русского языка, за ясность и выразительность слога, борьба, которую сейчас ведет вся литературная общественность страны, является частью борьбы за пятую пятилетку, частью борьбы за коммунизм. Чем яснее и проще мы будем выражать свои мысли, чем выпуклее и ярче они будут, тем лучше и крупнее будет наше искусство, наша литература, тем большее, мировое значение она приобретет, тем больше соберет она друзей и соратников вокруг движения за мир, возглавляемого нашей страной.

Крепость здания зависит от крепости того материала, из которого создается здание. Чем лучше и выразительней будет писать каждый художник, лучше и выше будет все советское искусство. Чем лучше и богаче творческими силами будут учителя наши, тем лучше и богаче будем работать на ниве искусства мы, ученики, создатели здания искусства.

Одним из прекраснейших и ценнейших учителей русского слога и русского языка является Михаил Михайлович Пришвин.

Будем же усердно учиться у него!

Ему ныне 80 лет.

А труду его на поприще великой русской литературы — 45 лет.

За эти сорок пять лет поразительного и прекрасного труда язык его творений совершенствовался и к нашим дням достиг выразительности необычайной.

Пожелаем этому чудесному мастеру слова долгих дней на благо советской литературы, на благо всего советского народа, который всегда будет усердным читателем великолепных и душистых книг, созданных Михаилом Михайловичем Пришвиным!..

1953

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Сто лет тому назад на Украине, в городе Переяславе, родился Соломон Рабинович, которому среди великих писателей земли суждено было стать известным по псевдониму Шолом-Алейхем. Шолом-Алейхем в переводе на русский значит — «Мир вам!»

Эти слова «Мир вам!» выбрал не убеленный сединами старец, не мудрец, увенчанный многими десятками лет жизни, не мужчина, окончивший университет и прочитавший все лучшие книги, которые создало человечество,— эти слова выбрал для своего имени юноша, двадцати с небольшим лет, юноша, образование которого заключалось лишь в том, что он учился в «хедере» — начальной религиозной школе, и в уездном училище. Правда, по тем временам, окончить уездное училище для еврейского юноши было уже большим событием. Соломон Рабинович сам превращается в домашнего учителя у богатого арендатора Лоева. Впрочем, учитель из него не вышел. Ища работы, он пытался превратиться в чиновника, в так называемого «казенного раввина», в регистратора браков, рождений и прочих событий еврейской общины. «Казенным раввином» он был недолго. Жизнь, ведя его тяжелыми тропами, шаткими и узорными,— подвела его к литературе.

Теперь уже нам трудновато понять то время, когда местечко или городок замыкались в тесном кругу своих интересов, когда не было ни радио, ни кино, ни телевизора, когда газета и книга были там редкостью. Внешний мир для таких людей, как Соломон, врывался сюда ярмаркой да проезжими, которые останавливались на постоялом дворе, принадлежавшем его отцу. Трепещущими и жадными руками хватал Соломон те немногие книги, которые попадались ему. Как

таинственно тихо перелистывались страницы, как зыбко билось сердце, какие бодрые и ненасытные дали открывались ему! И волшебная книга помогала мальчику не только видеть мир, но и — рассказывать о нем.

У наблюдательного и остроумного мальчика была злая мачеха. Так вот первым, что он написал, был словарь проклятий, которыми усердно осыпала она пасынка, причем словарь этот был составлен в алфавитном порядке. Четырнадцати лет он стал писать на древнееврейском языке роман «Дочь Сиона», а позже, познакомившись с русской литературой, стал писать романы и трагедии на русском языке. Но печататься он начал на древнееврейском — и начал публицистическими статьями.

В 1883 году Шолом-Алейхем впервые стал печатать свои произведения на современном еврейском языке, который был доступен не узкому кругу, как древнееврейский, а всему еврейскому народу. В те времена в еврейской литературе росло новое поколение писателей — Менделе Мойхер Сфорим, Линецкий, Гольдфаден,— поколение демократическое, яростно боровшееся против эксплуатации народа, против невежества, отсталости, средневековья, боровшееся на живом народном языке за демократизм, за новую жизнь, быт, просвещение. Работы было много, и работа была тяжелая. Шолом-Алейхем не убоялся ее.

«Мир вам!» — он провозглашал не просто как пожелание. Он приносил этот мир земле как трудную, но благородную ношу, как дело всей нашей жизни, как трапезу, которая скудна и жалка, если скуден ваш труд, но которая пышна и богата, если вы хорошо потрудитесь ради нее!

И он очень много сделал, хотя и не был социальным реформатором, преобразователем. Он был просто писателем, который страстно любил свой народ, жизнь его, великолепно понимал красоты жизни, но и понимал также, что человек живет плохо, бедно, низко, что нельзя и постыдно жить так неустроенно.

Это чувство недовольства неустроенностью жизни владело тогда сердцами многих писателей мира: Флобер, Диккенс, Гюго, Мопассан, Толстой, Чехов, Горький... десятки, если не сотни высоких и животворных имен!

Да, жизнь душна, тосклива, сурова, гнетуща.

И только, как уголь костра в темноте ночи, горит пурпурный и напряженный огонек: вера в человека, вера, полная неотразимой убедительности.

И эта вера победит.

В Октябре 1917 года придет наконец тот *Человек,* в которого верили.

Среди имен великих писателей, которых назвал я, список которых каждый из вас может продолжить,— имя Шолом-Алейхема занимает почетное и достойное место.

Это почетное место Шолом-Алейхем занимает благодаря своей неисчерпаемой наблюдательности, благодаря той талантливости, с которой он передает нам свои наблюдения и свое знание народа и любовь к народу, и, наконец, благодаря своему удивительному оптимизму.

В 1910 году, на Капри, Алексей Максимович Горький, прочитав повесть Шолом-Алейхема о мальчике Мотле, написал автору:

«Искренне уважаемый собрат!

Книгу Вашу получил, прочитал, смеялся и плакал — чудесная книга! Перевод, мне кажется, сделан умело и с любовью к автору, хотя местами чувствуется, что в русском языке трудно передать печальный и сердечный юмор оригинала. Я говорю — чувствуется.

Книга мне сильно нравится — еще раз скажу — превосходная книга!

Вся она искрится такой славной, добротной и мудрой любовью к народу, а это чувство так редко в наши дни.

Крепко жму руку.

М. Горький»

Десять лет спустя, в Петрограде, в начале 1921 года, мне из уст Горького довелось слышать суждение о Шолом-Алейхеме. Зима была мягкая, мы сидели у окна, выходящего на Кронверкский, и беседовали о литературе. Вдруг Горький спросил:

— Вы любите юмор?

— Очень люблю,— ответил я,— и в особенности когда он — скорбящий.

— Вот именно, скорбящий. Впрочем, у русских писателей он всегда таков: скорбящий. Даже Чеховым,

в его молодых рассказах, владел этот скорбящий юмор. Культивируйте в себе юмор! Он очень важен для писателя.

И, помолчав, добавил:

— Есть еврейский писатель Шолом-Алейхем. Вы читали?

Я сказал, что читал, и назвал даже издательство, которое в 1910—1914 годах издало собрание сочинений Шолом-Алейхема. Горький уважал любителей книг. Он улыбнулся своей степенной и тихой улыбкой и сказал:

— Какой строгий и прозрачный юмор! Читаешь и видишь, что этого человека никакие несчастья не поколеблют, что в нем — пылающая вера в жизнь! Удивительнейший и, я бы сказал, дерзновенный оптимизм. Рекомендую вам читать его почаще: это очень поучительный автор.

Действительно: чем злее несчастье, чем горше беда, тем крепче и бодрее становятся герои Шолом-Алейхема, тем больше верят они в победу жизни,— хотя никаких оснований, кажется, нет, хотя жизнь донельзя позорна и унизительна.

Но и Мотл, и Менахем-Мендл, и Тевье, и многие другие герои Шолом-Алейхема — все они поднялись на жестокий бой с несчастьем, и, как все бойцы и крепкие духом люди, они находят время и возможность шутить и смеяться над собственным горем, а чем больше они шутят, чем больше употребляют в своих шутках народных словечек, тем сильнее растет в вас уверенность, что бойцы победят и несчастье будет повержено.

Шолом-Алейхем поражает своим удивительным и мощным реализмом, своим умением сделать выбор, то есть рассказать о наиболее истинном и правдивом, о самом насущном. Вот это-то качество и создает народного писателя. Шолом-Алейхем обладает той способностью большого художника, которая свойственна истинным творцам: войти в самую гущу жизни, в гущу народа, вслушаться в народный говор, уловить тончайшие оттенки его, а через говор — и тончайшие оттенки быта, те оттенки, которые стороннему наблюдателю или неуловимы, или кажутся призрачно-воздушными.

Ну, что можно сказать, предположим, путного о маленькой жизни Менахем-Мендла, о том, как он добывал свой жалкий, грошовый заработок? И, однако, посмотрите, какую поразительную и поучительную Одиссею странствований Менахем-Мендла показал нам Шолом-Алейхем! Как трудно и горько добывать эти беспощадные и жестокие гроши! Как зло приходится обманывать самого себя, как свирепо утешать и внушать надежду, что и тебе когда-нибудь что-нибудь перепадет и что кончится эта позорная и унизительная ежечасная погоня за куском хлеба.

Прочтешь эту книгу, отодвинешь ее и задумаешься. И как далекая, тревожная, горестная песня прозвучит прошлое. Вспомнишь, как тяжело доставался хлеб насущный, как трудно было добыть работу и кров,— вспомнишь, и томительная и светлая тоска охватит тебя. Твои дети, твои близкие, многие миллионы юношей и девушек твоей отчизны уже не знают того, о чем плачет песня этой книги Шолом-Алейхема. Для них эта книга — только горестные картины, которые нарисовал дивный художник прошлого, а не томительное воспоминание, которое тяжко тревожит и, порою, душит меня.

Я счастлив, что именно так читают юноши и девушки книги Шолом-Алейхема.

— Мир вам, Шолом-Алейхем. Вы хотели вселить мир в мирные души мирного и трудолюбивого народа, и вот, наконец, вы — среди этого народа — друг наш и брат наш!

В своем завещании Шолом-Алейхем писал:

«Где бы я ни умер, пусть меня похоронят не среди аристократов, людей знати, либо богачей, но среди простых евреев-рабочих, с подлинным народом, чтобы памятник, который потом поставят на моей могиле, украшал простые могилы вокруг меня, а простые могилы чтоб украшали мой памятник,— как простой, честный народ при моей жизни украшал своего народного писателя».

Какая музыкальность, какая песенность, какая песенная любовь к народу звучит и в этом завещании и во всех творениях Шолом-Алейхема!

Любовь Шолом-Алейхема к песне, к музыке также роднит его с русскими писателями — Толстым, Турге-

невым, Чеховым, которые с поразительной силой и любовью говорили о песне и сами обладали исключительной, почти песенной музыкальностью слога. Песенность, музыка звучат во всех произведениях Шолом-Алейхема. Его роман «Иоселе-соловей», рассказывающий о злой судьбе художника в условиях капиталистического общества, принадлежит к лучшим образцам европейского романа. Это правдивое и убедительное продолжение рассказа о «разбитых иллюзиях», начатое еще Бальзаком.

А в трогательной новелле «На скрипке» Шолом-Алейхем пишет с мягким лиризмом: «Нет, мне кажется, ничего более прекрасного, ничего лучшего, чем умение играть на скрипке. Разве же нет? Не знаю, как вы, а я, как только разума у меня прибавилось, начал тосковать по скрипке и полюбил музыкантов, как жизнь». Музыку, песню, любовь к ним, как видите, Шолом-Алейхем определяет как высшее проявление сознания,—«как только разума у меня прибавилось»,— как высшее проявление культуры. Это очень глубокое и верное наблюдение большого мастера.

Таков великий еврейский писатель Шолом-Алейхем и такова наша любовь к нему:

— Мир вам, люди!

1 марта 1959 г.

О ТЫНЯНОВЕ

Ю. Н. Тынянов необычайно любил русскую литературу. Он великолепно знал прошлое ее и влюблен был в ее настоящее. Любить по-настоящему — это прежде всего значит знать. Мне много раз приходилось говорить с ним о литературе; собственно, иных разговоров он и не вел. Если беседа отвлекалась в сторону от литературы, он умолкал и только молча смотрел на собеседников своими большими, красивыми глазами. И так иногда он мог сидеть долго. Но лишь снова беседа возвращалась к литературным темам, он начинал говорить своим глубоким, пронизывающим сердце голосом. Какого бы времени ни коснулись, начиная, скажем, с XVI века, имя какого бы вы писателя ни затронули, Тынянов мог всегда сообщить о его творчестве что-то новое, характерное, яркое.

Мне кажется, что и романистом-то он стал из этой страстной, пожирающей любви к литературе, поэзии, творчеству вообще. Дело в том, что когда мы — в 1920—1925 годах — начинали свой путь литературы, тогда в некоторых литературных кругах умами владело некое нигилистическое отношение к прошлому русской литературы. Говорили вроде того, что классики-де отмерли, изучать их, интересоваться глубоко их творчеством нечего. Мы их, конечно, прочтем, но и бог с ними, прощайте!

Своими романами — «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» и, наконец, «Пушкин» — Тынянов высказал свою горячую любовь к героическому прошлому великой русской литературы, подчеркнув героизм ее: три главных героя его книг — Кюхельбекер, Грибоедов и Пушкин,— были в той или иной степени сопричастными к декабрьскому восстанию 1825 года, т. е. боролись с абсолютизмом и крепостничеством не только пером, но и

оружием. Пусть Грибоедов убит был в Тегеране, а Пушкин не на Сенатской площади, а на Черной речке, в том и другом случае их убивала чернь, подонки общества, натравливаемые теми, кто из окон дворцов руководил подавлением восстания на Сенатской.

Подчеркивая и защищая героическое прошлое русской литературы в своих романах, Юрий Николаевич осуществлял свою защиту не средствами прошлого, а средствами настоящего. Он писал литературным языком, который был характерен для тех дней, когда развертывалась во всю свою великолепную ширь молодая советская литература. Пиша этим языком, он таким образом бросал мост между прошлым героической русской литературы и настоящим советской, которая, как кажется, тоже стала не менее героичной, чем ее предки. Тынянов утверждал, что между прошлым и настоящим нет разрыва, а наоборот, чем мы, молодые, становимся взрослее, умнее, чем мы больше приобретаем опыта как литературного, так и житейского, тем ближе мы к своим учителям, к своим отцам, к классикам. И тут-таки опять примером своего творчества он доказал, что дело обстоит именно так, а не иначе. Роман «Пушкин», который Тынянов писал в последние годы своей жизни, написан языком строго классическим, языком, приближающимся к языку Толстого.

Кроме патетики,— даром, которым должен обладать каждый романист, ибо полное и всестороннее освещение жизненных процессов пером художника возможно лишь тогда, когда художник относится к этим процессам патетически, т. е. возвышенно, восхищенно, кроме дара патетики, Ю. Н. Тынянов обладал чудеснейшим даром сарказма. Я не буду говорить о его замечательных переводах из Гейне, хотя на них и стоило бы остановиться, я напомню вам одно его изумительное произведение, где сарказм Тынянова приближается к сарказму Гоголя. Я говорю о небольшом рассказе его «Подпоручик Киже». Какая поразительная сила таланта, какая яркость красок и, несмотря на совершенно неправдоподобный сюжет, какое полное правдоподобие!

Талант Ю. Н. Тынянова — талант первоклассного, классического, образцового разряда. И я, как современник, как человек, который видел его довольно много, добавил бы, что это был и человек классического, образцового разряда. Чрезвычайно жаль, что о нем почти

не написано воспоминаний. По этому поводу можно сказать, что мы вообще мало пишем мемуаров, а печатаем-то и того меньше. Наши предки больше любили этот род литературы. Здесь нам еще раз не грешно было бы поучиться у них и писать побольше воспоминаний. Мне бы хотелось, например, чтоб о творчестве и жизни первоклассного советского писателя Юрия Тынянова вышла книга воспоминаний. Мне кажется, что читатели будут признательны составителям ее, а потомки, думаю, не раз поблагодарят нас. Пусть же данный вечер послужит толчком к созданию такой книги.

СТО ДЕСЯТЬ АВТОРОВ И ОДНА МЫШЬ

Я не спал всю ночь. Явственно помню, что в восемь с половиной утра, когда сиреневое утро ярко отражалось на крышах домов, на слегка подтаявшем снегу, особенно возле труб, видно было также сверху, как сквозь голые деревья стоял большой глыбой серый дом правительства, я составлял доклад по истории заводов. Множество рукописей и книг, рассказывая о создании машин и людей, толпилось вокруг меня. А неподалеку в углу моего письменного стола лежала незаконченная фантастическая повесть «Мышь», где рассказывалось, что четверо московских ученых, возвращаясь с лыжной прогулки, сделали в Теплом переулке один какой-то неправильный шаг в сторону и очутились в Москве через сто лет. Они пробыли там недолго, всего десять минут, и только один из них, самый упорный и ловкий, догадался захватить сувенир на память. Он поймал мышь. Теперь из всего будущего перед ним в клеточке бегала вот эта странная мышь с удлиненным носом, похожим на слоновый хобот, и он пытался при помощи этой мыши, которая не значилась ни в одном каталоге мира, узнать будущее и найти будущих великих людей, которые уже там в 2035 году застыли громадными памятниками, а сейчас они обладают десятью годами или того меньше — еще дошкольным возрастом. Мне все казалось, что в этой повести в одной из глав пропущено что-то чрезвычайно важное, и поэтому доклад мой не удавался, так как все время я брал какую-нибудь из этих глав и вписывал мысли, которые казались мне бесценными.

Выпив стакан чаю, я почувствовал, что разглядывание темно-коричневых труб и легкого дымка, который стлался из них, вернуло меня к моему докладу. Кроме

того, утро располагало вообще более к статьям и размышлениям, нежели к беллетристическим «он сказал и он ответил». Словом, я взял карандаш и стал было излагать свои мысли по поводу истории работ на «Красном выборжце», когда шелест бумаги возле моей конторки заставил меня поднять голову. Меня постоянно раздражает, что, когда увлечешься, непременно или с подоконника, или с конторки, или со стола поползут бумаги.

Я хотел отодвинуть стул, потому что сознавал, что лучше собрать бумаги и тогда уже собирать свои мысли, нежели наоборот. Возле моей конторки стоял, опираясь на нее локтем, человек в ярко-зеленой одежде и с лицом почти оливкового цвета, что, впрочем, объяснялось тем, что он стоял спиной к окну и красный ковер комнаты придавал зеленоватость лицу.

— Простите, что я вам помешал,— сказал человек басисто и тщательно выговаривая фразу, так, как говорят иностранцы, отлично владеющие нашим языком,— но необыкновенно сложнейшие обстоятельства заставили меня прибегнуть к такому раннему и несколько странному способу беседы. Видите ли, через три дня мы празднуем сто сорок лет со дня вашего рождения, и я должен говорить речь, посвященную вам. Естественно, что мне хотелось знать, что вы думали о себе и о своей эпохе сто лет тому назад, когда вам еще не было и сорока лет. Кроме того, сопутствующие вам литературные события для меня несколько неясны, и это тоже было бы хорошо, если бы вы мне разъяснили их. Ведь подумайте, через десять лет мы будем праздновать стопятидесятилетие...

Со скромностью, присущей всем писателям, я перебил его:

— Неужели будущему человечеству нечем заниматься, как только празднованием дня моего рождения.

— Рождение рождению рознь,— ответил оливковый человек,— но я думаю, что вам это вряд ли неприятно, а кроме того, вы же пишете повесть, действие которой хотя бы и в продолжение десяти минут происходит через сто лет... Так что наши интересы здесь совпадают и не ими ли вызвана наша встреча.

— Следовательно, вы будущий ученый.

— Да, я ученый, хотя почему же будущий. Я настолько же будущий, насколько вы прошедший. Если

мы с вами разговариваем, значит, мы оба находимся в настоящем, и я опасаюсь, что мои мысли несколько будут сглажены и, так сказать, опопуляризированы соответственно вкусам настоящего.

К сожалению, будущее послало ко мне, видимо, не особенно выдающегося своего представителя, потому что он обладал способностью, присущей многим моим знакомым критикам и ученым,— он больше слушал самого себя, нежели других, и я, опасаясь, что он вынесет неправильное впечатление о нашей встрече и покинет 1935 год с теми же мыслями, с которыми в него вошел, прервал его:

— Вы мне скажите ваше имя, и давайте беседовать по-настоящему, потому что время, как и вам, мне дорого.

Он спросил, заглядывая в записную книжку:

— Видите ли, так как вы работаете над историей заводов, а юбилейный ваш год, о котором мне придется говорить, в силу того что он совпадает чисто арифметически со столетием, совпадает также и с вашей работой. Короче говоря, мне хотелось бы спросить вас об одной необыкновенной книге, которая появилась как раз в этом году, но, к сожалению, весьма мало была отмечена современниками.

Со скромностью, опять-таки нам свойственной, я спросил:

— Вы полагаете, что моя книга выйдет в этом году?

— Она уже вышла.

— Я и не знал, что обладаю такой способностью скорописи.

— Разве вы были в числе ста десяти авторов? — уже с некоторым почтением спросил меня человек с оливковым лицом.

Я предчувствовал, что попадусь-таки с этой окаянной склонностью приписывать себе то, чего еще не сделал. Поэтому я решил несколько поправиться.

— Я не участвовал, но я сочувствовал этой книге, а это, знаете, для авторов иногда настолько же важно, насколько и участие в работе. Вы говорите о книге «Были горы Высокой»?

Я был вознагражден за свою догадливость, потому что человек с оливковым лицом очень протяжно улыбнулся, зевнул. Считая, что этот зевок совсем неуместен и сделан только исключительно из вежливости в отно-

шении меня,— из стремления показать, что он тоже устал и хочет быстро покончить разговор со мной, я замолчал, ожидая его вопросов.

— У вас тогда было все необыкновенно и, конечно, с вашей точки зрения вполне естественно, что на эту книгу мало обратили внимания, всего лишь определив ее как хорошую книгу. Видите ли, я литературовед, и меня изумляет только то, что литературные круги недостаточно говорили о ней, хотя эта книга является для них до известной степени событием угрожающим.

С некоторым беспокойством, отдавая дань его прозорливости, просто в силу его территориального пребывания в будущем, я спросил:

— Почему же угрожающим?

— Читателя я понимаю. Читатель встречал много книг из различных областей, он был не очень искушен в литературе, у него было мало времени читать, и колоссальные ваши тиражи объясняются тем, что появилось необыкновенное количество новых читателей, и, если бы у них было побольше времени для чтения и для размышления над прочитанными книгами, многие оценки весьма почтенных и весьма уважаемых писателей изменились бы.

С беспокойством, все возрастающим, я сказал ему:

— Вы чересчур пользуетесь своим правом знания будущего, и мне конечно с вами, знающим, кто будет классиком через сто лет, спорить очень трудно. Я не прошу рассказывать мне тайны будущего, но хотя бы, став на точку зрения современности, скажите мне, что же вы нашли, как вы говорите, угрожающего в этой книге.

— Угрожающее в ней то, что в колоссальном предприятии истории заводов, в бесконечном ворохе собранного материала писатели еще не разобрались и наиболее выдающиеся две книги по истории заводов являются книгами, написанными самими рабочими, это: «Люди Сталинградского тракторного» и «Были горы Высокой». 〈...〉 Эта книга написана ста десятью авторами, рабочими...

— Что вы мне рассказываете, я знаю и без вас.

— Я рассказываю это для того, чтобы вы имели перед собой полную картину, дабы, сопоставив все мои факты, смогли бы мне объяснить то, чего даже будущее, вооруженное, как вы знаете, большими сведениями,

чем вы, не может объяснить. Эта книга выпущена Государственным издательством Истории фабрик и заводов в Москве в тысяча девятьсот тридцать пятом году и включает в себя рассказы рабочих Высокогорского Железного рудника о старой и новой жизни. В ней четыре отдела: демидовщина, Октябрь — гражданская война, восстановление и реконструкция. Она снабжена рисунками художника К. Кузнецова, довольно слабыми, извините меня, подразделяется на главы и снабжена предисловием Максима Горького и Л. Авербаха. Сто один рабочий рассказали или записали свою жизнь с потрясающим умением, с каким не смогли сделать этого писатели, также и строители Сталинградского тракторного рассказали о создании своего завода.

— Такой громадный комплекс строек и событий, который охватывает тысячи людей и явлений, очень трудно охватить одному человеку, и вполне понятно...

— Вполне понятно, что писатели предпочитают писать о мышах? Я не говорю о той мыши, которая до известной степени создала мне встречу с вами. Я хочу избрать эту мышь иносказательно. Возможно, что через тысячу лет мышь по каким-то соображениям и приобретет длинный слоновий хобот, но как раз эта выдумка вызвала глубокое возмущение наших ученых, занимающихся вашим творчеством, и они поручили мне сказать вам, что эволюция мышиного хобота исчисляется никак не столетиями, а тысячелетиями. Таким образом, мы считаем, что мышиный быт меняется гораздо медленнее, что он устойчивее, что об нем писать конечно легче, и в нем даже есть много от классики, от Достоевского или Толстого, если хотите, ибо мыши тоже страдают и мыши даже могут очень сильно любить. В моем опыте известна даже мышь, которая от любви сошла с ума и загрызла свою подругу.

— Ваше сравнение весьма банально.

— Так вот сто десять авторов победили потому, что такой рассказ, как, например, на странице сто сорок восемь Маремьяны Пылаевой, поварихи, о том, как она переродилась благодаря книжке, найденной ею у жандармского полковника. Рассказ этот занимает всего четыре неполные странички, но достоин многих толстых книг, а две страницы, занимающий всего только две страницы рассказ В. С. Соловьева о том, как боролся цех за целость водоотлива и главного водоема, гораздо

выразительнее тех громадных романов, которые, может быть, и сыграли свою полезную роль в эпоху пятилетки. Эпос воды свойствен множеству древних народов. Здесь произошла некоторая ошибка, потому что важен не эпос воды, но эпос борьбы со стихией, которую человечество уже перестало бояться, так как понимает, что оно может усмирить ее, и что космические проблемы не так уже страшны, и что напрасно авторы пытаются выдумать эти космические проблемы буйства стихий и работы над атомным ядром. Все это только жалкие попытки продвинуть вовремя технические идеи. Дело не в том, чтобы найти техническую идею, которая могла бы быть новой, ну, скажем, хотя бы десять лет. Этого быть не может, и тщетны эти попытки, появляющиеся только потому, что авторы не могут рассмотреть грандиозности событий за делами, как будто весьма обыкновенными, за предприятиями, весьма обычными, например, происходящими на железном руднике. Но железный рудник оказался могущественным в силу талантливости описания, и он придал значение своему делу, поднял его до высот более важных, чем взрыв атомного ядра и использование его энергии. Все дело в том, чтобы поднять человеческие страсти до уровня тех страстей, которыми была наполнена эпоха, и мне кажется весьма странным, что профессиональные писатели не удивляются тому, что они, которым поручено психологически объяснить общественные и антиобщественные явления, все-таки со всем присущим им даром изобразительности, со всем классическим наследством, тоже принадлежащим им, не могли одолеть этой проблемы и не могли написать по истории заводов ни одной такой книги, которая стояла бы вровень с этими двумя, о которых я говорил.

— Следовательно, мои объяснения вы признаете неудачными?

— Да, не совсем. Очень часто случается, что автор напишет удачную книгу и замолчит, и это молчание делается чем дальше, тем более неприятным для всех окружающих, потому что люди не верят, чтобы написавший одну удачную книгу мог так удачно молчать. Естественно, всем кажется, что он должен говорить. Здесь же замолчали многие писатели, но нет никаких оснований опасаться, что завод напишет другую неудачную книгу или замолчит совсем. Не беда, что замолчит, следующим свою историю напишет другой завод. Вы не

подумайте, что мы считаем эту книгу гениальной. Вы, конечно, привыкли ко многим неожиданностям и многим примечательным событиям, вам даже кажется простым, что сто рабочих подошли и так же, как они осваивают какую-нибудь сложную машину, освоили и сделали эту книгу. И я убежден, что многие читатели прочтут эти необыкновенно правдивые страницы с душевной дрожью и тут действительно нельзя не содрогаться. Сто рабочих прониклись такой удивительной заботой о своем заводе и о своем будущем как класса и государства, так смогли вложить в эту книгу свои знания, что, я думаю, писатели испытывали к этой книге зависть. И вот об этом я и хотел вас спросить.

— То есть испытывали ли писатели зависть? Писатель может испытывать зависть к другому писателю, но к ста рабочим вряд ли. Кроме того, они отнесут эту работу к фольклору и на этом успокоятся, это даст им возможность не считать эту книгу художественным произведением и, следовательно, не испытывать к ней зависти. Зависть, видите ли, свойство мерзкое и беспокойное, хотя часто бывает и полезной, ибо выявляет людей со всеми их стремлениями.

— Следовательно, они не испытывали зависти, потому что этого я не обнаружил в своем исследовании, а то, что они отнесли это к фольклору, то я это почувствовал. Но это как раз весьма жалко, потому что называть эту книгу фольклором, былиной, эпосом, — это все легкое дело и в большинстве своем эпос уже часто похож на нечто музейное, на которое мало кто смотрит, как бы ни старались музейные работники сделать его современным. Я повторяю, что здесь есть нечто угрожающее уже потому, что это доказывает важность и пользу коллективной работы, что рабочий класс напоминает художникам своей книгой о том, что они многого не исполняют. До известной степени это сигнализирует неудачу в литературе и указывает молодым начинающим авторам, куда необходимо обратить свои взоры и где они дождутся столь нужной им славы. Эта книга очень суровое напоминание людей, которые не дождались, чтобы о них написали, и которые, несмотря на свою тяжелую работу и заботы по устройству жизни, нашли в себе необходимое мужество и даже героизм, чтобы написать эту книгу, рассказать про все свои мучения и о том, как они пришли к победе. Это не рекламное произ-

ведение, не сообщение о каких-то необыкновенных вещах, которые выделывает этот завод, это обыкновенный рудник, но с необыкновенными людьми, которых великое множество, и я причисляю эту книгу к художественным произведениям, которые, несомненно, войдут в классическую библиотеку русской литературы.

— Я согласен с вами, и меня радует то, что мы с вами думаем одинаково. Мне эта книга нравится за ту насыщенность действием, которая в ней есть, а кроме того, своей удивительной речью, которой часто не хватает нашим писателям и которой они начинают подражать, переиначивая по-другому.

— Этим самым вы выделяете себя из числа писателей?

— Вы мне чересчур многое приписываете. Я никак не хочу выделять себя из числа писателей и если не испытываю зависти, то только потому, что эта книга настолько велика, что никто не был бы в силах осуществить это один.

— Вы отделываетесь теми же оговорками, которые вы хотели свалить на других. Однако какие же ваши собственные мысли по этому поводу?

Его сарказм несколько раздражал меня. Кроме того, явная переоценка книги внушала мне некоторое беспокойство. Мне хотелось также узнать, почему они празднуют мое стопятидесятилетие и чем я отличился, но, к сожалению, его саркастический разговор не позволял мне спросить его об этом.

Однако, чувствуя, что он скоро исчезнет, я сказал:

— Почему же мне такая честь, что вы из будущего пришли сюда спросить мое мнение об этой книге?

— Это также и оттого, что от вас осталась записка о Нащекинском переулке, а здесь у нас как раз начинаются шахты. Отсюда мы начинаем рыть шахтный колодец. Ваш дом давно снесен. Там площадь. Нам понадобилось несколько строк для вступления, и мы втащили их в предисловие к этой книге, которое напомнило о том, что вы родились сто сорок лет назад и вы один оставили нам описание Нащекинского переулка, что позволило нам восстановить старинный пейзаж.

Можно быть скромным, но нельзя позволять себя оскорблять и сводить меня и все мои заслуги, даже через сто сорок лет к тому, что я описал пейзаж Нащекинского переулка, а всю беседу вести о книге весьма,

может быть, почтенной, имеющей свои достоинства, но никак не классической. Я обиделся, и поверьте, что я имел на это все основания. Я воскликнул:

— Вы мне испортили все утро!

Тут я поднял голову. Свинцовая тяжесть лежала на моих веках, я вспомнил, что с этой тяжестью в области надбровных дуг я должен пойти сегодня на заседание, а вместо этого, как говорится в романах, задремал, и мне приснился сон. Но я не хочу сваливать на сон все свои размышления. Я считаю себя ответственным как и за то, что я сплю, так и за то, что я разговариваю наяву. Все мои размышления, высказанные здесь, соответствуют действительности.

Девять лет спустя, в 1944 году я случайно перечел эту статью и крайне удивился. Не только 140 лет спустя, но и спустя десять я не мог вспомнить этой книги, о которой так горячо распинался. И мне думается, что явившийся из будущего критик — прав: обо мне стоит вспомнить лишь в связи с пейзажем Нащекинского переулка, не больше. «Были горы Высокой» — умерли, и вряд ли когда-нибудь воскреснут. И это очень хорошо. Умру и я, — и не надо меня воскрешать, раз я не хочу! Вся эта слава, будущее, юбилей стосорокалетия — вздор и чепуха, и самое приятное в этом: сознать вздорность, ибо успокаиваешься. Хочется написать хорошее не для будущих юбилеев, а потому, что хочется, потому что привык так хотеть и потому что скучно без этого хотения.

Так я думал в мае 1944 года, пиша роман «Сокр. А. Македонского», а сам уже найдя сокровища в самом себе, и будучи их полным обладателем. Война кое-чему научила.

Вс. Иванов.

— Неужели я так думал? Меня ведь очень влекла слава, всегда. Я ее получил при постановке «Броненосца» в МХАТе и, утеряв, в силу многих причин, алкал ее всегда. Правда, я мало что делал для ее приобретения, но — алкал. Можно, конечно, писать: «вздор» и так далее, но лучше не писать.

В. Иванов.
1961, май

ОБ АЛЕКСАНДРЕ МАЛЫШКИНЕ

Я беседовал с ним всегда с живейшим интересом и наслаждением. Он был пытлив и любознателен. И так как пытливость эта распространялась не только на внешний мир, но и на самого себя и, преимущественно, на то удивительное состояние, которое мы называем *творчеством,* то слышать его было вдвойне приятно.

Однажды я шел по дороге на станцию Переделкино, чтобы попасть в Москву. Нужно сказать, что мы с Малышкиным были соседи по дачам. Он стоял у дороги, возле поля, густо заросшего клевером. Лицо его было задумчиво и строго.

— О чем вы думаете, глядя на этот клевер? — спросил я его.

Он ответил:

— Как и вы, я постоянно думаю о надписях.

— О надписях? — переспросил я, не понимая.

— Да, о надписях. Мы выбиваем их на базальте, называя людям зло — злом, а добро — добром, а великий подвиг их жизни — подвигом.

И он добавил своим несколько торопливым говорком:

— Очень важно для человечества, чтобы люди возможно реже путали эти понятия.

Через два-три дня я встретил его опять на том же клеверном поле, только поле теперь цвело. И опять я его спросил:

— Ну, а теперь о чем вы думаете?

Он ответил:

— Прошлый раз мы встретились с вами на поле... оно ведь еще не цвело, кажется? Оно и тогда было прекрасным, но сейчас — где сравнить? Дело в том, что цветок — это произведение таланта...

Мне показалось, что он не закончил своей мысли, и я спросил:

— А талант?

— Нет, нет, я не говорю о таланте! Талант — выше моего понимания. Я думаю о произведении человека и спрашиваю себя: почему произведение всегда лучше самого человека?

И он добавил:

— Может быть, потому, что хорошее произведение живет долго, а долголетие — один из главнейших признаков человеческой мощи?

Я познакомился с ним вскоре после напечатания «Падения Даира». Знакомство состоялось на литературном вечере в издательстве «Круг». Поэты читали стихи, прозаики рассказы, словом, вечер был как множество других вечеров. Я привел на этот вечер своего знакомого, специалиста по коврам, жившего в Средней Азии и редко приезжавшего в Москву. Ковровщик, очень любезный и приятный человек, слушал писателей с явным удовольствием, что, признаюсь, я не совсем понимал. Один из поэтов подвел меня и моего знакомого — ковровщика — к человеку небольшого роста в темной толстовке и сказал:

— Вы хотели познакомиться с Александром Малышкиным? Знакомлю.

Мы смутились. Мы действительно хотели познакомиться с Малышкиным и, идя на это собрание, как раз много говорили о «Падении Даира». Произведение это словно бы ослепляло нас своей стремительностью, пафосом, великолепием красок, любовью к новой жизни, к созданию этой новой, светлой, *советской* жизни! Нам очень хотелось передать автору свои впечатления, но, к сожалению, мы плохо тогда умели выражать свои впечатления от книг, быть может, потому, что все наши силы уходили на то, чтобы выразить свои впечатления от окружающего, бесконечно прекрасного мира.

И, к стыду нашему, мы молчали. Малышкин, тоже, видимо, смущаясь и, быть может, тоже что-то желая нам сказать, но не находя слов, — молчал. И молчание это продолжалось, — по тогдашнему моему счислению, — бесконечно долго, минут десять по меньшей мере. Тут подошел критик, — под условной фамилией, скажем, — Заразительный. Критик Заразительный

в кратчайший срок высказал наши мысли Малышкину, преувеличив их раз во сто. Малышкин превратился в Бальзака, Флобера, Толстого и Пушкина одновременно. Мы смотрели на критика Заразительного и с негодованием и с восхищением: мы негодовали на нахальные преувеличения и восхищались даром слова. Должен сказать правду, Малышкин смотрел на критика без негодования; краска удовольствия покрывала его лицо.

Когда критик отошел, Малышкин вдруг глубоко вздохнул, побледнел и, весь дрожа от негодования, сказал:

— Ах, ты, боже мой! Какой жонглер! Ведь я ему поверил!

И он добавил:

— А все ведь дело в том, что льстец, как ядовитый газ, пролезет в малейшую щель и для льстеца не существует замков. Нам, создателям книг, естественно думать, что каждый из нас не лишен дарования. А дарование, как известно, нуждается в великодушной поддержке и без поддержки не может существовать. Критик изобразил из себя сейчас — Великодушие, и мы чуть не задохнулись от счастия, слушая его. А между тем нам нужно быть свободными от лжи!..

Мы трое — Малышкин, ковровщик и я — ушли с литературного вечера вместе. По дороге мой знакомый сказал Малышкину:

— Вы — очень талантливый, и вам нужно много писать.

— Да, да, — быстро сказал Малышкин, — писать нужно много, да печатать надо мало. Что касается таланта, то я пока себя чувствую как сосуд, на который наклеен яркий ярлык, но куда еще мало влито полезного содержимого. И нужно долго, долго думать и работать, чтобы влить это полезное содержимое! Мой жизненный опыт еще невелик, но все же я могу сказать, что людей не трудно обмануть, и обмануть, вдобавок, так, что они этого и не заметят. И еще легче обмануть самого себя! И обмануть так, что потом из тебя ни черта и не выйдет. Если хочешь писать — трудись над собой каждую минуту, каждое мгновение, следи за собой, борись, чтоб в тебе копилась и сила и, простите меня, товарищи, но и мудрость. Чтобы законы писателя согласовались с духом народа, нужно, чтобы он был

мудр, мудр, мудр!.. Вы куда? Ниже, по Покровке? Ну, а мне — по Армянскому!

Мы попрощались, и он пошел от нас, на ходу усиленно жестикулируя согнутой правой рукой, словно кого-то отталкивая ею.

Мой знакомый — ковровщик, посмотрев ему вслед, с удивлением и восхищением, тихо сказал:

— Он далеко пойдет!

И он оказался прав.

Александр Малышкин вошел в бессмертные советской литературы, в ряды ее лучших, избранных, образцовых и любимых писателей.

ВОСПОМИНАНИЯ

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ТРИЛОГИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

Мой отец Вячеслав Алексеевич, учитель церковно-приходской школы в с. Волчихе, был человек, преисполненный мрачной веселостью. Любил он, например, слегка подвыпив, пойти за деревню в кузню. Там, по вечерам, в гости к гнусавому кузнецу — вору и пьянице — собирались мужики. Отец, лихо подбоченясь, с подковой в руках, рассказывал страшные случаи из своей жизни: как он искал клады, как воевал с разбойниками, — и рассказы его были и смешные и в то же время кровавые. Мне было страшно. Второй учитель церковно-приходской школы в с. Волчихе был, не в пример отцу, молчалив, читал толстые книги, в деревне его звали «пужливым агитатёром». Однажды в зимний прозрачный вечер этого учителя нашли повесившимся у косяка, на полотенце. Отец «романов» никогда не читал, презирал их всеми силами души, а полка над кроватью учителя была туго заполнена «романами». В тот вечер отец рассказывал на кузне, как рыцарь Дон-Кихот, начитавшись романов, произвел многие опустошения на своей земле, и один из мужиков вставил: «Спасибо, что народ наш смирной, заместо убийств — самое большее: повеситься». Газету отец мой читал монархическую, ту, которую присылали в школу. В те дни в газетах много печаталось брехни о Горьком, о пьесе «На дне», о том, что Горький пьяница, развратник и богач. «Шесть домов имеет четырехэтажных, — сказал мечтательно отец, — выезд из белых лошадей и сам саженного роста. Из генеральских сыновей, говорят. Может быть, даже от самого Скобелева!!» Больше всего мужиков поразило, что от книг можно завести дома,

и тот же мужик, который говорил, что наш народ смирный, добавил: «Слово такое черное знает, а на черное слово деньга идет. Черные книги пишет». И все согласились, что без слова не обойтись в таком деле.

В селе шла ярмарка. Отец выдавал мне, на разгульную жизнь, каждодневно по пятаку. Сияли голубой глазурью горшки среди соломы — желтой, хрустящей, наполненной морозом. Визжали глиняные петушки. Ситцы были как кусок неба. Над балаганами словно вздыбленные кони стояли сугробы. Я бродил около лотков, на которых продавали книжки. Горячий пятак впивался в мою руку. За пятак я мог купить книжку в 96 и 112 страниц: «Как львица воспитала царского сына» или «Чудесные похождения прапорщика». В одном лотке, на самом низу, я встретил (сколько помнится, издание «Донской речи») книжки, под названием которых стояло «М. Горький». Они были по 32 страницы и меньше и стоили по три копейки штука. За шесть копеек я мог купить только 64 *страницы!* Совершенно невыгодно! Я купил «Как львица воспитала царского сына». Но, купив, тотчас же раскаялся: всякому в Волчихе будет любопытно прочесть, что пишет человек, имеющий несметное богатство и выезд из белых коней. Ясно, что до завтрашнего пятака книжки раскупят. Я побежал домой. Отец отказал выдать мне завтрашний пятак. Я пожаловался приятелю своему Микешке. Микешка был великий игрок в бабки и знаменитый опустошитель огородов. Он презрительно дернул меня за длинные рукава моего тулупа. «А это что, зачем тебе дано?» — спросил он гнусаво, подражая кузнецу: «Подпояшься потуже и в рукава, когда будто книжки выбираешь, в рукава их спускай! Пойдем. Мы вместе выбирать будем». И вот мы украли у лотошника все книжки Горького. Мы спускали книжку в рукав, затем поднимали руку к затылку будто почесаться, книжка и проскальзывала за пазуху. Отойдя от лотошника и пощупав книжки, мы испугались. Мы побежали к Микешке, залезли на печь, попросили лампу у бабки Феклы и, завесившись шубенками, начали читать. Печь была раскалена, было душно, мы сидели голые, бабка часто просыпалась и ворчала: «Тушите, чего керосин переводите». — «Сейчас, сейчас погасим»,— отвечали мы. Мы читали всю ночь. Рассказы нам не понравились, многое было непонятно, и стало даже обидно, что на такой непонятности чело-

век может разбогатеть и выезжать на белых конях вроде царя. Но на сердце лежало томление удалой тоски. Я думал о море. Оно мне казалось молочно-белым; все в огромных застывших валах. Я шел домой, книжки лежали у меня за пазухой. Пьяные мужики, горланя и ломаясь, ехали с ярмарки. Плетни в снегах. А дальше по сугробам заячьи следы. Мне очень хотелось к морю, и было очень хорошо. Слезы стыли у меня в глазах. И было приятно, что я не купил книжки, а украл, словно я нашел в краже этой великую тайну. Когда я дома раздевался, книжки выпали на пол. Отец увидал их; взглянул на меня искоса, пренебрежительно плюнул и бросил книжки в печь. Я его обругал теми словами, которыми ругались возвращающиеся с ярмарки мужики. Отец избил меня жестоко. Я вырвался на двор, залез под амбар (амбары у нас строят на вкопанных в землю бревнах так, что между землей и полом амбара остается пустое пространство на пол-аршина или менее), мне было невыносимо холодно, я дрожал, плакал. Отец бегал, искал меня, звал, а я прижимался к бревнам, грозил ему кулаком и сам про себя бормотал: «А вот и не вылезу, замерзну, сдохну, плачьте, а не вылезу. Загубили, потом скажете, сына...»

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОТРОЧЕСТВО

Жил в Кургане, маленьком сибирском городке, Кондратий Худяков, поэт, живописец вывесок и мой приятель. Происходил он сам из староверов, упрямый, одноглазый и — красивый. Он самоучкой дошел не только до искусства писать стихи, но и до рисования вывесок. Обитал он в двух крошечных комнатушках. В одной комнатушке был маленький письменный стол с секретным отделением, им самим изобретенным (он все сбирался уйти в политику, и в секретном отделении прятал бы он тогда прокламации и воззвания). Но на этом письменном столе работать ему не удавалось: за дощатой перегородкой постоянно вопили дети, жена стряпала обед,— он уходил писать стихи на сеновал. Бывало, придешь к нему, а сынишка говорит: «Батя на сеновал мыслить отправился».

Я работал тогда в типографии «Курганского вестника» метранпажем и наборщиком. Мне всегда хотелось писать нежные лирические стихи, а они не получались, ибо я стыдился многих своих чувств. Я с великим уважением приходил к Худякову. Однажды глубокой осенью гуляли мы по лесу. Я рассказал ему киргизскую легенду, которую, к слову сказать, тут же и выдумал. Легенда была эта о какой-то русалке и о любви к ней красавца Палладия. Худяков посоветовал мне записать легенду и послать ее в газету. Я в тот же день записал, и так как мне было совестно посылать в «Курганский вестник», то я послал в соседний городок Петропавловск в газету «Приишимье». В понедельник я увидал газету. Весь подвал ее был наполнен моей легендой, а внизу жирным корпусом было напечатано: «Всеволод Иванов». «Похвально,— сказал я сам себе,— похвально, Всеволод Иванов, очень здорово написал». Я прочел один раз и больше читать не стал, дабы не найти какой-нибудь слабости в стиле! Я испытывал к себе огромное уважение и любовь. В тот же вечер я написал другой рассказ, и мне подумалось: «Если меня напечатало «Приишимье», то ясно, что следующий рассказ мой, как более опытный, будет еще лучше и всякий петербургский журнал напечатает меня с радостью». Из журналов, все по рекомендации того же Худякова, самым лучшим я считал «Летопись». Я послал свой рассказ,— сколько помнится переписанный на обороте корректурных гранок карандашом,— Горькому, в «Летопись», в Петербург.

Пили в нашей типографии зверски. Я сам не пил, так мои приятели, пропив свое жалованье, пропивали и мое. За хлеба я платил восемь рублей в месяц, а зарабатывал около тридцати: куда мне девать деньги? Книги я тогда еще покупать не научился,— я охотно отдавал свои деньги приятелям. За несколько дней до события, описываемого мною, я решил щегольнуть и купил себе сапоги с лаковыми голенищами и бархатные широкие штаны. Я набирал «Курганский вестник». Типография наша находилась в подвале. Шрифт холодный, липкий, пах керосином. Наборщики «звонили» с похмелья, денег ни у кого не было. Скука. И вдруг вошел почтальон и с порога крикнул в типографию: «Кто здесь Всеволод Иванов? Заказное письмо». Писем я ни от кого не получал, да еще на имя Всеволода Ива-

нова, а не просто В. В. Иванову, наборщику. Штемпель из сбитых букв «Петербург» ожег мое сердце! Наборщики столпились вокруг меня, я смотрел растерянно. Горький, сам Горький, своей рукой писал мне в осторожных и нежных выражениях, что похоже на то, что есть талант, дарование, что рассказ ему понравился и что мне надо писать учиться, читать. Типография заволновалась, заговорила. Решили выпить и чтоб — вдрызг!.. Пошли к заведующему за авансом, а заведующий ушел обедать, и тогда с меня сняли лаковые сапоги, отрезали голенища и послали их продать на толкучку,— «а остальное тебе вполне штиблеты заменит, выпусти штаны и ходи». Позже пришел заведующий и еще дал три рубля. Типография перепилась; орала песни, я ходил среди общего восторга трезвый и в то же время пьянее всех, бархатные штаны широкой волной лились по моим ногам. Я думал, что напишу теперь такое огромное и радостное, дабы тот человек, сидящий на Кронверкском проспекте в Петербурге, прочтя, прослезился и сказал: «Похвально, Всеволод Иванов, молодец!»

В течение двух недель я написал, по крайней мере, десять рассказов, огромную кипу и все сразу послал Горькому.

А он мне ответил, что рассказы сырые, слабые, печатать их нельзя. Мне надо учиться и учиться! Я держал письмо напуганными руками и смятенно думал: «Как можно учиться и чему можно учиться, когда на душе у меня такой огромный восторг, такая любовь и уважение к людям?» За советами к Горькому мне было стыдно обращаться. Я направился в библиотеку. Я читал около двух лет. И в эти два года не написал ни строчки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЮНОСТЬ

«Как это у Вас хлеба нет, друг мой? Вы должны аккуратно получать в Доме ученых. Там же Вам надо починить сапоги. Как это сделать все? И где Вы?»

И дальше подпись: «А. Пешков». Это я читаю в Петербурге.

Теплая зима 1920 года. Я побывал у Горького, рассказал о себе, он приглашал приходить и дал мне записку в Дом ученых. Там толстый, брюхастый человек Родэ, в визитке и в галстуке (сколь это меня поразило!), посмотрел на меня и, похлопывая себя по животу, сказал: «Комнату я вам покажу. А вам действительно надо питаться. Вот смотрите, какое у меня брюхо!» Брюхо у него было поразительное. Он провел меня в комнату, стены которой были обиты алой атласной материей. «Здесь вы можете спать»,— сказал он. Я посмотрел на атлас и тихо, испуганно ответил, что спать я здесь не могу. «Я себе другую квартиру найду». Он посмотрел на меня так, как смотрят на кретинов, и сразу как-то потускнел, живот его опал, и он направил меня к человеку, который выписывает ордера на продовольствие. Я отказался спать в атласной комнате не оттого, что мне не хотелось или стыдно было там спать, но я не мылся два месяца, и белье мое было украшено вошью. Я подумал, что если моя сибирская вошь поползет по атласу и кто-нибудь увидит...

О, этот Дом ученых! О, эти очереди за кониной! Грузовики, тяжело пыхтя, ввозят прекрасные буханки хлеба. Бочки с селедкой. Селедка пахнет несказанно обольстительно, у нее ржавый цвет металла. Приказчики смертельно вежливы. Очереди! И в очередях неслыханно вежливый разговор и сплошь — профессорши. Как я благоговел перед профессоршами! Я стоял, подняв плечи и собрав локти, и мне было совестно брать ту пищу, которой питаются ученые, мудрецы, алхимики. Поленницы дров, громоздящиеся во дворе, согревают их тело; кофе наполняет их желудки. Какие величественные и прекрасные очереди, и как сияет великолепная Нева, а я иду по набережной, тоже почти ученый, и дотрагиваюсь до перил (из гранита, черт возьми!) и думаю: а вот я дотрагиваюсь до петербургского гранита.

Когда я был у Горького, он смотрел на мои ботинки. Подошва у ботинок отскочила, я ее примотал ржавой проволокой. Горький говорил, что мне надо попитаться,— и писать. В удостоверении, по которому я приехал из Сибири, было написано: «Командируется в распоряжение М. Горького». В районном Совете, куда я пришел за комнатой, посмотрели на это удостоверение с великим уважением и дали мне комнату в квар-

тире художника Маковского. Стены там, правда, не были обиты атласом, но убранство квартиры было превосходное. Я спал на мебели из розового дерева и топил печку Британской энциклопедией. А писал я рассказы (я сел немедленно писать) на обороте географических карт, которые вырывал из Британской энциклопедии. Горький мне звонил каждое утро по телефону: «Едите, пишете?» — «Ем и пишу»,— отвечал я. И он мне говорил: «Продолжайте». Я написал два рассказа, отнес. Он радостно потер руки. «А завтра приходите поговорить о рассказах». И вдруг, впервые за целую неделю, утром на другой день не было от него звонка. Я шел к нему встревоженный. Я увидал сухое лицо и круг, как бы мысленно очерченный им около себя. Он неподвижно сидел в этом кругу, и я понял, что теперь вот, с этого дня, я не представляю для него интереса. Я оказался плохим писателем, человеком, не имеющим никакой цены, человеком, с которым надо быть только вежливым. У него была тугая улыбка и медленный голос, небрежный и пустой. Так он, наверное, разговаривает с репортерами. Я понимал его. Но все-таки мне было обидно. Я молча, стараясь соблюдать неподвижность и тот круг движений, который он хранил, выслушал его: «Рассказы не обработаны, небрежны, напечатать их нельзя». Я принял рассказы. Я шел через Троицкий мост и злобно говорил самому себе: «Ну и не надо, ну и сдохну». Слезы были у меня на глазах. Я пришел, лег на диван из розового дерева и решил тихо умирать. Мне теперь не пойти в Дом ученых к брюхастому Родэ! Не стоять в очередях и не есть хлеба великих мудрецов! Гордость и злоба терзали меня. Я не мог лежать. Я вскочил, вырвал десятка два карт из Британской энциклопедии. Я писал, почти не отрываясь от стола, трое суток. Добрая хозяйка одолжила мне керосиновую крошечную коптилку. На четвертые сутки хлебные запасы мои кончились и рассказ — тоже. У меня не было сил, и — рассказ к Горькому отнес сын хозяйки. В сопроводительном письме я просил Горького послать мне некоторое количество хлеба. Мне стыдно было просить хлеба, но мне очень хотелось есть. Меня разбудили вечером, поздно. Ласковый голос сказал мне в телефон: «Отличный рассказ. Я вам сейчас колбасы посылаю и хлеба. Письмо тоже». Письмо это я оглашаю в начале третьей главы описания наших сентиментальных встреч.

Утром мне принесли из Дома ученых сапоги. Через день, когда я пошел за провизией к Родэ, мне передали ордер — «Выдать пару сапог Всеволоду Иванову». А еще через неделю я шел мимо мраморной лестницы в Доме ученых и меня остановил голос Алексея Максимовича. «А у меня, Иванов, для вас в кабинете вещь... Обождите». И он вынес мне пару сапог. «У меня уже трое сапог, Алексей Максимович,— сказал я,— мне хватит на год». — «Ничего, сгодятся, берите: отличные рассказы пишете». Вскоре Горький уехал за границу, но и оттуда он прислал мне две пары сапог. Одна пара была из какой-то необычайно прочной кожи, я носил ее два года, надоели они мне до смерти, я послал их в деревню, а там небось и по сие время носят.

Рассказ мой назывался «Партизаны».

М. ГОРЬКИЙ В ИТАЛИИ

(Из воспоминаний)

В Сорренто мы спешили попасть к кануну 1933 года. Путешественники мы были неопытные; запасом слов обладали весьма скудным, — хотя итальянцы отменно вежливы и догадливы по отношению к людям, подобным нам, — а поэтому путали поезда, принимали шпиков за сочувствующих советскому строю и удивлялись обилию в Риме монахов и раскрашенных офицеров. На виллу к Горькому мы попали часа за два до нового года,— иссера-бледные от волнения.

— Вы что же, пешком, что ли, шли? — спросил Алексей Максимович.

Он слушал забавные наши похождения, улыбаясь замечательной своей улыбкой. Поверх улыбки, из-под рыжеватых, слегка пушистых усов, что застывали безжизненными камнями на фотографиях, скользил дым папиросы. Эти усы и этот неиссякаемый дым очень уснащали его лицо, делая его как бы парусным, ходким, романтическим.

— Это отлично, что вы так рассказываете, со смехом. Значит, писать не будете сегодня же в газету? А то наши литераторы так пишут, будто до них никто в Европе не бывал.

Особенно его почему-то возмущало, что один литератор перепутал заливы: Неаполитанский поместил туда, где обитает Соррентский.

— Вода-то одинаковая,— сказал я.

— Вода-то одинаковая, да плывут по ней иные люди, сударь мой. Фашисты! Сделал советский человек ошибочку, а они ее в национальную глупость норовят превратить. Правда, воображения не хватает, понеже не только мозги, но и руки слабы, но все же норовят, норовят...

Он повел нас вниз, где в мастерской художников предполагалась встреча нового года. Вилла — двухэтажный каменный дом о восьми или десяти комнатах — и снаружи и внутри был весьма скромен. Украшал этот дом залив, да дымящийся Везувий напротив, да большой парк по склону горы с редкими деревьями и серыми камнями, где и ветер и солнце гуляли совсем свободно и где хорошо было сидеть на скамеечке и смотреть на постоянно наряженное море, на бурые острова, на редкие корабли.

Снаружи, у дверей мастерской, лежал лохматый и старый пес.

Алексей Максимович, скоро дыша, как бы запыхавшись,— так он курил,— сбросил пепел и указал папироской на пса:

— Обратите внимание на степенность. Но в наших степях собаки куда более удивительные.

Алексей Максимович опять улыбнулся особой своей, шутливой улыбкой:

— Однажды собаки генерала съели. Вместе с эполетами. Не верите?

— Эполеты — не морская вода, здесь название более существенно.

— В том-то и дело, что именно с эполетами. Это, видите ли, казакам так хотелось, потому что ничего более позорного для генерала придумать они не могли. Но на самом деле-то, конечно, собаки были приучены уважать мундир и звание.

Он опять улыбнулся:

— Не столько погоны и мундир украшают человека, как звание. Погоны можно загадить, мундир можно разорвать по клочкам и съесть, а вот от звания не увернешься. Посмотрит собака, посмотрит на это звание, а оно огромное, дворянское-капиталистическое, взвоет, знаете, и убежит к своему стаду!

Он был очень хорош в этот вечер: высокий, прямой, очень веселый. И щурился он как-то по-особому, поголубому, в этот вечер. Вообще, по-моему, он очень любил и понимал праздники, и, когда встречал праздник или празднично-умного человека, он весь как-то внутренне поднимался на какую-то волну — и так катился по миру, блестя пеною шутливых речей, воркующе-гулким смехом и насквозь просвечивающими синими глазами.

С громадным нетерпением ждал он прихода оркестра, «самодеятельного» по нашей терминологии. Несколько бедных жителей Сорренто собрались, чтобы бродить по домам, поздравляя с новым годом и распевая народные песни. Костюмы надеты на них шуточные. Помню, был замечательно хорош один с бубном и с веткой лимона в петлице. И пел он и бил в бубен с воодушевлением необычайным. Хор был прекрасно спетый, слаженный, а пели песни они трудные.

— Не хуже наших поют? — спросил Алексей Максимович. — А голоса какие? А страсть-то какая? Этот вот сапожник, а вот этот, поменьше-то, кажется, трубочист. Да, точно, трубочист, он у нас месяца три тому назад был. Вы послушайте только, послушайте...

Песня окончилась. Запевала подошел с бокалом к Горькому.

— За песню,— сказал он, чокаясь.

Горький объяснил, когда певец отошел:

— Им, видите ли, сударь мой, запрещено теперь петь на улицах. Раньше Неаполем, бывало, не пройдешь — весь город поет. Голодный, босый, а поет. А теперь, видите ли, нельзя. А белье вешать на улице сушить тоже нельзя. Суши и пой в комнате. А комнат-то и нету. Рекомендую посмотреть, как живут итальянцы, беднота... квартирные условия, так сказать. Не говорю о том, что несколько семей в комнате, но ведь и комнаты-то без окон...

— Как без окон?

Он указал на сына своего, Макса:

— Вот он покажет. Вы и увидите, как это бывают комнаты без окон. Да еще вдобавок тут же жаровня... Вообще, сударь мой, скучно стало жить в Италии.

Горький никогда не жаловался на скуку, да это чувство вряд ли было ему знакомо близко. Как я понял, сейчас он под скукой подразумевал нечто более обширное и больное, нечто стоящее рядом с именем «война». Но ради праздника, ради нового года он не хотел называть это грядущее преступление своим настоящим именем и взял первый попавшийся термин.

Музыканты танцевали и пели долго — часов до трех ночи. Горький знал много неаполитанских песен и, встретив знакомую, очень радовался. Легонько посту-

кивая пальцами по столу, он вставал и потихоньку приближался к музыкантам, становился к ним как-то боком и нежно рассматривал их.

— А вы много песен знаете? — спросил он вдруг меня.

— Не пою и не знаю.

Он даже отшатнулся:

— Это у вас убеждение или случайно?

— Думаю, что случайно. Семья наша была непевучая, приятели тоже мало пели, разве что по пьяному делу...

Он перебил меня:

— Да, конечно, это случайно! Писатель не может не петь, не знать песен. Писать — это значит петь. А стихи вы писали?

Я сказал, что писал,— и очень отвратительные стихи.

Он улыбнулся и не то шутя, не то серьезно сказал:

— А я каждый день стихи пишу.〈...〉

Память у него была дивная. Все в том же Сорренто, расспрашивая о Париже, он сказал:

— А вы Восточный музей там видели? Китайский отдел?

И точно это было вчера,— а видел он этот музей лет двадцать назад,— он стал рассказывать — да еще как! — будто он переходил с вами от витрины к витрине. Он вспомнил парижское освещение, косого сторожа с мохнатой бородкой, который принял Горького за анархиста и сопровождал его — вежливейше — из зала в зал. Он шагал по векам китайской культуры как по клеткам паркета. Времени для него не существовало, и, видимо, это ему было приятно сознавать. Он любил слушать. И как только он чувствовал, что рассказчик уставал или рассказывал неправдоподобно, Горький немедленно вспоминал случай, хотя бы отдаленно напоминающий только что рассказанный,— и медленный и сплошь украшенный польется перед вами удивительный его рассказ!

Вчерашний день для него был близок, как сегодняшний, как и день, который был двадцать или тридцать лет назад. Может быть, поэтому несколько непо-

нятна была смерть, и он относился к ней всегда насмешливо:

— Человечество должно ее обмануть. Вот я, кажись, тридцать пять лет назад должен был умереть. А обманул! Жив!

Он потер руки, большие, теплые:

— Непременно обманем. Вот мы Институт экспериментальной медицины придумали, будем обманывать всеми средствами.

В Тессели за длинным столом, перед которым нервно ходил А. Д. Сперанский, он спросил:

— Алексей Дмитриевич, бессмертие осуществимо?

С обычной своей резкостью, закинув назад голову, Сперанский сказал:

— Не осуществимо и не может быть осуществимо. Биология есть биология, и смерть есть основной ее закон.

— Но обмануть-то мы ее можем? Она в дверь постучит, а мы скажем, пожалуйте через сто лет.

— Это мы можем.

— А большего я от вас, да и остальное человечество вряд ли потребуем.

В Сорренто тогда гостил художник В. Я.

— Художник этот работоспособности и чувствительности удивительной, сударь мой. На него, знаете, старые итальянские мастера крыло положили, и по нему можно судить, какое у предков наших было трудолюбие...

— И талант.

Он косо взглянул на меня, ухмыльнулся:

— Талант, знаете, очень нежная штука, его можно и пропустить или смять грубостью. За талантом надо долго и пристально смотреть.

И тут он стал рассказывать о людях, которые исковеркали, сломали и испортили свою жизнь только потому, что никто не заметил их таланта. От прошлого он перешел к настоящему:

— Россия всегда, сударь мой, была родиной талантов, а теперь прямо некий воспитательный дом талантов! Право, так! — И он счастливо засмеялся. Глаза его сверкали. Он немного поднял кверху руки, чтобы отлила прилившая кровь.

— Даже пейзаж стал талантливее. На Волге вы заметили: поля-то ровные теперь.

Я не понял его.

Горький повторил:

— Ровное поле — это значит нет межей, чересполосицы, заплат, так сказать. Идет сплошь пшеница: на сотни верст. Это и монументально, и очень красиво, и для человека фон больно хорош. Стоит этакий с плечами в сажень, улыбается — весьма монументально-с.

Работал непрестанно и радовался, когда другие работают. Он любил рассказы о работе, замыслы, любил и сам рассказывать о своих замыслах.

Дня через два по приезде моем в Сорренто он сказал:

— Вам, знаете ли, нужно здесь поработать.

Он улыбнулся.

— Здесь местность знаменитая и работой все дышит. Здесь Торквато Тассо, говорят, трудился, равно и Кнут Гамсун, а вон там, напротив, на Капри некий Максим Горький подвизался со своими учениками...

Он прищурился и тихо сказал:

— Как про меня теперь репортеры пишут: «Псалмы пел и был весьма благочестив».

И рассмеялся:

— Там и Новиков-Прибой был. Ко всему подходит и пальцем, пальцем... — Он показал, как дотрагивался до предметов пальцем Новиков-Прибой, как бы пробуя их прочность. — Затем вынимает рукопись, а Иван Бунин поднимает бровь и все удивляется: как это матрос осмеливается рассказы писать? Ну добро бы гардемарин!..

Он наклонился ко мне:

— Вы о чем собираетесь писать-то?

Я сказал, как мне трудно писать, когда слышу вокруг разговоры на чужом языке, когда вокруг чужой город и слишком яркое солнце.

— А вы попробуйте пьесу написать. Может быть, этот речевой разнобой вам поможет. А я вот продолжение «Егора Булычева» написал. Хотите, прочту? А потом, когда вы напишете, прочтете. Побранимся.

Он медленно надел роговые очки.

Читал он «Достигаева». Читал он, в особенности когда было мало слушателей, изумительно. Он не выделял интонациями отдельных персонажей, не менял голоса, но в его медленном чтении, в каждой фразе, которую он как бы подавал вам руками, в этом громадном движении мыслей, которые лились на вас со страниц, чувствовалось какое-то широкое паренье, какой-то подъем кругами. Вы озираетесь, простор перед вами все шире, и сердце ваше замирает, и вам немного завидно, но зависть эта очень хорошая!

Окончив чтение, он снял очки и посмотрел на нас исподлобья, слегка сконфуженно:

— Ну, давайте браниться.

Ему не понравилось почтительное наше восхищение. Я объяснил, что очень трудно разобраться в пьесе при таком отличном чтении. Он дмыхнул носом и сказал:

— Все придумываете. Что, бесформенности много?

На мои слова, что слишком ясная форма заставляет иногда писателя объяснять положения в романе или драме, только в крайнем случае углубляя их показом, а не объяснением, и что проселочные дороги бывают часто самые живописные и мягкие, он сказал:

— Мягкие потому, что грязи много.

Вечером, побарабанив пальцами по столу, после того, как сыграли обычные несколько партий в «подкидного дурака», он сказал внезапно:

— Завтра — праздную! Поедем в Неаполь, надо им город показать.

Слова его вызвали большие хлопоты в семье: выезжал Алексей Максимович редко, ходить много ему было вредно, да и погода тоже неизвестно какая будет,— ведь был как-никак январь месяц.

И вот здесь, в Неаполе, я увидел, каким был Горький в молодости.

У входа в Неаполитанский музей, высокий, широкоплечий, в своей черной шляпе, стоял он, спокойно осматривая толпу, которая быстро собралась возле с восклицаниями: «Горки! Горки!» Когда ехали по набережной, он сказал, указывая на корабли:

— Налощенные. Готовятся. Фашизм, сударь мой,— это безвкусная метафора войны.

Он уверенно шел по музею. Знал он его наизусть и сразу же замечал, куда что переставили. Особенно долго стоял он возле скульптур, размышляя вслух и как бы долепливая руками в воздухе то, чего не успел высказать художник.

Почтительные руководители музея бежали следом, торопливо выспрашивая, что сказал Горький. Какая-то тощая американка в больших ботинках остановилась перед Горьким.

— Я хочу пожать вашу честную руку,— сказала она, и слезы показались у нее на глазах. — Вся трудовая Америка уважает вас.

Горький, щурясь, протянул ей руку, пожал и, когда американка отошла, сказал:

— По всему видать, сельская учительница. Скопила денег, приехала в Италию поучиться, а здесь главным учителем господа фашисты.

В гостинице сервировали широкий стол. Бесчисленное количество хрусталя сверкало на нем. Горький сел на край стола, черноплечий, в голубой рубашке. Ухмыльнулся:

— Такую сервировку купцы любили. И чтоб непременно — уха.

И он стал рассказывать, как надо варить стерляжью уху. От ухи он перешел к коктейлям, затем вспомнил Америку и свой обед с Марком Твеном:

— Нигде таких едких глаз затем не встречал. Через площадь глаза видно. — Он взглянул на меня и сказал: — А вы мне: «неясная форма и проселочная дорога». У Марка Твена чрезвычайно ясная форма была.

После обеда он повел нас осматривать старинные храмы. Мы колесили по городу, поднимались вверх и вниз. Из собора Януария мы отправились в Сан-Киара Маджоре, оттуда в дель-Кармине, где Горький долго стоял возле работы Торвальдсена. Неутомимо рассказывал он историю строителей, творцов скульптур. После осмотра Монте-Оливетто он сказал:

— А теперь надо зоологическую станцию глядеть...

Но было уже поздно. Солнце закатилось.

— Тогда пойдем в кино,— сказал он.

Одной картины ему показалось мало, он пошел во второе кино, затем в третье. Семейные совсем встревожились, когда он увидал на афише «Странную историю мистера Джекиля и доктора Хайда».

— Стивенсона нужно непременно посмотреть,— сказал он.

За полночь мы вошли в узкое и тесное кино, на последний сеанс.

Все кино обернулось, увидав Горького. К счастью, погасили свет.

Картина оказалась глупой и пустой. От замечательного рассказа Стивенсона было цело только заглавие. Выходя из кино, Горький сказал:

— Все эти споры о форме кажутся мне вздорными. Какая форма, если нет таланта? Повесь ты на жердь даже самый лучший свой костюм, он все равно будет чучелом. Стивенсон — прекрасный писатель, а смотрите, что из него дурак может сделать.

И он спросил у сына:

— Это что, итальянская картина-то?

Никто не мог вспомнить, в какой стране делалась эта картина.

— Наверное, итальянская. Вообще, знаете, в Италии стало жить тесно...

Он посмотрел на темный залив, широко вздохнул и вошел в машину.

За завтраком он много говорил о советской молодежи и о том, какие отличные письма он получает. Затем он стал рассказывать о молодых советских ученых, разговорился — и забыл про работу. Чувствовали мы себя не очень ловко, но прервать его рассказов не могли. Наконец я встал.

— Вы что, гулять хотите? — спросил он, взглянув в окно.

— Вам работать нужно, Алексей Максимович.

— Пойду гулять.

День был солнечный, широкий. Из ворот мы повернули направо.

Мы быстро вышли из пределов Сорренто,— дача Горького находилась на конце городка. В расщелинах скал, возле дороги, росли широкие и пухлые агавы. Я напомнил Алексею Максимовичу, что растение это считается лучшим украшением наших парков и оранжерей, а здесь растет вроде лопуха. С моря дул легкий ветер.

Он посмотрел вниз по склону, по которому поднимались агавы, и сказал смеющимся басом:

— Купчих напоминают, которые к обедне идут. Приземистые, плотненькие и все в зеленых мантильях.

И глубоко вздохнул:

— Из соку агавы можно бы вино добывать, а из листьев пеньку. Но не фашистам, конечно.

И вдруг остановился и закашлялся. Прошли мы не более километра, но видно было, что Алексей Максимович устал и идти ему дальше невозможно. Он кашлял, сплевывая в платок; черная шляпа колыхалась над ним, лицо его покраснело, в глазах мелькала мучительная боль.

Он сказал хрипло:

— Ну, вы идите дальше, а я вернусь... надо работать... я природу-то работой обманываю.

Чтобы не обижать его, не подчеркивать его слабости, мы пошли дальше.

Он медленно уходил от нас, сутулясь, опираясь на палку, и казалось, что ему очень зябко и что его очень беспокоит ветер с моря. Но чем ближе к дому, тем шаги его делались увереннее,— работа опять захватила его. В воротах он поправил шляпу и вошел в дом прежним широкоплечим и высоким Горьким, который умелыми и хитрыми шагами подходит к столу, ловко берет перо — и говорит с миром тем огромным голосом, что похож на море, которое легким своим ветром только что мешало ему дышать.

СЛУЧАЙ С ИНДИЙСКИМИ ЧАСАМИ

Удивительно и понятно, когда великий человек охватывает и знает хорошо все науки его времени и все науки прошлого. Но совсем умилительно и приятно, когда тот же великий человек вдобавок к своим знаниям знаком еще и с человеческим скромным ремеслом, вроде сапожничества или столярного дела. Лев Толстой, Петр Первый или Леонардо да Винчи обаятельны еще и тем, что могли обработать почву, посадить дерево, стачать сапоги или сшить платье.

К таким людям принадлежал и М. Горький. Он вас мог обрадовать такими знаниями и уменьем, которые, казалось бы, должны быть ужасно далеки от него. Он знал, как выделывается любая домашняя вещь, как обхаживается какой-либо припас. Он знал, например, как обрядить, нарядить невесту на крестьянской свадьбе; и он мог обмыть и обчистить ребенка и тяжело больного, и многое умел и знал он. Однажды, в 1921 году, чернорабочие передвигали в его квартире тяжелый шкаф из одной комнаты в другую. Двигали неумело, плохо, кряхтели, ругались. Горький смотрел, смотрел, а затем подошел, плюнул на руки, да так повел плечом, что шкаф в одну минуту влетел в нужное место. Рабочие только руками развели.

И вот среди таких «мелочей жизни», свойственных большому уму и бывалому человеку, мелочей, без которых портрет большого человека — только схема, неизбежно идущая к забвению, была в нем и следующая «мелочь». Он был коллекционер. Но коллекционер странный. Он собирал книги, любил их, дорожил ими, но если вам нравилась какая-нибудь из этих, чрезвычайно редких книг,— он ее вам немедленно дарил.

Много лет подряд он мечтал приобрести и перечесть «Тристрам Шенди» Стерна,— книгу крайне редко встре-

чающуюся на нашем книжном рынке. Однажды мне посчастливилось, я купил книгу и с большим удовольствием принес и подарил ему. Горький любовно перелистал книгу, похвалил, экземпляр действительно попался хороший. Дней же пять спустя, когда я спросил, как ему понравился теперь «Тристрам», он пожал плечами и сказал со смехом:

— А знаете, кому-то она больше моего понравилась. С письменного стола утащили! — И добавил: — Люблю дарить книги, но того больше мне нравится, когда их у меня воруют. Значит, уж слишком велико желание, непреоборимо!

Он долго собирал коллекцию будд. Раз ему сказали, что такую коллекцию грешно держать дома и место ей в музее. Он немедленно подарил коллекцию в Русский музей в Ленинграде. Картины художников висели у него на стенах недолго. Они уходили тоже в музеи.

Коллекционируя, он ценил не только великих мастеров или крупные вещи. Ему нравились и житейские редкости хорошей, тщательной работы, особенно восточные, и вкус он в таких случаях проявлял удивительный. Разумеется, эти перлы быта уходили от него очень скоро, но он не унывал и продолжал собирать.

Сейчас мне хочется рассказать одну забавную историю одного такого «перла быта», а именно: историю с индийскими часами.

Был у меня в Москве знакомый К-н, некогда, во времена символизма, меценат по части издания книг, а затем не то редактор каких-то художественных изданий, которые никогда не выходили в свет, не то комиссионер по части раритетов: человек этот в былые времена «Яра» и «Стрельны» пожил в свое удовольствие, много видел и рассказывал о своей жизни картинно. Иногда он появлялся у меня, принося в продажу какую-нибудь диковину: то фарфорового слона с золотыми глазами, то зрительную трубу с разноцветными стеклами, отчего мир приобретал совершенно дурацкий вид, то рисунок, подписанный каким-нибудь великим именем, о котором доподлинно известно было, что гений этот никогда не занимался живописью. Иногда я покупал у него эти антики, но чаще всего мы, угощаясь вином и чаем, слушали его рассказы о поэтах-символистах, которых он видел много и часто.

Как-то он принес мне часы. Это была старинная толстая луковица, заставлявшая вспоминать цветные, широкие пояса пиратов, узорные кафтаны и острова с сокровищами, к которым, к островам то есть, я всегда питал склонность. Я раскрыл ход, увидал великое множество затейливо украшенных резьбой колесиков, винтиков, каких-то цепочек и вообще принадлежностей всяческих, которых хватило бы на целый завод. Я высказал убеждение, что часы эти мне лишни.

Антиквар сказал:

— Часы, конечно, дрянь! Но время сглаживает недостатки. Конечно, часы сейчас выделывают более удобные. Но скажите, какой вам интерес жить удобно. Надо жить интересно. Вот вы поедете за границу, пойдете к хорошему мастеру, он вам выбросит весь этот идиотский старинный ход и вставит современный механизм, сохранив только черепаховую оболочку часов. У вас будет великолепная «луковица», которую вам не раздавят при любой аварии!

Тут антиквар с силой ударил кулаком по часам, прямо в циферблат, прикрытый толстым граненым стеклом,— часы даже и не шелохнулись. Тут я понял, что часы не только нельзя раздавить, но что ими можно бить во что и как попало! Я купил эти часы за шестьдесят рублей, а когда лет через семь после того собрался ехать за границу, то вспомнил о них и решил поступить так, как мне советовал антиквар, уже покойный.

Однако оказалось, что в Берлине, Париже и Марселе мне встретились более любопытные занятия, чем бродить по часовщикам, и старинные черепаховые часы смиренно лежали на дне чемодана.

Поселившись в Сорренто и перебирая как-то свои вещи, я столкнулся с черепаховыми часами. За обедом, вспомнив о часах, я спросил у сына Горького — Макса, где мне найти в Неаполе хорошего часовщика, который может переделать мне часы.

— Часы не переделывают, а покупают умеючи.— сказал шутя Алексей Максимович, доставая из кармана свои черные плоские часы.— Вот-с, изволите посмотреть! Куплены едва ли не на первый гонорар, за пятнадцать рублей и с того времени идут без починки. А какие это часы вы вздумали, дорогой мой, переделывать?

Я объяснил. Глаза у Алексея Максимовича загорелись. Любил он диковинки!

Вечером я принес часы. Алексей Максимыч умелым движением, с ловкостью часовщика, приподняв бровь, словно вставляя под нее лупу, открыл крышку, всмотрелся и перевел на меня изумленный взгляд.

— Да вы, дорогой мой, видали ход?

— Видел.

— И что же?

— Вот этот самый ход-то и надо мне переменить.

— Потрудитесь еще раз взглянуть!

Я посмотрел и ничего кроме множества колесиков и винтиков не увидел. Пришлось попросить пояснения. Алексей Максимович повернул механизм часов к свету, чтобы я видел его с самой выгодной стороны и сказал:

— Механизм здесь, дорогой мой, имеет двойное значение. Одновременно он и механизм и приложение к нему руки истинного художника. Это, так сказать, работа индийского Левши, какого-то неизвестного нам Леонардо да Винчи! Право, так! На каждом винтике — виньетка, почти! Какие узоры! К таким часам человек должен относиться, как к древней рукописи с раскрашенными заглавными буквами. А вы хотите выбросить этот драгоценный ход! Варвар вы, дорогой мой, варвар и сибиряк! Вам с рогатиной на медведя ходить, а не редкости собирать!

Улыбаясь, он положил часы на стол и задумался.

И видно было, что он думает о судьбе этих часов, ищет их творца и дорогу, по которой они пришли в Россию. Кто сделал их? Где родились они? Хрустальное это стекло отражало ли воды Индийского океана, леса Мадагаскара и Цейлона или сделано было где-нибудь в Кашмире и Пенджабе, где куют чудесное орнаментированное оружие? А затем? Кто — путешественник, купец, посланник или шпион повез их в Россию, подарил или продал какому-нибудь петербургскому придворному, а оттуда попали они в Москву и, наконец, очутились на барахолке возле Сухаревой башни, где и купил их знакомый мой антиквар!

Такие мысли были близки и приятны мне. В те дни я обдумывал книгу, которая позже приняла название «Похождения факира». Я вспоминал юность, казахские степи, приуральские леса, сибирские городки, жизнь грубую, тяжелую, но в то же время отличающуюся сложностью и запутанностью драматических положений, из

которых хотелось вырваться хоть к черту на рога! Хотелось свободы! А так как политическая свобода была мне, юноше, совершенно неясна и не встречалось человека, который указал бы мне пути к ней, то я жаждал и искал свободы духовной. Так натолкнулся я на Индию, на индийских факиров, которые, как думалось юноше, обладают неслыханной духовной свободой и волей. Вот я и устремился в Индию, вот и захотел быть факиром... И здесь, в Сорренто, опять, как в юности, мерещились мне жемчужно-иглистые, искрометные, глазастые Синд, Раджауна, Центральная Индия, Декан, желтогрудые рельефные фигуры богов, охота на тигров и слонов в зыбко-таинственных и плакучих джунглях.

Горький опять взял часы.

А мне виделся Индийский океан, по которому не так давно плавал художник Ракитский, друг Горького, сидящий сейчас рядом за столом, большой знаток редкостей и сам большая редкость. Он тоже признал часы индийскими и в очертаниях орнамента нашел даже фигуру шестирукого Шивы, похожего на рельф из Эллори... Тихо колышется парусник. Море подвижно и стократно синее того залива, который мы сейчас видим в окно и над которым возвышается сердитый, как индюк, Везувий. Вокруг вода, будущее, бесконечное, сияющее. Когда-то подует ветер. Когда-то придем ко двору Великого Могола. И капитан корабля вынимал часы из-за шелкового пояса, смотрел в небо. Как тяжело на сердце в этот жаркий, струистый штиль с повисшими, точно косы, парусами.

Алексей Максимович сказал, глядя на винтики:

— Сколько уменья, ума, искусства! Ведь из каждого винтика можно сейчас сделать брошку, и любая красавица будет носить ее с удовольствием. Не правда ли? Я вам, Всеволод Вячеславович, так и советую поступить... если, разумеется, вы вздумаете выбрасывать механизм.

— После того как я узнал, что он — индийский, я не подумаю его выбросить.

Глаза у Горького блеснули:

— А брошки были бы великолепные! А вот этот винтик — на кольцо? Право, закажите брошки! Макс вам укажет превосходного ювелира. Итальянцы — отличные ювелиры!

— Нет, уж лучше я не буду портить.

И он мне вернул часы, как мне показалось, с легким сожалением.

Когда мы пришли в отель, жена с упреком сказала мне, что хотя я и рожден на Востоке, но самых элементарных обычаев вежливости Востока не знаю. Если на Востоке хвалят какую-либо вещь, вы должны немедленно подарить ее человеку, который ее похвалил и которому она понравилась.

— Ну, почему ты не подарил эти часы? Зачем они тебе нужны?

— Вообще-то они мне, конечно, не нужны. Но я задумал книгу. Там будет нечто об Индии. И вдруг единственная вещь — индийская, старинная, у меня в руках, а я хотел выбросить из нее механизм. Естественно, что я вцепился в нее, и мне не хотелось отпускать. Поэтому не пришло в голову и подарить.

— Ну, а сейчас?

— Сейчас я одумался. Подарю. Еще неизвестно, напишу ли я задуманную книгу. Только примет ли Алексей Максимович теперь мой подарок.

— Не примет, если скажешь, что предполагаешь писать что-то об Индии. Собственно, зачем тебе писать об Индии?

На другой день к обеду я принес часы и положил их на стол, под салфетку Алексея Максимовича. Когда он сел и развернул салфетку, он увидел часы. Он не хотел их принимать, но я уверил его, что действительно выкину механизм и вставлю современный, а брошек для дам из механизма делать не буду — возможно, дамы от Алексея Максимовича и примут такие брошки, но от меня они предпочтут получить современной парижской выделки.

Алексей Максимович, глядя на мою жену, вдруг сказал:

— Это вы его надоумили. — И он, смеясь, добавил: — Если дама дарит — отказываться неприлично. Но тогда, Тамара Владимировна, разрешите вас отдарить.

И он вынес из кабинета великолепную старинную китайскую вазу из розового нефрита.

— Приобрел на гонорар от первого собрания сочинений. Следовательно, отказаться вам нельзя, как от книги с автографом. Кроме того, получите от меня брошку из механизма этих часов.

* * *

Едем домой.

По дороге заехали в Рим.

На улице Лоренцо ин Патиеперна, когда мы, усталые, возвращались из Сан-Мария Маджори, я остановился закурить возле большого часового магазина, принадлежащего, насколько помнится, некоему Пинчиана. На вывеске было написано, что фирма существует с XVI столетия. Тут я вспомнил, что одна из наших родственниц просила, если будет возможность, приобрести ей часики.

Иду вдоль прилавка. Магазин весь наполнен стуком часов, точно где-то поблизости шумит крупный дождь. Чувствую близость того несчастного времени, когда не знаешь, что выбрать, чем угодить. Оглядываюсь беспомощно и вдруг, на отдельном столике, в хрустальном ящичке, в нише, вижу мои черепаховые индийские часы. Что за наваждение? Поспешно иду к столику. Они!

Сажусь. Разглядываю. Они!

Поспешно подходит сам владелец магазина, синьор Пинчиана, гладкий, точно блинами выкормленный. Спрашиваю — откуда у вас такие часы. Итальянец говорит:

— Мой прапрадед торговал с Индией. Там он и приобрел часы. С того момента он пристрастился к часам вообще и основал эту фирму. Мы держим эти часы, как залог благосостояния нашей фирмы, и, разумеется, как драгоценность.

«А, итальянское суеверие»,— подумал я.

— Драгоценны, как память.

Итальянец, улавливая мою мысль, сказал:

— Нет, и как работа драгоценны.

Итальянец принес какой-то антикварный каталог, где была напечатана фотография часов, и сказал:

— Часы оцениваются от десяти до пятнадцати тысяч долларов. Это единственные по редкости часы в мире.

— Ну, положим, не единственные,— сказал я, вглядываясь в часы: оправа их как бы ссохлась, потрескалась, а хрусталь чуть треснул сбоку. Это был второй

экземпляр и мой, несомненно, лучше.— Есть и еще экземпляр. И вашему экземпляру далеко до того.

— Мне крайне интересно знать, у кого имеется второй экземпляр. Нельзя ли посмотреть. Если нельзя, то не скажете ли вы этому человеку, что часы — ужасающая редкость и что их надо беречь.

— Хорошо, я скажу.

И мы расстались.

Хотя я был очень рад и горд, что подарил замечательную вещь Алексею Максимовичу, а он угадал ее художественную ценность, меня смущало, что Алексей Максимович возьмет да и вынет механизм, превратит его в брошки и раздарит. И останется тогда только итальянец Пинчиана единственным владельцем редкостных часов. Написать Алексею Максимовичу откровенно обо всем. Но Рим рядом! Поедет туда Макс, узнает и вместе с историей часов узнает от сеньора Пинчиана их цену. Допустим, что синьор Пинчиана хвастается и часы стоят не десять тысяч долларов. Но и тогда получается неудобно... Словом, как я ни крутился, как я ни пробовал найти какой-нибудь брод через бурные и затруднительные обстоятельства,— ничего я не нашел, и пришлось мне махнуть рукой и плыть по течению реки времени.

Забыл я про индийские часы. Раза два вспомнил, когда стали бранить «Похождения факира» за формализм, да однажды, когда получил трогательное по наивности письмо от какого-то студента, который спрашивал меня, зачем я стремился в Индию, когда это в культурном отношении отсталая колониальная страна.

— Где-то теперь эти индийские часы? — сказал я жене.

— Какие часы? Не помню,— ответила жена.

Прошло лет двенадцать. На Малой Никитской, в квартире Алексея Максимовича, вспоминая его, вспомнили мы и о Сорренто, и нашем гощении там. Вспомнил я и про индийские часы и, смеясь, рассказал о них. Один из близких к Алексею Максимовичу сказал, что, сколько он знает, среди вещей Алексея Максимовича таких часов нету. А что касается сеньора Пинчиана, то магазин его известен в Риме и не столько часами, сколько вздорной болтовней самого сеньора. Дела у него в те годы шли плохо, и, если бы часы действитель-

но стоили так много, он не задумался бы продать их путешественникам-американцам, которые как раз в те годы скупали в Италии всяческие редкости.

— Нету! Значит, обратил механизм в брошки и раздарил,— сказал я.

— И брошек таких он никому не дарил!

Прошло еще несколько месяцев. Мы опять увиделись, опять вспомнили Италию, крепкие февральские вечера, иней на апельсиновых деревьях, прикрытых от мороза рогожами, темной, как бы мохнатой ночью, как овчина, залив, вечера, шутки, игру в «подкидного дурака», чтения, возвращение из дома в отель по узкой улице, желание Алексея Максимовича каждый раз проводить нас, вспомнили сад, рыбную ловлю, художников, делавших этюды, покойного фантаста Ракитского, вспомнили и дюка Серра-Каприола, и пропавшие письма Пушкина...

— А знаете,— сказал один из друзей,— вы как-то, Всеволод Вячеславович, рассказывали нам об индийских часах. Они нашлись! Они лежали в спальне Алексея Максимовича, в тумбочке, возле кровати, и целехоньки. Никакого механизма он из них не вынимал. Хотите взглянуть?

И вот я увидел эти часы! Светло-коричневая, украшенная серебряными точками старенькая «луковица» лежала у меня в руке. Боже мой, сколько прошло времени, сколько событий, людей, прекрасных книг. Как мы состарились, как я, вернее, состарился, и как эти часы стали другими. И не колышется уже Индийский океан, и уже не мерещится Синд, Раджпутана, Декан, желтогрудые фигуры богов, охота на тигров, и уже давно отложены в сторону «Похождения факира», и забыт наивный павлодарский мальчик, стремившийся в далекую Индию... Да и мне ли написаны [его] письма, и над ними ли плакал я...

⟨...⟩

...Я держал в руках часы и думал. Неужели это они? Выцветшие, с тусклым стеклом! И я раскрыл их.

И вдруг сверкнул, струясь, бронзовый механизм, украшенный узорами. Лучи света упали на него, и все заиграло!

И вспомнились голубые глаза Горького, сверкнувшие, когда он увидал этот механизм, эту старинную замечательную работу далеких людей.

Сверкнули глаза его! Сердце сжалось. И волны счастья охватили меня сейчас такие, как и тогда, когда я видел его. Да, много времени, событий, книг миновало и прошло мимо меня. Но какое счастье, какая радость, что среди этих событий, людей, дней мне удалось видеть его, чьи глаза и ум сверкают над нами и поныне сквозь все события, сквозь все дни, освещая их своим творческим светом!

«ЛЕРМОНТОВ» П. П. КОНЧАЛОВСКОГО

1

Молодой драгунский офицер ехал из Тифлиса во Владикавказ.

Бричка его медленно поднималась на перевал, обгоняя подводы грузин, всадников, военные обозы и пешеходов. Молодой человек часто спрыгивал на дорогу, заводя оживленную беседу со встречными и попутчиками. Так, например, он чрезвычайно долго разговаривал с Максимом Максимычем, кавказским старожилом...

Было в нем что-то привлекательно простое и в то же время странное. Подснежник, распустившийся на поляне, где еще лежат синеватые и твердые, как стекло, кучи снега,— явление обычное, но разве оно не странно. Молодой офицер роста был небольшого, но сила и ловкость, с которой он двигался, указывали, что он крепок и смел необычайно. Он был, пожалуй, некрасив, но взгляните в его темные глаза с мерцающим огоньком в них, познайте его детскую улыбку, и вы невольно задумаетесь над этой необычайно пленительной красотой... Он ко всему приглядывался и хотя расспрашивал мало, но вам хотелось подробнейше ответить на каждый его вопрос, и вы, не задумываясь, рассказали бы все тайны вашей жизни, высказали бы все горести и все радости счастья. Когда вы с ним беседовали полчаса, он казался вам близко знакомым, но через час он удалялся от вас, чтобы еще через час приблизиться совсем вплотную... странный молодой человек.

Затем наступила ночь, не менее шумная, чем день. Горы погрохатывали. Кони ржали. Попутчики, спавшие на станции, храпели. Молодой человек, спавший крепко, тем не менее проснулся рано, почти на рассвете. Он быстро оделся и вошел в комнату смотрителя, чтобы поторопить его. Она была пуста. Впрочем, что ж

торопить! Возница уже впряг лошадей. Взять только чемодан, надеть папаху... Молодой драгунский офицер сел на диван, окрашенный под красное дерево, и задумался.

Он думал.

Дверь полуоткрыта. Свежий синеватый свет наполняет комнату, ложась на кавказскую саблю с тонкой портупеей, которую сжимают руки офицера, на его лохматую бурку, казачьи брюки с лампасами и штрипками, золотые эполеты и газыри. По правую руку его сквозь открытую дверь видна бричка, кони, голова ямщика, дощатый навес, густо-зеленая долина с тонкими струями дыма, поднимающимися из саклей, лиловые громады скал над саклями и долиной, а над всем этим пронзительно-желтый, сверкающий бриллиант Казбека, вершина которого уже освещена солнцем.

Налево от него — серая стена станционного здания, спинка дивана да в черной рамке расписание порядка, по которому господин проезжающий может потребовать коней, да еще приказ какого-то генерала, прибитый тонкими гвоздями... Так между «расписанием порядка» и сверкающим бриллиантом Казбека и сидит, опираясь на саблю, молодой драгунский офицер, сидит и думает, пока смотритель не скажет, что пора ехать. Хохлатая бурка, похожая на сложенные крылья, полусвисает с него. Лицо его, подернутое утренним румянцем, недвижно. И если вчера взор его, останавливавшийся на встречном или попутчике, заставлял того открывать ему всю свою душу, то не кажется ли вам, что взор его обращен теперь ко всей России, идущей к нему навстречу, будущей, и той, которая идет с ним рядом.

Куда и зачем идет Россия?

Что свершает она ныне?

Что она свершит завтра?

Эти вопросы, заданные России, одновременно есть и вопросы, заданные самому себе. Человек, умеющий и смеющий задавать подобные вопросы, неизбежно должен прежде всего обратить их к самому себе. Мало того — обратить, он должен незамедлительно ответить самому себе. Следовательно, это вопрос совести, обращенный к своей совести, а через нее и к совести своего народа. Да так оно и было.

Беспокойная совесть была беспокойной совестью поэта Лермонтова. Вопрос, с которым он внутренне

обращался к России, был вопрос беспокойного времени людей его породы и строя. Что же касается ответа, то он дан его творчеством, ибо в данные дни Лермонтов находился в ссылке на Кавказе за стихи на смерть А. С. Пушкина — стихи, едва ли не самые негодующие и грозные из всех стихов, которые написали поэты русские.

Можно подумать, что всем сказанным ответ и поэта и народа исчерпывается. Не думаю. Да и никто так не думает. Поэзия русская — а в том числе и поэзия Лермонтова — есть постоянный вопрос человека, обращенный к совести своей, а через нее и к совести своего народа: куда идет Россия и что сделал ты для того, чтобы ее величественное и честное шествие было более победоносным, более плодотворным, более полезным не только для одной России, но и для всего человечества.

Вот о чем спрашивал себя постоянно Лермонтов, и вот с каким вопросом он постоянно обращается и поныне к нам, народу русскому.

И вот какой вопрос прочел я в картине П. П. Кончаловского «Лермонтов», внешнюю и внутреннюю обстановку которой я только что пытался начертать вам.

Итак, стена дорожной станции, расписание, приказ, диван, папаха на чемодане, Лермонтов в мундире офицера 44-го драгунского Нижегородского полка, бурка, свисающая на пол, окрашенный охрой, раскрытая дверь, за нею — бричка, кучер, долина, дым саклей, лиловые скалы и Казбек, сверкающий, как бриллиант поэзии. Все. Нет ни толпы восторженных читателей поэта, нет ни кучки грязных завистников его, многочисленные знакомые его отсутствуют. Он один. Ему двадцать три года, почти юноша. Мало того, он одет с походным щегольством человека, наблюдающего за собой и даже слегка подчеркивающего это.

И тем не менее, несмотря на скудность обстановки, несмотря на отсутствие толпы почитателей, несмотря на юность, щегольство почти юношеское, вы всем своим существом ощущаете присутствие мощного гения русской поэзии, слышите трубный глас великих строф его.

Почему?

Потому что всякое проявление великого таланта,— а таким талантом Петр Петрович Кончаловский

награжден в высочайшей степени,— прежде всего неожиданно, и эта неожиданность, вместо того чтобы отталкивать вас, приближает вас вплотную к таланту, что вы словно бы слышите его дыхание и даже дышите вместе с ним.

Как и где рождаются настоящие искренние явления искусства?

Они рождаются в душе сосредоточенной, в душе смелой и настойчивой, в сердце, любящем свой народ, и в среде народа, любящего свое искусство, уважающего его представителей,— вот очень простые, казалось бы, но очень важные основания, без которых искусство пе может существовать и не существует.

Есть рисунок Врубеля, этого величайшего провидца в русском искусстве. Рисунок к «Демону», помеченный 1891 годом. Следовательно, рисунку пятьдесят два года. На рисунке есть надпись художника — «Пете Кончаловскому». Несмотря на то, что Врубель и Кончаловский — художники совсем разные и по эпохам, которые они передают, и по душевному складу, однако же надпись эту можно рассматривать как завещание Врубеля, переданное Кончаловскому как предвидение, что образ Лермонтова, стремительную, гордую, гонимую и все же счастливую поэзию его сможет передать потомству именно этот мальчик Петя, который с трепетом необычайным принял из рук Врубеля божественный рисунок его, дар его.

Отец художника был страстным любителем литературы русской и мировой. Он переводил. В 1890 году переводчик Кончаловский решил издать «Сочинения» Лермонтова, иллюстрировав их рукою лучших художников России. В семье переводчика страстно любили Лермонтова, читая его непрестанно. Мальчик Петя знал наизусть всего «Мцыри». И эта страсть к Лермонтову и позволила создать издание исключительное, ибо без страсти нельзя не только писать книги, но и издавать их. Страсть собрала в тома «Сочинений» такие художественные силы, которые и до сих пор питают почти все иллюстрированные издания Лермонтова. Здесь были рисунки Врубеля, ныне известные всем,

В. Сурикова, Поленова, Репина, Серова, Айвазовского, Шишкина, Васнецова...

Сейчас я держу в руках первый том этого издания. Он принадлежал В. Сурикову. На обложке — пометка художника, что книга именно его, а один рисунок исправлен им же. Из этого штриха видно, что редактор и художник придавали изданию огромнейшее значение, как дару не только великому поэту, но и как дару всей России.

П. П. Кончаловский вспоминает:

— Врубель выявился на этих рисунках. Все тогда его узнали и оценили. А тогда он голодал. Отец, чтобы помочь ему в работе, поселил его у нас... Писал он все время, а я торчал у него тоже все время. Мешал, наверное, страшно. Рисунок ему не понравится, он изрежет, выбросит, а я подберу, склею — и под подушку к себе... мне казалось, что он рвет и бросает какую-то часть Лермонтова...

П. П. Кончаловский стал художником, написал множество картин, но ни в одной из них он не вспомнил Лермонтова, хотя люди, знающие о его любви к Лермонтову, много раз предлагали ему написать или самого поэта, или какую-либо сцену из творений его.

Постепенно и стихи поэта стали убывать в памяти художника. Он уже не помнил наизусть всего «Мцыри», многие стихотворения приходилось уже читать по книге, и только когда он попадал на Кавказ, видел эти горы, похожие на неровные строчки стихов, он читал наизусть «Беглец». Ему невольно думалось, что и он сам немножко беглец от лермонтовской темы, завещанной ему былым. И он говорил себе, что время придет, время — оно открывает.

И время открыло тему, хотя и самым неожиданным образом, как, впрочем, это всегда случается со временем.

Немцы бомбили Москву.

Художник вынужден был прерывать работу и уходить в бомбоубежище.

Не знаю, испытывает ли кто большее негодование и злобу против бомбежек и против немцев, чем мать, беспокоящаяся за жизнь своих детей, и художник — за жизнь своих картин. Гибель как тех, так и других неисправима и невосстановима. Исчезают мечты, годы, любовь, заботы, исчезает след, оставляемый вами в потомстве, исчезает само потомство. Вот почему мне

не удавалось видеть в бомбоубежищах ни одного рисующего художника.

П. П. Кончаловский — человек смелый и знающий, что такое война. Еще в 1914 году, артиллерийским офицером, он дрался против немцев. Но художник останется художником... он не мог работать в бомбоубежище, и он стал думать, какую же книгу ему перечитать там.

И он вспомнил М. Ю. Лермонтова. Его он унес с собой. Его он открыл.

Открыл.

Лермонтова, как и все величайшие творения, вы всегда, когда раскрываете, открываете иным, чем прежде.

Иным он представляется и ныне. Иным он показался и художнику.

Он вспомнил детство, отца, Врубеля, рисунки его... иллюстрированный том сочинений...

И встала перед ним Россия, и ее поэты, и ее просторы, и ее слава, и ее упорство, которое не разрушить гитлеровцам никакими бомбами, хотя б они весили и по сто тонн, ибо Россия и ее искусство неразрушимы.

Вот здесь он и увидал Лермонтова.

Почти юноша, двадцатитрехлетний драгунский офицер и поэт вошел в комнату станции возле Казбека.

Грустен ли он? Едва ли. Нам, уже теперь знающим конец его жизни, думается, что Лермонтов должен быть грустным. Но так не бывает. Молодость редко грустит, а талант того реже. Вы можете прочесть в его глазах тоску, но это другое дело. Он мог тосковать, но не мог грустить. Он чересчур большой поэт, с огромнейшими крыльями. Крылья эти не дают ему распахнуть, чтобы взвиться над всем миром. Да, он тоскует от этого, он драматичен, как неизбежно драматично все великое. И все же он счастлив, ибо молод, талантлив, его всюду ждут: старшие, сверстники, аристократы, простолюдины. Он поэт в самом благороднейшем понимании этого слова, то есть любит свою страну, свою поэзию, уважает жизнь и битвы и ненавидит врагов своей родины. Он поэт, он патриот, он русский поэт-патриот.

Таким встал перед художником П. П. Кончаловским поэт Лермонтов, и таким вы видите его на полотне. Созданный в дни грозной бури, он являет собою

воплощение этой грозной бури, которая несется неудержимо на врага нашей родины,— смелая, прямая, красивая, вечная, поэтизирующая жизнь и наполняющая жизнь поэзией.

Талант — а тем более крупный — требует большого, неустанного и систематического труда. Без труда талант попадает в объятия случайностей и гибнет. Это общеизвестно, но не общепонято.

Тем более подвержен случайностям талант в дни войны. Здесь более чем когда-либо требуются упорство и настойчивость, которые всегда шепчут вам на ухо, что это препятствие неодолимо, а эти затруднения вечны.

В мастерской художника холодно нестерпимо. Он переносит огромное полотно к себе на квартиру. В комнате, кроме рояля, стоит еще и обеденный стол, так что для того, чтобы взглянуть на сделанное, художник может отойти только на четыре шага назад, то есть он не видит, что он пишет. Он пишет, так сказать, вслепую.

И тем не менее он пишет.

В комнате лопнула труба отопления. Другие комнаты малы, не вместят картину. Холодище адский.

И тем не менее художник пишет — в полушубке и перчатках. Пишет и одновременно ищет предметы для натуры — бурку старинную, ибо современные совсем делаются по-другому, саблю, чемодан, шьет из сюртука, который некогда сшил в Париже, форму драгунского офицера, которую носили в 44-м Нижегородском, делает эполеты, газыри, пришивает подкладку к мундиру и напряженнейше ищет лицо, ибо лицо должно держать все ваше внимание. К счастью, современники поэта, рисовавшие его, в один голос передали его черты и в устных описаниях, и в рисунках. Эти тяжелые, с блеском потухающего угля глаза быстро перешли на полотно, и это лицо с пухлым подбородком, слегка желтоватое, зажглось мыслью от этих глаз...

Художник, не обращая внимания на холод, пишет. К полудню становится жарко, так что он уже сбрасывает полушубок, и мех этого полушубка, и мех на лохматой бурке, накинутой на плечи поэта, как бы сплетаются вместе, чтобы сказать, что молодой драгунский офицер, ехавший много лет тому назад на перекладных

из Тифлиса во Владикавказ, — поэт-патриот, русский, — и поныне не покинул России, и поныне близок каждому из нас, и поныне вместе с нами защищает честь и независимость нашего отечества.

2

Мне нравилось ездить к нему в «Бугры». Путь туда лежит по старинному Варшавскому шоссе. Шоссе не спешит: оно виляет, поднимается на холмы, спускается в овраги, полно колдобин, объездов, словно раздумывает оно — да стоит ли действительно ехать в Варшаву, не лучше ли свернуть и где-нибудь приткнуться на одной из этих лесистых возвышенностей?

Наконец за деревней, носящей самоуверенное название «Доброе», вы сворачиваете на проселок, машина ваша ныряет в короткий каменный туннель под линией железной дороги, шофер дает гудок, который подобно древнему рогу будит или тревожит население «Бугров», вы катите по склону холма, видите опушку леса, сиренево-серый штакетник, огибаете его, и ваша машина с трудом, пыхтя и гудя, начинает подниматься по прямой, кое-где вымощенной крутой дороге к воротам из жердей, за которыми весело лают мохнатые псы, слышатся радостные голоса, и деревья стоят какие-то особенные!

Это и есть «Бугры».

Высокий хозяин с большими мягкими руками спешит вас обнять. От него пахнет краской — не той малярной краской, от которой режет глаза, а той краской художника, от запаха которой удивление перед красотой мира сразу падает вам на сердце и наполняет вас всего задумчивостью. И с этой минуты идете ли вы рядом с художником, сидите ли с ним, или даже, покинув его, бродите по саду,— все время вы в тени его высокой фигуры, мягкого неторопливого говора, его незлобивых шуток, которые всегда вызывают общий смех, вы всегда под обаянием его картин, которые наполняют вашу душу торжественным восторгом перед прекрасным!

Они удивительны, эти картины, и их много. Их много и в этом большом доме с потемневшими стенами из цельных бревен, и в мастерской недалеко от дома. Здесь и цветы, и пейзажи, и портреты, вы стоите против них безмолвно. И чем больше вы в них вглядываетесь,

тем более все делается неподвижным вокруг вас, —хотя ни голоса, ни лай, ни шум машины не затихают ни на минуту,—тем более глубоким и таинственным. Это похоже на встречу двух друзей, которые не виделись много-много дней, встретились неожиданно, замерли, смущенные, ищут друг в друге близкое, находят и вот-вот готовы рассмеяться от радости.

Портрета художника сейчас в доме нет, нет и его самого: он разговаривает в саду с гостями, показывая им цветы и выращенный им виноград. Вы слышите его голос,— и тотчас же перед вами встает его автопортрет: крупный дородный мужчина в меховой шубе с неимоверно длинным и пушистым воротником, сопровождаемый собакой, строго и серьезно глядит на вас.

Но он совсем не строг! Он добр и снисходителен.

Но как все простые и мягкие люди, он думает о самом себе, что он очень строг и суров, и что другие этого не замечают, и что им надо сказать правду. В некотором смысле он прав. Он относится строго и сурово и к своему искусству, и к искусству других. Но эту строгость и суровость он умеет облекать в мягкие и очень справедливые изречения. Именно изречения! Он обладает этим чудесным даром изречений, которым обладали все праведники и схоласты. Нет, нет, он не схоласт,— он, к счастью нашему, праведник, великий и вдохновенный праведник искусства.

Как он любит жизнь! Смотришь на него,— за работой, в разговоре, за едой, к которой он относится как настоящий часто устающий труженик, то есть с удовольствием,— смотришь и думаешь: «Но неужели я не научусь этому счастью жизни!»

1944

[В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА]

21 декабря 1939 года я привел своего сына Кому в мастерскую Петра Петровича на Садовом кольце. Тогда это был просто пухлый лохматый мальчик, увлекавшийся политикой и поэзией и решивший посвятить свою жизнь дипломатии. Дипломата, к слову сказать, из него не получилось, он стал лингвистом: впрочем, жизнь велика, кто знает!

Сын перенес тогда тяжелую болезнь — костный туберкулез — и пролежал неподвижно в постели четыре года. В эти дни он только что научился ходить: вот почему я сопровождал его в мастерскую Кончаловского.

Петр Петрович пишет,— портрет мальчика в мохнатой зеленой фуфайке известен теперь,— а я сижу в кресле, жду окончания сеанса и читаю старинную книгу Мантегаппа: «Физиология наслаждений». Не знаю, почему я взял эту книгу. Может быть, потому, что мне хочется найти в ней корни наслаждений, которые испытывает художник — и Петр Петрович, возможно, больше всех? В руке у меня карандаш: вдруг мелькнет какая-нибудь мысль, которую я ищу давно, и тогда я ее запишу здесь же, на полях книги. Как видите, я далек от того, что делает Петр Петрович, мне хочется ничем не мешать ему.

И даже когда я оглядываю мастерскую, я делаю это тоже так, чтобы он не заметил. А мастерская любопытна. Это именно — мастерская — место, где работает мастер. Ему нет никакого дела до ее «красоты», она должна быть только удобной.

Большой диван красного дерева, обитый синим и выщербленный, словно стертое зубчатое колесо. На этом диване можно позировать, но нельзя отдыхать. Картины, очень много картин, на подрамниках с лохмотьями холста по краям,— это означает, что картины

ждут своих рам. На антресолях тоже картины. Арка, налево от антресолей, там какие-то темно-зеленые мешки, автомобильная камера, гипсовый человек в сюртуке, сильно запыленный, бутылки с лаком. Перевожу взгляд на окно. На подоконнике множество самых разнообразных кистей с потускневшими следами красок.

А за окном тускло, идет снег.

Мальчик Кома сидит на стуле, подперев рукой голову.

— Ах, как интересно! — вдруг восклицает Петр Петрович, обращаясь к мальчику. — Сиди, сиди, именно так сиди!

Он делает пока карандашный набросок. В руках его папка. В прошлый раз, когда он рисовал мальчика, он вел очень интересную беседу. Я вспоминаю сейчас отрывки из этой беседы, но многое уже забыто. Забудется и эта беседа. А нужно ли забывать? Вот передо мной книга. Петр Петрович на меня не смотрит. Вместо того чтобы записывать свои мысли, которые вряд ли уж очень-то оригинальны или поучительны, не записать ли мне разговор Петра Петровича?

Весь дальнейший монолог Петра Петровича записан.

— Вы знаете, Всеволод Вячеславович, графа Игнатьева? — спрашивает он меня, продолжая рисовать. — Встречали в Париже? А я вчера на премьере познакомился. Он весь оттуда, из прошлого. Интересный. Слушаю его и точно отступил па четверть века назад. И не хочется там быть, — и в то же время любопытно. Вы с ним поговорите непременно: прошлое тоже видеть не каждый день удается.

Он отошел назад, затем приблизился, ускоряя шаги, к мальчику и воскликнул со смехом:

— А теперь попробуй, положи вторую ручку на стол, милый. Вот так, вот! Очень хорошо. Вот. Так. Ах ты, как хорошо, как хорошо! А ну-ка локоть-то больше отставь. Так, так, так! Сейчас, сейчас, посиди так минуточку!

Полуоткрыв рот, Петр Петрович бросил на пол сделанный рисунок и, озаренный новой светлой мыслью, закусив зубами большой палец правой руки, смотрит на мальчика.

— Ну-ка, ну-ка еще! — бормочет он, подхлестывая свое внимание. — Так хорошо сидишь! Ай, как здорово! Сиди, сиди так, немножко, совсем немножко,

Петр Петрович весь в сером на фоне мутновато-белых стен мастерской, его серая одежда кажется серебряной, а мысли, бегущие, видимо, с огромной быстротой, вызвали на лбу глубокие резкие морщины. Таких морщин и за сто лет не соберешь! Он сидит на стуле, держа на коленях папку. Шелестит карандаш, точно тоже бормоча что-то веселое и умное.

Отодвигает стул, берет крошечный нож и осторожно точит карандаш, точно сдирает шкурку.

— Собственно, здесь Веронезе было б большое занятие! Видите, Всеволод Вячеславович, какой у Комы цвет и фон? Сиди, сиди,— с трудом переводя дух, кричит он Коме.

Встает, с шумом отодвигает стул и просительно, почти смиренно обращается к мальчику:

— Вот в эту руку, может быть, возьмешь книжку? Да, да! Мы дадим ему книжку, Всеволод Вячеславович! Он ведь так любит книжки. А ты Пушкина любишь? Люби, люби! Вот ты читал и закрыл, скажем, Пушкина. Хочешь, я тебе сейчас прочитаю Пушкина, а? Мои дети все читали Пушкина с самых ранних лет. Вот теперь встрепенись, отдохни. А мы пока, со Всеволодом Вячеславовичем, найдем, как тебе держать книжку. Это большое искусство — держать книжку. Может быть, мы пристроим тебе беленький воротничок, для цвета лица? Да, пожалуй, пристроим. Ну, теперь давай ручку поищем. Облокотишься, а книжку...

Он восклицает слово «книжка» таким любовным и восхищенным тоном, что мальчику становится ясно, как держать эту книжку. И действительно, поправлять мальчика не нужно. Петр Петрович стоит против него в восхищении, в припадке смеха и только переводит на меня взор: каков, мол, ребенок!

— Вот хорошо! Вот почитал книжку и обдумываешь. Ой, как будет хорошо! Если еще найдем пятнышко света... Я это давно, очень давно задумал, чтобы ручкой подпер щеку. Ой, как хорошо, как здорово! Вот еще свету пустить на книжку, — и будет совсем здорово, ярко... жаль только, что яркость наша уходит. Рюисдель был очень ярок. Но от времени все потускнеет, как бы ни хороша была у нас химия. Здесь уже нужно вдохновение зрителя: он должен снимать краски, давать им утерянную яркость... Ты, Кома, не устал? Башкастый ты, вот что хорошо. Ах, как интересно.

Снег, валивший за запыленными двойными рамами мастерской, вдруг прекратился. И где-то в стороне выглянуло солнце; снег во дворе засверкал широким и матовым светом. В мастерской стало очень светло.

И вот от этого света, должно быть, Петр Петрович мысленно увидел портрет мальчика уже написанным. Лицо художника стало и серьезным, и благостным, и радостным, и смешным. Потирая руки, широко улыбаясь, он прошептал:

— Вот многие художники говорят о том, что мы делаем: работаю, тружусь. Но ведь работа, труд — это тяжсло. А здесь какая же работа, это — *наслаждение!..*

ОТ «СЦЕНЫ НА КОЛОКОЛЬНЕ» К «БРОНЕПОЕЗДУ 14-69»

1

Зимой 1919/20 года я жил в небольшом сибирском городе, недавно освобожденном Красной Армией от колчаковцев и американо-японских интервентов. После жесточайшего тифа, только что перенесенного мной, я не мог служить в Красной Армии и поэтому поступил инструктором внешкольного образования в местный наробраз.

Работа инструктора была интересная и подвижная. Приходилось много ездить по селам и заимкам обширного таежного района, бывать на железнодорожных станциях, сталкиваться с множеством людей, разговаривать, выступать с докладами и даже с чтением стихов. Однажды на полустанке, в санитарном поезде, раненые бойцы показали мне номера газеты советской дивизии, к тому времени воевавшей где-то за Иркутском. Несмотря на скромные размеры и тусклую печать, газета читалась хорошо, а одна из заметок — о том, как дальневосточные партизаны захватили у противника бронепоезд,— просто поразила меня своей силой, лаконичностью, пафосом.

Должно сказать, что главные бои за Сибирь развертывались тогда вдоль линий железных дорог, и подвижная артиллерия крупного калибра, помещающаяся на бронепоездах, играла в решении результата боя не последнюю роль. На бронепоездах находились отборные боевые части. Захватить такой бронепоезд у противника, — да притом партизанам, как правило, не имевшим артиллерии,— было и трудно и почетно.

В заметке мельком было сказано, что бронепоезд был взят вследствие того, что остановился на перегоне между станциями в глухой тайге, а остановился он из-за

смерти машиниста, который высунулся посмотреть, кто лежит на рельсах,— и партизаны, спрятавшиеся в тайге, тотчас же убили его пулей в голову. На рельсах же лежал китаец — один из бойцов партизанского отряда...

То, что китаец находился в партизанском отряде, нисколько не удивило меня. Царское правительство перебросило с Дальнего Востока на фронт для окопных работ много китайских кули, и, возвращаясь с фронта империалистической войны, эти кули оседали в Сибири. Да и на сибирских рудниках, пристанях и железнодорожных станциях работало грузчиками или ремонтными рабочими немало кули.

Не удивило меня и то, что китаец решился на героический поступок: если китаец вступил в партизанский отряд, значит, он обладал высокой революционной сознательностью. Меня удивило другое: почему китаец и вообще командование партизанского отряда решили, что машинист задержит бронепоезд, увидав на рельсах лежащего китайца.

Героическими подвигами те дни изобиловали. К ним привыкли. Но и привыкшие к подвигам изумлялись и запомнили подробности подвига китайца и партизан, захвативших бронепоезд. Едва лишь я задал вопрос,— который, кстати сказать, и поныне задается мне зрителями «Бронепоезда»,— почему китаец лег на рельсы, а командование согласилось на этот, казалось бы, довольно безрассудный поступок, как посыпались разъяснения бойцов, давших мне номера дивизионной газеты.

— Это мы можем... об этом у нас говорили...

— Приказ был, — сказал решительно молодой боец. — А раз военный приказ, — исполняй.

— Приказ, конечно, приказ,— отозвался задумчиво солдат постарше. — А только товарищ спрашивающий прав. Какой в приказе смысл-то? Кто уверен, что бронепоезд остановится?

— Командир уверен,— отозвался молодой.

— Откуда он уверен?

— Раз дает приказ, значит, уверен.

— Да ведь бронепоезд-то с боевым заданием идет. Черта ли ему, что там какой-то китаец на рельсах лежит?..

Начался спор. В купе, где мы спорили, собралось много солдат. Один из них, мужчина лет тридцати, рыжий, с синими ласковыми глазами, сказал вдруг басом:

— А я, товарищи, этого командира партизанского отряда сам знал. — И в наступившем молчании он продолжал: — Ей-богу, знал! Видный такой из себя, непьющий и неругающийся. И сильный, двухпудовиком крестился. Он к нам в дивизию за оружием приезжал, за снарядами для бронепоезда. Его ребята окружили, расспрашивают. Я тоже подошел, говорю: «Товарищ командир, а как же вы это китайца-то уложили на рельсы? Нехорошо. Ну, ладно, бронепоезд вы взяли, а если б нет? Зарезали бы вы зря человека, и пошла бы в Китай молва: «Сами, русские, побоялись лечь, а китайца уложили». Неужели, говорю, у вас русских для такого подвига не нашлось?

Последняя фраза вызвала среди солдат большое оживление. Они переглянулись, и молодой солдат воскликнул:

— Верно! Одно слово — партизанщина. Китайца сунули!

Послышались одобрительные возгласы, поддерживающие молодого солдата. Басистый рыжий солдат ухмыльнулся и сказал гулко:

— Дурак.

Молодой солдат разинул рот:

— Кто?

— Это мне партизанский командир сказал, а я тебе говорю. Правильные слова!

— Ну, это ты насчет дурака брось!

— Зачем бросать? Сгодится. Ты вот слушай, что он мне сказал. Он мне говорит: «Дело когда происходило? На заседании или в бою? Кабы на заседании, тут бы мы еще пообсуждали, кого послать: Ивана, Петра, Абдула или Син Бин-у? А тут — бой. Кто первый высказал желание идти и лечь на рельсы, того и послали... кто под руку первый подвернулся. Отряд за дело отвечает. Отряд и послал». Ну, что я ему мог ответить? Я и промолчал. А ты бы что сказал?..

Молодой солдат замялся.

— Ну, то-то. И я вот так же поводил губами да и смолк. А он мне разъясняет... голова-мужик!.. Он мне так разъясняет: «Есть у меня в отряде веселый парень, ловкий такой, удалой, Васька, по прозвищу Окорок. Он быстрей, первым на рельсы лег, опередил китайца. А пришлось слезть». Басистый солдат посмотрел смеющимися глазами на молодого: «Я вот вроде тебя хотел

сказать ему тоже: «Струсил, мол, Васька-то?» Да и вроде тебя, чтоб второго дурака не съесть, смолчал. Он мне разъяснил: «Не струсил, а лишние страдания. Китайцу легче лежать. Он на станции был, с машинистом самолично разговаривал и поверил, что тот машину остановит, если увидит на рельсах что-то живое. Машинист был из старорежимных, придерживался инструкции, и недавно, тушу звериную на рельсах увидав, остановил поезд... Китаец перед собой лицо этого машиниста видел, а Васька — нет. И оттого мучился. Я ему и велел слезть. И, кроме того, китаец первым высказал желание — уважение свое Советской России показать...»

Молодой солдат сказал:

— Командир-то был прав, когда тебя назвал дураком, а ты меня...

Басистый солдат расхохотался:

— Да не называл он меня дураком! И я тебя не называю. Пошутил я. А разговор у меня с командиром такой был, верно. Это уж я вам передал в точности, будьте покойны.

Никак не предполагая писать повесть или роман о взятии бронепоезда партизанами, а просто увлекшись картинами героического боя, я стал жадно расспрашивать синеглазого солдата. Он охотно, плавно, умело рассказал мне все, что знал. В своих поездках инструктора мне приходилось часто разговаривать с партизанами, и я немало слышал от них удивительных рассказов. Но, пожалуй, рассказ синеглазого солдата был одним из самых замечательных.

2

Полгода спустя я очутился в Петрограде. Тиснув два-три небольших рассказа в петроградских журналах и газетах, я принялся за писание «большой» — по тогдашним временам — вещи. Это была повесть «Партизаны». М. Горький открыл этой повестью первый номер «Красной нови» — первого советского толстого журнала.

Хотя моей повестью открывался толстый журнал, хотя я встречался с Горьким и многими другими пожилыми и молодыми петроградскими писателями, хотя со мной все они обращались как с равным, — я ощущал в душе ужасающее смятение. Во-первых, я чувствовал,

что не умею писать, а если и умею, то плохо. Во-вторых, мне не о чем было писать, потому что двумя-тремя короткими рассказами и повестью «Партизаны» я исчерпал, казалось, *все* свои наблюдения. Словом, я заболел искусством, заболел серьезно и, не понимая еще всего очарования этой прекрасной болезни, принимал растущую во мне строгость к творчеству за отсутствие наблюдательности и невозможность чему-либо научиться.

Поэтому, когда я вспомнил рассказ солдат о бронепоезде и когда решил написать о нем, я испугался страшно. Хватит ли у меня сил и уменья для передачи читателю этой огромной героической темы? Мне-то она кажется убедительной и правдивой, но покажется ли она правдивой читателю? В конце концов нельзя же приложить к повести вырезку из дивизионной газеты, да и кого убедит эта вырезка, если повесть будет изложена бездарно и неправдиво?.. А кроме того, и вырезку-то я потерял.

Но нам тогда везло. Возле нас, молодых художников молодого советского времени, был изумительный советчик и друг — был М. Горький. Написав половину повести, я, поколебавшись, отправил ее на прочтение М. Горькому. Я боялся, что повесть покажется надуманной, положения неестественными, а самая манера письма — скомканной, отрывистой. М. Горький одобрил и тему, и манеру изложения. Впрочем, позже, в устных беседах, когда мы рассуждали о плавности и тайной ритмичности русской речи, столь гениально выраженной в творениях Л. Толстого и А. Чехова, Горький не раз возражал против скомканности изложения, которой тогда страдали и я, и многие мои современники, и от чего мы мало-помалу избавились.

«Бронепоезд» хорошо приняли читатели. Книгу перевели на много языков. Американо-японская интервенция еще заливала кровью города и села Дальнего Востока, когда появилась эта книга, и поэтому понятен был интерес к ней со стороны как советских читателей, так и демократически настроенных читателей за границей. Это не значит, что я смог полностью и всеобъемлюще передать картины борьбы советского народа против иноземных захватчиков, нет, конечно. Это были лишь эскизы картины или, вернее, ряда картин, которые и поныне продолжают выпускать советские поэты, писатели, художники. Но поскольку в те времена эскизы

мои передавали пафос патриотизма советского народа, они возбуждали к себе интерес и внимание и, естественно, возбудили внимание Московского Художественного театра, поставившего спектакль по моей повести «Бронепоезд».

Вот передо мной лежит пожелтевшая газетная вырезка. В ней слова К. С. Станиславского. Он говорит, что «Бронепоезд» является «первой настоящей работой Художественного театра за все время его существования».

За все время существования МХАТа! Разумеется, в словах Константина Сергеевича много преувеличения — и до «Бронепоезда» МХАТ создал немало настоящих работ,— но эти слова Станиславского передают то волнение и счастье, которое испытывал театр, создав настоящий революционный спектакль, показав зрителю патриотизм советского народа, беззаветно отстаивавшего от интервентов и белогвардейцев свою Родину.

Слова Станиславского объясняют тот глубокий пафос, то воодушевление, которое охватывало и сцену и зал МХАТа, когда произносилось и гремело великое имя — Ленин.

3

МХАТ решил поставить пьесу на современную советскую тему к десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. Для этой цели он пригласил на совещание в театр молодых советских писателей, живущих в Москве.

Мы шли в Художественный театр с большим волнением. Создать спектакль ко дню десятилетия Октября!.. Кто из нас и как сможет разрешить хоть сколько-нибудь удачно эту огромную и почетную задачу?..

Совещание происходило весной, а весна 1927 года, сколько помню, шла гуртом — тут и дождь, и солнце, и ветер, и тепло, и неслыханное пышное цветение деревьев. Ворота в мир, казалось, распахнуты настежь. В руках у встречных, переливаясь на солнце, играют пушистые ветки мимозы. Тонкий медовый запах весны коснулся наших лиц.

Этот запах весны сопровождает нас и в узкой комнате, где мы все собрались. На диване — Качалов, рядом с ним всем восхищающийся, шумный, широкий

актер Вишневский, против Качалова, по ту сторону стола, Леонид Леонов с прядью волос над лбом и горящими синими глазами...

Все режиссеры, актеры, писатели в законном волнении, в жажде творчества и говорят приподнято, возбужденно.

Вдруг П. А. Марков, заведовавший тогда литературной частью МХАТа, человек, смотрящий в глубь дела, сказал как всегда протяжно и несколько в нос:

— Темы вы, товарищи авторы, высказали замечательные. Октябрь, гражданская война, новая экономическая политика... Но конкретно, когда каждый из вас представит пьесу? Сроки постановки у нас короткие, пьесу надо дать в театр, самое крайнее, через два месяца.

Присутствующие растерялись. Большинство авторов, приглашенных в МХАТ, пьес не писало никогда, опыта не было, а одним желанием, хотя и самым страстным, пьесы скоро не создашь. Тогда кто-то из мхатовцев предложил:

— А не написать ли каждому присутствующему здесь автору одну какую-нибудь сцену? Можно инсценировать отрывок из своей книги. Сцены эти в театре соединит ведущий чтец, например В. И. Качалов. Таким образом мы создадим интересный спектакль.

Мысль показалась нам убедительной. Дней через десять те же авторы пришли в МХАТ с готовыми сценами. Я принес две сцены из «Бронепоезда».

Сколько помнится, сделать сцену из «Бронепоезда» предложил мне тогда, после заседания в МХАТе, П. А. Марков. И так как в те дни я часто выступал перед различными аудиториями, читая с неизменным успехом отрывок из «Бронепоезда» о том, как партизаны «упропагандировали» американского солдата, я решил инсценировать этот отрывок.

Когда была написана сцена «на колокольне», я подумал, что могу предложить МХАТу решение серьезной и важной задачи — показ широкого народного движения. Это движение, отраженное мной в сцене «на колокольне», должно контрастировать с другим контрреволюционным движением белогвардейцев и интервентов. Поэтому я написал еще сцену «на станции», где показал белогвардейских беженцев, командира бронепоезда Незеласова и других.

Я писал эти сцены с большим удовольствием. Писать для МХАТа уже само по себе приятно. Но, мало того, я хотел поставить перед Художественным театром довольно трудную и, быть может, неисполнимую задачу — показ двух больших массовых сцен и притом без центрального героя. Слова «неисполнимая, невозможная задача» постоянно торчали у меня в памяти, пока я писал эти сцены. Мне очень хотелось, чтоб эти сцены были поставлены, и в то же время хотелось, чтоб их отвергли. Если в старости приятно быть простым, то в молодости очень приятно сознавать себя сложным человеком.

Сложность положения пришла совершенно с другой стороны.

Писатели прочли мхатовцам свои сцены. Сцены эти в большинстве были интересные, но, пожалуй, чересчур разнообразные, так что связать их чтецу было бы трудно. Отчасти поэтому, отчасти и потому, что прочтенные мною два отрывка давали намек на возможность написания целой пьесы, мхатовцы в один голос — от молодого Хмелева до старшего Качалова — спросили меня:

— А почему вам не написать целую пьесу о бронепоезде?

Мысли закружились бешено. Мне написать пьесу? Одному? Но разве я буду один? Какие вокруг мягкие, внимательные и дружественные лица! Они молчат, но взгляд каждого говорит: «Смелей, смелей!» И тут мне подумалось, что я написал эти два отрывка, предчувствуя, что создам целую пьесу. Приятно быть не только сложным человеком, но и провидцем!..

— Напишу,— ответил я.

Писал я страстно. Быть может, ничто я не писал с такой вдохновенной страстью, как эту пьесу. И это тем удивительней, что по призванию я больше романист, чем драматург. Я всегда мечтал о создании длинного увлекательного романа с множеством действующих лиц, с описаниями природы, жизни городов, продолжительного во времени и в пространстве. Театралом я никогда не был, в театр — и прежде и теперь — хожу редко. Правда, в юности я играл в любительских драматических кружках, ездил с бродячими труппами актеров, пел со сцены под аккомпанемент балалайки и так далее, но, право же, это происходило больше от любопытства к жизни вообще, чем от любви к театру или драматургии.

Писал я «Бронепоезд» страстно потому, что Художественный театр не представлялся мне театром. Мне виделся — как бы сказать яснее? — некий, новой формы, громаднейший, с колоссальным кругом читателей, толстый-претолстый журнал. И вот в этот-то журнал мне хотелось поскорее написать новый роман, пусть в драматической форме. Короче говоря, Художественный театр представлялся мне тем оригинальным и самобытным явлением русской жизни, каким он представляется и зрителю, и композитору, и живописцу, и актеру, и всякому, кто сталкивается с ним более или менее тесно.

Через месяц я уже прочел пьесу театру.

Вспоминающие прошлое мхатовцы преувеличивают, говоря, что пьесу приняли восторженно. Я не помню никакого восторга. И вообще восторг при первом чтении пьесы вреден. Полезнее всего предаваться ему после премьеры. Пьесу приняли так, как нужно принимать пьесы, если они годятся к постановке,— спокойно.

С первого чтения, особенно с голоса, в пьесе трудно разобраться. Кроме того, одно дело — чтение, другое — спектакль. Можно прочитать хорошо и плохую пьесу. А читал я к тому же, от волнения, плохо; пьеса была длинна, совершенно недоработана; последняя картина, слабая и поныне, никуда не годилась.

Но я не напрасно с такой горячностью писал эту пьесу. Мхатовцы поняли в ней самое главное — автор хочет сделать пьесу и, если ему помочь, сделает ее. И хотя пьеса была совершенно сырая, мхатовцы нашли в ней «зерно», костяк, материал. Пьесу приняли к постановке.

То, что в спектакле «Бронепоезд» согласились участвовать молодые мхатовцы — Хмелев, Тарасов, Баталов, Судаков, Прудкин, Станицын, Андровская, Тихомирова, Комиссаров,— в этом не было ничего удивительного. Кому же, как не молодым актерам, играть пьесу молодого, начинающего драматурга? Но то, что в пьесе согласилось участвовать старшее поколение мхатовцев,— Качалов, Книппер-Чехова, Вишневский, и то, что за постановкой пьесы обещал наблюдать сам К. С. Станиславский, говорило о признании молодой советской драматургии, об уважении к новой, советской литературе, и я чрезвычайно гордился этим фактом, да и поныне горжусь. Содержание повести «Бронепоезд», а значит, и содержание пьесы, было продиктовано мне борьбой

советского народа за свое счастье, за независимость своей Родины. Разумеется, повесть эта несовершенна, быть может, неумело написана, но она написана со всей искренностью, с неустанными поисками той художественной правды и выразительности, которая была главной целью для молодых писателей того поколения, к которому я имею честь принадлежать.

4

Что наиболее важное внес МХАТ при работе над созданием пьесы как единого целого?

Наиболее важным было то, что театр сразу поверил мне как писателю.

Я и до «Бронепоезда» верил МХАТу. Но тогда я верил как зритель. Теперь же я, помимо веры зрителя, поверил еще и как автор.

МХАТ ни капельки не сомневался в том, что вся ситуация с бронепоездом правдоподобна, что именно Син Бин-у, а не кто-либо другой, лег на рельсы, что именно машинист Никифоров задержал ход бронепоезда и высунулся посмотреть, кто лежит на рельсах, что именно так, а не иначе «упропагандировали» американца.

Таким образом, сразу же между театром и автором создалось то взаимопонимание, которое быстро переходит в дружбу, при котором только и возможна совместная творческая работа. Автор я был тогда капризный и стеснительный одновременно, желающий работать и боязливо относящийся к этой работе: вдруг-де еще хуже сделаешь! Трудно, я думаю, было ладить театру с таким автором. Однако и здесь МХАТ действовал, как всегда, с присущим ему тактом и пониманием.

К. С. Станиславского я видел редко. Он ведь лишь «корректировал» спектакль. Но это была та вдохновенная «корректорская работа» редактора, без которой книга или выходит с грубейшими ошибками или же, из-за этих ошибок, совсем не выходит, а идет в котел, на бумагу.

Театр. Утро. Судаков, постановщик спектакля, внес в одну из сцен какие-то изменения и пригласил меня прийти посмотреть их. Сижу у окна возле портьеры и думаю: «Не надо было приходить. Ну что я им скажу? Писать не легко, а еще тяжелей объяснить — *почему* ты

именно *так* написал?.. Ну, еще объяснить Судакову, а вдруг да Станиславский придет? Вдруг да спросит?»

По переулку мягко промчалась пролетка; прогрохотал по булыжнику ломовик, мелькнул автомобиль на высоких колесах и с медными дверными ручками, начищенными ярко-ярко...

Ну, так оно и есть! В фойе вошел Станиславский. Я подвинулся ближе к окну. Чертовски хочется завесить себя портьерой. Я встал. Станиславский поклонился.

Станиславский прошел было мимо, но, задержавшись на секунду, спросил тихо, как будто спрашивая самого себя:

— А как, по-вашему, одет капитан Незеласов, командир бронепоезда?

Я ответил, что, по-моему, Незеласов должен быть в расшитой серебром черной куртке с черепом и костями, вышитыми белым на рукаве. В таких экзотических мундирах в гражданскую войну красовались «атамановцы», белогвардейцы из отрядов атаманов Семенова или Анненкова, отличавшиеся особой жестокостью в подавлении партизанского движения. Незеласов по фразеологии — интеллигент, по поступкам и одежде — атамановец, вернейший прислужник американских интервентов.

Станиславский сказал:

— А вы не находите, что лучше... без экзотики? Русские вообще народ не экзотичный. Незеласов — обычный армеец, попавший в услужение к американцам и японцам. Не думаю, чтоб он наслаждался своим чувством раба. Это ему неприятно. Но, с другой стороны, он так ненавидит большевиков, что из ненависти согласен стать американским рабом. Большевики, видите ли, отняли у него именьице, домик, забрали какие-то деньги в банке, и оттого ему кажется, что вся Россия у России отнята! Он глуп, недальновиден, мелок. Оденьте его экзотично, и вы, пожалуй, ничего не поймете в нем.

Станиславский, помолчав, продолжал:

— А мы его попробуем одеть по-обычному, по-армейски, в хаки, без экзотики. И вообще все в спектакле — речи, одежда, квартира, железнодорожная насыпь, депо — все должно быть простое, обычное, русское. Но эту обычную речь и обстановку мы должны поднять до яркого символа. Незеласов продает американцам свой курятник. Мы покажем, что в этот курятник он хочет загнать всю Россию. Над сценой «на колокольне» в небе

курятся белые клубы облаков. Атмосфера на колокольне должна быть такова, чтобы эти яркие кучевые облака, собирающиеся всегда в жаркий день на высоком небе, зрителю казались предвестниками скопляющейся всемирной грозы, повисшей над буржуазным миром. Я говорю понятно?

Сказано было это с высоким и красивым чувством и в то же время словно бы мимоходом. Разговор сразу приобрел какой-то задушевный и теплый характер. Смущение мое прошло.

Станиславский перешел к мыслям о сцене «на насыпи», где китаец ложится на рельсы, чтобы остановить белогвардейский бронепоезд, торопящийся на соединение с интервентами.

— Очень трудная сцена. Здесь многое придется найти. Нужно прежде всего сделать так, чтобы национальное чувство гордости русских никак не было унижено. Наоборот. То, что Вершинин позволяет китайцу Син Бин-у лечь на рельсы, доказывает, что китайца чувствуют братом, позволяя ему свершить такой подвиг, который желает свершить каждый русский.

Я вспомнил разговор с бойцами в санитарном поезде.

— Да, да,— сказал Станиславский, выслушав меня.— Это интересно, но это долго объяснять на сцене. Но попытаться можно... Однако мне кажется, что зрители не будут смеяться над Васькой Окороком, уступающим свое место на рельсах для Син Бин-у. Зрители поймут. Васька не трусит. Какая тут трусость, когда каждый из партизан каждую минуту рискует жизнью, когда они, почти с голыми руками, бьются против превосходно вооруженных американцев, японцев, белогвардейцев?..

Дальше Станиславский начал рисовать картину сцены «на насыпи».

— Китаец лег на рельсы. Мы погасим огни на сцене и в зрительном зале. Грохот приближающегося бронепоезда усиливается. Бронепоезд словно несется прямо на зрителя. Зритель должен содрогнуться от ужаса, помня, что будет долго еще жива белогвардейщина во всех ее отвратительнейших проявлениях, что интервенты еще мечтают о реванше и новой войне... И затем вдруг — тишина. Свет. Мы видим насыпь, кровь на шпалах и рельсах, ближе к нам — дерево, и на нем поет птичка.

Подумав, проговорил:

— Нет, неверно. Нет света. Нет дерева. И зачем птичку, когда борьба за бронепоезд еще не кончена? Бронепоезд сделан народом, и он должен принадлежать народу! Пьеса не окончена. За победу еще надо сражаться!.. Пусть занавес упадет в грохоте мрачно мчащегося бронепоезда. Пусть даже зритель встанет с чувством ужаса. Это — благородный ужас. Он не парализует, а, наоборот, толкает в бой за счастье человека!

Станиславский улыбнулся:

— Однако я заговорил военными терминами. Это вы виноваты.

Затем он перешел к последней сцене — «в депо». Сцена эта, повторяю, мне тогда совершенно не удалась. И я непрестанно о ней думал. Думал и весь театр. Думал и Станиславский, потому что, как понял я позже, весь разговор, приведенный выше, был лишь подходом для обсуждения этой сцены «в депо».

В первой сцене, начинающей пьесу,—«цветочный магазин»,— выведена группа беженцев. Мне казалось, что по законам драматургии я должен провести этих беженцев через всю пьесу. Я их пробовал всунуть и туда и сюда,— ничего не получается. Нет места! Тогда я вывел их в последней сцене — «в депо»,— добавил туда даже генерала Спасского, о котором много говорится в первой сцене.

Станиславский сказал:

— Сцена «в депо»— это... очень хорошо!

Я обрадовался. Наконец-то мученья мои кончились. Очевидно, последний вариант сцены удовлетворил Станиславского. Но радость моя была непродолжительной. Станиславский разъяснил:

— Это очень хорошо, если выбросить беженцев. Я посмотрел вам сейчас в лицо и вижу, что они вам тоже совершенно не нужны! Беженцев — вон! В сцене, когда в депо приносят убитого Пеклеванова, главное — он и рабочие депо.

— Но законы драматургии...

— Нет законов драматургии, когда есть жизнь,— сказал Станиславский, разглядывая мое лицо, на котором, по-видимому, отразилось отчаяние. — Самый главный закон драматургии — побольше правды, побольше жизненности. Остальное придет само собой. В сцене «в депо» самое важное — смерть начальника революци-

онного штаба Пеклеванова. Умер большой человек, представитель коммунистической партии, которая привела рабочих к Октябрю. Умер организатор восстания тогда, когда восстание только лишь началось. Депо, рабочие... как быть?.. что делать?.. И вот задача МХАТа — показать правду, показать победу жизни. Несмотря на смерть Пеклеванова, рабочие не растеряны. Штаб восстания цел, партия цела, социальная революция непобедима. Пеклеванов обещал партизану Вершинину, что восставшие и победившие рабочие с честью встретят приближающиеся к городу партизанские отряды. Этот наказ Пеклеванова город должен выполнить. А восставший город — это мы.

5

Из-за отъезда я не мог видеть первого периода работы над пьесой. Когда я вернулся в Москву, обсуждение пьесы за столом уже окончилось, и актеры репетировали отдельные сцены в фойе, двигаясь, создавая мизансцены. Отчетливо обозначались контуры спектакля.

Уже верилось, что пьеса будет показана в те дни, когда ее обещали показать. Молодость и жажда творчества вели нас. Десятилетие Октября казалось нам таким же величественным и полным значения, как столетие. И на самом деле, разве первые десять лет Великой Октябрьской революции менее величественны, чем, скажем, весь XIX век?

Творческий подъем и горячее желание показать на сцене людей нашего времени побудили МХАТ работать усиленными и в то же время плодотворными темпами. «Бронепоезд 14-69» был поставлен в срок, весьма короткий для МХАТа,— три месяца. Если принять во внимание, что пьеса изобилует массовыми сценами, что в ней около сотни действующих лиц, которых надо одеть, загримировать и каждого сделать индивидуальностью, — этот срок, три месяца, превращается в срок рекордный, необыкновенный.

Опять фойе. Утро не утро, вечер не вечер, а так, что-то длинное, осеннее, дымное. Впрочем, увлеченные работой, мы не смотрим в окна, и хорошо, что в небе так серо и однообразно.

Проходит сцена «на колокольне».

Время от времени я заглядываю в экземпляр повести «Бронепоезд». Все хочется найти там что-нибудь такое, что лучше и ярче раскрывало бы образы пьесы. Экземпляр этот и поныне хранится у меня. На полях, против главы «упропагандирования» пометка: «Станиславский, Баталов, Ленин!» Это означало, что мне надо запомнить, как Станиславский объясняет Баталову (игравшему роль Васьки Окорока, секретаря партизанского штаба) значение для него, а значит, и для всех крестьян-партизан имени — Ленин.

И я запомнил это объяснение. Вот оно.

Станиславский, высокий, медленно улыбающийся, прищурясь, наблюдает, как Васька, не находя слов, потому что американский солдат не понимает по-русски, ищет, как бы внушить американскому солдату, что русские рабочие и крестьяне и вообще советская власть ведут справедливую войну, выбивая из Сибири интервентов. Советские люди, хочет сказать Васька, бьются за мир, за свободу, за независимость своей родины... Но слов нет! И вдруг Васька догадывается, что все это можно передать одним словом:

— Ленин.

— Простите...

Станиславский останавливает Баталова:

— Мне думается, вы не так толкуете слово — Ленин. Вы этим словом сейчас выражаете сильного, именитого человека. Это неверно. Ленин действительно сильный, волевой, знаменитый человек, но для вас, для крестьянина-партизана, которого вы изображаете, это сейчас второстепенно. Ленин для вас — зов, клич. И для всей России Ленин — зов в будущее, клич ко всему миру о необходимой перестройке мира для мира. Вот вы в этой же сцене мельком бросаете матросу Знобову, приехавшему с поручением от Пеклеванова: «С войны не видались». Значит, вы были и на империалистической войне.

— Конечно, был,— отвечает Баталов.

— А раз вы были, то для вас Ленин есть освобождение от войн, есть земля, свобода, уничтожение буржуазии. Вся земля русская отныне принадлежит вам. Ее вам вручил Ленин! Благодаря Октябрю на всей земле только что прекратилась бесчеловечная, безжалостная империалистическая война, во время которой было несказанно душно. И вы обрадованно восклицаете:

«Ленин!» Вы восклицаете свободно, с восторгом, с восхищением. Вы видите перед собой не только американского солдата,— вы видите весь мир за этим словом. Весь мир должен вас понять. — Нежно взглянув на Баталова и плавным жестом поглаживая себе лоб, он произнес почтительно и значительно: — Ленин.

И, помолчав, добавил:

— Ленин — слово, которое гигантским горным хребтом встало над миром. При звуке этого слова друзья советской революции чувствуют дрожь восторга, враги — холод страха. И вот вы говорите это слово американскому солдату. Вам говорить это слово нелегко. Ведь никто другой, а именно эти солдаты жгут ваши села и города, грабят и сажают в тюрьмы защитников свободы. Возможно, что грабит и жжет не именно этот солдат, а кто-то другой. Но форма ведь та же!.. Вы внимательно вглядываетесь в его лицо. Кто он? Крестьянин? Рабочий? В конце концов это не гипс, употребляемый для отливки статуй, хотя он и стоит перед вами бледный, как гипс. Кто он? По-видимому, труженик, человек! И вы обращаетесь с самым важным для вас словом к человеку. Вы свершаете поступок огромной гуманной силы.

И опять помолчав, говорит:

— Мне вспоминается баллада Тихонова «Сами»— об индийском мальчике, который великолепно знает все величие имени Ленин. Американский солдат в конце концов должен же понимать немножко больше жалкого индийского мальчика.

Признаться, я подивился. Станиславский — и баллада Тихонова! Но потом подумал: «Но ведь и Чехов и Горький тоже когда-то были молодыми, и чего ж удивительного, если какой-нибудь пожилой их современник знакомился с «Песней о Буревестнике» так же, как Станиславский сейчас знакомится с балладой «Сами»?

Между тем Станиславский спрашивал у Баталова:

— Вы в какой рубашке играете?

— Хаки,— ответил Баталов.

— Вы, Баталов, самый пылкий из всех персонажей пьесы. Вы... вы колышетесь среди партизан, как знамя! И рубашка... рубашка на вас должна быть алая. Да, алая! А чтобы быть ближе к жизни,— чуть выцветшая от солнца. Не подпоясанная. Длинная. Свободная. Вот именно... пусть колышется на вас, как знамя!

И Баталов в дальнейшем проводил сцену с силой потрясающей!

Когда он, устремив свои огромные, лучистые глаза поверх американского солдата, глядел в радужную даль, когда лицо его приобретало торжественное и вместе с тем ласковое выражение, когда он восхищенно и вдохновенно произносил «Ленин!»,— весь зрительный зал долго дрожал от рукоплесканий и восторженных криков.

6

Эта народная сцена «на колокольне» и была тем центром пьесы, поняв который мхатовцы быстро разобрались и в остальном. Таким образом они погрузились в недра той художественной правды, с помощью которой могли искренне и крайне талантливо показать причины и силы, опираясь на которые советский народ разгромил американо-японских интервентов и белогвардейцев на Дальнем Востоке.

Дело прошлое, пьеса написана давно, я могу говорить о ней довольно объективно. «Бронепоезд 14-69» возник как пьеса благодаря МХАТу. Успех его постановки зависел не столько от автора, сколько от театра, от жизненно правильного подхода мхатовцев к своему творчеству и, добавлю, к творчеству авторов, которые с ними сотрудничают. Мхатовцы умеют уважать и любить не только свой труд, но и труд других. Они умеют понимать смысл труда, потому что сами непрестанно трудятся и учатся. Они трактуют труд как творческое и торжественное приятие жизни. А там, где труд трактуется нами как торжественное приятие жизни, нам неизменно сопутствует победа. Талант, помноженный на упорный и постоянный труд, и создает настоящее искусство.

И еще несколько слов, иллюстрирующих подлинный труд и талант.

Впервые спектакль «Бронепоезд 14-69» был показан столичной общественности не со сцены, а в репетиционном фойе.

Дата десятилетия Октября приближалась, всем работникам театра хотелось знать мнение общественности о спектакле, а декорации и костюмы еще не были го-

товы. Тогда руководство МХАТа решило показать пьесу без декораций и костюмов.

Мне, признаться, эта затея не нравилась. Ну, что это такое? Без света, без грима, без костюмов? А я так много думал о грохоте бронепоезда, несущегося со сцены. Не будет и грохота. Сцена «на колокольне» будет происходить вокруг большого стола, на который поднимутся Качалов и Баталов в пиджаках... Невозможно!

Зрителей пригласили человек сто — полтораста. Я волновался, конечно, ужасно. И меня не утешало даже то, что сам великий Станиславский был неузнаваем от волнения. Он то и дело вскакивал с кресла, вглядывался в лица зрителей, а когда началась первая сцена, сильно побледнел.

Как началась пьеса, говорил ли что перед началом Станиславский,— ничего не помню.

Но зато отчетливо помню, что после нескольких реплик первой сцены я почувствовал облегчение. Сердце начало биться ровно, я понял, что все, что смущало меня прежде,— отсутствие декораций, грима, костюмов,— все это пустяки перед правдой жизни. Важнее всего то, что театр по-настоящему понял эту правду жизни и по-настоящему талантливо передал ее зрителю.

Мхатовцы с поразительным талантом и экспрессией показали не только главные персонажи пьесы. В «Бронепоезде 14-69» они с удивительной силой показали народ: крестьян и рабочих, бьющихся за свое счастье и счастливых в этой борьбе. Это был спектакль великого оптимизма, великой веры в жизнь и счастье народа.

Затем была премьера. Она прошла с таким же успехом, как и тот просмотр, который происходил в фойе. Мхатовцев долго поздравляли и вызывали. Когда я вышел из театра, была уже глубокая ночь. Огни в театре тухли. Но ведь это потухали лишь огни рампы. Огонь творчества горит и будет гореть вечно в сердцах наших. Художественный театр по-прежнему плыл всей своей громадой над прекрасной столицей нашей; плыл, рассказывая ей свои дивные рассказы... И во всю ширь, при свете непотухающих огней творчества, мы видели перед собой широкую и далекую дорогу жизни, слышали наши шаги на ней, слышали песни будущего, и ласковые звезды в небе сияли над нашей дорогой...

В последние годы интерес театров и зрителей вновь вернулся к «Бронепоезду 14-69», Пьесу несколько раз

издали, а некоторые театры выразили желание поставить ее. Перед изданиями и постановками я пересмотрел текст пьесы, убрал лишнее, развил то, что считал необходимым и важным развить, дорисовал те характеры, которые, как мне казалось, были недостаточно ярко нарисованы мной. Пьеса идет в Москве, в столицах национальных республик и в областных театрах. Ее ставят также и в театрах стран народной демократии — в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии. Год назад, например, я присутствовал на премьере «Бронепоезда 14-69» в Бухаресте.

В связи с вновь возникшим интересом к «Бронепоезду 14-69» некоторые театральные деятели просили меня рассказать историю возникновения и первой постановки этой пьесы. Я вспомнил эту историю, обработал для нее заметки мои, печатавшиеся в разное время в газетах,— и вот эта история перед вами, вы ее прочли.

КАЧАЛОВ

1

Жил я тогда — в середине тридцатых годов — в первом, можно сказать, полуподвальном этаже низенького, но неимоверно длинного дома возле Тверского бульвара.

Однажды раздался стук в раму. Я распахнул окно и услышал плавные и обворожительные звуки качаловской речи:

— Милостивый государь! Известно, что все классики описывают сапожников, кои, видя скользящие по тротуару бесчисленные роскошные штаны и ботинки, впадают в пессимизм и спиваются. Умоляю вас, не уподобляйтесь сим сапожникам, вылезайте, пока не поздно!

Он присел на корточки перед окном и шутливо заплескал руками:

— Солнца-то сколько! Такого дня, как нынче, никогда не будет. Пойдем гулять?

Рядом с Качаловым, в многозначительной позе, стоял некий, забытый ныне, поэт. Поэт не обладал большим талантом и занимался главным образом переводом оперетт, но наружность у него была чертовски внушительная.

Я вышел из своей квартиры не без смущения.

Качалова я часто встречал прогуливающимся по московским улицам. И мне казалось, он любил гулять один. Ему нравилась толпа, говор, шум народа. Я замечал, что он умеет слиться с толпой, умеет ее слушать. Лица толпы всегда наполнены заботой. Лицо Качалова, быть может, незаметно для него, приобретало это выражение заботы. Иногда так и можно было прочитать на этом лице: «эк меня угораздило!» Мне очень нрави-

лись эти его заботы и думы, и, чтоб не мешать ему, я никогда не подходил к нему на улице.

Качалов понял мои мысли.

— В Москве бывают серые, пасмурные дни,— сказал он,— а случаются вроде нынешнего: как афиша первого вашего дебюта. Чувствуешь тогда себя свободно, идешь по столице, будто по своему кабинету... и можно говорить обо всем!

День был действительно ясный, безоблачный.

Качалов, удивленно расширяя глаза, почтительно кивнул головой в сторону поэта:

— Кроме того, он удивительно одухотворенные слова говорит. Словно некролог! Одному мне даже неловко было и слушать.

Легкая, еле уловимая насмешка слышалась в его голосе. Поэт не заметил ее: уж очень он наслаждался своими изречениями, которые заморосили над нами, едва мы двинулись по бульвару.

Качалов шел, мягко улыбаясь и глядя в небо.

— А что вы думаете о драме? — спросил он поэта.

— Драма,— солидно ответил поэт,— отжила свой век. Наступил век комедии. Человечество должно веселиться. Мы — люди революций — внесли в мир непрестанное веселье.

— Камаринскую? — скосив глаза в сторону поэта, спросил Качалов. «Тоже, о революции смеет говорить»,— читалось в этом скошенном взгляде.

— Камаринская — асимметричное веселье. Мы диктуем другое веселье, вполне идентичное эпохе...

К счастью, поэт, возле памятника Гоголю, вдруг вспомнил, что в этот день и час следует получить гонорар. Поэт поспешно свернул в переулок.

Качалов помахал ему шляпой и сказал:

— Вот кому дровосеком-то быть! Сколько б добра родине нарубил. А посоветовать не могу: деликатничаю. Чеховское у нас воспитание...

— Да, и не послушает он вас, —сказал я.

— Где послушать? Для него артист тот, кто петь, пританцовывая, умеет. И к тому ж в оперетке его перевода.

Надев шляпу и сделав несколько шагов, Качалов неожиданно сказал:

— А он мне все-таки нравится. Отец, покойный, оставил ему на руки четырех братьев. Сорванец на сорван-

це, хулиганишко на хулигане. Другой бы плюнул, выгнал их на улицу, а он ухитрился их воспитать, до университета дотянул, все в люди вышли. — И, улыбнувшись, добавил: — Собственно, ему б учителем быть... среди дровосеков.

2

Перед нами, во всей своей неправдоподобной белой громаде, возвышался храм Христа Спасителя. Уже поговаривали, что, подобно тому как был снесен стоявший подле памятник Александру Третьему, от которого остался только розовый, марципаново-глянцевитый пьедестал, разберут и этот храм.

— Конечно, разберут, — сказал спокойно Качалов. — Фальшиво, подражательно, византийно. Построй они что-нибудь действительно оригинальное, а что можно было создать оригинального во времена Победоносцева и Каткова? Все подлинное искусство строилось вопреки им.

Качалов повернулся ко мне и, остро глядя в глаза, спросил:

— Пишете драму?

— Нет.

— Надо писать. Возможно, что такого драматического и красивого времени, как наше, никогда не повторится. Потомки упрекнут. «Что же это вы, господа художники? — скажут они. — Рядом с вами — великие дела, рядом с вами гений Ленина, а вы равнялись по нему?» Суд потомков безжалостен. А как иначе? Нельзя быть трусом в такую эпоху.

«Вот тебе и чеховская деликатность! — подумал я, любуясь его задором: — Тут уж не Чехов, а Горький».

— Трудно.

— Хм. Трудно? Пожалуй, не легко. Легкого искусства вообще не бывает. Мне тоже будет трудно найти образ современной драмы. А хочется. Вы, что ж, пробовали?

— Вроде бы и пробовал. Да, должно быть, не умею.

— «Не умею» писатель имеет право сказать, когда провалился с десятью, пятнадцатью драмами.

Возле пьедестала памятника пилили доски, катили бревна, мелькали изжелта-белые листы фанеры, а среди рабочих суетился и размахивал руками лохматый,

приземистый человек в коротенькой кожаной куртке. Это был режиссер Эйзенштейн. Он восстанавливал — из папье-маше — памятник Александру Третьему для съемки одной из сцен фильма «Октябрь».

Эйзенштейн отбежал в сторону. «Выше, выше!» — закричал он. Рабочие подняли вверх голову императора, поставленную на плаху. Деревянный каркас, на котором должна была лежать картонная фигура императора, был еще не готов, а режиссеру хотелось посмотреть голову на фоне храма.

Качалов сказал:

— Этот кадр с плахой сам по себе сюжет для хорошей сцены.

И он продолжал:

— Вчера я читал на заводе. Приезжаю. Зал клуба пуст. Что такое? «Сейчас рабочие соберутся,— говорят. — Обсуждают плохую работу директора. Хотят просить об его увольнении. По его вине завод был без сырья три часа. И три часа простоял без работы». Каково? В прежнее-то время очень бы рабочие заботились о простое? Простой? Ну, и дьявол с ним, пускай стоит. Разве это не сюжет?

Мимо нас, трясясь по булыжнику, ехал ломовик. Румяный, курчавый парень вез огромную императорскую ногу, которая занимала всю телегу. Прислонясь спиной к царскому сапогу, ломовой покуривал трубочку и беспечно что-то напевал.

Качалов вдруг громко крикнул:

— Эй, парень? Чего везешь-то?

Ломовой вынул трубку, вытер губы и протяжно отозвался:

— А царя.

— Куда?

— На спектакль. Заместо бочки. Ране он из бочки пил, а ноне мы выпьем из той бочки. Да посидим на ней заместо стула.

3

Мы шли вдоль Москвы-реки.

Был полдень.

Невыразимо огромный распростерся над нами свод неба. И в безвестность, как всегда обгоняя друг друга, убегали легкие изысканно белые облачка.

— Поглядите на это небо,— сказал Качалов тихо.— Какой несравненный спектакль! Разве мы можем показать небо в театре во всем его чудеснейшем виде? Никогда: Днем, ночью, в тишину, в бурю, без конца и края играет оно... И без конца мы подражаем ему, учимся у него, как учимся вообще у всей жизни. Кажется, что создал что-то совершенное, а спустился с подмостков, посмотрел на жизнь — нет, еще надо учиться. Сегодня совершенна «Чайка», а завтра ты должен создать что-то еще совершенней!.. И все же театр— величайшее из искусств. Мы, да, учимся у жизни, но не только учимся. Мы — учим жизни! В каждом нашем спектакле, в каждом уловленном нами у жизни движении мы находим что-то такое, что несет в себе элементы вечности. А в такие великие дни, как ныне, этих элементов вечности больше, чем когда-либо. Вглядитесь, вдумайтесь, и вы воочию не только увидите, что часы жизни летучи и скоропроходящи, но и то, что искусство способно останавливать эти часы, передвигать их на десятилетия вперед... Нет, это раньше МХАТ мог передвигать их на десятилетия, теперь он может передвинуть этот порыв человека к подвигу, — подвиг советского человека на столетия вперед!..

И, немного помолчав, добавил:

— Но для этого образы должны быть взяты из самой гущи жизни.

Задумчиво сделав несколько шагов, Качалов продолжал:

— Потому-то больше всего хочется сыграть сейчас рабочего или крестьянина. Матвеева, Григорьева, Соснина... словом, самого обыкновенного, многомиллионного рабочего и крестьянина, который вместе с партией *открыл* новую Россию. Что там Колумб? Что он открыл, какой Новый Свет? Богатые земли и несчастных индейцев, которых европейцы могли безнаказанно грабить?.. Вот сейчас, в наши годы, произошло действительное открытие *Нового Света*. И кем? Русскими мужиками и рабочими, которых повел к Свету Ленин.

Он глубоко вздохнул:

— Не поразительна ли почетная задача для писателя и МХАТа, а? Тысячелетия миллиарды людей мечтали о социальной справедливости. Сотни тысяч людей, в неслыханных муках, погибали во имя этой

мечты в тюрьмах, на каторге, были повешены, расстреляны. А приходят простые люди России — и воздвигают новое общество, социализм...

И, нежно касаясь моей руки своими тонкими и длинными пальцами, он сказал, взволнованно блестя глазами:

— Ради этой темы надо работать день и ночь. Неустанно.

И, показав на небо, добавил:

— Подобно вот этому теплу, дающему нам жизнь. Художник ведь тоже дает тепло жизни, потому что он показывает правду, а правда всегда творит.

4

Несомненно, что Качалов, высказывая свои мысли о современной драме, обращался не только ко мне одному. Иначе мне б пришлось сказать, что он считал меня исключительно огромным писателем, который только один и способен создать репертуар МХАТа. У меня нет никаких оснований для такого утверждения, не было их и у Качалова.

Качалов обращался, говоря со мной, ко всем советским писателям, которые, любя свое дело, обязаны думать о современном репертуаре МХАТа. Качалов искал и драматурга и драматургов. И повторяю, я был одним из них, не больше.

И до разговора с Качаловым я много думал о драме.

Но разговор этот — искренний и горячий — объединил мои мысли и если не дал им направления, то придал им большую силу, смелость.

Я еще не знал, что́ я напишу, но уже был уверен — напишу!

Мне мерещились народные сцены, внезапность проявления радости и горя, необычайно бурные порывы восторга, трепетание всего огромного пространства битвы за свободу, которую вел советский народ, виделось все величавое торжество победы. Являлись мне, в моем воображении, русские поля, леса, тайга, реки, океан, все, где развертывалась атака на старый мир, — и все это было залито сверканием солнца, огромного, родного солнца...

Вот почему, когда МХАТ предложил мне написать «Бронепоезд», мне легко было это сделать.

5

Лев Толстой бросил где-то мельком замечательное определение личности.

«Личность — это ограниченность», — сказал он.

Конечно, слово «ограниченность» не следует понимать как синоним тупости, ограниченности знаний, чувств, действий.

Наоборот, это означает — человек умеет ограничить себя от всего вредного и злого, что мешает его росту и развитию, именно как личности.

Это означает деятельность, направленную в наилучшую для человека сторону, в сторону, где он ярче всего способен проявить все его прекрасные, творческие данные, будь то художник или слесарь, ученый или пахарь. Лишь тогда весь духовный мир человека может быть охвачен ураганом творчества. И лишь тогда дотоле неясный, смутный трепет превратится в восторг созидания.

Это великолепное определение личности, мне думается, очень подходит к творчеству Василия Ивановича Качалова.

Он ходил по родной земле как творец ее.

И творец неустанный, неусыпный; неустанно и неусыпно человеколюбивый.

Я не знаю актера, который бы до такой поразительной степени мог углубиться в работу, мог так ограничить себя от всего, что мешало этому углублению, притягивал все, что необходимо и полезно для его творчества. И в то же время он не забывал о людях, а, наоборот, еще сильнее проникался любовью к ним.

И часто казалось, что этот актер выше и полноценней образа, задуманного автором. Более того казалось, что он переступил грань искусства и стал тем живым человеком, которого никакому автору не описать.

Действие пьесы «Бронепоезд» происходит на Дальнем Востоке.

Качалов, до пьесы «Бронепоезд», знал столько же, сколько знает каждый интересующийся художественными произведениями о Дальнем Востоке, а также историей партизанской войны с англо-американо-японскими интервентами. К тому же книг на эту тему в те времена было немного.

Он, повторяю, был хорошим читателем, не больше.

Но едва он согласился играть роль вожака партизан Вершинина, он почти мгновенно из читателя превратился в человека изучающего, почти в ученого. Он читал лихорадочно, встречался с людьми, которые участвовали в партизанском движении, непрестанно желал видеть сибиряков, узнавал, как они говорят, одеваются, в каких избах живут, часто повторяя: «какими лодками да сетями ходите в море?» Право, мне часто казалось, что он знает больше меня о Сибири и что он способен прочитать добрый цикл лекций о партизанском движении там.

И одновременно все эти знания окрашивались его, качаловским, светом человечности.

Однажды с одним моим приятелем, ученым лингвистом, шли мы по Неглинной к Трубной площади. Встретили Качалова. Знакомлю его с лингвистом.

Качалов говорит обычные вежливые слова, а по лицу его видно, что он над чем-то мучительно думает. Мучительно и в то же время с увлечением. Хочется ему сказать нам об этих больших и серьезных думах, но мысли его незавершены, и оттого мы вроде как бы стоим поперек его дум, и хочется ему перешагнуть через нас. Несколько минут длится напряженное молчание. И вот он пожал нам руки, прощаясь, вот отошел несколько шагов.

— Лингвист? Языковед? — вдруг громко сказал он, останавливаясь. — И наверное, по западным языкам специалист? Все — Запад, Запад, тогда как на Востоке живет большая часть человечества, на одном Тихом океане... Вот цифру-то и забыл, сколько там живет,— мягко улыбаясь, проговорил он, возвращаясь к нам.

— А как раз я восточник, Василий Иванович, — сказал лингвист.

— Да, ну? — оживился Качалов. — И неужели китайский знаете?

— И китайский.

— Какое счастье!

Качалов взял ласково лингвиста под руку и повел его.

— Видите ли, в чем дело, дорогой мой, — сказал он взволнованно. — На Трубе... я вам покажу... есть мелкий ремесленник, китаец. Игрушки продает. Сам, по-видимому, выделывает. «Тещин язык», погремушечки там, хлопушки разные. Игрушки — грошовые, но мастер,

ах, какой мастер!.. Я, видите ли, играю в пьесе, «Бронепоезд» под названием. Пьеса — сложная, а автор — еще сложней. Объяснить ничего не может, все больше междометиями и жестами отделывается, а для театра — это экзамен советской зрелости, честное слово! Если вы восточник, вы должны нам помочь. Я играю мужика. Начинается с того, что приехал мужик, рыбак, в город рыбу продавать. Продал. Ну, естественно, надо купить ребятишкам гостинцы. Идет он на рынок, вроде нашей Трубы, видит — сидит китаец... да, вон, видите!

Тогда на Трубе, как и в давние времена, описанные еще Чеховым, продавали птиц, зверей, охотничьи припасы и снаряды. На уровне вашей головы порхали в клетках канарейки, чижи и соловьи, на уровне живота обитали кролики, морские свинки, петухи и курочки, а у ног — собаки, приобретающие на базаре почему-то страшно степенный вид. Птицеловы, птицеводы, охотники и рыболовы суетились, кричали и переругивались. Кое-где торговали цветами и игрушками, а по краям базара, на корточках, торчали продавцы жареных семечек.

Качалов подвел нас к китайцу. Он сидел прямо на земле в своих стеганых синих штанах, упершись полуразвалившимися солдатскими ботинками в кучу бумажных игрушек, среди которых — дань охотничьему базару — лежали две измятые пачки дымного пороха. Китаец был рослый, но необыкновенно худой, — ствол без ветвей и листьев, — с воспаленными глазами и темным, черепахового цвета лицом.

— Иглуска, иглуска... китайска загланисна иглуска... — бесцветным невыразительным голосом выкрикивал он, дотрагиваясь пальцами до игрушек, сделанных довольно плохо. Что нашел Качалов в них замечательного?

— Спросите его, — волнуясь, сказал Качалов лингвисту, — только, пожалуйста, чтоб он нас за начальство не принял... спросите: сколько стоит вот эта пара, и вот эта, и эта!.. И сам он откуда? И зачем в Москве? И как живет? И, пожалуйста, поподробней. Нам, театру, все нужно знать. Ведь я с Кедровым встречаюсь, он китайца играет, разговариваю... Да, что разговариваю? У нас с ним вместе огромная жизнь, огромное задумано дело — бронепоезд взять!

И он глядел на китайца огромными, влюбленными глазами, впиваясь в каждое его слово.

Лингвист начал разговор.

История китайца была несложна. Это был крестьянин из уезда Баодин, провинции Хэбэй. Он жил тем, что обрабатывал свой карликовый участок, арендуя скот у кулака. Высокая аренда и невыносимые налоги разорили его семью, и они, трое братьев, превратились в кули, а затем поехали в 1915 году в Россию на фронт, на окопные работы. Поехали, да и застряли тут. Долго скитались они по Белоруссии, а когда возможным оказалось вернуться на родину и они поехали, — в Москве его братья захворали. И теперь лежат, а он вот делает игрушки, ждет, когда братья выздоровеют... плохо, плохо...

— Плохо, плохо, — сказал со вздохом Качалов. И, подумав, обратился к лингвисту: — Благодарю вас. Я все понял. Большое спасибо. До свиданья. Я еще здесь погуляю, а вам, наверное, нужно домой?

Он проводил нас до торговцев семечками, и когда, уходя, я обернулся, он возвращался опять к китайцу.

Неделю или две спустя я опять попал на Трубу. Китаец по-прежнему торговал игрушками, но лицо у него было уже другое, да и голос стал другим, разноцветным, стеклярусным. С каким воодушевлением, восторгом почти выкрикивал теперь он:

— Иглуска, иглуска... китайска загланисна иглуска! Последня иглуска...

— Почему последняя? — спросил я, остановившись возле него.

— Китай уезжаю, потому последня, — сказал он, по-видимому узнав меня. — Домой еду, пасиба.

— Братья, значит, выздоровели.

— А, а! Знасит, знасит... — И, качнув восторженно головой, он продолжал: — Больсой человека... у, больсой человека ести он. Говоли не велела. Ничего говоли не велела... у, больсой селовека... брата моя здорова... все здорова. Последня иглуска продавала,— Китай еду. Холосо!

И тут я вспомнил слова Качалова, сказанные как-то им о наблюдении художника над жизнью. «Нельзя наблюдать холодным взглядом. Сердцем надо наблюдать». Качалов приказал китайцу молчать о той помощи, которую он оказал ему. И китаец ничего не сказал мне, но я все прочел в его веселых глазах, способных выдать сейчас самую сокровенную, заветную тайну.

6

Широта жизненного кругозора, пытливость, расспросы, внимание к каждой мелочи, весь этот неутомимый труд Качалова в поисках образа я могу лишь сравнить с трудом другого русского гения — М. Горького.

В дни работы над ролью партизана Вершинина, и без того часто выступавший перед бойцами и командирами Советской Армии, Качалов появлялся в армии особенно часто. Среди командного и рядового состава армии в те дни встречались часто партизаны, боровшиеся в годы гражданской войны против интервентов и белогвардейцев. Там черпал и развивал свое вдохновение Качалов, там находил подъем и, как говорил он, — «острое ощущение важности, нужности и ответственности нашего искусства».

Однажды после такого выступления среди бойцов и офицеров нашей армии он сказал мне:

— А ведь Вершинина-то надо сделать постарше. Сколько ему, по-вашему, лет?

— Да, лет тридцать пять...

— Больше, больше.

И, повернувшись к Хмелеву (игравшему в пьесе роль Пеклеванова, начальника подпольного революционного штаба в городе), проговорил:

— Освободительная война, как и каждый подъем народа, характеризуется тем, что всякий из нас чувствует себя нужным и талантливым. В такой войне и пожилой не уступит в проворстве и смелости. Вчера разговаривал с двумя офицерами. Одному — лет двадцать с небольшим, а другому — за сорок. Оба из рабочих, и оба командуют великолепно, а учатся как, о! Так в жизни. Так и в пьесе. Васька, «мой секретарь штаба», почти юн. Вершинин должен контрастировать с ним. Ну, пусть я буду постарше, попочтеннее.

И, улыбнувшись, добавил:

— А разве мне не хочется быть помоложе? Очень хочется. Только это не нужно. А нужно, чтоб все поняли: на врага стала вся Россия, социальная революция всех подняла и мобилизовала.

Качалов хотел сделать Вершинина обаятельным и внешне:

— Народ любит меня за храбрость и ум. Отлично. Но и внешне я должен нравиться зрителю. «Вот, скажут,

какой простой и приятный человек. И не удивительно, что он благороден, честен и прям». Пеклеванов — кто? Председатель ревкома? Да. Но одновременно он и сердце народа. Он — наша партия! И недаром ведь он сразу стал со мной откровенным. Взглянул и увидал во мне силищу нашу крестьянскую, широкую, простую, красивую...

Глава подпольного ревкома Пеклеванов и предводитель партизан Вершинин видятся в пьесе один раз.

— Тем ярче, — говорил Качалов, — тем сильней должна запечатлеться в душе зрителей эта единственная встреча людей, которые сразу же поняли друг друга и сразу стали друзьями. Их дружба предопределена борьбой народа за свою свободу и их честностью, их искренним отношением к запросам жизни.

В перерывах, на репетициях, я часто видел их беседующими.

Хмелев говорил властно, смело. Мне казалось, что он необыкновенно быстро вошел в роль Пеклеванова, сжился с нею. Но, приглядевшись и познакомившись с его работой над собой, я и здесь увидал упорство и огромный труд. Пеклеванов — интеллигент, подпольный работник партии, вращавшийся главным образом среди рабочих. Пожалуй, он не так уж часто встречался с крестьянами типа Вершинина: пахарями и рыбаками, живущими далеко от города, в глубине тайги.

И, однако, как быстро они поняли друг друга! И как быстро, главное, понял Вершинин правду, которую несет ему Пеклеванов, правду большевистской партии, правду Ленина! Как внешне далек Пеклеванов от Вершинина: сутул, близорук, мешковат. Чем тут можно плениться? Но вот повернулся он всей своей фигурой к Вершинину, прозвучал мощный металлический голос, вдохновенная и огромная правда, — и понимаешь, что не только Вершинина, но тысячи других людей, поведет за собой эта могучая и огненная сила.

Хмелев ведет «сцену в фанзе». Качалов оборачивается ко мне и тихо, с увлечением говорит:

— Он меня направляет. Какая мощь! Никогда мне не добиться, чтоб играть с ним наравне. Зависть меня грызет, честное слово.

Я улыбнулся.

— А что вы думаете? Зависть в спектакле — обязательна. Все должны завидовать друг другу и восхи-

щаться друг другом. Вот тогда получится одна семья на сцене. Зависть бывает дурная, та, которая перерастает в презрение к другим. «Я-де премьер. Без меня-де они подохнут. Я-де сборы делаю, а не они». И бывает зависть хорошая, когда от восторга и зависти к таланту другого дрожишь и сам тянешься вверх, растешь.

И он замолчал, продолжая со страшным напряжением наблюдать, как идет сцена.

В тот же день проходили «сцену на колокольне». Там есть место, когда «секретарь» партизанского штаба Васька Окорок (Н. Баталов) разъясняет пленному американскому солдату простую истину, — которую и до сих пор многие американцы не поняли, — что такое новая Россия и чего она добивается, свершив Октябрь.

По моему замыслу, Вершинин должен присутствовать при этой «агитации» Васьки Окорока.

Васька начинает разговаривать с американцем. Качалов вдруг уходит. И возвращается в конце, когда Васька уже пляшет от радости, что «упропагандировал». Режиссер повторяет эту картину. Качалов опять уходит. Я недоумеваю.

В антракте я говорю Качалову:

— Почему вы уходите, Василий Иваныч? У меня написано — Вершинин остается и смотрит.

— Но в этой же сцене у вас Вершинин по-хорошему вспоминает о Пеклеванове.

— И что же?

— Значит, он часто ставит его на свое место, учится у него. «Как бы поступил, — думает он, — Пеклеванов на моем месте? Стал бы он заниматься, как Васька, пропагандой, когда с минуту на минуту бой против тех же американцев и японцев? Ну, допустим, распропагандировал Васька одного американца, отпущу я его на волю, тот уйдет к своим, десяток-другой распропагандирует, а ведь еще остались полки, которые стоят возле пулеметов и пушек, направленных в нашу сторону. Пропаганда пропагандой, а я — военный, мне нужно готовиться к бою. Вот как бы поступил Пеклеванов. И зритель должен думать, что я готовлю бой. Верно?

— Верно.

7

В «Бронепоезде» действие развертывается на Дальнем Востоке.

Действие «Блокады», второй моей пьесы, где играл Качалов, происходит в Ленинграде, в дни Кронштадтского мятежа, когда империалисты, разбитые на всех других фронтах, задумали нанести удар, через Кронштадт и кронштадтских мятежников, по великому городу Ленина и Октября.

Так же, как и в «Бронепоезде», я хотел показать народ, сопротивляющийся и громящий интервентов и мятежников. В дни Кронштадтского мятежа я жил в Ленинграде, видел в качестве газетного корреспондента подавление этого мятежа, был затем и в Кронштадте. Стало быть, и время, и место действия, и люди были мне знакомы.

Однако целиком пьеса не удалась мне. А когда я понял все слабые места пьесы и предполагал ее переделать, «Блокада» уже сошла со сцены; зритель, тонко чувствующий все недостатки пьесы, встретил ее холодновато, несмотря на то что Качалов играл превосходно, да и другие артисты — Тарханов, Ливанов, Кудрявцев — создали замечательные образы рабочих-типографщиков и работали над пьесой более длительное время, чем над «Бронепоездом».

Главной моей ошибкой было то, что я слабо и недостаточно показал роль партии в деле руководства рабочим классом, в деле воспитания его, а стало быть, и в подавлении Кронштадтского мятежа. Получилось таким образом преобладание стихийности, что в корне неверно и что исказило историческую обстановку.

Пьесе вредил также излишний психологизм, чрезмерное внимание к второстепенным и, в сущности, ненужным сторонам сюжета. Благодаря этому некоторые действующие лица получились напряженными, с жизнью исключительно внутри себя. Чувство бодрости и оптимизма, характерное для «Бронепоезда», проскальзывало редко на страницы «Блокады». А мне ведь хотелось, в противовес мрачному, мятежному Кронштадту, показать, несмотря на голод и нужду, которыми мучились тогда ленинградцы, показать весь великолепный и яркий, революционный оптимизм Ленинграда и ленинградского рабочего класса.

Однако и из этого недоработанного материала «Блокады» Качалов, игравший главную роль рабочего, «железного комиссара», сумел сделать многое. Он всячески старался додумать за меня то, что я не мог или не в состоянии был тогда додумать.

Но часто, вздыхая, говаривал:

— Слишком просторно, слишком просторно для фантазии. Актера надо держать в узде слов автора. А здесь я чувствую в ваших словах сложность вопроса, начинаю над ними размышлять — а дальше опять не то — упрощено все как-то. — И, мягко улыбаясь, говорил: — Вы уж меня простите, голубчик. Нам очень нужны люди, а эти насекомые, что жужжат неизвестно зачем, мы их в прошлом достаточно навидались.

И так же, как в «Бронепоезде», он был жаден в работе, жаден к встречам с нужными для работы людьми, жаден на книгу, на рассказ. И так же, как в «Бронепоезде» он отлично знал Сибирь, так и теперь, в «Блокаде», он превосходно знал Ленинград 1920—1921 годов. И он говорил:

— Петербург я знал давно, а с этим новым городом встречаюсь заново. Чрезвычайно интересно! Показать ленинградского рабочего, боже мой, как это интересно! — И, слегка прищурив один глаз, протяжно сказал: — Вы подумайте: Художественный театр искал всю жизнь лучшего и смелейшего Человека, с мученьями, с большими страданьями искал, — и вот: придет награда за страдания, праздник. Я знаю, да, да, я знаю, что возможно и спектакль не выйдет... то есть не выйти в Художественном не может... а получится не совсем то, что хотелось бы. Все равно, дорогой, это будет ступень к тому, чтоб показать рабочий класс, Ленинград. Пусть — первая ступень, но она не принижает, все-таки ведь ступень, все-таки ведь стали выше на одну ступеньку. А там — вторая придет, третья, и все выше, все выше, а сверху все видней и видней новую жизнь, счастье. Ах, боже мой, как хорошо! Дух захватывает.

Я пригласил к себе московских рабочих-типографщиков (действие «Блокады» развертывалось в типографии). Эти рабочие в дни гражданской войны работали в Ленинграде, теперь они или учились в Москве, или занимали какие-нибудь хозяйственные посты. Они были очень рады встрече с Качаловым. Сначала они, естественно, смущались, но когда Качалов рассказал им

содержание пьесы и даже прочел крошечный отрывок, все вспомнили дни Кронштадтского мятежа, и полились рассказы о типографиях, о том, как гнали с заводов «волынщиков» — агентов кронштадтцев, подговаривавших рабочих к саботажу и забастовке.

Воспоминания прерывались просьбами к Качалову, чтоб тот прочел что-нибудь. Качалов отказывался, но вдруг после одного очень горячего рассказа о том, как старый путиловский рабочий повел с собой на штурм Кронштадта трех своих сыновей и как все они четверо пали в бою, Качалов вдруг встал и, дрожа от волнения и вытирая лоб, сказал:

— Сейчас я буду читать.

И, помолчав, добавил:

— Пушкина. Он так же, как те четверо, пал за дело России, за социальную справедливость.

Он отошел к окну, снял и протер пенсне, своим всегда торжественным и вместе с тем каким-то нежным и обыденным движением пальцев. Лицо его горело. Неподалеку от него, в кресле, сидел седой широкоплечий рабочий, откинув назад голову и гордо глядя в глаза Качалова. Тот, тоже гордо и спокойно, взглянул на него и начал читать.

Я много раз слышал Качалова. Но думаю, что никогда не читал он с таким высоким чувством. Читал он не громко, но казалось, что гремит от его голоса старинный дом и трепещет вся улица. Были пленительны и страшны в своей силе слова гениального поэта, и был пленителен и страшен своим огромным талантом Качалов, и было великолепно и прекрасно все окружающее.

Позади меня послышался глубокий вздох. Я оглянулся и увидал, что седой широкоплечий рабочий с двумя орденами на груди, что тогда было большой редкостью и что указывало на какой-то большой, свершенный им подвиг, плакал.

И тогда слова Пушкина показались еще более огромными, и до необозримой высоты вырос Качалов.

8

Успех «Бронепоезда» был превосходный. Мне тем легче о том писать, что я-то по неуспеху «Блокады» могу говорить о художественных достоинствах моей пьесы «Бронепоезд», не преувеличивая своих заслуг.

Когда первый спектакль окончился, Качалов тут же, возле кулис, остановил меня и вдруг, почти слово в слово, повторил мне то, что говорил когда-то возле храма Христа Спасителя. По-видимому, он забыл, что тогда говорил мне это. И я рад был, что он повторил мне те же слова. Другой бы на его месте уж ни в коем случае не забыл бы своих слов, а наоборот, напомнил бы о них: «Помните, я вам говорил?» Повторялась, собственно, его мысль — артист должен служить народу, что он — народный артист, а театр, и Художественный в особенности — народный театр. Слова были, конечно, соответственно волнению, которым мы были охвачены оба, несколько спутанными... впрочем, повторяю, тогда мне казалось, что он повторяет свои прежние мысли слово в слово.

И когда я пошел к выходу, он вдруг обогнал меня и прямо по-мальчишески загородил мне дорогу. На глазах его были слезы восхищения.

— А вы слышали,— сказал он шепотом,— когда я крикнул: «ложимся на рельсы, все остановим бронепоезд!», сверху какая-то пожилая женщина... простая женщина... я по голосу знаю... сказала: «родимый мой». Вот — высшая похвала нам всем! Всему Художественному... невероятное счастье, когда чувствуешь, что ты творишь жизнь народа. Поймите, голубчик, что театр может тогда жить, когда улавливает дыхание народа, когда дышит вместе с народом...

И, набрав в грудь много воздуха, выпрямился — высокий, статный, прекрасный:

— ... когда боготворит свой народ!

КОНДРАТИЙ ХУДЯКОВ

25 декабря 1924 года в газете «Красный Курган» была напечатана статья А. Лащевского о поэте Кондратии Худякове. А. Лащевский был моим учеником-наборщиком, когда я работал в курганской типографии «Народная газета». Настоящая фамилия его — Алеша Жулистов. Это был высокий, сероглазый, очень красивый паренек, чрезвычайно напыщенно думавший и веривший всем тем фантазиям, которые я ему сообщал тогда, а фантазий у меня было много. У него были способности и к актерству и к литературе. Я немножко учил его писать стихи, он играл со мной в любительских спектаклях. К сожалению, русская удаль, которой в нем было очень много, и красота его отвлекали Алешу от усидчивых занятий. Во время войны он был призван в армию и служил в Петрограде в гвардии. Но гвардейская служба, обогатив его жизненным опытом, тоже мешала усидчивости. К тому же он научился в Петрограде забавляться водочкой. И, к великому моему сожалению, из Алеши Жулистова ничего не получилось, а я ждал от него очень многого. Но он пописывал статейки, и вот в этой статье... пожалуй, будет лучше, если я ее приведу целиком:

«ПЕВЕЦ ТРУДОВОГО КРЕСТЬЯНСТВА»

(К 4-летию со дня смерти крестьянского поэта-самородка Кондратия Худякова)

«В юбилейном номере «Красного Кургана», в котором Кондратий Худяков был постоянным сотрудником, нельзя не сказать несколько слов о нем.

Кондратий Худяков — это крестьянский поэт-самородок, вышедший из бедной крестьянской семьи нашего округа. Он умер в начале 1921 года; писать начал с 1910 года.

Будучи поставленным в тяжелые условия жизни, наш поэт все же сумел издать сборник своих стихов при близком участии Всеволода Иванова (в настоящее время известный пролетарский писатель, в то время работавший наборщиком в нашей Курганской типографии), с которым мы согласились набрать в типографии этот сборник сверхурочно, совершенно бесплатно.

Всеволод Иванов был единственным другом Кондратия Худякова. Некоторые труды были исполнены совместно.

Вот несколько ярких выдержек из его стихов.

Свобода крестьянства была заветной его мечтой. Он верил в Сибирь:

...Страна колодников, я верю, ты — воспрянешь
И сбросишь гнет томительного сна!..
Моих надежд ты, верю, не обманешь,
Из края изгнанных — избранных краем
станешь,
Моих отцов суровая страна...

Изучив жизнь на опыте, Худяков рисует положение крестьян при буржуазном строе:

...Эх, не страшен плен татарщины:
Он не столько зол и лют,
Сколько палка нашей барщины,
Плаха черная и кнут...

В конце 1916 года Кондратий Худяков уже чувствовал надвигавшуюся волну революционного движения:

...И на общих . . . . нивах
труда
Не услышишь тогда слов проклятья...
Человека-раба уж не будет тогда.

Обращаясь к молодежи — творцу новой жизни, — смене, он говорил:

Кто душу искусил в борьбе, —
Он выйдет ясным из горнила
И через свежие могилы
Шагнет к намеченной тропе!..

Память о Кондратии Худякове живет в сердцах трудящихся нашего округа.

А. Лащевский».

Тут не все точно. Я, конечно, не был единственным другом Кондратия Худякова и не писал с ним совместно. У него были друзья помимо меня, а писать совместно

я не мог по той простой причине, что, во-первых, в стихосложении мы были разных школ: он принадлежал к школе классической, а я был поэтом, который отвергал так называемые классические каноны поэзии, был склонен к новым ритмам и помимо всего прочего, был поэтом попросту неопытным и малознающим, и вообще, по умственному своему развитию Худяков на добрых две головы был выше меня, а кроме того, он был очень спокоен, уравновешен, усидчив и, пожалуй, более практичен, хотя практичность ему приносила мало пользы.

Если не ошибаюсь, я познакомился с ним в 1912 году, а может быть, в 1913-м. Меня пригнала в Курган безработица. Я приехал сюда с Урала, по которому скитался в поисках работы довольно долго. От Челябинска я шел пешком вдоль линии железной дороги. Я и до этого работал в Кургане. Сначала я служил у Садовникова, владельца нескольких ярмарочных балаганов, который вел свою биографию чуть ли не от тех скоморохов, что пришли в Сибирь вместе с Ермаком. Человек это был темный, работавший когда-то на золотых приисках в Иркутской губернии, на притоках Ангары. Торговал он также иконами, в которых знал толк, и, думаю, имел отношение к подделке икон, которая тогда практиковалась часто, так как старинные иконы высоко ценились. Помимо всего прочего, он имел отношение и к старообрядцам и даже помогал строить храм в византийском стиле в Боровске, подмосковном городе, одном из центров старообрядчества. Но он не лишен был и современных течений: накануне смерти он хотел открыть в Екатеринбурге кинофабрику, которая бы ставила фильмы по сочинениям Мамина-Сибиряка, с которым он был когда-то знаком и даже имел переписку, которую он мне показывал. Мне думалось, что его наследники могут мне дать работу и, кроме того, скитальцы-наборщики, вроде меня, почему-то не так уже часто останавливались в Кургане, а проезжали в Омск.

Я работал в типографии Кочешева, выпускавшей одновременно с коммерческими бланками газету «Курганский вестник». В этой газете, почти в каждом ее номере, а она выходила, кажется, три раза в неделю, печаталось два поэта: К. Худяков и Лариса Коровина. Лариса Коровина была высокая, красивая девушка, с большими глазами, большими косами, как говорилось тогда, в русском стиле, с медлительной походкой и

взглядом, который никого не видел. Она была дочерью местного священника и печатала стихи преимущественно лирические, тогда как Худяков писал стихи на общественные темы, в стиле Некрасова, Сурикова и Дрожжина. Мне его стихи нравились. Он приходил в нашу типографию редко. Это был человек среднего роста, с хорошим профилем, в темном пенсне: один глаз у него был поврежден и полузакрыт, что, впрочем, нисколько не мешало ему быть по-своему очень красивым. Он был владельцем мастерской вывесок. Я пришел к нему в эту мастерскую, так как не мог найти удобного момента, чтобы познакомиться с ним в типографии.

Перед тем как прийти к нему, я долго колебался. Ведь это был первый поэт, первый писатель, с которым я знакомился. Пугали меня и темные его очки. Я долго ходил по главной улице, на которой находилась его мастерская. Зачем я к нему иду? Хотя я писал стихи и исполнял их на сценах балаганов и маленьких театров-клубов при железнодорожных станциях, в народных домах общества трезвости и мои стихи, а особенно «Антрэ» — маленькие сцены, написанные для клоунов, ходили в списках и позже, лет пятнадцать спустя, на провинциальных сценах и в цирках, я слышал эти «Антрэ», тем не менее меня и мои стихи в газетах не печатали, а в журналы, конечно, я не осмелился посылать. Даже переписанных стихов у меня не было в руках, я помнил их наизусть, но чувствовал, что, если поэт Худяков попросит меня прочесть мои стихи, я их тотчас же забуду. Конечно, я мог бы выучить где-нибудь чужие стихи и выдать их за свои, что я не замедлил бы сделать, если бы я не думал, что Худяков как настоящий поэт читал и знает все стихи на свете.

И все-таки я осмелился войти в его дом.

Над его мастерской висела великолепная вывеска, в простенках между окон и возле дверей тоже были прекрасные вывески, судя по которым все человеческое счастье зависело только от того, какую ты имеешь вывеску, а если не имеешь никакой, то ты не можешь рассчитывать на счастье, хотя бы и очень маленькое. Задребезжал звонок, и я вошел. У него было три комнаты. В первой, самой большой, он писал вывески, комната отапливалась большой русской печью, которая была отделена перегородкой, и за этой перегородкой жена стряпала обед. Следующая комнатка служила спальней и

столовой, тут же спали ребятишки, а уже самая маленькая служила ему кабинетом. Но кабинет был как у настоящего писателя: с письменным столом и шкафом для книг, с двумя креслами. Три человека могли поместиться в этом кабинете в одно окно. Четвертый при всем усилии не мог бы поместиться там. В этом кабинете мой друг писал свои стихи и принимал заказы на вывески. Всю свою кабинетную мебель он сделал сам. Вообще он был самоучка не только в отношении стихов, но и во всем. Начать с того, что он выучился грамоте, служа мальчиком в какой-то мастерской по вывескам. Самоучкой он научился столярному и кровельному мастерству, а затем и искусству писать вывески.

Мы с ним подружились очень быстро. Может быть, потому подружились быстро, что я относился к нему как к учителю, который должен меня научить тайнам поэзии. Я прочел в общественной библиотеке много книг по теории поэзии и прозы,— в сущности говоря, все, что было написано на русском языке, вплоть до самых сложнейших исследований символистов. Я даже знал, что такое «гимелетика». Однако же классический стих не давался мне, и я прекрасно понимал мучения человека, когда он не способен отличить «ямба» от «хорея». Бедняга, я не понимал, что как раз именно в этом и есть мое счастье! У меня были свои собственные ритмы и свое собственное понимание и взгляд на мир, а я во что бы то ни стало хотел приобрести чужую одежду.

Худяков вначале старался втолковать мне тайны классического ритма, но скоро поняв, что это совершенно бесполезно, посоветовал мне перейти на прозу.

Я находился тогда под впечатлением тех авторов, что утверждали — уездная жизнь необыкновенно звероподобна, тупа и что нет на свете большего падения, чем быть мещанином. Я хорошо знал жизнь мещан и жизнь вообще всего Курганского уезда, по которому, благодаря помощи Садовникова, часто ездил с его балаганами на ярмарки. Уезд был кустарный и торговый. Торговый оборот Кургана достигал шести миллионов рублей. Это было очень много. И в городе и в уезде было множество ярмарок, на которых торговали хлебом, мясом, скотом, салом и спиртом, маслом, которое вывозили даже за границу. В одном селе выделывали кожи, в другом — деревянную посуду, в третьем — пряники, в четвертом — кринки и обливную посуду, в пя-

том — уголь и тес, курили смолу, делали бочки, топоры, сошники, перегоняли масличные семена. На станции Боговлянской был довольно значительный стеклянный завод, который выделывал листовое стекло, миллион бутылок и аптекарских склянок. Всюду, где я проезжал, можно было разглядеть остатки старинных укреплений и о старине разговаривали, словно о вчерашнем дне. Овчины, шерсть, шубы, вязание рукавиц, изготовление исподников, опоясок, бахил, котов, пимов, клея, еловых и выростковых кож.

Особенно любили книги мастера маслобойного дела, работавшие на маслобойных заводах. Худяков знакомил меня с ними, некоторые из них помнили меня по выступлениям в балаганах. Я часто ставил большие пантомимы, и мне приходилось приглашать для них любителей, так как актеров балагана нам не хватало. Любители неохотно шли играть, им почему-то пантомимы, которые зритель любил, казались унизительным занятием. Должно быть слово, и слово действительно в те дни значило много, а тут люди ограничиваются жестами и каждые десять минут, под тем или иным предлогом, бьют друг друга. Бьют, правда, не по-настоящему, выдолбленными, с переборками внутри палками или пузырем, внутри которого гремит горох, но все же бьют!

Мещанство,— именно Худяков обратил мое внимание на это,— в лице своих молодых представителей много читало и много думало. С союзом сибирских маслодельных артелей связаны были многие, особенно те, кто поставлял бочки, делал сани, сбрую и прочее, чтобы везти масло на склады в Курган. Поэтому, когда мы бывали в гостях у бочаров, плотников или скорняков, у всех многочисленных приятелей Худякова, мы много с ними разговаривали о кооперации. Тогда предполагалось в Кургане открыть большой кооперативный магазин. Хвалебные стихи о пользе кооперации, которые печатала «Народная газета», казались нам необходимыми и важными. Худяков спорил со своими приятелями и считал, что стихи могут быть политическими или лирическими, о нуждах народа или своего сердца, но писать в стихах о пользе кооперации — это для поэта унизительно!

Я любил гулять по полям и в лесу по многу километров в день. Худяков прошелся со мной раза два-три. Рассказы, которые Алеша Жулистов слушал с таким

восторгом, Худякову казались, по-видимому, малоправдоподобными. Он вскоре перестал со мною ходить за город, а стал приглашать меня к своим знакомым. Мы работали в день часов по десять, не меньше, и встречались в неделю раза три. Мы собирались у кого-нибудь из его знакомых, читали стихи или прозу. Сначала мы читали сборники писателей-самоучек, которые—тогда был обычай — выпускать и печатать сообща по подписке. В Суздале, например, жил писатель-самоучка Дрожжин, который выпускал сборники «Пробуждение». Вклад для выпуска такого сборника был очень мал, что-то около пяти рублей, причем после выпуска сборника издатель отчитывался в расходах перед своими товарищами. Но сборники эти скоро нам надоели. Они были полны добрых намерений, гражданского пафоса, и в них было очень мало, как это ни печально сказать, талантливых людей. Тогда мы стали читать вслух Блока и стихи всей группы поэтов, которая была вокруг него, прозаические произведения Горького, Чапыгина. Вообще мы отлично знали всех писателей-самоучек и резко отделяли эту группу от профессионалов с высшим образованием. Нам казалось, что с помощью этих самоучек мы войдем в литературу. Мы вовсе не собирались быть петербургскими или московскими писателями, и высшей мечтой для нас была мечта открыть где-нибудь в большом сибирском городе издательство, которое бы печатало журнал с нашими произведениями, а может быть, и книги. Разумеется, мы не думали о доходах с этого издательства, а готовы были отдать все свои средства в помощь ему. Худяков печатался в тех немногочисленных журналах и газетах, которые выходили в то время в Сибири. Я печатался лишь в газете «Приишимье», которая выходила в соседнем с нами городе Петропавловске. Может быть, я и посылал свои рассказы в другие газеты и журналы, возможно, но что их не печатали, это уж я знаю подлинно. Книжку Худякову никак не удавалось издать. Тогда,— это было в 1915 или 1916 году,— я и мои друзья по типографии набрали и напечатали книгу его стихов под названием «Сибирь». На обороте обложки напечатано даже: «Издание Всеволода Иванова». Помню, Кондратий Худяков купил тогда на 40 рублей бумаги, чтобы напечатать эту книжку. Книжка была довольно солидной, в ней было свыше ста страниц, и мы напечатали ее вполне опрятно. Не знаю,

оправдал ли Худяков свои расходы на бумагу. Помнится, он хотел продать эту книжку и писал о выходе ее в разные книжные магазины, но заказов к нему не поступало, и не помню, были ли на нее рецензии. После Февральской революции 1917 года Худяков напечатал много своих стихов, которые по условиям цензуры не могли быть напечатаны раньше.

Несмотря на то, что я был более подвижным и семьи у меня не было, Кондратий Худяков попал в Петроград раньше меня. Думаю, что у меня попросту не было денег на поездку. Да и у него их не было. Он решил оправдать свою поездку тем, что повезет в Петроград что-нибудь съедобное из Сибири. Мы долго с ним обсуждали, что везти, и наконец, остановились на том, что он повезет три мешка кренделей. Муку нельзя было везти — это считалось спекуляцией, равно как нельзя было везти сало или масло, но крендели везти почему-то было можно. Я проводил его на вокзал, помог погрузить ему три мешка кренделей и один мешок с его книгами стихов «Сибирь».

Поезд шел долго, крендели мы не догадались высушить, он повез их свежевыпеченными, и они по дороге стали плесневеть. По приезде он сидел несколько дней в номере гостиницы и счищал ножичком плесень с кренделей. Крендели он продал, но книги «Сибирь», моего издательства, привез обратно. Я получил от него открыточку, в которой он пишет, что вместе с моим письмом он зашел в редакцию газеты «Новая жизнь»,— я осмелился рекомендовать Худякова Горькому,— над входом висела полотняная вывеска газеты, на что он обратил свое профессиональное внимание. Вышел хмурый Горький, прочел его стихи и сказал, что они будут напечатаны. Стихи действительно через год приблизительно были напечатаны во Втором сборнике пролетарских писателей. Крендели все-таки помогли Худякову вернуться: ему хватило на билет.

Вскоре я уехал из Кургана. Недавно дети Кондратия Худякова, сохранившие часть его рукописей, принесли мне вместе с его рукописями и мои письма к нему из Омска и Татарска, где я жил в 1919 году. По этим письмам видно, что у меня было в Омске множество планов. Осуществил я из них очень немногие. Мы предполагали открыть издательство, журнал, но почему-то из всего этого ничего не получилось.

Поверив, по-видимому, в мои планы, он прислал мне книгу своих стихов, которую предполагал напечатать. Или, может быть, она уже была напечатана? Не знаю. Я ответил ему на это стихотворением. Значит, книга мне понравилась. Стихи эти наивные, и я привожу их только для того, чтобы показать, какие были у нас выспренние настроения. Очень жаль, что не сохранились у меня его письма. Они исчезли во время гражданской войны. Некоторые из них, особенно письма последнего времени, были очень интересны.

Он страстно любил поэзию. Он приучил меня несколько раз прочитывать одно и то же стихотворение, чтоб уяснить себе целиком весь его смысл, а затем уже переходить к отдельным строфам, а от строф к отдельным предложениям. Таким образом, мы разбирали стихотворение от начала до конца, рассматривали его со всех сторон, выпивали, так сказать, всю красоту его. Именно ему я обязан пониманием стихов, а отсюда, значит, и пониманием всех малейших оттенков прозы. Разумеется, у него много было провинциализма, много слабых стихотворений, да и в отдельных стихотворениях попадались чрезвычайно заштампованные слова и выражения, которые, может быть, до сих пор еще в провинции кажутся необыкновенно модными, но если он не понимал шероховатости своих стихов, то он чудеснейшим образом разбирался в чужих стихах. Привожу для примера его стихи, написанные в подражание Блоку после смерти его дочери.

И что в нем было очень любопытно и что указывало на огромные возможности его как поэта, это то, что стихи его становились все яснее, проще и в то же время вдохновеннее. В мои времена в Сибири было немало талантливых поэтов: Ю. Сопов, В. Пруссак, Г. Маслов. Некоторые из них, наверное, были бы прекрасными поэтами впоследствии. Но Юрий Сопов, будучи мобилизован во времена колчаковщины, как человек со средним образованием попал в юнкера, а затем уже офицером — в охрану Колчака. Ю. Сопов до переворота печатал свои стихи в омских «Известиях», и, когда я перед бегством из Омска, имея на руках фальшивый паспорт, предложил ему устроить такой же, он печально улыбнулся и сказал:

— Может быть, нам и не нужно бежать, а это наваждение само убежит от нас?

Наваждение убежало. Но оно унесло с собой и превосходный, очень оригинальный поэтический талант Сопова. Хотя он печатался в кадетской газете, не помню, как ее называли, но он не выступал с политическими стихами, или во всяком случае, с малым их количеством. Мне кажется, что его мировоззрение молодого человека, печатавшегося в «Известиях», не изменилось. Рядом с кабинетом Колчака, где находились его адъютанты, у нас поговаривали, что Сопов попал туда не случайно, произошел взрыв ящика с гранатами и Колчак уцелел чудом. Большинство его адъютантов погибло, и в том числе поэт Сопов.

Из всех мероприятий, которые я задумал в Омске, мне удалось только выпустить однодневную газету «Согры». «Согры»— это молодая поросль, которая появляется на болоте. Мы этим хотели сказать, что на болоте мещанской литературы появляется новая, революционная литература. Газета успеха, конечно, не имела, и кроме этого номера нам не удалось выпустить ничего больше. Кажется, я напечатал в нем цикл стихов Худякова, а может быть, приготовил их для второго номера, для которого Ю. Сопов принес стихи, казавшиеся мне программными, «согринскими».

...Цвета зеленой кобры
Юная поросль «Согры».
Время черные крылья раскроет,
Деревьями станут ростки,
От далеких и юных героев
Останутся гнилые куски.
Их растопчут забвенья копыта,
И «Согры» будут забыты.

Мы тогда любили писать под псевдонимами. У меня было, например, несколько псевдонимов: В. Таежный, В. Савицкий, Т. Акимов и другие, которых я уже не помню. Писал под псевдонимами и Худяков: он печатал стихи, подписывая их Сибиряк-Тобольский, Черный Бор, К. К. Подписывали мы псевдонимами не потому, что хотели спрятать свою фамилию или боялись какого-либо наказания, а для того, чтобы некоторая таинственность прикрывала нас, а иногда казалось, что под псевдонимами нас скорее поймут. Да и действительно, кто бы мог понять лирические стихи, принять их всерьез, напи-

санные владельцем вывесочной мастерской или наборщиком типографии, который в типографии из-за того, что хозяин давал мало мыла, не мог отмыть свои руки и вынужден был возвращаться через весь город домой с черными руками.

После того как колчаковщина была разгромлена, я очутился в небольшом городке Татарске. Очутился я тут случайно. Я возвращался из Новосибирска в Омск в поезде и по дороге захворал тифом. Со мной ехал известный теперь ленинградский писатель Д. Четвериков. Когда я впал в беспамятство, он почувствовал, что моя болезнь в поезде может окончиться плохо. Вагоны, конечно, не топили, было тесно, да и пассажиры не очень радовались тому, что на полке с ними рядом едет сыпнотифозный больной. Четвериков высадил меня на станции Татарск и сам остался здесь вместе со мною. Благодаря его заботливости и уходу я выздоровел. Болезнь была настолько тяжела, что когда я стал поправляться, выяснилось, что я забыл грамоту и мне приходилось снова учить ее.

После выздоровления я поехал инструктором по внешкольному образованию по Татарскому уезду. Уезд был большой, ездил я долго. Я должен был организовывать вечерние школы для взрослых и раздавать советские учебники и буквари по одному на каждую школу. Мне также было поручено снимать в школах иконы. Вот это-то последнее поручение, которое казалось мне в Татарске очень легким, было чрезвычайно трудным. Я говорил мужикам, что в школе могут учиться, кроме православных, еще, скажем, татары и что татарам будет неприятно видеть иконы и читать перед началом учебных занятий молитвы. Мужики возражали мне:

— Да ведь у нас никаких татар тут нет.

Иконы я все-таки снимал.

Однажды в одном селе я остановился у председателя сельсовета, очень состоятельного и богобоязненного мужика. Мужик пригласил меня вечером в баню. Но потом он вдруг отказался, ссылаясь на недомогание, идти со мной. Я, ничего не подозревая, отправился один. Не успел я окатиться теплой водой и взять в руки самодельное мыло, как почувствовал головокружение. Я открыл дверь в предбанник, чтоб немного освежиться. Голова кружилась все больше и больше. Тогда я решил открыть дверь из предбанника во двор. Я толкнул

ее. Она не открывалась. Кто-то подпер дверь снаружи колом. Тогда я понял, что баню намеренно натопили с угаром. Я обернул руку шапкой и выбил окно. Но окно было крошечное и входивший оттуда воздух не прогонял угара. Дышать было трудно, и я чувствовал, что еще несколько минут и я погибну. Тогда я натянул на себя полушубок, разбежался сколько мог по предбаннику и ударился всем телом в дверь. К моему счастью, кол был воткнут в снег и, должно быть, не дошел до земли или плохо был заострен и не уткнулся в землю. Во всяком случае, дверь приоткрылась настолько, что я, разорвав полушубок, мог проползти в щель. Я повалился в сугроб и, когда отдышался, с чудовищной болью во всем теле вполз в горницу и стал ругать хозяина. А тот с приятелями сидел за столом и, прихлебывая чай, глядел на меня спокойно.

— Это тебя бог наказывает,— сказал он,— что ты святые иконы снимаешь. А может, ребятишки просто баловались. У меня свидетели, что я все время никуда не выходил и пил чай.

Даже после тифа я не испытывал такой радости жизни, какую испытал тогда, когда вернулся из этой поездки, сняв в конце концов все иконы в школах. Эта радость особенно усилилась во мне, когда, придя к себе на квартиру, я увидел письмо Худякова. Как жаль, что оно не сохранилось! Я помню, что оно полно было чудеснейшей радостью и восхищением перед жизнью и самым превосходным образом отвечало моим хорошим настроениям.

Так как этого письма не сохранилось, то я позволю себе привести выдержки из моего письма к нему, одно из которых очень хорошо передает впечатление от упомянутого письма Худякова. В следующей телеграмме из Кургана было неожиданное сообщение от семьи Худякова, что Кондратий Кузьмич внезапно скончался.

В конце 1919 года, после разгрома колчаковщины, Худяков был на некоторое время, недели на две-три, кажется, арестован органами курганского Чека. Во время колчаковщины он печатал свои стихи в кооперативных журналах и газетах. Стихи эти были лирические, конечно, арест был простым недоразумением, о чем он мне, прилагая новые стихи, и сообщал не без юмора.

Литературное наследство Худякова не велико. Кроме его книжки «Сибирь», есть еще несколько де-

сятков стихотворений, разбросанных по сибирским газетам и журналам, и несколько стихотворений, сохранившихся в рукописях. Сохранились также и ненапечатанные записки о его жизни, написанные в 1911—1912 годах в начале его литературной деятельности. По-видимому, пришло время для того, чтобы издать книгу его стихов, воспоминаний и опытов прозы, которую он только что начал было писать.

К творчеству его нужно быть снисходительным. Хотя он был уже и не молод, но литературная его жизнь только-только выходила из стадии подражательной и становилась более или менее самостоятельной. Это был человек больших книжных знаний, которые он едва лишь начал применять, и человек огромного жизненного опыта, который только что начал рассказывать свой опыт. Доживи бы он до 1923—1925 годов, когда начала развертываться во всю свою ширь молодая советская литература, Худяков, несомненно, занял бы в ней свое, отличное от других, поэтическое место. Судьба поступила с ним жестоко. Его жизнь была необычайно трудна. Я не видел, проживя с ним рядом четыре или пять лет, ни одного дня, чтобы он не трудился. Даже в дни пасхи, когда весь курганский люд, как и люд всей матушки-России, напивался до положения риз, Худяков,— не пивший и не куривший, — сходив с женою и детьми в церковь и разговевшись, — садился за свой письменный стол и под звон пасхальных колоколов начинал работу: он или писал стихи, или отвечал своим корреспондентам, таким же, как он, писателям-самоучкам. Когда после обеда я приходил к нему, он мне читал с грустной улыбкой свои стихи, а затем мы начинали разбирать чье-нибудь творчество. В этот день было некуда идти в гости: весь город был пьян, ребятишки катали яйца или звонили на колокольне, колокольный звон был нелепый, странный, но никто в городе не замечал этого. Мы читали и читали.

АНТОН СОРОКИН

Я напечатал в газете «Приишимье» два или три рассказа и вскоре после этого получил открытку, подписанную очень оригинально: «Король писателей Антон Сорокин». В этой открытке сообщалось мне не более и не менее, как то, что рассказы мои весьма оригинальны, самобытны, что «Вы — гений». Я не знал тогда, что Антон Сорокин каждого своего знакомого писателя или художника называет гением, считая, не без основания, что это лучший способ привязать к себе человека. И действительно, люди быстро привязывались к нему, причем люди самого различного склада ума и художественных вкусов. Правда и то сказать, что таких людей, как Антон Сорокин, было в Сибири мало.

Странная у него была судьба! Он был, несомненно, талантливым и оригинальным писателем. Писал он преимущественно рассказы, но брался и за пьесы, даже за киносценарии. Романов он, кажется, не писал. Впрочем, утверждать это трудно, потому что он напечатал лишь не более чем одну сотую часть того, что написал. Его чудачества мешали ему. Он считался чуть ли не юродивым, и, несмотря на его талант и на обличительные тенденции, к чему были склонны тогда почти все сибирские газеты, его мало печатали. Вскоре после его смерти, если не ошибаюсь, в особнячке, где он жил, произошел пожар, и все его рукописи, картины, изобретения, большое собрание плакатов времен гражданской войны в Сибири, вся его обширная переписка — все сгорело. Он-то как раз надеялся, что рукописи не погибнут и будут напечатаны лет через пятьдесят после его смерти.

Всякий талант, говорил он, и особенно если это талант оригинальный (неоригинальные таланты тоже существуют), требует, по крайней мере, не менее полсто-

летия для того, чтобы прорасти, и еще полстолетия для того, чтобы дать плод.

Отец его был богатый торговец, владелец соляных озер. Все то, что я пишу, я пишу с его слов. Сорокин, говоря о своей семье, обычно не присочинял, да и вообще он не был лгуном, а выдумщиком. И притом выдумщиком для одной определенной цели. Он считал, что самое главное в мире — реклама, возможность обратить на себя всеобщее внимание. После рекламы можно напечатать любые, даже самые плохие произведения, и ослепленные рекламой люди ничего не заметят. Он считал, что рекламой можно вдолбить людям любые нелепости. Реклама много значит и в литературе, но писатели рекламируют себя неумело. Так как он знал жизнь капиталистов, а значит, все способы рекламы, он считал нужным применить эти способы и в том деле, которым стал заниматься.

По его рассказам, отец его, человек очень религиозный, почувствовал себя однажды плохо и решил разделить все свое имущество между детьми, которых у него было не то трое, не то четверо, все уже достаточно взрослые. Антону Семеновичу Сорокину при этом дележе,—причем отец, конечно, не был Королем Лиром и оставил себе львиную долю имущества,— досталась чайная торговля, магазин на Люблинском проспекте и двухэтажный каменный особняк на одной из главных улиц города. Антон Сорокин решил торговать по новому способу,— он все делал по новому способу: писал, печатал, рисовал картины. Рано утром он открыл свой магазин, вывесив на дверях его объявление, что магазин будет торговать по-новому: приказчиков и кассира в магазине не будет, цены на товары обозначены на полках, каждый покупатель, которому понадобится чай, может взять все ему необходимое и положить деньги в кассу. Если деньги будут крупные, покупатель может взять из кассы ту сдачу, которая ему полагается. Благодаря отсутствию приказчиков и кассира, сообщал далее Антон Сорокин, он имеет возможность продавать чай ниже той цены, по которой он продается в других магазинах, где благодаря множеству приказчиков на чай приходится накладывать лишние проценты. Когда вечером Антон Сорокин пришел в свой магазин, чай был весь раскуплен. Он обрадовался и направился к кассе. Касса была пуста. Собственно, не совсем пуста: нашелся

один человек, который честно положил в кассу три рубля за взятый им чай. Рассказывая об этом новом способе торговли, разорившем его в один день, Антон Сорокин совершенно серьезно говорил:

— По-видимому, я не нашел и вряд ли найду более удачные способы торговли.

Для того чтобы читатели легче запоминали его книги и рассказы, он придумал себе своеобразную «торговую марку»: на небольшой картинке, размером с почтовую марку, была изображена горящая и оплывающая свеча, оплывающее с нее сало образовывало буквы сверху вниз, до конца подсвечника «Антон Сорокин». Так как он был изобретателем, то в числе различных изобретений он открыл новый способ дешевого производства клише. Он вытравил этот рисунок на цинке и, прибив его на дощечку, рассылал во все сибирские газеты и журналы, да, думаю, и в российские тоже, прося при этом печатать его «фирменную марку» перед названием рассказа. Когда он выступал перед читателями, а он любил выступать, он вынимал из кармана подсвечник и свечку именно той формы, которая изображалась на фирменной марке, зажигал свечу, даже если дело происходило днем, и читал при свете этой свечи.

— Вы бы лучше, Антон Семеныч, взяли у какого-нибудь актера уроки чтения,— говаривал я ему,— и если вы будете читать хорошо, а читаете вы, надо сказать, очень плохо, слушатели запомнят вас гораздо легче.

На это он возражал совершенно серьезно:

— У меня тихий и хриплый голос, и никакой актер его не улучшит. Я уже пробовал.

Повторяю, он был изобретателем. Он занимался фотографией и умел переводить фотографию на желатин, который он делал каким-то твердым ровным слоем, кладя его на доску. С этого быстро застывающего прозрачного желатина он печатал свои рукописи во множестве копий, чтобы рассылать их в разные места. Кажется, он посылал их и в разные библиотеки всего мира. Может быть, эти рукописи где-нибудь и сохранились.

Так как он потратил оставшиеся деньги на издание в Петербурге в каком-то издательстве, которое дало ему за хорошее вознаграждение свою «марку» — од-

ной из своих «монодрам», то есть такой драмы, в которой участвовал только один герой, Антону Сорокину ничего не оставалось делать, как только поступить на службу. Он работал бухгалтером в управлении Омской железной дороги. Работал он там тоже своеобразно. Проработав один месяц, как работают все бухгалтеры, он пришел к управляющему и сказал:

— Этот ежедневный урок, который вы мне даете, я могу выполнить вместо целого дня в один час. Я прошу вас давать мне двойной урок, на который я буду тратить три часа в день по моему новому способу ведения бухгалтерских книг и отчетов. Но я буду выполнять двойной урок только при том условии, если вы мне разрешите во все остальное время писать мои рассказы.

Управляющий разрешил. И действительно, Антон Сорокин, служивший в управлении чуть ли не все время до самой своей смерти, выполнял двойной урок и, кроме того, имел возможность писать на службе рассказы. Ему это чрезвычайно нравилось — не то, что он имеет возможность писать на службе рассказы, а то, что он придумал такой способ ведения бухгалтерских книг, который не может вести ни один из бухгалтеров. Так оно, между прочим, и было. Бухгалтеры пробовали у него учиться, но ничего не получалось.

Многие в Омске называли его сумасшедшим. Я знал его в течение трех или четырех лет и должен сказать, не встречал человека разумнее его. Возможно, что, если бы он не прибегал к своим способам рекламы, его больше бы печатали. Но я не думаю, чтобы печатали так уж часто. Он был очень своеобразный писатель, и большинство редакторов, обладавших в те времена, как и сейчас, очень средним умственным уровнем, не могли понять его творчества, так же как зрители, которым он показывал свои странные картины, которые он называл «символическими», не понимали этих картин. Может быть, он был и прав, когда рекламировал себя. Возможно, что, если бы время не было таким бурным, он бы утвердил свое имя в некоторых кругах художественной интеллигенции, которые поняли бы его чудачества, и его творческая жизнь пошла бы легче. Он писал превосходные рассказы о казаках и вообще о всех народностях Сибири, эксплуатацию которых он нена-

видел. Я до сих пор помню его рассказ «Чукча Коплянто Анадырский».

Однажды он напечатал в типографии визитные карточки. Я сам печатал их. «Антон Семенович Сорокин» значилось на них крупным курсивом. Пониже было напечатано: «Кандидат Нобелевской премии», а еще ниже петитом его адрес. Когда он вручал свою карточку, глаза его весело щурились, и он смотрел, какое собеседник сделает лицо, потому что при печатании карточек он сказал мне:

— Ведь редко кто догадается, что кандидат Нобелевской премии вовсе не значит — лауреат. Кандидатом может быть всякий. А дураки всегда спутают слово кандидат со словом лауреат и будут думать, что я действительно лауреат Нобелевской премии.

— Но зачем вам это нужно, Антон Семенович?

— Реклама,— отвечал он, улыбаясь.

Эта реклама принимала иногда неприятные формы. И нужно было очень хорошо относиться к Сорокину, чтобы простить ему это. Когда началась война 1914 года, Антон Сорокин разослал из Омска письма в траурной рамке и свои фотографии, сообщающие, что знаменитый сибирский писатель Антон Сорокин, автор таких-то, таких-то книг, в начале войны покончил с собой в Гамбурге. После того как некоторые журналы и газеты напечатали это печальное сообщение, в частности, оно появилось, помнится, в тогдашнем журнале «Огонек», Антон Сорокин немедленно разослал по всем газетам сообщение, что это ложь и что он в ближайшее время, вплоть до победы над Германией, не собирается помирать.

В 1919 году он решил устроить в Омске выставку своих картин. Сейчас, вспоминая его картины, я думаю, что они были очень оригинальными и по форме и по содержанию. Тогда я мало понимал в них, потому что сам тоже занимался живописью и для заработка менял на базаре свои картины, обычно изображавшие пруд, две-три ветлы над ним, украинскую хатку и месяц над прудом, а иногда девушку, которая идет вдоль этого пруда, неся в руке букет роз. Мне за эти картины — аршин размером в длину и пол-аршина в ширину, написанные масляными красками на тонких дощечках, которые я сам сколачивал, платили от пол-

пуда до пуда картошки. Картин Антона Сорокина не покупали даже на базаре. И разумеется, что он в Омске не мог снять помещение для выставки.

Если идти по Люблинскому проспекту через железный мост, то как раз напротив Губернаторского дворца строился какой-то дом, начатый еще при Колчаке и обнесенный плотным дощатым забором. Мы всю ночь трудились, прибивая на этот забор картины Антона Сорокина, написанные на листовом железе или на больших листах картона. Поверх этих картин, прямо на заборе, мы написали: «Выставка картин короля сибирских писателей Антона Сорокина». Надо сказать, что выставка наша имела большой успех и прибили мы эти картины так крепко, что оторвать их от забора было невозможно. Антон Сорокин благоразумно не появился на вернисаже этой выставки, а я пошел туда в обеденный перерыв, надев чистую белую рубашку «апаш». Должно быть, для того, чтобы рубашка соответствовала краскам выставки, я нарисовал на воротнике акварелью змею, которая опускалась ко мне на грудь и жалила меня в самое сердце.

Возле выставки стояла толпа народа. Минут через пятнадцать после моего появления ко мне подошел агент Чека и отозвал меня в сторону.

— Это вы возобновляете королей в советской республике? — спросил он меня и повел.

По дороге, впрочем, посмотрев мои документы и расспросив об адресе Антона Сорокина, которого я ему не сказал, заявив, что я хотя футурист, но Антона Сорокина не знаю, агент отпустил меня. Я тотчас же побежал к Антону Сорокину. Тому очень понравилось, что меня арестовали вместо него, и он сказал, что сейчас пойдет объясняться в Чека. Мы действительно оба направились в Чека. Антон Сорокин спросил, где есть закон, по которому нельзя выставлять картины на улицах. Ему ответили, что против его картин они пока ничего не имеют, но если специалисты заявят, что картины плохие и портят вкус добродетельным гражданам Омска, то милиция снимет эти картины. Чека возражает против слова «король» и возражает еще потому, что знает, что Колчак посещал дом Антона Сорокина.

— Я сам об этом хлопотал,— сказал Антон Сорокин,— чтобы Колчак посещал меня. Я ему устраивал

скандалы и теперь печатаю эти скандалы во всех газетах и читаю их на собраниях.

Нас отпустили. Выставка провисела два дня, а через два дня специалисты, по-видимому, признав, что выставка действительно портит вкус добродетельных жителей Омска, содрали и увезли на телеге в милицию картины Антона Сорокина, которые, быть может, лет пятьдесят спустя явились бы украшением музея сибирской живописи.

Еще через несколько дней Антон Сорокин пришел ко мне в типографию и сказал, что угощает омских писателей необыкновенным обедом. Мы подумали, что он изобрел какую-нибудь новую пищу и охотно отправились к нему. Собралось человек шесть-семь представителей омской литературы. Обед был хороший — щи из говядины, телячье жаркое, хороший чай, белый хлеб.

— В чем же заключается необыкновенность этого обеда? — спросили мы.

— А в том,— ответил Антон Сорокин,— что он куплен на мои собственные деньги.

— Вы продали какую-нибудь рукопись?

Он ответил очень просто:

— Зачем мне продавать за какие-то деньги, когда я сам могу напечатать эти деньги.

И он показал нам бумажные деньги. У меня сохранился один экземпляр этого денежного билета, быть может, одного из редчайших в мире. Там стояла определенная сумма, а подпись была такая: Король писателей Антон Сорокин, директор Государственного банка Всеволод Иванов.

Самое странное было то, что он действительно без особого труда купил за эти, между прочим, отлично напечатанные деньги продукты на базаре.

Дня через два его по обвинению в производстве фальшивой монеты арестовало Чека.

— Я не фальшивомонетчик,— сказал он. — Я был бы фальшивомонетчиком, если бы напечатал деньги от имени Советского правительства. А я напечатал деньги от своего имени. Сибирский народ очень уважает меня как писателя и охотно берет мою валюту.

— Значит, вы признаете себя королем?

— Да, королем сибирских писателей, так как я пишу лучше всех их,— ответил он.

— Король, значит, вы? — спросили его еще раз.

— А вы, собственно, для чего переспрашиваете? — спросил он.

— А для того, чтобы убедиться, что вы — сумасшедший и притом тихий сумасшедший. Мы вас выпускаем, но, если вы появитесь на базаре со своими деньгами, мы каждый раз будем сажать вас за это в кутузку на неделю.

Кстати, о правителе.

Это было в начале 1919 года. Я довольно часто приходил к Антону Сорокину, хотя путь к нему был очень длинный. Я жил на окраине города, в доме какого-то торговца на толкучке. Этот торговец не пустил бы меня на квартиру, но его только что ограбили, причем бандиты пытали его, загоняя под ногти щепочки. Они допытывались, где у него спрятаны только что полученные сорок тысяч рублей. Он отрицал получение. Пытали они его всю ночь. Деньги у него были закопаны в подполе, как раз над тем самым местом, где его пытали,— и Лыков не сказал. Вот она сила денег! Пустить-то он меня пустил вместе с матерью и моим братом, которого мучила малярия, но очень меня боялся. Наверное, я был действительно страшен: оборванный, в шубенке, из которой ползла вата, в рваных ботинках, грязный. Торговец, ложась спать, припирал дверь сначала болтом, а потом большим чурбаном.

Я переходил Омку, долго шел по улицам, по тропинкам, среди сугробов снега и, придя к Сорокину, с удовольствием грелся у него чаем. Надо сказать, что он очень хорошо вспоминал советскую власть и утверждал, что, если б она продержалась, он бы много уже напечатал своих книг. И вот однажды вскоре после моего прихода к нему на второй этаж, где комната служила одновременно столовой и спальней: он кровать смонтировал так, что она помещалась в платяной шкаф, а платяной шкаф, вернее сказать, дно кровати, служило ему складом одежды,— пришла молодая женщина, слегка широколицая, с большими веселыми глазами и слегка полная. По ее разговору я понял сразу, что она актриса. Но мне не удалось разговориться с нею: послышался звонок, и в комнату вошел небольшого роста седеющий человек, подстриженный бобриком, в черном мундире. Он поздоровался с актрисой, затем с женой

Сорокина, поцеловал им руки, а затем Сорокин представил меня военному, сказав, что это, мол, молодой гений, сибирский прозаик, с которым переписывается М. Горький. Военный, пожав мне руку своей маленькой рукой, как-то небрежно проговорил:

— Колчак.

После этого мы сели пить чай. Разумеется, вовсе не ожидая увидеть у Сорокина сибирского правителя, я растерялся, но, с другой стороны, не желая показывать своей растерянности, я подбирал веселые и самоуверенные слова и, разумеется, не мог подобрать. Антон Сорокин говорил о литературе: вместо того чтобы печатать прокламации, которые никто не читает, или газеты, которые повторяют все одну и ту же ложь, нужно открыть несколько иллюстрированных журналов, потому что писатели для этого имеются. Они расскажут правду, а народ сам разберется в этой правде. Колчак слушал его небрежно, глазами приглашая актрису встать и уйти: это была его жена. Впрочем, на допросе он отрицал это. Актриса не торопилась и вообще обращалась с грозным правителем довольно небрежно. Антона Сорокина он, как и большинство мещан, по-видимому, принимал за юродивого и, быть может, то, что этот юродивый говорит ему суровую правду, льстило ему: у него есть такой же юродивый, какие были у всех московских государей. Я думаю, что это так. Другим невозможно объяснить те скандалы, которые устраивал Антон Сорокин Колчаку и которые далеко до того времени, когда Сорокин напечатал их, передавались из уст в уста омскими жителями.

Чай Колчаку подали в серебряном подстаканнике, в котором обычно пил его сам Антон Сорокин. Помешивая чай ложечкой, Колчак посмотрел на меня и спросил, думая, должно быть, не обо мне, а о чем-то другом:

— Итак, с вами переписывается Горький?

— Он написал мне два письма,— ответил я.

Колчак помолчал, помешал ложечкой, а затем сказал задумчиво:

— И Горький,— опять, чуть помолчав, он добавил:

— И в особенности Блок — талантливы.

Затем, слегка вздохнув, он глотнул чаю и сказал:

— И все же их обоих, когда возьмем Москву, придется повесить.

И он опять вздохнул, словно сожалея, что вот, мол, хорошие люди, но придется вешать, чтоб не распложать большевиков. Он опять вздохнул и добавил:

— Очень, очень талантливы.

Затем, снова поцеловав руку супруге Сорокина, Колчак ушел, ведя под руку свою даму.

Антон Сорокин считал, что из всех сибирских литераторов он наиболее благоразумный и потому проживет дольше всех и, в сущности говоря, останется единственным сибирским писателем, потому что другие исчезнут по той или другой причине. Поэтому он считал возможным брать у других сюжеты, сравнения, объясняя это тем, что он пишет много, фантазия его огромна, но иногда не хватает сюжетов и подробностей. Поэтому он, когда мы оставались вдвоем и говорить нам было не о чем, называл мне различные предметы или людей, предлагая мне говорить то, на что они похожи. У меня действительно была тогда большая образность, и мне лестно было, что Антон Сорокин так верит мне. Я сыпал сравнения, метафоры как из мешка, Антон Сорокин тщательно записывал их. Затем я рассказывал сюжеты, и как ни нелепы они были, Антон Сорокин записывал их все подряд. Не помню, употреблял ли он их, быть может, все это он делал для того, чтобы воспитывать во мне фантазию и уверенность в обращении с материалом. Может быть, благодаря тому, что он входил, так сказать, в самое сокровенное моего творчества, он узнавал мои работы под любым псевдонимом, а псевдонимами я тогда увлекался. Мне моя фамилия не нравилась, да и Антон Сорокин не очень одобрял ее. Вот Сорокин — другое дело!

— И вообще фамилия писателя или художника должна вести свое начало от какого-нибудь зверя. Писатель обобщает нечто родовое, и он должен уловить тотем своего рода. Если вы возьмете фамилию, скажем, Горностаев, Белкин, Медведев или Соболев — это принесет вам пользу, так как ваши предки, несомненно, имели тотем... — Он пристально смотрел на меня и говорил:

— Рыбу! Язя, например? Или стерлядь.

Я хохотал.

— Когда я буду писать в юмористических журналах, я буду подписываться: «Стерлядь колечко».

Семейные говорили, что он болен туберкулезом. Он этим тоже очень гордился, считая, что настоящий писатель должен болеть именно туберкулезом. Это — болезнь людей с фантазией. Ему предлагали лечиться, но он никуда не хотел ехать.

— Раз у меня туберкулез, мне нельзя тратить время на леченье, я имею право тратить время только на писание.

Писатели и художники охотно собирались у него. Он хвалил всех как король,— тот король, который хвалит своих помощников, пока целиком не захватил еще власть в свои руки.

Он любил ходить на различные собрания, которых тогда было так много: профсоюзные, художественные, религиозные. Особенно он интересовался сектантством, и благодаря ему я познакомился с рядом очень любопытных сектантских деятелей. Мне тогда по роду моей общественной работы приходилось выступать на многих промышленных заведениях и заводах Омска. Разумеется, это не те огромные заводы с тысячами рабочих, которыми теперь так известен Омск. Это были небольшие предприятия в двадцать — тридцать рабочих. Сто рабочих — это уже было крупное предприятие, и меня, в сущности говоря, мальчишку, выступать на такие предприятия не посылали. Так как я ходил по этим предприятиям обычно во второй половине дня, когда меня освобождали из типографии с сохранением содержания, а Сорокин приходил со своей бухгалтерской работой часа в три, он ходил со мной вместе. Я говорил речь, а он записывал те разговоры с рабочими, которые вел перед собранием.

— Ну, зачем вам-то записывать? — спрашивал я с моим мальчишеским самомнением. — Я напишу роман из жизни рабочего класса, но вы-то ведь романа писать не будете, такого во всяком случае.

— Если я буду жить в рабочем государстве,— серьезно отвечал Антон Сорокин, — как же мне не писать романов из жизни рабочих? Все будут писать, а я должен буду написать лучше всех.

Когда я переехал в Петроград и написал свою первую повесть о Сибири — «Партизаны», я решил ее посвятить Александру Оленичу-Гнененко, поэту и человеку, который сделал для меня очень много. У нас был

в Сибири обычай: посвящать свои произведения кому-либо. Так как близких друзей у меня почти не было, то я посвящал свои произведения выдуманным друзьям. Вот передо мной лежит вырезка из газеты «Приишимье» моего первого рассказа «Сны осени». Он посвящен несуществующему моему другу какому-то Эрбио Стробанс. Рассказ «Сын человеческий» из цикла «Зло — явь» был посвящен Александру Меньшикову, едва ли не фавориту Петра Первого. Рассказ «Зеленое пламя» был посвящен Антону Сорокину.

После «Партизан» я стал писать «Бронепоезд», и начав писать его, сообщил Антону Сорокину, что посвящаю эту повесть ему. Но потом я, наверное, забыл об этом или, быть может, кто-нибудь сказал мне, что посвящение — старомодно, как бы то ни было, когда повесть была напечатана, посвящения Антону Сорокину не было. Он написал мне ругательное письмо, обвиняя меня в зазнайстве. Наверное, так оно и было, потому что, вместо того чтобы извиниться перед старым моим другом, я обиделся и ничего не ответил ему. С той поры наша переписка порвалась.

Я много лет собирался поехать в Омск. Жил я там, как вы сейчас понимаете, не очень хорошо, и когда я собирался поехать — у меня была хорошая правильная идея собрать произведения моих друзей времен гражданской войны, но, к глубокому сожалению, я не осуществил этой идеи. Каждый раз тяжелые воспоминания поднимались на сердце, и я уезжал куда угодно — в Архангельск или в Среднюю Азию, но только не в Омск. Хотелось мне написать и Антону Сорокину, хотелось помириться, но все откладывал, жизнь все крутила, и вот однажды, когда я собирался на собрание в Правление издательства «Круг», где должны были разбираться вопросы, которые казались мне тогда страшно важными, раздался телефонный звонок. Женский голос сказал мне:

— Это говорит жена Антона Сорокина. Антон Семенович сильно захворал, и врачи нашли единственный способ спасти ему жизнь — отправить его в Крым. Мне стоило больших трудов уговорить его поехать туда. Когда он приехал в Ялту, санаторий, в который его направили, отказался его принять, так как у него была третья стадия туберкулеза, а при третьей стадии в этот

санаторий не принимают. Я не имела возможности и средств хлопотать о переводе Антона Семеновича в другой санаторий, и мы решили, вернее сказать, он настоял, чтобы мы вернулись в Москву и чтобы вы похоронили его здесь. Он просит у вас за все, что сделал вам нехорошего, — прощения. Сейчас он лежит в приемном покое при вокзале. Больных много, положить его некуда, и он лежит на полу. Помогите ему.

Разумеется, я ни капли не поверил, что Антон Сорокин находится при смерти. Я позвонил в «Известия», которые в то время редактировал Г. Устинов, человек, имевший отношение к писательству, сам писатель и друг Есенина. Человек этот охотно пошел мне навстречу, выхлопотал место в хорошей больнице, куда сразу же перевезли Антона Сорокина, а я решил навестить своего старого приятеля после того, как кончится заседание «Круга».

В середине заседания меня вызвали к телефону.

— Говорят из больницы. Здесь по вашей просьбе помещен больной Антон Сорокин. Он только что скончался.

Я написал некролог об Антоне Сорокине и напечатал его в «Известиях». «Приглашаем земляков отдать последний долг замечательному сибирскому писателю». На похороны, кроме жены Сорокина, меня, пришло только два земляка — писатель Ф. Березовский и библиотекарь из Ленинской библиотеки, занимавшийся библиографией Сибири.

Антон Сорокин завещал похоронить его в красном гробу. Больница находилась на одном конце города, Ваганьковское кладбище, где должен был быть похоронен Сорокин,— на другом. Мы торопились. Кладбище закрывалось в семь часов, а было что-то около шести. Рысью, через всю Москву, неслись погребальные дроги, солнце приближалось к закату, и красный гроб становился все краснее и краснее.

Когда дроги прибыли на кладбище,— провожавшие ехали на машине «Известий», я приехал раньше,— ворота закрывались и пьяные могильщики собирались уходить. Мне стоило большого труда уговорить их, чтобы они остались. Они подняли гроб Сорокина на плечи и, пошатываясь, в начинающихся сумерках несли его среди могил.

Некоторое время спустя я хоронил на этом же кладбище Сергея Есенина. Великая тоска терзала меня. Когда присутствовавшие на похоронах разошлись, а их было много, я пошел побродить по кладбищу. Невдалеке я наткнулся на ограду и камень, надпись на котором сначала показалась мне непонятной. Только несколько минут спустя, придя несколько в себя, я смог прочесть:

«Здесь покоится тело великого сибирского писателя Антона Сорокина».

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Я переехал в Москву. Почему-то мне кажется, что в первые же дни своего приезда я познакомился с Есениным. Меня с ним познакомил поэт Э. Герман. Есенин зашел к нему вместе с Мариенгофом. Это было поздно вечером. Сразу же, с квартиры Герман, который жил тогда в Кисловском переулке, мы направились в ресторан «Стойло Пегаса». В ресторане было немного посетителей. Есенин и Мариенгоф отвели заведующего рестораном куда-то в сторону и, не стесняясь меня нисколько, приняли от него всю выручку дня. Есенин спокойно положил деньги в карман и сказал:

— А отсюда мы пойдем к Пронину.

* * *

Мы спустились в подвал. Стены подвала были покрыты квадратными кусками серебряной и золоченой бумаги, посетители сидели на некрашеных скамьях за столами без скатертей.

Есенина попросили читать.

Читал он всегда очень охотно и с необыкновенной выразительностью. Голос у него был чуть сипловатый, но сильный. Говорили, что у него горловая чахотка. Он и сам подтверждал это. Но так как он тогда исповедовал ту же самую религию «рекламизма», которую так прямо и подчеркнуто проводил Сорокин и которую я считал справедливой, но которая мне не нравилась,— то трудно было сказать, в чем здесь правда и где тут наигрыш.

* * *

Если у А. Сорокина «реклама» была несколько фанатична, то у С. Есенина она была баловством, у меня — впечатление необоримого веселья. Его сестры, Галя Бениславская, две комнатки.

Ничего нет в квартире. Я смущался. Он пришел в восторг и сел на полу, перед печью:

— Боже, как хорошо. М[отя], беги за Костей, в Дом Герцена. Он лежал на спине. Читал стихи.

* * *

Беззаботность и веселье.

— Реклама?

— Нет. Реклама, чтоб продавать. Меня и без того покупают. Я пишу для того, чтоб людям веселее жилось, поэтому и хочу обратить на себя внимание. Им полезнее читать меня, чем Маяковского.

— «Поприобучить человека к пакостям легко».

* * *

— «Как поприумоется, да поприоденется, да попричешется, так что твой барин»,— любил он говорить перед зеркалом.

— Попотчую по-приятельски, а гоню по-неприятельски.

— А после нашего рязанского чая попробуй-ка кавказского,— и он доставал из-под стола бутылку красного вина.

* * *

Он жил в доме во дворе, на теперешней улице [Неждановой] против дома, в котором живут сейчас работники Большого театра, в небольшой квартирке из двух комнат, принадлежавшей Гале Бе́ниславской, которая потом, позже, застрелилась на могиле Есенина. Он вставал рано, часов в девять. На стол ему подавали самовар и белые калачи, которые он очень любил. Лицо у него было задумчивое, глаза чуть припухшие, и было такое впечатление, словно он работал всю ночь. Наверное, так оно и было. Гонимый какой-то страстью, он ходил из квартиры в квартиру по знакомым всю ночь, читал стихи, пил, напивался, возвращался на рассвете, и в то же время сознание, как ни странно, не переставало работать. Много раз я был свидетелем, как он на краешке стола своим ровным почерком, точно вспоминая, без особой устали [точно] давно известное,

записывал свои стихи. Записав стихотворение, он читал его иногда два-три раза подряд, как бы сам удивляясь самому себе. Тут он любил рассуждать, особенно об издательской деятельности. Ему хотелось открыть издательство и печатать журнал, который он предлагал назвать «Москвитянин», а издательство «Москвитяне». К концу завтрака этот великолепный разговор кончался. Есенину приносили бутылку красного вина, он, не спеша, выпивал ее, и передо мной снова возникал тот «черный человек», который ночью так легко сливался с темнотою города.

Когда я жил в двадцатом году в Омске, в гостинице, занимаемой газетой «Советская Сибирь», в магазинах продавалось много стихов Есенина и Маяковского. Я дружил тогда с поэтом Иваном Ерошиным, который знал Есенина и любил его. Маяковский ему не нравился. Я прочитал Маяковского и стал учить его наизусть. Он был близок мне.

* * *

С. Есенин не казался мне мрачным, обреченным. Это был человек, который пел грустные песни, но словно не своего сочинения. Казалось, он много сделал и очень доволен.

Он очень подвижен. Огонь в нем вспыхивал сильно и внезапно: действие этого внутр[еннего] пламени тотчас же отражалось на его лице, во всех его поступках, во всем поведении.

Во мне же это пламя разгоралось медленно, не заметно ни мне, ни другим.

* * *

Рапповцы считали себя вправе распоряжаться не только мыслями Есенина, но и чувствами его,— он смеялся над ними, и ему была приятна мысль вести их за собой магией стиха:

— А я их поймал!

— В чем?

— Это они — хулиганы и бандиты в душе, а не я. Оттого-то и стихи мои им нравятся.

— Но ведь ты хулиганишь?

— Как раз ровно настолько, чтоб они считали, что я пишу про себя, а не про них. Они думают меня учить и мной руководить, а сами-то с собой справятся, как ты думаешь? Я спрашиваю тебя об этом с тревогой, так как боюсь, что они совесть сожгут; мне ее жалко: она и моя!

Шутит он надо мной, что ли? Пожалуй что и нет!

— Мне нравятся люди дела, а не только слова. Это — самый опасный род женщин. А я советовал бы тебе отказаться.

— Да я ничего...

Он пристально взглянул на меня:

— Ну, раз ты ничего, то и я — ничего.

* * *

— А ты веселый,— сказал я с удивлением.

Он ответил:

— Не я веселый, а горе мое веселое.

* * *

Слова складывал в письменный стол, брал их оттуда; сооружал сравнения. Ну, а затем плюнул. Зачем подчиняться случайности?

Он посмотрел в пространство.

— А ты знаешь, как называется гладкая лента воды в море или реке, освещенная солнцем?

— Нет.

— Лоса: «Лоса», соз[вездие] Б. Медведицы, которое в воде — полосе воды отражается: «Лоса в лосах!» — и добавил поговорку: — Хотелось лося, да не удалося. Правда, красиво?

Я не нашел ничего в этом красивого, но смолчал.

Подумав, он сказал не с грустью, а с задором:

— А я никогда не был на море.

* * *

Есть очень красивое слово — водомоина. А есть еще красивей — водороина, вода роет!

Я — бунтовщик и крамольник, это-то пора бы понять!

* * *

Был, скажем, поэт, Дмитрий Псарев, и был, скажем, хирург Наум Иванович М.

Сутуловат, плечи большие, длинные ступни, волнистые волосы, ему под тридцать, но на вид можно дать и сорок. Холодные темные глаза под тонкими бровями, словно случайно попавшими на это грубое лицо.

— Холоден, резок, в поэзии несчастлив, но женщ[ины] его любят, а ему была нужна только слава!

— Жалко тебе его, Сережа?

— Жалко.

— Стихи его любишь?

— Стихи-то средние. А просто жалко — из соседней губернии он. Жалость необъяснима.

* * *

Перед тем как пойти к Воронскому, страшно томится, как бы помочь товарищу. Уговорить, чтоб именно этот хирург М. сделал [поэту] операцию. Пошел к [хирургу] один — «Посоветоваться» — горло. Оно у него действительно больное. Стал пробовать читать стихи и зачаровал. Тот сделал операцию сам: он спас человека.

— Можно ли стихом спасти человека?

* * *

Он ищет идеала в писателях. Он кое-что понял, познакомившись со мной. Он рассудителен и развит. И понимает, эти далеки от идеала. «Да, есть благородные помыслы, даже душевн[ые] движения, но этим все и кончено. А нужен подвиг! Подвиг!»

* * *

Пьесу «Бронепоезд» я писал в своей собственной трехкомнатной квартире в полуподвале дома на Тверском бульваре. Квартира была сумрачная и пасмурная. Я оклеил ее очень дорогими моющимися обоями, потратив на это все деньги, спал на полу, а рукописи писал на фанерке, которую держал на коленях. Когда Есенин впервые пришел ко мне в эту квартиру и увидел меня на полу перед печкой, он сказал:

— Когда мне сказали, что ты переехал на квартиру, я испугался. Писатель не должен иметь квартиры. Удобнее всего писать в номере гостиницы. А раз ты спишь на полу, то ты, значит, настоящий писатель.

Поэт должен жить необыкновенно.

* * *

«Дуэль» — жена Граника. Клычков о смерти Есенина. Как мы смотрели «Женитьбу». Как он пришел ко мне в полуподвал, в цилиндре. Его похороны. Он хочет открыть издательство «Москвитянин». Он читает «Слово о полку».

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАМЕТОК РАЗНЫХ ЛЕТ

1939 год

22 мая 1939 г.

Я, наверное, совершенно зря пропустил в своих писаниях тему искусства. А между тем какой это могучий и настоящий материал! Надо написать пьесу, роман,— и вообще много об искусстве. Присмотреться к нему. Это — настоящее.

Киев, искусство — тот порог, через который я переступлю в новую комнату. Врубель — на стене церкви XII века — это символ творчества: войти, побить всех стариков и засиять по-новому,— среди древности и славы, и какой! Из впечатлений Киева — это едва ли не сильнейшее.

27 мая. Придумал переделку «Битвы в ущелье». Действие перенесу в среду художников — людей настоящих, бодрых, высоких, идейно советских,— и не только отыскивающих, понимающих эту идею, но и борющихся за нее, защищающих свою Родину.

И одновременно «Кесарь и комедианты». Здесь уже люди помельче, посуше, — но и они любят свою Родину и ее идеи и защищают их.

Что же касается прошлой записи, то это как болезнь. Теперь уже эти настроения прошли,— как только сел за работу. Пускай не пишут о «Пархоменко» — сознание, что книга хорошая и искренняя, остается при мне. А на всех этих литературных сплетников и интриганов — плевать. Буду работать!

2 окт[ября]. Читал рассказ «Поединок», написанный 30 сентября. До этого всё сидели у радио и слушали англичан. Джени переводила. Ее мать застряла,— и это тема для разговоров в Переделкине.

Федин, прослушав рассказ (а я сказал до чтения, что это самое неудачное время из времен, для того чтобы читать рассказы), сказал, что он забыл о войне.

20 ок[*тября*]. Разговор по телефону с Немировичем-Данченко:

Я. Здравствуйте, Вл[адимир] И[ванович]! Моя жена передавала мне подробно о ее разговоре с вами. Я чрезвычайно вам признателен за ваше лестное мнение о моей пьесе и за поддержку моих творческих замыслов.

Немирович-Данченко. Здравствуйте, Вс[еволод] В[ячеславович]! Вы говорите так по вашей необыкновенной скромности. Я считаю, что Худ[ожественный] театр в неоплатном долгу перед вами...

Я. Помилуйте, я в долгу...

Н.-Д. Вы обладаете временем, чтобы выслушать меня?

Я. Конечно, конечно!

Н.-Д. Когда я прочел вашу пьесу... Она попала ко мне через литературную часть. Я ее прочел, потому что [это] ваша пьеса, а так я ведь не имею возможности читать все пьесы. Они проходят через литчасть. Директор театра К. сказал мне, что мимо этой пьесы можно пройти... (Голос плохо слышен, и я пропустил одну фразу, но так как мне не хотелось показать, что меня интересует мнение К., а оно меня и на самом деле не интересует, то я не переспросил)... Я прочел и сказал, что пьеса талантлива, оригинальна... Но меня никто не слушал. Пьеса понравилась только одному Качалову, да и тот сказал, что у нас ее поставить нельзя.

Я (скучным голосом). Да, да...

Н.-Д. Со мной ведь часто так бывало. Мне приходилось часто пробиваться сквозь толщу актерского равнодушия. Так было с Чеховым, Ибсеном, Андреевым. Я всегда чувствовал новое, и хотя, м[ожет] б[ыть], это новое затем и не оказывалось блестящим, тем не менее оно всегда имело успех.

Я. Да.

Н.-Д. Это верно. Уже самый яростный противник пьесы говорит, что вопрос этот надо серьезно пересмотреть. Раз Владимир Иванович так серьезно настаивает, так, полагаю, думает он, значит, в пьесе что-то есть. Дайте мне экземпляр.

Я. Сегодня я его даю машинистке, а дня через три он будет у вас.

Н.-Д. А я полагаю, что в эти дни мне удастся изменить мнение в театре о вашей пьесе. Ну, до свидания.

Я. До свидания, Владимир Иванович.

Н.-Д. Привет вашей супруге.

Я. Благодарю вас, Владимир Иванович.

8 ноября.

Из рассказов П. П. Кончаловского о Шаляпине:

а) Студия Врубеля. Собрались гости. Начали разговор об искусстве, об актерах. Шаляпин говорит:

— Вот я сейчас вам покажу, что такое артист.

Ушел в другую комнату. Гости ждут пять минут, десять, думают, пошел гримироваться. Опять начались разговоры.

Вдруг раскрывается дверь и влетает, бледный как мел, Шаляпин.

— Пожар! — говорит он.

И все бросаются вон из квартиры.

Шаляпин догоняет их на площадке и, хохоча, кричит:

— Ну, что? Артист?

б) 1920 год. Голод, холод. Какой-то доктор достал спирт и вино, устроена пирушка. На другой день Шаляпину выступать. Перед выступлениями он очень волнуется, и Исайка, его секретарь, говорит — «не поедет, не будет выступать». Тогда Шаляпин, из противоречия, едет.

Концерт в Филармонии. 9 часов вечера. В пять часов Петр Петрович был у него, Шаляпин еще спал, мучался. В десятом часу приезжает. Выбежал во фраке, свежий, громадный. А в зале все сидят в шубах, и пар изо рта. Начал петь «Уймитесь, волнения страсти» и вдруг сорвался, схватился за сердце...

— Шаляпину дурно, доктора! — закричали тотчас же.

Побежал за кулисы доктор. Пауза. Шаляпин выходит, прижимая руку к сердцу.

— Я допою...

— Не надо, не надо,— кричат из публики.

Допел. Затем, после концерта, подошел к П. П. и сказал на ухо:

— Голос сорвал. Никогда не надо пить спирта и вино одновременно.

— А сердце?

— Э, сердца и не было. Это я сделал для того, чтобы не сказали, что Шаляпин потерял голос.

1940 год

24/I. Позвонил Виленкин и сказал, что на втором заседании Худсовета приняли «Вдохновение»!

Вчера с Фединым подписывали 400 обращений — писем раненым, которым сегодня Тамара должна везти подарки в Ленинград. Позавчера передавали, что анг[лийское] радио сообщает: русские начали наступления на левом фланге, а Федин говорил, что Выборг оставлен финнами и горит. Видел Павленко. Он весь черный, как будто осыпан пеплом. Сказал, что убиты Левин и второй корреспондент «Правды».

7/VI. Две неудачные мои речи:

1) На юбилее Горького,— момент высочайшего счастья. Он подошел и одобрил меня:

— Здорово сказали!

Я ему о «Егоре Булычеве». Он в ответ:

— Очень хорошо играют. Я — не драматург. Мне жалко, когда человек уходит со сцены.

2) Момент величайшего его горя: смерть Макса. Я обещал произнести речь. И — опять не мог, когда я увидал фигуру отца, высокую, строгую.

Открыли гроб. Он молча посмотрел и что-то сказал. Я так и не решился спросить, что.

Последние слова Макса:

— Уведите меня в гараж...

Он был гонщик, спортсмен, охотник,— и ненавидел страстно Крючкова.

2/X. Сегодня читаю «Вулкан» дома. Утром ужасно болела голова, а вчера похвастался, что доктор мне помог и даже повел к нему Федина, так что было довольно совестно. Вчера написал статью «Улицы», а вечером Луков рассказал, что Ворошилов читал сценарий «А. Пархоменко», и какие у него замечания. Луков обходит меня как охотник дрофу — чтобы не спугнуть. ⟨...⟩

1941 год

24. VI. Итак, война.

Утро позавчера было светлое. Я окончил рассказ. Думал — еще напишу один, все перепечатаю и понесу [в издательство]. Прибежали Тамара и дети: Фадеев сказал, встретив их в поле: «Разве вы не знаете, что война?» Не верили. Включили радио. Марши, марши и песни. Значит — плохо. А в два часа Левитан прочел речь Молотова. Весь день ходили друг к другу [с дачи на дачу].

Ночью приехали из «Известий». Я обещал написать статью и утром 23-го написал, а затем поехал в Союз — заседать. Здесь — выбрали комиссию и заместителей Фадеева. Затем позвонили из Реперткома насчет переделки «Пархоменко». Я поехал.

На улицах почти нет военных — среди толпы. На шоссе, когда Дементьев, увозивший свою семью, вез и меня,— танки, грузовики с красноармейцами и машины. В Кунцеве вдоль шоссе стоят мальчишки и смотрят. Все это еще в диковинку.

Вернулся домой. Ждали сводку. Но радиостанции замолчали уже в 11 часов ночи. Лег поздно. Разбудила стрельба. Выскочил на двор почти в одном белье. На сиреневом небе разрывы снарядов. Сначала ничего не понял. Убежал в дом. Было такое впечатление, что бомбят наши участки. 〈...〉

На улицах появились узенькие белые полоски: это плакаты. Ходят женщины с синими носилками, зелеными одеялами и санитарными сумками. Много людей с противогазами на широкой ленте. Барышни даже щеголяют этим. На Рождественке, из церкви, выбрасывают архив. Ветер разносит эти тщательно приготовленные бумаги. Вот — война. Так нужно, пожалуй, и начинать фильм.

...Когда пишу, от привычки что ли, на душе спокойнее. А как лягу, — так заноет — заноет сердце и все думаешь о детях. Куда их девать? Где их сберечь от бомб,— и вообще? Сам я решительно на все готов. Видимо, для меня пришел такой возраст, когда уже о *себе* не думаешь. В этом смысле я был раньше трусливее. Думаю не оттого, что характер мой стал тверже, а просто явление биологическое.

25/VI. Проснулся в пять утра и ждал сводки. Она составлена психологически — сообщают, сколько сбито у нас самолетов и прочее, вплоть до того, что бои ведутся за Гродно и Каунас: дескать, не обольщайтесь,— борьба будет тяжела, длинная и жестокая. 〈...〉

Никуда не выходил. Думал о пьесе «Два генерала». Все конфликты выпали сами собой. Все прочистилось. «Пархоменко» несколько труднее,— вещь уже шла и герой из истории и им трудно оперировать.

Позвонил Соловейчик из «Красной звезды», попросил статью, а затем сказал: «Вас не забрали еще?» Я сказал, что нет. Тогда он сказал: «М[ожет] б[ыть], разрешите, вас возьмут?» Я сказал, что с удовольствием. В 12 часов 45 минут 25 июня я стал военным, причем корреспондентом «Красной звезды». Сейчас сажусь писать им статью — отклик на события.

27[*VI*]. Утро. Радио. 10 часов. Дождь, серо. Сведения тусклые и довольно неприятные — с Турцией. Спал плохо, хотя вечером Тардова сообщила очень уте[шительные] сведения о нашей Армии. 〈...〉 Был у Над[ежды] Алексеевны. Всюду шьют мешки, делают газоубежища. Появились на заборах цветные плакаты. Никто не срывает. Вечером — Войтинская звонит, говорит, что я для «Известий»— мобилизован. А я говорю: «А как же «Красная звезда»? Она растерялась. Очень странная мобилизация в два места. 〈...〉

8 июль. — Москва

〈...〉 Вся Москва, по-моему, помимо работы занята тем, что вывозит детей. Пожалуй, это самое убедительное доказательство будущей победы — гениальные муравьи всегда первым долгом уносят личинки. Закрасили голубым звезды Кремля. Из В[асилия] Блаженного в подвалы уносят иконы. 〈...〉

11 июля 〈...〉 Писать не мог, хотя и пытался. Жара удушливая, асфальт мягкий, словно ковер, по нему маршируют запасные, слышны звуки команды и стук по железу — в Третьяковке упаковывают картины. Никого не видел, разговаривал только по телефону,— и оттого чувствую себя легче. В 7 [часов] должен прийти Луков, будем переделывать «Пархоменко»— удивительно, как

много я возился с этой книгой. [С] Радио хотел[и] везти меня в госпиталь к раненым, но что-то не удалось, и мне прислали обыкн[овенные] листки [записей], по которым надо писать. Приходил Луков: уезжает доснимывать «Пархоменко» в Ташкент. Не зная, как его остановить, я пытался пугать его жарой.

12 июля 〈...〉 Ночью дежурил [на крыше] и разговаривал с каким-то, тоже дежурным, рабочим, которому являться на сбор 21-го. Он говорит, что наша армия еще «в азарт не пришла, а как придет, *ему* будет плохо», и что с собой надо брать хлеб, кило сахару и хорошо бы котелок, а то могут мотать долго, пока не пристанешь к месту.

13/VII. Днем был в лазарете; разговаривал с рядом раненых бойцов. В половине третьего узнали, что будет экстренное сообщение. Все страшно взволновались; собрались в комнате дежурной сестры. Думали и об Англии, и о нападении Японии, и о Турции. Но оказалось, первое. Однако обсуждали, как ни странно, это событие мало. После этого — полтора часа политрук Веремей рассказывал,— и очень здорово,— как он пробивался из Либавы на соединение. Я все записал. — В лазарете, старинном здании, сводчатые потолки, больных немного, но койки приготовлены всюду. Перевязывали обожженного летчика, я видал. Сидит жена,— но, впрочем, на свидание никого не пускают. Женский ординатор 2 отд[еления] положила всюду вышивки в кабинете и цветы [поставила]. Странно, но впервые, кажется, я видел лазарет и не испытал гнетущего состояния, которое испытывал всегда, когда ходил в больницы. Пришел домой, у меня Луков, попозже пришел Шкловский 〈...〉

22/VII. 〈...〉 Только приехал [из Переделкина] в Москву, причем неизвестно для чего, взял с собой полный чемодан книг. Лег, тревога. Побежал во двор. Шилькредт сзывает пожарников на крышу. Пошел и я, так как сидеть в бомбоубежище душно.

И вот я видел *это* впервые. Сначала на юге прожектора осветили облака. Затем посыпались ракеты — осветили дом, как стол. Рядом с электростанцией треснуло,— и поднялось пламя. Самолеты — серебряные, словно изнутри освещенные,— бежали в лучах прожек-

тора, словно в раме стекла трещины. Показались пожарища — сначала рядом, затем на востоке,а вскоре запылало на западе. Загорелся какой-то склад неподалеку от Дома Правительства,— и в 1 час, приблизительно, послышался треск. Мы выглянули через парапет, окружающий крышу дома. Вижу: на крышах словно горели электр[ические] лампочки — это лежали зажигательные бомбы. Было отчетливо видно, как какой-то парень из «дома с проходным двором» сбросил лопатой, словно навоз, бомбу во двор, и она там погасла. То же самое сделали и с крыши Третьяковской галереи, и с ампирного домика рядом с галереей. Но с одного дома на набережной бомбы сбросить не могли, и я днем уже увидал сгоревших два верхних этажа.

Зарево на западе разгоралось. Ощущение было странное. Страшно не было, ибо умереть я не возражаю, но мучительное любопытство,— смерти? — влекло меня на крышу. Я не мог сидеть на 9 этаже, на лестнице возле крыши, где В. Шкловский, от нервности зевая, сидел, держа у ног собаку, в сапогах и с лопатой в руке. Падали ракеты. Самолеты, казалось, летели необычайно медленно, а зенитки плохо стреляли. Но все это, конечно, было не так. 〈...〉

СТАТЬЯ, КОТОРУЮ Я ПЫТАЛСЯ ПИСАТЬ В ПОЕЗДЕ, УВОЗИВШЕМ МЕНЯ ИЗ МОСКВЫ 16 ОКТЯБРЯ 1941 г.

Мы получили от вас телеграмму в редакции газеты «Известия». На улицах шел мокрый снег. Мои друзья, студенты исторического факультета, шли на работу. Поставив лопаты возле громадного вестибюля из лабрадора в доме, где мы живем, они прибежали сказать, что не смогут со мной сегодня побеседовать. Возле станции Матвеевка, километрах в десяти от Москвы по направлению на Киев, им надо рыть противотанковые рвы. Я вышел на балкон, чтобы с ними проститься. Снег увеличивался. Их молодые голоса замерли в деревянном переулке. Они были очень довольные. В беретах, с веселыми, сияющими лицами.

В магазинах очереди за хлебом. Очень многие эвакуируются. Такое впечатление, что уйдет вся Москва.

Студенты! Мог ли я думать, что через два часа я уже сяду в машину.

Тревога чувствовалась в городе. Позвонил читатель — знакомый генерал. Спросил — есть ли у меня машина и приготовил ли я ее. Удивительно трогательное последнее прощание. Студенты, генерал, большой писатель, пишущий о физиологии, остался со мной в комнате и поцеловал меня.

Неслись машины в темноте.

Темнота!

Мы не знали, куда едем.

Правительственная комната. Узлы, чемоданы, ребенок с куклой.

Старый усатый революционер не успел домашней работнице внести шестьсот рублей. Отдал.

Первая станция, ночью. Шилово, где мы увидели свет.

Составы, составы.

Женщина продает яблоки, спрашивает:

— Как у вас Москва? Горе.

У меня оставалось для сборов полчаса.

Я взял английский блокнот и вот пишу на вашей бумаге. Пусть это будет символом нашей дружбы.

Снега. Дубы стоят в полной листве.

Темные домики, занесенные снегом.

Как никто, мы любим нашу Москву, нашу историю, нашу славу. Расставание было ужасно. Я знал, что уезжаю, что надо было что-то взять, но взял лишь блокнот, оставив два чемодана, приготовленных женой.

КУЙБЫШЕВ

18/XII. Темный город, хотя и не целиком затемненный. Кое-где сверкает окно и на углах улиц светятся фонари. Идут полупотушенные машины. Над Волгой темнеет туча — может быть, пойдет скоро снег.

1942 год

5 июня. Конец № 8. Шах-Зайнутдин, мазар.

Лучшим доказательством древней цивилизации на юге есть южное гостеприимство. Мы приехали к обыкновенным и, по-видимому, бедным колхозникам. Но как, однако, нас приветливо и тактично встречали.

Мальчишки, видимо, мучительно хотели разглядеть нас подробно, но, однако, ни один из них не вошел к нам в сад, где мы сидели. 15-летняя девица прислуживала нам с упоением. Она бегала, кокетливо размахивая руками, но тоже очень сдержанно. Косы на ее спине мотались то вправо, то влево, из-под белой рубашки выглядывали алые панталоны. И как все было мило и радушно. Перед тем мы осматривали мазар. Я знаю, откуда и какие здесь были в прошлом архитектурные влияния. Знаю, что культура здесь была бедна и убога, что мазар этот — единственный в Ташкенте, город, который существует уже много лет,— и, однако же, как это величественно! А в особенности, когда старину эту окружают пасущиеся коровы, чертополохи, могилы, похожие на большие чугунные утюги, бело-желто-розовая пыль. Смена света после тени такая, что будто бы выходишь из пещеры. Через пятьсот лет пишущая машинка «Ундервуд» будет вызывать такое же почтение.

Купались в арыке. Худ[ожник] Уфимцев снимал нас. Я вспомнил, что в прошлом году я ни разу не искупался — будто в Сетуни лежали бомбы.

Суп варили из консервов — плова, и все восхищались,— а в особенности молодым чесноком.

6/VI. Окончил роман «Проспект Ильича». Испытываю живейшее удовольствие от этого события. ⟨...⟩

Тополя в свиных переплетах,— придумал я в тот день образ, наверное думая о том, что хорошо бы увидать свой роман если не в свином, то хотя бы в молескиновом переплете.

8/VI. Пришел редактор Киевской киностудии, кажется, Лазорин сообщить, что сценарий мой «Проспект Ильича», в основном принимается. Нужны доделки.

Правил роман.

Такая слепящая жара, что кажется — тень от телеграфной проволоки способна дать прохладу.

Я всегда был расточительным и все реже и реже жадным. Но — жадность на книги оставалась всегда, а сейчас она обострилась. Конечно же! Дикари ничто так не любят, как оружие. В совр[еменном] обществе книгой можно ловчее убить человека, чем самым острым кин-

жалом. Вчера пришли дети от Пешковых, и я страшно рассердился, что Тамара отдала им мои книги. Из отрывистых сообщений С[ов]и[нформбюро] видно, что начался штурм Севастополя.

9/VI. Пришел человек, сценарист, видимо желающий впрячься в колесницу моего сценарного «опыта»: стал он рассказывать о Туле, куда хочет поехать «на материал». И я вдруг с ужасом увидел, что он рассказывает неимоверно опошленное содержание моего романа. В результате я сказал ему, что мне мой роман надоел и я не хочу повторять его второй раз. ⟨...⟩

12/VI. Получили на почте 6 бандеролей. Шекспир, Кант и «1001 ночь». Правил роман: 20 страниц в день,— как раз столько, сколько я писал, когда сочинял. ⟨...⟩

15/VI. Понедельник. Подписал договор на «Пр[оспект] Ильича».

⟨...⟩ Приходил Луков. Рассказывал придуманный им сценарий, видимо, хочет со мной написать. Слабость. Работать не могу. — Богословский приходил к нам с железным молотком, который забыл у Лукова. Получил авторское «Щит славы».

16/VI. Вторник. Опять в слабости лежал весь день, читал М[айна] Рида. К счастью, пришла машина, а то едва ли б смог пойти на вечер памяти Горького. Лазарет. Голубые стены, белые розочки зрительного зала. Здесь раньше был Плановый институт. Над хорами надпись «Я обязуюсь». А народ спускается и на креслах калеки — без рук, без ног, с забинтованными головами. Коридоры полны кроватями. Вошел человек с лысиной на макушке,— глаза и лоб его закрыты полоской марли. Его сопровождали студентка САГУ́, видимо очень довольная своей ролью сестры. Да и слепой, у которого вместо глаз протезы, вставные челюсти, нос, щеки — ему уничтожили лицо взрывом авиабомбы — тоже доволен. Он воображает себя, как мне сказали, Урицким. Во всяком случае, я сам слышал, как он шутил с секретарем парторг[анизации], толстой и очень нежной, кажется, дамой. Фамилия его — Урицкий. Он перенес шесть операций лица. В лазарете, наверное, не меньше 500

больных, а бензину им на машины дают в день 5 литров — «Ловчимся, но так страшно, каждая поездка как выстрел»,— сказала заведующая клубом. — Шли из лазарета пешком: актр[иса] Раневская, ее партнерша и какая-то служащая лазарета, которая боялась грабителей. Радио. Слушал. Севастополь — нем[цы] на окр[аине] города.

23 четверг. 〈...〉 Позвонил Луков: с 20-го в Москве идет «Пархоменко», в газетах появились сочувственные статьи. На улице анонс — афиша об «А. Пархоменко». Телеграмма из Киевской студии — о сцен[арии] «Проспект Ильича». Из газеты сегодня просят еще отрывок.

24/VII. Пятница. Телеграмма от Юговой, поздравляющая с успехом «Пархоменко». Есть фраза —«москвичи в восторге»! Был в Союзе у Джалибекова. Похоже на то, что получу пять тысяч рублей уже потиражных. Отдал отрывок из романа для «Правды Востока». Спор по поводу стих[ов] Гафур Гуляма —«Тоска по сыну».

27 [июля] понедельник 〈...〉 Открытие выставки детского рисунка в Узбекистане. Выставка — первая. Нет — масла и почти нет рисунка пером. Скульптуры тоже. Между рисунками несколько отрывков — воспоминания детей о войне. Вот это действительно страшно и нигде не показывалось. Сын пишет: «Папку с мамкой убили, когда я подошел. Я их сдвинул, чтобы они лежали рядом, и побежал дальше».

[среда. 29] июля. Бои возле Батайска, т. е. немцы идут к Владикавказу...

Наши войска, несомненно, защищаются героически и хорошо. Происходит это потому, что многие понимают: если исчезнет защищаемый строй, то исчезнут и они. 〈...〉 Я убежден, что у нас есть силы для наступления, скажем, в районе Москвы (иначе бы немцы там наступали), но силы эти пока не пускают в ход. 〈...〉

30 августа, воскресенье. 〈...〉 Достоевский пишет ужасно неряшливо. Перед ним вычищенные и выглаженные многочисленными редакторами,— многочисленные современные писатели как боги перед щепкой. Но эта-то сухая щепка замкнет храм, где и задохнутся эти боги. 〈...〉

5 [IX]. Суббота. ⟨...⟩ Надо — зав[од] 84. Вечером Л. Соболев. В промежутке — к комиссару, деньги в из[дательст]ве и Живов.

Был на 84[-м заводе]. Работают 12 часов. Обед — кусок колбасы, грамм двести, не больше,— и кусок хлеба. Едят тут же в цеху, для скорости. Работают на сварке мальчишки, лет четырнадцати, курят, а ростом вполчеловека. Инженер смеется и доволен: «Ничего, работают» ⟨...⟩

7 понедельник. — С Наркомом местной промышленности осмотрели три предприятия: завод Ильича, мехзавод и цех штамповки. Крайне интересно. Удивляешься чуду жизни, тому, что люди изворачиваются в таких необыкновенных обстоятельствах, о которых следует написать очень подробно. На заводах стариков очень мало и пожилые люди в редкость,— мальчишки и девчонки. Главное: а) борьба за материал; б) и затем, чтобы не портили этот материал; в) за пищу, так как местной промышленности не дают не только материалов из Центра, но и пищи, вот рабочие и живут на 600 гр. хлеба. ⟨...⟩

12/IX. Размышление о терминах, записанных в Ташкентской библиотеке, когда я ждал книг и смотрел на стену с таблицами и подле меня сновали люди с выписками.

Термин — есть основа мышления, как подошва есть основа обуви. Верх обуви может быть тряпичный, кожаный, веревочный или вообще отсутствовать, но без подошвы, как речь без термина, обувь будет называться отрепьем.

Высшая степень термина,— ибо они тоже, как и обувь, бывают разные,— это та, когда термин превращается в закон и, как таковой, неколебим и непроницаем. Обычно тогда термин оканчивается на частицу «изм». Поэтому движение, имеющее для людей грозный или привлекающий характер, к имени лица его придумавшего, непременно украшается «измом», как раньше во Франции дворянские фамилии украшались добавкой «де». Например, если б какой-нибудь Иванов нашел легкий способ повесить в течение одного часа пять миллионов человек, его выдумка, несомненно, называлась бы «иванизмом». Но если б тот же Иванов подстрекнул

несколько ребятишек обворовать яблоневый сад, его ученики назывались бы пренебрежительно «ивановками», а буде тот же Иванов создал бы какую-нибудь секту плевальщиков или сморкальщиков или просто бандитов, то она называлась бы «ивановщиной», а еще в меньшем масштабе просто «ивановцами». Когда же движение, придуманное Ивановым, отошло бы в вечность, то о нем вспоминали бы,— если, конечно, нашлись такие любители,— как об «ивановстве», а размышляющие над этим движением — «ивановствующие», однако погрузись они глубже в бездну сей науки, о них говорили бы пренебрежительно как об «иванствовании», пока наконец какой-нибудь добрый человек не сказал бы:

— Все вы ивановные дураки.

И это звучало б чрезвычайно убедительно, так как напоминало б одновременно и иву или, в худшем случае, нечто плетенное из нее, а дурак, как известно, сплетен из обрезков ума, а с другой стороны, звучало бы в роде «виновные дураки», что еще более убедительно, так как дураки всегда виновны,— я это проверил на своем опыте не раз,— и в-третьих: любое прилагательное к слову «дурак» убедительно и способно заменить любой термин, а значит, и любое философское размышление.

15 октября. Пятница. Вечером был у худ[ожника] Уфимцева. Приятель мой живет в Старом городе, дворик его пуст, ходит по двору козел —«который не растет уже полгода! Но он получит за это возмездие». У Уфимцева постоянно вопросительный взгляд, грустный и усталый. Дом не затворяется, т. к. нет запоров, заместо этого — тощая, исхудавшая,— колли; инструктор собаководства выдрессировал собаку. Виктор Иванович показывал свои картины. Современные, «реалистические» картины его мне не нравятся. Люди похожи на статистов, которым разрешили сыграть Шекспира. Но серия «Турксиба», по форме принадлежащая к «условным», мне показалась очень недурной. ⟨...⟩ На дворе у моего приятеля растет развесистая касторка. Электричества нет, весь район выключен. Мы пришли в пять, а около восьми зажгли коптилку, наполненную касторовым маслом. Свет от коптилки розоватый, и оба мы сразу поняли Рембрандта и стали хохотать.

На улицах, у репродукторов, толпы. Слушают сообщение о том, что мы тоже намерены судить руков[оди-

телей] немецкого правительства за войну. Так как два дня уже сводка говорит, что «на фронте ничего существенного не произошло», это решение кажется убедительным и возможным.

23 октября. Пятница. После длительного солнца и тепла всю ночь шел дождь. Голубые вьюны, величиной с чайную чашку, закрывают стены террасы. Небо в тучах. Все желтые листья с деревьев опрокинуты на землю. Заметно потемнело. Но еще тепло и уютно на улице.

Человек, в массе, никогда не был добрым,— и не будет!

Людей классифицировали всячески: по экономическим признакам «материализм и классы», по политическим системам, по системам искусства (например, «люди Возрождения»), по религиям, по этическим запросам, по способности воспроизведения подобных,— но почему бы не попробовать расклассифицировать людей по их *злобе?* Какая бы получилась библия! Сколько измышлений подлости, лжи, коварства, а главное — притворства. Класс «А»: наиболее злобные. Подкласс: 1) открыто злобные 2) скрыто... 3) с отвращением злобные 4) с наслаждением... вплоть до принужденно злобных, которых, кстати сказать, меньшинство.

Забронированы места на самолет.

25 [*X*]. *Воскресенье.* Сдали багаж, купили билеты и уселись в машину ровно в три ночи. ⟨...⟩

Стоя в состоянии ослепительно-прекрасном, идем на высоте двух тысяч метров. Холодно. Пассажиры или ходят, или танцуют, или сидят недвижно, завернувшись в одеяло, которым укутывают моторы на ночь. Внизу то лунные кратеры, то река, словно бы заледеневшая; хотя и знаю, что льда нет, но все же не верю: то озера розовато-мутные, из застывшего стекла, то ниточки тропы,— ни жилья, ни дымка. Заснули. Через час-два та же картина. Опустились в Джа... черт его знает, как [он называется] и дальше. В сумраке пошли искать вокзал. Вокруг степь, два-три домика. На вокзале ожидающие бензина экипажи самолетов, при свете «летучей мыши» играют в домино, сидя на некогда модных, квадратных креслах, ныне лоснящихся. Смотрим полчаса, час. Накурено. Печи нетопленные. ⟨...⟩

В Актюбинске пили горячую воду. Нач[альник] аэропорта сказал, что мы полетим через Казань, где и заночуем. Через час стали попадаться коричневые полосы полей. (Возле военного аэропорта — разрушенные здания, и у ж[елезно]д[орожных] путей — тоже 〈...〉) После словно бы полотно художника с плохо протертой грунтовкой. Под Куйбышевым, возле речек и Волги — начало качать. В Куйбышеве много машин, тесно. В гостинице спят на полу. Не успели съесть ломтика хлеба с маслом — лететь!.. Если через 15 минут вылетим, то пустят в Москву,— сказал какой-то подполковник, все норовивший сесть под картину, где изображен Чапаев, скачущий на белом коне с развевавшейся позади буркой, а за нею — буро-красным знаменем.

〈...〉 Началась изумительно красивая Волга, которую я впервые вижу с самолета, если не считать коротенького полета над Горьким, свершенного еще во времена Моти Погребинского. Преобладает нежно-лиловый; но осины чудесны! Я долго вспоминал, на что они похожи,— затем вспомнил: узоры голубо-синим,— с жемчугом — на плащаницах. Наши предки не летали, но видели мир не хуже нас. Озера в желтых берегах. Костры. Какие-то знаки для самолетов — из соломы — может быть, макеты искусственных аэродромов — отвод глаз немцу. Летим низко, у самых вершин деревьев. К шуму притерпелся. Качка не действует,— хотя укачало не только женщин и детей, но и военных, в частности и того подполковника, который все норовил сесть под Чапаева. Крылья то поднимаются, то опускаются, из-под них видны стволы деревьев, овраги, деревни, из-за соломенных крыш кажущиеся разрушенными. Очень редко мелькнет церковь. Шоссе. Машина. Вдали трубы и большие здания города. Река. Дачи. Я узнаю Москву. «Москва, Москва»,— слышно в самолете, где возле таблички — какой груз [везет] самолет и как выпускать десантников — блюют военные. Опускаемся. Лес. Внуковский аэродром? Как отсюда попасть в Москву? Кто-то из экипажа, пробираясь через тюки, говорит:

— [Это —]Горький. Москва не приняла,— шторм.

26 [*X*]. *Понедельник.* 〈...〉 Пишу в самолете. Качает. Солнце качается на ящиках, зашитых в парусину («Всю ночь зашивали при свете коптилки»,— говорит какая-то женщина), на коричневых чемоданах, на черной стене

и черных скамейках,— серое идет, когда начинаются ребра купола. Никто не разговаривает, никто не глядит в окна — или ждут Москвы, или реакция на качку. Направо внизу лиловые леса в утренней дымке, налево какая-то река, может быть, Ока. Пишу я без очков, и оттого все уходит вдаль. И странно видеть тень нашего самолета, бегущего по лесу,— по этой тени только можно понять, с какой быстротой мы идем. Нога на деревянных планках, прибитых к решетчатому, шершавому линолеуму,— и кажется, что гул несется из-под ног. Очень хороши серые дома деревеньки с острыми, покрытыми дранкой крышами и длинными тенями. Заборы тоже серые и позади снова тень. Был иней, мотор стал работать,— и трава погнулась, [иней] стал осыпаться и его угнало. Облака летят низко,— метров на 300. Выше — небо ясно, но подняться мы не можем и потому летим, рассекая облака. Впрочем, солнце довольно успешно пробивается сквозь них. Прибыли. Москву можно узнать по рыжим поленницам дров среди леса. Они похожи на ульи. Вдоль узкоколейки они стоят целыми улицами.

Затем: ожидание в зале аэропорта, тщетные попытки дозвониться. Сели в метро. Первое ощущение в вагоне — радость. Почему? Чисто? Да, пожалуй, жители здесь почище, сдержаннее. А вот другое 〈...〉 всюду — русская речь. 〈...〉

5. XI. Написал статью «Москва» и для ТАСС — высказывание к 25-й годовщине. И сказал там правильно — «25 лучших лет моей жизни». В конце концов — это правильно, ибо ничего лучшего не будет ни впереди, ни позади. Вчера целый вечер сидел Андроников, рассказывал, как он «ориентировался» по фронту за комиссаром дивизии, и как корпусной комиссар приказал ему — «через два дня читать лекции о противотанковой винтовке», и как не разрешали ему выступать перед бойцами, потому что он — «писатель, а не актер из какой-нибудь бригады». 〈...〉

7 ноября. Суббота. 〈...〉 Выставка. Холодно. Все в пальто, в пиджаке. Храпченко, его помощники, да я — ибо пиджак у меня толстый как пальто. Совсем нет молодых лиц. И все, кого ни встретишь из знакомых,— постаревшие. Выставка называется «Великая Отечест-

венная война» — и похоже, что художники ходят по улице, а открыть дверь в квартиру, где происходит подлинная жизнь, страдает, мучается и геройствует современный человек [нет]. Есть улица, взрывы в поле, корабли, взлетающие на воздух,— неправдоподобное пламя,— но нет самой настоящей войны,— даже быта нет, улыбки, жизнерадостности — лица у всех исковерканы гримасами, а издали все картины похожи на обложки табачной коробки. Есть несколько правдивых картин о страданиях Ленинграда — и правда, как всегда, побеждает,— впрочем, великолепная ложь тоже побеждает, но в описании Москвы даже нет этой великолепной лжи. Плох П. Кончаловский — «Где здесь дают кровь?». ⟨...⟩ Конечно, во время войны не говорят о крови и не показывают кровь, и поэтому картина Кончаловского «Где здесь дают кровь?» так же далека от крови, как и страстная неделя от подлинных Страстей. Но все же правде надо глядеть в глаза, хотя бы для того чтобы увидеть эту правду... Возвращались мы по морозу. Тамара довольна всем — морозом, пищей, тем, что сегодня и утром и вечером дают по стакану какао, а в рагу, как с гордостью сказал официант, «45 грамм в порцию», но я тоскую по Ташкенту. Впрочем, в Ташкенте сейчас я бы тосковал по *такой,* как ныне, Москве. ⟨...⟩ На вернисаже было только два писателя — я и Шкловский, да и тот небось потому, что пишет статью: что-то он очень внимательно рассматривал картины. Остальные — журналисты, приятели художников. Военных почти нет, а генералов, во всяком случае, нет ни одного. ⟨...⟩

10 [*XII*]. *Четверг.* Из Свердловска приехала О. Д. Форш, бодрая, веселая, говорящая много о работе — и упомянувшая раза три-четыре о смерти. Она рассказывала, как ездила по Ср[едней] Азии, как видела Джамбула, который сердится на фотографов, съевших его яблоки. Хочет ехать в Алма-Ату. Тамара отговаривала ее. Перед уходом она сказала:

— Мне очень любопытно узнать, что происходит сейчас в Германии. Робеспьер, Демулен и прочие вожди фр[анцузской] революции родились в масонских клубах. Там получали они идеи, которые подали народу. ⟨...⟩ Мне помнится, Штейнер ругал русских — «свиней, нуждающихся в пастухе». Где-то там в теософических кругах, родился и воспитан этот истерик — марионетка Гит-

лер, за спиной которого стоят... не теософы ли? Это ужасно интересно.

На ногах у ней «коты». Белье стирает она сама, да и шьет на себя сама,— широкая, старая-старая. Она уехала в Москву, чтобы пайком ее питались дети ее дочери. Обрадовалась, когда Тамара добыла ей «сухой паек» вместо обедов в столовой нашего клуба. Будучи в юности антропософкой, она и сейчас считает движение это мощным и что из него можно вывести гитлеризм. Уэтли — «Основания логики» которого я читал недавно, говорит в одном месте — «Слабый довод бывает всегда вреден, и так как нет такой нелепости, которой бы не признавали за верное положение, коль скоро она, по-видимому, приводит к заключению, в справедливости которого уже прежде были убеждены».

16 [*XII*]. *Среда.* Днем пришли Гусевы — говорили по телефону с Ташкентом. Наш Миша — с 9-го — болен брюшным тифом. Слышать это — очень тяжело: парень он квелый, все время хворал. Состояние наше отвратительное. Тамара бросилась добывать телефонный разговор с Ташкентом, через «Известия».

17 [*XII*]. *Четверг.* Тамара все хлопочет о телефонном разговоре. Ни работать, ни думать не хочется. В голове все мальчик.

〈...〉

18 [*XII*]. *Пятница.* «Известия» так и не добились телефона. Помог актер Райкин. 〈...〉 Есть еще добрые люди на свете! Прошлый раз Тамара говорила по телефону. Телефонистка, слушавшая ее, так была поражена разговором о болезни мальчика, что сказала после разговора Тамаре 〈...〉: «Я Вас понимаю. Через неделю во вторник будет мое дежурство. Я Вам устрою еще разговор с Ташкентом». И,— устроила. Мы были просто счастливы, а то бы несчастной Тамаре ехать 7—8 дней и думать — как там Миша?

24 [*XII*]. *Четверг.* Статья напечатана.

Читал книжку русских юмористов, относящуюся, примерно, к 1912 году. Боже мой, какое гигантское влияние Чехова — на всех! Почему-то раньше этого не было заметно.

Окончательно придумал сюжет «Сокровищ Александра Македонского» и очень доволен им: много неожиданностей, препятствий, поисков. Если бы удалось сделать характеры,— было бы чудесно. Уже хочется писать, хотя «Проспект Ильича» еще никак не устроен: читают.

26 [*XII*]. *Суббота*. Перетащился из гостиницы домой — «на Лавруху» — и вдруг почувствовал, что такое тишина. По переулку словно никто не ходит, не говоря о том, [что] автомобилей нет и впомине. На лестнице тоже шагов не услышишь. Телефон испорчен — можно звонить от меня, а ко мне нельзя. Чувствую себя от этой тишины не по себе, а я и не замечал, мне казалось, что в гостинице тихо.

В «Гудке» обещали к понедельнику сообщить, через своего ташкентского корреспондента, что с моими детьми.

27 [*XII*]. Весь день укладывал книги, смотрел старые журналы, в минуты отдыха «Русский вестник» и «Отечественные записки». Я в валенках, данных мне Ник[олаем] Вл[адимировичем],— терпеть холодок можно, только опасаюсь, что долго сидеть за письменным столом будет трудно, замерзнешь.

Вечером зав[едующий] лит[ературной] частью «Учительской газеты» привел учителя Балабая, убившего 65 немцев. Он рассказывал менее ярко, чем «генерал Орленко», но все же любопытно, потому что это человек обыкновенный, рядовой. Читал то, что надо читать, мнения о прочитанном имеет простые, дневник его, который он мне показал, украшен открытками, рисунками, вырезанными из журналов, переписанными стихами («Жди меня» подчеркнуто несколько раз), лозунгами: он спокойно описывает природу, погоду и что сделано. Он читал мне отрывок из дневника и очень оживился, когда стал рассказывать о том, как убивал немцев кинжалом.

Отправил 1-е письмо к Тамаре. Отмечаю красным [карандашом], чтобы правильно вести счет.

29 [*XII*]. *Вторник — 30. Среда*. Вторник — сидел дома, перебирал книжки. Подписал договор с «Гудком».

В среду написал статью для «Гудка», в новогодний номер. Но бог их знает,— небось на них не угодишь.

Получил телеграмму от кор[респондента] «Гудка». «Дети писателя Вс[еволода] Иванова Вячеслав и Михаил поправляются. Чувствуют себя хорошо. Дома все в порядке. Просят отца телеграфировать». Весьма порадовался телеграмме.

Вечером пересматривал письма, рукописи. Много рукописей выбросил — и своих и чужих. Письма разных авторов уничтожил совершенно. Огромное количество чепухи и дряни. Перечитываешь — и нападает тоска, и думаешь, что ты бездарен совершенно. Полное отсутствие связи и формы.

Библиотеку совершенно привел в порядок. Оказались лишними только поэты. Наверное, подарю их И. И. Розанову.

Новый год думаю провести один. Не хочется идти, ни в гости, ни тем более приглашать к себе. Да и чем я буду угощать гостей? Хлеба и того не хватает мне.

30/XII. «Пархоменко» закончен 17 февраля 1939 г. Через день сдал издательству.

Книга, первые листы, начали печататься 7 марта.

14-го заменили последнюю запятую в фразе «Ламычев подумал с удовольствием...».

Десять дней до 17-го едва ли не лучшие по настроению — ходил довольный. И столько думал о всяких хороших вещах...

И. Лежнев усиленно просит экземпляр «Пархоменко». В издательстве, говорил Кончаловский, ждут книгу с нетерпением.

[...] Прочел эти размышления 30 декабря 1942 г., то есть без малого четыре года спустя. Как многое изменилось! ⟨...⟩

А пройдет четыре года, буду опять перебирать бумаги (если не протяну к тому времени ноги), и волнения по поводу «Пр[оспекта] Ильича» будут [тоже] казаться пустяковыми. Одно жалко перебирая бумаги,— неужели же нельзя было и думать, и писать глубже? Какие все пустяки, какая мелочь! Ведь я же прожил огромную и очень занимательную жизнь,— и что останется от этой жизни? Томик рассказиков; может быть, какой-нибудь цветистый роман о Сибири, да и то едва

ли,— и пустота. Не то чтоб я так уж боялся этой пустоты, наоборот, она, до известной степени, прельщает меня, но просто глупо, имея хорьковую шубу, ходить в армяке. Мне думается, что прельщающая меня пустота — и наполняла пустотой многие мои работы.

Марлинский прожил жизнь не меньшую, чем Достоевский, но первый — цветок в гербарии, а второй — вечно живое семя жизни. Аминь.

[1943 год]

8 января. Позвонил в «Новый мир» узнать о судьбе своего романа.

Говорит Дроздов:

— Я должен вам, Всеволод Вячеславович, сообщить неприятное. Щербина (редактор «Нового мира») думал-думал и решил не печатать романа. Он мотивирует тем, что роман — надуманный. Очень талантливо написано, но надуманно. ⟨...⟩

Теперь долго, с месяц, наверно, буду думать, что все, что я пишу,— надуманное. Как будто вся литература вообще — до Библии включительно — не надуманна. ⟨...⟩

Уф! С другой стороны, и легче. Не выпустишь романа — меньше неприятностей, разговоров, больше ожидания в будущем. ⟨...⟩

13 [*января*]. *Среда* ⟨...⟩ Шел из книж[ного] маг[азина] Армянским переулком. Когда-то, лет семнадцать тому назад — при существовании «Круга», я хаживал там часто. На углу стояла прекрасная церковь, а подле — гробница, вернее, надгробие, боярину А. Мартсеву. Церковь почему-то сломали, и на ее месте торчат пять-шесть деревьев, особенно жалких в эти морозные дни. Возле гробницы выстроили трехэтажный дом... боже мой сколько надел[ано] глупостей! Как хорошо, если все же, несмотря на все эти глупости, будущее признает, что — в общем конечно — сделано все было на пользу всем людям. ⟨...⟩

В из[дательст]ве «Молодая гвардия» на стульях девушки пилят дрова. Редактор в меховом жилете, говорит тихо, словно бережет теплое дыхание. Мороз, кажется, 24 градуса. Из форточек домов высунулись,— ве-

чером особенно заметно,— всюду трубы времянок, и белый дым, похожий на пар (дрова сырые), стелется переулком. От дыма, что ли, но дома оказались вдруг очень плоскими, словно книги. Стоят тысячи унылых книг, которых никто читать не хочет,— таких вот по «технике» сейчас в магазинах очень много,— и от злости из них идет пар! Да-с. А в домах-то жизнь грозная и страшная, не дай, господи.

16 [*I*]. *Суббота.* Холод. Говорят — 33°. Вышел на часок,— в книжный магазин, купил что-то об Элладе,— замерз страшно. Сижу за столом. Ноги в меховом мешке из волчьей шкуры. Терпеть можно, но мерзнут пальцы. Хотел пойти в «Гудок»— холодно, отказался от этой мысли. Надо бы получить жалованье, гонорар,— но получек мало, и, стало быть, торопиться нечего.

Написал первую главу «Сокровищ». ⟨...⟩

17 января. Воскресенье ⟨...⟩ Великая радость: добивают двадцать две немецкие дивизии под Сталинградом. Пожалуй, это первая — бесспорная — победа над немцами за все время войны, исключая, ясно, поражения их под Москвой ⟨...⟩

25—26 [*I*]. *Пон*[*едельник*]. *Вторник.* Написал статью с цитатой из Э[дгара] По. В два часа ночи приехала Войтинская — надо вставку о том, что 22 дивизии у Сталинграда добиты. Написал, передал по телефону,— и, что самое удивительное, опять уснул. Правда, помогла «История эллинизма» Дройзена,— сочинение длинное и невероятно скучное, которое, однако, приходится читать. Искал какую-то книгу, под руки попал В. Брюсов, «За моим окном». Я прочел. Он рассказывает там, между прочим, о том, как его рисовал Врубель,— под конец смыл затылок и оставил одно лицо. Брюсов обижается и называет Врубеля сумасшедшим. Но когда прочтешь, например, книжку «За моим окном», видишь, что Врубель таки был прав. Символисты пыжились, раздувались, старались казаться и выше и умнее. Впрочем, великанам, вроде А. Блока, это и не нужно было, но Брюсов делал это зря. У него был свой крошечный мирок — рассказ «На святом Лазаре» (так кажется?), очень приятная вещица, которая должна быть во всех хрестоматиях. ⟨...⟩

13 [*II*]. *Суббота.* Чувствую себя несколько лучше.

Написал статью для «Гудка». Вечером там же разговаривал с инженером, нач[альником] службы движения юго-западных дорог в Киеве, который был несколько месяцев, вернее, больше года, нач[альником] диверс[ионно]-разв[едывательного] отдела в партизанском штабе отрядов Курской области. Это — пожилой, сорокалетний мужчина с массивным лицом бюрократа, с белокурыми, сильно поредевшими волосами, должно быть, некогда очень следивший за своим внешним видом, а сейчас очень довольный тем, что ему дали полушубок. В конце разговора он стал говорить более широко, но человек он, по-видимому, сухой, сдержанный и предпочитающий говорить отчетно. Фамилия его — Фоканов, он из Ленинграда.

Я спрашиваю его:

— А книги для чтения у вас были?

Надо помнить, что он год был в лесах; и посейчас, когда выходит днем,— оглядывается, так как днем они выходили «в поле» редко, а если шли, то озирались — нет ли немцев или полицейских.

— Книг не было. Однажды зашли мы в село. Я к учительнице: «Нет ли чего почитать?» Она говорит: «Немцы библиотеку пожгли, а у меня, из личных моих книг, остался один Тургенев». Я беру книгу в руки. В томе — «Рудин» и «Дворянское гнездо». У меня память хорошая, я Тургенева хорошо помню, но тут глаза так и бегают по строчкам. Выпросил книгу. Прихожу в отряд и гляжу — какие-то у товарищей странные взгляды на меня. Как будто как в детстве читал,— плывут на лодке, голодные, и пора бросить жребий... В чем дело? — думаю. А сам — в книгу. А они на меня глядят. И лица тоскующие! По книге! Ну, думаю, если я эту книгу выпущу — прощай! Работа же у меня такая, что надо часто уходить. Книгу оставлять нельзя. И — я ее закопал в лесу. Приду, почитаю и опять закопаю, как только оторвут.

15 [*II*]. *Понедельник.* Прелесть Диккенса, особенно юмористическая сторона его, в том, что он подсмеивался над неподвижным и косным бытом. Натурализм этот юмор принял как форму и тем самым уничтожил юмор и создал роман, которому скоро будет уже сто лет. ⟨...⟩ Нужно отбросить все лишнее — описание портянок, ко-

торых, кстати сказать, мало, рукавиц, шинели. Лохмотья так однообразны! И так они похожи на шинели! Нужно оставить чувства, страсти, столкновения... Нужно создать романтизм. И без этого не обойдутся, так как и натурализм и реализм явления *критические* (Флобер, Золя, Чехов, Горький, даже Л. Толстой — все писали критику на сущ[ествующий] строй и человека), а надо искусство проповедническое, и значит, романтическое. ⟨...⟩

17/II. Среда. Даже в современном, сильно унифицированном уме человека понятие «сосна» весьма разнится. Да, что такое дерево? Сосна, в частности? Что думает о сосне крестьянин и что, скажем, профессор-биолог? И что подумает тихоокеанский дикарь, никогда не видавший сосну? Нужно обладать большой гордостью, чтобы отрицать «ноумен». Это — по поводу «Двойника» Достоевского, который я перечел только что, преодолевая шум, наполнявший голову.

18 [II]. Четверг. Писал рассказ «Честь знамени». Конец придумал замечательный, но, к сожалению, «надуманный». ⟨...⟩

19 [II]. Пятница. Дома. Писал и тут же перепечатывал рассказ «Честь знамени». Получается что-то длинное.

Наука всегда стремилась классифицировать. Теология мешала ей в этом. Но теперь теология не мешает — и наука словно сошла с ума. Каждая отрасль науки,— даже не наука! — старается приобрести свой язык, свои термины, свои значки. Литературоведение пока питается крохами, падающими со стола философии и экономики, но уже так называемые «формалисты» пытались изобрести,— да и изобретут еще! — свой литературный жаргон. Мне нужны были справки о радиоактивных рудах в Фергане (Ал. Македонский хотел там лечиться — такова легенда). Я раскрыл В. Обручева «Рудные месторождения». Как вам нравится, например, такая фраза: «Свиты известняков гряды, поставленных отвесно и принадлежащих к в[ерхнему] силуру, девону и н[ижнему] карбону, зажаты в свите битуминозных глинистых и кремнистых сланцев в[ерхнего] силура и девона, перемежающихся с вонючими известняками и песчаниками и с пластовыми

интрузиями и покровами диабазов, диабазовых и кератофировых туфов и брекчий». Вся книга написана таким языком. Если же я напишу — «гряды глин, песчаников, туфов и известняков перемешивались в самом беспорядочном состоянии, как рифмы у современного поэта», про меня скажут, что я не знаю жизни, и все выдумываю. А если же я напишу тем чудовищным языком, который я привел только что, меня не будут читать, хотя и признают, что я хорошо изучил дело. Дело! Это все дело состарится через 30 лет, когда ученые уже будут объясняться значками и у каждой ветви науки будет своя азбука. Поэты совершенно правильно делают, что не изучают жизни. И я говорил глупости, когда требовал «изучения». Во-первых, боль — нельзя изучить, пока сам не переболеешь (а мы болели достаточно и что толку?), а во-вторых, чем больше ошибок в твоей книге и чем ты меньше знаешь жизнь, тем ты будешь убедительнее. ⟨...⟩ Дело не в том, что «знаешь жизнь», т. е. понимаешь все эти значки и словечки, куда и что прикладывается, а дело в *таланте*. И все! На теперешний ⟨...⟩ взгляд Ф. М. Достоевский совсем не знал жизни: он обозначал профессии, а не рассказывал, в чем они заключаются и как «это» делается. Между тем никто как он мог показать ужас от того червя, который и поныне точет нашу страну — «бюрократизма» (почитайте «Слабое сердце»). А что *мы* делаем? У всех оказалось — слабое сердце. Мы стали писать, заготовили тетради, чернила,— жизнь манила нас, любимая женщина появилась, друзья... и напугались! Бросили, не дописав и первой тетради,— и какой-нибудь сукин сын Юлиан Мастикович, через сто лет, разведет скорбно руками и не поймет, с чего это Всеволод Иванов и иже с ним сами себе сказали — «стоп!» «лоб!» Да, не через сто лет скажет, раньше — только дай ему, скоту, волю. Воля, впрочем, дана, но он ее еще упражняет пока не на нас.

21 [*февраля*]. *Воскресенье.* ⟨...⟩ Особенно людей упрекать не стоит, мы чаще всего сами лепим ту маску, над которой люди смеются, все же погоревать над будущим неосуществившимся, каковым является роман, и полезно, и нужно, и нельзя без этого. После грозы дождь. После дождя трава. А в траве — цветы.

2-го [*марта*]. *Вторник.* Из старых записей (которые выбросил).

⟨...⟩ Иду по Тверской. На углу,— против Моссовета,— стоят Ливанов с заспанным лицом и желтыми (от грима) бровями, Кончаловский в бобрах и улыбающийся. Кончаловский говорит, указывая на Моссовет:

— Не пойму я никак, была на нем крыша?..

Ливанов говорит:

— Если вас волнует только одна эта проблема, я могу вас успокоить. Крыша была, но ее разобрали перед войной, так как решили надстраивать два этажа. Мы еще волновались: портят здание...

И мы все захохотали. Мимо идут женщины строгие, в ватных штанах, с лопатами на плечах. Тащат кто что может на плече. На ногах — коты. Лица сплошь немытые. И ко всему — сверкают золотые погоны командиров, как обещание — чем кончится война.

Заговорили о поляках. Нынче напечатана декларация польского пр[авительст]ва к нам, малоуважительный ответ на нее. Ливанов сказал:

— Тут взрослые не могут договориться, а тут еще и дети «под ноги лезут».

Говорю:

— До свидания, братья.

А П[етр] П[етрович] Кончаловский (так можно сказать только в двадцать лет):

— Подождите, В[севолод] В[ячеславович], постоим еще. Так приятно, оказывается, стоять на улице.

Прошел Тарханов, тоже с желтыми бровями: идет на заседание Моссовета. Толкнул, играючи, в бок Кончаловского и выразил опасение, что его выберут на заседании в какую-нибудь комиссию. Когда он отошел, Ливанов сказал:

— А больше всего боится, чтобы его в банно-прачечную не выбрали!

Сообщения о прорыве укрепленной немецкой полосы в направлении Новгород — Псков. Слухи, ходившие в последние дни, о нашем наступлении на севере, о взятии Ржева, Вязьмы и подхода к Смоленску как-то косвенно оправдываются.

Сегодня подморозило, но мало — градуса 3—4.

Много писем от наших, из Ташкента: Комка эмпирически описывает, что видит; Мишка подсмеивается и мечтает; Тамара приказывает Татьяне и, отчасти, мне.

3 [*марта*]. *Среда.* Иду гулять. Поднимаясь из-за Болота на мост, увидел город на фоне серого вороха неба. Вижу — боже ты мой, а ведь здание Библиотеки Ленина выше всех! Выше Университета, Кремля... И похоже оно на книгу, поставленную ребром и весьма запыленную и давно не читанную.

Не знаю, потому ли что смотрел на Библиотеку, словно бы запыленную, и странный клочковатый рисунок домов, я вспомнил свои юношеские стихи. Написаны они под Блока, напечатаны были в одном номере газеты, единожды в жизни моей [мной] редактируемой, в номере, который я сам набрал, сам весь написал и сам продавал (очень плохо), номере, не уцелевшем совсем! Пожалуй, запишу эти стихи из газеты «Согры», а то опять забуду:

На улице пыль и ветер
И треск колокольного звона.
Одно только я заметил —
Пронесли Чудотворную икону.
Две старушки, перекрестясь,
Оправили полушалки.
Город наш,— нищенский князь,—
Смотрит печально и жалко.
Мне ли в краю чужом,
Верить вчерашнему сну?
Я же давно пробужден.
Я же противлюсь ему!

Перепечатывал рассказ «Честь знамени». В газете «Труд» напечатан мой очерк, искромсанный, конечно. Писатель я, должно быть, с ворсом, да не в ту сторону — и не блестит и не греет.

Над чем смеялись великие сатирики мира? Во Франции Рабле — над обжорами, пьяницами и щеголями. В Англии Свифт — над людским тщеславием и самомнением. В Испании Сервантес — над попытками перестроить мечом мир. А у нас в России? Салтыков-Щедрин — над бюрократией. И старик был прав.

⟨...⟩

— А Козьма Прутков? До войны выд[ержал] 15 изданий.

⟨...⟩

Взят Ржев: пистолет, приставленный немцами к виску Москвы.

⟨...⟩

11 марта. Четверг 〈...〉

Солнце. Лужицы. С крыш капает. Лед на реке уже совсем пропитался водой и стал бутылочного цвета — именно тех бутылок, которые выпускают сейчас. На сердце такая тоска, как будто жердью по ребрам ударили, да кувырком перекувырдышка!..

Работал над пьесой. 〈...〉

Смотрел документальный фильм «Сталинград». В кино — дети, командиры и юноши с выпущенными чубами, хулиганского вида. Стариков нет. Татьяна заметила, что я один во всем кино в шляпе.

Фильм — страшен. Такой фильм может появиться только в военное время, и смотреть его можно тоже только в военное время, так как основное в фильме — человеческий разум и победа его показаны лишь словами, а фото сняло пальбу и маловыразительные лица военных, которым было не до выразительности. 〈...〉

Еще о фильме. Мне подумалось, что сегодня мы видели *фон* нашей жизни, на котором ее увидят потомки. Все будет казаться поразительным на этом фоне — то, что я вел этот наверное таки довольно глупый дневник; то, что у меня был иногда сахар к чаю; то, что я мог даже читать Спенсера, а того удивительнее — Шахматова «Синтаксис русского языка»; то, что люди говорили о любви и писали лирические стихи. Ибо фон этот будет ужасен. Стоны людские оглушительны. Страдания безмерны. Да так оно и было на самом деле.

16 [*III*]. *Вторник.* Происхождение, эволюция, развитие, история — вот термины, которые принесли человечеству наибольшее количество заблуждений и страданий. Узнав историю развития плуга, человек усовершенствовал его, а научившись усовершенствовать орудия, решил, что так же легко усовершенствовать своего ближнего (люди, подобно этому мыслящие, считали, что они сами достаточно усовершенствованы), и занялись этим усовершенствованием. Неудачи родили пессимизм. Предвкушение удач —оптимизм. А счастье так же далеко от нас, как и тогда, когда мы не знали, что плуг можно усовершенствовать и что это называется — эволюцией.

〈...〉

Партизанский штаб в доме, где был Институт Маркса — Энгельса. Кресла, обитые клеенкой, ковер. Ходят крестьяне, ругаясь. В несгораемом шкафу папки с письмами и донесениями партизан. Малин, бывший комиссар, какой-то, как мне показалось, испуганный. Рассказы об изумительном К. Заслонове.

17 [*III*]. *Среда.* На улице солнце, тишина, тепло.

Встретил В. Кирпотина, бледного, в черной одежде.

— Как живешь, Валерий?

— По сводке,— ответил он.

⟨...⟩

У нас в Сибири (а затем читал в Сборнике самарских сказок) есть побывальщина. Жил-был великий разбойник. Много он награбил золота, серебра, драгоценных камней. Чует, смерть близка... А отдавать сокровища близким — жалко, все дураки. Он их решил закопать, клад устроить. «Ну, чего тебе закапывать? — говорят ему. — Разве от русского человека можно что-нибудь скрыть. Он все найдет». — «Я положу зарок». — «Какой же ты положишь зарок?» — «Я такой зарок положу, что пока существует русская земля, того клада не выроют». Закопал он клад в твердую, каменистую почву и заклял зароком — тому получить клад, кто выроет его без единой матерщины!.. И прошло тысяча лет и тысяча людей рыли тот клад, и не нашлось ни одного, кто бы не выматерился. Так он и лежит по сие время.

Что такое искусство? Мыльный пузырь. Кто были Гомер, Еврипид, Шекспир или безымянный автор «Слова о полку Игореве»? Тогда как биографии великих истребителей человечества, преступников в сущности, великолепно известны — А[лександр] Македонский, Цезарь, Наполеон и сегодняшний дьявол — Гитлер. Я говорю не к тому, что искусство важнее войны (хотя эта мысль тоже не так уж плоха), а к тому, что если встать на точку зрения людей, говорящих, будто человечество эволюционирует (Спенсер и другие), то почему же оно тогда помнит только о солдатах и войне? Стало быть, война — явление тоже прогрессивное? Война приносит пользу человечеству? Чингисхан, Батый, Наполеон?!

В Сибири зверовщики ходят на сидьбу (сторожку) до росы, надев сапоги с деревянными подошвами, чтобы своим следом не «надушить». Так вот войны так в нашей жизни надушили, что и дохнуть нельзя.

22 [*марта*]. *Понедельник.* 〈...〉 Придумал повесть (в полусне, утром) — «Между двумя взрывами». Непременно напишу! Я уже пишу теперь, не думая — можно ли напечатать,— лишь бы нашлась физическая возможность писать.

Студенты производят раскопки. Подошел старик, ему объясняют, что такое исторические изыскания. Старик спрашивает: «А кто такой Иван Сусанин?» Ему объяснили. Старик и говорит: «Это верно, теперь только обнаружилось, что в старину много людей было за советскую власть». И никакой иронии!

〈...〉

29 [*III*]. *Понедельник.* Предложение от «Кр[асной] звезды» поехать в Вязьму. Согласился. Они сказали, что поедем послезавтра, на машине.

Прочел книжицу Федина «Горький среди нас». 〈...〉 Это передает тот пыл, которым мы были охвачены в 1921 году,— я говорю о творческом пыле. Впрочем, это относится больше к остальным, чем ко мне. Я тогда почти не верил в возможность существования литературы, а писал больше для того, чтобы стать с другими наравне, в том числе и с Горьким. 〈...〉

Насчет Пролеткульта Федин не прав. Там были симпатичные ребята, искренне любящие литературу, но, к сожалению, они мало знали, а еще более — были неталантливы. Что же касается «пролетарской идеологии», которой будто бы они хотели начинить остальных, то об этом они мало думали... а может быть, и думали! — я с ними на эту тему не разговаривал. Обо мне Горький всегда думал неправильно. Он ждал от меня того реализма, которым был сам наполнен до последнего волоска. Но мой «реализм» был совсем другой, и это его не то чтобы злило — а приводило в недоумение, и он всячески направлял меня в русло своего реализма. Я понимал, что в этом русле мне удобнее и тише было бы плыть, я и пытался даже... но, к сожалению, мой корабль был или слишком грузен, или слишком мелок, короче говоря, я до сих пор все еще другой. И дай бог

остаться этим другим,— противоречивым, шальным, тщеславным, скромным...

От ванн, которые я принимаю в больнице, болит живот. Лежу в постели и читаю «Буддийские сутты» в переводе Герасимова, который переводил их с английского, а на английский переводили с пали. И тем не менее сутты поразительны! Какой ритм, какая мощь, какое внутреннее и внешнее отречение от условностей, и какое наплевательское отношение к вздору мира сего. Сквозь два перевода и то можно разглядеть удивительную стройность главной и ясность основной мысли. Если когда-нибудь я напишу книгу по теории худ[ожественной] литературы, я непременно разберу сутты и сравню их с нашими классиками — со стороны ритмической.

Бомбардировка Берлина англичанами: «сброшено вдвое бомб, чем когда-либо, в любой налет на Лондон». 28-го англичане написали это почти что со сладострастнем.

30 [*III*]. *Вторник.* Написал статью для «Гудка» о Заслонове.

Дождь, сырость. Лед на Москве-реке треснул.

На фронтах «ничего существенного»,— распутица.

Из «Кр[асной] звезды» позвонили дополнительно — едем завтра от 11 до 12 часов. Так как за день до Вязьмы не доехать, то заночуем в дороге. Надо взять продовольствие.

31 [*III*]. *Среда.* «Кр[асная] звезда» — обещала приехать к 11—12. Уже 1 час, а их нету. Подожду еще полчаса и пойду обедать,— что за сукины дети! — позвонить не могут. ⟨...⟩

10 [*IV*]. *Суббота.* Всю поездку на Западный фронт записал на отдельных листочках; переписать их в тетрадь, сводить в целое,— нет ни времени, ни желания. Два дня по приезде — оправлялся от кошмара, который я видел, и вот ныне — опять мысли о «Сокр[овищах] Ал[ександра] Македонского».

В «Гудке» напечатана моя статья о Заслонове, в «Кр[асной] звезде» — совершенно исковерканная редакцией,— о Вязьме. Из статьи сделали заметку!

13 [*IV*]. *Вторник* ⟨...⟩ Ночью выпал снег, но к полудню обветрило и тротуары высохли. В небе клочковатые, серые тучи с серебряными краями, за которыми просвечивает пронзительно-голубое небо. Лед на Москве-реке прошел, и вода вполне весеннего глиняного цвета. От сей весенней природы, что ли, болит тупо голова...

⟨...⟩

14 [*IV*]. ⟨...⟩ Вечером выступал в лазарете: митинг о зверствах в русских городах. Лейтенант Уральский начал рассказывать — ему поручили обнаружить и отбить у немцев лагерь военнопленных. Он обошел лагерь и с тыла напал на немцев. В лагере были танки. Немцы не бросились на него, а заперли лагерь, открыли по нему заградительный огонь — и передавили танками 6000 военнопленных, после чего, под прикрытием танков, ушли от него... От гнева, бессилия и неутихшей жажды мести лейтенант разрыдался и со словами «не могу», не окончив рассказа, ушел со сцены.

18 [*IV*]. *Воскресенье.* Утром позвонил К. Федин, поздравивший меня с «превосходной статьей о «Лермонтове» П. Кончаловского», сегодня напечатанной в «Лит[ературе] и искус[стве]». Несколько позже позвонил сам Петр Петрович, он прямо назвал статью «гениальной». Статья как статья, но я очень рад, что доставил старику удовольствие: слышно было в телефон, как он плакал. Признаться, и я прослезился, сам не знаю чему.

Сообщение о налетах на Данциг и Кенигсберг и одновременно передовая в «Известиях» — быть готовым к воздушной обороне. Говорят, вчера в районе Сокольников били зенитки. ⟨...⟩

Переписал начисто первую главу «Сокр[овищ] А[лександра] М[акедонского]».

19 [*IV*]. *Понедельник.* Переписал вторую главу романа «Сокр[овища] А. М[акедонского]», перечел вечером — слишком много вложено содержания. Надо укоротить и переписать еще. Ходил беседовал в «Сов[етский] писат[ель]» относительно книжки своих очерков,— говорят мало. Я предложил дополнить «Вулканом»... Тамара советует вставить рассказ, написанный мною до войны...

⟨...⟩

18 [V]. Вторник. Копали огород, садили, говорили о мозолях, купались. Дни жаркие, безоблачные. Где-то постреливают,— не то учатся, не то зенитки. Событий никаких, кроме того, что хранившиеся на складе после пожара остатки моих книг числом 40 кем-то утащены. Сохранилась гравюра XVIII — начала XIX — «Баня». Я хотел было подарить ее Горькому, да не успел, хотел другому, у кого была хорошая баня,— тоже помер; теперь эта единственная из всех уцелевших после пожара.

Вчера начался дождь. Сегодня холодно так, что в пиджаке не согреешься. Сидим, закрыв окна, читаем Горького: превосходный писатель, широко размахивается, по-богатырски, а валит кустарник, ибо воюет не с дремучим лесом,— куда заглянуть боится,— как бы не заблудиться! — а с парком. И затем странное отношение к России,— будто он знает больше, чем она. И вообще гордыня неимоверная. ⟨...⟩ Рассказы куда лучше, хотя система образов очень однообразна, а сентенции невыносимы. И все же человек великий — и дай нам бог побольше таких! ⟨...⟩

28 августа. ⟨...⟩ Орел. Переправа. «Бабы доски кладут, а машины едут».

Рекогносцировка. Полковник говорит командиру полка — «Там найдете пень, с которого я говорил со штабами, объясняя обстановку».

Окна, заткнутые соломой,— нет ни стекол, ни тряпья. Березы, ель, осина на улице. Стадо в 800 голов: «Да и кто его знает, сколько!» Коровы с баранами. Девчонка в белом платке и зипуне, сшитом из ватника; дети вообще одеты в военное; рядом крестьяне говорят о том, сколько засеяно, пришел инструктор с полевой сумкой; возле изб саперы роют щели; автоматчик устанавливает провод антенны и лезет на березу. Порой, свистя, проходят «мессеры». Всадники, машины под чехлами и открытые «виллисы», похожие на необработанный кусок металла. Выстрел — разорвало, затем будто ведут по стеклу, и, наконец, далекий гул разрыва.

1 сентября. Треугольник, березы, дубы. Ходит полковник, заложив руки за спину. В касках и пилотках. Полковник перечисляет то, что сделала дивизия: полки, дивизии, батальоны, танковый полк.

3 сентября 〈...〉. Ночь. Едем. Юный автоматчик, пустынная дорога. Свет от фонарика на карте. В лесу спят в машине санитар и шофер. Рассвет. Дальше. Заставляет равнять шаг. Люди спят в канавах налево, толпой. [Командир] Разбудил. Подозвал санитарку. Подбежала юная, бодрая, веселая. Похвалил. «По трое, по трое»,— говорит он. «Нехорошо, офицер, нехорошо». Слово — офицер и русские, к которым он причисляет казахов и друг[ие] нац[ии] — очень похвальны. Отставший гармонист был на перекрестке «маяком». Учебная рота подбирает отставших. Начальник штаба батальона дал своего бензина, а пока разговаривал о коне. Голова велика. Начальник штаба говорит: «Это — английский скакун. Он на пастбище не пасется. Он — в стойле. Интеллигенция! У меня был конь! Фриц убил, мне череп расколол. Я два месяца был сумасшедшим». Стоим километрах в трех от фронта. Днем немцы обстреливали эту деревню и перекресток. Сейчас вдали в темной октябрьской ночи сияние. Сплошные, хотя и невысокие завесы огня — должно быть, от ракет, так как звуков выстрелов не доносится. Синие, военные фары «виллиса» освещают плащи ниже пояса. Они идут четко. Играет оркестр. Дерево. Разрушенная хата. На ходу командир полка докладывает о состоянии соединения. Мелькают треугольники плащей, пушки, кони, миномет, круг опорный, санитарная сумка с крестом. Идут, не оборачиваясь,— лиц не видно.

〈...〉 За лесом, в нескольких километрах, передний край обороны. Стучат орудия, а когда тихо, доносится барабанный звук пулемета.

Мы в дивизии, вошедшей первой в Орел. Казалось бы, пора успокоиться — полторы тысячи орденов и медалей получены за Орел; слава, и тем не менее все в дивизии пронизано желанием учиться и учить.

Осени еще никак не заметно, но дубы и березы возле пожарищ желто-табачного цвета. Ржавые пепелища. Деревья побурели от огня. В немецких блиндажах живут вернувшиеся из лесов жители.

Обучение и одновременно движение дивизии.

«Глухой сибирской тайгой...» — нашли песню:

Вокруг его тайга глухая,
Бродяга хочет отдохнуть...

— Будет ли отдых? Через месяц войны? «Отдых трехдневный под лозунгом: «Отдыхать будем тогда, когда войдем в Берлин. Чтобы войти в Берлин — ура!» «Сколько меня будут обучать? Я не обучался». «Когда пошлют, тогда и обучат».

— Кто ищет немца, тот найдет. Надо искать его на поле боя. А если он будет вас искать, то он вас убьет.

1944 год

⟨...⟩ Прошел год... ныне опять *май 21*... Раскрыл дневник случайно... Вчера Поликарпов — теперешний секретарь Союза — предложил мне снова поехать к ген[ералу] Ковпаку, герою Сов[етского] Союза, украинскому партизану. Я говорю «снова», потому что месяц с лишком тому назад уже было предложение поехать со стороны Союза и Совинформбюро. Я пошел в Информбюро, договорились подписать договор, а затем, как это часто случается со мной, все словно утонуло. ⟨...⟩

К тому же начал писать роман «Сокровища А[лександра] Македонского». Мне давно хочется написать приключенческий роман в новом стиле, соединив приключения, психологизм и некоторые размышления философского характера,— насколько, конечно, для меня возможно. И еще — изрядную порцию красивых пейзажей. ⟨...⟩ Герой — профессор физики Огородников: современный Фауст, человек с гордыней и пытливостью; в гипотезах ему кажется, что он понял весь мир и может управлять атомами, а пытливость тянет его к работе; думает он также, что способен управлять людьми. Софистика поповская, так как это сын дьячка, хвастливо говорящий, что он «учен на медные деньги, а учит на золотые». Он — материалистичен; тогда как соперник его — некий «маг», составитель гороскопов Н. Пурке — тоже материалист по-своему.

[*Без даты*] Не нужно считать себя великим. Если считаешь великим, меньше работаешь. Лучше чувствовать себя воробьем, но зато подняться вверх, значит, и станешь жаворонком,— какое наслаждение. Скромность не только поза, это — необходимость для каждого творческого работника. Ее трудно воспитать, так как в силу работы одиночки надо себя подогревать, чтоб не чувствовать одиночества.

* * *

Чувство можно декларировать, т. е. высказать.

Но это высказывание должно сопровождать действиями, т. е. оно должно быть направлено на кого-либо или на что-либо.

Только тогда чувство доказано.

Например, можно сказать: «Он человек смелый. Но безрассудно смелый».

Но это ничего не определит.

Но если я скажу, что Н., вместо того чтобы сойти с лестницы и подняться по другой в соседнюю квартиру, не имеющую общей лестницы с его квартирой, пошел туда по карнизу,— мое утверждение будет правильным.

Чувства могут быть направлены на «воображаемые» лица или предметы. Дон-Кихот — мельницы. Вы подумали, что человек намерен причинить вам зло, а он и не думает этого, а вы говорите ему злые слова.

Таких воображаемых чувств очень много.

Умный от глупого тем и отличается, что у первого меньше «воображаемых» чувств, чем у второго. И чем глупее герой, тем чаще встречаются у него «воображаемые» чувства. Однако почему трогателен Дон-Кихот? Потому, что он добр и любит, хотя доброта и любовь его и направлены на «воображаемых» людей.

1945 год

5 марта 1945 г. Мне предстоит совершить поездку на автомобиле до 1-го Белорусского фронта. Позавчера позвонил ⟨...⟩ фотокорреспондент Сампсонов, в машине которого я поеду, и сказал, что разрешение на мой выезд ПУРом выдано и что в понедельник нужно получить. ⟨...⟩

Фотокорреспондент настаивал на отъезде во вторник. Я не возражал. Но вот уже второй час дня, но о нем ни слуху ни духу.

⟨...⟩

Торопятся работать у нас низшие и высшие; средние колеса тащат еле-еле. Мой фотокорреспондент, боясь звонить к Боеву, торопит меня. Он говорит:

— У меня обнажен весь фронт!

Это значит, что его нет на фронте.

6 марта. Вторник. Солнце. Тепло. Снег. Дым из труб стоит прямо, как стекло. Сижу и звоню Боеву в ПУР, пытаясь получить командировку. Фотограф звонит ко мне. Боев говорит: «Через часик», и уходит. Я звоню ему подряд часа три, а в промежутки читаю «Путевые картины» Гейне. Он презирал мещан, восхищался пейзажами и торсами дам. Ум блуждающий и забывчивый. Н. Карамзин, которого я прочел недавно: «Записки р[усского] пут[ешественника]», и возвышенней, и проще, а главное — не презирает земли, несмотря на то что это занятие и достойное художника, и недорого стоит. Мой фотокорреспондент потребовал, чтоб мы выехали немедленно, словно я выдаю пропуска. Я ему скромно разъяснил, что мое воздействие на Боева весьма посредственно.

9/III. Разнообразные картины на шоссе от Седлеца к Варшаве. Катят чемоданы. Велосипедисты, женщины в комбинезонах, как у эскимосов, отороченные мехом фуражки. Едут, обняв женщин. Пешком, по накатанной дороге катят ящики. Салазок мало. Обозы все на колесах. Дети на салазках не катаются. Фуражки и под ними вязаные наушники.

Три пункта обогрева, на которых мы останавливались. Первый — за Смоленском, в лесу, жилье каких-то немецких офицеров; второй в польском домишке, брошенном хозяевами возле Бреста, и третий — наконец возле советского посольства на берегу Вислы, возле первого края обороны. Красное поле — на нем белый польский орел.

〈...〉

10 марта. Синие тучи, клочковатые, и среди них, как полынья, — неровное жерло. Оно выпускает луч света. Он идет далеко-далеко по крышам домов, по кранам возле построек и освещает, как театральный прожектор. Затем большое жерло замыкается. Остается маленькое, точно поправка к тому сожалению, которое испытали все, когда сомкнулось. Но это уже не то, как будто получил сдачи двугривенным с червонца. Уходит. И опять тучи, низкие, грозные, как шерсть, из которой катают грубые валенки, — вонючая, липкая. Несется ворона, — и странно, хоть это и обман, — мне кажется,

что она летит в проблесках среди туч, в проблесках таких же неясных, как если б окно замазали серой краской и она кое-где протекла.

Старики: тающий грязный снег на черепе, а на лице — овраги морщин. Солнце будит траву и прогоняет сугробы. Благодари или нет, — смена времен года, — придет!

12/III. Война — не приглашение. Это — страх, голод, чувство одиночества, отчуждения, отрешенности. Спокойствие, да? Кто-то вывозил спокойствием, без этого нельзя; кто-то сплочен, чувство соседа и хорошего оружия. Да и оно наступило, но — в сумерки, под дождем — как это было безотрадно — Вязьма.

15/IV. Утром — покинул Ландсберг. Поехали к Крюкову. Лесные пожары, мгла. За Одер. Деревушка за р. Бобром, — рядом целый железнодорожный мост, разрушенные дома по берегу озера. Крюкова не застали. Повернули к Цветаеву. Леса горели. Остановил полевой пост НКВ, проверил документы. Трупы коней по дороге, мгла, запах горящего леса. Обед. Затем, через черные, горящие леса, обгоняя войска, обозы, мчатся «виллисы». Шофер гонит через тьму, лес, — затем через разрушенное село — к ходам сообщений, разрушенные здания, на которые показывает комендант, мчащийся впереди нашего «виллиса». Мы спустились в подвал.

16/IV. Ночь не спал, часов в семь задремал и продремал часа два. Кудреватых и Мержанов уехали в Ландсберг, писать корреспонденции. Генерал волновался с самого утра — то бранил, то хвалил своих командиров корпусов. Впервые я видел артподготовку. Утро было неудачное — пасмурное, туманное. Хотели в атаке применять прожектора, но туман помешал, и новинка не вышла. Заходил инженер, строивший переправу. Член Военного совета обещал «мешок орденов» за установку переправы. И позже мы, кажется, именно и попали на эту переправу. Мгла. Огни. Эрэсы. Артиллерия — две тысячи стволов: тяжелые барабаны. Закончилось, как и началось, эрэсами. — Переправа. Генерал — украинец. Приехали; два раненых навстречу: один в голову, другой в ногу. Позже комендант объяснил точное попада-

ние по траншее тем, что или на одном из высоких домов Франкфурта находится наблюдатель или он сидит в трубе завода.

Мне кажется, что можно наблюдать у воюющих любопытное чувство — «конец войны, еще можно сохранить себя». Это не трусость, а чувство вполне понятное, и от этого в действиях есть известная осторожность.

Вообще, как и во всяком деле, командир — это человек, улавливающий состояние мысли. Начальник разведки говорит: «Мои лазутчики сообщают...» — «Ваши лазутчики! — прерывает его генерал. — Ни черта они не знают. Мы пушками не можем проложить проход, а они проползают на коленках! Какой вздор! Не верю я им и вы им не верите. Почему они, если были там, не привели пленных? А потому, что залезли на дерево, посмотрели на немцев и слезли обратно. Трусят они». Главное: исполнительность, воля. Уличить в трусости, заставить быть храбрым, заставить понять приказ командира, оказывается, не легко.

Генерал приказывает: доложить ему о том, как доведут самоходки. А вместо этого сам командир приезжает лично для доклада. Роль командующего: шаг за шагом идти по карте, смотреть кто куда, когда пришел и что сделал. «Так и пойдете. Вот, пожалуйста, 42б, 42, 5—2, а затем выйдете на шоссе. И не поворачивать! Куда поворачивать? Кто?! Где вам переправляться? Зачем же вам переправляться? А если вы пойдете на Хоенвальде, разве вам не надо переправляться? Куда вам поворачивать? Вы как шли, так и пойдете. Вы должны выполнить задачу дня, вы и этого не выполнили. Надо изучать обстановку и поступать исходя из изучения. «Вали валом» — ничего не добьешься. Что вы можете дать на правом фланге?» Переправа мешала подбросить самоходки и танки. Немцы бросили три самоходки, батальон солдат, и наш полк разбежался. Через реку трудно протянуть проволоку, дивизия ушла вправо, другая — влево; толкались, а сосед, справа, ушел на 4 км дальше. Вечером приехал Крюков, и отобрали еще противотанковую артиллерию — истребительный полк. — «Товарищ Добровольский! Что же вы решили делать в дальнейшем? Что же вы его днем не выгнали, и думаете выгнать ночью? Из леса? Все-таки он высоту-то 23,0—5 занимает, а вы доказывали, что не занимает.

Слушайте. Так нельзя воевать. Слушайте, время-то десять часов, нам надо решение принять. Вы что намерены делать? Где вы думаете атаковать? Какие вы ставите перед самим собой задачи? Вы должны сконцентрировать свою дивизию для прорыва, необходимо обеспечить ее — для прорыва — артогнем. Вторая дивизия прорывается на участке Манкендорф. Чем вы это дело можете обеспечить? Как решите это обеспечение?» — Я долго сидел на ящичке. Внизу, среди молодых кустов, только-только покрывшихся листвой, бегали коричневые, крохотные зайчики. Через реку, чтобы ее отвести, поставили дамбы... Противник бросил бомбу, воздушная волна прошла по ногам — бомба брошена далеко. Вечером генерал обсуждает план завтрашнего дня. — Послали немцев — брать в плен: «накормили, а там видно будет, что с ними делать». Пленный ушел и привел 60 человек вместе с командиром батальона, все они сидели в подвале дома. — Вспомнил рассказ Сампсонова о девушке и двух солдатах возле обгоревшего дома. — Г. Брасов, шахты. Шесть труб электростанции. Столбы высоковольтной передачи. Понтоны, ветви сосен, насыпь. В насыпи — землянка, завешенная ковром, пониже у берега — понтон зеленый и катер, в котором недостает каких-то частей; генерал Р. П. Бабийчук, с которым я еду, выражает мысль, что механик, боясь, сам уничтожил эти части. Раненого несут, лицо у него мучительно-страшное. Генерал Бабийчук кричит: «Возьмите первую подводу, отвезите». У раненого перебиты ноги. Второй ранен в лицо; лицо залито кровью, он плачет. Генерал: «Орел, что ты!» Мы выбежали к дамбе, мост взорван. (Генерал: «Наше дело простое. Но люди молодые, дело еще не твердо знают. Ну, надо учить, и если пропустишь, худо. Надо следить за каждым шагом.»)

17/IV. Поймали пленного: немцы в Линдине имеют задачу не допустить нас на южный берег Одера — Шпрее. Подполковник с картой, указывает где немцы и сколько их.

Утром пришел наборщик, работавший со мной в одной типографии тридцать лет назад. Мы вспомнили наших друзей; и оказалось, что они все перемерли и мы только двое. Он принес мне в подарок пачку карандашей; немного бумаги.

18/IV. Продолжаю о вчерашнем. Ветер. На мосту жгут дымовые шашки. Какой-то лейтенант говорит: «Всю войну воюю, а тут — со второго снаряда попадание. Плывет понтон — они в него; народ разбежался». Генерал подозревает в селении наличие спрятанного корректировщика. Послал восемь человек проверить и обыскать все село. Выстроилось семеро и пошли вместе с офицером, без оружия. Мимо идут в бой стрелки, с автоматами, под большими шлемами. Впереди и позади — офицер. Лица пыльные и тоскливые, глаза кажутся впавшими.

В воду рядом с понтоном упал снаряд, к счастью, не разорвался, иначе бы нам было плохо. Мы идем по песку. Только мы скрылись в овражке, позади нас, беглым огнем, несколько снарядов. Когда мы ехали по косогору на машине, впереди нас бешено мчался мотоциклист, и прятались в ямки стрелки. Мы проехали сквозь лесочек и выскочили в поле. Говорили об амортизации машин, генерал хвалил «паккард» и особенно «линкольн», свою запасную машину.— Мы живем в подвале, над нами дом забит бревнами, пересыпанными песком. Во дворе — сарай, в сарае — солома. Я спал, прикрывшись шинелью на плюшевом диване. Все время стараюсь восстановить в памяти начало артподготовки, но не выходит. Непрестанно раскатисто стучит артиллерия. Во дворе, возле сарайчика из досок, поставленных стоймя, зеленый плюшевый диван, и на нем мелом «Занято». 〈...〉

В середине дня, когда я, наслаждаясь солнцем, теплом и мерным течением реки, сидел на зеленом бархатном диване, внезапно приехали Кудреватых, Мержанов и Горбатов. Убит, осколком снаряда, прямо в сердце корреспондент ТАСС Малибашев, очень симпатичный, тихий и задумчивый татарин.

19/IV. В подвал дома, сквозь красную ткань занавески, падает солнечный свет. Но читаем мы при электричестве. Стол покрыт бумагой. Цветы, небольшая пивная бутылка, вмещающая полтора стакана. Армия готовится к завтрашнему прорыву, сосредотачиваясь на узком фронте. — Газеты сообщают, что за 16/IV — союзники взяли 112000 пленных, а всего за пять дней, как я подсчитал, свыше 400 тысяч, — 80 дивизий нормального состава. Не удивительно, что на нашем фронте нель-

зя установить — какие части дерутся. Из франкфуртской тюрьмы взяты уголовники — и пущены в бой. При занятии местечка, по показаниям пленных, когда наши вытеснили их, они понесли больше потерь от эсэсовцев, убежавших из местечка первыми, чем от нашего огня. — Несколько дней назад немцы шли в атаку в красных масках из сетки и темных очках. Девушки, привозящие обед, рассказывают, что немцев моют в бане, бреют и дезинфицируют, — и они очень довольны. Особенно если они прочли статью Эренбурга.

Сегодня переезжаем в Брисков, на новое местоположение. День ветреный. На Одере барашки. Вдали бухает орудие, а затем со свистом несется снаряд: немцы бьют по переправе. — Танки 8-й армии, говорят, находятся в 30 км от Берлина. Союзники — меньше, чем в 50. — «Как только мы прорвали линию Лихтенберг — Хоенвальде, мы пустили Крюкова». А тот боится потерять своих коней и отстал. Мюль... большое скопление немцев — штрафников. «Вот-вот! И по ним следует ударить». — Разговор идет о возможном налете самолетов. Генерал только один раз сказал своему подчиненному: «А вы сообщаете бойцам, каково положение у союзников?» И еще раз, в начале наступления, он сказал: «Вы понимаете, какое наступление мы будем вести?» И все.

Вечером переехали в Брисков. Здание электростанции, какой-то подвал под бетонным мостом, по которому железнодорожный путь. Лестница кверху. По бокам — горит уголь и стены теплые. Одежда гитлеровцев, каски, мундиры, автомобильная станция. Вечером началась канонада. — Ехать было тесно; пыль черная. По одну сторону дороги — дамба, следы окопов; по другую — лес, трупы немцев (очень маленькие), разбитые машины, автобус, который очищают. Затопленное разлитием воды, через взорванную дамбу, пространство. Гати среди проволочных заграждений. Вода наступает. Теперь вода сошла. 〈...〉 Будочки и бараки. Дорога изрыта. 〈...〉

«Надо отбить. Что же мы из-за них артподготовку будем портить? Надо взять в оборот Шкуратова. Что они? Целый артполк стоит, а они и не знают. Я не позволю говорить твоим орудиям».

Озеро выступило, а рота пробралась сюда, к переднему краю. Франкфурт горит. Видны пожары.

Вечером разговор с Цветаевым: 1) Матвеич и рассуждения о русском народе, изображенном Толстым. Спал в шинели и мокрых валенках, он не знал, кто снял с него сапоги. «Ты чего?» — «А я просушить», — и поставил их возле печки. И с той поры он ездит с ним. 2) Встреча с Толстым. Плохая лошаденка. Отец у Цветаева — начальник железнодорожной станции, куда Толстой почти каждый день ездил на почту. Старался он приехать так, чтобы не попасть к поезду, иначе — поезд стоял 3 минуты — все бегут за автографами. Не успеешь сказать: «Здравствуйте, Лев Николаевич», как он уже снимает шляпу. Перед смертью зашел к начальнику станции, купил билет, прокомпостировал его, подождал час и уехал, а после того приехали из его семьи.

20/IV. Утром артподготовка. Горит уголь; видимо, от осколков снарядов, что ли; потому что крошечные кучки у рельс и те горят. От пожаров уголь в ямах засыпан песком. Транспортеры. Тополя. Плакучие ивы. Свежая зелень. — Мы смеемся, что сидим в горящей угольной яме. — 12 офицеров поехали на рекогносцировку и попали к немцам. 8 выбралось, остальные убиты. 〈...〉

Запись прерываю. 〈...〉 Сообщение о контратаке немцев: к ним придан из Берлина полк в составе трех батальонов и 40 танков. Добровольский уже продвинулся на три километра. Позади нас — залпы орудий, снаряды со свистом летят над трубами. Шесть труб, две по бокам и четыре в середине, пробиты частью снарядами, а частью сами немцы пробили их, чтобы усадить наблюдателей. — Приехал Крюков. Он все еще колеблется входить. — Минеры нашли в колодце десять мин возле наших дверей. — Возле Гибсон немцы выкинули белый и красный флаги. Они за рекой. Разведчики едут через реку узнать — что там такое?.. Немцы и их танки идут на перерез танкам 8-й армии, как сообщает разведка авиации. Приехали кинематографисты снимать электростанцию и первым долгом сказали члену Военного совета: «Мы приехали снимать вас». Он сказал: «Мы еще не повешены».

Ходили на возвышенные посты. Песок, окопы, трубка от «фауста», выше бетонный колпак в проволоке. Заходят наши самолеты западнее Франкфурта, бомбят отступающих немцев.

3 августа. Переделкино

Тут мои записки прерываются. Я узнал, что наши близко от Берлина, и поехал в Ландсберг, где находился штаб Жукова. Сейчас, пиша роман «При взятии Берлина», я перечел эти записки. Как жаль, что не было времени вести их более полно,— впрочем, разве запишешь всю жизнь? Получилась бы нелепость; здесь за жизнью не угонится и не запишет ее никакой художник, потому что сочетать наблюдения и запись очень трудно. Цветаева я увидел уже затем на Эльбе, получающим американский крест «Легиона доблести». Играл оркестр, и он держался как король на сцене, а пожалуй, и лучше короля. Еще раз затем я видел его, уже когда писал роман,— в Центральном Военном госпитале в Москве. Он поправился, курил американские сигареты, подарил мне коробочку, мы вспоминали прошлое...

ПРИЗРАКИ

(Наброски)

Нюрнбергские встречи (1945 год)

Разные бывают призраки.

В сущности говоря, основной призрак тот, которого нет, о котором человек лжет, что он видел его, или который померещился больному или чрезвычайно возбужденному воображению.

И есть призраки, которые чрезвычайно долго мучают человечество. Таков призрак зла. Он принимал во все века нашей сознательной жизни разные формы. И казалось, чем дольше живет человечество, тем этот призрак становился реальнее и реальнее, тем он злее.

Все, кто знает историю, любит ее, должны знать, что призраки склонны исчезать. Были войны. Призраки зла, возбуждавшие их, довольно быстро исчезали со сцены. Но сейчас, во-первых, сцены — велики, орудия истребления ужасны и человечество, по-видимому, не склонно отпускать так легко, как прежде, преступников, принявших формы зла.

Документы оживают.

Вот фильм, объединенный американцами под названием «Нацистский план». В нем довольно отчетливо видно, как группировалось, зарождалось и росло зло. Не

показано, как оно лило пушки, об этом говорят документы.

Мы были недавно на Нюрнбергском аэродроме. Он пустой. Колонны. Золотая мозаика. Торчат железные балки. Рим и язычество.

Процесс бередит старые раны. И одновременно он вскрывает причины ранений, которые фашисты, как вам известно, любят совершать из-за угла. Это обычный их прием — и в дипломатии, и на войне, и на улице. Это тактика убийц и воров, перенесенная на площади и дворцы и задрапированная шелком, золотом и маршировкой.

Кино — это поверхность моря, под голубыми волнами которого таятся штормы и обитают на глубинах чудовища. Эти чудовища могут существовать какое-то, может быть, самое незначительное, время на поверхности. Так что за этой поверхностью трудно разглядеть, что такое море, увидать его сущность. Снять позолоту с украшений здания, — могут выдержать такое испытание только здания, которые создавались истинными художниками.

Здание современной Германии строилось как балаган, хотя и из железобетона. Балаганные архитекторы, балаганные артисты,— но, к сожалению, драма, которую они сумели поставить, была кровавой, а так как балаганным дельцам чуждо какое-либо чувство, то они, убивая в этой драме людей, только считали выручку.

К сожалению, на процессе нет миллиардера Круппа. Но вышла его тень — Кальтенбруннер. Это огромный детина с удлиненным, как долото, лицом и с попыткой нежно улыбаться. Такое лицо освещает, как магическим огнем, фигуры, к которым мы пригляделись.

Но это упыри, вурдалаки, которые, по народному старинному поверию, напившись крови, живут. Они питаются кровью. Допусти их опять до кормила правления,— что они наделают?! Какие мрачные изуверские планы гнездятся в их голове!

Призраки исчезают с рассветом. Но солнце правды, чистоты и разума не встает, к сожалению, само. Его несут к востоку люди — по всему зениту и весь день. Труд заключается в том, чтобы держать солнце. Это трудно, но можно, а главное — нужно. Нельзя человечество погружать в ночь. Допустили ошибку, думали — солнце стоит само собою, но оказалось, что достаточно

ему скрыться за тучу, чтоб выскочили призраки, соорудили отвратительный фонарь, надели на него чудовищную маску с подстриженными усами, чубом, свисающим на воспаленные глаза, с восковым треугольником носа — и зловонное, отвратительное дыхание наполнило Европу, крича, что это-то и есть солнце.

В фильме «Нацистский план» есть удивительная по циничности и по какому-то каменноугольному гротеску сцена. Позади — свастика в ореоле, из которого исходят лучи. В огромном кресле сидит толстый Геринг в светло-сером мундире с громадными отворотами. Зал рейхстага в полумраке. Гитлер внизу, то поднимая глаза, то опуская их на бумагу, читает. Слышатся крики. Он отвечает Рузвельту на его обращение об агрессии. Я не видал свастики, она сгорела — фашисты сами зажгли рейхстаг. Полумрак. Кресла. Аппарат поднимается к Герингу. Он хохочет. Это пиршество дикарей, какой-то чудовищный бред. Не хватает только пляски вокруг костра. А эти мрачные факельные шествия! Они, кажется, хотят погрести весь мир!

ПРИЗРАКИ, ИСТОЧАЮЩИЕ ЯД

Агитация, которой они сами и поверили, говорила им, что страна бедна, беспомощна, невоинственна. Ни опыт гражданской войны, ни последующие затем стычки с захватчиками ничему не научили фашизм. В своей неудержимой злобе на передовую страну демократии они готовы были на любые авантюры. Позже свои поражения они сваливали на суровую природу,— как будто не мягка была природа там позже, когда мы их били,— на Висле и Одере и в Карпатах.

Марширование, достигающее предела. Строения — как квадраты. Вдалбливается абсолютное подчинение.

Гитлер сам превращается в нюрнбергскую игрушку. Ведь Нюрнберг — центр производства игрушек. Ни одной игрушки не найдете теперь в лавчонках. Попадаются тряпичные жалкие куклы. Лавчонка, в которой продаются сумочки и обертки для книг — «супероблошки» из лент. Это довольно жалко.

То, что Германии разрешили вооружаться и стать агрессивной, было, несомненно, ошибкой человечества, которая никогда не должна повториться.

Франко, Муссолини и Гитлер — их встреча в поезде. Франко бежит семеня, Гитлер закидывает руку назад, как бы показывая на ее ладони призрак, Муссолини, толстый, обрюзгший. И Геринг с благосклонной улыбкой полицейского, получившего большой чин; и Гесс, готовый побежать, как половой или лакей в притоне; и Кейтель, поставивший на карту «Стоит или не стоит?» и думающий до сих пор, что выиграет.

Затем все это приобретает уже совершенно фантастические размеры и очертания призрачные.

Деятелей зла можно рассматривать как призрачных.

Но, к сожалению, зло это не призрачно.

Зло не призрачно. Оно живет.

Сейчас холод. Люди работают на холоде. Не хватает машин, жилищ. Пройдите многие километры по Курской или Орловской областям — вы увидите развалины, и люди живут в землянках.

...Это наделали те, что сидят сейчас безмолвные, как призраки.

Они не делали того-то.

Они не знали.

Они не свершали.

И даже как будто они и говорить-то не умеют. Летят записочки через адвокатов. Что-то их дергает? Их дергает злоба.

Им показывали фильм. Думаете, они смеялись над этими дурацкими шествиями с факелами, с этими квадратами людей, выстроенных на поле? Смешон ли был им Гитлер, его все более и более обострявшийся нос? Геринг едва ли не испытывал удовольствие. Он сидел за столом рейхстага и хохотал, когда Гитлер перечислял те страны, за агрессию над которыми его обвинял Рузвельт. Гитлер не собирается? В Россию? Что вы? И Геринг, зная, что они собираются, весело хохотал, думая, что этим он обманет мир.

Можно обмануть город, область, народ, наконец. Но нельзя обмануть человечество. И особенно теперь, когда на страже мира стоит СССР, зорко глядя вперед.

Подсвечивают снизу. Видны только их лица. Бледные, сосредоточенные. Они не раскаиваются. Они сожалеют, что недостаточно ловко обманывали. На другой раз будем, мол, половчее.

ПЕРЕД ЗДАНИЕМ СУДА

Опять мокрый снег. Сквозь тьму несутся мощные «студебеккеры» с белым кругом и белой звездой на темно-зеленой покрышке радиатора, сидят негры, и темные кожаные козырьки их фуражек светлее их лиц. Белая веревка, перед тем как зайти в здание суда. Мелькает «виллис», несутся патрульные машины военной полиции... с сиреной. У трамваев очереди. Трамваи переполнены. Это все идет в мокром снеге.

Мы то на корме истории и видим ее прошлое, то переходим на нос этого судна. Пенится вода, играют волны жизни. Впереди светло-голубое море. Позади туман.

Народы отдадут свои силы полному устройству мира и восстановлению разрушенного. Нужно только, чтоб эти подлые и низменные призраки исчезли, к огорчению их спутников, которые еще не на скамье подсудимых, исчезли бы и условия, при которых могли возникнуть эти одичалые и коварные существа.

Зеленый мундир с темно-зеленым воротником и золочеными пуговицами, низко расширяющийся в виде балахона внизу.

Нюрнбергский процесс

1945 год

Для меня два момента на процессе — очень ясны.

Первый. Доказательства, что они свершали преступления.

Виновны в свершении преступлений против международных договоров, в том, что обманывали нации,— а Гитлер завещал им продолжать убивать и уничтожать.

Это одно.

И второе, вытекающее отсюда: что в дальнейшем надо строго наблюдать за соблюдением договоров и установить, что несоблюдение договоров будет строго караться. Международный трибунал как бы утверждает свой впервые публикуемый закон. Это похоже на то, что, например, не было воровства, затем кто-то стал поворовывать, затем стали разбирать — как и откуда пошло воровство и какие правила вор не соблюдал, хотя знал,

что их соблюдать нужно, но раз выгодно и можно их не соблюдать, то он и не стал соблюдать. Теперь собрали все статьи этих несоблюденных договоров и показали ему.

Казалось бы, перед этими неопровержимыми доказательствами преступник должен бы растеряться и завопить самым отчаянным голосом, сознаваясь в своих преступлениях.

Да и как иначе?

Вот подают папки. Их несут от стола к столу; неопровержимые доказательства лжи и преступлений. Тут и... тут и...

Однако ни на лицах подсудимых, ни в их движениях не чувствуется сознания вины. Иногда лица строжают.

Но нет самого главного — ужаса.

Ужаса перед тем, что они сделали.

Город, в котором мы живем,— разрушен, как разрушены сотни и тысячи городов. Старинные дома, здания, покрытые мокрым снегом. Голодное население, очереди на улицах, фанерные окна — трубы времянок. Утром в гостинице просыпаешься от запаха бумаги, которой разжигают печи. Дым режет глаза. Это утро голода.

Эти люди повергли в уничтожение мир. Они готовы были уничтожить миллионы. И если бы союзные войска, и в первую очередь советский народ и его Красная Армия, не свершили своего подвига, то разрушение продолжалось бы.

И эти люди готовы его продолжать когда угодно.

Если представить себе на мгновение, что к этим преступникам проявлено какое-то милосердие,— то они, выйдя из зала суда, немедленно начали бы свершать свои преступления, продолжать их.

Они чувствуют ужас смерти. Они боятся. Одни, натренированные военные, привыкшие к убийствам, как Кейтель или Йодль, быть может, могут сдерживать про себя этот ужас, другие, вроде Гесса, притворяются дурачками и лишенными ума, третьи, вроде Риббентропа и Розенберга, откровенно трусят, и трусость эта довольно явственно обозначается на их физиономиях.

Но ужаса перед тем, что они наделали и что способны наделать, они не чувствуют, и (сидя в этом старинном доме, где буквально тысяча комнат, где судили и, оказывается, ничего не высудили) это за-

ставляет относиться к ним со всей строгостью и ненавистью.

И второе,— не все еще доказательства злодеяний против человечности представлены суду. Но мы их знаем. Будут, несомненно, вскрыты ужасающие факты. Но дело в том, что факты эти известны уже подсудимым. Может быть, они думают, что не все известно, что ими отданы строгие приказы сжечь и уничтожить бумаги в печах, так же как жгли людей, села, города.

Я смотрел за лицами, когда оглашалась одна фраза завещания Гитлера, которая, наверное, вам известна.

Эта фраза говорит, что надо завоевывать не народы, а пространства...

Такова основная их доктрина. И люди, сидящие здесь, не только исповедовали эту доктрину, но и проводили ее в жизнь. И Шахт с лицом Гинденбурга, срезанным и сжатым внизу... и темно-гнедой Гесс... все они завоевывали пространства. Для них — режим колоний был уже отсталым явлением, и они устанавливали известный процент, скажем, один к десяти. Десять немцев и один, скажем, украинец. Следовательно, все остальные подлежали уничтожению.

Вот почему страшно сидеть в этих комнатах, смотреть на этих людей. Чем скорее они будут стерты с лица земли, тем лучше.

Но надо подробно рассказать миру обо всей этой ужасающей доктрине и всем ужасе, который мы видим.

Это третий и,— мне думается, самый гневный пункт заседаний, который недвижно царит над залом и который надо помнить.

И о котором очень много надо говорить и писать.

Человечество должно быть необыкновенно внимательным, чтобы это не повторилось вновь, чтобы фашизм не окреп.

Они надеются.

У них не только надежда на жизнь, что естественно, но у них надежда и на жизнь фашизма.

И наша непреклонность — вот залог нашей победы.

Человечество заплатило слишком большую цену за урок.

И его повторять нельзя.

Жизнь слишком прекрасна, чтоб ее втаптывать под ноги этих мерзавцев.

Перед экраном стол. На столе — большие книги. В них есть что-то альбомное. Коричневые переплеты, желтоватые обрезы. Они стоят несколько неровно, словно взбухли посередине, и не могут лежать плотно, как обычно лежат книги. В них есть что-то тревожное. Глаза от них не могут оторваться.

Что это такое?

Подсудимые сегодня хмуры. Не знаю, на что они надеялись, но они недовольны. Подходит месяц к концу, и перспектива виселицы заметно приблизилась. Аркада, ряд арок. Но это не арки, а только одна. Она вырисовывается в тумане времени, и пронизывающая сырость охватывает их.

Многие из них были собирателями живописи, считали себя меценатами. А тут что же такое? Ходили просто, оказывается, по квартирам (Папен закрыл лицо. Я думал, растрогался. Седина. А просто солнца много), собирали картины, статуи. Рабским трудом строили дворцы, расставляли в них награбленные картины.

Американский общественный обвинитель сказал, что они хотели предоставить германскому народу все. Как бы да, германскому народу! Принцип распределения был совсем другой. Сначала — фюрер, затем — министры, фельдмаршалы, затем...

1946 год

27/XII. Москва. М[илостивые] г[осудари]!

Вчера вечером был М. Бажан. Взял пьесу «Главный инженер» для чтения и, смеясь, сказал, узнав, что я в течение полутора месяцев не могу добиться какого-либо мнения от Комитета по делам искусств:

— Вы что же, мне нелегальную литературу предлагаете?

〈...〉 Бажан говорил, как и все, что надо «проталкивать». И, как все, он не понимает: как это я не умею «проталкивать», «ходить», «дожидаться приема» и так далее. Я, к сожалению, не мог подыскать убедительных слов,— да их и действительно, нету,— что я «не могу». 〈...〉

Сегодня получил телеграмму из Петропавловска, где 30 лет назад в газете «Приишимье» я напечатал свой первый рассказ. И печатался там часто. Там же впервые, в 1914 году, я выступил «факиром». Впрочем, «колол» ли я себя на самом деле,— не помню, но что-то делал... я так много написал об этом, что и на самом деле кажется, будто колол. Здесь я познакомился, заочно, с редактором, которого я так и не видал, но который мне писал очень любезные письма, и я был счастлив, что состою (в Кургане) — «собственным корреспондентом газеты «Приишимье». Я писал, и притом совершенно бесплатно, заметки, корреспонденции, статьи из Кургана. Кое-какие рассказики тех дней сохранились. Я их просмотрел этой зимой,— для двадцатилетнего молодого человека, который почти нигде не учился, это не так глупо. 〈...〉

Суббота. 28/XII. 1946 г. М[илостивые] г[осудари]!

И вот Человек всем сердцем признает новый Закон! Естественно, что Закон растет, делается все неумолимей, мощней, от напряжения опотевая кругом, как бутылка, принесенная с холода. В итоге — нечто фаталистическое, приговор — краткий, точный, исполнение — положительное и быстрое.

Закон отступает только перед сумасшедшими и сильно больными, сумасшедших даже почитает. (Сам видел в детстве — «дувана» возле Павлодара, и много юродивых в сибирских деревнях, один ходил без шапки по сибирскому морозу и без сапог!) Не оттого ли, стремясь быть здоровым, так люблю сапоги (были бы деньги, имел бы их сотню?). Итак,— Закон и никакой распутицы, все дороги известны и указаны... А как быть с Человечком, который хочет хотя бы небольшой, но лежащей за дорогою Закона, свободы? И вот, чем строже Закон, чем он неумолимей и точней, тем больше человек начинает мечтать о свободишке, даже не отдавая отчета, что она из себя представляет. И толпами уходит к больным, сумасшедшим, болезненным, тощим. Напрасно тупые историки искусства пишут, что тощие, длинноногие и с таким ласково-лаковым лицом, точно оно покрыто обливой, муравой, как муравленная посуда, напряженные, есть только идея Средневековья. Нет! Это действительно те самые люди, которые тогда жили и уходили к сумасшедшим, потрясали веригами и, чтоб только освобо-

диться от Закона, шли на освобождение этого дурацкого и, конечно, им совершенно ненужного Иерусалима, обличали Восток и организовывали Крестовые Походы.

В наше Средневековье был некий раскольничий толк или секта, которая называлась «подрешетниками». Мужики собирались поздно ночью, пели «стихиры», стремились к Христу, а под конец своей странной литургии, которую они сами и сочинили, причащались изюмом, что выносила в решете девка из подполья. Мне представляется эта бледная дева в белоснежном холщовом платье с длинными косами. Она вылезает по лестнице, которую для того, днем, мать ее вымыла и выскоблила ножом до цвета масла. Горит яркая, отлично просушенная лучина. Дева потупила глаза, и сердце у нее бьется, как у молодой актрисы, которая впервые выходит на сцену Художественного театра. И с каким благоговением мужики едят изюм! Бога они подрядили, и он доставит [их] теперь прямо в рай?! 〈...〉

Весь день лежал я в постели, читал книги по средневековой философии и культуре — для «Эдесской святыни», куда надо кое-что вписать. 〈...〉

Воскресенье, 1946. 29/XII. Я шел, задумавшись по переулку, выходящему на ул. Горького. Маленькая, скромно одетая женщина поравнялась со мной и сказала, заглядывая мне в лицо:

— Да? Что на рынках де-е-лается. Не пробьешься!

Видимо, она полагала, что я думаю о том же, о чем думает озабоченно она. И, до некоторой степени, она права: я думал о книжном *рынке*. 〈...〉

И мне ужасно хочется самой разнообразной литературы! И я по-прежнему считаю одним из самых больших несчастий 〈...〉 институт редакторов, людей, зачастую очень хороших, но часто совершенно неграмотных. 〈...〉

Писал заметки для статьи об электрификации России для «Огонька». Читал Ленина и все прилегающее к тем дням, когда засветилась электростанция. Приезд Уэллса, Горький... Я хорошо помню эти дни, когда в конце 1920 года или, быть может, в первых днях 1921 впервые приехал в Петроград. 〈...〉 От вокзала мой багаж какие-то мальчуганы тащили на салазках,— я дал им 10 фунтов

муки,— и попал к знакомым. Их мне рекомендовал поэт Рябов-Бельский, это были его родственники. Улицы темны, родственники Рябова-Бельского жили на Литейном, дома возвышались, как утесы, я шел по пустынным улицам с замиранием сердца. «Зачем я сюда? И выйдет ли что?» — думал я.

Но вера в свои силы была, по-видимому, огромна: я приехал в голод, в стужу, надеясь только на свои силы. «Горький? Быть может, и поможет, а скорее всего: нет»,— думал я. 〈...〉

Страна, как вспомнишь о тех темных днях, об этом Литейном,— страна шагнула чертовски далеко, и будет, разумеется, уютно, широко, чисто, и даже идиотов из литературы выбросим. Но а подхалимов? Едва ли. 〈...〉

31 дек[абря] 1946 г., вечер. 〈...〉

О коране Османа я услышал впервые в 1923—24 году от библиотекаря Гребенщикова, бородатого собирателя книг и гравюр, работавшего в Публичной библиотеке. Я жил тогда в Ленинграде, на Выборгской стороне, на ул. К. Маркса. Кабинет у меня был в домовой церкви, и на потолке еще парили четыре ангелочка — фрески.

Гребенщиков сказал мне, что коран отправили в 1919 году в Среднюю Азию, чтоб привлечь мусульман на нашу сторону. Затем где-то я прочел, что коран был похищен. Было нападение на поезд бандитов, в степи, и коран раздали по листку: разбойникам.

Я захотел написать об этом повесть. Но если писать о коране, то будет слишком фотографично... так возникло «Возвращение Будды». А. Воронскому повесть не понравилась, он ее напечатал в каком-то альманахе и не стал печатать в «Красной нови» — считая эту повесть слабой. Я ему поверил, но все же издал повесть отдельно. Повесть затем позже была переведена на польский, и помню К. Радек сказал мне как-то: «Вы, Всеволод, написали плохую контрреволюционную книжку. Я читал ее по-польски». Это и было «Возвращение Будды». Я не понял Радека, я не понимаю его слов и сейчас. Что в повести контрреволюционного? Политика есть политика, и профессор, который везет Будду, понимает это, хотя и смутно. Жаль, что написано сжато. Надо было б написать роман, но я побоялся, что роман выйдет экзотическим, так как у меня [тогда] не хватало

ни мыслей, ни наблюдений: я не был в Монголии, и монгол видел только на перронах железных дорог. Повесть успеха не имела. А между тем она-то и знаменует поворот к «Тайному тайных».

Перед смертью Ирина Сергеевна, жена Асмуса, приказала положить с собой в гроб томик Эпикура.

А действительно, скучно в такое длинное путешествие отправляться без книги!

Когда мне нужно было уезжать из Москвы, в эвакуацию, и пришел за мной Е. Петров, страшно серьезный, в шинели и с пистолетом, я вошел в кабинет, посмотрел на полки... и не взял ни одной книги.

1947 год

2 января. ⟨...⟩ Читал весь день «Сердца трех» Д. Лондона. Ужасающая чепуха, подхалимаж перед долларом. Неблагородная книга. А может быть, зачитывались Д. Лондоном не потому, что видели в нем «мужество» и «волю к жизни», а умение зарабатывать деньги в любых условиях, в ужасающие морозы и пургу? Вот у нас, мол, тоже морозы, а деньги зарабатывать трудно?

19 января. Москва. ⟨...⟩ Боже мой, как все забывается! Вчера получил от Анны Павловны, своей бывшей жены, газетные вырезки. Среди них нашел относящиеся ко времени постановки «Блокады» в Художественном театре. РАППу нужно было меня вышибить из МХАТа, ибо зачем ему действительно делать из меня всероссийскую «фигуру». ⟨...⟩ И вот рапповцы пишут, что «Блокада» была поставлена потому, что я дал авторские Судакову, т. е. взятку. Никаких авторских он не получал, да и разговора [об этом] быть не могло. Скандал получился, имя мое было более или менее, скомпрометировано, также как и имя И. Судакова. ⟨...⟩ Во всяком случае, чтение вырезок из прошлого навело меня на грустные размышления. ⟨...⟩

Редактор моего «Избранного» в Гослитиздате на мой вопрос — каково его мнение о пьесе «Главный инженер»? (Я дал ему ее для включения в книгу),— сказал, что «пьеса ему не нравится, так как там много техницизма». Иных пороков он в ней не нашел. Но сущность дела —

в том, что редактор боится [неизвестно чего] и просит психологизма, а все мои работы от «Бронепоезда» до «Пархоменко» — в промежутке («Тайное тайных», рассказы и так далее) — все выбросил! Может быть, потому, что там мало техницизма?

Картина, конечно, мрачная. Но прошу не забывать, что это картина одного дня и «все проходит». Пройдет и это. Уже и сейчас хвалят «Блокаду», когда, казалось бы, обстановка для похвал в мою сторону неподходящая. Меня всегда в таких случаях огорчает одно — невозможность спокойно работать и невозможность написать большую книгу. А может быть, и не дано мне ее написать, и мне суждена судьба портного Биллингса из Теннесси?..

Написал немножко автобиографии. Но получается как-то не всерьез.

Да, и действительно. Первая рецензия на мой труд начиналась словами: «Ходит птичка весело по тропинке бедствий», и эта тема варьируется вплоть до «При взятии Берлина», не говоря уже о «Серапионовых братьях» и тому подобном.

28 января. ⟨...⟩ Будущий исследователь этих листков скажет: «Боже мой, какой он, Всеволод Вячеславович, был мизантроп!» Вовсе не так. Я страдал оттого, что не мог полностью развить свой талант,— и не в своих интересах, сам я в конце концов жил счастливо, а в интересах моей страны — потому что если уж в такой стране, где были Чехов и Достоевский, быть писателем, то надо быть очень хорошим, для этого *полностью* развить себя. А развить *себя* — одному не всегда удается. ⟨...⟩

29 января 1947 г. Подлипки. ⟨...⟩ *Разрешение сюжетных линий в романе или сказке.* Неразрешимый узел противоречий в сказке (если нужен благополучный конец) развязывают добрые волшебники, не прикрепленные к какой-либо профессии (как это происходит позже, когда появляется ученый), а существующие сами по себе, поскольку существует вера в реальное бытие таких волшебников. В русской сказке часто роль волшебников играли добрые звери: серый волк, конек-горбунок, кот, петух или медведь и т. д., причем добрые звери не

превращаются в людей, как это бывает в сказке китайской. В западной сказке преобладают феи.— В Китайской письменной сказке (Ляо Чжай) роль волшебников играют монахи, развязывающие не только запутанные узлы интриг, но исполняющие даже желания героев, быть может, и не высказанные вслух. («Расписная сетка». Герой желает обладать девушкой, которую видит на картине. И он входит в картину и исполняет свое желание, а затем его выбрасывают из картины.) Нравоучительная сказка. Волшебник наказывает за жадность. («Как он сажал грушу». Мужик продавал на базаре воз груш. Монах просит одну. Мужик отказывает. Рабочий покупает монаху грушу. Тот предлагает ее вначале гостям. Те отказываются, и тогда монах ест ее: «Мне нужна только косточка». Монах сажает косточку в землю, поливает кипятком. Груша растет на глазах, цветет, созревает. Монах лезет туда, срывает груши, раздает их. Затем срубил грушу, взвалил ее себе на плечо... Мужик оглянулся: на возу нет груш и нет одной оглобли у телеги. Оглоблю нашел подальше.)

Затем роман развивается и роль доброго волшебника тоже видоизменяется. В водевилях он — добрый дядюшка, оставляющий наследство и женящий племянников. В американском романе — миллионер или сыщик. В детской литературе: «Остров сокровищ» сыщиком, добрым волшебником, всех спасающим, является ребенок. Тоже самое и в нашей детской литературе: волшебниками являются наши добрые, умные, хорошо учащиеся дети — и не один, а несколько, коллектив. В военной литературе — уже взвод добрых детей не пьющих, не курящих, не матерящихся. Том Сойер, индивидуалист, был бы среди таких детей преступником, хотя он тоже волшебник. — Дальше. Поскольку мир исцелить должна только одна наука, и на нее человечеством возложены все надежды (быть может, и не праздные), то вскоре волшебным разрешителем запутанных сюжетных положений явился ученый. Сейчас добродетельный герой не может не быть ученым, изобретателем, пусть таким будет даже самый обыкновенный крестьянин: тогда он должен быть хотя бы организатором хозяйства, на что надобна наука, ученье, опыт. Даже сыщик Ш. Холмс — ученый человек. Весь так на-

зываемый научно-приключенческий роман: сказка о могучем волшебнике — ученом, разрешающем все противоречия. Если это — социальная тема, то роман называется утопией. («Аэлита», трилогия о капитане Немо и т. д.) — Разрешение казалось бы неразрешимых конфликтов может быть и внешним (т. е. конфликт разрешается добрыми волшебниками, носящими название умных зверей, фей, ученых, сыщиков, миллионеров, добрых учителей-преподавателей, комиссаров, вроде Фурманова, писателей, врачей и т. д.), но разрешение может быть и внутренним, когда в разрешении своего душевного конфликта герой опирается на какую-нибудь идею. Любопытно, что Раскольников (фамилия-то какая!) при убийстве старухи опирался на одну, несомненно, вычитанную идею, о сверхчеловеке, о человеке, которому все позволено, а затем, при раскаянии, опирался на другую, тоже вычитанную, идею добра — Евангелие. Идея не обязательно должна быть вычитанной, она может быть, если автор достаточно умен,— и изобретенной автором. Впрочем, авторы романов, как правило, 〈...〉 философией не занимаются, а в лучшем случае живут умом критиков, буде таковые имеются, и теми соломенными идейками, которые обычно царят в обществе. Да и нужны ли серьезные идеи для романов?.. Успех Достоевского говорит, что, возможно, нужны. Но вот что: можно ли было б [с увлечением] читать Достоевского, если б он не вписал в свои романы уголовщину? Впрочем, Шекспир тоже весь в уголовщине. — Роман, о котором я говорил выше, называется психологическим не потому, что в нем преобладает психология, а потому, что идеи, вызвавшие психологические акты (ненависти, добра, зависти, презрения, гордости, милосердия и т. д.), столь ничтожны, что идейным такой роман назвать никак нельзя. И роман Достоевского по странной игре привычки носит название психологического и чуть ли не ультрапсихологического, хотя это-то и есть истинно идейный роман. Если б во времена Платона существовал бы роман в том виде, в каком мы видим его сейчас, Платон был бы самым лучшим романистом мира. Но только вряд ли бы Академия, основанная Платоном, просуществовала тогда 900 лет — бездарности и завистники разрушили бы ее и через 90. Юстинианов среди писателей больше, чем среди философов. 〈...〉

Март [19]47 года

18/III. Дома. Читал. Записывал для пьесы «Главный инженер» и запутался. Никак вылезть не могу. Вечером читал статью А. Блока — человек был возвышенный, но узкий, как готический собор.

19/III. Первое действие «Главного инженера» — начисто. Который раз переписываю и не знаю — не меньше десяти. Выбросил массу действующих лиц и много выиграл.

20/III. Заседание Моссовета. Зал, где гулял Онегин. Докладчик — о бюджете 1947 года, построенном исключительно на доходах торговли. Рынок, сбор с рынка, приносит дохода больше, чем легкая промышленность.

22/III. Еще раз переписал второй акт. — Статья о Пастернаке в газете «Культура и жизнь»; уезжаем в «Горки» к Н[адежде] А[лексеевне] на дачу.

26/III. Переписал начерно третий акт. — Дома. Звонил И. Судаков, прося ознакомить с пьесой. Может быть, прочту ему завтра три действия. С воскресенья — дождь. В Англии наводнение. Хотя мы соперники, но тут, похоже, сольемся.

29/III. Гулял. Отдыхал. Читал О'Генри и Тургенева. Об изменениях в пьесе. Свобода? — Заходил Шкловский, рассказывал о провалившихся крышах. У него провалилось сердце — не может забыть смерть сына.

30/III. Написал ночью рассказ «Джунгарский цветок». — Исправлял пьесу. Из дома не выходил.

Апрель 1947 года

2/IV. Днем — Гослитиздат, разговор о моей книге «Избранное». Вечером — замечательная встреча с начальником депо ж[елезно]д[орожной] ст[анции] Торжок. Боже мой, какой талантливый человек!

3/IV. Дома. Переделки третьего акта. — Начало рассказа «Липовый медведь». Туман, к вечеру солнце. Всюду наводнения. — В газетах наводнение статей об Америке. — Читал О'Генри и Лабиша.

4/IV. Ходил по городу. Читал О'Генри — золотые гроши благородства и счастья. — Очень устал, не сегодня, а вообще, и поэтому третий акт застопорился. — Ледоход — крайне серьезный ледоход... Я не стар?

5/IV. Дома. Подняты даже мои мощи: статья Щербины в «Известиях», восхваляющая писателей, писавших статьи во время войны и призывающая их делать то же самое сейчас. Третий акт пьесы, набело — уже забыл который раз.

8/IV. Дома. Работал над четвертым действием пьесы — с трудом. Устал. Переписал половину акта. Так как в пьесе нужна песня, то предложил написать ее Коме.

9/IV. Дома. Доканчивал четвертый акт. Придумал сцену «Собаки рычат» — из казахской свадьбы. — Кома написал песню. Буду читать четвертый акт И. Судакову. Судаков одобрил — и пьесу и стихи.

11/IV. Гулял. Исправил остальное в пьесе. В воскресенье буду читать пьесу в Художественном театре. Любопытно, как примут и кто будет? Туманное небо.

14/IV. Гулял. Чичеров из секции драматургов: «Мне звонил Радомысленский. Пьесу приняли на «ура»? Ну, что мне делать? Никто на мои чтения в клуб не ходит, однако я согласился — иначе обидятся. И зачем, в конце концов, мне их обижать? Судаков: «Никто не хотел браться за пьесу, а теперь все режиссеры жаждут. Для меня — это возрождение». Я обещал его поддержать.

15/IV. Появление М. Бажана. Привез английскую книгу — «Последние дни Гитлера» и сигары с Ямайки. Воспламенился, как и все, поездкой на Хан-Тенгри, но быстро остыл.

16/IV. Вношу изменения в сценарий. Написал статью для «Гудка» о начальнике депо Торжок. На улице тепло, дом перестали топить. А я устал, устал, устал...

24/IV. Вечер у Кончаловских. Записывал его рассказ. Когда намеренно рассказывается,— редко что выходит. Записал бегло. Получил обложку «При взятии Берлина», выходящего — в Швеции?!

25/IV. Дома. Радио. — Нет ничего для радио! И вообще пишется с трудом — смертельно надоел сценарий и устал от переделок пьесы. Однако медленно двигаюсь вперед.〈...〉

26/IV. Дома. Писал — сценарий, а вечером — переделывал и переписывал первый акт пьесы. Приехал И. Груздев. Оказывается, М. Горький думал написать пьесу о Павле I — «Нос». Нос-то у него Салтыкова, а не Романова!

27/IV. Дома. Весен[няя] худ[ожественная] выставка — для радио. 〈...〉

28/IV. Дома. Статью для Радио. — Исправил еще раз то, что дал Судакову. — Груздев с восторгом рассказывает о «подъеме» в гостинице после московск[ого] совеща[ния]. Он переехал туда.

Май 1947 года

25/V. Дописывал сценарий — 74 стр. Вечером — у И. И. Розанова, осматривали его действительно замечательную библиотеку поэтов. Прекрасные издания XVIII и XIX веков. Старик суетливый и читал нам лекцию — откуда началась библиотека.

Июнь [19]47 года

31/V—1/VI. «Советское искусство» — и сообщение о постановке фильма «Главный инженер». А я-то здесь мучаюсь над сценарием!

У Пешковых в «Горках». Горький собирал грибы, ставя возле маленьких прутики. По ту сторону дороги был лес, и у дороги росли рыжики. Их не собирали. Горький удивлялся:

— Да вы их не видите, что ли?

Первая неделя. 24 сентября 1947 года ⟨...⟩ Вот лето окончилось, мы вернулись в Москву. И я по-прежнему собираюсь в Казахстан. ⟨...⟩ Предполагаю поехать в Алма-Ату, Фрунзе, Ташкент, Фергану и Ашхабад. Впрочем, на запас есть упрощенный вариант поездки: Алма-Ата, пустыня Бетпак-Дала, Ташкент и оттуда в Кигенский район, юг Казахстана, где ноябрь может быть еще хорошим и можно походить по горам, по которым тоскую.

Исправляю пьесу с тем, чтобы повезти в Казахстан уже более или менее сносный текст.

Погода наступила прекрасная, солнечная; мы несколько раз ездили по грибы. Так как много слухов о грабителях, то все едут оборванцами и в лесу друг друга боятся. А едет людей множество. Я, на старости лет, ехал от Апрелевки до Рассудова на подножке: поезд был малоярославский и дачных не пускали в вагоны.

Встретил Соколова-Микитина в «Известиях». Зашли в пивную. Он прилетел из Таймыра, где прожил с экспедицией, отыскивающей что-то, целых пять месяцев. Ему 55 лет. Экспедиция справляла ему там юбилей: повар, некогда служивший в «Астории», приготовил обед «романовский». Иван Сергеич сказал (разговор шел о старости) — «Я не чувствую ее. Но иногда пройдешь мимо зеркала, взглянешь и ужаснешься: черт возьми!» Под конец его охотничьей жизни ему повезло — он попал в такое место, где так много дичи, что он не мог стрелять. Олени ходят в 20 шагах от стойбища экспедиции, а куропатки не летают, бегают, как курицы. Собак кормят родом семги, и рыбы так много, что собаки объедаются и рыба валяется под ногами. Осенью было много подберезовиков; червивых нет совсем. Полярные березки ростом в длину ладони, а грибы их выше. Но все же растут в березовой роще. Там же, в пивной, после летучки, видел Кудреватых, Полторацкого, Рогова. Они пили водку с пивом и хвалили меня за «Похождения факира», спрашивая четвертую и пятую части. Посмеиваясь, я обещал написать. Написать действительно хочется, но вряд ли выйдет. Это еще труднее и недоступнее, чем поехать в Казахстан.

⟨...⟩

1954 год

10/VI. Гроза. Дожди не подряд, а с перерывами. В промежутки грохочет гром, сверкают молнии,— и вся эта дачная местность, с ее домиками, заборами из штакетника, грядками огородными, кустами смородины, зараженными огневкой, раздвигается до пределов необычайных, почти звездных...

Пастернак (встретил его среди сосен, у дороги, где я лежал в траве, он ходил подписываться по телефону на заем) — Я расскажу тебе почти анекдот. Меня попросили для Бюллетеня ВОКСа написать, как я работал над «Фаустом». Я сказал, что работал давно, многое забыл, мне не написать ничего и вообще святые истоки я боюсь и трогать. Пусть лучше напишет тот, кто знает перевод, а я, если понадобится, напишу несколько слов послесловия, от переводчика. Ну, написал Вильмонт, очень хорошо, а я приписал следующие мысли: Фауст — это владение временем, попытка превратить короткий отрезок времени во что-то длительное, более или менее устойчивое. Я написал это, читаю по телефону сотруднице и спрашиваю: «Понятно?»— «Да, понятно, но ведь у нас переводчики, вот они, не знаю, поймут ли». — «А на каких языках выходит Бюллетень?»—«На английском». —«Знаете, что? Давайте я напишу вам то же самое по-английски. Я не владею им так же свободно, как русским, но все же...» — «Хорошо». Написал. Спрашиваю: «Понятно?» Отвечают: «Да, очень, гораздо лучше, чем по-русски: мы посылаем в набор!..» Все это похоже на павловский рефлекс; собака приучена выделять слюну по таким-то и таким звукам метронома. Иначе ей все непонятно. Действует метроном — она выделяет слюну, а по-английски действует другой, более сложный метроном, они по нему привыкли выделять слюну!..

1957 год

20/XII. Пожилая детская писательница в Литературном институте, поучая дипломанта, представившего детские рассказы, сказала приблизительно так:

— Для маленьких детей не надо рассказывать о больших событиях. Шалости котенка, новые валенки, воз

дров, не говоря уже о чужом дяде,— это огромные факты для ребенка.

«И для взрослых,— подумал я. — Только мы притворяемся, что оно не так».

Поездка в Индию. 1959 год

8/XII. Дели. Свердловск. Мороз. Ветер. Ташкент. Оформление. Совершенно легкий перелет в Дели — 2,5 часа!

— Гималаи. Самолет продолжает набирать высоту. 10 тысяч метров,— говорит стюардесса.

Гималаи или нет, прах их знает, а картина величественная! Нагромождение гор, хребтов, скалы, поспешно бегущие облака, застывшие озера — все это прекрасно. В самолете, правда, душновато, капризничает ребенок— какие-то русские едут на службу в Дели.

Дели. Разумеется, некоторая растерянность. «Оформление багажа», суматоха, но все это в конце концов происходит быстро.

Ужин. Прогулка по городу. Они, индусы т. е., собираются встречать Эйзенхауэра. Наш отель в синих лампочках, окрашенных от руки. Купы деревьев, убранные лампочками,— а не дома, как у нас. Цветы: желтые, железные столбы, украшенные цветами. Велосипеды, двуколки с огром[ными] колесами «на рез[иновом] ходу». А сейчас пишу в номере. ⟨...⟩

Утро 9-го. Прохладно. Воздух превосходный.

В аэропорту Дели: карта, Сибирь-медведь, а на месте Чит[инской] обл[асти] — зеленые и голубые ели. ⟨...⟩

День утомительный, шумный. Под вечер толпа, встречавшая Эйзенхауэра, подняла пыль. Толпа удив[ительно] красочна. У мест[а] крем[ации] Ганди — укр[отитель] змей [с мангустами], продавцы желтых цветов — ожерелий, бонзы в оранжевых тогах, бритые, без шапок, в сандалиях на босу ногу, монахи с Гималаев, женщины в желто-голубых плащах, девушки в накидках. В Красном Форте возле ворот — «военный объект, который нельзя снимать», потом опять какой-то объект — и мраморный дворец посл[еднего] имп[ератора] из Великих Моголов, обворованный, разграбленный — лучше всего сохранилась «баш[ня] императора». Через дворец идет

канал — это чтобы дворец охлаждался; перед дворцом по газону бегают обезьянки. Мальчишки, большеглазые, черные. В городе нет музея — по-видимому, по той простой причине, что все разграблено, вывезено.

10/XII. 5.30 утра — прогулка с Матусовским по городу, который спит долго, до 7 часов. Показывается солнце, начинают кричать галки, которым кидают корм на тротуары, попугайчики и какие-то коротконогие птички, похожие на скворцов. Круг[овая] и боковая улицы. Магазины заставлены циновками, просвечивают лампочки. Затем небо начинает розоветь, поднимается дымка. Такси, стоящие на улицах, 〈...〉 покрываются росой. Люди сидят на корточках, зажигают в небольших харчевнях жаровни. Все бедно и печально. Ходят «неприкасаемые» с мешками, босые — с браслетами на ногах— подбирают бумажки. Гирлянды с железных столбов сорваны, валяются кирпичи, на которых стояли, чтоб смотреть на Эйзенх[ауэра]. Листы лотоса на тротуарах.

— Така?

— Спасибо.

— Гулять ногами?

На одном из магазинов вывеска «Магазин для русских друзей».

15/XII. Из Бенареса в Калькутту. Утро на аэродроме. «Пейте кока-кола». Летчик-философ хочет играть нам на скрипке. В полете отвинчивается винт [скрепляющий лопасти крыла самолета].

Позже, после обеда, летчик пришел к нам, и мы долго гуляли по городу. Покупали в магазинах куст[арные] изделия.

— «Париж Востока».

Контраст богатства и бедности ужасающий. Женщина с ребенком на руках и другим, голым, бежала за нами три квартала, прося милостыню. Нельзя ни на кого взглянуть, чтобы он [тотчас] не подошел, предлагая свои услуги. Машины почему-то преимущественно черные. Милиционеры — в белом и красных тюрбанах с кистью.

После прогулки долгий разговор с летчиком. Рассказывал ему о себе и романе «Мы идем в Индию». Я ска-

зал, улыбаясь, конечно, что хотел быть йогом. Он спросил:

— Вы верили тогда в бога?

— Нет.

— Без веры в бога йогом стать нельзя.

По-видимому, он-то верит.

Занимается санскритом с увлечением, пишет, читал кое-какие книги о России, знает Толстого («на Ганди влиял Толстой» — высшая похвала), Достоевского, читал «Т[араса] Бульбу». Из совр[еменных], по-видимому, не знает никого. Он спросил:

— Я знал психологию дореволюционного русского человека. Чем теперешняя отличается от прежней. Скажем, патриотизм Тараса Бульбы и ваш? Не знаю, не решил, писать ли мне по-английски или на хинди?

Мы стали его убеждать, что писать нужно на родном языке. Не думаю, чтоб убедили: он, по-видимому, склонен к английскому. В общем человек как человек, но любопытна эта склонность к познанию души человека, к тому, что мы называем психологией. Хотел еще гулять, но мы устали и пошли спать.

16/XII. Обедали. Шлялись по базару. Носильщики с корзинами, как попугаи, автоматически повторяющие за вами все, что вы говорите.

Калькутта — это то, как прежде жило человечество. На улицах — вокруг домов и базаров: нищие, воры, убийцы, а внутри домов — богатство, не ахти какое, но с точки зрения нищего: огромное. Какой здесь, наверное, фольклор, какие нравы,— какая, по-своему, чудовищная дисциплина со [своими] вождями и законами. Наверное, в свое время появится писатель, который чудесно все это опишет и даст жизнь теням, несущим великое страдание. Впрочем, что это за утешение им!

18/XII. Осмотр цикла храмов в скалах и под скалами.

Возвращ[ение] в Мадрас. Рисовые поля. Холмы. Солнце закатывается два раза. Обгоняем волов — телега с хворостом, минуем домики и наконец въезжаем в город с его лавчонками, ремесленниками, запахом растительного масла. 37° жары.

Завтра — в 5 вечера — на Бомбей.

22/XII. Йогский оздор[овительный] центр. Сначала осмотрели два небольших зала, где упражнялись больные, очищая желудок посредством резиновой кишки и каких-то лент. В передней — схема управления йогов, ящики с замками, телефон, толпятся люди; все очень обыденно. Пройдя босиком через верх, спустились на площадку, окруженную пальмами, по которым сновали галки, и стали расспрашивать йога, худощавого человека, по-видимому врача или преподавателя (о себе он избегал говорить и вообще хотя держался вежливо, но к нам относился пренебрежительно). Нам он не задал ни одного вопроса.

Объяснения сводились только к физич[еским] упражнениям. Когда ему рассказали, что в России увлек[аются] йогизмом, он сказал, что йоги — в больш[инстве] вегет[арианцы], а в России — морозы, и наверное нельзя быть вегетар[ианцем]. Кто-то сказал ему про меня, что — я йог, бывший. Он заметил:

— Д[олжно] б[ыть], плохо занимался, так как здоровье слабое.

Резкость, обычная для врачей:

В Бомбее у них поликлиника, учебный [колледж] и научный центр — в 75 километрах.

На вопрос Т[амары] В[ладимировны], чего достигают йоги, объясн[яющий] сказал: что у них есть человек (его сейчас нет в Бомбее), который может лежать под землей на глубине 2—3 метров (туда достигает воздух, но обычному человеку этого мало, а ему достаточно) — 8 дней. Но это редко (как всякий талант), и не к этому стремятся йоги — к самоусовершенствованию, сохр[анению] спокойствия.

Они отриц[ают] науку.

— Дарвин говорил о борьбе видов. Но это — животная борьба. А человек способен быть вне этой борьбы. Техника?

Он с пренебр[ежением] указал на папироску во рту С. Северцева.

— Это вам принесла техника. Да, техника приносит пользу. Но — еще больше вреда. Йоги способны будут внушать людям хорошие мысли, как только их, йогов, станет много.

1959 год

В 1913 году я пошел в Индию.

Я прошел по всему пути теперешнего Турксиба, пешком, в сопровождении моего отца, учителя средней школы, двух друзей и коня Нубии.

Этот путь, длившийся много дней, я описал в романе «Мы идем в Индию».

Самое удивительное не это: мало ли пишут и печатают романов. Самое удивительное то, что я действительно попал в Индию хотя и не в 1913 году, а сорок шесть лет спустя, в 1959, и не пешком, не с караваном (через Бухару, Кабул и Пешавер), а прилетел на «ТУ-104» через Москву — Ташкент — Дели.

Меня встретили гирляндой из желтых цветов, как встречают многих советских путешественников: боюсь, что в 1913 году я был бы встречен в Дели несколько подругому! Хотя я попал в Индию и 46 лет спустя, впечатление от Индии было сказочно-пышным, быть может, более пышным, чем даже в юности, так как я многое научился видеть, и, боюсь, это покажется хвастовством, кое-что и понимать. Во всяком случае, был счастлив! Я видел древние и новые города Индии, моря, реки, горы, деревни, брошенные крепости, толпу на улицах, пыль, вдыхал запах цветов, запах Ганга,— короче говоря,— я был счастлив. Думаю, не малую долю в моем счастье играл роман «Мы идем в Индию», потому что это было завершение пути.

Я пришел туда, куда шел.

1961 год

Поездка во Францию. Февраль 1961 года

22/II. К аэродрому.

Полет. Болит голова перед посадкой.

Париж. Предместья. 30 коммун из 80-ти — коммунистические.

Старинная гостиница на рю Лафайэт. № 45, похожий на каюту,— грязный и пыльный. Эльза и Познер в синем пальто.

Завтрак у Арагона. Арагон [пишет] параллельную историю СССР.

Тамара пошла смотреть какое-то обозрение на политическую тему, а я — «Дядю Ваню» в Комеди Франсез. Хороши декорации дома, гостиной, конторы. Очень хорошо играли актеры в ролях: дяди Вани, Астрова и жены профессора. Похоже на старинные русские театры — красный бархат. Зрители — из какого-то клуба. После пьесы кое-как поговорили с актерами, в коридоре. Режиссер тут же повторил какую-то сцену. Кафе, где будто бы играл в шахматы Наполеон. 〈...〉

24/II. А сегодня, с утра, солнце и подсыхает. Спешно собираемся,— к двенадцати надо очистить номер 45. Собирались долго, шли через город и в Лувр попали почти к одиннадцати. Ходили долго. И странно: может быть, никогда, как сейчас, я понял условность живописи, которую видел перед собой. Может быть, это объясняется тем, что современная живопись особенно усиленно подчеркивает свою условность.

Обед. И поездка на Монмартр, а затем на остров Сен-Луи, вместе с Познером. Познер уехал, и мы погуляли с Кавериными. Прекрасно!

Вернулись к обеду.

— Что такое республика на Монмартре? — спросил совершенно серьезно один писатель у Тамары.

Она объяснила, что это трактирный трюк.

Другой не узнал своего чемодана только потому, что отель наклеил наклейку.

Поезд. Спальные места. Все хорошо.

25/II. Марсель. У белых скал с потеками — шестнадцатиэтажное здание. Показывают строящийся дом — 70 тысяч франков квартира.

Затем — завтрак «у Пьера́», возле ратуши. Разрушенные бомбежкой дома — и вместо них новые: благоденствие!

Поездка на остров Ив. Разукрашенная моторная лодка. Хриплый голос «штурмана», назыв[ающий] исторические места. Железная Маска, Мирабо, прах маршала (?), забытый Бонапартом: все это во втором этаже. А в первом — выдуманная камера Дантеса, графа М[онте] Крист[о] и даже дыра в камеру аб[бата] Фоша! Вот как вымысел побеждает жизнь!

На обратном пути: поездка в Новый Порт, мимо океанских судов. Форт Вобана.

Тамара захворала. Ужинали без нее. Ходили час вдоль пирса. Подсвеченные яхты, карбасы, моторные лодки. Отсветы воды на бортах судов. Развешенные сети. Сети днем сушат на тротуарах. Какие-то два мальчишки-художника рисуют цветными мелками на тротуаре, автомобиль со столовой. Скатерти и синие скамейки,— автомобили вроде тех, что возят у нас продукты.

26/II. Второй и посл[*едний*] *день в Марселе.* Утром — завтрак внизу, в ресторане. Знакомство с членами Общества СССР — Франция. Поляк в очках, худощавый Роберт и 20-тилетний корсиканец Пьер. 〈...〉

Деревня. Стоит мельница. Пейзаж почти крымский. Больница. Мерия. 〈...〉 Разговаривали не о судьбах людей, о чем, собственно, и стоило разговаривать, а о том: как поставлено дело? Что же, дело и без того видно, что поставлено не плохо. Раздавали мальчишкам значки.

Встреча с членами Об[щест]ва СССР — Франция в каком-то старом ресторане. Аперитив, то есть по рюмке вина. Интервью с обычными вопросами. Можно ли ввозить книги и журналы в СССР? Много ли среди вас коммунистов?

Моя речь к президенту Общества. Слушая меня, какой-то розовый старичок, стоявший напротив, плакал. Оттуда: завтрак. Сег[одня] Тамаре лучше.

Обед прощальный «у Пьерá».

1/III. Завтрак. Споры из-за музея Пикассо.

Дорога на Канн. Маленький городок, где разыскиваем музей Пикассо.

В первом этаже. Но — закрыт. Через полтора часа [откроют].

Идут разыскивать смотрителя.

Небо безоблачно. Старинный дом. Набережная. Тишина. Никто не может сидеть на месте и ждать. Суматоха из-за Экса: университет и собрание студентов.

Музей П[икассо].

22/VI. Наверху было солнце, а спускались сквозь тучу. И все же разглядели в сероватом воздухе ряды кирпичных двухэтажных домиков с крошечными садиками. Ехали к отелю в автобусе с двойной крышей, любуясь красивыми домиками и множеством роз, глициний. Много штамбовых роз.

Лондон не ошеломляет, как Париж, а удивляет своей провинциальностью. И гостиница провинциальная, чистенькая (№ 49). Холл, впрочем, устлан красным ковром, и в общем тихо. Ждем обеда, а потом поедем на могилу Карла Маркса.—Странно все-таки начинать поездку с кладбища. Серый тон кладбища. Камешки под ногами. Штамбовые розы. Кладбище, где похоронен Маркс. Голова на кам[енном] постаменте. «Ее постоянно чистят, так как обливают кислотами и краской фашисты. Очень часто». Плакучие ивы. Кладбище огромное.

Берег Темзы. Зеленая скамейка с пьедесталом. Сидит нищий, ест кусок хлеба и крошки бросает голубям. Через мост идут автобусы, красные с желтыми полосами посредине: людей мало, потому автобусы и создают впечатление пустых. ⟨...⟩

Как многое в Англии, Национальный музей поразил меня умением в подборе и выставке картин и разнообразии зал. Итальянцы. Нидерландцы. Демократично. Вход бесплатный,— и народ не толпится. Много молодежи, копиистов — как всегда ужасных. Выйдя, посидели на парапете, а затем спустились вниз, к колонне, где был жиденький фонтан и играла подсвеченная вода. Парочка: девица с «хвостом» в табачного цвета кофте и обтянутых, как лосины, штанах, в сандалиях на босу ногу, ее кавалер — смуглый индус, довольно неопрятный. На них, впрочем, никто не обращал внимания. Голуби. Их кормят крошками. Они кружат стаей. Толстые дети. Какой-то старик с трубкой, сердитый, небритый; курящих трубку много. Много и людей в котелках, с зонтиками. Но толпа в общем не хмурая. Огромные львы,— довольно безобразные.

Обед.

Хотели идти в кино, но вместо того избрали Гайд-парк. Действительно, как я читал, ходят по газону, лежат, стоят стулья — за пенс. Ужасен памятник принцу

Альберту. Впрочем, через 500 лет он не будет казаться ужасным. Скворцы и голуби. Черные такси.

Против нашей гостиницы каштаны, коричнево-белый дом. Очень много простых кирпичных домов, покрытых копотью; наличники окон и дверей бетонные, беленые. Мотоциклисты все в касках, белых из пластмассы.

[Нас обслуживает] прогр[ессивная] туристская организация.

— Боюсь,— сказал С... — что они будут больше заниматься политикой, чем обслуживанием нас.

К вечеру улицы наполнились. Ехали мы в автобусе к нашей остановке полчаса, и не так далеко. Черные такси: «Рено 20-го года». Вообще черных машин много.

В нашем номере: на полу ковер красный, занавески с изобр[ажением] сцен (черным по крему) из времен королевы Виктории, пластмассовые жалюзи, кремовые стены. Вид из окна, его надо описать особо, в свободное время.

23/VI. Лондон. Вернулись, пообедали и тотчас же — на встречу с английскими писателями в Пэнклуб. (Пэн — Поэзия, Эссе, Новеллы). Сборище как сборище. Плохое вино, скучные разговоры:

— Надолго ли в Англию?

— Вам повезло: хорошая погода. ⟨...⟩

Разговор с издателем, за которого говорила жена.

— Переводы стоят дорого: от трех до пяти фунтов за тысячу слов. Поэтому мы продаем в газеты или американцам, если они выпускают книгу одновременно.

Переводят преимущественно немцев. Русских мало, а о национальных наших литературах вообще не знают ничего.

Домик среднего качества: посредственная мебель, посредственные картины, комнаты и садик, выложенный камнем, где два-три дерева и что-то похожее на беседку. Я, впрочем, не посмотрел: так было скучно. ⟨...⟩

25/VI. Лондон. Дорога в деревню, где живет писатель Д. Линдслей. Окраины. Парк. Дом, где мало редкостей, маленький садик — груша, огородик, конюшня, переделанная в жилой домик, сложенный из камня, ворота, увитые большими розами. Хозяин встретил нас в костюме из материи, похожей на чесучу, и в резиновых тапках. Выпили фруктового сока, «виши», съели

по сэндвичу, прошли пешком вдоль залитой солнцем дороги. Вдали парк с ивами, видимо, есть речка. Мчатся машины. Было довольно скучно. Здесь когда-то была старая Англия, разводившая овец, поэтому здесь много домов XVI века, в частности, хозяин живет в таком доме.

Жарко. Долго ехали по дорогам. Частный парк, по обочине которого вдоль изгороди устроились отдыхающие. Приехали со стульями, шезлонгами,— и всюду загорают, даже в городе; в очереди на автобус. Идет с барабаном и оркестром «Армия спасения», ораторы говорят в Гайд-парке: «Не забывайте о боге, не грешите в воскресный день». И возле Мраморной арки, неподалеку от места ораторов, пристроились двое загорающих. Девушки в шортах, широких декольте. Парки, парки, одинокие деревья среди бледно-зеленых лугов. Показались красные автобусы с рекламами на площадках, двухэтажные дома, я насчитал 36 улиц — и бросил. Восточный Лондон. Здесь, наверное, в дождливую погоду сумрачно-таки! ⟨...⟩

27/VI. ⟨...⟩ Дорога к Манчестеру. «Гончарно-метал[лургический] город». Профессор истории, позавидовавший Андроникову, который ведет монолог, а Сурков [говорит] о литературе, как в Москве. Город по-своему очень красив — мрачен, темен, с множеством труб,— как и подобает человеческой жизни. Приехали в Манчестер, в девять вечера, где-то плутали по дорогам, мимо изгородей, пасущихся коров, скошенного и спрессованного сена — и ни одного регулировщика!

В Манчестере больше осадков, чем во всей Англии. Славен забастовками. Манчестерцы считают, что у них лучший город, лучший оркестр, лучшее кино, галереи, лучший театр и вообще — это второй город в Англии, после Лондона.

28/VI. Из Манчестера в Глазго. 7 часов утра.

Гостиница старая, старая. Офиц[ианты] в красных мундирах. Глядят на нас с удивлением. Пыльные ковры, комнаты с высокими потолками XIX столетия, с черной мебелью, с запахом тяжеловатым и холодным, напоминавшим мне Диккенса.

Овцы. Ромашки вдоль дороги, раскачиваемые ветром. Горы. Каменные степные дороги, потемн[евшие] от времени черные изгороди — кустарники. ⟨...⟩

30/VI. Глазго и поездка в Эдинбург.

Горная Шотландия.

Теннисная площадка, как бассейн. В. Стифенсон. Папоротники и вереск, темные, словно обожженные; летит чайка. Елки похожи на папоротники. Лох-озеро: «После этого лоха, мы бы пожрали неплохо».

Город Келендер. Обед. Замок шотландских королей — Стирлинг. Сажают цветы к завтрашнему приезду королевы и репетируют смотр солдат-шотландцев [в национальных шотландских юбках и с волынками].

Знамена в черных чехлах. Черные шапочки с белыми кокардами, белые гетры, бело-красные чулки, юбка синяя. Красные и белые перевязи у знаменосцев. Народ на другой площадке, где трудятся садовники. На площадке стоят пушки, глядящие на равнину, на памятник Уэллсу, стоящий на холме. Под холмом, в дымке — домики с красными крышами. Идут мимо строящихся шотландцев туристы.

Прием в Шотландском Эдинбургском Пэнклубе. Дом купца XVI века с разрисованными балками потолка, с остатками фресок на стенах, со старинной, кожаной, тяжелой мебелью. Тесно, жарко. Разговор о «башне из слоновой кости» (в литературе).

— У нас ее в Шотландии нет. Может быть, она есть в России?

— У нас нет тоже.

Разговор с учителями и тремя старушками. Из сов[етских] писателей им известен только Пастернак.

Страшно аплодировали словам Суркова:

— У нас в России Бернса знают больше,— не скажу о Шотландии,— чем в Англии.

Шли из Пэнклуба через Эдинбург белой ночью. Это очень красиво. Белая ночь у них называется «светящаяся ночь». Но нет Достоевского!

1/VII. Эдинбург.

Город днем, как и следует ожидать, совсем другой. Нет той таинственности первого впечатления, которое было вчера. Но и в обычной сутолоке толпы на улицах, в магазинах, кафе много своеобразного. Новое явление, свойственное Англии,— много магазинов, расположенных в подвалах; по-видимому, это переоборудованные бомбоубежища. И при всем многообразии товаров,

в магазинах все-таки нет той элегантности и вкуса, который наблюдаешь в Японии. А ведь здесь товары всей империи. Однако сетки от москитов не нашли!

2/VII. Эдинбург и дорога.

Встали рано, в шестом часу. Чирикают птички. Разноцветные стены, обои в комнате красно-желтые, лиловая дверь. В воздухе прохлада. Солнца нет, облака. В окно, за деревьями вдали, виден колледж готического типа, фабричные трубы рядом и зеленые холмы. Они совсем во мгле.

Дорога в Лидс. Дождь. Перед Лидсом — легкий туман. Черные города. Короткая остановка в Ньюкастле и обед в Красном зале ресторана. Люди пережидают дождь в подъездах, множество зонтиков, и совершенно нет ожидаемого воскресного оживления. По-видимому, от дождя, сырости, вчерашнего многочасового хождения, полпути сплю и сейчас — опять в темной викторианской гостинице, которая в свое время была, наверное, шикарнейшей,— хочется спать. Спутники собираются в кино, а я после обеда, почитав И. Анненского, лягу спать. Жалко, но завтра — длинная дорога и выступление в Пушкинском клубе, среди «революционных аристократов», как их называют наши.

3/VII. Утро. Весть о смерти Хемингуэя. 〈...〉

Очень хорош лонд[онский] порт: самое величественное из морских сооружений, которое я видел. Погрузились очень быстро: в полчаса были выполнены все формальности. «Эстония»— чистенький уютный корабль. Дул прохладный ветер, и через час-два после отхода началась качка. Укачало всех наших дам. Мужчины держались.

От Копенгагена стало лучше, а уже при подходе к Гдыне и Стокгольму стало совсем хорошо. От Стокгольма до Ленинграда погода была совсем хорошая.

Шотландские студенты на «Эстонии».

«Красная стрела» качала и дрожала. Пили коньяк и хвалили А. Суркова: он действительно держался на редкость отлично все время поездки.

В день приезда — пятилетие очаровательного Пети.

И — весть о смерти Мухтара Ауэзова, потрясшая меня.

[*Без даты*] *Август*. Будущее не курорт. Мы не строим, да и не в состоянии выстроить курорт будущим поколениям. Все — и всегда — будут работать. Только если раньше труд был проклятием, день ото дня он будет становиться все приятнее и легче.

[1962 год]

1/III. Дома. Переписывал «Генералиссимуса». Хлопот, словно роман! Утомившись, стал перечитывать «Портрет Д[ориана] Грея», роман, который мне когда-то в юности нравился. А сейчас — и глупо и по-глупому безнравственно. А этот эстетизм, боже!

1962 год

3/III. Гулял. Хорошо. Морозец, солнце. Читал впервые «Историю Пугачевского бунта» и жалел Пушкина: все-таки даже он не понимал, что нельзя преодолеть исторических условий. Получилась *военная* история, никому не интересная и не вскрытая, даже с военной точки зрения. Ведь революционная конармия Пугачева появилась задолго до конармии гражданской войны 1920 года!

Конец переписки «Генералиссимуса».

4/III. Тоже хорошо, солнечно. Писал «Генералиссимуса». Любопытно, что будет?

5/III. Окончил черновики «Генералиссимуса» — завтра начну переписывать, что не трудно, так как черновики подробнее и в них много всего,— боюсь не чересчур ли? ⟨...⟩

6/III. Днем дописывал «Генералиссимуса», а вечером ходили в Клуб литераторов, смотрели итал[ьянский] военный фильм, показ мод и затем ужинали. — Дождь, мокрый снег. Зима на исходе.

7/III. На улице по-осеннему дождь и слякоть. Не выходил. Писал рецензии для Лит[ературного] института — одна поэтесса, по-моему, талантлива. Завтра сажусь переписывать «Генералиссимуса». Что-то его ждет, беднягу?

11/III. Превосходный солнечный день. Гулял с Петькой в садике возле глупого памятника Репину. Петька сказал: «Я люблю ужасные картины: как «Грозный убивал своего сына».

Вечером писал «Генералиссимуса» и читал Гончарова «Фрегат Паллада». Как хорошо!

12/III. Писал и радовался, что полковник Порскуй вышел как живой в «Генералиссимусе». Может быть, и не живой, но пусть так кажется. Дома. — Мгла и легкий морозец. Все идет, т. е. «Генералиссимус»— хорошо.

13—14/III. Болел. Вчера была небольшая температура, а эти два дня кашель и слабость. Читал «Воскресенье» — пустая, вздорная сатира в духе С.-Щедрина, вправленная в золотую рамку мелких подробностей, от которых сатира не делается убедительней. «Фрегат Паллада» — прелесть, такое искреннее, домашнее путешествие и такая вера в свою «цивилизованность», которая для меня более убедительна, чем все христианство Л. Толстого.

15/III. Болезнь. Дочитал Гончарова. Вторая половина слабее, но что большее можно увидеть с борта корабля? Китай он, впрочем, не понял, да и Японию-то не очень, а вот тропики -- прелестно.

Апрель. По 6 апреля — я хворал: после гриппа, который продолжался один день, — головокружения, похожие на обмороки,— и меня уложили в постель. Я лежал, прочел много книг и принял множество лекарств.

В эти дни вышел «Н[овый] м[ир]» с «Хмелем», который многие хвалили, а я его написал, чтобы покрыть долг «Литературной газете»,— вот как полезно должать!

Были холода, снег. Метелей, впрочем, не было, а сегодня, 3 апреля, совсем весна, вчера был дождь. Солнце и улица чистая.

В воскресенье собираемся на дачу. А рассказ «Генералиссимус» я так и не успел перепечатать!

Был жестокий грипп, лежал почти месяц в апатии, не записывал, переехал на дачу и отвык записывать.

Москва. 21 мая 1962 г.
⟨...⟩ В № 4 (журнала) «Москва» — «Лит[ературное] завещание» И. Бунина — по манере напоминающее завещание Н. Гоголя: такое же чванство и самовлюбленность. А по-моему, всякая литература через сто, двести (триста лет уже для Шекспира) отмирает. И почему ей не отмирать, когда гибнут целые цивилизации, уходя бесследно во тьму? По-моему — это очень хорошо. Лишнее доказательство бессмертия: умирая в одном, воскресать в другом.

2/VI. Утро. Тучи. Ночью был дождь. Все же поедем в Суздаль с М. Бажаном.

Тучки разогнало, и дорога на Владимир оказалась превосходной. Не доезжая до города километров пятидесяти, позавтракали в поле, возле лужи у опушки леса, обильного комарами.

Владимир — чистенький город, много новых домов на окраинах, новая гостиница и ресторан, где на другой день,— после возвращения из Суздаля,— нам даже дали цыплят «табака»! Гостиницы во Владимире и Суздале, асфальтированное шоссе на Суздаль и даже бензоколонка в Суздале с высокосортным бензином — для иностранцев, туристов,— ну, и то дело!

Фрески Рублева в Успенском соборе видны плохо: перегорела лампа. Не интересен внутри Дмитриевский собор. Но снаружи великолепно! Какой дивный вкус, изящество. По-видимому, византийское влиянис.

Особенно заметно это византийское влияние на храме Бориса и Глеба в Кидекше и Покрове на Нерли.

Последний храм вызывает просто восторг. И спрашиваешь — почему здесь, среди заливного луга, комаров и дикости, когда рядом, в Боголюбове — высокий берег, вид и прочее? Не придавали этому храму особого значения? Или это место было чем-то знаменито в те времена, а нам, сейчас,— неизвестно чем? Может быть, поле битвы или древнее языческое капище или жил святой. Пруд, в который в ясную погоду глядится церковь, зарос, заилел, на холмике играют крошечные кролики, возле домика сторожа — грядки огорода, в арке — не то ворот, не то часовня: кроличий садок, оградка деревянная, низенькая, крашенная зеленым, луг, по которому

укаталась проселочная дорога. Тишина, никого нет, только две какие-то молоденькие художницы с ящиками: вдали, через Нерль двухъярусный ж[елезно] д[орожный] мост, ансамбль домов и церквей, деревья, над всем мелкий и частый дождь. Мы трепетали от восхищения. ⟨...⟩

Могила князя Пожарского: часовню сломали, просто земляной холмик, из которого торчат ирисы. Рядом — великолепный собор с подновленными фресками XVII века — сверху донизу — и девятигранный храм в виде столпа возле звонницы.

Село Кидекша. Храм Бориса и Глеба «на месте их стана». Восхитительные по красоте места. Построен в 1152 году, то есть 810 лет назад. Горел, разрушали татары и поляки, часть храма разрушена, и абсиды увеличены за счет разрушенной стены, но это заметно лишь опытному взору. Три огромные липы в каменной белорозовой низкой ограде, высокая трава; грубый куб храма с продырявленным черным куполом. Рядом — церковь, построенная при Екатерине, и кривая колокольня.

Нерль. Вдали село — Новоселки: на слиянии р[ек] Каменки и Нерли; Каменка течет через Суздаль. Челн. Неподвижная река. Мост, который в половодье убирается, кривой, на сваях, без перил; там дорога в гору, дымка, лес. Пасутся кони, и время от времени пробегают мотоциклисты.

Душу, кажется, больше всего задела вот эта самая деревня, израненная Бориса-Глебова церковь, которую «тревожили», а сейчас — [она] отдыхает и наслаждается. ⟨...⟩

15/VIII. Утро.

Красный Чикой. Здесь нам впервые,— при посадке наших самолетов,— сообщили о гибели четырех рабочих, ехавших на моторной лодке. Нашли только обломки досок при устье и два трупа, остальные не найдены. По-видимому, хотели переплыть через порог на лодке.

Прилетели в Мензу. Дорога удивительно красива. Девственная тайга, клокочущие бело-коричневые реки, домов нет, даже дорог (которых между Читой и Петрозаводом много) тут нет. Вдали виднеются гольцы; кое-где торчат голые камни. ⟨...⟩

15/VIII. Чита.

По-видимому, вылетим.

Билеты зарегистрированы. Вчера в гостинице встретил человека, который прилетел на Онон с Чукотки, «чтоб навестить свою сестру». Я спросил: «Какая разница между Забайкальем и Чукоткой?» Геофизик в сером костюме, горевавший, что в ресторане нет пива — ответил: «Сопки такие же, ну, тундра. Вот снег — другой. Его так упрессовывает ветер, что снег надо пилить или рубить топором». А другой, видевший меня в Наминге, рассказывал о бездорожье: «Главный бич — россыпи. «Чертовы пашни»— мы их зовем: издали они действительно похожи на пашни». 〈...〉 Опять сижу на том же гранитном выступе, что и вчера. Из серого фургона с поперечной белой полосой и надписью белым «Почта» выгружают посылки и газеты. Гудят, согреваясь, самолеты. 〈...〉

Шест с флагом — аэродром. Рыже-белые стада уходят к самым горам, над которыми тучи. Луг, дома, бегут взвизгивая ребятишки, босиком.

Хозяин точит рашпилем мне топорище, строгает весла. В бархатной куртке, прислонившись к велосипеду, тоскливо смотрит на нас председатель сельсовета:

— Вы бы поработали здесь, отдохнули. Я не советую вам плыть. Мензя — река коварная.

Конечно, коварная! Но работа есть работа, и надо плыть, и, кроме того, бог милостив.

Удивительнейшая и благовонная тишина над долиной.

— По дурости можно и в ложке утонуть. Река глубокая, два-три порога, их можно обойти.

Шумит точильный круг — мне точат топор. Ребятишки рассматривают фотоаппарат.

Развешено белье. Стоят ведра, корыто для свиней, на котором я пишу. Пила; треск распиливаемых досок.

У Никиты Климыча что-то десять внуков. Он хохочет беззубо:

— Всех-то и не упомнишь.

Земля плодороднейшая, но ранние заморозки. Еще в июле на гольцах лежит уже снег. Сквозь огородные жерди видел подсолнух, освещенный солнцем. 〈...〉

16/VIII. 〈...〉 Бародом. — Две-три бензиновых цистерны, висячий мост. Не веря мосту, через реку, несмотря

на бурное течение, плывет рыжая собачонка. Течением ее несет, она, видимо, колеблется, не вернуться ли? Но решает — нет, не вернусь. И доплыла, снесло ее не больше чем на четверть километра. И словно предостережение нам, в бесп[окоящим] всех, вплоть до высшей власти,— белые памятники герою и какому-то рыбаку. — Выкорчеванное дерево, камни, смородина и черемуха. Волны. Скользим по воде быстро — по десятку километров в час.

Белые скалы, залив, остров, утки. Эхо. Шиповник, костяника, тальник, березы — опять следы лося.

18/VIII. Ночевка возле стана у протоки, названия которой мы не спросили. Утро. В 9 часов поднялся туман, и пошел он по кустам черемухи, тальника, по деревьям осин, белых и похожих на березы. Среди них я находил грибы, следы медведей, которые рыли какие-то коренья, следы лосей. Кое-где валяются обгорелые толстые лиственницы, но больше никаких следов пожара — все заросло. Травы огромны, в пояс, желтые, лиловые и белые цветы, направо — кряж со скалами — утесами, налево — предгорье, поросшее осоками, а вверху лиственницами и сосной, которые на гребне кряжа и очень играют, когда уходит туман. Ночью шел дождь, но сейчас небо ясно. В стане вечером не остановились. Ночью орал, кашляя, гуран. 〈...〉

19/VIII. Утро у Большой речки. Вода в речке прозрачная, холодная. Пытались ставить сеть поперек. Кол, к которому была привязана сеть, выскочил, и лодку унесло и едва не опрокинуло. Сорвался с крючка спиннинга таймень, поймали двух линьков. Я встал рано и набрал грибов: соорудили грибно-рыбную похлебку. Ночи, в общем, теплые, комаров немного. Мы стоим на полянке неподалеку от брошенного селения. Шумит речка. Москва передает митинг по случаю приезда космонавтов. В трех шагах — огромные кусты спелой и вкусной черемухи.

Вчера: каскад, деревья через него, рядом огромные гранитные скалы, а затем километров на пять (что редкость) спокойная гладь воды. Впереди идет кирпичного цвета лодка наших спутников, сверкает спиннинг, крутятся пенящиеся круги от подводных камней, иногда камни высовываются наружу. Скалы метра на два вни-

зу — светлая лента, их омыла прибыль воды. Песков нет совсем. Отмели из гальки. Кружат коршуны, и это вся дичь, которую мы встретили. Жарко. Пью холодную воду, наблюдая за подводными камнями: работа напряженная. Они купались, а я просто помылся. К Большой речке приплыли в пять часов вечера.

21/VIII. Вчера после полудня мы отчалили из села Алтан. (По-видимому, испорченное Алтын, золото — раньше в ручьях здесь мыли золото.) Порог перепорхнули незаметно, спросили у старичка, ловившего за порогом рыбу на удочку:

— Далеко ли до порога?

— Далеко.

— Ну, сколько примерно?

— А шут его знает...

Нам показалось, что он сказал «три». Едем-плывем, а порога все нету. Подплываем к речке, возле которой собрались ночевать, спрашиваем у спутников: «Где же порог?» Они отвечают со смехом: «Да проплыли давно».

Сегодня — дневка. День рождения Комы. Я выдал всем в честь этого события по сигаре. Обещал вермут за тайменя, но вермут выпила сборщица черемухи. ⟨...⟩

22/VIII. Дневка. ⟨...⟩

Сегодня утром был легкий дождь, ходили тучки, но к полудню прояснилось и стало жарко. К обеду стал клевать хариус: Никонов поймал их несколько штук на примитивное оружие каменного века: крючок. Спиннинг, сети не дают ничего.

Вокруг болота, речка, ива и березняк, смородина и черемуха, а ближе к берегу — заливной луг. Долина шириною, пожалуй, меньше километра. Село здесь вряд ли могло быть. Да и в окрестностях нет места, где бы стояло село, а между тем на холмике — старинный крест с кованным гвоздями орнаментом. Полусгоревший другой крест и «голубец». Так называется деревянное надгробье, похожее формой на небольшой саркофаг. Он пришел к нам из Египта, от древних подвижников, через Грецию и Рим,— и вот в тайге вырублен из лиственницы. С краю он обгорел (должно быть — был тут пожар, а где их тут не было?). О пожарах — разговор с лесником: «Хорошо, если есть геологи — помогают, а у остальных своя работа». Кто тут похоронен? Следы

могилы. Может быть, стояла и часовенка, но сейчас ничего нет, кроме березовой рощи. 〈...〉

На западе тучи. Пять часов вечера. По-видимому, опять будет дождь. Жарко. Мошкара. Японская сетка помогает, но они набиваются снаружи, а пропитать ее демитил фтолатом вряд ли удастся: нейлон не примет. 〈...〉

Я устал. Дул холодный ветер на реке. Я пытался согреться греблей, но это мало помогало.

Прошли порог и подпорожек «Сестры». Порог мы обогнули, впрочем, не доезжая порога, сели на камень,— легко и мягко, словно на подушку, и так же легко снялись. По берегам порога много шестов, которыми плотовщики управляются со своими миниатюрными плотами. Мы встретили два-три таких плота, не то брошенных, не то унесенных рекой. На этой реке нет ни заводей, ни бывших русел, встречается только несколько островов, небольших, в четверть километра, возле которых река раздваивается — и это все ее капризы. Она извилиста, течет в ущелье, в ее течении есть строгость, суровость, а в половодье (сейчас, как раз, небольшое) — величие. 〈...〉

24/VIII. 4 ч. 30 м. дня. Дождь как начал вчера, так и льет не переставая. Летит за почерневшими стволами деревьев туман, ветра нет; к счастью, не очень холодно.

В дожде этом есть даже и привлекательность, не говоря об измен[ении] пейзажа. Все ходят насупленные, мокрые, высушиться негде — мешает дождь, даже большой костер не помогает. У соседей в их палатке мокро — пробил дождь; наша палатка — польская, хорошо выносит непогоду.

Варим кашу. Неподалеку стоит кедр с высохшими ветвями — варим кашу с их помощью. Рыба по-прежнему не клюет.

Говорят, до устья Мензы осталось не больше сорока километров, и один порог. 〈...〉

Разводим мокрыми дровами костер. Проплывает лодка. Нам не хочется мокнуть, и мы решаем ночевать.

А дождь льет и льет.

Каково-то охотникам в такой дождь в тайге, в шалаше с мокрыми собаками?

Что-то просветлело. И капли бьют в палатку реже.

Неужели просвет?

25/VIII. Действительно, к десяти утра дождь кончился и мы поплыли. Перед отправлением я пошел к ручью. Шел, скользя, по мокрому бревну и на том берегу увидал гадюку. Я присмотрелся, чтоб не убить ужа, ударил, гадюка завертелась, я свалился в ручей, среди мокрых и мшистых камней.

1) Гоша ловил на ложку, на застр[еленную] и поджаренную птичку, едва ли не воробья,— так учили деды, на искусств[енную] мышь. Ничего не помогло! Под конец утопили двухстенную сеть.

Кое-как высушились и отправились дальше.

— Где порог?

— Никакого порога нет. Там драга, но вы объедете слева,— ответили косцы, смолившие лодку.

Проехали сгоревшую драгу. Остатки переправы, два-три домика у берега,— это и есть Дражная, рабочий поселок, где Гоша обещал отметку нашим командировкам.

Остановились у скалы, с которой видно слияние Хилки и Мензы, образующих Чикой. 〈...〉

26/VIII. Стреляют в скалах. Это Никонов, забравшийся на вершину, спускает вниз камни. Вчера мы занимались с ним тем же. Один камень, разлетевшись, ударил в дерево с такой силой, что от удара свалилась вершина. Ночью, кажется, этим же делом занимался вверху медведь. Летели камни.

Я набрал черемухи и сварил что-то вроде сиропа: красно-малиновый [напиток]. Гоша с приятелем ушли — «медвежничать». Они «тайменьничают», ставят переметы, поставили найденную морду — рыбы нет, и мы питаемся разными кашами и заплесневелым хлебом. Целый день лил мелкий дождь и остановился только к четырем часам дня. Солнце так и не выглядывало. Спутники стреляли в цель. Плыть нельзя — сыро. Стог сена, огороженный жердями, камни, кусты черемухи. Поплескивает река, которая вчера была совсем безмолвна. Очень сильно прибыла вода — наверное, с верховьев. Возле нас — крошечный затончик, и туда набилось масса плавника. Долго изучали руководство по рыбной ловле, сделали так, как там написано, но и это не помогло.

Дни недели спутали, но сегодня, судя по радио, воскресенье. Завтра поплывем, несмотря на дождь. Опять стало накрапывать. По-своему и это хорошо.

Надо описать «мелодию реки» — как она поет у верховьев, как меняет голоса, смотря по состоянию воды, и что такое ее голос. Легенда? От рыбака слышанная. За день не прошло ни одной лодки, ни одного плота. Очень ярко горит ⟨...⟩ лиственница.

27/VIII. Под скалами, по южному склону, пониже нескольких сосен, растут четыре ильма,— дерева, довольно редкого в Забайкалье. С утра светло, хотя тучи и прикрывают солнце. Река еще поднялась и затопила прибрежные ивы и березки. Вода мутная, и река очень говорлива. У нас — последний день плавания, завтра, наверное, машина,— и выступления. Складываемся. Двенадцать часов дня. Вчера вечером жарили рыжики и ели. Чирикают птички, стрекочут кузнечики. Кроме воронья,— никакой дичи. Скидывали камни, жгли огромный костер, я притащил кору огромной березы.

Выплыли к слиянию Мензы и Хилки, мимо драги, остатков переправы. Разведчики не нашли золота, «так, разве под камнями». Встретилась моторная лодка. Затем — реки слились, и мы поплыли мимо островов, где бабы сбирали черемуху.

Село Шинки. Телефон. Два молодых рабочих из геологической партии с котомками идут на Гремячий ручей. ⟨...⟩

1/IX. Путешествие по Мензе заканчивается. Впереди — Онон, Шерловая гора, Тгами. Тоже, наверное, очень интересно.

6/IX. Ух, и дорога! От «вагончика» до Шерловой, по потокам и выбоинам, под дождем и ветром, мы ехали шесть часов. Сейчас — гостиница, ждем хозяйку, промерзли,— ветер, дождь.

Река Борзенка разлилась так, что ее [гостиницу], чтоб не снесло, тросами держат пятнадцать танков. Военные транспортеры перевозят овец с островов огородов. Машина идет через грязь в хвосте колонны, пережидая, когда пройдет колонна на дощечках.

Устроились в гостинице. Свистит ветер, порывами, колышет тополя. Ждем перемены погоды, хотя, впрочем, поедем завтра на Адун-Чолон и при плохой. ⟨...⟩

7/IX. Шерловая гора.

Побывал наконец на Ш[ерловой] горе. ⟨...⟩

Собирали на шахте Поднебесной камушки, ничтожную мелочь. Александр Григорьевич Федоров отговорил нас ехать на Адун-Чолон. Но я все-таки предлагаю попытаться. ⟨...⟩

9/IX. Отъезжаем из Шерловой горы на Балей, через Борзи. День опять солнечный.

11/IX. ⟨...⟩ Приехали в Агинск. Ночевали у поэта Шамбилака.

⟨...⟩ Собирали камни, но мало. Разлив и все россыпи под водой. Вода, правда, несколько спала, но все же ее еще много. Отмелей почти нет.

Полнолуние. Ночь волшебно прекрасна, свежо. По-видимому, пришло время заморозков.

Конец, конец. Теперь только, если удастся,— Витим, в чем я сильно сомневаюсь, но это займет три-четыре дня,— и Москва, качание в поезде, тоже довольно утомительном.— Солнце.

12/IX. Утром собираемся смотреть драгу, а после обеда — в падь Семенову. Комбайны, тракторы, «валки» и горная грязь с ее многочисленными и многообразными объездами. Завтра, по-видимому, уедем в Борню — Оловянную, Ачинск и Читу, и, возможно, на этом путешествие окончится. Хотел еще осмотреть дерев[ообделочный] комбинат и попасть на Витим, но не знаю — успею ли: уже чувствуется утомление и насыщенность впечатлениями. Утром промозглый туман, а к пятнадцатому обещан снег. ⟨...⟩

18/IX. Поезд Пекин — Москва. Еду пока что в приятном одиночестве: впервые за полтора месяца. Гоша, подаривший мне две медвежьи шкуры, сказал: «Вам, наверное, скучно будет ехать одному?» — «О, да!» — ответил я и солгал. Я с печалью думал, что могут быть спутники. Подъезжаем к Петровску-Забайкальскому, вспоминаю смерть зайца. Никто не верит, что это правда — что зайца поймали руками и что он умер от разрыва сердца, даже Павел Гамов, ездивший с нами. Мы его повидали вчера в домике, который уже «списан» как несуществующий. Груз у меня велик, быть может, са-

мый большой, чем когда-либо,— и все камни. Гоша вчера говорит: «Вам пора уже переходить на собирание шкур», а сам выспрашивал название горы возле деревни Живая, чтоб собирать [там] халцедоны! Пасмурно за Яблоновым хребтом. Тайга очень красива: много золота, холодно, по-видимому, весьма: всюду, где люди,— костры. Через скошенное поле, где кучи соломы, бурят, в халате и шляпе, ведет корову; баба подгоняет. Ремонтные рабочие — девушки, в теплых куртках и брюках, с подкрашенными губами, холодно и недружелюбно смотрят на мчащийся поезд.

Идем берегом Байкала. Желтое, рыжее, медное, всех оттенков — березы — среди темно-зеленых, почти синих сосен. Ручьи коричневые, не грязные, прозрачные, как по-своему прозрачен турмалин,— точно настояны на листьях. Байкал у берега грязен от ручьев и речек, но дальше он чист. Волна. К сожалению, много туч, солнце выглядывает редко. Кое-какие вершины гор у Байкала покрыты уже снегом, а подножья — рыжие. Дальше, перед подъемом поезда в горы, во вторую половину пути мимо Байкала,— дождь. Видны только березы, да обгорелые черные лиственницы, да болото, да грязная колея дороги с лужами и брызгами дождя. Закатный желтый свет лежит на всем этом, но не красит он природу. Гор не видать, да и Байкала — полоска с волнами, берег с выброшенным темным сучковатым плавником. Поезд покачивает, постукивает, мелькают березы в полосах дыма, ложащегося на окна, гудок — и все!

Человек сомневался — нужен ли, талантлив ли, семья нуждается ли в нем? Оказалось, очень нужен. И он счастлив:

— Может быть, если человеку говорить, или он, невзначай, узнает — лучше всего невзначай,— что он нужен, может быть, было бы больше счастл[ивых] людей?

19/IX. Поезд. Где-то между Иркутском и Красноярском. Проснулся от гигантского барабанного боя — во сне видел воздушную тревогу, налет американских бомбардировщиков, улицы города, наполненные испуганным народом и людьми в белых повязках (по-видимому, распорядители), тоже испуганными. Я шел с кем-то из друзей. Оба мы были в бобровых длинных шубах. Почему? Сон. — Облака. Проглядывает солнце, день, и светлее и теплее вчерашнего. В вагоне венгры, шумные

немцы с ребенком и также вьетнамцы: вообще-то всего человек пять; в Иркутске сели еще двое: вот и все. Я пока один, авось еще дотяну ночь, а там уже, если и сядет кто, пустяки. Я устал. Болела спина, голова; сейчас немножко отлежался, стало хорошо. В общем-то, как мне кажется, деревья здесь с более короткими ветвями, чем у нас. От тесноты? Очень красивы алые осины, только их мало.

Я все вспоминал фамилию нашего шофера, сейчас вспомнил. Юра Рыбкин.

Секретарь Красночикойского райкома Павел Степанович Котов.

20/IX. Утро.

В Красноярске вчера посадили мне спутника, пожилого, лет пятидесяти, геодезиста, проработавшего, как у них говорится, «в поле» двадцать пять лет. Болтун он ужасный, к тому же сильно выпивший, но даже болтун, при двадцатипятилетней работе, способен сделать кое-какие наблюдения. Он рассказывал кое-что любопытное об эвенках, но немного (хочет, по-видимому, писать книгу — они все пишут, поэтому скрывает свои наблюдения), а все больше бранил писателя Ф..., который, по его словам, мошенник и вор. Может быть. Но к книгам Ф... это не имеет ни малейшего отношения. Рассказывал, сколько он зарабатывает — 130 дома и 600 «в поле». Не то двое, не то трое детей, скопить деньги для туристской поездки трудно. Помимо того, что он пьет,— что очевидно,— тоже очевидно, что он гастроном. С каким смаком описывал он вкус разных рыб,— гоголевскому Петуху впору! Говорит быстро, многих слов не поймешь,— утомительный господин,— я почувствовал облегчение, когда он слез в Новосибирске. 〈...〉

21/IX. Утро.

Подъезжаем к Кунгуру. Урал тоже мокрый и грязный, колеи дорог до краев наполнены водой, из ручьев торчат бревнушки и жерди — следы застрявших машин. Река у Кунгура — Сылва, обычно прозрачная, теперь мутна, грязна. Небо, впрочем, безоблачно. Орет радио — бедствие! — вчера завесил его плащом, заткнул куском марли, сверху пристроил фуфайку. — Ничего не помогает, орет сквозь все преграды. Не оттого люди

бесчувственны и заметно тупеют, что на них безжалостно струится этот рев?

«Вторжение с Земли» — два космонавта опускаются с Земли на Марс. Аппарат их тонет в озере. Они доезжают на автобусе до какого-то города — и все тут так же, как в Москве. Только на десять лет отстали и все. И они испытывают на себе все то, что было десять лет назад, так и не убедив марсиан, что они люди [с Земли].

От Тихого океана до Балт[ийского] моря Русь собирает, копает картошку.

ЗАПИСИ, [СДЕЛАННЫЕ] В БОЛЬНИЧНОЙ КРОВАТИ. ОСЕНЬ 1962 ГОДА

〈...〉 Водка — это погоня за иллюзией. Выпив водки, человек чувствует себя сильным, смелым, откровенным и всевидящим — все пороки людей, даже иногда и свои. Однако почему он стремится обижать слабых? Значит, все-таки чувствует, что тут — легче. Вообще не нужно все относить за счет безумия, пьяный кое-что, иногда и многое, соображает.

* * *

Искусство, в частности, живопись XIX века была очень проста и вела к возвеличиванию человека, его окружения, его дел, его природы и дома. Скажем, «Боярыня Морозова» или «Золотая осень» и даже самые мрачные картины символистов, разве они не возвеличивали зрителя, не делали его соучастником торжественных и важных событий? Зрителю говорилось: «Конечно, много есть неприятного, но в общем мир величествен и прекрасен, и в твоих силах и даже обязанности сделать его лучше». По-своему это была иконопись, иконопись XIX века, да и, кстати сказать, иконопись, как таковая, в этом веке выродилась.

Искусство XX века — искусство сложное, пытающееся не только показать мир в одной, в конце концов очень простой плоскости, но и в нескольких. Это, впрочем, довольно простая геометрическая задача, которую зритель должен решить, сводится к попытке глубже объяснить и понять мир. Появилась эта задача в дни, когда реализм торжествовал и, по-моему, был прекра-

сен и даже радостен. — «Мир искусства». Задача мрачности и необъяснимости мира, которую, быть может, и сами художники не очень-то уяснили себе, была в те дни отчасти и неуместной, поскольку неуместны все пророки и прорицатели, особенно тогда, когда они и сами не понимают, что делают. Тем не менее больное видение мира пришло и восторжествовало и будет торжествовать до тех пор, пока не вернется покой и самоуверенность, почти блаженство, XIX века. Но вернется ли? Цивилизации возвращаются редко, почти никогда.

15/X. 1962 г. Больница.

Парикмахерша и ее рассказ.

«Каталка» — с книгами.

Тамара подарила Алеку фонарь, а он не знает — как его зажигать.

Читал «Прозу» М. Цветаевой. Сильное влияние А. Белого. Портрет А. Белого очень хорош. Атмосфера тех лет, гражданской войны, пожалуй, лучше всего передается манерой А. Белого, М. Волошина — плохо, потому что его возвысили. Он был ниже, менее талантлив, чем она пишет, и добрее. В. Брюсов и вздорная борьба поэтов — тоже плохо. И вообще — несмотря на размах революции (какой,— социальной! — впрочем, вряд ли не социальная революция возможна в XX веке) — поразительная «книжность» жизни, которую описывает Цветаева: думают и говорят только о книгах — и, вдобавок,— только о стихах! Удивительно. Так, в XVIII веке, во времена французской революции, аристократы, наверно, говорили только о любви или охоте. В больнице о книгах никто не говорит, меня не знают, развозят книги на «каталке», и там всевозможная макулатура. Ее и читают.

Рассказ Сергея Андреевича о четырехлетней девочке, безнадежно больной, и ее куклах, очень трогателен, как у Диккенса или Достоевского. И печально кончается: простилась с игрушками, сказала: «А теперь буду умирать» — и через четыре дня умерла. Откуда это раннее знание смерти? Дед ее не пережил.

Думаю о своих работах:

1. «О построении града».

2. *«История моих книг»*, напечатанных, ненапечатанных и даже ненаписанных, с присовокуплением очерков о некоторых моих друзьях и спутниках, а также очерки

путешествий по Восточной Сибири, Японии, Индии и Казахстану.

3. «Осень 1962 года», путешествие по Восточной Сибири.

4. Япония.

5. Индия.

6. Таинственные рассказы: то есть тема «Фантастическое».

7. «Эдесская святыня».

8. «Кремль».

«Эдесская святыня». Борьба за единобожие, против многобожия, в том числе и арианства, велась не только христианами, но и мусульманами, которые победили, нашли аллаха, единого бога. Христиане, византийцы, вернулись, в сущности, к многобожию — иконы. Разыскиватель древних книг — свитков — он их крадет, где только можно,— хочет — посмотреть на убрус, изображение пророка — посмотрел, и стало худо, вся жизнь сломалась, переменилась.

«ХУДОЖНИК»

— Вы рассматриваете человека, как бездушный предмет?

— Искусство, преимущественно, так его и рассматривает. Проза и поэзия — движущимся в пространстве и времени; живопись — неподвижным; то есть мы, да и вы, зрители, представляете его движения тоже, но это уж, простите, чистейшая иллюзия. Искусство вообще иллюзорно, и в этом его достоинство.

* * *

В книгу «Записок об Индии и Японии» надо вставить «Рассказ о голубом костюме». Он к экзотике имеет отношение по краске, но это не так уж мало.

* * *

Поездка в Индию тесно связывается у меня с воспоминаниями «хождения» моего в Индию, в 1913 году,— а Япония?

Может быть, картины войны 1914 года?

Скажем: похищение (укрытие и обнаруживание — плюс время) *ребенка* есть сюжет.

Зависть, корысть, любовь и т. д. — чувства, объясняющие этот сюжет.

Следовательно сюжет строит *уголовное* действие, а не чувство. Преступление лежит в основе сюжета? А как же ошибка или совпадение случайностей?

Вопрос идет не только о преступлениях уголовных, обсуждаемых судом, но и о преступлениях нравственных, этических (которые громко осуждала церковь — «грех»), о нарушении нормы жизни, общежития, обычаев. Старина, по-видимому, определяется тем, что почти *все* кары за преступления накладывал глава дома,— затем старшие отряды «добытчиков» и т. д.,— а сейчас «кары» накладывает общество, вплоть до кар за семейные преступления, за «грех».

«Грехи человека» пытается исправлять семья, род, торговая или военная ячейка, церковь (с богом или без бога — Индия) и, наконец, политические партии. Дело, наверное, дойдет и до науки и техники?

«Грехи», конечно, могут быть и мнимые. «Рубиновое колье». Семья «хранила» мнимое колье всю революцию, террор, и вот теперь в эпоху «ремонта» вскрывается правда, которую знал только один старик, да и тот умер. За колье охотятся и власти, и сын-техник, и бандиты. А его нет и не было.

* * *

— Зритель мало или, во всяком случае, редко жалостливый в жизни, попав в театр, любит быть добрым. Вот почему пьесы, где показывается угнетенная добродетель, пользуются и будут неизменно пользоваться большим успехом. Кажется, в МХАТе — «Две сиротки» прошли чуть ли не две тысячи раз или прошли бы, если б «необходимая» для тех дней жестокость,— под флагом «долой бурный сентиментализм!» не сняла бы их с репертуара. Да и в конце концов «На дне» такая же сентиментальность, что сознавал и сам Горький в последние дни своей жизни. ⟨...⟩

1. «Жертва».

Шкура медведя и ее жертва. Гордей Ефимович и его приезд.

2. Чем и как спасал Гордей Ефимович и чем он может спасти их сейчас? Возможно убийство, и это понимает только он?

3. Собственность и нежелание уехать из Москвы — это вздор; они с удовольствием бросят собственность и уедут из Москвы,— есть что-то пострашнее: неверие. Если это драма, то неизбежно кто-то, влекомый роком, кто «переступил заветы», должен погибнуть, быть может, самый лучший из всех,— и молодой?

4. Да, это все хорошо, обычное, почти бытовое. Но существует же в этом обычном что-то и необычное? Не только же оно вызвано действительно появлением шкуры медведицы, каких — тысячи? В чем же это необычное и даже необъяснимое? Театр не рассказ, где можно удовольствоваться и намеком; ему нужна конкретность — если это необычное, то либо Незнакомец, либо Анатема, Некто в сером и другие символы. По-видимому, без конкретности — предмета — человека — нельзя? Но ведь символизм тоже невозможен?

— Что такое счастье? По-видимому, прежде всего — отсутствие боли. И душевной и телесной. При современном состоянии медицины она в состоянии снять любую боль. А так как душевная боль в значительной степени зависит от телесной (буйных душевнобольных сейчас нет, буйство снимается впрыскиванием определенного лекарства), то и душевная боль усмиряется. «Острова блаженных», то есть счастливых, снимающих с себя любую боль, сейчас вполне возможны. Но — природе *нужна* боль. И когда вы снимаете боль,— эту сигнальную систему — вы тем самым подвергаете свой организм беспрепятственному разрушению. Счастье ваше будет...

* * *

«Преступление» (то есть основа сюжета для литературного произведения) может быть направлено и против установлений права (уголовного и гражданского), и против обычаев, религиозных или бытовых, равно и суеверий. Например: в эпоху гонения «ведьм» выступить против существования ведьм будет «преступлением». Разумеется, понятия и обычаи могут быть противоположными: Н и О любят друг друга, их любовь по понятиям всеобщим «законна» и должна быть увенчана свадьбой; родители же считают их любовь «незаконной» и сопротивляются свадьбе. Пример самый примитивный и понятный.

Попробуем «перевернуть» сюжет. «У нас нет конфликта отцов и детей». Чтобы подтвердить это правило, «отцы» спешат женить детей, которые и не думали влюбляться, а влюблены совсем в других. «Но у нас нет конфликта, и мы — создаем!» И они соглашаются. («Романтики» Ростана»?)

* * *

«ЖЕРТВА»

Какая самая насущная и в той или иной степени, волнующая всех проблема? По-видимому, проблема жертвенности во имя всемирного блага. Об этой проблеме прямо никто не говорит и никто не пишет; быть может, она до какой-то степени считается идеалистической и, стало быть, не нужной, однако именно ею освещается каждый шаг нашего общества: новаторство, подвиги, мысли о будущем, надежды, все это ведь овеяно жертвой, а не стремлением к деньгам, то есть так пишется, а как есть на самом деле, на это стоило б взглянуть — в каком-нибудь конфликте: деньги, собственность, блестящая будущая карьера — и жертвенность, пожертвовать всем этим? И вовсе — не уехать из Москвы, а именно здесь. Странно, что в пьесе достаточной кажется одна тема, а рассказ требует сюжета, то есть события?

«Игралище» по-старинному: сейчас говорят «игрушка» — игрушка волн, игрушка ветра, судьбы. Старинное выражение более выразительно, более серьезно; оно более подходит к обломкам корабля на волнах, чем к кораблю, который еще способен вывернуться; избежать бедствий; к тому же игралище напоминает пожарище, страшилище. Слово, однако, малоизвестно и малопонятно; при всей красоте его больше подходит к названию главы, чем к целой книге.

«Игралище молочных рек».

* * *

Характерное, особенное, присущее только этому типу человека, может быть,— грубо говоря,— трех видов:

а) Характерное очень мелкое: мелкая особенность

лица (скажем, длинный нос или уши), фигуры, манеры говорить, держать себя, мелкие привычки.

б) Характерное более сильное, которое может влиять на какой-то круг людей (семья, учреждение, школа и т. п.). Тут может проявиться и скупость и щедрость, доброта и злоба, вера и безверие, т. е. те черты, которые мы называем «социальными».

в) И наконец, характерное охватывание целых областей большой человеческой деятельности: в науке, политике, военном деле, искусстве. Это уже будут крупные собирательные типы, которые так любил Бальзак или Ст[ефан] Цвейг.

Связаны ли между собой эти три особенности? А почему бы и нет. По-видимому, особенность «в» неизбежно должна проходить через предыдущие особенности (для первых двух третья — «в» может быть оставаться и неизвестной).

1963 год

19/II. Переделкино. Приехали с Комой из Москвы. ⟨...⟩ Вчера — беседа с режиссером о «Бронепоезде».

Задумал книгу воспоминаний. — 1917—1949 гг. — По встречным лицам (Горький, например), по событиям, по странам, ну, по изменениям в самом себе.

Но откуда взять время, чтобы написать? И даже не время, а деньги, чтобы время получилось.

Герой, помимо смысла жизни мира, может найти способы наилучшего изменения его и эти способы, под тем или другим видом, сообщить другим: (агитатор). И проводить их в жизнь (организатор).

Мучения и перипетии, изменения в его жизни, вызванные его агитаторскими и организаторскими способностями. Однако он идет вперед.

— До шестидесяти лет мудрым не бывают. Слияние любви и истины высшее состояние умственного и нравственного совершенства.

Беды научают мудрости.

Мудрость любви:

«Жив, здоров, ни горелый, ни болелый».

4/IV. Писал сценарий «Бронепоезд». ⟨...⟩ Через одиннадцать дней собираемся быть в Ялте, и я до того еще собираюсь окончить сценарий. А делов — Литинсти-

тут, больница... и вдруг успею? Утром было пять градусов мороза и дула метель. Дорога занесена. ⟨...⟩

МХАТ. Новый директор, который с восторгом читал глупую рецензию Луначарского о «Бронепоезде». Пьесу — что поразительно — *не понимают больше, чем тридцать пять лет назад*! Особенно конец,— и труп Пеклеванова, и об В. Окороке, который струсил на насыпи,— это уже совершенно невозможно! Ну, я обещал подумать — о конце. А — что?

Вечером — засед[ание] в Литинституте. Выпуск драматургов. Пьесы, по-моему, средненькие или даже ниже. Студенты мрачны: перед дипломом говорят две-три фразы. Даже один из преподавателей воскликнул:

— Что с вами! Больше жизни!

6/IV. Дома. На даче. Солнечно. Светло. Снега. Вечером — Капица, Нилин, Тарковский — и долгие рассказы Нилина о сыщиках и убийцах. Слушали это все жадно. Рассказ об американке, у которой в Ленинграде якобы украли колье в сто пятьдесят тысяч долларов; о голове китайца, которую сыщик «реставрировал».

Днем «работал» с редактором из «Молодой гвардии» — исправлял неточности в рассказах, что может продолжаться бесконечно, ибо уже само по себе написание «рассказа» совершенно неточное и неправильное дело. Рассказ если удался, кажется правильным через сто лет.

8/IV. Ездили в больницу: каждый раз — другая. Доктор, который должен был меня смотреть, делал операцию. Мы поехали в город. Ред[акции] «Лит[ературной] газеты» поручено будто бы составить новую газету — по всем областям литературы и искусства. Новая книга Комы — «Хеттский язык». Корректура. Вернулся рано и просто лежал. Оказывается, в старости безделие — главное удовольствие. Ни к чему не тянет, ничего не хочется, и очень хорошо, что тебя все забыли.

9/IV. По-прежнему солнечно, тепло, пять градусов тепла с утра, а ночью пять — семь мороза. Тает быстро и незаметно. Пробую писать «Бронепоезд», пробую, преодолевая не то чтоб усталость, а нехотенье. Все-таки в нашей работе самое главное — ожидание, а тут теперь чего ждать? И раньше то не ахти сколько перепадало,

а теперь... Хотя, исторически, это хорошо: путь должен где-то кончиться. Позвонили из Киностудии: директор и Грибанов желают со мной говорить. Причины? Предполагаю — меняют режиссера. Или режиссер познакомил их с моими черновиками, и черновики не понравились, что, впрочем, заметно было и по молчанию режиссера. Или, наконец, третье, чего я и предвидеть не могу, и это, последнее, вернее всего.

* * *

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОБРЕ И ДОБРОТЕ

Последнее время много думаю об оптимизме — умении находить в жизни светлые, радостные стороны — при самых плохих, казалось бы, жизненных обстоятельствах.

«Когда человек думает, что наступил мир, жизнь оказывается уже прожитой». Что поделаешь. Радость ведь приходит именно тогда, когда дошел до конца пути.

Не знаю, как прежде, но знаю, что сейчас добро и доброта имеют для России большое значение.

Существует огромный, дорогостоящий организм — православная церковь. Существует, несмотря на то, что всеми учеными совершенно точно и бесспорно доказано, что церковь — вздор, а вера в бога — бессмыслица. Она же существует. Существует потому, что больше всех говорит о добре. 〈...〉

Многое построено на добре.

Я думаю о нашей литературе. Едва ли не самой распространенной книгой в России является «Война и мир». Распространяющие книгу думают, что это — эпопея о том, как русские защищали родину, тогда как это — эпопея о добре, которое в той или иной форме открывалось людям. И недаром в этой книге вся сумма счастья, доступная человеку, досталась П. Безухову, который никакого активного участия в борьбе против Наполеона не принимал.

Добро принимает различные формы. Успех Толстого не только в том, что он замечательный художник. Горький, Бунин и Чехов, безусловно, были художниками не меньшего масштаба, успех его в том, что он единственный от всей души, почти бессознательно везде и всюду

говорил о добре и пропитал этим добром все свое творчество. Поэтому когда наши художники пытаются подражать Толстому, то они подражают, увлеченные не его художественным методом, а его стихией добра. И если у них художество не выходит с такой силой, как у Толстого, то не оттого, что они не владеют его методом или менее талантливы, а оттого, что они не охвачены стихией толстовского добра.

Добро. Проявления его многообразны. Лестница вверх едина, и ступени ее одинаковы, но вид, открывающийся с нее, разный. Верх добра может дойти до полного отрицания себя как человека с его стремлениями во имя добра. Человек может уничтожить себя, не имея возможности нести добро людям в том размере, в каком бы он хотел. И с другой стороны, миллионер может считать себя добрым, если подаст нищему копеечку.

А сколько названий добра! Благосклонность, филантропия, любовь к ближнему, братство, человечность, сострадание, милосердие, нежность, чувство общественного блага, патриотизм...

ВОПРОСЫ ДОБРА В ПРИКЛЮ[ЧЕНЧЕСКОЙ] ЛИТЕРАТУРЕ

Люди ищут вообще приключений, а не **добрых** приключений, не приключений ради доброй цели, чтоб что-то свершить необыкновенно доброе для людей. Ищут все равно, что попадется — добро ли, зло ли, все равно. Золото не этика, [оно] внеэтично.

«Таин[ственный] остров» — много о добре. Прощение Айртона, пробуждение идеи добра у кап[итана] Немо, история с кап[итаном] Немо (любовь к отечеству, стремление сделать людям возможно больше добра). Фенимор Купер. Его слава.

Столкновение **чести** и добра. Для своей чести, сохранения ее, ему нужно сделать зло. Однако он выбирает **добро,** которое к тому же негласно,— никому ведь не известно, что герой делает добро.

Сделать **добро** человеку, которому ты не должен делать добро. ⟨...⟩ Добро — злому человеку? ⟨...⟩

Добро — вещь тяжелая, сапоги из свинца. Но зато в них можно идти на большой глубине. К неизвестной и страшной тайне. Зло делать легко. Наслаждение от зла и добра одинаково. Так что наслаждение ничего не стоит.

Добро важно другим,— его почти нет в животном мире, кроме разве родительской любви и любви к роду,— в остальном оно целиком принадлежит человеку. Опираясь на добро, человеческий ум способен свершать чудеса.

Обязанность поэта? — Создавать примеры добра. «Второй ра[сска]з о лампе Аладдина». У поэта пробуждается добро. Он отказался от этих должностей, так как они не несли добра.

Приключ[енческая] литература главным образом посвящена — в положительных героях — вопросу чести. Вопросы добра,— среди преступников,— поднимал Брет Гарт.

Если Марк Твен показывал преимущественно простодушных людей, верящих лжи (и ложь вообще в различных видах), то А. Чехов показывал **пробуждение** — сквозь ложь — правды и в какой-то степени даже торжество ее («Скрипка Ротшильда», «Три года» — торжество любви). Но, разумеется, как и всюду, **появление правды** — в человеческих отношениях — часто губит человека. Этому открытию **непреоборимой** правды посвящено много рассказов Чехова. Из них лучшим я считаю «Даму с собачкой».

Таким образом, у Твена — торжество лжи (иногда романтической, как, например, «Т[ом] Сойер»), у Чехова — торжество (зачастую печальное) правды и непреоборимости истинно человеческих чувств (как любовь, справедливость, красота).

Почти все романы XIX столетия развивались, имея своим фоном — **семью.**

Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов — «Капитанская дочка», «Война и мир», «Бр[атья] Карамазовы», «Три года» — это о семье: создание семьи, разрушение семьи.

Наше время — не время семейного романа. Мы пытаемся выдвинуть героя в народ. А читатель, по-прежнему, желает знать: как же быть счастливым в кругу семьи и возможно ли вообще такое счастье? Это не

значит, что он отрицает наши романы. Семейный роман, думает он, должен существовать. И он прав.

Семейный роман значит вовсе не разрушение или распад семьи. «Война и мир» тому пример. Там в семье происходят, как и во всякой семье, неприятности, но развала там нет: ссорящиеся в конце концов примиряются.

Толстой через семью показывает и войну; так легче и для автора и для читателя. За войной наблюдает человек, **симпатичный нам по семье** (Болконский, Пьер, Ростов), и мы доверяем ему, верим, что он способен совершать подвиги.

Обычный прием Л. Толстого:

а) идет простая жизнь, **быт** подчеркнуто прост, обыденно, обыкновенно: люди носят простые или щегольские платья, заботятся о них, о еде, о своих ближайших, о любви...

б) и одновременно с этим — свершают подвиги или все, или поодиночке...

* * *

Метод Толстого:

Идет обычная жизнь: «как всегда».

Например:

Обед у Ростовых. Пьер привозит воззвание царя 〈...〉, пятнадцатилетний Петя объявляет, что идет в гусары.

А затем [Пьер], вдруг конфузясь, уезжает.

А перед самым отъездом «объяснение» в любви с Наташей. То есть не объяснение, а только какой-то намек на объяснение, который, однако, оба они хорошо поняли. 〈...〉

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1948 — ЛЕТО, ОСЕНЬ)

Основная тема наших романов 〈...〉: [человек] — **деятельный и не деятельный.** Дальше идут подразделения: а) разумно-деятельный, б) неразумно, с) тихий, но — деятельный; а) полезно-деятельный, б) вредно-деятельный; а) убежденно-деятельный, б) притворно-деятельный.

Эта тема превосходно укладывается в тему Обломова и Штольца. — Пушкин брал совсем другие мотивы деятельности. Гончаров, быть может, наиболее близкий

нам писатель по теме, чем кто-либо; другое дело, что у него не хватало таланта.

а) **Новаторы** и б) **консерваторы.** Тоже тема деятельности. Теоретически техн[ическое] новаторство должно сочетаться с политическим, но это не всегда так. Новатор в политике может быть консерватором в технике и искусстве; также консерватор в политике может быть новатором в технике и искусстве. Причем первый тип, может быть, и обидный для нашего сознания, является совершенно искренним. Например, **новаторство** — стоит дорого, может быть не успешным, ему жалко народных денег, и в результате он от чистого сердца проваливает большое и нужное для государства дело, и он сам же проваливается.

Мотивы деятельности из общественных мотивов. Но приложение их — разное. Деятель может быть стремительный, захватнический (типы «братишек» гр[ажданской] войны) и медленный, осторожный, вдумчивый, копящий свои силы и средства (Плюшкин обществ[енной] деятельности — таким должен быть главный бухгалтер). Деятельный... Ноздрев тоже был деятельным, но для себя! Все мотивы деятельности, а стало быть, и характер положительного героя должны вытекать из общественных соображений, но никак не личных.

* * *

— Профессия воспитывает характер...

— А мы показываем результаты производства.

⟨...⟩

Конфликт наших дней: новое со старым.

Да. Истины с заблуждением. Он всегда существовал.

Истина должна не вбиваться «поленом», а человека надо воспитывать, убеждать, устранять его заблуждения. Воспитание, быть может, способно дать наибольшее количество ситуаций, и притом чрезвычайно острых.

Бальзак говорит о блестящих и пышных салонах XVIII века. В XIX веке блеск этот перешел к магазинам. В XX веке (у нас, так как мы стали законодателями моды XX века) блеском и пышностью отличаются правительственные учреждения, клубы, театры, отчасти библиотеки и музеи.

Главная ценность советских людей — не деньги, а слава, уважение других, почитание, известность.

Как расточитель сорит деньгами, скупец бережет их, так обращаются и со славой. Можно ее растратить, а можно и сберечь.

ДОБРО

Какие могут быть добрые поступки? ⟨...⟩

— Женщина заболела туберкулезом. Ей нужно быть постоянно на воздухе. Средства не позволяют? Врач: «Тогда превратитесь в моссельпромщицу». Она пошла — и выздоровела,— в Москве!

[ТИПЫ]

Я уже писал, что у Льва Толстого герои разделяются на а) довольных обществом и б) недовольных.

Недовольные, большей частью, реформаторы, и притом активные. Однажды поняв необходимость и важность для них реформы общества, они упрямо идут по этому пути. Умело или неумело, другой вопрос. (Неумелые, мечтательные реформаторы у Чехова.)

Реформаторы могут быть людьми не только прогрессивными, изучавшими науку, как надо исправить общество (социология или христианство; особенно — в «Воскресении»), но и,— что очень любопытно,— регрессивными. Такими регрессивными реформаторами (как правило, противопоставляемыми реформаторам прогрессивным) являются П[латон] Каратаев, Хаджи-Мурат и т. п. Они тоже пытаются тащить [за собой] общество, но в противоположную сторону. Ибо неподвижный, веками сложившийся быт в противоположность быту строящемуся, сегодняшнему — тоже реформа, если думать, что сегодняшний быт сметет вчерашний. Л. Толстой часто сочувствует этим «реформаторам отсталости», тогда как у всех остальных эти «реформаторы» — карикатурны.

В «Войне и мире» целая галерея реформаторов, если разглядывать роман с этой точки зрения. Прогрессивные реформаторы: П. Безухов, А. Болконский. Регрессивные: П[латон] Каратаев, старик Болконский, Кутузов.

«Дерсу Узала» был таким «реформатором» времен родового быта, перекинутый в наш строй. Человек каменного века был бы, наверное, еще любопытнее. Или буддийский священник в «Карме»?

Реформаторство затрагивает все формы нашего существования, а значит, все чувства. Женщина, для которой любовь, естественно, играет в жизни большую роль, чем та же любовь в жизни мужчины, должна задумываться над «реформой» любви, хотя бы из этого каждый раз ничего путного не получалось.

Реформаторские тенденции могут быть чисто выраженными (П. Безухов, Дерсу, П. Каратаев) или же смешанными; допустим, мужчина реформатор в области войны и оружия (создает новые образцы оружия и поновому воюет) и одновременно в области любви является регрессивным реформатором; тогда как женщина, его любящая, является «регрессивным реформатором» в области войны и оружия (отстаивает старые образцы вооружения и старый способ войны) и дает образцы «прогрессивного реформаторства» в области любви. (Впрочем, в любви как раз трудно разобраться, что прогрессивно, что регрессивно: измена редко кому нравится, хотя, разумеется, возможно убедить себя и в обратном. Я знал две такие семьи. Обе они очень плохо кончили.) Впрочем, при описании жизни реформ в нашем обществе («Кремль») стоило б их коснуться.

Осуществление «реформ» в прогрессивной или регрессивной форме и создает характер.

Сознание, что ты регрессивный или прогрессивный **«реформатор»,** чаще всего выражается смутно; самим же героем иногда и не осознается: подсознательное реформаторство, в котором меня упрекали прежде («Тайное тайных»).

Быт — то есть то, в какой обстановке и как живет герой, тесно входит в общую схему действий «реформатора». Быт уясняет, **против какой** или **за** какую обстановку, природу, образ жизни, труд, науку борется «реформатор». Кабинет совр[еменного] ученого, его лабораторию, его манеру держаться в ней так же важно описать, как и саклю, из которой поехал Хаджи-Мурат, направляясь к князю Воронцову, равно как и привычки Воронцова, его манеру играть в карты, его жену и адъю-

танта. Однако значение быта не нужно преувеличивать, как это делает современная литература. Даже в такой прозрачной вещи, как «Хаджи-Мурат», есть главы, где быт чересчур выпирает, и Хаджи-Мурат превращается из художественного образа в образ, говоря языком нынешним, «очерковый». Такими главами, по моему мнению, являются главы, где Хаджи-Мурат рассказывает адъютанту наместника свою жизнь. Благодаря тому, что главы эти не вносят ничего нового в характер Хаджи-Мурата, а являются главами описательными, анкетными, весь характер Хаджи-Мурата снижается.

1. Дон-Кихот [стремился] — доброту насадить мечом, открыть мнимый способ насадить благополучие. 〈...〉

2. Дон-Жуан — любовь и наслаждения любовью, беззаботность, отмщение.

3. Фауст — стремление познать и создать бессмертие — отмщение.

4. Гамлет — месть за поруганную любовь отца 〈...〉.

5. Отелло — ревность, мнимая обида; мнимая необходимость мести.

Все эти люди взяли на себя тяжесть суда за обиду себе или своему роду или взяли на себя тягость наслаждения, в то время как это должно разрешить им общество, род, семья. Они делают это самостоятельно и за это в конце концов несут наказание от судьбы.

* * *

Гоголь и «тени», мертвецы,— вплоть до «Мертвых душ», начиная с «Утопленницы». Натурализмом это можно назвать только в ослеплении.

Не Гоголь меня занимает — Тургенев. Он, несомненно, принадлежит к гоголевской школе — «Призраки», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»,— жажда соврем[енности] вела его к другому. Прошлое, мертвецов, он не хотел трогать; будущие мертвецы, идеи тоже потрогать боялся, да и нельзя было — по цензурным обстоятельствам. Перенесение идеалов будущего общества,— утопического социализма, как теперь пишут, переносить было опасно, да и не общераспространенно, не типично. Надо, значит, было ему работать добросовестно, по возможности поджав под себя капиталиста.

Получился идеал — Соломин — **«человек дела»**, лучшего [более], правдоподобного идеала [ему было] и не найти.

У Л. Толстого — Левин. Так разрешалась проблема «положительного героя» у Тургенева, и — спустя сто лет — приблизительно так же она разрешается у нас; ну, территориальные и экономические масштабы соломиных пошире, а также не говорят теперь ⟨...⟩ о крепостном праве в деревне, о подвалах, духовной нищете, о бесхозяйственности, зачастую, чудовищно-щедринской.

«Тени» — призраки, мертвецы, привидения: «родимые пятна капитализма». Есть и преувеличение тут: нельзя же литературу делить так примитивно. Есть и большая доля правды: не напрасно же Гоголь нравился символистам. А. Белый написал о нем превосходнейшую книгу. Любопытно, что у Достоевского нет никаких «теней», даже таких робких, как у Тургенева. С этой точки зрения Достоевский настоящий реалист — даже «Бесы» — о создании царства совершенства тут, на земле, и притом немедленно, силами «бесов». Удивительно! Это вам не Соломин.

ХАРАКТЕРЫ БАЛЬЗАКА ИЛИ ГОГОЛЯ

Каким путем или средствами, каждый по-разному, люди приобретают деньги. Чичиков или Хлестаков — надувательством; Люсьен — продажей своего таланта, Вотрен — обманом или грабительством. Средства могут быть или очень ловкими, или нет. Чем ловчей человек, тем сложней, стало быть, цивилизация (средства обогащения в Париже, когда для своего обогащения человек привлекает сотни людей: весь Бальзак), чем он наивней, тем цивилизация проще и грубее, отсюда — наивный обман Хлестакова, который, в сущности, и обманщиком себя не считает, а узнает об этом от Осипа в конце.

Современный характер — развитие ума и таланта и сохранение его, оберегание... Так же как герой Бальзака копит деньги, герой современности копит знания и таланты, буде они есть — «а если нету, то и знаний достаточно; одной памяти хватит — затвержу знания других». Значит — каждый по-разному приобретает знания. (И очень часто ошибаются, приобретая не те.) **Знания да-**

ют все. Различные способы приобретения знаний могут чудесно обрисовать характеры. Характеры вовсе не являются особенностью капиталистического хозяйства. Они существовали и тогда, когда денег совсем не было. Просто знания заменяют деньги. Но вы скажете — «а скупость, позволяющая скапливать деньги у себя?» На это можно ответить, что существует не только скупость денежная, но и скупость знаний. Ловкий скупец-профессор приобрел знания и хранит их при себе. Это [ему] не менее трудно, чем «скупому рыцарю» хранить свои сокровища. Правда, их трудно украсть... но так ли трудно? Ловкий ученик может утащить секрет учителя...

Может быть, это все и схематично, тем более что деньги еще не отмерли. И — конфликт совр[еменный] в этом, а не в другом.

«БАНАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» И ИСКУССТВО

Л. Толстой оживлял банальные жизненные положения — соблазнение невинной девушки («Воскресение»), измена жены («Анна Каренина»), семейные несчастья и неурядицы («Война и мир»), смерть («Смерть Ивана Ильича») введением глубокого осмысливания существующего: как, зачем, для чего? — М. Горький, в этих же банальных положениях (бедность, тяжелый труд, полицейщина) искал тропинки к соц[иальному] перевороту (что в конце концов не так-то далеко от толстовских идеалов: я как-то в беседе с Горьким сказал ему об этом; он, конечно, со мной не согласился).

«Заблуждение». Можно толковать по-разному самые простые слова:

— Вы пили уже чай?

В толковании этой простой фразы может быть радость (человек влюбл[ен] в говорившего), печаль (чай пьют перед расставанием навсегда), безразличие, раздражение и даже ужас (чай — перед смертью, намек, узнавание во фразе того, что убьют его).

И искать в них необыкновенную сложность.

Или просто ничего не понимать.

Фразу или разговор разные люди толкуют по-разному.

Сложнейшие фразы понятны только специалистам (музыканты, ученые, инженеры).

Заблуждение. Вплоть до мелочей. Например, казалось, луг выкошен, издали.

Раскрытие заблуждения. Подошел ближе, — нет, луг и не думали косить.

То же самое и по отношению к людям, к своим поступкам, чувствам, впечатлениям. «Раскрытие заблуждений», в самом широком смысле, позволяет лучше раскрыть, показать, узнать образ. Впечатление от природы: «Вначале показалось, что... приглядевшись... но первоначальные впечатления, пожалуй, были верней» — и т. д.

Узна[ва]ние. Знает только он — она, и никто.

Знают немногие, вместе с ним [или с не]ю.

Знают немногие, но не он — она.

Никто не знает, кроме автора или **читателя.**

Узна[ва]ние — один у другого, затем — решение или нет. **Действие** — непрерывное и неожиданное (и для читателя и для действующих лиц) узна[ва]ние новостей, открытий, радостей или ужаса, и с реакцией на это, тоже неожиданной и для других действующих, и для зрителя. Характер — это тоже «узна[ва]ние» для читателя о чем-то случившемся с действующим лицом сейчас [или] прежде; какое у него настроение и даже какие причуды. Как выявляется «узна[ва]ние»? Через кого? Чье «вторжение»?

Как у Диккенса, где ужас преступления подчеркивается обычной, гостеприимной и мирной обстановкой старой Англии. Деревянные поскрипывающие лестницы, свечи, запах из кухни, ковры, слуги.

Сюжетные положения — это, по-видимому, разница с положениями обычными.

Муж, жена. Появление «любовника» — уже разница. Любовник может быть настоящий, мнимый («Отелло»), нарочно создаваемый («Вел[икодушный] рогоносец» или — «Ты хотел этого, Ж. Данден!»), воображаемый, наконец. Ситуаций на эту тему великое множество, и исчерпать их невозможно. Они приобретают комический оттенок (насмешки над глупыми мужьями или женами) или трагический. 〈...〉

Формальная школа не есть ли искание разницы между положениями, ставшими обычными и новыми, которые станут обычными впоследствии? Что же такое талант в искусстве слова? По-видимому [способность создавать], не ситуации, а [именно отыскивать] слова? Ситуации стареют. Только слово поддерживает и сохраняет здание ситуации, дряхлеющее от времени. Впрочем, ситуации, прикрепленные ко времени и общественным обстоятельствам (крепостное право и «Мертвые души»), могут существовать долго. Но что «Мертвые души» без слова, в руках плохого мастера. У Гребенки и Вельтмана есть ситуации не хуже «Мертвых душ». ‹...›

Следовательно, искусство: умение вносить разницу в обычные положения, сдвигать их с обычного места?..

«Д-р Гааз» и «Дон-Кихот». Трагическое спасение несчастных и комическое.

Мы берем банальнейшие схемы жизни — ученье, школа, семья, завод, учреждение, заработки, заслуги, порицания — и начинаем вводить в них разницу. Вот тут-то предстоит работа... фантазии.

Характер лучше всего выясняется, может быть, на отношениях человека к окружающим его людям. Разумеется, это не мешает ему выясняться и на отношении к самому себе: аскетические, нелюдимые, замкнутые люди тому пример. Но отношение к другим людям все-таки лучше, оно показывает характер разнообразнее, живее, если хотите. ‹...›

«Треугольник». «Нет, милые мои, треугольника. Никакого треугольника между ними и не было. Отношения были чисто дружеские, простые, и вдруг точно вбежал бес и все повернул вверх дном! Жена бросилась ему в объятия. Я сам — сам! — заставил, убедил мужа подозревать меня. Зачем? Я в конце концов великолепно мог скрывать это, тем более что мне было не впервой скрывать. Я убедил ее сознаться мужу».

«И когда было налажено через суд и прочее — раздел и расставание, тот же черт подтолкнул меня убедить их, что **ничего** не было, мало того,— их,— себя! И все поверили».

«Я только что привел пример мирной, доброжелательной жизни, испорченной, по-моему, темными силами. И с таким же успехом приведу другой пример. Мои друзья живут дурно, с изменами, пороками, воровством и

едва ли не убийствами. И вот когда должен наступить роковой разоблачающий конец, возникает неожиданное просветление. Люди живут мирно, хорошо, — памятник им просто ставь! В чем дело? Зачем это понадобилось темным силам? Да, именно темным, потому что светлые, если вам угодно верить в бога, — не могут же простить их до такой уж степени! Милосердие милосердием, но это, простите, издевательство.

— Пути господни неисповедимы.

— Разве что. Но хочется и разуму оставить хоть клочок. Когда заботишься о том, чтобы на завтра был хлеб и картошка, то разуму веришь, а тут, можно сказать, в самом главном, тут нельзя? Вернемся, однако, к случившемуся. Скажут, оба случая заложены были в их воспитании, характере, жизненных обстоятельствах и прежде и теперь. Упомянут и фрейдизм, скажут, что Фрейд-то и был истинным материалистом, что есть искал причины. А это что же? Какие-то «темные силы»!

— Тайны! Для беллетриста тайны — клад!

— Ну, для беллетриста! А мне на эту тайну наплевать. Я истины хочу, а не тайны.

— Истины? Ха-ха! Истины, дорогой мой! Нет, не было и, бог даст, не будет. Слишком уж она жестока.

Мало не понимать друг друга, — мы не понимаем порой и себя. То, что ты называешь ненавистью, оказывается любовью. Думаешь, что мстишь, а оказывается — давно уже простил.»

«Завоевание людей». Завоевывать не только людское расположение, но и ненависть — это тоже надо уметь! Завоевание людского расположения — дело сложное и имеет в себе множество оттенков. Редкий человек, даже на самой вершине славы, не нуждается в людском расположении. Лесть, быть может, самый низкий из способов завоевать расположение, так как и помимо лести есть много способов его снискать.

Помимо тех основных проблем, которые и упоминать не стоит, настолько они известны, Достоевский почти в каждом своем произведении доказывал: «Счастливая любовь невозможна».

Если у него не было под рукой фактов, неопровержимых и позорных, знание которых разрушит любую лю-

бовь, он вводил в действие жестокость, насмешку, стремление узнать друг друга до конца. И тогда любовь разрушалась. Человек испытывал какое-то удовольствие от того, что мог разрушить любовь.

Или уж для получения любви надо пройти через такие страдания, что не всякий и сможет.

Борьба — сценическая или романтическая — выражается:

а) В убеждении, своеобразном насилии мысли. Это может быть выражено и диалогом (высшее — Платон). Древние, по-видимому, придавали диалогу — упражнению в разговоре-споре — большое значение. Может быть выражено и монологом (совр[еменная] книга).

б) Насилие прямым, физическим действием (на сцене и в кино этот образ действия кажется наиболее убедительным). На этом построены все, — или большинство, во всяком случае, драм Шекспира, пьесы «плаща и шпаги», совр[еменное] американское кино. Старинная комедия — тоже прямое физическое воздействие, но объект выбран по ошибке не тот, на которого справедливость должна воздействовать, и конец в противоположность драме — благополучный.

в) В упорном последовательном выпытывании (проступков, причин их в прошлом или настоящем). Оно, в свою очередь, может быть прямым физическим [воздействием] (пытка, редко описываемая в пьесе или романе) или словесным (иногда то и другое сочетается).

Так называемые «приключ[енческие]» произведения, где контрдействующей силой является природа, построены на выпытывании «тайн» природы и сопротивлении природы этому выпытыванию. Как природа — ее открытые тайны — помогает человеку в осуществлении его вековечной мечты («Невидимка» сказок — и «Невидимка» Уэллса, его «Машина времени», полет на Луну и т. д.). Между прочим, в сказках древние почти никогда не мечтали о том, что в будущем жизнь будет другой и тем более что этому изменению может помочь наука. Наука заменялась духами — злыми и добрыми.

г) Словесное выпытывание может быть соединено со словесным убеждением (М. Горький, часто словесно пытавший своих спутников и пытливо узнававший то, что и младенцу было известно. А Горький и в молодости не

был так уж наивен, как он себя изображает: он прикидывался простаком в своих произведениях, а не в жизни. «Простачество», как и действующим лицам повестей Вольтера, необходимо было ему для того, чтобы показать все безобразие жизни, которое действительно ужасно и останется таковым навсегда).

д) Книжное убеждение. Впрочем, это только форма словесного убеждения. Придет, по-видимому, время, когда говорильные аппараты будут стоить столько же, сколько сейчас коробка спичек, и тогда книга отомрет, или, вернее сказать, останется для справок, а может быть, и справки будут давать машины, вроде счетных.

е) Подкуп. Убеждение или выпытывание истины посредством денег. Тут мы упираемся в материальные блага, область наиболее шаткую и расплывчатую в нашей действительности; наименее применяемую в нашей беллетристике и, может быть, довольно часто встречающуюся.

Чувства, овладевающие нами, приходят и вселяются в нас **в результате клеветы и ослепления (Отелло — ревность); в результате реально складывающихся обстоятельств** (чувство оскорбленной гордости у Гамлета); **в результате ошибки:** ошибочных своих действий (король Лир) или же неправильно истолкованного поступка (большинство комедий, например «Ревизор»); **в результате их пробуждения при нахождении идеала,** как бы он странен ни был (банкир Н. в романе Бальзака «Блеск и нищета куртизанок» и там же Вотрен — к Люсьену), и как бы ложно он ни толковался (Чацкий и его идеал — Софья, а отсюда — московское общество), и как бы книжен он ни был (герои А. Толстого и М. Горького, почти всегда находящие идеал в книгах, а не в поступках окружающих их людей; то же и у Н. Островского; то же — Фауст, чернокнижники, мудрецы, алхимики и множество подобных; отсюда — господство книги и отсутствие легенды о хороших людях; мы должны писать «Жития»); **в результате действий окружающей среды — быта,** — быта ежедневного с его обычаями и предрассудками (весь Чехов и Бунин, особенно — последний).

С чувствами можно бороться, побеждать их, рассуждать о них, о вызывающих их обстоятельствах, отталкивать их или же поддаваться им, быть побежденным ими.

Чувства свои, овладевшие тобой, можно навязывать другим, подбрасывать, так сказать. **Можно понимать** возникающие у других **чувства** или не понимать. Толковать ложно или правильно. Не видеть совсем, — как и бывает в большинстве [случаев]: равнодушие к чувству страдания, голода и нужды.

[ИЗ НАБРОСКОВ К РОМАНУ «ПОЭТ»]
(1949 — 1963 гг.)

18/VI [*1949 г.*]

Во мне мелькнула и, пожалуй, укрепилась мысль написать большой роман «Поэт», когда я беседовал в Союзе писателей со шведскими писателями. Разумеется, мысль эта тлела во мне давно — еще до войны я собирался написать роман об актере и поэте.

Почему этого хочется? Во-первых, проблема формы и реалистического искусства, которая может быть поставлена в романе, будет интересна и полезна многим людям искусства. Во-вторых — вопросы морали, семьи, дружбы. И наконец, я отлично знаю эту среду, и мне писать будет легко, а легкость мне сейчас очень нужна, так как писать мне стало тяжело: вследствие неуспехов «Похождений факира» и даже «Пархоменко» мне писалось (внутренне) тяжело. 〈...〉 В известной степени роман будет автобиографическим, хотя, сам по себе, я никогда не был формалистом, то есть не увлекался до самозабвения звуком, а был стилистом.

Вопросы формы в произведении тоже интересовали и поныне интересуют меня, но я никогда не думаю, что форма это все: литература не гусарский мундир и писатели не поручики. Если иногда в моих ранних вещах было не глубокое содержание, то это не потому, что я не хотел его, а потому, что не мог, не умел его выразить.

Мне кажется, я могу написать этот роман быстро.

П о э т. Если начать и вести роман от первого лица, поэта, то все контрдействия этому первому лицу будут неизвестны читателю.

Вернее сказать, он, поэт, будет получать контрудары, но причину этих контрударов он будет толковать, ко-

нечно, по-своему, т. е. принимая во внимание кажущиеся, а не настоящие причины. О настоящих причинах он, быть может, никогда и не узнает.

Если же потом переписать роман и вести его уже не от первого лица, то тем ярче выступит контрдействие, потому что в первом случае, т. е. в написании романа от первого лица, можно написать: «причину этой подлости Ивана Ивановича я узнал только позже. Она была следующая... Я же тогда думал, что Иван Иванович» и т. д. Главное действующее лицо даже получается [тогда] каким-то глуповатым. Между тем как развернутые причины контрдействия могут показать героя с самой благородной стороны, т. е. сильное контрдействие увеличивает личность героя. Будь Петр Великий только крестьянином, он при благоприятных обстоятельствах стал бы разве что Демидовым, а когда ему сопротивлялась добрая половина державы, он получился гением.

Было бы ошибочно предполагать, что великий открыватель сразу же охватывает истину или имеет какой-нибудь безошибочный метод угадывать ее. Число ошибок великих умов превосходит число ошибок умов слабых. Плодовитость воображения и чутье истины составляют первые условия, необходимые для открытия; но ошибочные догадки, подсказанные этим путем, встречаются, несомненно, чаще, чем догадки, оказывающиеся основательными. Самые слабые аналогии, самые химерические понятия и самые, по-видимому, нелепые теории бродят в переполненной голове, и из всего этого мы узнаем впоследствии не больше, как только об одной сотой части. В действительности же тут нет ничего нелепого, кроме разве того, что явно противоречит логике и опыту. Ибо самые верные теории не лишены немыслимых предположений,— как положить границы свободе составлять гипотезу?

Чрезвычайно мала вероятность того, что собрание сложных фактов **само** бы расположилось таким образом, чтобы при этом прямо видны [были] управляющие ими законы.

Чем больше у тебя любви к теории, тем пристальней ты должен всматриваться в ее недостатки. В обыкновенной жизни нередко встречаются теоретики, которые, долго обдумывая какую-либо теорию, допускают ее овладеть своим умом настолько, что он уже не спосо-

бен принимать ничего другого, кроме подтверждения истины его теории. Узкий и напряженный ход мысли иногда может привести к великим результатам; но зато теории, принятые таким узким умом, остаются в нем неизгладимо. Человек, поглощенный одной какой-нибудь идеей, имеет только один шанс истины. Напротив, плодотворный открыватель делает выбор между многими теориями.

⟨...⟩Между хотением, решением и осуществлением этого решения, действием,— очень широкая пропасть, которую далеко не всем удается перешагнуть. Иначе говоря, почему хотение или решение не всегда сопровождается действием? Почему иногда человек поступает вопреки своим принципам и намерениям? — Связь между решением и действием — ассоционного (сближение представлений, благодаря которому представление вызывает по сходству, смежности и противоположности другое представление) характера и укрепляется только повторением и упражнением. Действие должно быть заучено: здесь центр тяжести воспитания воли. Причем продолжительность заучивания, количество повторений, содействие чувств и фантазии много помогает укреплению успеха задуманного. Причина измены своему решению заключается главным образом в том, что решение не было достаточно энергичным, т. е. при обсуждении мотивов оно не было обдумано с достаточной полнотой, точностью и всесторонностью.

«Записки о Поэте» — несколько действующих лиц часто противоречивых. Может быть, в виде тех кусочков, которые напечатал М. Горький о Л. Толстом? Это ведь тоже очень противоречивая штука. Он, например, совершенно отрицает мистичность и веру Л. Толстого ⟨...⟩, объясняя его религию только желанием славы.

Противоречивость «Записок о Поэте» может вскрываться автором, который расскажет истину. Поэтому позиция у автора будет хорошая. В «Записках» можно упомянуть мнение Поэта о современниках: Горький, Маяковский, Есенин, Фадеев, Шолохов.

Может быть, вначале напечатать статью о творчестве Поэта, и притом панегирическую. Ведь для того,

чтоб о нем писали «Записки», нужно, чтоб он или умер, или при жизни прославился. У нас не принято писать «Записки» об «обыкновенных» людях, обыкновенных тем, что о них не пишут в газетах и журналах и их не посещают поклонники. 〈...〉

— Это может быть интересно поэтам и художникам — путь поэта к поэзии. Но для читателя обыкновенного в биографии человека должно быть что-то такое, что могло бы глубоко заинтересовать. Например — воля. Историю Мартина Идена прочесть всякому любопытно потому, что это ярко выраженный образец... проявления воли: его труд отвергают, а он все-таки пишет один, противопоставляя себя обществу, как другой герой Джека Лондона, тоже в одиночестве, противопоставляет себя природе. Этот должен побеждать в себе самом недостатки: неграмотность, непонимание искусства, построения сюжета и т. д.

Совпадает ли появление лирических стихов с влюбленностью Поэта, или,— что гораздо лучше,— он начинает с баллад, сюжетных стихов, рассказов. Дальше таким образом ему будет легче перейти на прозу и сделаться не романистом, а рассказчиком, создавшим своеобразный жанр «с масками», где в качестве положительных героев действуют одни и те же лица (трое), а отрицательные меняются. Он мотивирует это, во-первых, тем, что наши «строители-монтажники» часто переезжают и даже довольно часто меняют профессии, а во-вторых, тем [что], положительных героев читатель больше любит, чем отрицательных, и ему приятно встречаться с ними вновь и вновь.

А для автора романа **замысел Поэта** важен еще и вот почему:

а) Поэт, размышляя над своими рассказами-балладами может перебрасывать своих действующих лиц по времени и пространству, чем мы дадим своеобразную хронологию истории и увидим того, чего поэт может и не видеть;

б) Книги Поэта — это главы Истории в разные отрезки времени;

в) Отображение в [его] произведениях событий личного порядка, совершающихся с ним, так сказать — выражение мечтаний, того, что он (может быть, и желая сделать) — не сделал.

Лирические стихи появляются в конце жизни Поэта. Смерть Поэта? Да. И героическая — за других; каким образом, еще не знаю. Его огромные замыслы; которыми он не поделился, не успел поделиться ни с кем. Но другой, новый Поэт, идя на похороны, принял, придумал этот замысел, поворачивающий по-другому рассказы Поэта.

«Кающийся», конечно, друг поэта, несколько старше его. Он — много лет иногда и «помимо воли» 〈...〉 — мешал Поэту в его работе. О чем Поэт 〈...〉 мог и не знать: ведь проступки Друга истолковывались Врагами часто более враждебно, чем предполагал его Друг. И Друг об этом, разумеется, не знал. Оба они узнают об этом поздно, и появление «Кающегося» может быть тоже запоздалым.

Запоздалым? Это плохо. Действия «кающихся» (скажем, у Достоевского или Л. Толстого) потому и действия, что они не запоздалые и могут принести пользу или всем Обиженным и Угнетенным, или Одному из Них, спасти кого-то. А если некого спасать, то какой же толк в кающемся? Поэтому важно и интересно, чтоб Друг, да и сам Поэт, который тоже не без проступков, «покаялись» и осознали свои ошибки вовремя, т. е. вовремя в смысле развития сюжета.

Поэт: Л. Толстой ненавидел женщину. Не мать, не работницу в хозяйстве, а то, что сильный и взрослый мужчина понимает под словом «женщина». Он пришел к этой ненависти сложными путями: неудача семейной жизни и одновременно радость от детей семейства, тяга к женщине, которую он подавлял моральными своими заповедями; жажда одиночества, как необходимое в творческой свободе, о которой мечтает каждый художник. Искусство,— если это мужское искусство, естественно, строится на женщине и любви. Как же он мог писать, если он не мог писать о главном — о любви, ненавидя и любя любовь, ненавидя и тайно любя жен-

щину? Кроме того, ему было противно, что его художественными произведениями торгуют. И кто? Женщина,— может быть, наиболее ненавидимая им, жена. И ненависть, им испытываемая, была ужасна. Он, проповедник добра, милосердия, не нашел в себе сил 82 лет, чтобы быть добрым,— и бежал! «Монастырь — это бегство от семьи и забот семейных. Мир — всего страшнее. Монастырь — радость, счастье, тишина,— в обмен на похоть».

Тайны? Они мне отвратительны. Именно детектив есть порождение буржуазного общества, потому что там тебя всюду ждет опасность, тайна, черт знает что. Любопытно, что все учение Фрейда основано на раскрытии тайн, которые мы будто бы таим в себе чуть ли не с трехлетнего возраста.

Коммун[истическое] об[щест]во для того и строится, чтобы обеспечить человеку отсутствие тайн. Разумеется, мне могут возразить, что человек закаляется на опасностях, а всякие опасности, до известной степени, тайна. Помните роман Г. Уэллса «Машина времени». Там, видите [ли], человечество выродилось в результате постр[оения] ком[мунистического] общества, которое-де сдало соревнование... или что-то в этом роде, не помню. Мне так было отвратительно читать этот роман, что я немедленно забыл его.

Опасность в борьбе с природой никогда не исчезает. Вряд ли мы сможем, при самом наилучшем положении техники, посадить всю землю под стеклянный колпак, чтоб регулировать стихийные бедствия, или, все, чтобы было нам тише и теплее, переселиться под землю. Опасность в борьбе с силами природы останется, а это опасность не малая. Я — против опасности человека от человека. Мне кажется, в этой опасности нет никакой нужды. «Человек человеку не волк, а собака», то есть преданный и верный друг, человек — добр, внимателен, великодушен и не ждет за это великодушие никакого вознаграждения. Я думаю доказать это утверждение последующими моими строками.

Любопытно, что происшествие с поэтом дало возможность написать одному автору фантастический роман. Роман этот был напечатан, но вниманием не пользовался,— для юношества, хотя оно, в большинстве своем, пишет стихи, то, что поэт стал поэтом самым странным образом, не представляло интереса, для

взрослых — было неубедительно. А кроме того, сочинитель не обладал талантом, а талант, при написании книги, если не главное, то, во всяком случае, желательное.

Поэтому я считаю необходимым рассказать сюжет фантастического романа. Это поможет нам понять дело реалистически, так как для уразумения происшедших событий, которые развертывались стремительно, едва ли не в продолжение одной недели, любая помощь будет полезна. Кроме того, грешный аз, люблю фант[астические] и приключенческие романы, хотя в истории, рассказываемой мной, никаких особых приключений [не будет], вроде спасения из горевшего дома, похищения секретного документа или любимой девушки, мести за обиду, свершенную много лет назад, и даже агента царской охранки, сильно состарившегося, но все еще упорно скрывающего свое прошлое, через которое другой агент империалистической державы заставляет его совершать постыдные поступки, ничего этого не будет здесь, а будут только психологические загадки, да, собственно, не загадки, а, так сказать, душевные страсти со сложными причинами, в которых разобраться иногда не менее трудно, чем в похищении секретного документа.

Сам я враг всяких секретов. Я считаю, что большинство секретов выдумано мошенниками, которым это на руку. 〈...〉 Детективное мышление, даже и у людей, никогда не читавших детективных романов,— ядовитые газы, которые трудно истребить.

— Можно было объявить себя и других великими!

1. Поэты выступали и спорили публично.

2. Печатали свои произведения отдельно, издавали сборники и даже журналы.

3. В большинстве они были беспартийные и, значит, обособленные.

Все это теперь тоже есть, но, как говорится, упорядочено.

Поэты живут возле... Союза писателей, где они и могут спорить, издаваться и так далее.

Читал вчера, лежа в постели, больной, Канта. Ах, какие это хорошие люди, немцы! Как у них все прилично и правильно. И как точно доказывается, что бог

есть и нет бога, кроме бога. Можно даже допустить, что для приличия полный снисходительности бог разделил вселенную на три части: рай — его обиталище, ад и область дьявола и место, где бога нет, для безбожников: что хотите, то там и делайте. «Мне главное, чтоб люди были счастливы». Ведь и в аду грешник по-своему счастлив. Он грешил, претерпевает теперь наказание и счастлив, потому что [это] справедливо. Конечно, больно и неприятно кипеть непрестанно в смоле, особенно человеку большого объема, но все-таки справедливо! Всюду счастливы, и, по-видимому, в том месте, где бога нет, гораздо более, чем в раю. Для человека, что там ни говори, особенно для человека служащего, а служат теперь все, главное счастье в свободе. Так вот в этом месте полная свобода, даже работать не нужно самую пустяковую работу, скажем, подметать полы.

И тоже еще важно: о боге никто и не думает, так как уверены, что двух третей вселенной, то есть рая и ада, не существует. Это тоже ведь счастье. Всю свою жизнь человечество верило, что есть бог, рай, ад, и радовалось, и боялось страшно. А тут — ничего! Глупость и только. Собственно, глядя на такое счастье, живущие в раю и в аду должны были бы стремиться в эту треть вселенной, которая медленно и планомерно расширяется. Но они не стремятся туда, так как уверены, что существование этой трети безбожно и ее нет. Они даже и не в состоянии думать так, как до Колумба никто не верил в существование Америки. А между тем безверная треть вселенной расширяется. И придет время, когда она поглотит рай и ад, если уже не поглотила. И благость и безмерная доброта бога заключается в том, что он беспрепятственно позволит поглотить рай и ад и, таким образом, самого себя для того, чтобы люди были счастливы. Ведь если человек есть центр и знамя вселенной (а по нашим писаниям так и выходит), то она существует лишь для того, чтобы он был счастлив. И раз он пожелал, чтобы бога не было, что он может жить гораздо лучше без бога, бог должен исчезнуть. Вы хотите возразить, что, мол, не все согласны идти в эту расширяющуюся треть, что всегда будут существовать те, кому нужен бог, может быть, даже без рая и ада? И что-де надо считаться и с этой частью человечества, сколь она ни мала. И что,

мол, арифметический подсчет тут ни к чему. На это мы вам скажем вот что. Бог, при всей своей снисходительности и доброте, горд. Тому есть много доказательств: хотя бы то, что он создал человечество, ничтожное, жалкое, глупое, только для того, чтобы превратить его в бога, то есть в самого себя, а затем самому уйти от дел в нирвану. Иначе зачем же создавать? Это ли не гордыня! Так вот, остается ничтожная кучка, которая верит в него. А он устал. Он уже полурастворился в безверной трети, которая теперь отнюдь не треть, а гораздо, гораздо больше. Что же ему, существовать ради этой ничтожной кучки? Пусть верит! Ведь она сама, вера, превратится в безверную, раз бог исчез. Таким образом, человечество не существует, потому что все существовать может лишь в движении.

— Позвольте, а муравей?

— Что — муравей?

— Муравей, более чем человек, общителен, добр и защищает свой род необычайно, тем более что у него и машин-то нету. Вот кто именно способен «за други своя...».

— Ну, уж это, извините, бред!

— Это и есть бред. Вы ведь больны. Нельзя больному читать Канта.

— А здоровому?

— Тем более.

— Помнится, как в детстве слышал: «с ума сошел, библией зачитался».

— Философия и есть библия нашего времени.

Мне кажется, что полезно бы поставить, если ставить вопрос вообще, вопрос о религии, и главный из этих вопросов:

— «Свободомыслящие считают, что жизнь человеческая станет сильнее и богаче содержанием, когда религия отпадет».

И вот это случилось. Что же произошло?

1. Стал ли человек свободнее?

а) в области любви?

б) в области честности?

в) в области добра и помощи друг другу?

Стали ли вообще люди лучше?

б) Это — этическая сторона.

в) И затем психологическая, то есть — стали ли люди жить богаче **воображением?** Вот тут-то, я думаю,

и есть у нас большие достижения — воображением мы стали богаче, шире, объемнее. Жаль только, что это плохо эксплуатируется нами, художниками.

И наконец, вопрос космологический, то есть соотношение между всей совокупностью бытия и тем, что представляется человеку высшей ценностью, высшей волей. Связана ли эта высшая воля с нашими законами и нашими силами бытия? Управляет ли она нашими законами и нашими силами? И в каком отношении вера в необходимость сохранения всегдашней и постоянной ценности Высшей Воли стоит к делу поисков, создания в себе и окружающем, поддержания этой вечной ценности? Основа каждой религии — принцип сохранения вечной ценности какого бы то ни было высшего Духа или Воли. Эллины считали, что Зевс вечен, так же как и брахманисты и даже буддисты.

Ценностью мы называем способность вещи или непосредственно **удовлетворить** какую-либо потребность, или доставить **средство** такого удовлетворения.

Какие ценности — с различных точек зрения — воспринимаются и признаются — зависит от характера этих точек зрения. Природа каждого существа определяет его потребности, а потребности определяют, что для него ценно. Религиозная аксиома показывает таким образом, что характер каждой религии неизбежно должен определяться природою и потребностью поклоняющихся ей людей. Нет возможности верить в сохранение такой ценности, которая хотя бы сколько-нибудь не была известна нам из собственного опыта.

— Что же объединяет, в христианстве, римских и русских крестьян? Почему нет, насколько мне известно, ни одного кочевого народа христианского вероисповедания? Не является ли христианство и буддизм религиями отчаяния, когда после ряда соц[иальных] опытов люди изверились в возможности социальных изменений и решили, что в религии все-таки есть хоть немного добра? 〈...〉

ЛИТЕРАТУРА И «ЛИТЕРАТУРЩИНА»

Подражание литературным примерам и есть «литературщина». Нам говорят — учиться у жизни. Но, к сожалению, писателю у жизни учиться трудно. Он видит лишь быт, а быт всегда мелок и мрачен.

Значит, надо «возвышать быт». Но — тогда какое же учение у жизни, когда тебе приходится учить жизнь? Ну, разумеется — героические моменты! Кто их отрицает? Однако героические моменты писателю увидеть редко удается; не поташит же его герой: «Идите, мол, я покажу вам сейчас свое геройство». Самое большое — писатель может быть сам героем, вести себя героически или же увидеть героя и услышать от него редко удающийся рассказ.

Значит, надо изучать философию? Идти в жизнь с философским багажом? Да! Но тогда ты заранее уже знаешь, что увидишь — и все тебе нелюбопытное ты будешь отбрасывать? Возможно. Здесь уже дело только в таланте.

Существует ли в литературе, вместе с идейным и техническим, еще и чисто словесное развитие? Или литература, выражая **точно** мысль, вместе с тем выражает и себя? Но мысль может быть и же точно выраженной, вернее, неосознанной. Тогда как быть? И литература должна не точно выражаться?

Средневековая наука — по современным понятиям — отрицала возможность развития. Допустим, что это так. Но не становится ли современная наука на точку зрения средневековой, когда в литературе отрицается право развития, а закр[епляется] лишь право точно выражаться.

Описывается мелкий быт, забывают о том, что движением охвачен весь мир. После «П[адения] Парижа» не было ни одного романа из западной жизни. ⟨...⟩

— Хорошо,— роман о производстве. Но когда вы пишете роман о любви и герой вашего романа, найдя любовь,— боясь потерять ее, может потерять жизнь... и вообще в романе **есть опасность,** есть страх смерти. Например, когда человек бьется на фронте или в тылу немцев за родину, есть опасение за его жизнь или судьбу, если он струсит. А какая опасность ждет вашего героя на производстве? Задумал изобретение. Вышло — слава, не вышло — ничего его не ждет, в крайнем случае выговор или увольнение со службы за неправильно израсходованные средства. **Здесь нет опасности** для жизни, нет риска; значит, нет драмы. Есть риск, если воруют, вредительствуют, а — хорошо работают, какой

риск?.. Нет риска и в том, что берется (выдвинутый) за трудную работу: не выйдет, снимут. — Нет и риска разорения. — **Риск суда,** да — это интересно. Но можно ли показать его?

Бальзак начал понимать силу человеческой организации, партии, но, в силу обстоятельств, с ее разрушительной стороны. Достоевский — в этом смысле — писатель более отсталый. По пути Бальзака пошли немногие, и даже Горький ближе к Достоевскому, чем к Бальзаку (кроме «Матери»). Современный писатель может достичь изумительных результатов, если пойдет по пути Бальзака.

Борьба организации с организациями? Борьба партий. Нам трудно писать [об этом] потому, что в нашей стране мы знаем одну партию. Но это и легче в том смысле, что грубая интрига отодвигается в сторону, и партия оборачивается к жизни своей культурной стороной.

Ал. Дюма: интрига, борьба полит[ических] партий, через посредников.

Как показать в совр[еменной] драме борьбу организаций? Технических? Научных? и т. д.

Общество и человек. Государство и общественные установления — это театр оживленной борьбы и столкновений свободных человеческих стремлений («Муза»). Кому чужды эти учреждения? Перед кем замкнуты и кому недосягаемы? Кто их избегает? Кто ими владеет? Все, кроме случайного, часто индивидуального создания — вследствие или разочарования или потому, что эти учреждения не подходят к его идеалу.

Типичный путь, проделанный Кохаревым. Вскоре после смерти жены он стал думать о смерти.

Приуныл. Затем увлекся войной. Он из штатского, строителя танков и самолетов, превратился в военного: «Надо защищать страну». Его знакомство с Одудовским. Академия. Какая у них обоих ценность. Одудовский — от бюрократизма приходит к возможности «находить все» и найти «великий принцип войны».

Тема «несправедливого обвинения» лежит на всех: на Тернове (как жаль, что нельзя привести его био-

графию!), на экскаваторщике и Ватулове. Всем им тем или другим способом нужно избавиться от «несправедливого обвинения» (технического и хозяйственного для Ватулова и экскаваторщика; нравственного для Маши; политической бездеятельности для Тернова и т. д.).

Справедливо судить о человеке, быть может, самое трудное. ⟨...⟩ Обвиняют несправедливо и в хороших [делах]. От чего, впрочем, редко кто отказывается.

«Обвинение в хороших делах» может проистекать из соображений хозяйственных, политических или художественных, когда человека-героя нужно «поднять».

Стало быть, по различным соображениям, человеку-герою (мы говорим о герое романа) присваиваются те или иные хорошие или плохие свойства. — Герой узнает о них. Если эти свойства дурные, он, естественно, хочет от них избавиться. Отсюда — поиски правды, виновников клеветы, свидетелей, судей. Если же свойства хорошие, то он, как честный человек, должен их оправдать и сделать что-то хорошее, благородное. — «Велика, брат, вера народа. Народ вот скажет: ты делаешь добро! О том, что ты делаешь добро, ты, быть может, и сам не знал, так как добра не делал, а если и делал, то не знал, что это называется добром. Но, прислушавшись к голосу народа, ты подчиняешься ему и начинаешь делать добро». — «Народ? — возражает Васильев. — Хорошо, если народ!» ⟨...⟩ — «Хм. Но ведь добро-то остается добром? Неужели уж так трудно рассмотреть добро?»

— Значит, легенда о добре и зле?

Ну, а как же без легенд?

Тема несправедливой обиды господствовала в эпоху Пушкина. Он и сам себя, пожалуй, считал несправедливо обиженным. На это намекал еще Вл. Соловьев, хотя подходил к этому вопросу с евангельской точки зрения.

Ф. М. Достоевский, опираясь на обиды жизни,— а он-то доподлинно испытал их множество,— рассказал об этих несправедливо обиженных с силой великой и неповторимой. Причем обиды можно создавать и самому себе, добавил он не без ехидства.

Эти несправедливые обиды герои его романов создают себе весьма усердно. А разве мы мало [их] создаем? Ведь если не воображать себя обиженным, как лихо и легко можно прожить жизнь. «Честь»— во всех ее проявлениях ⟨...⟩ — великий поводырь героев. Конечно, смазали тебя по морде, ты утерся и процветай, пожалуйста! Однако же человек так процветать не желает и не может. Вот это-то и великолепно! Вот это-то и делает великие дела, подвиги, создает мучеников и героев. Ни свои обиды прощать нельзя, ни обиды, наносимые Человечеству, людям. Когда об этом научатся рассуждать, и верить, и делать так наши мужики,— мир будет изменен окончательно!

Классификация характеров — низший, средний, высший — очень условна. В сущности это сводится к имущественному положению, к степени владения теми или другими вещами или к степени влияния на группы людей.

Правда, есть намек, что характеры делятся по степени понимания идей. Идеи могут быть узкие, идеи могут быть и широкие, охватывающие все человечество. Но узкие идеи, собственно, вряд ли имеют право называться идеями.

Например, власть.

Мой классификатор берет слово «власть», толкуя это как развитие воли, определяемой ясно сознаваемыми целями, направленной на междучеловеческие отношения. Власть делится на «чистую» (то есть нравственную) и «извращенную», то есть, по сути дела, на добро и зло. Он утверждает: «Наиболее яркой, бросающейся в глаза чертой властно-извращенных является склонность к деспотизму, стремление к полному и безусловному порабощению чужой воли». Но ведь власть и есть порабощение чужой воли! Порабощение может быть проведено и грубо — кулаком, и весьма элегантно, и, однако, оно остается порабощением, полным подчинением воли.

Извращенная власть и неизвращенная — это, в сущности, мягкое деление (либеральное) на зло и добро. Но ведь даже и добро покоряет и порабощает волю. Бывают и добрые диктаторы, и добрые деспоты, диктаторствующие добром и ради добра. **Власть —**

это способ проведения идеи, а не идея сама по себе.

Отчаяние может быть выражением чувств по поводу чего-то потерянного или даже болезненным биологическим состоянием, но отчаяние не может составлять типа человека, как сентиментализм был только боковым признаком всеобщего гуманного движения эпохи.

Что такое развитие положительного характера?

Автор накладывает на человека, который в будущем понесет положительную функцию, некоторые недоброкачественные склонности и поступки (Пьер Безухов, например, в начале романа пьет и безобразничает).

Дальше, в ходе действия, автор снимает эти склонности, очищает своего героя.

Отрицательные персонажи, наоборот. Он накладывает на чистое в начале неблаговидные поступки (К. Маслова), очищая их впоследствии (у Л. Толстого — часто) или губя.

Мышление ищущее. Недостаточно твердый характер, к тому же интеллектуально плохо воспитанный, имеет весьма слабое понятие об идеале — куске идеала, так сказать. Случается, что идеала достигнуть не удалось, хотя жизнь как-то и устраивалась, и вот, в подходящих условиях, индивидуум осуществляет свой идеал. Такими условиями могут послужить внезапно обнаруженное сходство темпераментов, вкусов, мыслей. Происходит борьба между старой формой, к которой привык, и новой, найденной формой. В области половой случается, что идущий приближается к половому влечению, но под влиянием разных причин: инстинктивное отвращение, привычки, нравственные правила,— происходит сопротивление этому чувству. Так переходят одни эмоции в другие. Собственно, это тоже обращение, но не полное и медленно протекающее.

Всякое страстное состояние отличается повышенной чувствительностью ко всему, что ему сопротивляется.

Рассуждение представляет из себя догадку, попытку, предположение, словом — движение от известного к неизвестному!

* * *

Чувство строится не только из одного упоминания о нем, но из ряда косвенных доказательств его необходимого и неизбежного существования, так что оно в конце концов должно охватывать все то, что окружает человека. Чувство — мозаичная картина, каждый камешек которой должен выражать общее настроение (Пьер Лоти, «Галилея»).

[«ИСКУССТВО ВТОРОГО ЛИЦА»]

«Искусство второго лица». Одно из сложнейших созданий совр[еменной] литературы — показать в одном теле две разные и зачастую противоположные души. Этим великолепно владели Л. Толстой и Диккенс, и чем сложнее это искусство, тем знакомиться с ним приятнее. Правда, оно часто уходит в сатиру,— у Диккенса в особенности.

Любовь — одна. **Сластолюбия** — много. Но сластолюбие, и при множестве соединений, может нести в себе все оттенки любви: ревности, тоски по милой и т. д. Вопрос, так сказать, в размахе характера.

Легкомыслие? Счастье, наверное, неразрывно связано с легкомыслием. Если говорить о сумме счастья, то, несомненно, легкомысленный получает его больше всего. Но насколько тут много счастья, настолько же оно быстротечно. Легкомысленный не может понять ни глубины человеческой души, ни, стало быть, и своего счастья, всегда тесно связанного с другой душой.

Воображение — это способность переносить себя (ошибочно или правдиво, реально) в иную «сферу». Чем больше человек наделен воображением, тем чаще он будет ошибаться в реальной жизни, так как истолкование событий у него будет всегда или преувеличено, или преуменьшено: реальность его воображения будет реальной только в замысле.

Благодеяние — сухость — сухость от тех, кто мог бы благодетельствовать, и благодеяния от тех, кто был сух. Отзывчивость.

Пороки. Добродетели. Пороки людей, ставших ныне благодетельными, и их влияние из прошлого. Понима-

ние пороков других: приютить, обогреть порочного, исправить.

Признательность за благодеяние — неблагодарность.

Зло — добро — узнается: письма, нечаянно узнал, подслушал, семейный предмет — предмет любви.

Дружба. Желание приобрести себе людское расположение. Желание сделать вашего друга счастливым, помочь добыть ему счастье. 〈...〉 **Недружелюбие** — холодность. Презрение к чувству дружбы: «Сегодня встречались, а завтра — нет, и хорошо». 〈...〉

Желание — предвосхищает будущее. Предвосхищая будущее, желание стремится выйти из настоящего.

И когда ты, не довольствуясь ленивым ожиданием будущего, относишься к будущему активно, стараешься устроить его по-своему, то **желание** твое переходит в действие.

Можно желать того, чего не можешь.

Воля — решимость на действие.

Но можно решиться на такое действие, в невозможности осуществления которого он убежден. Человечество, кстати сказать, очень любит таких людей.

Действие зависит не только от индивидуальной воли, но и от общей: друзей, семьи, класса, партии и т. д. Общая воля подвергает стеснению произвольные действия индивида.

Стремление — часто не является актом разума, который оценивает общий объект цели, а есть акт воли, движущей все силы к ближайшим целям, предварительные достижения которых обусловливают собою достижение и самой конечной цели. Например. Разум и чувство избрали для N. невесту A. Но, для того чтобы получить невесту, надо достичь благорасположения ее родственников и друзей. Поэтому N. стремится к благорасположению нескольких людей. Итак: а) намерение, б) стремление к цели, в) средства, обусловливающие собой достижение цели.

Выбор — это когда размышление колеблется между различными желаниями, не зная: которому из них отдать предпочтение. — Как только выбор сделан, рассуждение прекращается, торжествует один мотив. Воз-

вращение выбора. — Можно поставить себе цель, не отдавая отчета в ее причине. — «Нет выбора!»

Устойчивость стремлений, обусловленных возбуждением чувств, влияет на борьбу мотивов в смысле их сокращения. Например, страх или радость...

Промежуточные станции в движении к городу влияют на конечную цель. Можно застрять на всю жизнь и на промежуточной станции. — Мы избрали конечной целью благо человечества. Промежуточные станции — деньги, здоровье, знания — могут пересилить общую цель.

Когда **борьба** идет **между** наличными (тут, предо мной: деньги, заработок) и представляемыми в будущем (благо народа) **мотивами,** результат борьбы во многом зависит, насколько живы вы будущим. Человек часто предпочитает ближайшее...

Наличное страдание, конечно, хуже представляемого удовольствия. Однако и наличное удовольствие не хочет думать о будущем страдании. Воля заключается в том, чтобы помочь себе понять смысл того и другого.

Физический недостаток сил, мешающий исполнению данной, поставленной цели, может быть уничтожен, если цель будет поставлена более высокая.

(Некоторые отвечают на препятствия лишь мягкой печалью, огорчением, симпатией к самому себе или к тем, кто страдает, обилием жалостливых слов. «У этих людей слишком много чувства», — скажет о них человек воли, который заранее примет меры, чтобы пресечь источник зла, чтобы удалить причины страдания. Если к тому же волевой человек добр, он постарается доставить удовольствие пострадавшим.)

— Когда чувства сильны, крайне волнуя нас, и когда скрыть их трудно, — и если к тому же человек склонен к общительности, — тогда перед нами открытый, **доверчивый** характер, лишенный скрытности. Противодействующие силы, внушающие нам скрытность, относятся к области благоразумия, сдержанности, боязни ошибок, пересудов и вообще зла.

Противоречащие представления (картины) и мысли (доводы «за» и «против») не есть что-либо действительное, а лишь продукт нашего собственного «я». Поэтому — ложь, что сомневающийся не способен ре-

шить, который из двух или трех разноречивых случаев следует считать верным. Нет нужды находиться в противоречии с самим собою! В **сомнении** всегда открыта возможность решения противоречия посредством опыта или более продолжительного, зрелого размышления, совета с другими.

Сомнение всегда имеет отношение к будущему. Это — плохая надежда, надежда на зло.

Причина — производит следствие с роковой необходимостью.

Мотив — нет.

Действие одной причины может быть уничтожено или изменено другой причиной. Но в этом изменении еще можно открыть след действия первой причины.

Мотив бывает лишь звеном всеобщей причинной связи. В нем нет роковой необходимости. Он легко отпадает. Это — лишь желание, остающееся в голове, в разуме. Борьба различных мотивов не есть борьба различных причин. ⟨...⟩

Уверенность — условие роста и развития воли при преследовании промежуточных целей. Это — доверие к своим силам, убежденность, упование на успех, обеспеченность, предвкушение успеха, ожидание награды.

Уверенность всегда содержит в себе интеллектуальный элемент: сродство между целями и средствами.

Уверенность — в природной склонности человеческого ума ожидать повторения однажды испытанного успеха.

Уверенность — победа, убеждение в нашей активности и в ее примерах прежде.

Уверенность — в наших чувствах, ради которых мы действуем (ненависть, добро, щедрость и т. д.).

Уверенность — от влияния других людей, книг, идей, воспитания, примеров и т. п.

Обдумывание — это прежде всего наши мысли о пользе или вреде поспешного или замедленного действия. Обдумывание может быть коротким или продолжительным (это зависит от качества ума и характера). ⟨...⟩

Когда мы замечаем происходящее, то никак на него не реагируем, не отворачиваемся, но и не устремляемся к нему, когда происходящее не вызывает в нас никакого влечения — это называется **равнодушием.**

«Когда в жизни слишком много несчастий,— равнодушные самые счастливые».

«Сколько мы видели! Сколько испытали! И сколько мы можем рассказать! Но так как мы не имели возможности этого сделать, то потомки, чего доброго, назовут нас, пожалуй, равнодушными».

Совесть — возникает вследствие соединения самообличения с упреками окружающих.

Многие мало чувствительны к самообличению, но тяжело переносят упреки окружающих.

— А странно все-таки, что мы, писатели, так мало пишем о совести?

Стыд — всецело полагается на неодобрение, неблагоприятные суждения других людей. Стыд — различен от того, открыто ли выражено это суждение или известно только тому, кто испытывает это чувство.

* * *

Паника — любопытное состояние. Она вовсе не выражается в вытаращенных глазах и раскрытом рте. Это — страх, который стремится передаться другим. Сосед ваш рассказывает вам вещи, узнав о которых вы (и ранее убежденный этим) начинаете искать спасения, хотя бы в смерти. ⟨...⟩

Умеющий направить у врага панику — наверняка победит. Паника возникает не потому, что лишает людей разумности, а потому, что лишает их послушности. ⟨...⟩

Наше счастье состоит в разумном чередовании и **разнообразии** предметов наслаждения.

Разумеется, это понятие различно у каждого из нас. У мещанина — одно счастье, у анархиста — другое.

Разнообразие — есть форма новизны, в которой люди более всего заинтересованы. Любопытство — это страсть к разнообразию. Мода — тоже.

Смена удовольствий поддерживает у нас непрерывно приятное чувство.

Чем дольше не действовало на нас то или иное впечатление, тем сильнее оно потрясает нас.

Для достижения высшей степени наслаждения необходимы периоды безусловного безразличия и покоя. Скука — ближайший помощник художника.

— Система (назовем ее так) настойчивого характера, или, наоборот, ненастойчивого упирается, по-видимому, в мелочи. Так, качество дороги не имеет, в сущности, никакого отношения к верстовым столбам. Однако столбы эти помогают вам переносить тяжести дороги: «Осталось десять километров, двадцать». Распорядок в мелочах заставляет вас говорить, что и в крупном человек последователен. Даже, может быть, в расположении вещей на столе. Впрочем, писатели издавна осуждали эту мелочность. А вдруг при всей этой мелочности человек необыкновенно широк и свободен? Ведь это лучший показатель воли.

Преследование ⟨...⟩ Боги, рок, люди, природа и, наконец, мы сами — все это преследует нас, предрекает нам гибель или счастье.

Преследовать, разрушать или созидать вашу жизнь могут обстоятельства, большей частью от вас не зависящие: стихийные бедствия, войны, повальные болезни, голод и т. п.

Обычная тема романа: вы ведете или, чаще всего, намерены вести жизнь, которая вам по душе. Вторгается нечто «не от вас» — скажем, внешнее: война, или внутреннее: убеждение, что вся ваша жизнь «не так», неправдоподобна, неправильна (у Л. Толстого часто). Жизнь ломается мгновенно или постепенно,— если «ломка» зависит от вас (классический пример «Гамлет»). Но как бы то ни было — ломается.

В конце концов — любовь тоже преследование, чаще всего зависящее от вас; вы влюбились, любовь, тоска

по человеку вас преследует, догоняет, истребляет или возвеличивает,— кому как повезет!

19/IX—57 г.

— Ну, что ж! В общем-то мысли правильные.

18/IX—61 г. То же Переделкино.

[СЮЖЕТ]

Что такое композиция в беллетристике?

То, что мы называем системой в философии или стройностью, пропорциональностью в здании.

Чувства героев должны возникать, развиваться, падать или прерываться, переходить в новые.



То же самое, скажем, в описании действующих лиц или предметов: а) возникает первое, может быть, беглое впечатление о человеке, б) развиваясь, накапливает признаки, подчеркивает, в) или опровергает первое впечатление, исчезает, г) или переходит в отношение противоположное, другое.

То же самое о пейзаже.

Или об отношении многих людей к действующему лицу. Может ведь отсутствовать вообще отношение всех, скажем, к Н. Просто живет себе человек и занимается, скажем, каллиграфией, искусством нынче чрезвычайно редким. Но и это — отношение, так как редкое искусство вызывает к себе мимолетное внимание. Но, скажем, младший техник в таком-то гараже — это уже совершенно никому не интересно. Поэтому заставить многих остановить внимание на этом технике, задуматься о его жизни — это дело совсем не малое, не часто встречающееся. А в этом должны быть заинтересованы чрезвычайно многие.

ИЗ РОМАНА «У»

Токмо волнением объясним сон в течение почти целых суток. Я, если вы помните, лег ранним утром, а проснулся глухой ночью, часа в три; проснулся

с выученной крепко-накрепко фразой: «Э, так вот ты какое задумал!» И фраза эта относилась к доктору. Он шнырял по комнатке, настолько сгорбясь, что казалось, он пробует приспособленность своих четверинок. Глаза его неимоверно блестели, хоть гаси. Я привстал, чувствуя себя страшно легким и очищенным.

«Лежите, лежите. Я на минуточку, за ножиком,— сказал доктор,— по очень сходной цене приобрел петуха. Будем стряпать, того ради будет обед небывалого размера». И точно, под мышкой его теперь лишь я разглядел петуха. Как ни толкуй, вкривь и вкось, причины важности этой птицы, одно бесспорно покамест, что перед нами был весьма крупный экземпляр с превосходным нежно-серым оперением, похожим на дым папиросы, с маленькой головкой, украшенной синим, переходящим в черный гребнем, и с огненно-рыжим хвостом. Ноги его были связаны носовым платком. Сидел он спокойно, и что-то неестественно умное выражал его взгляд, истоки чего-то обезьяньего, если не человеческого. На мгновение даже я смутился, глядя в его вразумляющие глаза, на мгновение подумал даже: «Не сплю ли я?» И отвел взор. Петух опять нашел меня. Его глаза передавали мне такое презрение, с каким ни один человек не смотрел на меня никогда, и опять я подумал: «Нет, сплю, откуда петуху так смотреть?» Побуждаемый скорей всего этой тревогой, я сполз с тюфяка и босой ногой начал шарить на полу ботинок, все еще глядя в удивительные, я бы сказал, изливающие повеление глаза петуха. Заноза впилась под ноготь большого пальца. Я тотчас же выдернул ее — и рассмеялся. «Чего вы?»— спросил доктор. «Да мне показалось, что сплю»,— ответил я. «Сквозь рассвет вставая, всегда кажется, что спишь,— ответил весело доктор, шарясь в узелке, где мы хранили пищу. — Вам йод?»—«Прошло»,— ответил я, поспешно натягивая ботинки, вместе с тем искоса взглядывая на петуха. Из-под синего гребня петух наблюдал за доктором. Скоро доктор достал ножик, из тех, которые именуют «сапожными»,— откуда он у него? — попробовал пальцем лезвие, и, честное слово, мне показалось, что петух ухмыляется. «Сами будете резать?»—«Другие»,— ответил доктор уклончиво. И тогда я, стараясь поймать глаза петуха, сказал: «Разрешите мне прирезать!» И опять доктор с несвойственной ему уклончивостью

ответил: «А там видно будет». — «Да вы не опыт ли какой намерены производить?» — «А там видно будет», — опять выпустил доктор. Петух теперь уже сидел на руке доктора, глядя куда-то поверх моей головы и будто говоря своим поразительно умным взором: «Нет ли у тебя, доктор, резака крепче его?» Подстрекаемый этим особенным презрением, я быстро накинул платье. Доктор, нетерпеливо постукивая каблуком, ждал меня. Петух сидел бездвижно, и если б не его глаза, то вы б подумали, что на руке доктора сидит чучело. Торопливо покинув комнату, мы еще более торопливо, почти бегом, устремились коридором. Молча по лестнице, глядя на выходную дверь, с мертвенно-вялым лицом спускался Жаворонков. За ним плелись старушонки, жена, дружно, с внезапным натиском скатились тощие дети. Затем пробежал, опережая нас, Тереша Трошин с кучей гостей с заспанными лицами и картами в руках. От них несло вином, они что-то еще жевали, — и все они жадно смотрели пристально на дверь, словно желая ее опорожнить, как незадолго перед тем опорожнивали бутылки! Показался Насель в гладко выутюженных брюках, окруженный уймой родственников. Ларвин со свертком масла, похожим на полено. Валерьян Львович с велосипедом и обнаженной финкой, с финкой тоже и с тортом в руке брат его Осип, мамаша их Степанида Константиновна с запахом йодоформа, с баночками медикаментов; Людмила, подмигивающая и подсматривающая — с губами сводницы и отъявленной стервы, из карманов ее сыпался овес; Сусанна, холодная, безвольная, в туфлях на босу ногу и пальто внакидку; старик Мурфин, багровый и задыхающийся; нырнул и скрылся Савелий Львович, и, напоследок, я увидел Мазурского и за ним четырех стройных молодцев в спортивных костюмах и с кулаками величиной с хороший табурет ⟨...⟩

...Вокруг каждого теснилось — на три, на четыре стороны — много чужих, но все-таки чем-то знакомых людей, должно быть, из тех, которые приходили сюда ночью с узлами, которые вкатывались на грузовиках ночью, — неискоренимые! — грузили в подвалы, на чердак, приводили пьяных извозчиков и жадных мужиков с тощими глазами. Светало ⟨...⟩ Людской поток широко лился на двор, а коридор все еще был полон. Розовато-голубо, с каким-то фарфоровым блеском, преувели-

ченно настойчиво превознося свежий воздух, показывала двор и булыжник — распахнутая дверь. Вдруг мы остановились. Трубное урчание пронеслось по толпе. В голубом четырехугольнике показался доктор Андрейшин. «Пожалуйте!» — воскликнул он отменно протяжно. Когда он ускользнул от меня? ⟨...⟩ И опять я подумал: «Да не во сне ли это все я вижу?» И хотя у меня имелись спички, но я попросил их у соседа. Тот сунул мне их, не глядя на меня, а рассматривая розовато-голубой четырехугольник, где спиной к булыжникам, тряся петуха возле плеча, стоял доктор Андрейшин. Я закурил и нарочно держал спичку до тех пор, пока она мне не обожгла палец. Отвратительный табак и волдырь совершенно разуверили меня, исчезла мысль о сне ⟨...⟩ «Пожалуйте!» — еще раз прокричал протяжно доктор и скрылся. Толпа хлынула, увлекая меня с собой ⟨...⟩ Широкий двор, подчищенный, разряженный крупной осенней росой, но в то же время чем-то бесстыжий и наглый, мгновенно сплошь наполнился толпой. Особенно густо набилось вокруг доктора. «Егор Егорыч, да вы поближе!» — крикнул он мне. Я протискался. Доктор поднял нож, — страстное любопытство отразилось у всех на лицах, — петух наклонил голову, и я утверждаю, что он, поморщившись, чрезвычайно неохотно закрыл глаза. Доктор взмахнул ножом. Вздох, тихий, выстраданный и какой-то вывихнутый, проплыл по толпе. Но доктор — признаюсь, я плохо разглядел, — промахнувшись, что ли, полоснул петуха меж ног.

Петух взмахнул крылом, бессовестно и дерзко топнул ногами, повел плечом, фыркнул, — уверяю вас, — фыркнул. Два белых жгутика — половинки распоротого платка — упали на землю. Петух вскарабкался на плечо доктора, еще раз фыркнул — и через головы толпы перелетел к распахнутым воротам. Толпа молча хлынула к воротам, нога в ногу, — к петуху. Петух — шаг вперед. Толпа споткнулась. Петух присел. Выпрямился и чинно зашагал переулком. «Лови!» — крикнул чей-то чищеный, трубный голос. Я кинулся. Я услыхал за собой мягкий топот многих ног. Я, не оборачиваясь, бежал. Помню, мне страстно хотелось поймать петуха. Но уже населевские родственники, стараясь пересечь путь петуху, далеко забежали вперед. Пускай его бежит, — думал я, однако опережая всех и уже протянув руку, дабы схватить его за огненный хвост. Петух чуть-

чуть приостановился и выкатил на меня такой умный человеческий взгляд, что руки мои опустились, я остановился — и толпа далеко оставила меня за собой. Замедлив шаги,— тем более что я сильно запыхался,— я имел теперь возможность оглядеться. Мы уже находились на Остоженке. Брыкаясь и украшая бег бранью, выскочили Трошины, на ходу засовывая карты в карман. Петух несся далеко впереди, потрясая огненным хвостом и широко разбрасывая ноги. Трошины раскраснелись, капли пота катились с висков. «Лови! — легонько оттолкнув меня, проскочили Трошины, добавив: — Рутина! Отстаешь, а в деревне что скажут?» Дурацкий этот упрек подействовал на меня странно подкрепляюще. Я, уже не чувствуя усталости, опять кинулся, вначале твердя про себя, что ко всякому делу самое важное — привыкнуть, остальное зависит от таланта, затем более важное — проспаться. Да и что размышлять? Помочь размышления не помогут, а ноги спутают. Меня кое-где обгоняли, то я кое-кого обгонял ⟨...⟩ Тут опередил всех возле храма Христа Спасителя Жаворонков, в руках его я увидел перочинный ножик. «Этот прирежет, поймает»,— подумал я, но — чудное дело! — и Жаворонков к серому петуху не ближе, чем остальные. Петух! Допустить бы ему нас еще шага на три — и готово, а куда там, [не подпускает] и на пятнадцать, он прибавлял такого шагу, так махал искрами своего хвоста, что самый застарелый пот вылазил у нас с самого нутра и струился непрестанно от ушей до пяток ⟨...⟩

Уже по городу двинулись трамваи, я думаю, было начало пятого; я не могу восстановить точно, потому что часы Пречистенской площади завешены были почему-то номером «Известий»; уже последние грузовики вывозили из-за дощатой ограды вокруг храма Христа Спасителя «облагороженные» детали древнерусского стиля; уже на классических формах купола попригнездились рязанские и пензенские мужики, сортируя отбросы; уже из окон трамваев раздавались в наш адрес до конца изнеможенные возгласы: «Я понимаю, мертвеца пропустить, автомобиль, но надоели нам пробеги!» В трамвае, наверное, до того их давили, что петух,— к слову сказать, покрасивевший очень от бега,— не пробуждал ни негодования, ни даже внимания, разве что слаб был выбор ругани, предназначенной для

птиц. Подумают, бежали мы сломя голову! Бежали мы, я б сказал, деловым бегом, который как будто бы и бег, а поприглядеться — и не бег. Да мало ли к чему надо поприглядеться, мало ли где попригнездиться и мало ли кого поприголубить! ⟨...⟩

...Москва! Иной уже нет, иная есть, иная будет. Москва! Видеть ее, поздороваться, пожать ей руку, прежде чем ее расхлябанность и рыхлость, ее пыльность улиц зальется асфальтом,— уже поздно. Вот Егор Егорович выбегает на площадь, где был Охотный ряд, еще он помнит и церковь Парасковьи Пятницы с ее удивительно подобранными колоколами, ему б полюбоваться дольше, но он уже ⟨...⟩ выскочил, вслед за серым петухом, на Театральную площадь, к Дому союзов, где в зале с колоннами, похожими на стеариновые свечи, а люстрами — на догорающий бенгальский огонь, уже заседает очередной съезд, уже стоит перед микрофоном докладчик, за его спиной диаграммы, выше портрет вождя. Делегаты записывают, а доклад идет или о стачке где-нибудь в Силезии, об эксплуатации цветного труда на Гвинее, или о постройке электростанции на Вахше, у сердца Памира, там, где за две сотни километров за горами стоит, прислушиваясь к шелесту красных знамен, Индия. Вы помните этот год, когда Москва внезапно покрылась пленкой лесов, как бы желтоватым вуалем; когда ринулись ночами к этому вуалю телеги, вагоны и грузовики с кирпичом, цементом, деревом; какие картинные возчики в оранжевых балахонах от кирпича сидели на возах; как в закоулки вылезли рельсы, голубая сварка визжала над ними!.. Пусть через столетия покажутся наивными (так же, как и эти строфы) все эти машины, черпающие и перевозящие землю; эти заводы, обрушивающие на нас металл, выжимающие из человека отвратительное покровительство прошлого; эти самолеты, это оружие, эти танки и эта конница, пусть; но никогда человечество не увидит такого умения и жажды напрячь свои силы, таких трогательных истоков героизма!

Петух свернул на Тверскую!

Петух повернул на Тверскую!!

Тверскую!!! ⟨...⟩

Прекрасно, мы еще лучше изловим тебя на Тверской. Прекрати широко шагать! Уткнись в здание почтамта, его силуэт вырезан прежде, чем революция решила дописывать до конца далекий образ пятилетки. ⟨...⟩

Однако петух 〈...〉 переметнулся через голову и забежал в Камергерский, где, остановившись перед Художественным театром, крикнул: «ку-ка-реку!» Но они еще спят, эти великие актеры: Станиславский, Качалов, Москвин, Хмелев, Баталов, Ливанов и другие, другие, иначе б они непременно вышли, непременно полюбовались бы этой странной толпой, этим удивительным петухом с человечьим взглядом, не только б сумели отобрать для себя что-нибудь поучительное и полезное, но и в этом петушином взгляде они б обнаружили нечто поприбодряющее; нечто от уловок зверя и лукавства человека, словом, какое-нибудь новое доказательство, новую возможность нафаршировать вдоволь свою систему. Пустые отговорки! Петух бежит дальше. Вот выемка: багровое здание Моссовета, статуя Свободы. Отсюда начинают клики манифестанты, здесь пробуют голоса, здесь уютно и тепло крикнуть — да здравствует! — чтобы затем пронестись в каком-то ошеломляющем урагане по Красной площади. 〈...〉 Люблю я Страстную, памятник поэту, которого наивный скульптор превратил в великана,— люблю, пройдя, взглянуть на решетку Музея Революции, а затем выйти на кольцо «Б» 〈...〉

Петух несется не удержимо. Отсюда, от кольца «Б», без отговорок разворачивается во все стороны заводская, лихая, фабричная Москва! Электричество, автомобили, аэропланы, текстиль, сталь, книги, недоговоренность проектов, лабораторий: от молний ВЭТа до крошечных колбочек любителя; ампирные особняки; деревянные домишки с палисадниками... Но ты, чье стальное сердце бьется неустанно, ты куда нас ведешь, петух? А он крутит, сворачивает, возвращается, кидается вперед — переулками, бульварами, улицами; вот мы промчались мимо Сухаревой башни, знакомые ринулись с рынка. «Куда, куда?» — кричат они нам, изумленно смолкая, потому что мы пробегаем мимо. «Нас не проведешь,— думают они,— тут найдется пожива!» И они устремляются за нами. Мы, не останавливаясь, обгоняем грузовики, трамваи, мимо везут кирпич, строят дома, мимо нас мелькают вокзалы, катят поезда, груженные шпалами, чугуном, лесом, гвоздями, везут хлеб, сено, мясо, тысячи свистков, тысячи рельс, дорог, мостов, вокруг все строится, льется бетон, сталь, ползет нескончаемо текстиль... Я призадумался. Куда он бежит? Уже

перед нами Воробьевы горы, уже Нескучный сад прилег изворотливыми тенями. Здесь-то, среди березок, мы его и поймаем, петушка! Уже за полдень. Река согрета купающимися: сталкиваются лодки, гудит глиссер, мелькают пароходики,— и чертовски хочется жрать, тем более что и река похожа на нож, коим перво-наперво режут хлеб. Окаянный петух мчится и мчится. Ежели он не остановится?.. По шоссе едут в город колхозники; уже вплетены мы в бесчисленные ленты огородов; уже наливаются сивые кочаны капусты 〈...〉

Ага? Устал! Зевает. Нюхает по ветру? Петух остановился на Поклонной горе, изнеможенный и клубящийся паром. Близ него куча червяков и копает картофель — деревянной лопатой — трухлявая старушонка с крючковатым носом и желтыми височками. От усталости, что ли, но меня больше, чем судьба петуха, занимает: «Почему старуха роет деревянной лопатой и почему даже и не взглянет на эту прибежавшую сюда громадную толпу?» А петух? У, противно и помыслить, что кто-то сейчас чикнет ножом по тоненькому горлышку — и судорожно ударят в землю серые крылья. Я совсем повернулся к старухе. «Гума-а-нисты...»— несся, откуда-то рядом, вежливейший шепот Савелия Львовича. «Да ну вас,— я ненавижу петуха, истинно! — режьте все же его сами!» Выбраться лучше на простор, погулять полями,— ради того я тронулся из толпы. Меня остановили, кто-то ласкающе повернул мою голову от старухи к петуху. Попризатихло. До самой смерти своей петух будет теперь окружен широким и плотным кольцом, похожим на хоровод. Мое плечо давят вниз. Ага! Мы приседаем на корточки, дабы петух не проскользнул между ног, а перемахнуть через нас у него нету сил,— это ясней ясного! — он распустил врознь серые свои перья, его клюв раскрыт, он тяжело дышит, впрочем, глаза его попрежнему умны и, пожалуй, еще умней. Я креплюсь, но все шире во мне распластывается неодолимое желание: пора отполоснуть эту маленькую голову, туда ей и дорога! И мы, словно вприсядку, полуползем. Круг уменьшается — и вот, когда кому-то лечь и сделать пилящее движение рукой, вдруг этот странный многолюдный хоровод разомкнул руки, низко склонил выи, лбами коснулся земли, изрыгая препротивную почтительность. «И если мне тоже быть почтительным,— с озлоблением думаю я,— то, перед тем как лишиться остатков само-

уважения, не надо ль взглянуть: кого ради я лишаюсь?» Я и поднял свою уже почти склоненную голову 〈...〉

Петух стоит бодрый, веселый, выпрямившись, задрав голову. Одно крыло он заложил за спину, другое за серый борт сюртука, в разрезе коего виден крап белого жилета. Его гребень передвинут, кренится набок и принял явственные очертания черной треуголки, то есть в ее современном очертании.

— Егор Егорыч,— услышал я,— хватит спать. Ибо долгие сны похожи на то изречение бедняка, к которому ночью залезли воры: «Чего вы, идиоты, ищете здесь ночью, когда и днем здесь ничего найти невозможно». Кроме того, надо варить петуха.

— Петуха,— вскричал я, вскакивая и протирая глаза. — Чрезвычайно странный сон! А кто прирезал серого петуха?

Доктор сказал, что, к великому его сожалению, он не поинтересовался узнать, какого цвета был петух и кто его прирезал, ибо петуха на рынке он купил и ощипанного и прирезанного.

ОРБИТНАЯ СХЕМА СЮЖЕТА

Орбитная схема сюжета. Это — гипотеза, как и все относящееся к теории прозы. Закон Боде: орбиты планет отстоят друг от друга в прогрессии умножения на два: 2, 4, 8 и т. д. — Если взять основного героя, как ядро, вокруг которого вращаются орбиты остальных героев, то встречи их будут — во временном отношении, исчисляемом у нас главами,— 2, 4, 8, 16; чем реже встречается герой со своим антиподом, чем реже упоминаются его замыслы, тем далее отступает он — в длину своей орбиты. Точка столкновения лучей воздействия, конечно, воображаемая, но не более воображаемая, чем и в астрономии, и куда более точная, чем теория прозы.

«Дон-Кихот» и орбита вокруг него. На него нападают, его избивают, но все это тщетно,— в конце концов, — он прав — хотя бы философски, — и «орбитная схема» притяжения и отталкивания здесь уместна: Дон-Кихот притягивает к себе, отталкивает от себя и является центральным ядром, вокруг которого крутятся астероиды.

Так же, как математика — мать наук и число организует понимание, не нужно перегружать произведение героями. Толпа — люди — это уже единицы, описываешь их, как одного. ⟨...⟩

И, само собой разумеется, так же возникают (подготовляясь), развиваются, поднимаются на какую-то высоту, разрешаются действием события в жизни одного-двух-трех человек, семьи, организации, предприятия, народа и страны,— совокупности каких-то народов.

— Подумайте о конце романа или повести, дорогой. Решите прежде всего, чем кончают ваши герои: женитьбой (они ведь молоды?), или расставанием, которое долгие годы спустя будет вызывать сожаление, или (если вам их девать некуда) — смертью? Когда вы решите конец, вам ясно и легко будет приступить к началу, то есть к тому моменту, когда герои знакомятся, затем начинают испытывать друг к другу какие-либо чувства, **которые** и воздвигают препятствия. Еще дальше вы будете развертывать борьбу их (а равно и их друзей) за преодоление препятствий, пока наконец не приведете к задуманному вами концу...

— Но это формализм?

— Почему?

— Сначала придумывать конец, а там обратиться к началу.

— А в жизни разве не так? Странный конец чьей-либо судьбы разве не заставляет вас просмотреть **всю** жизнь этого человека? Затем конец, который я вам предлагаю, разве не исчерпывает **все концы** любовных или других предприятий, которые задумали вы? Женитьба, расставание, смерть, — что есть еще? Это и есть жизнь. Нужно выбрать конец наиболее желанный для вас, — и тогда вы выбираете жизнь, раз уже вам так не терпится поставить на своем произведении штемпель жизни.

Монтаж наплывов. Отдельные фазы сюжета передаются рядом наплывов. Например, четырехлетнее пребывание юноши в университете передается посредством десяти—двенадцати кадров, показывающих юношу в различных классных комнатах, на школьном дворе, на спор-

тивной площадке. Или — карьера молодой оперной певицы, едущей в Европу: океанский пароход в момент выхода из гавани, уроки у старого певца, дебют в «Кармен», овации толпы, газеты, возвращение на пароходе.

1. **Характер героя**. Может быть построен на мелочи, определяющей основную его черту, благодаря которой он втянется в действие, и оно органически станет ему близким. Мелочь может быть посторонней, не связанной с действием. Или же характер прямо выявляется в действии, хотя смысл действия, которое развертывается, еще не известен ни герою, ни его противнику. (Решимость Гамлета: он приходит смотреть на тень отца; другой бы не пришел, не поверил.) Этой «мелочью» подчеркивается неизбежность вступления героя в борьбу, в целую систему догадок, предположений, намеков, предчувствий.

2. **Факт преступления,** которое требует возмездия. Герой еще и не знает, что он будет участвовать в возмездии. (Гамлет сначала узнает о преступлении и затем о преступнике. Таким же образом построены и все детективные истории.) Слежка. Проверка догадок: требуется ли возмездие и почему именно я, герой, должен служить орудием возмездия? Узнавание характера преступника...

УЗНАВАНИЕ

— Я подумал, что в опере и трагедии самый главный момент: узнавание. Герой узнает, что он обманут, ему изменили, предали и т. д. Иногда это узнавание усиливается тем, что герой не ожидает, что узнает горестную весть, а ждет совсем другого, то есть вместо радости узнает горе и т. д., другими словами, чем могущественней и неожиданней узнавание, тем сильнее оно действует на читателя или зрителя.

— Вы хотите сказать, что в рассказе или повести узнавание не нужно?

— Ну, что вы! Новелла вся построена на этом: герой узнает и затем ищет выхода из этого узнавания. Подозревают доброе, а узнают злое и пытаются освободиться от него.

Я стал писать вовсе не теоретические размышления об **«узнавании»**, а к тому, что думал, как применить этот метод — если можно его так назвать — к своим очеркам об Индии и Японии?

Ну, что я узнаю в Индии, это вполне понятно: неясные свои мечты я вижу воочию — храм, поэты, магараджная, ночная Индия, корреспонденты наши, то есть писатели, президент, министр, которого мы не застаем, слуга в гостинице, моя жизнь во дворце бывшего магараджи «Трованхор-ход», наше посольство и т. д.

А что в Японии?

По-видимому, мне поможет **искусство**, и главным образом живопись и поэзия. Я узнаю [многое] **через** них. Значит, нужно сказать о живописной стороне Японии. Это легко и приятно. Я ведь хотел быть живописцем. Не описать ли мне зиму 1920, когда я был живописцем и торговал своими картинами? Тогда я, насколько это возможно в усл[овиях] Омска, изучал японскую живопись. Вот и об этом.

Фантомы профессиональные, служебные, узкие, вызванные узким мещанским воспитанием.

Какая же разница между «фантомами» и «идеалами»? Идеалы — абстрактнее, выше, это по меньшей мере мечта «республиканского» значения. Фантомы — меньше, ниже, обыденней. Это — почти сама обыденность, только чуть-чуть приподнятая. Фантомы создаются и разрушаются, но обладатель фантомов (у Марка Твена) не унывает и продолжает в них верить. Истории, рассказываемые Твеном, — истории разрушения фантомов, нахождение новых: сплетение старых фантомов с новыми.

Контрасты, противопоставления (в сюжете), противоположения, антитезы (в стиле) — между явлениями жизни и понятиями. «Кто был ничем, тот станет всем». Противопоставление жизни и смерти: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть». Противопоставление явлений природы: «Белый снег, черная земля». Показательны конечные признаки, указывающие на размер пространства: «лбом в полюс упершись, а пятками в Кавказ». Отдельные слова — «либо — пан, либо пропал»; либо более широкие образы: бури и тишины в стихотворении «Белеет парус», или «Медный

всадник» — крупный и мелкий человек. Буря и тишина, противоречия социальной жизни, исторического процесса — «Отцы и дети», «Война и мир», «Волки и овцы», «Преступление и наказание».

Мелодрама как наиболее ярко выраженный способ сценического воздействия строится на противопоставлениях. Порок и добродетель. Добродетельный, в силу сложившихся обстоятельств, невольно должен быть порочным. Нетрудно, например, даже и Фуше превратить в мелодраматического героя, если всем его подлым поступкам дать мелодраматическую мотивировку, оправдание! Далее, возможно, что и эгоист, стремясь к подлым поступкам, силою обстоятельств должен будет делать добрые поступки. Например, в интересах государства нужно было бы развивать чрезвычайно острую талантливую поэзию, представитель которой находился бы до того в очень тяжелом материальном и нравственном состоянии. 〈...〉

Контраст — резкое различие; соседство противоположных явлений (например, роскоши и нищеты, ума и тупости), соотношение двух, по-видимому, противоположных образований, — спор — борение — противообразование. «Всякий порыв чувства предполагает переход из одного состояния в другое. При некоторых ощущениях, например при изумлении, перемена состояния составляет всю суть дела. Перемена обуславливает само чувство. Другие душевные движения того же вида будут — чувство свободы, которое предполагает стесненность, чувство власти, силы, которое сознается лишь по сравнению с другим состоянием — бессилия и слабости». Точно то же происходит в области знания. Свет мы знаем благодаря переходу из мрака; понятие **высокий** является следствием сравнения с **низким,** твердый — по сравнению с мягким. Слово «отец» не существовало бы без слова «сын». Короче, знание не может касаться одного предмета: необходимы, по крайней мере, два. Иногда бывает больше двух. 〈...〉

Контраст самому себе.

Читал «Чайку».

В пьесе нет прямых, свойственных обычной драме контрастов.

Действующие лица не разделены на «добрых» и «злых», когда добрые творят хорошее и прогрессивное,

защищают это добро, а злые, притворяясь и лгя, делают зло.

В «Чайке» само действующее лицо создает себе контраст, и этот контраст любовь к ничтожному человеку разрушает его. ⟨...⟩

В «Гамлете», где Гамлет борется с созданным им контрастом мести (вместо любви) к матери и королю, все-таки контраст пришел со стороны (дух). Поэтому «Гамлет» более связан с внешним миром, чем герои «Чайки», которые, сами создав внутри себя контраст (без влияния внешнего мира), должны чувствовать себя очень одинокими.

Значит, реализм — связь героя с внешним миром. И чем теснее связь, тем вещь ваша реалистичней.

Чем более герой погружен в себя, чем больше контрастов он создает внутри себя, чем сильнее он охвачен этими контрастами, тем отдаленней он от мира, тем контрастней он ему, тем пессимистичней. И недаром — «Палата № 6» и «Черный монах».

В «Чайке» Чехов такой же реалист, как и Эдгар По, хотя вещей и «логически» правильных размышлений у того и другого — уйма.

Вещи у Чехова не контрастны миру.

Он не только описывает вещи, пруд, парк, осенний день, но и говорит — как они воздействуют на его героев.

Вещи у Чехова не декорации, не барахолка, а движение вещей, строящих нам героя, большей частью контрастного этому миру. ⟨...⟩

1958 г. Переделкино. 12 октября.

Что-то изменяется в психике, как результат воздействия происходящих событий.

Добавляется или исчезает.

Скажем, память.

Под влиянием времени, болезней, потрясений известно, что память может ослабеть.

Точно так же, под влиянием упражнений, память может если не увеличиться, то систематизироваться, пополняя сведения приобретенные.

По-видимому, то же самое происходит с добрыми или злыми поступками, т. е. понятие «привычки» можно распространить на многое.

Обстоятельства позволяют человеку быть «злым». Скажем, на войне.

Или — добрым? Тут уж не знаю где. В религии, да и то отчасти. Филантропические заведения? Я видел их в юности, в Екатеринбурге и Омске. Доброты я там встретил мало, даже любезности не нашел. Больница, пожалуй?

* * *

Разница между психиатрией и литературой та, что психиатрия, в сущности, безнадежна: она рисует такие изменения в психике и организме, которые ведут только к концу. Больной теряет один за другим присущие ему качества: память, настойчивость и понимание того, что происходит, он теряется в окружающих событиях и т. д.

Литература описывает рост психики, ее способность реагировать на свершающиеся вокруг события, не теряться в них, а принимать в них участие, стараться, в той или иной степени, руководить ими.

То есть в психиатрии: если человек учится, то он учением лишь расстраивает психику, разрушает свою волю и в конце концов гибнет.

В литературе человек после ученья становится ловчее, умнее, способен к тому, к чему он раньше и не подступился бы. Ученье, кстати сказать, вовсе не значит школа. Обыкновенная жизнь, обыкновенная работа тоже могут и всегда бывают школой. Сейчас, по свойству человека сваливать на одно учреждение все неполадки жизни, мы склонны требовать от школы все, что дает жизнь, вплоть до уменья работать у станка. В этом требовании есть своеобразное неверие в семью. Но, надо сказать, и семья наша подгуляла. «Все служат; семью ведет бабка, ну, а дети, известно, как относятся к бабкам!» — слышишь всюду, когда начинаешь говорить о неполадках в семье.

— А почему, собственно, вам понадобилось сравнивать психиатрию и литературу? Опять Достоевский? Не сравниваете же вы, скажем, зубные болезни с литературой? Болезни — одно. Литература — совсем другое, тем более сейчас, когда «развлекательность» в литературе рассматривается как преступление и на главный план выступает педагогика. Литература должна учить, а психиатрия лечить.

— Только для того, чтобы отметить особенности литературы. Избави меня бог проводить параллели! Психиатрия пессимистична. Я об этом говорил в самом начале своих рассуждений.

— Вот-вот!

— А человек в хорошей литературе, то есть даже и не в смысле ее таланта, а в смысле читаемости (что тоже не пустяк), должен меняться, и, быть может, даже коренным образом. Пытаться изменить себя, во всяком случае.

— В психиатрии он меняет себя в дурную, в литературе в хорошую сторону? Добро в жизни, что и говорить, штука похвальная. Но не кажется ли вам, что это та же болезнь, только с другим концом? При психической болезни человек делается эгоистом, эгоцентриком, а в литературе альтруистом, организатором добра. Там все — себе, здесь — все другим. Впрочем, извините. Как всякое сопоставление, и мое довольно искусственно.

— Тем более что не все характеры в литературе меняются к хорошему, а часто и наоборот. Однако спор этот бесполезен, тем более что сказано лишь для сравнения.

— Да и страница закончена. Другую писать нет сил. Автор в эти дни чувствует себя очень вялым. Он сидит тупо у стола, делает какие-то заметки и не может придумать: откуда ему почерпнуть энергию? То есть для письма. Вся другая энергия у него есть.

Пессимизм — когда человек не верит, что препятствия, даже очень легкие,— можно одолеть. Каждое препятствие кажется ему неодолимым, а вся жизнь оттого бессмысленной и мрачной. Никакой герой и никакой народ не может преодолеть своих несчастий, так как препятствия — это несчастья. Счастья вообще нет.

Оптимизм — когда человек верит, что **любое** препятствие преодолимо. Непреодолимых препятствий нет. «Если не одолею я, то другой-то, во всяком случае, одолеет». Герой и народ могут одолеть все препятствия, стоящие на их пути к счастью. Более того, если ты даже и не будешь преодолевать свои препятствия, они сами собой, в течении жизненном, отпадут: «болячка отпадаст». Если пессимист от несчастья опускает руки, то оптимист, наоборот, даже в несчастье находит что-то положительное — не для себя, разумеется, а для других.

Пессимистическое мировоззрение — отыскивает несчастья и любит идти к ним навстречу.

Оптимистическое — обращает на них внимание в крайнем случае.

Я — оптимист. Я даже не знаю, как правильно писать слово «пессимизм»: видите, все время исправляю его? Чем физически слабее делается человек, тем оптимистичней его мировоззрение. Когда я был абсолютно здоров, меня томила тоска. Видимо, природа ведет к тому, чтобы смерть казалась радостным явлением.

Если скептицизм разрушает веру, доказывая, что она опирается только на чувство, зачастую при полном отсутствии знаний, то вера, в свою очередь, нападает на скептицизм, доказывая, что его знания ничего не стоят, что они ничтожны, что это не знания, в сущности, а заблуждения. Скептицизму противопоставляются знания (так называемые научные термины), которые, с точки зрения веры, являются бесспорными, несокрушимыми, научно обоснованными. Вера разрушает скептицизм, угрожая человеку лишением чувств, наказанием за крушение веры: безверием, отсутствием или утерей нравственных норм, ростом преступности, наличием преступления в нем самом, словом — ужасами, опирающимися на чувства страха и беспомощности.

Вера применяет в борьбе со скептицизмом и сам скептицизм. Например, для того, чтобы доказать вздорность антирелигиозной науки, вера подходит к науке скептически.

Со своей стороны, наука, отрицая веру как таковую, говорит, что вера эта только явление психологии уходящего класса, оружие его самозащиты.

В «Кратком философском словаре» (1941) слово «вера» вообще отсутствует, как, например, отсутствуют слова: «безумство», «помешательство».

Я редко и мало думаю о вере. Религия, православная, конечно, мне с детства казалась отвратительной. Нравственные проблемы, мне казалось, должны были разрешаться разумом, не опирающимся на откровение. Поиски Льва Толстого я уважал,— как и всякие поиски истины,— но читать их не мог. Евангелие — красивая восточная легенда, и убирать из нее легенду нет смысла. Учение о Добре, не опирающееся на Евангелие, мог бы и выдумать сам Л. Толстой, это не трудно; добра всем хочется. Конечно, и на меня нападали минуты страха:

«а вдруг-де есть некая чудовищная сила, некий гигантский мотор, управляющий миром?» Но мне тотчас же в таком случае приходили на память муравьи. Я — бог по отношению к муравьиной куче. Так за каким же чертом я, бог, буду преследовать, сердиться на какого-то муравья, грозить ему сожжением, адом лишь за то, что он осмелился в меня не верить. И он прав, что не верит. Зачем же и какой смысл существовать такому огромному дураку? Ну, еще понятно, среди муравьев дураки. А среди богов?

Затем казалось ужасным, что я исчезну, и хотелось думать, что душа не исчезнет. Теперь, впрочем, эти мысли приходят очень редко, — думаю: «Ну, а для чего существовать душе? Мир тогда лишь интересен, когда он тесный и когда его можно облететь в полчаса, то что же делать дальше? Пребывать в дремоте? Пусть уж тело заснет — и навсегда». И вообще все это чепуха — бессмертие, даже продолжительность человеческой жизни до 150 лет. Чепуха эта доказывает[ся] тем, что множество людей,— прочно, волево,— прожили эту жизнь в ужасных страданиях лишь для того, чтобы вкусить будущее блаженство. Но, впрочем, я бы для таких людей, — незаметно от масс, чтобы не соблазнять, — устроил бы рай.

Но тогда, скажете вы, как же поступить со злодеями? Ведь есть же такие подлецы — убийцы, насильники, — которым и ада мало. Действительно, неудобно! И простить невозможно. Убийства, мучительства простить нельзя. Значит, ад? Что же, неплохо бы для этих подлецов немножку и аду... Ах, как плохо живем, как плохо!

20/VII-50 г. Препятствия. Тема — столкновение на одном препятствии, существенном, впрочем, лишь для главного лица. Для остальных это препятствие кажется или не важным, или ненужным, или бессмысленным. Оно, конечно, может быть и чрезвычайно важным для остальных, но вину за появление этого препятствия они никак не могут принять на себя, а сваливают на главного героя.

«Вина» главного героя, очень важная для углубления темы, может быть и не осознанной главным героем: то, что Гамлет взял на себя «вину» судьи и исполнителя, то есть то, что он выполнить не может и не должен, совер-

шенно не осознается им. Да и нужно ли для него это осознание?..

Ломоносов, например, человек религиозный. Но ради науки он идет против церкви, а значит, и бога. Он должен бы чувствовать вину и наказание (4-й акт) — болезни. И может даже размышлять об этом. Примерно:

— Я болен. Очень сильно. Непрекращающаяся боль. Доктора бессильны. Смерть? Попы говорят: наказание. За что? За мои опыты, «отвергающие бога». Значит, я несу наказание? Но так ли это? И так ли немилостив бог... если он существует? Потому что я не могу допустить существование такого жестокого бога. Наука, безусловно, помогает народу, просвещает его, и он станет другим, счастливым. Если оставить теперешнее состояние наук, они делают счастливыми **кучку** людей. Значит, бог за счастье этих кукол? Зачем он нужен такой? Наказывает меня? Пытает? Пусть пытает самыми жестокими пытками, чтоб доказать, что **он** существует. Не докажет!.. Пытки никогда не могут быть доказательством правды. Добро подтверждает правду. Пытки — отвергают Его. И чем сильнее пытки, тем слабже доказательство **Его** существования.

Смерть — это мой опыт. Если он меня убьет, он докажет свою ложь, свое **несуществование.**

ЛОМОНОСОВ И РИХМАН

Рихман. А бог? Вы верите в бога?

Ломоносов. Верю.

Рихман. Его служители, епископы, воплощают его волю?

Ломоносов. Воплощают.

Рихман. Однако они говорят, что нашимн опытами мы отвергаем существование бога. Если служители бога, воплощая его волю, требуют от вас прекращения опытов...

Ломоносов. Я их не послушаюсь...

Рихман. Значит, вы не послушаетесь и самого бога?

Ломоносов. Если он будет мешать моим опытам? Да! А вы?

Рихман. Я?.. *(Помолчав.)* Мне страшно, но я думаю, что вы правы...

Ломоносов. Почему противопоставляется наука религии? Самим фактом своего существования. Мы, ученые, утверждаем — знание объясняет мир и его понимание. Религия утверждает — никакого знания не нужно, чтобы понять мир. Его понимает идиот, и часто лучше, чем ученый профессор. Нужно верить в бога и иметь страх. Страх, непрестанный страх перед невидимым и таинственным, и вера в торжество этого страха — вот что, по их мнению, объясняет мир. А мир утверждает — человек должен быть бесстрашным. Никакого страха!

Рихман. И никакого бога? *(Ломоносов молчит.)* А бог? Вы верите в бога, Михайло Васильич?

Неужели же люди никогда не то чтобы хорошо, но хоть бы сносно жить не будут? А с другой стороны — мы живем и жили плохо, и почему все в 2055 году должны жить хорошо? На каком основании вы получаете рай, а мы чистим и перестраиваем ад, проводим в нем электрическое освещение, выкидываем камеры пыток, застенки, мучительства и издевательства друг над другом. Ведь вам будет стыдно? А ведь не для стыда же вашего мы старались и мучились? Ах, какая чепуха, бессмыслица и грубость, грубость!..

[ПСИХОЛОГИЯ ГЕРОЕВ]

— Религия,— говорит кто-то в «Кремле»,— прельщает также и тем, что позволяет каждому рассказывать все свои чувства. О иных твоих чувствах (любовь или ненависть) не каждому признаешься, а религия позволяет почти публично наслаждаться этим чувством, испытывать даже гордость: вот, дескать, как я люблю! Кроме того, большинство чувств считаются индивидуальными: тогда как религиозное чувство или любовь к отечеству — получаются вполне почтенными, и о них не только не зазорно, но даже весьма желательно говорить. Затем, раз религия — чувство без границ, то и выражение его может быть безграничным. Здесь вполне допустимы галлюцинации, бред, видения, голоса, стигматы и вообще самые фантастические явления. С этой точки зрения религия и прельстительна для художников. ⟨...⟩

Хлеба, через землю, которая не родит и которую надо снабжать удобрениями, водой или просто добыть земли и удержать за собой: урожай — снять его, обмолотить, помолоть и удержать у себя, как трудно, вообще, удержать деньги; неурожай — дожди, ветра, заморозки, засухи. — Недостаток физической силы, скота, машин, частей к машинам, масла, бензина, ремонтных рабочих и людей, обслуживающих машины; у людей и машин — свои препятствия, мешающие им наладить хорошую работу.

Служащие — оспаривающие друг у друга хорошего клиента и тем добивающиеся отличного отзыва о своей работе. — Собирание клиентов, как и у нас: собирание читателей или благожелательные мнения редакторов.

Суеверия и обычаи как препятствия к нормальному развитию жизни; вера во что-то мистическое. («А почему там именно построили Баальбек?») Общественная мораль — тоже своего рода суеверие, и когда человек рассматривает ее как препятствие — это ли не борьба против сглаза?

Создание препятствий: воспитание, в результате которого у воспитуемого создаются предрассудки. Позже, когда понадобилось, воспитуемому хочется отбросить предрассудки, он пытается это сделать, но предрассудки создали такие препятствия, которых герой победить не может. Истина простая, а искусство может создать на этой простой почве великий шедевр (Бальзак 〈...〉)

Препятствия возникают вследствие стремления героя к чему-либо или для защиты того, чем он обладает. Может то и другое слиться: например, человек стремится выявить свой талант поэта, а выявив его, стремится защитить. Отелло защищает честь мужа, Гамлет — честь престола. Лир — честь доброты и т. д. Защита, нападение и т. д. и есть стремление побороть препятствия.

— Рабы! Все рабы собственности, религии, семейных и государственно-нац[иональных] групп. Вы себе кажетесь ужасно свободными, а между тем вы только на поводу. Правда, вы стыдитесь или, вернее сказать, стесняетесь,— и вы прикрываете собственность или религию различными ризами, чтобы показать, что вы им не подчиняетесь, а свободны. Собственность вы прикрываете «привычкой», «родным углом», пенатами и т. д., а

религию — «бесами», «ангелами» или «нравственными догмами», которые вас ведут. Вы боитесь быть «обособленными», как говорил Достоевский, который, несмотря на свой гений, сам невероятно боялся этого «обособления» — и правильно, так как ваша обособленность толкает вас только ко злу, к преступлению, к издевательству над другими. Подчиниться приятно? А так, само по себе, какой же смысл делать добро? Добро для себя: без догм?

ПРЕПЯТСТВИЯ

Не нужно думать, что препятствия существуют только **великого размера.**

Есть препятствия, которые называются «бытовыми», а роли (в театре), трактующие темы таких **мелких** препятствий, называются «характерными».

У Островского, не помню в какой пьесе, есть девушка, монолог которой целиком посвящен тому, что она любуется собой, своим платьем, своими танцами на будущем балу. Это — мечты о преодолении мелких препятствий. Отсюда не следует, что **мелкие препятствия** не причиняют страданий ни тому, кто их преодолевает и хочет преодолеть, ни окружающим его. Тирания человека, преодолевающего мелкие препятствия, не менее ужасна, чем тирания какого-нибудь азиатского деспота.

Характер может выковываться и на мелочах.

Разница между великим и малым человеком заключается в том, что великий человек, выковав свой характер на мелочах, идет дальше, а мелкий — остается при все тех же мелочах.

Мелочи, быт — позволяют очень разнообразить характер, быть может даже больше, чем великие препятствия. Дело в том, что **великие чувства** (честолюбие, слава, долг и т. д.) вплетаются, хотя и в искривленном виде, в быт и мелочи, — а быт и мелочи **не** могут вплетаться в препятствия великого размера.

[ЕЩЕ О ПРЕПЯТСТВИЯХ]

Гордость и самолюбие — вот главное, что поддерживает человека в его самом низшем падении. Как ни ничтожен и жалок человек, как ни упал он, как ни унижен,

однако и на дне этом он находит в себе крупинки гордости и самолюбия, которые рождают и несут надежду, позволяют выдерживать самые ужасные и унизительные страдания. Изобретение Фенимора Купера тем велико, что он в индейцах — существах самых низших и жалких — нашел эту гордость. И действительно, что удивительного в гордости царя или какого-нибудь герцога? А вот гордость и самолюбие служанки, уважение ее к своему достоинству действительно удивительны. Чувства эти не выдуманы; это доказуется хотя бы тем, что, поставленный обстоятельствами в невыносимые условия жизни, человек в них находит силу, поддержку, утешение, благодаря им преодолевает невозможные препятствия. ⟨...⟩

ПРОЛОГ К РОМАНУ «КРЕМЛЬ»

В том году, когда великий князь Иван Третий призвал на помощь русским мастерам итальянских, чтобы воздвигнуть несокрушимую крепость — московский Кремль, произошло две ссоры.

Великий князь Иван сильно обидел мелкого удельного князя Никиту Ильича Подзольского, что владел городом Подзол, лежащим неподалеку от верховьев Волги на рыбном и глубоком озере Подзольском и на лесной речке Подзолке. Москва долго обсуждала эту ссору: хитер и зол был князь Никита и хоть был беден, но большое зло мог причинить Москве. Но надеялись на ум великого князя Ивана. И случилось по надежде: великий князь Иван приласкал князя Никиту, и тот покинул Москву словно бы без злобы.

А вторая ссора прошла почти незамеченной. Русские мастера каменной кладки повздорили с итальянскими, и старший русский мастер был схвачен и верчен за чуб, и великий князь, узнав об этом, сказал, смеясь. «Добре. Так и надо. Не обижай гостей». А правда-то была на стороне русских: они говорили, что кремлевскую каменную стену надо начинать кладкой до того, как земля повреждена стужей: итальянцы же считали, что это не имеет значения.

Покидая Москву, князь Никита, словно бы невзначай, встретился со старшим русским мастером и, словно бы невзначай, сказал ему:

— Уж если трудно стоять тебе рядом с немцем, приходи ко мне на Подзол.

Мастер тряхнул длинными черными волосами, которые в драке, видно, не все выдрал итальянец, и ответил:

— Уж коли, княже, взялись за этот кремль, достроим. А про ласку твою княжескую не забуду.

И не забыл. Лет через пять, уже сильно поседелый, мастер Петр приехал в Подзол.

Князь Никита вывел мастера на холм, обнесенный дубовым тыном с башнями из несокрушимого кремлевского леса, и сказал:

— Хочу здесь выстроить каменный кремль лучше московского.

Мастер Петр поклонился князю и, похвалив желание его, осторожно добавил, что Москва богата, велика, что много у ней и камня, и рук мужицких, и коней, а здесь... и строитель Петр, сын Григорьев, развел руками, указывая на обширные и пустынные воды озера, медленно текущие в Волгу через речку Подзолку, и на дремучие леса, сквозь которые, казалось, не только что человеку, но и мысли пробиться трудно. «Бедна твоя окраина, княже; беден удел твой»,— говорили глаза мастера Петра.

И тогда князь Никита подал мастеру две монеты. Одна большая, почти в ладонь, а другая маленькая, с ноготь мизинца, и обе из чистого золота. Князь спросил:

— Которая будет тяжелее?

— Большая не в пример тяжелей,— ответил мастер Петр.

— А теперь вглядись и скажи мне: которая ценней — большая или малая?

Недолго держал в руках монеты мастер. Он ответил:

— Малая не в пример дороже. Необыкновенный искусник чеканил ее, княже.

И тогда князь Никита строго приказал:

— Вот так же вычеканить мне и мой кремль.

Мастер, тряхнув волосами, низко поклонился:

— Вычеканим, княже. Одно только скажу: у московского кремля герб есть святой: Георгий Победоносец, растоптавший змия и растерзавший ему поганые татарские уста. Надо и тебе, княже, о гербе думать. Легче нам будет строить под святым гербом.

И тогда сказал князь Никита:

— Видишь — леса? И видишь речку через те леса? И видишь — кто-то плывет через ту речку?

— Не то человек, не то медведь,— ответил, вглядываясь, мастер.

И тогда сказал князь Никита:

— Вот тебе и герб: медведь плывет через воды.

— Глупый зверь,— сказал мастер,— много ли, княже, будет от него помощи? Того лучше какого-нибудь святого поставить.

— Святыми мы сами встанем,— сказал князь, и мастер, дивясь смелости и гордости князя Никиты, только поклонился. Вот и выстроил князь Никита удивительный свой кремль.

На московское чудо любуются люди, а приедут в Подзол — того более поражены. Будто и невелика кремлевская стена, будто и не много палат закрыто ею кругом — всего шесть,— а как дивно прекрасна стена, какая она легкая, стройная, как необыкновенно прекрасны угловые башни-храмы, и какими цветками выглядывают из-за стены кремлевские палаты! Снаружи храмы и палаты белы, а внутри сверху донизу расписаны фресками и о том, как приятно жить человеку согласно законам божеским и человеческим, и о том, как наказуется житие в грехах, беспутство, законопротивность и срам. А сколько замысловатых лестниц внутри, переходов, коридоров и тайников. А как тепло в тех палатах, и как тихо, и как задумчиво смотришь оттуда на мир!

Митрополичий храм не уместился в кремлевских стенах. Собор и звонницы поставили возле главных ворот. Там, в соборной церкви, в белой серебряной раке, окруженной цепями лампад, почиют мощи святого и благоверного князя Никиты. Мягкий звон несется со звонниц утром и вечером, и особенно ласков он при закате, когда облака отзолачивают и похожи на резной иконостас, а на повороте реки, под золотым этим блеском, виден белый пароход, мимо красных бакенов огибающий небольшой островок, похожий на плывущего медведя.

Над главными воротами кремля, выкованными из толстого железа, находится медный герб города — медведь, плывущий через реку. Герб от времени сильно позеленел, края у него какие-то восковые, хрупкие. Фигуру медведя еле разглядишь.

Герб этот висит и поныне. Только в 1922 году, когда в Наркомпросе обсуждался вопрос о переходе республики на латинизированный алфавит, торопясь показать свою ученость, музейные работники, которые ведают кремлем, прибили над гербом медную пластинку с буквами «URSS». Точки стерлись, и получился «УРС»,— латинское обозначение медведя. Посетители, недоумевая, глядят на эту надпись, но причину появления ее спросить стесняются.

Кремль розовато-белый. Пронзительно-белы монастыри за городом, в одном из которых лежит прах преподобного строителя Петра, сына Григорьева, того, что вместе с итальянцами строил и московский Кремль и воздвиг подзольский. Монастыри эти по-разному повторяют кремлевское чудо. Они лежат среди огородов, гряд капусты сизой, темного картофеля и редкой моркови. Домики обывателей в городе бархатного серого цвета. Хоромы князей подзольских — голубые, под цвет неба, а казенные здания сизо-багровы. И над всем этим радужно сияет и поныне глубоководное и рыбное Подзольское озеро. Оно тоже повторяет кремль. ⟨...⟩

[СТИЛЬ]

«Мысль изреченная есть ложь», т. е. тогда, когда человек не способен выразить ее. И, кроме того, нужно, чтобы человек осознал, что он не смог ясно выразить своей мысли, что не всегда бывает: отказываться от своих слов не легко, не всякий приучен. Кроме того, неясность выражений происходит и оттого, что мысль стремится высказаться. Обдумывание мыслей — процесс сложный и невеселый, человек хочет поскорее от него избавиться. Правда, есть готовые штампы мыслей: если человек не способен выразить свою мысль, он может прибегнуть к штампу. Штампы ему подсовывают отовсюду, и отовсюду он получит одобрение, если прибегнет к ним. Это так приятно и выгодно.

— Значит, не всегда «мысль изреченная есть ложь»?

— То-то, что не всегда. Но часто. Так часто, что, пожалуй, и всегда. Человеку **выгоднее** говорить противоположное своим мыслям...

— Вы слишком хорошо думаете о человеке!

— «Слова — одно, а чувствования — другие». Это бывает часто,— и не только с другими, но и с самим собой. Говоришь: «Я чувствую себя хорошо», а на самом деле ничего хорошего нет, а даже и плохо себя чувствуешь, даже и отвратительно. То есть очень часты ошибки. Собственно, я развиваю мысль, которую высказал выше на этой же странице, я ее ввожу в слова, пытаясь выразить словами.

Стиль — это контрастовое строение фразы: не похожее на общепринятое. Пушкин контрастен потому, что не похож был на витиеватый стиль его времени: тогда когда он стал примером в грамматике и сам стал грамматикой, никто не замечает его стиля. То же самое с Толстым: его подражатели уничтожили его как стилиста. Но, к счастью, он настолько оригинален, что от его стиля кое-что осталось. Это о нем сказал Бальзак — «гений — это величайшая наблюдательность».

«...слушающий представит себе **будущий акт.** И в то же время этот будущий акт, при помощи формы настоящего времени, представлен говорящим — как **настоящий.** Сделано это для того, чтобы наслоить на обозначение будущего акта оттенок той **доподлинности,** несомненности, осязаемости, которая есть всегда у настоящего времени и которой, по существу дела, не может быть у будущего».

Таким образом, здесь категория настоящего времени не только не теряет и не видоизменяет как-либо своего значения, а, напротив, выступает в своем основном значении **особенно ярко, —** и яркость эта создается как раз **противоречием между ней** и реальными условиями речи, подобно тому, как смех на похоронах или плач на балу всегда будут восприняты резче, чем при других (обычных) обстоятельствах... (Сравните такие же явления в области словаря: обращение — «старик», «старуха» к молодым людям и даже детям; обращение «молодой человек», которое применяет в «Шинели» значительное лицо к Акакию Акакиевичу; обращение «дурочка» и «дурачок» в качестве ласки; применение крестьянских слов «мужик», «парень», «баба» к лицам иных классов и даже к иностранной аристократии и т. д.) (Пешковский, «Русский синтаксис в научном освещении», примеры на стр. 245 и дальше).

Строение фразы у Лескова — приближение к разговорной, но не разговорная речь: разговорную, этнографическую запись читать нельзя.

Во время нашей революции, благодаря смешению народов и классов, язык испортился. Его нужно привести в порядок. Вот почему так нужен новый (в прозе!) Пушкин. Однако литераторы привыкли создавать каждый свой стиль, не похожий на язык газет. И вот почему Пушкина нет.

В чем же заключается контрастовое строение фразы? Или, вернее сказать, строение периода? 1) Оно может быть в определенной постройке,— в своем порядке слов, несколько или не очень отличного от строения офиц[иальной] грамматики; 2) оно может быть в повторении **слов** (Тургенев, Толстой, Чехов) или, правильнее сказать, слова; 3) оно может быть в повторении мысли или столкновении мыслей и т. д. Ясность у стилиста не обязательна. Ведь мы передаем зачастую не совсем ясные впечатления; и чем их яснее передавать, тем ты будешь дидактичнее и лживее.

Так называемый реализм, то есть предметы и лица, точное описание их, равно как и точное описание впечатлений,— лишь краски, которые должны служить украшением при подаче чувств. Реализм появился вместе с фотографией. Это не случайно. Мы, современные реалисты, похожи на тех людей, которые завешивают стены своих комнат фотографиями друзей, знакомых и людей искусства или политики, думая, что этим они отображают свою жизнь или чувства. Но глаз привыкает, и стена опять превращается в стену. Однако в совр[еменной] литературе, по-видимому, нельзя обойтись без фотографий; ...но не потому ли так плохи пьесы и сценарии, что они не могут вставить в театральную фотографию и фотографию экрана свою фотографию [жизни]?

— Быть может, и **фраза должна строиться** на принципе «излома» поворота, противопоставления?

Это относится не столько к предложениям, описывающим душевное состояние героя, сколько к описанию внешности героя, обстановки, пейзажа.

Например, описание кабинета.

Коричневые книжные шкафы с широкими стеклами, коричневый, светлый, выстланный линолеумом пол, коричнево-красный потолок в клетку, с деревянными полосками, такой же, как и шкафы, стол письменный,

белые стены и дыхание Востока: бронзовые божки, японские гравюры, ламаистские иконы, индийские курильницы, нефрит, несколько безделушек, китайские вазы кляузанэ, портрет какого-то египетского сановника из яшмы.

Это поверхность, конечно. Противопоставление Востока и Запада.

Но это можно углубить, если подчеркнуть противопоставление отрицанием одной из противопоставляемых сторон.⟨...⟩

Внешнему описанию — «тронута морозом трава, голые кустарники, белые стволы берез» — может быть противопоставлено психологическое противопоставление: «Все это было мило, даже приветливо, трогательно, если б не нависало над всем этим постоянно грозное, серое, безотрадно унылое, дождливое небо. Ух, Расея!»

— Фраза в романе или повести не должна быть короткой. Это утомляет.

— Хорошо, когда длинная фраза сменяется короткой. Тогда образ будет подперт контрфорсом.

Но лучше всего, когда абзац будет наполнен фразами одна короче другой, завершаясь фразой из двух-трех слов.

Можно выделить эту фразу и в отдельную строку.

Не плохо начать абзац и с короткой фразы — если их много в абзаце — и затем постепенно удлинять их, а с середины — уменьшать, с тем чтобы абзац заканчивался опять короткой фразой.

Вообще-то говоря, удлиненная или укороченная фраза — не закон. Если этому строго подчиняться, может получиться утомительное однообразие.

Но думать об этом не мешает.

К тому же это поможет избежать многословия, которое — главный враг писателя.

СТРОЕНИЕ ФРАЗЫ

Утверждение в первой половине ее, отрицание или сомнение во второй.

То же самое с двумя фразами: когда одна противоположна другой — часто у Пушкина, описывая чей-либо характер, он, как автор, сомневается в целесообразности мыслей героя:

...блажен любовник скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,—
Красавице приятной, томной.
Блажен, хоть может быть она
Совсем другим развлечена...

В прямой речи фраза может ломаться не по смыслу, а грамматически: одна половина, предположим, в настоящем времени, другая — в прошлом и т. д. ...

Роман — написать — в черновике — без знаков препинания. Это позволит в дальнейшем при доработке и переписке набело более осмысленно смотреть на текст, принимая во внимание, что при чтении читатель мало обращает внимания на знаки препинания и подчиняется больше ритму (то есть повторению, периодам фраз и слов) фразы, чем ритму знаков препинания, как бы хорошо ни были они расставлены.

(Запись к роману «Поэт».)

ОБРАТИМОСТЬ ФРАЗЫ

1. Фраза обращается на себя. Пример: «Доктор улыбнулся доверчиво». Далее — развитие фразы и обращение ее на себя. «Все поняли, что доверчивость эта была притворной»; или: «Всем стало неловко, так как доверчивость эта была вызвана наглой ложью его собеседника»; или: «И это — было б всем очень удивительно и странно, если [б] они знали, что доктор и не был доктором, а доверчивость его доверчивостью»; или «Доверчивость была настолько могуча, что ей поверили, даже самые заядлые скептики, — и возненавидели за это доктора».

2. На этом законе строится парадокс.

«Махнуть рукой — жест обычный. Многие машут. Но никто не в состоянии по-настоящему махнуть, так как для этого надо вывихнуть руку, чтобы жест был правдивый».

«Счастье — когда не обращаешь внимания на несчастье других».

«Труд — уменье бездельничать».

«Молчание — самый страшный признак предстоящей говорливости».

Ирония

Надо — «высокомерный папа».

— эпитет оставлен, прилагательное прежнее, а существительное заменено — провинциальным вульгарным.

«высокомерный поп»

или

всесильный император —

«всесильный ямщик» — и т. д.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Теория прямой речи

Теория прямой речи — т. е. учение о том, как говорят между собой люди, — чрезвычайно важна для писателя, особенно драматурга.

Между тем этой теорией никто не занимался. Она существует как побочная часть во всех учебниках или трудах по русскому языку, но отдельно ее еще никто не выделял.

Необходимость выделения этого назрела.

Косвенная речь более легка для изучения, она более логична, если хотите. Она больше подчинена разуму.

Прямая речь трудна для изучения. Она эмоциональна. Она поэтична Она с большей легкостью принимает в себя поэтические украшения — тропы и метафоры.

Лирика — это, в сущности, зачастую прямая речь.

Лирика, драматургия, часто проза (сказ Лескова или проза Гоголя и Зощенко), письма... сказки... заклинания...

Недаром Тургенев, этот наиболее лирический прозаик, так любил прибегать к прямой речи в своих рассказах, которые у него часто кем-нибудь рассказываются. «Записки охотника» целиком построены от первого лица — прямой речью.

Косвенная речь заполонила литературу лишь в XIX веке благодаря, надо полагать, журналу и профессорской деятельности, где занятия со студентами требовали плавного и спокойного изложения. Не нужно ее хаять. Она помогала, выделяла прямую речь, хотя отчасти и ломала ее, стремясь свести ее к своему подобию.

Что и удалось. Прямая речь современных писателей очень часто смахивает на косвенную речь.

Каковы законы прямой речи?

Более свободная расстановка слов. В прямой речи фраза не застыла.

Высказывание чувств — может быть прямым. Например, вам глубоко противен кто-то, и вы говорите ему: «Я вас ненавижу». Но человек, по ряду причин, редко может доставить себе подобное удовольствие. Поэтому, чаще всего, человек ведет косвенные речи и, надо сказать, достиг в этом больших результатов. Графически речь можно было бы изобразить так:

Прямая

Косвенная

Диалог. Не вопросы и ответы, а разговор, рассуждения на определенную тему.

Речь. Побуждение собеседника произвести какое-нибудь действие — в форме приказания, просьбы или моления (Уходите! Уходили бы вы. Умоляю уйти. Сидите. Посидели бы вы с нами. Посидите, ради бога!). Или — для выражения или обнаружения желания говорящего (Выпить бы чего!).

Пишите:

«Григорьев был негодяй, висельник, нахал и алкоголик...»

Дальше описывайте, что он сделал в доказательство ваших слов:

«Он, на виду у всех, бил отца, его несколько раз ловили в кражах, он мог вам сказать в глаза, что вчера вы изнасиловали его, а заодно его бабушку, он пробуждался для того, чтобы напиться, и засыпал пьяным, так как трезвым он никогда не засыпал».

После этого вычеркните первую фразу.

То же самое в разговорной речи в драме.

Нельзя сказать:

— Дурак.

Лучше всего сказать:

— В этом городе вообше мало умных. Но даже и тут он отличается редким отсутствием мыслительных способностей.

Если эта фраза покажется вам длинной, напишите:

— Это был совершенно спелый глупец.

Но дурак и глупец — разные слова. Дурак — нахален, навязчив, настойчив, ничему не верит и все знает.

Глупец — наивен, всему верит и ничего не знает, нахальство ему кажется величайшим даром природы.

Фраза в русской драматургии никогда не строится прямо. Она, для лучшего восприятия, огораживается другими словами.

Например:

1. Петр: Куда идешь? (Задача фразы.)

Выполнение:

2. (К приятелю) — Петр: Куда ты идешь-то, голова? Штаны?

3. (К любимой) — Петр: Кралюшка, куда танцуете?

[К любимой] — Петр: Куда, заноза, идешь?

[К любимой] — Петр: Идешь, губительница? Куда-а?..

4. (К врачу) — Петр: Куда, ползешь, нож вострый?

[К врачу] — Петр: Ты, паскуда, куда? Идешь патрон искать?

5. (Уважаемому) — Петр: Куда идешь, просвещенная голова?

[Уважаемому] — Петр: Куда идешь, университет?

Петр: Идешь просвещать!

Петр: Куда, кого учить идешь?

Петр: Куда, деньги ковать?

Петр: Куда, работящий?

[Презираемому] — Петр: Куда хромаешь?

Петр: Идешь, склизень?

Петр: Ты тоже, мокрота, тащишься?

Петр: Подметки зря снашиваешь! Куда?

Петр: Куда, свет застишь?

Петр: Ты идешь, опорок?

Петр: Идешь ты, пол-литровщик?

Наш народ — бунтарь. Вот упрекают нас в том, что мы любим ругаться матерно. Да, и действительно ругаются много. И неслыханно много ругались на фронте. А почему? Бунтует, отрекается, ничего святого — даже «заголил на березке подол», не признает запрещенного. А начни завтра выпускать, предположим, газету,— все газеты, где матерщина была б через каждую фразу, поморщились бы дня три — и перестали б ругаться.

[ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ О ЯЗЫКЕ]

— Как своеобразно говорят: «с богом!»

— Парусник должен уметь «ходить по волне». Если не можешь ходить по волне, то ты и не водник.

«о»— При обозначении смежности:

— Добро не лихо: бродит о миру тихо.

— Поезжай о-верх оврага (повыше).

— О кладбище идет канава.

— Река протекает вплоть о дом.

— Не споткнись о порог.

— Что совою о пень, что пнем о сову.

— Рука о руку.

— Опасаясь худого человека, живу сторожко, о страхе.

— Опасенье — половина спасения.

— «Актировали» — записали в акт.

«Преступленцы» — свершившие кровавый поступок.

ХАРАКТЕРНОСТЬ

«Упражнение укрепляет силы духа и тела» — повторяет это несколько раз, другими словами и в разных положениях.

— Повторишь, ну и в голове прибавится, да и рукам приятней.

— Чаще делай то же самое, будешь здоров и светел умом.

— Долби, долби, глядишь — и до света додолбишь, да и скелет не скривишь!

— Бездеятельность разваливает ум и гноит тело.

— Кто не упражняет сам духа и тела, тот заблаговременно хоронит себя. (Доказат[ельство] от противоположности.)

— Упражняй да укрепляй, а против смерти все равно — пыль! (Скептицизм.)

ОБРАЗ

Образ — есть игра со смыслом, подстановка и перестановка смысла.

1. Поэтому трагедия может превратиться в комедию, если тот же трагический образ переставить так, что он способен уничтожить подразумеваемое величие. («Король Лир» не будет королем Лиром, если дочери решают разыграть всю историю в шутку, позабавиться и проучить отца, который чересчур много думает о самом себе. «Измена» и борьба с нею не будет трагедией, если изменник, которого ловят, делает все это в шутку или ошибкой принят за изменника.)

2. Возвышенное превращается в иронию, если переменить «что» и «как»... Любовь отца (опять «Лир») получается не возвышенной, общей, общечеловеческой любовью отца, а любовью отца, тщеславящегося честностью, например, ученостью детей или их лестью,— что,— и та же — любовь,— как,— проводится как частность, надоедливо, глупо и навязчиво, хвастливо, мелко. Возвышенное в иронии: подраз[деление] ничтожности.

3. Прекрасное превращается в безобразное, если переменить «что» и «как», удлинить их, сделать больше, вне нормы, общей для всех (напр[имер] — в фигуре человека удлинение, утолщение или увеличение мускулатуры, роста, вооружения, одежды, света, зелени на картине).

4. Трагическое: герой, пытаясь достигнуть своей цели, не понимает, что этой цели нельзя достигнуть, и в сущности он не достигает ничего (Прометей — достал огонь — и образ не трагический, но если б он хотел достать огонь, который горит, но не дает тепла, холодный огонь, тогда герой был бы трагичным). Но он герой потому, что вступил в борьбу с великим и непобедимым противоречием — о чем он и не знает даже, — противоречием; он гибнет в ничтожестве.

5. Комическое, ошибка. Но не всякая ошибка комична, а комична только такая, которая превращает возвышенное в ничтожное или бессмысленное (как думает Бергсон). С одной стороны, герои комедии серьезно думают, что никакой ошибки нет, а с другой стороны (часть действующих лиц комедии, и лучше всего зритель), предполагают, что есть ошибка, или даже подстраивают эту

ошибку с тем, чтобы на разрешении этой ошибки и окончить комедию. ⟨...⟩

Юмор: серьезно рассказанная шутка, бессмысленная трагичность. (Так серьезен «Дон-Кихот»; рассказы о походах рыцарей, путешествие в «Трое в лодке», рассказ[ывающее] о путешествии; так бессмыслен Пиквик, рассказывающий и производящий раскопки, Швейк — войну и т. д., т. е. суживая великую идею, принадлежащую всему человечеству, до события своей комнаты и кармана, сохраняя при том всю серьезность, с которой рассказывают об идеях толстые исследования.)

6. **Сравнение:** вторичное изображение предмета, б[ольшей] частью неполное или, вернее, добавочное изображение, так как название предмета еще не определяет его вид. Например, стол. К нему можно прибавить «длинный стол». Но если сказать — «длинный стол, как гроб». Это уже изображение. Здесь к действию простой классификации прибавлено ощущение художника. Или: круглый стол. Дальше та же фраза, обработанная художником: «круглый и источенный временем, как сыр, обработанный мастером, этот стол был зеркалом многих поколений хозяев, сидевших [за ним] и проходивших по этой комнате».

Сравнение: есть выражение одного **предмета** через другой. Образ — это очки художника, сквозь которые он разглядывает предмет. Например, у меня на столе лежит обломок камня, взятый мной на Кара-Даге. Сейчас январь. Уже месяц стоят морозы, и небо тусклое, как холст. Мне кажется, что и камень от этого бледного света потускнел настолько, что я забыл его название. Я иду в детскую и спрашиваю: «Как называется камень?» Мне говорят: «Сердолик». «Нешлифованные камни, — думаю я, — держать в Москве нельзя». И мне жаль, что я увез его из Коктебеля.

Сравнение: может быть понятием. Например, грусть или радость. — «Грусть похожа на нескошенную траву — она и из-под снега напоминает о лете», и «радость похожа на сверкание молний — они так же редки и так же приносят облегчение, как дождь». Ирония: «впрочем, тропические дожди напоминали его радость — всюду сырость, лианы, торчат колючки, ни пройти, ни проехать от суматохи, происшедшей в результате влаги».

Сравнение: понятие не чувств, а морали, вызывает необходимость большого сравнения, так получается

притча или басня. (Частное поясняет общее.) Здесь тоже превращение трагического в комическое. Например: лягушка и вол.

Сравнение с человеком. Фигура человека, его поступки и мысли могут сравниваться с фигурой другого (к этому часто прибегал Чехов: «Воры» — фельдшер сравнивает себя с мерином, «лакей», бывший революционер, [сравнивает] себя с чин[овником] Орловым и т. д.) — и сравнить [можно] не только со своей настоящей жизнью, но и протянуть и в прошлое и даже в будущее. Фигура в этом сравнении может выражать гораздо больше себя, отражая, так сказать, невыразимость человека, приобретая разное значение.

7. Метафора: сопоставление духовного и материального: «простой как трубки»,— и наоборот, чувственное и духовное: «страсть любви перерождалась в нем, вернее, служила поводом для отказа от нее; ему было противно, выражаясь грубо, «кончить»!» **Перемещение представления** в новую сферу: а) перенести с чувственного на чувственное тоже («Жажда еды», «Голод осязания женской кожи», «Пресыщение запахом тела» и т. д.); 2) с чувственного на духовное («Жажда подвига», «Голод самопожертвования, милосердия», «Пресыщение героизмом»); 3) с духовного на чувственное («Героизм похож на недоедание», «Подвиг утомителен и так же быстро забывается, как жажда»); 4) с духовного на духовное («Героизм похож на милосердие: так же редок»).〈...〉

МЕТАФОРА, СРАВНЕНИЕ И ПРОЧЕЕ

— Это тоже перенесение качеств, свойственных данному предмету, в другую среду. Предположим — книжный шкаф и море. Что же общего. А во-первых, в шкафу столько же слов, как и волн в море, и в них также можно и понаслаждаться и потонуть, только надо уметь плавать...

Гипербола — это и более отдаленная и более громоздкая среда (высокое перенесение в среду). Предположим: ее уста как ущелье... (Здесь и самое определение высокое «уста», редко употребляемое, отдаленное по времени, и сравнение чрезвычайно высокое, большое, громоздкое.)

Деталь — это род синекдохи, части вместо целого, малого вместо большого.

Крупный человек: «пальцы его рук были велики, как копыта».

Впечатление от несхожести: «Он похож был на медведя по виду, но на самом деле это был заяц». «Он был ловок и скользок, казалось, как змея, но впечатление это было обманчиво. Его считали ловким и применяли к нему все уловки ловкости, благодаря которым он и выигрывал игру».

«Гости съезжались на дачу» — графичность, знание движений, зрительное ощущение. Тогда как «Все смешалось в доме Облонских» — это запись социального события, складывающегося из бесконечного количества индивидуальных действий и реакций.

Редактируя мой рассказ в «Молодом колхознике», редактор снял фразу — «тощий, бледный мальчик». Ему показалось, что мальчик будет выглядеть плохо! Комсомолец не должен быть таким.

Гипербола, метафора, антитеза!.. Что за вздор! И сколько лет я старался вникнуть и освоить этот вздор, необходимый лишь для составителей учебников словесности.

Вот образец гиперболы: «Река крови. Горы трупов».

Но это же самый обыкновенный закон контраста.

«Кровь течет струйкой. Много крови: реки. Труп недвижим, как камень. Много трупов: гора». Для большей выразительности контраста построенных фраз первая часть выбрасывается.

Вопрос, значит, не в гиперболе, а в том, как строить фразу.

8. **Метонимия:** основана на отношении формы и содержания, переименование вещей. «Мука в мешке слежалась». Дальше — «Мешок слежался». Это типично. А если мука в чайнике, то этого сравнения быть не может, так как мука в чайнике — нетипично. Разъясняйте типичное, общее, известные и уже ясные человеку категории, а можно: вм[есто] — «вода в чайнике вскипела и утекла» — «чайник вскипел», «чайник убежал»... — чаще всего одухотворение предмета, превращение его в действующее, драматическое.

Отношение материала и продукта. Или материала властвующего и самого человека властвующего: «одета в золото и пурпур», «свинец в груди, посылавшей его», «сталь, разрубившая сделавшего ее» и т. д.

Отношение времени и того, что это время наполняет. Например, «просвещенный век», «хлопотливый день», «революционные годы» и теперешние «советские годы».

Отношение конкретного целого и абстрактного признака целого. Примеры: «еда», «питье» — то есть не мясо и вода на столе, а еда и питье. Здесь тоже прикрепление к действующему лицу, то есть «питье» может быть у постели больного понято совсем иначе.

Отношение временной сопринадлежности или последовательности. Например, вместо того, чтобы [сказать] — расстался — «сказал последнее прости», то есть приводится действие вместо понятия о расставании. Или, вместо того чтобы сказать, что верен до смерти, говорится — «верен до гроба», и опять понятие смерти заменяется предметом, то есть гробом, могилой. А теперь можно сказать — «до пепла».

Отношение причины и следствия. Пример: «золото, золото падает с неба», то есть дети видят следствие дождя золота, т. е. сделан прыжок во времени. Или — «в поте лица твоего», то есть [приводится] признак усталости. Вместо того чтобы сказать — «ты будешь беспрерывно «усталым», подается признак усталости.

Отношение знака и обозначенного им («скипетр — власть», «лавр — слава», «пропеллер — полет», «книга — и ученье и создатель ее писатель»).

9. **Синекдоха.** 1) Отношение части к целому, 2) отношение вида и рода. Пример: «Напрасно темной ночью я искал крова», то есть — кров — дом; «веселая голова», «вручать себя волнам», «покинуть пустынные стены». Примеры к отношениям рода и вида: «Я пронзил его своим **оружием»,** или «в деревне летом рай», или «смертные» вместо «люди», «хлеб насущный».

Замена неопределенных чисел определенными или множественными определенными представителями: победители — Наполеон, большевики — Ленин⟨...⟩

Замена целой вещи ее признаком: кони — топот, быки — ярмо, скот — кизяк или шерсть ⟨...⟩

Замена целым части целого. Полк вместо рядового: «Я — полк», — говорит оставшийся. Или писатель: «Я — литература». Лампочка: «Я — электричество».

Деталь — частное от общего. Это — общеизвестно. Однако в литературе это еще не усвоено.

Искусство сводить общее к детали — очень большое и трудное искусство.

Испробуй, например, свести к двум-трем деталям большое описание пейзажа, которым действующие лица должны наслаждаться.

Общее.

Перечисление частн[остей]:

«Разнообразные деревья оживляли пейзаж. **Буки** с белой и гладкой корой переплетались своими кронами. **Ясени** мягко изгибали свои сине-зеленые ветви. Среди **грабов** топорщились **остролисты,** точно вылитые из бронзы. За ними шел ряд тонких **березок,** склоненных в элегических позах. **Сосны** поднимались симметрично, подобно органным трубам. Они беспрестанно покачивались и, казалось, пели. Были здесь и громадные, шероховатые **дубы.** Судорожно изгибаясь, они вытягивались из почвы; обнимались друг с другом; стояли крепко, напоминая торсы и простирая свои обнаженные руки, выражали отчаянные призывы, яростные угрозы, подобно группе титанов, застывших в гневе. Над **озерами,** поверхность которых вырисовывалась среди кустов **терновника,** среди колючих кустарников, носилось веяние еще более тяжкое, какое-то лихорадочное томление. К их **берегам,** покрытым **лишайником,** цвета серы, точно обожженным ступнями ведьм, прибегают на водопой волки. Беспрерывное кваканье **лягушек** отвечало карканью кружившихся ворон. Затем **дорога** потянулась по однообразным просекам, усаженным местами молодыми **деревцами.** Послышались крепкие и частые удары **молота.** На склоне холма артель **рабочих** ломала в скалах **камень. Скалы** попадались все чаще и чаще и, наконец, заполнили весь пейзаж. Кубические, как дома, плоские, как плиты, они громоздились друг на друга подобно каким-то чудовищным развалинам исчезнувшего города. Но самая безмерность этого хаоса вызывала скорее мысли о вулканах, потоках, грандиозных доисторических катаклизмах...» (Флобер, «Воспитание чувств»).

О'Генри хватило б этого на целый роман!

Любая деталь художественного изображения в литературе тем выпуклее, чем сильнее против нее сопротивление, стремящееся к полному ее уничтожению. (Например, что кажется проще обеда. И действительно, с точки зрения искусства, его нечего описывать, если обед достается без труда. Но обед голодного или обед в семье, где скупой глава дома не дает денег на обед, представляет уже художественный интерес.)

Таков закон контраста: труднодостижимое интересно. И чем оно труднее достигается, чем больше сопротивления, тем это интереснее для читателя. Первые годы индустриализации, когда враг самых различных направлений яростно сопротивлялся, будут неисчерпаемым источником тем для художественных произведений.

Любовь двоих, если против этой любви ополчился целый город, представляет большой художественный интерес. Это — в больших полотнах. А детали! Шляпа, галстук, туфли для женщины — и прочее — во время длительной войны — это целые эпопеи.

Реализм в живописи привлекает не тем, что он действительно точно и полно воспроизводит жизнь, а тем, что кажется — так писать очень трудно.

Сюжет в живописи: или раскрытие какого-либо исторического события, или преодоление — порабощение какой-либо трудностью.

Жанр — преодоление или порабощение трудностей в быту. ⟨...⟩

«Характерность» — частности, которыми расцвечивается сюжет. Чем меньше характерности, тем сюжет чище и стремительней. Частности могут быть и чисто словесными, а не предметными (Лесков; предметность у Л. Толстого). Но именно частность-то и придает достоверность иногда самому недостоверному сюжету. Формализм — это отбрасывание частностей в сюжете или, наоборот, преобладание частностей. А правда — посередине. Когда искусства в народе мало, тогда преобладает сюжет.

Деталь. Одна-две характерные детали — поведение героев, то есть им только свойственные поступки и привычки.

ПРЕДМЕТЫ

В нашем литературном деле предметы делятся на:

1. Препятствующие герою.
2. Помогающие ему.

Есть, разумеется, и предмет, служащий орнаментом характера (например, скупости — Плюшкин), но это уже второстепенное. ⟨...⟩

ОБЪЯСНЕНИЯ, ПЕРЕНЕСЕНИЯ СМЫСЛА, ПЕРЕСТАНОВКА СМЫСЛА СЛОВА И ПОСТУПКА

Игра с деталями у Пушкина. Каждое положение, каждая деталь повторяется, в новом смысле и толковании. То же самое и с каждым словом в строке.

Например: слово — **«мак».** Растение цветет и дает плоды. Сок — опиум. Мак как символ красоты. Мак ведет толпу, указывает дорогу солдатам (Крым). Мак — опий. Разное действие мака. Затем — действие на мак. Превращение цветка в железный — искусством — орнамент. Легенда о маке, бывшем причиной счастья. Другая легенда — причина несчастья. Возбуждение страстей: скупость, щедрость и т. д. — Возбуждение проступков.

Перевод или объяснение **внешнего — внутренним** состоянием героя. Например, герой испытывает глубокую скорбь по случаю смерти отца. Он видит поле маков. Он — плачет, так как маки напоминают ему дни, когда он с отцом сеял их. Другой — чувствует радость. Маки напоминают ему [любовь]. — Или: подле маков герой увидал смерть. Маки всегда будут напоминать ему о смерти. Двое рассуждают, сидя против букета маков. Каждому из них он напоминает свое, их эстетическое чувство борется с этим ощущением; способно победить его, но чаще всего не побеждает.

ДЕТАЛЬ

Что такое деталь в художественном произведении? Часть целого воспринимается иногда как метафора.

Часть эта, если она **исправна,** должна быть чем-то отмечена, чтобы обратить наше внимание. Комической, жалкой ролью (Чехов) или большим психологическим

значением, помогающим осмыс[лению] событий (Л. Толстой).

Но **часть может быть и неисправна.** Исправляется? Не исправляется? Не обращается на нее внимания.

Пример неисправной детали. Кухня, плита, стол, кастрюля. **В кастрюле подгнившая и проросшая** картошка. Хозяйка чистит картофель и бранится. — Или запах извне? Или звуки? Чего? Автомобиль. Война. Простреленный, подвязана бочка с бензином, дорожная грязь. Прожженное папиросками сиденье, запах табака, спирта-сырца, жареной свинины, смешанный с отличн[ыми] французскими духами (машина трофейная, отличная).

Отгадки прошлого. Кем были хозяева, которым принадлежит эта деталь. (Много примеров у И. Бунина.) Деталь аналитическая (М. Пруст, Э. По или К. Дойл). Деталь-сыщик, вскрыватель прошлого.

Деталь как мечта (Чехов). Деталь под влиянием мечтательного настроения приобретает для наблюдающего ее совершенно иное значение, чем она имеет на самом деле. Деталь облагораживается.

И наоборот (Чехов, Бунин, Горький), рассматривают деталь как материал для осуждения. (Русская грязь, неряшливость, ложь, водка.)

Роль детали для ума, размышляющего по ее поводу.

И для чувства. Ассоциация как повод для возбуждения ужаса, гнева, любви: для фиксирования, благодаря ей, этих чувств. Преследует.

Деталь — мелкая привычка: в поведении, в одежде, в манере говорить, в отношении к другим лицам. Характер обраст[ает] деталями.

Не только описания, но и разговор-диалог в вопросе, ответе, нападении и отражении может состоять из рассуждений, наблюдений, деталей, словечек, фраз, относящихся к деталям характера, уже подчеркнутым в описании. Например, скупой говорит о примерах скупости, жадный — жадности, обжора — обжорства, жестокий — жестокости, и, быть может, осуждая их! В создании **характеров толпы,** то есть там, где требуется много людей, помимо слов, подобный прием детализации весьма полезен. Например: «Гришка — жадный, глухой мужик — кричал: «Он себе все забрал, а мы, что ж, голые останемся?»

По главному и существенному. Но не с каким-либо другим действием другого предмета, а обобщая это действие. Например, Л. Толстой: «И он, представляя, как махал руками квартальный, опять **захохотал** звучным и басистым смехом, **как (сравнение)** смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие».

Качество предмета. а) **Цвет,** б) **форма,** в) **размеры,** г) **виды,** д) **психологические** — воздействующие на нас качества. **Например, яблоко:** «красно-желто-зеленое, круглое, большое, кисловатое, неприятное». **Стол**—«темного дуба, продолговатый, длинный, удобный, всегда вызывающий вкус к еде».

Осязание. 1. **Величина** (огромный, маленький, средний), 2) **форма** (плоский, угловатый, круглый), 3) **твердость,** 4) сухость или мокрота, 5) гладкий или шероховатый, 6) температура, 7) тяжелый или легкий, 8) тягучий или хрупкий.

Зрение. 1) **Свет** (сильный, прямой, слабый, боковой, изнутри отраженный); 2) **тень** (густая, от себя или других, одна — множество); 3) **цвет;** 4) **прозрачность;** 5) **отдаленно или близко;** 6) **в покое или движении;** 7) **какие перемены во время движения.**

«Извечное». Частный случай как обобщение: «Всегда люди чувствовали себя лучше весной, чем осенью. — Городские?»

Драматичность деталей. Перелом в чувствах и отсюда острее деталь. («Оттопыренные уши Каренина». — Вронский с отвращением наблюдает, как Анна пьет чай.) Или, наоборот, возвышение чувств. («Он увидел, что ее лицо, глаза — необычны, хотя другим это по-прежнему казалось обычным».) Передача чувств. (Опасность. Бледный боец у танка.) Посмотрел на деталь и понял психологическое состояние окружающих. 〈...〉

ДЕТАЛИ И СЛУЧАЙНОСТИ

«Нахождение случайностей, которые делают правдоподобными даже рассказы Эдгара По». (Достоевский о рассказах По.)

Сам он не очень грешил избытком этих случайностей. Даже боялся их. Жест, предмет, интонация, при-

рода и ее состояние, движение вещей, их изношенность или новизна, все внешнее состояние человека — у него строго подчинено конструкции. Случайными, быть может, бывали у него мысли героев... И тем более удивительно, что такой человек понимал ценность случайности в совр[еменном] искусстве, до такой виртуозности доведенной у Бунина.

Смена света, теней, мрака, отдаления и приближения предметов, издаваемый ими и возле них звук, запах, плеск воды, шорохи ветра — все это можно выразить в беллетристике, и это так же приятно, как душа человека, тем более что мы ее не знаем.

Действие, производимое кем-то: шарманщик играет на своей машине. Впечатление, воздействие этого действия. И затем, получив подаяние, брошенное ему в фуражку, шарманщик покрывал свою машину старым шерстяным покрывалом, вскидывал ее на плечи и, тяжело ступая, уходил. (Предмет и его последнее соединение с человеком. Действие ухода.)

Сначала — общее. Например, дом. Впечатление от него. Затем — деталь. У Диккенса и Достоевского — деталь, так сказать, вмонтирована в дом [предположим]:

«Печальный, грузный, как неизлечимый пьяница, дом. Двери и окна распухли и потрескались. Запахи — отвратительны. Штукатурка висит, как лохмотья. Водосточные трубы словно вены склеротика...»

У нас случайность и детали большей частью не вмонтированы. Например:

«Печальный, грузный дом. Но окна и рамы новые, блестящие. Стекла — разнообразные. Одна сторона покрашена вчера, другая полгода назад, все остальное серое и никогда не крашено».

Или же одна деталь: «Дом с плоской, как череп критика, крышей».

Предмет
- неподвижен: бросает тень, огонь, отблеск
- двигается — больше, меньше, ближе, дальше
- величина — соотношение с другими предметами
- вес —
- запах
- цвет
- каков на ощупь?

ВЕЩИ, ПРОФЕССИИ

Вещи объединяются явлениями природы (свет, ветéр, дождь и т. д.) или действиями людей.

Профессии объединяются отношением к ним главного действующего лица. Или действиями людей других профессий?

СВЕТ

Где, на что, когда ложится свет?

Что мешает свету и что способствует?

От чего и как отражается свет?

Свет на картине-гравюре неподвижен, не перемещается. Между тем слово или кино способно передавать все оттенки перемещений света, хотя, быть может, и не с той убедительностью, как на картине. Оно допускает даже отрицание отражений, что на картине будет уже манерностью. Например. Деревья отражаются в пруду. Затем вы видите отражение всего этого и в глазах рядом стоящего с вами, и на бутыли, которую он держит, и на подносе, который несет подавальщица столовой, и на картине художника, неподалеку сидящего.

Перечисление предметов, по которым бежит свет, дает вам представление о движении света.

— Слабеет, усиливается.

— Дробится.

Движение героя, на которого вы, автор, желали бы обратить внимание читателя, должно связывать всех присутствующих при событии. Например, ночь, лес, костер, группа заблуд[нвшихся] людей и герой, который выведет их. Ваш герой будет или говорить с ними, или обойдет всех, прикоснувшись к каждому, или прикажет-посоветует, в каком порядке он их поведет. Таким

образом, благодаря вниманию многих на одном, внимание читателя тоже будет сосредоточено на нем.

Таким образом сосредотачивается внимание и на одном и на двух-трех героях.

Это не только о внешности, но и внутренних качествах героя: начиная с героизма, кончая самой низкой подлостью (что, кстати сказать, значительно легче сделать).

Звуки сверху, еще выше, сбоку, снизу. Какие? О чем они говорят? Какие навевают мысли?

СИСТЕМА ДВИЖЕНИЙ

Пространство: поле, лес, окопы, деревня, город, завод, река, мосты, дома — большие, маленькие, магазины, трамваи...

По этому пространству может двигаться — или какой-либо неодушевленный предмет, скажем, поезд, автомобиль,

или что-либо одушевленное.

Движение одного человека: вперед, назад, в сторону, вверх или вниз. — За кем-то гонится. Его преследуют. Что-то ищет.

Движение двух людей. Движение может раздвоиться, направиться в различные стороны. Итак, люди мимо предметов.

Но, может быть, — для очень важного лица или ряда лиц, — предметы двинутся мимо людей. В этом нет ничего удивительного, если, скажем, двинутся автомобили, но удивительно, если двинутся дома! Когда последнее немыслимо, получится комический эффект.

Толпа и один человек. Это случается редко, когда толпа реагирует на одного человека.

— Надежда в нем!

Ленин направляется в Смольный. Вечер. Идет обыкновенная петроградская жизнь — очереди, переполненные трамваи, какой-то пьяный, редкость в те дни, ученый, спешащий на заседание или возвращающийся с него, студенты, кучка обывателей, спекулянты.

И на извозчике едет очень обыкновенный человек, рабочий, в кепке, с усами. Едет и разговаривает о самом обыкновенном, не очень-то обращая внимание на толпу.

Звук то удаляется, то приближается. Музыка.

И где-то все краски чувств сосредотачиваются вокруг одного события; люди раскрываются; то, что они не говорили, — высказывают. Звуки приблизились, бьют во всю силу и — затихают.

ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ. ЖЕСТЫ, ВНЕШНЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ

Внешность лучше всего описывать, идя от частного к общему.

Например: «У него был длинный и узкий нос. Да и все у него было длинное, узкое. Руки, шея, ноги. Особенно длинны и узки были пальцы с удлиненными и тонкими ногтями. Одежда его была тоже узка и длинна, так что казалось, брюки волочатся за ним».

Или: «Рот его был широкий, мясистый. И вообще все у него и на нем было широко, плотно, добротно. Руками, казалось, землю паши, ногами на горы взбирайся, а головой можно и стену долбить и пять факультетов окончить».

От общего к частному:

«Он был огромен и силен. Огромны были ноги, голова. Даже живот, выступая вперед, как бы говорил, что он выступает так не потому, что его владелец обжора, а просто надо подчеркнуть, что у владельца все огромно и сильно. Он носил свой живот без труда и даже с удовольствием».

«Его фигура, когда вы присматривались к нему, не уменьшала впечатления настойчивости, а только увеличивала. Этот человек, — говорила она, — если уж возьмется, решится, то добьется. И он действительно добивался».

По-видимому, описание поступков, из которых слагается характер, тоже лучше всего делать от малого к большому? Или наоборот?

Описание. Несоответствие частей. Если длинны ноги, то коротки руки. Если толсто одно, тонко и мало другое. Лицо огромное. Глаза маленькие. Цвет лица раз-

личный в разных местах. Или лицо одного цвета, но тогда руки должны быть другого. Вообще преобладание контрастов. Тем сильнее выдвинутся и обрисуются люди, лишенные недостатков. «Главным недостатком его внешности было то, что у него не было недостатков. И я поэтому не могу описать вам его».

а) Название предмета. С этого начинается описание. Скажем, например, стол.

б) Подчеркнута новизна предмета или старина его. «Стол был только что привезен из магазина, и даже бумажная наклейка с ценой не была с него снята. И вообще все вокруг было новенькое, и чистое, и веселое». «Стол был стар и дряхл. На него, казалось, поставь пустую чашку даже и без чая, и он не выдержит такой тяжести. Столетия отпечатались на нем».

То или иное впечатление от человека, благодаря какой-либо части его тела. «Рыжие широкие брови указывали на натуру буйную, грубую, да и узкое лицо говорило о том же самом. Но те, кто умел смотреть, — а никто, пожалуй, не отличается большей и самой тщательной наблюдательностью, чем солдат, — эти солдаты, поглядев в его глаза, улыбались и видели в нем человека с удивительно доброй, отзывчивой и, конечно, героической душой, которая не подведет, а поведет. Так оно и было».

Предмет, в том числе и человек, конечно, может быть новым (любимые вещи и предметы описываются как новые). Или он может быть испорченным, грязным, изношенным: волосы — так непременно взъерошенные и немытые, костюм — заношенный, грязный, длинный (и тогда будет длинно все — рукава, воротник, карманы, похожие на портфели), или необыкновенно длинный, или необыкновенно короткий. Могут быть также преувеличены, выпячены движения — их чрезмерная быстрота или медлительность, аппетит и разница между словом и делом. Человек жесток, но на словах добр, говорит постоянно о человеколюбии, доброте своей. И наоборот — кричит о жестокости и своей свирепости, а на самом деле добр. То же самое со скупостью, сластолюбием и другими отрицательными качествами. Потому что лицемерие может быть и отрицательное и положительное.

Слова заменить жестом.

И м[ожет] б[ыть], даже целые понятия? В длинной речи (например, Калмыков). И в отдельных репликах:

«Уничтожая» — слово пропущено — несет, разрывает бумагу и т. д., скомкывает ее и т. д.

«поднять»,

«воскресить» — берет бумагу и расправляет.

Психологичность или внешность, жест? Изображение «жестом», толкование жеста или — вскрытие психологического состояния героя.

«Он резко написал, раздраженно, быстро подойдя к столу».

Он был зол, разозлился, — и это показать в действии; так же, как, скажем, любовь, внезапно почувствованную: надо [сказать]: **Он почувствовал любовь** — «Он нежно взял ее за руку и сказал голосом, которого она никогда не слыхала...»

Жест, оставшийся от прежнего настроения:

«Кутузов,

— оставив руки упертыми в лавку, —

недовольно смотрел на Денисова...»

ЖЕСТ

При наивном реализме Тургенева и т. п. все жесты автором толкуются как таковые всерьез. Чехов и Горький еще употребляют этот, в сущности уже затасканный, способ изображения. Л. Толстой толкует жест и движение вообще по-иному: он делает жест ложным, то есть зритель мог бы его понять как **а.** Толстой же толкует его как **б.** А. Н. Толстой и т. п. возвращаются к наивному толкованию жеста. ⟨...⟩

Внешнее выражение чувств, слезы, смех, ужас, восторг и т. д.

Два их толкования:

а) Поверхностное, свойственное всем. (Жена убивается после смерти мужа — «Матрона из Эфесы», но убивается, как узнаем позже, вовсе не потому, что любила мужа...)

б) Истинное, более глубокое толкование, к которому часто прибегал Л. Толстой, вскрывая подлинные причины внешнего выражения чувств.

«Он рассмеялся. Н. Н. думал, что он смеется его шутке. А. смеялся другому. Он и не понял и даже не слышал, в сущности, шутки Н. Н., а смеялся шутке, которую сказал вчера. Шутка была глупа, гораздо глупей, чем шутка Н. Н., но это была его собственная, как этот покосившийся дачный забор, который он подпирал с удовольствием, гордясь своей мнимой силой и ловкостью. А другие проходили, не замечая ни забора, ни его хозяина».

Второе толкование может быть и плохим и хорошим. То есть если общее впечатление в людях от внешнего выражения чувств плохое, то внутренние причины внешнего выражения могут быть хорошими; и наоборот, впечатление (забота о человеке, например) может быть и хорошее, но на самом деле это вызвано самыми дурными побуждениями. «Внешность обманчива» — мнение, распространенное именно потому, что лицемеры, притворщики и лгуны чрезвычайно распространены. Многие от этого и правду принимают за ложь, притворство, какую-то им непонятную, но вам выгодную игру, вернее, ваше предприятие...

Описание природы как одно из важнейших сторон конструкции романа пришло к нам, в сущности, от Тургенева. Тургенев, Толстой и Бунин брали природу в частностях — пруд в средине дня, лес во время весенней охоты, сенокос, метель в поле и т. д. Чехов показал природу на огромных пространствах (Сибирь — от Челябинска до Байкала — у него одна!) и на огромных протяжениях времени, смешивая в одно все времена года.

М. Пришвин (охотник, как и Тургенев) продолжал и, быть может, завершил работу Тургенева. Только он выкинул прочь из природы людей, оставив птичек и зверюшек. Осталось у него одно чириканье.

Переход из одного псих[ического] состояния в другое — переход в освещенную природу: от тьмы к свету, от невидим[ого] к видимому.

«Когда подъехали к опушке леса, в ней заметно уже стало светлеть...»

«Я попал на место, где обрывался дождь. Вверху, над обрывом, сосны были сухи, а внизу, в овраге, словно туда скатилось все сверху, — не сверкало солнце, а поверху к нему природа привыкла».

Пейзаж: совокупность растений, состояния погоды и рельефа почвы, — может быть **препятствием** для действующего лица (например, грязь, плохая дорога, кустарник или нива мешают проехать), или, наоборот, **помощью** (прекрасный, солнечный день, сухо, дорога легка), или же он **безразличен** в прямом смысле, а ты к нему относишься хорошо или плохо только благодаря твоему настроению («М-м Бовари», много у Чехова, Бунина).

Схема пейзажа: например, дорога идет через холмы, поросшие кустарником; направо — река, налево — картофельные поля, далеко впереди виднеется церковь. — Затем, частности, — передающие время года, состояние погоды и благодаря этому освещение пейзажа, время дня. **Частности,** происходящие от событий, случившихся давно или недавно, но не на глазах у наблюдающего. Повалило сосну, она гниет; расщепленные остатки пня поросли опятами. Частность — помощь, препятствие или безразличие?.. У Бунина — пейзаж, как рок, да и у Д. Конрада то же самое.

[О РОМАНЕ]

Быстрая смена места действия даже и без перемены действующих лиц, ибо разговор теперь ведется не в гостиной и не за чайным столом. Люди много ходят; за работой перебрасываются отдельными репликами, и заседаний (хотя их безумно много и они не вошли в роман) потому и нет в романе, что [их] много и они длинны. Из заседания и для кино и для романа нужно брать или отголосок его, или как-то выраженную резолюцию, которая обычно и дается в газете.

Старинный риторический **период** шел от общего к частному. Вернее, от большего к маленькому. Например, в пейзаже: разлив Волги — от края до края неба, затем к берегам, затем отдельные потоки, затем в потоках струи вплоть до щепок, которые застряли на тонущих и затопленных ветках... «Когда», повторяемое прежде несколько раз, вычеркивается теперь, а «тогда» — заключительная часть периода — ставится с новой строки.

Быстрая смена действий — отмечается главками. В огромном романе это трудно читать, будет рябить в глазах. Нужно приучить, что перемена места действия начинается с употребления сразу двух или трех фамилий участвующих в действии:

«Алексей Петров и Василий Сидоров шли друг к другу...»

«Анна Соснина и Верочка Тольская любили говорить...»

«Петр Братов, Фома Завьялов и Вера Тимофеева...»

Фон[ом] может быть пейзаж или что другое...

Таким образом, можно в одну главу включить до пяти мелких главок, да, пожалуй, и еще больше. А. Дюма, на которого, в смысле быстроты развития действия, пожаловаться нельзя, в главу включал не больше трех главок.

Названия глав? У меня в «При взятии Берлина» — это символическое. Лучше всего — деловое: время действия —«12 февраля 1946 года», место действия: «Сквер имени 28 панфиловцев в Алма-Ате», «Аул Коктумы подле Джунгарских гор», «Река Токроу», сюда же к месту действия может быть обозначено и состояние масс: «Митинг в сквере...», «Аул — задумался», отдельный герой: «Иошкир летит в Алма-Ату» и т. д.

Абзацы отделяют, показывают: время, пространство, появление новых лиц, появление новых мыслей, поведение(внешнее и внутреннее) разных лиц.

ЭСТЕТИКА РОМАНА

1. История романа.
2. Из чего он вырос и почему так развился?
3. Что такое современный роман.
4. Путь его развития.

1. Темы романа — бытовой, приключенческий, фантастический и т. д.
2. В чем сходство и разница?
3. Детали в современном романе.
4. Сюжет в современном романе.
5. Будущее романа.

Что можно предсказать?

Философский или научный роман.

Группа сцен, показывающих, как **одинаково** действует герой в **одном** направлении.

И затем, во второй или третьей части, новая группа сцен, показывающих, как действует герой в **ином** направлении. И почему он **так** действует, **чем и кем** вызваны его действия? Это относится, соответственно, не к одному герою, но и ко всей группе героев романа.

Но ведь может быть направляющая **цель** романа (грубое сравнение «Три мушкетера»— сокровища королевы), которая организует цепь групп действий? Или, скажем, «Таинственный остров» и даже «Робинзон Крузо». ⟨...⟩

СТРОЕНИЕ РОМАНА

Тема любви:

1. Важно ведь создать или, вернее, почувствовать конфликт — контраст. Поэтому появление треугольника вовсе не обязательно: должна сопутствовать тема любви. Любовник — противник (3) может возникнуть как мотив мести (родовая или сословная месть), даже мотив родственный (отец). Разумеется, будет лучше, если он (3) вдобавок и любит ее(2). Положение, например, усложняется тем, что (3) вначале хочет уничтожить (1) его по мотивам научной непригодности; но, познакомившись с ней (2), он (3) влюбляется в нее и занимает место любовника(3), не будучи им, а только мечтает быть им; воображаемое событие (любовь) нисколько не хуже существующего. Чем позже выступит на сцену и создаст конфликт любовь, тем лучше. Он (1) —красив, умен, знаменит, она (2) тоже,— и вдруг полюбила его (3), который и некрасив, и не умен, и не знаменит, что случилось? Ошибка? Почему?.. Почему она стала его яростно защищать, хотя раньше хулила?..

Добрый. — Красивый,— сильный,— смелый,— наивный. Влюбился с первого взгляда в красавицу, которая притворяется, что не любит его. — Препятствия — его гордость, которую они разбудили. Он своей смелостью побеждает препятствия. ⟨...⟩

Добро вознаграждается ли?

Более редкое явление — самопожертвование ради добра, которое сделали тебе чужие люди; поиски этих людей, стремление вознаградить их за совершенное добро.

Мышление страстное (под влиянием страсти) — всегда имеет заранее поставленную цель.

Женщина — красавица, из-за которой свершают необыкновенные безумства, жертвуя жизнью. У нас показывали всегда русскую женщину, которая жертвовала собой («Воскресение», «Анна Каренина» и весь Чехов), и очень редко, почти никогда, не показывали женщину (цыганку!), которой жертвовали мужчины всем.

— А зачем это нужно?

— Во-первых, это правда; во-вторых, это поднимает авторитет женщины, и в-третьих, поднимает авторитет нации. Читайте Бальзака, какие у него возвышенные женщины; как ради них жертвуют люди жизнью.

— Вы очень грешны в этом, потому что вы не только не возвышали женщину, вы презирали ее.

— И за это был наказан, до старости гребя в галере, которую ведет женщина. Вообще, мне думается, что я отработал все свои грехи, как литературные, так и житейские... И, кроме того, возвращаясь к теме, о которой мы говорили,— в теме этой почти нет лжи.

— Лжи нет? Но почему вы, дорогой, постоянно думаете, что ложь и реализм — противоположны? Искусство не может существовать без отбора; факт, вами описываемый, всегда облеплен такими обстоятельствами, что почти неизобразим, если подходить к нему с требованиями полной реальности. Значит, нужен отбор; значит — ложь, так как вы прибавляете к факту, для большей выразительности, другие факты. Ложь необходима в искусстве; и чем больше ее, тем оно лучше.

Любовь. Веселовский утверждает (о сказках «Тысячи и одной ночи»): «Любовь в них действительно фаталистическая, в которой почти без остатка исчезает личный подвиг, поскольку он сознательный. Влюбляются друг в друга потому, что иначе нельзя: он видел ее на одно мгновение, и этого довольно, он будет ее искать

во что бы то ни стало, среди препятствий и тревог, пока случай, или участие гения, волшебника, или доля не сведут их и не разведут снова. Героизма нет, а есть роковая выносливость в виду цели, поставленной природой, ее не обойдут. Оттого увлечения не готовятся, они нисходят внезапно: «она красавица, он красив» и т. д.

Но это — западное понимание любви, и притом Запада позднейшего времени. В деревне и доселе любовь рассматривается как наваждение, туман, от которого и не избавишься.

Что такое -- личный подвиг?

Отказать в любви, узнав о недостойном человеке, которого любишь? Однако на Востоке, да еще в условиях «1001 ночи», когда там было узнавать о достоинствах любимой? Он видел ее мало,— и он верил ей, верил в совершенство, как современный герой, источенный романами в стиле Мопассана, не может уже верить. Вера любовников «1001 ночи» — настоящая вера. А что касается фаталистичности, то это только мотивировка исследователей, а никак не героев «1001 ночи», для которых любовь была подвигом. И вообще разговоры о мусульманской фаталистичности — вздор. Этак и нас впоследствии будут называть фаталистами и отрицать у нас, в нашей любви к родине, мучительно разыскиваемой и познаваемой, возможности личного подвига. Когда я читаю Веселовского, мне видится человек, который никак не может забыть, что он владеет несколькими европейскими языками и страшно гордится этим, как мы в юности гордились парижским платьем; мы-то имели больше оснований, потому что у нас сукно было плохое, а он?

Рассуждение идет о древности.

Любопытная любовь у **восточных народов.** Сюда относится и так назыв[аемый] рыцарский роман.

Зарождение любви мгновенно. Это объясняется тем, что влюбляющийся не имел возможности долго изучать «предмет» своей любви. Отсюда и идеализация «предмета».

Но это мгновение зарождения совсем не значит, что сила любви была меньше, чем теперь, когда можно изучать, сравнивать и выбирать «предмет» любви. И безрассудств было не меньше, а может быть, и больше хотя

бы потому, что влюбленный не знал стремлений и желаний «предмета». Впрочем, думаю, «стандарт» любовного идеала тех времен вряд ли был шире, чем сейчас. Ошибки происходили редко. Рыцарь, уничтожая своих противников и «злых волшебников» ради своей Дамы, бил наверняка.

«Предмет» воспринимался внешне. Понимание достигалось не разговорами, а знаками, как у глухонемых.

Это тоже вполне объяснимо, что «предмет» воспринимался по лошадиному экстерьеру, а не по внутренним качествам человека. Человеку нужна была жена, как нужна была сильная и красивая по всем «статьям» лошадь. Нужно, чтоб она исправно вела свою службу, рожала детей и вела хозяйство. Круг духовных интересов был узок, женщины, как известно, даже в церкви были на хорах, за перегородкой. Измены были редки хотя бы потому, что их трудно было осуществить, а если и часты, то так тщательно скрывались, что до нас не дошли их подробности. Я уж не говорю о гаремах, гинекеях, тюрьмах.

С женитьбой любовь в том виде, в каком она могла быть очерчена в любовном романе, кончалась.

Начиналось хозяйство, дом, дети.

Это тоже тема романа, но другого типа.

Написано на полях

Отступление о задачах современного романа:

Роман должен быть завлекательным. Почему? А хотя б и потому, что нельзя все время читать учебники, как бы ни хорошо они были написаны.

Но занимательность относится как к приключенчеству?

Но, для того чтоб роман не был только набором приключений, он должен нести в себе современную большую тему.

Такой темой, например, является тема современного искусства.

В силу различных условий, о которых толковать здесь не место, искусство в нашей жизни очень важно. Оно, возможно, второе после политики.

А между тем, в массе, искусство не ахти какое великое.

В массе оно подражает, и притом плохо, классикам.

Значит, для того чтоб двинуть искусство вперед, нужно бороться против слепой подражательности и копирования.

Л. Н. Солдатов написал диссертацию, которая доказывала, что греческое искусство шло вперед, борясь. Когда оно достигло вершины,— ему стали подражать, ничего нового не разрешалось, и оно исчезло. Глава: «Причина упадка».

Усниев доказывает обратное. Борьба: новое он сделал открытие или только «реконструкцию», каких были тысячи?

— Что такое современная молодежь?

— Немножко скептицизма и очень много энергии, которая . конце концов указывает, что веры в будущее тоже много. Это, так сказать, вера в будущее, умеряемая атомной бомбой.

— Откуда же скептицизм?

— Война внешняя, с воплями и разрывом снарядов. Война внутренняя, без воплей.

— Были и возвеличенные герои.

— Герои всегда будут. Дело не в «героях». ...Дело в том, имеет ли человек право на маленькое счастье. Именно на маленькое, большого и без хлопот много.

— Мещанство?

— Домик, садик, автомобиль? Нет. Не это. Даже не уют.

— Ведь уюта никто не запрещает. А уют — страшен. Из уюта так трудно выбираться, отказываться от него тем более. Чем прельстительна Москва? Уютом...

СТРОЕНИЕ

Изложение событий (быть может, благополучных), приведших к тому случаю, который мы с вами будем описывать, то есть несчастный, неожиданный для наших героев, случай.

— Ну, а если события неблагополучны, тогда то, что мы будем описывать, должно быть благополучно?

— Если оно неожиданно.

Герой **не должен знать** смысла событий, свершающихся вокруг; даже **понимать не** должен того, о чем ясно говорят окружающие.

Тогда узнавание будет неожиданным для него и сильным.

Не знать и не понимать может не только один герой, но и еще кто-то из окружающих его.

Сцены узнавания.

Узнавание не ясное, исследование, расспросы.

Выводы; может быть и ошибочные.

Самое движущее в романе — преследования. — Это относится не только к уголовному роману.

Преследование:

а) прямыми и косвенными врагами,

б) обстоятельствами,

в) своими склонностями, характером,

г) не только тебя, но и ты преследуешь. Случается, ты и другие вместе.

По-видимому, преследование (ловля, погоня, поиски) основной мотив всей литературы. (Можно преследовать и самого себя.)

МОТИВЫ

Романтическая драма и роман не показывали разложения семьи, перенеся драму на столкновение борющихся полит[ических] партий или групп, а также родов, феодалов, сеньоров.

В «бытовой» драме действие перенеслось в семью, где происходит борьба за «семейное счастье», за поиски жены или, позже, любовницы или любовника в среде семьи.

Сейчас драма перенесена в контору, в партийную организацию, на завод, в министерство. «Счастье» заключается в наилучшем применении своего труда и знаний, борьба за свое знание, выдумку, за свою мечту. Любовь? Она, по-видимому, «приложится». Лирика — стоны об отсутствующей любви рассматриваются как то, что ты не в состоянии применить свой труд и — завоевать любовь,

Прошлое в драме может влиять как отдаленное (грехи молодости или даже грехи отцов, у Ибсена; что-то скрытое, которое, казалось, и не выйдет никогда наружу, а вот вышло: «Борис Годунов») и как самое близкое, очень важное для лиц, находящихся на сцене, но случившееся только что за сценой (например, у Шиллера «Заговор Фиеско»). Если первое придает действию оттенок некоторой лиричности, то второе, наоборот, сообщает происходящему динамичность. Таким образом, драма способна вместить все обширное содержание романа и выходит — из-за происходящих событий за рампой — далеко за пределы сцены.

Писатель постоянно сравнивает прошлое и настоящее, отсюда выводя заключение, что настоящее проходит, походя на прошлое, и его стоит и уважать, и презирать за свои мелочные страдания, которые повторяются и ничтожны.

— Гений не объясняется без исторических условий, среди которых он действует и развивается. Но вся его особенность состоит в том, что он не объясняется из них одних.

Индийское и египетское религиозное искусство было ближе к метафизике, чем греч[еское]. Индусы и египтяне, понимая, что человек не в состоянии передать сущность божества, делали божество разнообразным, разноликим, неуловимым. Греки, с их скудным воображением, просто изображали богов в виде прекрасных дам и мужчин [только], ростом выше обыкновенного. Тогда, когда религия католическая исчерпала себя, разложилась, естественно, что воскресли греческие боги. Пришло «Возрождение».

Романтизм не изобилует побочными деталями. «Дон-Кихот» роман реалистический в силу того, что там развита побочная деталь — Санчо Панса, а не в силу самого Дон-Кихота, который без Санчо Пансы неправдоподобен и холоден, как шуба без подкладки, без меха.

Чрезмерное количество второстепенных деталей создает натурализм — язву современного искусства. Мы все в язвах. И очень радуемся,— юродивые, а отчасти и страстотерпцы.

Жанр в живописи, юмористика, карикатура — показ ошибок. Можно написать воображаемого путешественника в воображаемой стране, можно ученого в воображаемом царстве исследований; можно написать воображаемого революционера в царстве воображаемо революционном (намек на то в «Государственном перевороте»); таков и воображаемый волшебник («Похождения факира»); воображаемый строитель (дядюшка в «Тристрам Шенди»); воображаемый любовник и его похождения (воображаемый Дон-Жуан); воображаемый скупец и так далее.

Воображаемый конфликт может быть и героическим воображаемым конфликтом (каковым и был Дон-Кихот) и просто смешным (Тартарен или Пиквик,— он не был героическим, но на какой-то грани героизма) или же даже трагическим, оканчивающимся гибелью героя (пожалуй, тот же Дон-Кихот, хотя там смазано тем, что он понимает, что у него был воображаемый конфликт, а герой не должен понимать).

[ТАЙНА В РОМАНЕ]

У человека есть мучительная страсть: любопытство, желание знать, что скрывает другой. Если эту страсть нельзя удовлетворить, о человеке выдумывают, предполагают. Отсюда — сплетня. Это относится не только к частной жизни людей, но этим проникнута и общественная жизнь. Часто говорят: «интересно, что скажет на собрании», надо понимать, что этот человек приподнимет какую-то завесу, откроет что-то тайное, то, что тщательно скрывается друг от друга. Нарастающие общественные движения — объявление того, что было тайным: мести, желание свершить месть, наказать за преступление, развязка романа тайны.

Страсть разгадывать характеры людей, их возможность к поступкам будущим или прошедшим.

Что такое тайна в романе? Боязнь мести за свершенное преступление — со стороны **«верха»** (совести, религиозные, или политические, или художественные идеалы) или со стороны **«низа»** (физическая сила· убийца в сыскном романе, пираты, авантюристы и полит[ические] проходимцы в авантюрном, владеющие высокоорганизованной материей в фантастическом; соединение сыскного и авантюрного типа в романе историческом, так как исторические деятели, в большинстве своем, представляют злую силу). **Разоблачение тайны:** постепенное открытие за что нужно мстить.

Тайна — сокрытие — происхождения, воспитания, средств финансовых и общественного положения. Это, может быть, имеет оттенок преступности, так как с чем-то связано, с какими-то ошибками («Тайна корабля»). ⟨...⟩

Тайна. Случается не только какое-то огромное происшествие (вроде убийства, ограбления банка или подлога), но бывает часто цепь происшествий, связанных одной нитью, скрепленных каким-либо «нечто», источник чего мы не знаем. Часто это делает неизвестный нам человек или общество; или же, наоборот, известное общество, группа людей или человек, характер и причина поступков которых нам неизвестны. Для чего? Зачем? Почему? Кто? Когда? Иногда объясняется первая группа происшествий, тогда за нею следует вторая; объясняются две — идет третья, и так до конца, пока не будет известно все.

Тайна как орудие борьбы. Роман и рассказ тайн. Важно изучить строение тайны. Течение ее намека: зачем, кем, почему, где это сделано? Кем похищено, убито, подделано, вообще — кем свершен проступок?

Открытием тайны можно убить или воскресить человека. («Это не твой сын»,— говорит жена мужу у постели больного ребенка. Умирает чужой ребенок. Умирает холостяк. «Это — ваш сын»,— говорит холостяку чужая жена, и холостяк выздоравливает, встает. Это было десять лет назад, они кутили, он был пьян, быть может, единственный раз в жизни, и вот... это его ребенок.)

Так называемый «роман тайн»— это тоже игра на противоположном. а) Смерть или сокровище — причину нахождения их легко узнать и открыть; б) то же самое, но весьма скрытно, так что нужно прибегать к множест-

ву ухищрений, чтобы узнать, как это произошло. Прячут. Ловушки, грозящие гибелью тем, кто отыскивает причину. Неправильные следы: уход в сторону. Убийца — не тот, про кого думают, и отсюда — неправильное обвинение. 〈...〉

«ТАЙНА» В РОМАНЕ

Мне кажется, тайна в романе создается просто. Вы уводите читателя в сторону, предлагая ему лживые объяснения происшедшего случая. Чем объяснения эти правдоподобнее, тем больше у вас шансов, что конец будет убедительным. Даже самый нелепый. Можно, конечно, лицу, открывающему тайну, свершать открытие этой тайны, не давая объяснений, а приберегая их к концу. Но это годится для рассказа, а не для романа.

Тайна («роман тайн»). Всякое художественное произведение начинается с тайны, то есть с событий, которые уже совершились до поднятия занавеса, до начала романа или рассказа или стихотворения. Уголовная тайна или тайна романа приключений — это тайна, которой, в сущности, окончен уже роман, нам неизвестный. Уголовный роман — это раскрытие причин и следствий неизвестного нам события.

Так же строится и действие в пьесе: раскрытие неизвестного нам события (романа или лирического рассказа). Оканчивается действие и происходит в следующем: [в виде] причин и следствий того, что было в воображаемом перерыве, то есть в антракте, как бы произошел еще роман или, вернее, глава его, нам неизвестная, скрытое второе действие. Третье действие может быть продолжением реального первого или второго, так же как четвертое, которое должно раскрыть все тайны или же отдельную тайну первого действия (начала).

Если в романе показывается убитый или рассказывается об убийстве (то есть конечный пункт неизвестного нам романа-события), то в пьесе это должно быть показано криком, выстрелом или рассказом о только что свершившемся, реакцией немедленной на все происшедшее...

«Роман тайн» — вначале мы видим только следствия неизвестного нам романа, не зная причин. Открытие причин — может дать такие же опасные следствия, как и в том романе-событии, который нам неизвестен по при-

чинам, а не следствиям, конечно. Ход раскрытия причин по частям может вызывать и соответствующие следствия, тоже по частям, восстанавливая картину неизвестного романа-события, но может и не вызывать.

Ход причин показывает характер лиц, свершающих или свершивших роман, клубок их взаимоотношений, экономическую и политическую или семейную зависимость друг от друга и т. д., вплоть до второстепенных или третьестепенных лиц, причастных к роману, чтобы прийти к первоисточнику, к первопричине...

Роман тайн — может развиваться не только как уголовный роман (поиски преступника), но и как роман тайных чувств: поиски каких-либо важных для данного лица чувств («Кроткая») — любви, ненависти, отвращения и так далее, равно как и узнавание чего-либо хотя и не важного, но раздражающего («Три года», где Лаптев только в конце узнает — сколько у него денег, сколько получают приказчики и вообще жизнь амбара). В «Степи» тоже такая же тайна: Варламов, которого все ищут (хотя тема эта и не развита), а равно и тайна предстоящего ужаса ученья.

— Тайна чувств: узнают о чувствах, и так как эти чувства должны превратить в действия, то ждут этого действия, а затем новых чувств и новых действий...

Рассказ «Баня» (о Капице), когда академика благодаря интригам изгнали из лаборатории, где он уже почти свершил огромное открытие, но он его, поселившись в бане, продолжал и завершил. Когда же его призвали затем и, вручая награду, сказали, что враг разоблачен, академик сказал:

— Жаль. А я думал, что совершу еще одно открытие. ⟨...⟩

«Верх» и «низ» в авантюрно-сыскном и приключ[енческом] романе (Дюма, К. Дойл, Р. Хаггард и Р. Стивенсон). Верх,— сила не философская или нравственная, а просто грубая или, вернее, ловкая и предприимчивая сила, применяющая для достижения денег все «ловкости» современной цивилизации. (Ловкие мушкетеры, ловкий и принципиальный Ш[ерлок] Холмс, ловкие авантюристы в «Копях царя Соломона», приманивающие наивных и жестоких туземцев; ловкие буржуа у Стивенсона — «Остров сокровищ».) И общественный,

грубый и жестокий «низ»: подонки — пираты и убийцы, толпа. У О. Бальзака философ —«низ». Наверху: мошенники — каторжники, вроде Вотрена, ловкие, умные. Перемещение «низа» и «верха» лучше всего, пожалуй, показано в «Докторе Джекиле и мистере Хайде».

Контраст среды:

а) технический: техник и ученый перебрасываются туда, где они не в состоянии, казалось бы, применить своих знаний («Таинственный остров»).

б) бытовой — перемещение в другой быт и другую социальную среду («Принц и нищий» или «Отважные мореплаватели»). Верх и низ общества. 〈...〉

Совр[еменный] сыскной роман похож на **рок** древней трагедии, то есть судьба человека предугадана, и сколько ни борись сыщик, а рок не победить. Рок, как известно, предсказывает человеку гибель. Злодей-бандит воплощает «я» современного человека. Он, свершив преступление, вольное или невольное, пытается скрыться, спрятаться. Дуализм человека, его злое — в преступнике, его справедливое — в сыщике, в погоне, поисках, догадках, работе мысли. (Любопытно испробовать бы работу сыщика в современной науке — физике, биологии, философии, вооружив его всеми современными знаниями.)

О ДЕТЕКТИВНОМ РАССКАЗЕ И РОМАНЕ

Убийство.

Обычно две гипотезы,— если это рассказ — кто убил? Одна неправильная, другая правильная. Лучший пример: Холмс.

В романе можно развить несколько ложных гипотез и одну.

«РАССКАЗ-РОМАН ТАЙН»

Сначала описывается преступление, большая ошибка, бедствие. Как? **Кто?** Где? Второе обычно упускается. Причин преступления несколько, и все они сомнительны. Попытки скрыть преступление. Две-три или больше версий причин свершения преступления. Вначале появ-

ляются намеки на причины преступления, которые помогут позже распутать всю картину.

Такова несложная схема того рассказа-романа, который так трудно или невозможно осуществить.

Раньше это называлось рок. Роковое или, если хотите, божеское, ведшее к гибели, неотвратимому заблуждению, ко всему тому, что носит теперь название бессознательного, неясного мотива, что влечет за собой, изменяет нормальный строй жизни.

Поиски — вот основная нить в приключенческом или детективном романах, будь то поиск сокровищ или поиски убийцы. Разумеется, эти линии поисков могут быть объединены: замечательно у Стивенсона («Тайна корабля») — искали сокровища, а нашли убийцу.

В начале поисков дается намек на возможность похищения сокровищ или убийцы, что обычно делается появлением убитого: «Гамлет». (Это что же, детектив? Да, если смотреть формально. Но формально смотреть вообще глупо.)

Поиски начинаются. Подбираются новые намеки и доказательства.

Затем выступают противники с их контрпоисками.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ШЕКСПИР И ПРОЦЕССЫ ВЕДЬМ

Ведьмы из «Макбета». Что он в них показал? Это единственное упоминание о ведьмах, хотя по настроению общества, казалось, вся его драматургия должна была б [быть] посвящена борьбе с ведьмами. Это совсем не тот солнечный и веселый Шекспир, о котором пишет Бернард Шоу. Шекспир говорит:

— Люди жаждут освобождения от несчастий и болезней. Уничтожат ведьм, и на земле будет великолепная жизнь. — Где? — Как? — За великолепной и радостной жизнью шли в Палестину крестоносцы. Вспомните поход детей — крестоносцев, проданных в рабство! Я хочу освободить человечество от кошмара видений, увлечь его в сторону страстей; театра.

— Увы. Вы создадите только еще один мираж — театральный, благодаря которому люди будут думать, что они спасутся скорее, если будут день и ночь сидеть в вашем театре. Но спасение не придет...

— И меня сожгут как ведьму, так как будет решено, что спасение придет тогда, когда исчезнут все театры.

Толпы кочевников Чингисхана шли за спасением в Европу. 〈...〉

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ, ДЕТЕКТИВНЫЙ РАССКАЗ И РОМАН ТАЙН

Клевета, в результате которой человек и его семья, его друзья претерпевают разоренье, тюрьму, страдание, смерть. Дальнейшие последствия клеветы: месть, забытье или прощение?

Месть. Месть может быть мгновенной — убийство за оскорбление и т. д. И в более редких случаях (для романиста прельстительных) растянутой на многие годы. Конфликты среди людей, имеющих отдаленное отношение к мстящему («Граф Монте-Кристо»), неожиданно разрешаемые местью.

Разыскивание людей или вещей, поиски в пространстве, поездка и путешествие, чтобы подтвердить догадки, возникшие при чтении какого-либо документа (вроде «Острова сокровищ» или «Детей капитана Гранта»),— наиболее популярный способ кладки романа. И с другой стороны, «робинзониада»— строение счастья на пустом месте при полном отсутствии и «инструментов» и помощника (от «Робинзона Крузо» до «Таинственного острова» и так далее). Похищение — это, в сущности, тоже повод к поискам-поездкам. Доставка какого-то важного документа или предмета. И — помехи, преследования при этой доставке.

Но надо, чтобы человек, герой ваш, жаждал все это сделать!

Еще, пожалуй, важнее, чтобы не жаждал (приходилось сделать).

Цель, образующая характер, может быть не одна, а несколько, может быть расходящихся друг от друга или противоположных.

«Внутреннее» и «внешнее действие»— деления совсем условные, но, может быть, чем-то помогающие художнику. «Внутреннее», то есть то, что прямо носило назва-

ние «внутренней драмы героя», то действие внутри, о сути которого герой или плохо отдает себе отчет, или, в силу различных причин, не хочет отдавать отчета миру внешнему. «Внутренняя тайна», разрешение которой миру внешнему остается неизвестным. Образ героя этой «внутренней драмой» обогащается.

Поиски — погоня (ради благородного дела — поиски капитана Гранта в «Детях капитана Гранта»), спасение людей ради наживы («Остров сокровищ»), поиски просто наслаждений (творчество Кнута Гамсуна), поиски преступника (Стивенсон, опять «Потерпевший крушение» и множество других рассказов и романов), поиски с целью мести, вознаграждения...

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Что такое рассказ?

Это событие, которое можно передать своим друзьям и знакомым, не думая, что удушите их скукой через двадцать — тридцать лет после того, как оно свершилось.

Казалось бы, пустяки, а сколько тут правды.

Эта мысль отрывает вас от бремени пустяков, свойственных сегодняшнему дню, делает ваш рассказ многозначительным, серьезным, глубоким — и в первую очередь оптимистическим. Да, да! Дальность событий делает нас оптимистами хотя бы потому, что хорошие концы редки, а плохие часты, а потом — почему хороший, благополучный конец менее убедителен, чем плохой? Мне кажется, что в двадцатых годах, подражая Чехову и Бунину, мы в конце своих рассказов вешали, топили, умерщвляли всеми способами своих героев, думая, что это и есть реализм, жизненная правда. А дальнейшая жизнь показала, что наши герои способны выносить такое, что и не снилось господам беллетристам «страшной» школы.

[ПЛАНЫ КНИГИ «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ» НАБРОСКИ ПРЕДИСЛОВИЯ К НЕЙ]

Первая тема,— **историческая,**— индивидуализм, внутренняя, а значит, и внешняя, свобода, полное выявление как умственного, так и чувственного «я». Возрожде-

ние — через эллинизм — и русское возрождение. Легенда об эллинизме как о свободе, но на самом деле он был узко догматичен, и наряду с Платоном существовали тысячи ретроградов, регулировавших жизнь, о которой мы имеем теперь лживое представление.

Вторая тема — **завоевание свободы.** Человек освободился, насколько это возможно в его силах. Чувственная и умственная свобода. К чему же она ведет? К счастью? И что такое счастье — если в лучах свободы все равно человек чувствует себя закованным?

Отказ от свободы, хотя формально человек называет себя свободным.

Новая догма. «Ни на сантиметр от закона». Государственная, семейная, художественная догма: ясность отношений, узость жизни, даже в пище.

Пример. Рассказ «Скала». Внизу по дороге идут два врага. Если они уступят друг другу дорогу, они спасут и себя и — один свою семью, ради которой он идет, другой — друга. Первому нужен врач, другому — правда о друге, иначе тот погибнет. Я повис над ними и в то время, как они стоят друг против друга, говорю речь. Они под конец падают в реку, так как броситься друг на друга им не позволяет закон. А я их спасти мог только речами. Они — счастливы, хотя и гибнут.

Третья серия — **современная,** — рассказы о счастье, достигнутом благодаря догме. Химера? А почему? Конечно, с точки зрения индивидуализма — химера. Но ведь они действительно счастливы. **Долг.**

Конец. «Лампа Аладдина» — это и есть индивидуализм. Когда я посмотрел на проявления его, я отнесся к нему с презрением. Он не дает счастья. Узкий — пусть! — догматизм приносит больше счастья, чем все сочетания индивидуализма. И вот, наконец, мне, измученному индивидуализмом, опять попадает волшебная лампа. И — я разбиваю ее. Она — медная, но я с наслаждением ее расплющил, хотя и плакал в это время и жалел после того. Но — так лучше. ⟨...⟩

ПРЕДИСЛОВИЕ

Волшебника заменил ученый или «миллионер».

Иванушка-дурак, добродушный и неприхотливый, попрежнему женится на Василисе Прекрасной, а его злые братья остаются в дураках.

По-прежнему есть клады.

По-прежнему человек рвется к счастью, а получает его в сказке — полностью.

По-прежнему вознаграждается добро и карается зло. Редко, но зато до конца!

Преодолев уйму препятствий, герой, сохранив здоровье и прямую спину, наслаждается жизнью и довольством.

Если думать, что сейчас все счастливы, то это ложь. Но несомненно, что каждому хоть раз выпадает счастье. Умирать редко кому приятно. Но мы думаем: «не мне, а тебе!»— мысль эгоиста. Умереть за родину и ее идеалы приятно. А так как войны,— при крупных идеалах,— неизбежны, то это счастье доступно многим. Я не говорю буквально о смерти, а о страданиях, которые, пожалуй, будут тяжелее смерти. Но эти страдания,— после того как они кончились,— кажутся человеку счастьем.

«Конек-горбунок» — волшебный конь, мечта кочевников.

Что может быть волшебного у казака иртышского, что не роднило б его ни с Доном, ни с Украиной? Конь? Сабля? Ружье? Седло? Лодка?.. **Мех неведомого зверя?** («Шагреневая кожа» Бальзака).

Мех — на Иртыше.

А какой чудотворный предмет в Москве. — Любопытные параллели: иконы, мощи, ладанки. — Картины, статуи, украшения.

Да, да! Разумеется, — Арктика, пустыня Средней Азии, Кавказские горы... очень красиво, романтично... Однако вглядитесь в Подмосковье осенью или ранней весной, когда грязь по колено, сыро, мерзко, ветер пронзительнейший,— уверяю вас, что здесь иногда обычное дело свершить более трудно, чем в условиях Средней Азии, то есть я говорю о сопротивлении природы. Я недавно видел, как в подмосковном лесу, с помощью гусеничных тракторов и грузовых автомашин, ставили огромные мачты высоковольтной передачи. Хм. Трудновато, трудновато, да и опасно. А сколько,— от различных случайностей,— гибнет людей просто на улицах Москвы!... Вот мне и кажется, что места «приключений» было бы интересно перенести в Москву и Подмосковье, просто — на дачи.

Романтика дач? А почему же нет? (**«Поэт».** Беседа литераторов.)

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В совр[еменном] фант[астическом] романе изобретение должно охватывать весь народ.

Вследствие «волшебной воды» поэтическое вдохновение, которое овладело поэтом, охватило всю Москву, а затем и весь советский народ. Стихи стали читать все (а до этого не читали — книжный продавец, торговец и печатник («Библиотека поэта»).

ГЛАВА ПЕРВАЯ — ПОЯВЛЕНИЕ ЭКСТРАКТА

Не без смущения вожу я пером своим по бумаге. Чертовски неприятно писать! С одной стороны, описываю самые реальнейшие события, да и погода способствует тому: не то слякоть, не то изморозь. Выйдешь на улицу, посмотришь на мокрые заборы, на съежившиеся и осунувшиеся ели, начинаешь шлепать по грязи, стираешь с лица сырость, сторонишься от пробегающих грузовиков, которые, того и гляди, окатят тебя грязью, глядишь на тусклое, закрытое серыми тучами небо,— какая уж тут фантастика, черт возьми! Но с другой стороны, то, что происходит с моим другом Г. А. С., никак нельзя отнести к событиям вполне реалистическим. Я уже вижу лица критиков, которые будут читать если не мой напечатанный роман, то рукопись, которую я непременно пришлю в какую-нибудь редакцию. Ага! «Никак нельзя отнести к событиям реалистическим...» Что это значит? Мистические события, значит, с ним происходят?

Мне хочется объясниться. С моим приятелем происходят события фантастические. Мистические события — это такие, которые можно объяснить действиями трансцендентальной, то есть непознаваемой, силы. Фантастические — это такие, которые вполне объяснимы научно. Но наука или еще не дошла до объяснения, или же не имеет вам почему-либо желания объяснять. Например, появл[ение] Галилея — это вполне реальный факт. Но в его время много людей, затуманенные церк[овной] пропагандой, не в состоянии были просто понять реальность этого факта и считали его фантастикой. То же самое и с экстрактом «№ 24». Я сам, по совести говоря, сомневаюсь, существовал ли он и может ли существо-

вать вообще. Ведь события с моим приятелем, при сравнительно небольшой натяжке, можно объяснить самым реальнейшим образом. Они и объяснены. Беда только в том (то есть это беда для меня, для моего внутреннего состояния), что я не верю в эти объяснения, м[ожет] б[ыть], потому, что я всю жизнь стремился к фантастике: мне хотелось свершать необыкновенные поступки. И я их свершил. Я был партизаном; охотился на медведей; падал в пропасти, расшибался. Теперь мне за 60, я живу на пенсии и, для заработка, вырезаю из липы замысловатые игрушки. ⟨...⟩

Я прямо говорю, что эти рассказы вымышленные. Для нынешнего читателя, который ненавидит сказку, нужно, чтоб сказка была «на самом деле». Он согласен верить сказке, то есть вымыслу, в том случае, если вымысел существовал, то есть он поверит в несуществовавшее, если сказать, что оно существовало. Зачем стыдиться вымысла?

[ИСКУССТВО ЕСТЬ АНАЛИЗ]

— Сущность науки: в классификации. И ложность в науке — ложность классификации.

— Если минералы, металлы, физические и химические силы классифицируются по тому, как они относятся к условиям, в которые их ставит экспериментатор, то искусство — это классификация того, как ведет себя человек, поставленный в (благоприятные или неблагоприятные) условия своего развития. Следовательно, автор — экспериментатор.

Пейзаж, лирика, музыка — эксперимент, производимый автором над самим собой. Разумеется, это нисколько не избавляет автора от лжи, так как возможность лжи в искусстве — беспредельна. В искусстве может быть такая же ложная классификация, как и в науке, и даже, пожалуй, больше.

Рассматривая жизнь человека, народа, животного, мы замечаем, что слово **«назначение»** является всегда после того, как мы охватим главные факты, составляющие жизнь каждого из них, факты, которые мы считаем необходимыми. Рассматривая **гений** поэта, уче-

ного, политика, общественного человека, мы находим, что слово это является у нас после того, как мы заметим **главное действие их жизни, вместе со способностями и наклонностями,** побудившими их к этому действию.

Точно так же поступаем и со всеми другими идеями. При всяком случае мы воссоздаем **идею,** приводя частное обстоятельство, порождающее ее. Мы отделяем потом это обстоятельство, делаем ощутительным и, **повторяя** его **несколько раз,** увеличиваем, то есть обобщаем его.

Мы нашли изменения в жизни и чувствах человека.

Но нам неизвестен целый ряд обстоятельств, предшествующих этому изменению:

Какие промежуточные состояния были причиной изменения?

Одновременны ли они были или разновременны?

Движения?

Вещества?

Какие составные части? Какова пропорция этих частей?

Откуда произошли сопротивляющиеся обстоятельства?

Какие образовались противники?

Как действовали враги и друзья?

Какие они произвели изменения? И какие он в них?

Таким образом, грубая масса человека, видимая нами мельком, перерастает в **последовательный** и подробный каталог фактов, все более усложняющийся и усиливающий характер человека.

Факт бывает, в результате исследования, не более отличительный, но более сложный.

Характер делается не более ясным, но более убедительным. Он выражает не более точное обстоятельство, но **больше** обстоятельств; усложняя жизнь, увеличивая ее красоту, так как, по-видимому, красота современной жизни — в сложности ее.

Прямой опыт дает нам много фактов, но не те, которые нужны искусству. Поэтому если бы искусство ограничилось только этими фактами, то оно открыло бы немного.

Поэтому искусство,— как и точные науки,— должно экспериментировать, то есть изменять наблюдаемого человека, подобно тому, как ученые изменяют предмет посредством разрезов, вымачиваний, инъекций, химических операций и так далее.

Анализ состоит в умножении фактов. Искусство есть анализ.

А для умножения фактов необходимо **изменять положение человека,** как ученый изменяет наблюдательные орудия или изменяет наблюдаемые им предметы. Вот почему всякое умножение фактов порождает отдельную часть науки, а всякий способ заменять наблюдательные орудия или изменять наблюдаемые предметы увеличивает количество фактов. Издали — это **единичный** факт, вблизи — **сложный.** С первого взгляда вы наблюдаете одно только **видимое** действие, например лежащую перед каким-либо человеком книгу. Но, собрав десятки или сотни фактов, относящихся к этой книге или книгам (как, например, музей Горького), вы увидите действие ряда дотоле еще неизвестных обстоятельств, целую группу внутренних, нравственных фактов, которые сопровождают видимый и внешний факт.

Всякий исторический факт влечет за собою целый ряд внутренних: всякое учреждение указывает на классовый, национальный характер, на состояние общественного духа, установившее его. Государство, литература, философия, религия, семейство, общество, правительство, всякое учреждение и внешнее происшествие влекут за собою и раскрывают целую совокупность внутренних происшествий и привычек. Внешность выражает внутренность. История проявляет психологию. Лицо открывает душу. Анализ прибавляет к миру физическому мир нравственный, дополняя происшествие чувствами, вызвавшими его.

Но в психологии, как и в физических науках, для того, чтобы умножить число наблюдаемых фактов, нужно видоизменять самые орудия (способы?) — наблюдения.

Анализировать — значит переводить, то есть по признакам открывать отдельные факты, составляющие целое. 〈...〉 Произнося слова —«упрямый», «скупой», «широкий», «умный», я должен указать, на какие другие

слова разлагается каждое из этих слов и каким фактам соответствует.

Жизнь есть движение разрушений и обновления. И это движение складывается из отправлений и устройств, делающих это движение возможным.

Возможность движения обуславливается отношениями и необходимостью, связывающими подчиненные факты с главным. ⟨...⟩

АНАЛИЗ

Сравнение одних единичных фактов с другими; одних индивидуальных отношений с другими отношениями.

Орудиями различения бывают единичные идеи и их связи.

Таким образом, при сравнении двух привязанностей может быть замечена разница в их продолжительности, то есть более краткого продолжения одной и менее краткого другой. Испытание — на время.

Пусть будет также замечена разница в твердости обеих привязанностей, выразившаяся в случаях их испытаний. Испытание — на крепость чувств, преданность, верность обещанию, моральным правилам. Испытание чувствами. ⟨...⟩

Сближение в мышлении с другими случаями реальных отношений.

Анализ индивид[уальной] деятельности посредством общих идей. Реальные факты сближаются с общими идеями и единичные реальные отнош[ения] с общими: подведение единичного под общее, чтобы открыть столько же различных свойств и отношений, сколько оказывается общих идей, под которые они подведены. Таким образом, мы различаем в наблюдаемой нами вещи свойство плотности, веса, круглой фигуры, цвета, не обращаясь к сравнению ее с другими единичными вещами, а подводя ее под свойственные нам общие идеи плотности, веса, круглой формы.

Случайная классификация вещей, опирающаяся на сравнение единичных реальных факторов или умственное сближение их единичных идей, соответственно характеру, везде находящему одну или несколько причин, свойственных ему с общими идеями, как постоянными формами данного человеческого мышления.

Случайные сборища вещей: куча минералов, группы растений, стада животных, сборище людей. Все это немедленно перераспределяется в мышлении соответственно тем сходствам, которые находит в них характер. Взгляд, обращенный определенным характером, производит новую группировку наблюд[аемых] деревьев (строительные, грибные, внушающие ужас — можно заблудиться, художественные и т. д.); взгляд на стадо животных соединяет их в **свои** группы (мелкий скот, крупный, опасный, чужой, лошади, коровы, свиньи и т. д., общий всем или же частный); взгляд на собрание людей выделяет в мышлении отдельные группы, так или иначе необходимые характеру (молодые, старики, любезные, знаменитые, умные, глупые, зловредные и т. д.).

Куча вещей, не разобранных издали, с приближением к ним (не только пространственно, но и психологически) становится видимой отчетливо, и бросаемый на нее взгляд мгновенно **разделяет** ее: на — людей, толкующих между собою; лошадей, которые стоят возле людей, собак, тут же лежащих; телеги, предмет продажи — если это ярмарка. Разделение может быть и психологическим (часто невнимательный взгляд на площадь делается очень разделяющим и группирующим, если к этому будет повод).

Общие идеи человека представляют **систему идей,** обнаруживающую различные ступени обобщения его индивидуальной деятельности, классификацию всех вещей и явлений, которые ему доступны. Умственный тип индивидуальной деятельности не требует для своего создания бесконечного числа сходных явлений или вещей: достаточно отношения к одной вещи или явлению. (Если Лир добр к дочерям и к своему слуге, это вполне доказывает его доброту. Если Отелло ревнив к Дездемоне, ему нет надобности заводить себе еще трех жен или любовниц.)

Поэтому и описание природы должно быть глубоко индивидуальным. Поле — для мужика, художника, инженера, бюрократа, охотника? Заинтересованного или нет?

«Что такое реализм?» Это попытка «обмануть» людей правдивостью,— мнимой, конечно,— изображения вас окружающего и, таким образом, внушить вам свои идеи. Реализм, по возможности, старается отодвинуть

от себя подальше фантазию, и он часто выдает фантазию за факты, которые будто бы он наблюдал в жизни. Совсем фантазию он отрицать не в состоянии: читатель и зритель, понимая, что искусство есть искусство, не может вчистую отказаться от фантазии. Романтизм ⟨...⟩ **все** выдавал за фантазию, вплоть до существования нашего мира. «Хотите верьте, хотите не верьте». Что лучше? А ничто. То, что талантливо, то интересно, не более. Жизнь очень страшна, и наслаждение искусством — удел редких. Да и эти редкие вплотную наслаждаются им редко. А остальные несут свой жребий «от века до века, чему же нет конца».

Еще — **подражательность.** Я не думаю, что из подражательности можно строить систему, охватывающую все стороны бытия. Это — частность, иногда существенная, если у человека есть возможность и средства для развития подражательности.

Тогда он не только то, что он есть на самом деле (и чему мы изумляемся, узнав это), но и что он, сам перед собой или другими, изображает, разыгрывает. Повторяю, это опять-таки зависит от возможностей, предоставляемых ему общественным строем или его силами. Не может же он разыгрывать силача,— тогда получается хвастовство. Хвастовство — подражательность в воображении.

Один изображает скупца, другой — расточителя, третий — труженика, четвертый — лентяя и так далее. Ну, конечно, изображение должно соответствовать мечтам и воображению, может быть, созданному искусством?

ПРИТВОРСТВО, ИГРА, ДУРАЧЕСТВО

Все это не так редко, как вы думаете. Прежде всего, очень многие живут по воображенным образцам,— к счастью, эти образцы не столь подробно описаны, а лишь поверхностно, общо. Скупец, расточитель, добряк, злой и т. п. Воспитание к тому же заключается в том, чтобы жить по образцу — воздержанности, трудолюбия, уважения к старшим, к авторитетам. Некоторые из «трудновоспитуемых» живут просто: наоборот.

Существует, например, среди русских интеллигентов представление о типе писателя. Он — добр, учит, отве-

чает на письма, собиратель книг и прочих редкостей, хранит переписку, а создав себе имя, ездит за границу и дружит с европейскими писателями. Все остальное приходит само собой. ⟨...⟩

И черт с ними! Пусть подражают хорошим образцам, чем выявляют свою тупость, пусть и оригинальную.

Искусство есть изображение несуществующего как существующего. Актер изображает сцену повешения или убийство без веревки, ножа и пистолета. Вообще актер изображает страсть, которой на сцене нет и быть не может; и если бы она была, тогда это было бы не актерским исполнением и не сценой.

Еще более поразительно это в книге. Говорят, автор должен испытать страсти, изображенные в книге, видеть людей и природу, им описываемую. В слабой степени это правда,— да и правдой это стало после того, как воцарился так называемый реализм, то есть попытка изобразить словами — кистью — резцом природу и внешность — окружение — человека; попытки эти стали успешны лишь после того, как жизнь людей несколько унифицировалась и стала доступна изучению. Тогда же, когда люди жили различно (Рим — Индия — Китай) и мало, стало быть, знали друг о друге, подобные попытки не могли быть успешными.

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

История есть история. Ее понимают так, что она **либо** стоит на месте, в застывших формах меняя содержание; (древние), **либо** — ухудшается (от золотого века к современному «гнилому»), **либо** — совершенствуется (идя к золотому). ⟨...⟩

Образ, то есть человек, его характер, способ жить, чувствовать, работать, его столкновения с другими людьми: семьей, семьями, профессией, обществом,— создает книгу, которая порождает идею об обществе, человеке и так далее. Это несомненно. Мы, таким образом, подходим к идее.

Любопытно вот что. Книга ведь тоже возникает благодаря идее автора: показать то и то. Скажем, в своих книгах «Партизаны», «Бронепоезд» и т. п. я намеревался показать революционное движение среди сиб[ирских] крестьян в послеоктябрьский период, как защищающее

законы Октября. Такова была моя идея. Затем я написал книгу. Моя идея соответствует ли тем идеям, которые одобряла или не одобряла советская критика? Пожалуй что и нет. Принимали, пока не было лучшего.

А когда появились Фадеев и Фурманов, **мои идеи,** согласно мнению критики, оказались **не моими.** Когда-нибудь, после смерти, они вновь будут **моими,** но тоже как-то по-другому. Но, поскольку живу долго,— приходишь к выводу, что вечности нет. Последняя, пожалуй, и неинтересна. В жизни художника ведь важна степень помощи, оказываемой ему обществом. Помогает общество — легче и лучше работать, не помогает — хуже. 〈...〉

МЫСЛИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПИСАТЕЛЯХ

«Мы изумились. Перед нами предстал совершенно новый человек. Великий протестант умалился до лица Ивана Петровича Белкина, до лица, хоть несколько иронически, но все-таки подчиненного окружающей его действительности».

«Пушкин, созидающий идеалы протеста — «Пленник», «Алеко», «Онегин», «Мазепа»— и Пушкин, пишущий «Летопись села Горюхина», «Повести Белкина», «Капитанскую дочку» (А. Григорьев).

Так-то так. А как же быть с «Медным всадником», написанным во вторую половину жизни Пушкина?

История существует только в учебнике. Нет мемуаров, отдельных биографий, всего бурного потока прошлого. Отчасти есть история техники и медицины, но и там все стремятся к учебнику. 〈...〉

Для того чтобы **многое узнавать** о жизни общества (думаю о Горьком), романисты часто вводят человека, которому почти ничего не известно о жизни данного общества. Приезжает провинциал, человек из другой страны (у фантастических авторов — с другой планеты), из другого класса — низшего или высшего («Принц и нищий»).

У нас этот прием не применяется. 〈...〉

Современный роман впитал в себя элементы архитектуры (М. Пруст или В. Скотт, а также почти все исторические романы), географии (Ж. Верн и приключенческие романы), этнографии («Хаджи-Мурат» и прочее), фольклора («Казаки» и областная литература), истории, науки (фантастические романы и биографии), философии (Достоевский), общественного движения (М. Горький).

ТЕМА СТЕНДАЛЯ

Молодой человек, тщеславный, занятый пустяками, мечтающий о полит[ической] карьере, но в других, более благоприятных условиях, чем сейчас, а пока пытающийся делать политическую карьеру в данных условиях, презирающий окружающее его мещанство, преувеличивающий «шик и блеск» Парижа и меряющий все окружающее на парижскую мерку, наживающий, благодаря притворству, деньги («Федер») или проживающий деньги, нажитые отцом («Люсьен Левен»),— внезапно, вне своей воли, влюбляется в недоступную ему (замужем или вдова, но сдерживаемая общественными условиями провинц[иального] городка и отцом, благодаря чему жизнь женщины не более чем гаремная), воспитанную в иных условиях женщину, терпит от нее различные неприятности и, в конце концов, гибнет.

Я не очень понимаю, почему у нас так превознесли Стендаля. Все основные темы его работ взяты от Бальзака. Бальзак — шире, глубже и хотя тоже много говорит о полит[ических] махинациях, но они у него естественнее, потому что есть другие интересы, а, кроме того, герои Бальзака лучше мыслят. Герои Стендаля — злы, совершенно лишены добрых страстей. Он их сам называет фатами. Самое главное и самое отвратительное — они притворщики, постоянно наблюдающие за собой: «Хорошо ли притворяюсь?», «Как притворяются другие?»

Люсьен Левен и его отец г-н Левен: не история ли страстной любви каторжника Вотрена к Л[юсьену] де Рюбампре? Только там событие это более насыщено действиями, и для того чтоб изложить историю Л[юсьена] де Р[юбампре], Стендалю потребовались бы тома.

Психологический анализ, усложненный сейчас пейзажностью и пластичностью, необыкновенно замедляет действие, что, естественно, привело к М[арселю] Прусту и Д[жеймсу] Джойсу.

Почему врач может гипнотизировать больного? Почему он может подчинять его своей воле целиком?

Исцеление.

Следовательно, всякий, кто обещает нам исцеление, может превратиться в доктора. Фанатики обещают исцеление. Превращение их в докторов. Отсюда действие гипноза. Наряду с этим они самогипнотизируются, так как обещают и себя исцелить, доставить, да и доставляют себе,— полное счастье.

Любопытство — желание узнать тайну, загадку — это своеобразная болезнь. Мир не должен быть загадочным и таинственным, иначе в нем будет трудно жить. Мир должен быть ясным и простым, чтобы здоровый человек мог спокойно бороться. Поэтому нам приятно угадывать загадки, будущее, узнавать тайны, любить людей, отгадывающих тайны и умело избегающих опасности. Удовлетворение любопытства таинственными рассказами и романами вовсе не так плохо.

Философский роман («Война и мир»), объясняющий таинственное движение масс,— разве не то же удовлетворение любопытства?

Человеком владеет безудержное **любопытство** — особенно в молодости. И оно заключается не только в том, чтобы увидеть что-то необыкновенное, но, главным образом, **испытать.** Испытать, как могу страдать **я** или как могу быть счастливым; испытать, **как** другие могут быть счастливы или несчастливы. Даже убийство и то может служить объектом любопытства: «любопытно — как он будет умирать?» Любопытно испытать отвагу, героический поступок, узнать тайну, любопытно узнать и смерть. Торжество загадки — торжество любопытства: что будет?.. Роман, господствующий ныне в литературе, построен на этом и живет этим. Человека знакомят с героями произведений, с их характерами, чтоб он впоследствии с любопытством следил за тем, что случится с его знакомыми, о которых он так любит сплетничать.

Читал Г. Успенского. Своеобразный жанр «плутовского» романа (вот тут можно мне всыпать за формализм!): карьера мошенников и собирателей, основная тема XIX века.

Что такое, однако, общественный роман?

Человек открывает **смысл жизни** (Мих. Иванович) и рассказывает всем об этом. 〈...〉

Поиски личного счастья в условиях открытого им мира.

Каждая эпоха помогает человеку открывать смысл мира — средствами и мировоззрением эпохи. Агитация в эти эпохи может быть совершенной, но организационное уменье: переделки мира — часто будет отставать. И чем дальше в глубину веков, тем серьезнее и глубже это отставание.

Факты угнетения человеческой личности, приводимые открывателем, могут быть из самых разнообразных слоев. Но все они группируются вокруг одного: важности и необходимости открытого.

Герой, помимо смысла жизни мира, может найти способы наилучшего изменения его, и эти способы, под тем или другим видом, сообщить другим (агитатор). И проводить их в жизнь (организатор).

Мучения и перипетии, изменения в его жизни, вызванные его агитаторскими и организаторскими способностями. Однако он идет на этот риск.

«Сомнение». Психологический роман Л. Толстого строится на «методе» Декарта: сомнения. Главный герой «сомневается», что живет правильно, и на этом сомнении начинает переделывать жизнь. Причем сомнение может относиться и к тому, что он, живши действительно хорошо и честно, считает эту хорошую и честную жизнь неправильной, равно как и к тому, что, живши плохо и нечестно, начинает считать эту нечестную жизнь действительно нечестной. Сомнение распространяется на весь быт — сверху донизу — и на все национальности — «Хаджи-Мурат», причем любопытно, что у Хаджи-Мурата не возникает вопроса о нравственности церковной, религиозной; настолько Толстой презирал тогда православную религию. Методы, по-видимому, имеющие свои большие возможности в области психологически-нравственного романа; любопытно, что в одно и то же

время писал А. Дюма, человек, с точки зрения Толстого, совершенно безнравственный. Там «методом» является не «сомнение», а **наслаждение** — наслаждение властью, любовью, жестокостью (Карл и Екатерина Медичи), пищей: люди ради этих наслаждений бросают на чашку весов всю свою жизнь. В известной степени к этому методу близок А. Н. Толстой и, быть может, очень многие из наших писателей, [воспевающих] наслаждение трудом, творчеством, властью над природой. Сомнение, пожалуй,— состояние самое опасное и сомнительное из всех теперешних состояний человека, хотя корни его лежат глубоко в психике совр[еменного] человека, с его могучими средствами смерти.

Сомнение и в своей искренности (тема Толстого), и в искренности других («Гамлет», рассказы Эдгара По и вообще уголовные романы; то же самое, обращенное уже к человечеству — у Толстого). Полное доверие к людям существует, пожалуй, только у юмористов.

[ДЖЕК ЛОНДОН]

Большинство произведений Д. Лондона — повести о многострадальном Иове, с той разницей, что в Библии Иов страдал и терпел ради бога, а здесь ради **жизни** — не наслаждений жизни, а ради непонятной необходимости существования человека, не ради денег, славы, вознаграждения в том или ином виде, нет,— только ради того, чтобы жить, существовать, дышать. Поэтому-то так и близки русским произведения Д. Лондона. Мы тоже часто живем для того, чтобы жить, не осознавая даже величия жизни. Жить, терпеть невзгоды, получать удары судьбы — от природы, людей, зверей, болезней... — и чего-то добиваются маленького.

Миф — есть выполнение или подвиг невыполнимого дотоле, невероятно трудного. Агасфер — миф о бесконечном продолжении жизни, Фауст — о бесконечном познании. Дон-Жуан — о бесконечном наслаждении, Тантал — о бесконечном пищевом наслаждении, Сизиф — о бесконечном труде...

Что еще не охвачено мифом?

а) Бесконечное продолжение войны (рыцарские романы, ныне перешедшие в сыскные); б) бесконечный

спорт (еще нет); путешествия (Летучий голландец); шахматы и т. д.; охота (отчасти — Мюнхгаузен, Тартарен); в) патриотизм, любовь к своей нации, борьба за ее освобождение (Уленшпигель); г) искусство — живопись, скульптура, поэзия, архитектура — нет совсем; д) и затем — по отдельным страстям — честолюбие, скупость, расточительство и т. д.

Г. Уэллс рассказывает о ком-то или о чем-то неизвестном, прихотливом (машина или живые существа: марсиане), причиняющем гибель. И я подумал:

— А что, если будет что-то подобное, фантастическое, но причиняющее не зло, а добро? Скажете — ангел. Но с таким же успехом вы можете сказать о чудовищах Уэллса, что это демоны. Следовательно — добрые чудовища и добрые машины.

И дальше:

— Не на этой ли кривой идет создание нашей новой, оригинальной, советской литературы?

О СОВРЕМЕННОМ РОМАНЕ

1. Наверное, и Лев Толстой и Федор Достоевский очень уважали замечательную прозу Карамзина, но им и в голову не приходило писать «под Карамзина». Их длинные периоды вовсе не означали, что они пишут «под», а просто то, что тогда так писали все, если хотите, это было влияние канцелярского слога. Они писали так потому, что им так хотелось. Мы пишем так, как они, потому что не умеем писать по-своему, а повторять манеры умных людей приятнее и легче. Тетушка Мария Алексеевна скажет: «умница, пишет совсем почти как Лев Толстой или Федор Михайлович, в общем-то я мало понимаю разницу между ними, но твердо знаю, что они классики». Я извиняюсь, если у меня есть что-то непохожее на классиков. Я стараюсь вовсю. Мне совсем не хочется быть оригинальным, боже упаси! Зачем мне это?.. Куда спокойнее быть классиком, чем современником. Дело в том, что классики никогда не бывают современниками.

2. Итак, о современном романе. Что это такое? Не ждите от меня обобщений. Я не уполномочен их давать. Да и сама постановка проблемы сомнительна. Существует ли современный роман,— я говорю не о содержании, а о форме? По-моему, не существует, а значит, и писать об этом нечего. Существует современная тема, а все попытки говорить, что новая тема требует нового выражения, это только признаки вырождения, извините за рифму. Почему новая форма? Атомная энергия разве не употребляет колес, шкивов, зубчатых передач, рычага, то есть всего того, что уже существовало в веках? Мне просто противно писать такие школярские истины. Хочется лишь для поучения. Некоторые молодые литераторы склонны придавать большее значение форме, чем им положено. Я бы хотел их предупредить, поскольку некоторые мои произведения, не все, понятно, да и, боже меня избавь, при жизни! — признаны классическими, значит, для меня самое время, пока еще рука держит автоматическую ручку, поучать; к тому же и положение обязывает, я хотя и на одну сотую классик, все же люблю учить.

Итак, новая форма романа? Ее нет, и, значит, говорить не о чем. Собственно, многие так и думают. Но тогда проблемы нет. Спор идет на пустом месте — петух или курица, когда птицы давно улетели. Есть одна тысячная доля новизны, никак не больше. Хочется, чтоб и ее не было, чтоб ряды были ровны, острижены под одну классическую гребенку. Выкинуты,— опять-таки за немногими исключениями,— метафоры, эпитеты и так далее. Эпитеты остаются прежней силы, приземистый — для положительного героя. Худой, лошадиное лицо — для врага. По одну сторону стоят враги — злые, с хриплыми голосами, щеголи; по другую — простецкие — «наши», сердечные, впрочем, врага, боже упаси, не прощающие. Для народности можно ставить глаголы в конце фразы и вставлять словечки, употребляемые в словаре Даля, 1-е издан. (боже упаси, чтоб на «Б[одуэна] де К[уртене]»!). Хороший молодой человек любит хорошую молодую девушку, но она, глупая, влюбляется в дурного, впрочем, скоро приходит в себя и возвращается к прежнему хорошему влюбленному. Эту схему знал еще и греческий и персидский роман, и через тысячу лет будут писать то же самое.

В чем же, однако, проблема нового романа? В углубленном психологизме и внутреннем монологе? Но это отяжеляет роман. А кроме того, психология, как хотите, в значительной степени, сомнения. Сомнение же, согласитесь, отяжеляет работу. Подошел человек к машине, автомату или станку и, вместо того чтобы работать,— будет думать: пойдет или не пойдет? В то время как он должен думать — как сделать так, чтобы пошел быстрее? Вот проблема для нашего внутреннего монолога.

Некоторые, возможно, подумают, что я пишу пошлость или издеваюсь,— боже упаси! — то есть в смысле издевательства. Зачем? Я если и издеваюсь, то только над самим собой. Говорят, исповедь облегчает. По-видимому, я закоренелый злодей: я исповедовался множество раз, признавал, что грешен, что склонен к новой форме, что мне любы метафоры, эпитеты, неологизмы, древние слова,— и проклятая эта склонность, ломающая и коверкающая классические формы романа, у меня не исчезла. Едва-едва придя с исповеди, я стремился к греху формализма, хотя в душе и трепетал при одном этом слове. Так что все мои издевательства над новым романом направлены в мою же сторону — к самому себе; прошу вас униженно понять только это, никак не больше. — Я хочу уточнить свои мысли.

Кроме того, сомнительно вообще, что глубокий психологизм, сомнения в смысле,— целесообразности и блаженстве всего происходящего,— так уж свойствен человеку XX века. Прежде всего ответственность за все происшедшие позади ужасы, в виде войн, еврейских и негритянских погромов, кровавых преследований своих идейных противников, пыток, лжи, клеветы, предательств, власти денег — ужасно — все это сваливать на других, а никак не на самого себя. Что это за странный психологизм? Почему мы не кричим: «братцы, да ведь мы же все, живущие в эту эпоху, благоденствующие в той или другой степени, хотя бы тем, что еще живы — братцы, но ведь мы же сами во всем виноваты!» Почему отовсюду я не слышу именно этого психологизма как самого важного, а слышу психологические размышления, внутренний монолог о том, что Саша любит Машу, но сомневается, думая, что Маша любит Ваню, а не его,

Сашу? Черта ли мне лысого в вашей Маше! Думайте о судьбах мира!..

Какие уж там, мать ее душу, издевательства! Я просто пытаюсь понять самого себя, как-никак через два месяца стукнет шестьдесят шесть, и если сейчас не разобраться, то когда уж? То есть даже не в смысле годов, годы меня не страшат, а в смысле самого обыкновенного пресечения, которое зовется смертью.

Почему, за каким дьяволом стремился я к новой форме? Выгоды? Никакой выгоды и никогда, даже в эпоху процветания этой новой формы — не было. Может быть, я был недостаточно нов? Но, право же, «новаторы», стоявшие рядом со мной, вроде Пастернака, Пильняка или Хлебникова, получали не больше, если не меньше. Подчеркиваю: выгоды ни материальной, ни духовной, ни просто физической, вроде обожания барышень, к чему наш брат, художник, очень падок. Все выгоды и блага были на другой стороне.

Итак, выгод никаких. Это важно.

Внутреннее удовлетворение?

Тоже было мало. Меня постоянно мучило сомнение — то ли я делаю, так ли? Это тот самый психологизм, который я так тщетно стараюсь сегодня очернить.

Да-с, конечно, все это неважненько. Но скажу по секрету: я все-таки был счастлив.

Чем?

— Сомнением!

30/XII 1960

28 октября 1960 г.

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ

ЗАПИСИ К РЕЧИ О ХЛЕБНИКОВЕ, ПРОИЗНЕСЕННОЙ НА ВЕЧЕРЕ В ДОМЕ ЛИТЕРАТОРОВ В 1960 ГОДУ

Велеречив и остроумен Маяковский.

Молчалив и ненаходчив Хлебников.

Мы этого не знали. Мы читали книги: «Все сочинения Маяковского»,— так, кажется? Это был пухлый, квадратный том, крупные заглавные буквы, точно вывеска булочной, которую закрыли. Таких заглавий прежде не было...

— Популярны издания Хлебникова? Ну не смешно

ли? Я не понимал теории относительности. Изучил математику. Правда, я ее забыл, но могу изучить снова.

К поэзии мы готовились. Это не забава, это дело жизни, не беседа за рюмкой водки (не поймите это как борьбу с алкоголем).

Знаменитый критик В. Шкловский сетует, что письма должны входить в собрания сочинений. Это тоже наука — читать письма. Мы сводим литературу к чтению надписей — «Не курить», «Вход посторонним воспрещается», «Проезд свободен». Прочли. Пошли или не пошли.

Литературные открытия прекрасны в человеке. В прошлом, настоящем, будущем. Прекрасное в смысле высокого и низкого. «Одиссея» — роман о людях, «Дон-Кихот» — о маньяке, вообразившем себя спасителем людей, «Война и мир» — о прекрасных людях, которые ничего не могут сделать хорошего.

а) В прошлом.

Прекрасное слово прекрасного человека. Мечты и мечтатель.

б) Мыслитель. Открыватель нового способа выражать мысли.

ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ

Существовали только книжные магазины.

Хлебников, имажинисты, футуристы, пролеткульт.

Мы искали слова для выражения того страха перед гибелью культуры, который испытывали мы.

Хлебников не испытывал страха, и не напрасно, поэтому мы «избрали» его стихотворным вождем.

Попытки выразить по-новому увиденное.

Мы презирали старую манеру выражения. Она казалась нам лживой, так как не сохранила культуры.

Я не видел Хлебникова. Поэта как есть.

Видел Есенина, Маяковского, многих ныне здравствующих поэтов.

Гимны Майя — «Боги обжигают горшки».

Пикассо занимается майоликой. В глиняных горшках нашли рукописи Мертвого моря.

Вот таким великим горшечником был В. Хлебников. Он — глагол времени.

— Слово как рост.

— Что такое, скажем, Бунин? И что такое Хлебников?

Если в прошлом Хлебников выступал как искатель слова, то теперь — как мыслитель, пытающийся выразить нечто очень большое.

Конечно, счет времени — не суть важно.

Он искал слова, чтобы выразить душу современного человека. Он был оптимистом. Какие, в сущности, здравые мысли, жизнерадостность! И как жаль, что их мало сохранилось.

Просто, как это у нас обычно. Подбирают колосья — в бедных странах. А у нас в глубинах гибнут скирды зерна. — Родные сохраняли, другие — нет.

Что мы открыли в Хлебникове, когда стали старше?

В первоначальный период нашего творчества мы, так сказать, заботились о фасаде.

Теперь дом стал заселяться жильцами.

Новый дом, новые люди, новые мысли.

Нам здесь, в этом углубленном, психологическом действии, помогал Хлебников.

Широта взгляда. Богатство ассоциативности. Огромная историчность, вплоть до дикарства — великосветское общество и народ.

И в сегодняшнем — люди будущего.

Он заставлял думать.

Цифры — предчувствие времени, а это не более не менее как понимание психологии людей. Гороскопы, что ли? (том 5, стр. 312). Хлебников — прозаик.

[*Без даты*] *1960 год.*

Я — писатель,— «самоучка» — из тех, которых теперь немного. За каждым из современных писателей — громадные залы университетов, лабораторий, многоученые профессора и предания. Мы учились в гуще жизни — бестолковой, несистематизированной и, в сущности, мало знающей. Мы невольно отрывались от нее и уходили в фантазии. Вот почему все мои работы при их появлении,— может быть, кроме тех, которые были наименее оригинальны,— критики находили «недоработанными». Идолы Индии, многорукие, многоликие, разумеется, среднелобому интеллигенту могут казаться вздором и недоработанностью. Без зазрения совести,— и по-своему

правый,— он отрубит им руки и ноги и оставит по одной паре, согласно законам логики и реализма. Впрочем, я сам часто рубил себе эти руки и ноги, находя, что на двух ногах мне идти легче.

Все мои автобиографии — лишь внешние факты моей жизни. Как всегда, когда говорится о жизни — с недомолвками и путаницей,— в жизни так трудно разобраться, да еще в своей. Впрочем, еще труднее написать автобиографию автотворчества. Может быть, поэтому мы и не пробовали, хотя это, может быть, для читателя более интересно, чем то — какую одежду я носил в 1917 году, имел ли недвижимую собственность и добродетельных родственников.

ПИСЬМА

1. А. М. ГОРЬКОМУ

[после 17 (30) октября 1916, Курган]

Алексей Максимович!

Посылаю «Деда Антона». Извиняюсь, если не понравится,— но я буду посылать не избранное, а все рядовое, дабы Вы могли указать мне худые стороны моего письма. Пишу я, как бог на душу положит. Вот Вы пишете — читать, а что я буду читать, когда каждая черточка у автора влепляется мне в память и торчит там. Так я, пожалуй, нахватаюсь чужих образов и мыслей — поэтому я читаю мало, а если что прочитаю, так с неделю не пишу — чтобы из головы выветрилось. Вот насчет языка, это действительно — не знаю, как понравится — нужно что-нибудь сухое — дабы слова запоминались — пробовал я словарь Даля почитать, но он страшно большой, времени нет — да и дорого́й — покупать его. Я думаю, придет это со временем — писать только больше, что я и практикую сейчас. Вы, так сказать, подтолкнули меня. И я покатился — как с катушки. А относительно самообразования, то что мне нужно делать? Географию я знаю, по крайней мере сибирскую, потому что половину ее собственными пятками измерил,— и опять время. Но постараюсь подтянуться, что можно будет сделать,— сделаю. Воля у меня есть.

С какой бы это стороны узубатить науку за бок?

Остаюсь уважающий Вас

Всеволод Иванов.

Курган, Тоб[ольская] губерния, тип[ография] «Народной газеты».

2. А. М. ГОРЬКОМУ

[после 7 (20) февраля 1917, Курган]

Алексей Максимович!

Вот это я понимаю,— а то прочитаешь знакомому, хорошо,— говорят. А что хорошо? Никого у меня не было, чтобы указать на недостатки. Спасибо Вам. Если можно, то, пожалуйста, пошлите книг,— я купил «Теорию словесности», но ужасно непонятно,— не знаю, с какой стороны эти законы предложить. А учиться следует,— это очень и очень верно. Только трудно мне учиться, знаете, у нас так рассказывают: пашут в поле переселенец и сибиряк. Вдруг гроза. Заскочили они под дерево, а гром, молния! Переселенец все время бормочет: «Спаси, господи Иисусе и матерь божия!..» Потом после грозы сибиряки спрашивают: «Чо ты это там, под сосной-то?» — «Молился, чтобы спастись!» — «А научи меня». — «Ладно, ну давай: «Спаси, господи Иисусе и матерь божия!..» — «Спаси, господи Иисусе... и... фу, какая она длинная, ладно, уж так я — без нее...»

С собой бороться нужно,— но наша возьмет! С завтрашнего дня начинаю, первоначально с грамматики и так далее, писать буду все-таки,— оно все будет понемногу прилипать, и может, что-нибудь и вылеплю.

До свиданья!

Всеволод Иванов.

Курган, тип. «Народной газеты».

3. А. М. ГОРЬКОМУ

[начало 1917, Курган]

Алексей Максимович,

одновременно с этим письмом посылаю рассказ «Степная царевна» и книгу стихов Кондратия Худякова. У этой книги есть небольшая история, которую я и расскажу Вам. Автор, мой товарищ и друг — крестьянин, приехал в город лет 5 тому назад, — самоучка из старообрядцев и сам научился писать вывески, теперь вот и живет этим! Познакомился я с ним случайно — прочитал стихи, и знаете, я сейчас, так сказать, имея некоторую свободу — предложил ему свои услуги, набрал по вече-

рам стихи, а типография за бумагу и печать взяла с меня 40 рублей. Если не дороги стихи, то дорого то, что человек хочет искать лучшего. Мне приходилось много страдать, находился я на величайших ступеньках (по своей низости, конечно) человеческой лестницы... Однажды, в Тюмени, я жил на постоялом дворе, не имел ни копейки — есть никто не хотел мне дать, и работы не было. Так уйдешь, знаете, на задний двор, там сено было свалено, сядешь на кирпичи, какой-нибудь кусок, листик травы засунешь в рот и сосешь... А хозяйка чтобы не заметила, когда она приходила скотину убирать, поёшь, это чтобы денег не попросила за ночлег... На четвертый день, кажется, сижу это, а она поросятам корм принесла — корки ржаные, арбузы недоспелые и еще что-то,— вывалила в корыто и ушла — кинулись поросята. Подхожу, а у самого к горлу будто, нет, не к горлу, а просто изнутри как бы воронку масляную, изнутри в рот выталкивают. Хотел кусок выловить, да вместо этого упал в корыто головой и зубами поймал корку. А теперь вспомню — не верится! Не сделал бы этого, кажется, а в то же время было оно. В типографии я получаю 60 рублей — почувствуешь поневоле какую-то сытость даже, и хочется чем-нибудь помочь товарищу. 25 рублей я плачу за хлеба — 35 рублей должно бы остаться (одежда пустяки!), а Вы вот прочитайте, мне брат что пишет, из первого попавшего письма (брату 15 лет):

«...Мама, Всеволод, тебя просит прислать денег на муку. Мука стала, которую мы ели, 3 р. 50 к. 2-й высокий, а жалованье только 18 руб., вот и поживи, приходится есть пшеничную муку, которая хуже ржаной, пополам с песком, так и хрустит на зубах и сердце давит. Если пожалеешь маму за то хоть, что кормила маленьких и маялась с нами (наверно, не забыл), пришли на муку. Квартира при школе хороша — 2 комнаты и кухня. П. Иванов».

Отец у меня учителем близ г. Семипалатинска. И что я должен делать?

Вот знаете, где вырабатывается воля и любовь к жизни — мне кажется, любовь к жизни и смысл ее можно понять чрез страдания. Разве есть другие пути?

Тут именно хочется лбом вперед переть — была не была!

Простите, что задерживаю Вас письмом, но я хотел Вам рассказать, как я был издателем.

Примите уверения в совершеннейшем почтении.

Всеволод Иванов.

Курган, тип[ография] «Народной газеты».

4. А. М. ГОРЬКОМУ

[1919, Курган]

Алексей Максимович!

Не пишите мне пока ничего,— меня взяли в солдаты.

Так сразу — я не могу писать даже, потом напишу адрес точный.

Всеволод Иванов.

5. А. М. ГОРЬКОМУ

2 февраля 1920 г.

2 февраля 1920 [Татарск]

Алексей Максимович!

Посылаю Вам книжку своих рассказов «Рогульки», напечатанную трудами моих товарищей по типографии. Псевдоним поставить меня заставило то, что тогда, во времена Колчака, если бы узнали (я был тогда мобилизован), что я пишу, мне бы пришлось плохо. Напечатано 75 штук, на большее не хватило бумаги или, вернее, средств на покупку ее.

Обитаю я сейчас в крошечном степном городке. До этого солдатствовал в колчаковской армии, где перенес ряд болезней, закончившихся сыпняком и воспалением легких, но благодаря крепкому организму выдержал и теперь работаю опять в типографии.

Теперь, Алексей Максимович, у меня к Вам большая просьба — помогите мне выбраться в Петербург или Москву. Нужно немногое — какую-нибудь бумажку, чтобы меня пускали в вагоны, а то ехать на площадке мне трудно и едва ли доеду. Денег я на дорогу наскребу. Сильно хочется учиться, и когда, при Колчаке, столицы были где-то далеко и казалось, нельзя никогда будет в них попасть,— махнешь, бывало, рукой и уткнешься

в книгу. Но одной книги мало, совсем мало, а теперь путь открыт — и я решил пробираться во что бы то ни стало. Это и заставило меня обратиться к Вам. Что ж, подумал я, не спекулировать же я еду, а учиться.

Жму Вашу руку.

Всеволод Иванов.

Адрес: гор. Татарск. Омской губ., Профсоюз рабочих и служ., Всеволоду Вячеславовичу Иванову.

6. А. М. ГОРЬКОМУ

Омск, 25 ноября 1920 г.

25 ноября 1920, Омск

Уважаемый Алексей Максимович!

Автора настоящего письма Вы, несомненно, забыли. Когда[-то], чуть ли не столетие тому назад, Вы писали в Сибирь наборщику, писавшему рассказы, из которых два были даже напечатаны в «Сборнике пролет[арских] писателей». Я зимой прошлого года послал Вам отсюда книжку своих рассказов — но она, должно быть, не дошла, несчастная. За прошедшее время от «пролет[арского] сборника» — сделал многое и много написал,— хотел бы послать Вам,— но почта столь отвратительно ходит, что боязно — потеряется, а переписывать нет времени и нет охоты. А потом, конечно, напечатать сейчас и людям талантливее меня — трудно. Суть не в том, у меня к Вам просьба — это взять меня отсюда, в Питер, где бы я мог работать, то, что желал бы во-первых, а во-вторых — учиться. Последнее остро необходимо, и сделать здесь я ничего в этом направлении не могу, ибо то, что я знаю,— здесь мало кто знает, а больше — у кого можно было бы учиться — никто. Это обидно.

Я думаю — Вам сие сделать нетрудно, и [я] мог бы быть полезным в П[етербург]е более, чем здесь.

Вы ведь, наверное, не поймете тоски провинциального города. У-ух!..

С почтением

Всев. Иванов.

Редакция «Советской Сибири»
Омск, Газетный пер. 3.

7. А. М. ГОРЬКОМУ

Омск, 16 января 1921 г.

16 января 1921, Омск

Алексей Максимович!

Получил я Ваше письмо давно, но не писал потому, что хотел выбраться и уехать своими силами. Но не удалось, и я еще раз обращаюсь к Вашему содействию. Дело в том, что в газете «Советская Сибирь» я выпускающим — роль, как видите, весьма маленькая, и если бы редакция пожелала бы, то меня вполне мог заменить любой из этих «ответственных», которыми так разбухли наши канцелярии. Редакция не желает, и я вынужден с тоской глядеть на уходящие поезда и думать: «А я когда?»

Люди любят жаловаться, и в большинстве впустую — а в данном случае я, кажись, не солгал бы, что обилием «советских мещан» — Омск тучен не в меру. Обидно. Это все равно что при вспышках молний или северного сияния вшей бить.

Я думаю, что, если бы Вы чрез какое-нибудь большое учреждение или даже от себя лично послали бумажку, а еще лучше телеграмму председателю Сибревкома тов. Смирнову (наша газета — орган Сибревкома) об откомандировании «выпускающего газеты «Советская Сибирь» Всеволода Иванова» — туда-то — и немедленно, этим бы дело и разрешилось. Он (тов. Смирнов) напишет «откомандировать» — и готово.

Я бегал приблизительно около десяти дней — и, в конце концов, прослезился от злости (честное слово!). Конечно, трудовая повинность хороша, но когда она сочетается с глупостью человеческой, то между «испанскими сапогами» и ей — небольшая разница.

Окончил недавно и теперь отделываю большую повесть (величиной в 200—300 стр.) «из современной жизни», как говорят,— «Фарфоровая избушка». И написал ряд рассказов и сказок, причем хотел сейчас «Алтайские сказки» послать Вам, но теряются, должно быть, лучше уж сам привезу. Я Вам послал книжку своих рассказов, а Вы, должно быть, не получили ее. В писаниях своих я достиг значительного совершенства и уже достиг того пункта в писаниях, когда писатель-самоучка начинает философствовать (объясняется это, я думаю, малым учением), и уже вслед за этим скоро

придет настоящее творчество, тесно слитое умом и сердцем в густой слиток — любви к жизни. Больше всего человек ошибается в наблюдениях над самим [собой] — а мне здесь не хотелось бы ошибаться.

Думаю:
до свиданья!
В. Иванов.

Омск, Газетный, 3,
Редакция «Советской Сибири».

8. А. М. ГОРЬКОМУ

5/I—21

5 [февраля] 1921 [Петроград]

Алексей Максимович!

Приехал в Петербург. Был у Вас, но, к сожалению, не застал. Это скверно.

Очень бы желал видеть Вас,— если у Вас будет свободное время — сообщите. Квартиры и всего прочего не имею, а потому мой адрес таков: редакция «Грядущего», Пролеткульт, Ивану Ерошину, а передать,— он мне передаст.

Всев. Иванов.

9. А. М. ГОРЬКОМУ

8 февраля 1921 г.

8 февраля, 1921 [Петроград]

Алексей Максимович!

Страшно неприятно писать, а приходится. Дело в том, что мое учреждение в Сибири откомандировало меня в распоряжение Ваше — и здесь получилась конфузная история. Вас-то нету, а в никакое учреждение мне поступить нельзя. Хотел трудовую книжку добыть, говорят: «Бумажку — где служите?» Пошел в Госиздательство работы спросить, почтенный метр т. Ионов спрашивает:

— У вас рекомендации есть?

Я указал на лоб, но это его не удовлетворило, и он сострил:

— У нас не богадельня.

Принимая во внимание, что я имею возможность выжать лапой больше трех пудов,— я обиделся и ушел.

Теперь чувствую — тону в этом петербургском бумажном море.

И как мне не хочется (не люблю вмешивать людей туда, где самому можно управиться), но в такой гнусной истории, где и еще животные боли участвуют,— приходится. Нужно очень немногое: направить меня туда, где можно было бы или учиться, или работать. Предпочел бы последнее, ибо первое можно совместить. Ни о каких трехаршинных пайках я не мечтаю.

Вс. Иванов.

Пролеткульт, Екатер[ининская ул.], 2
Ред. «Грядущее». Ив. Ерошину для меня.

10. А. М. ГОРЬКОМУ

19 марта 1920 г.

19 марта [1921, Петроград]

Алексей Максимович!

Не имея возможности выйти лично (сапоги развалились и нездоровится), пишу: нельзя ли мне как устроить некое количество хлеба?.. У нас в лавке — уже не выдают 4 дня, а идти никуда не могу, как указал. Буде возможно — направить с подателем сего: человеком мне зело близким.

По пути посылаю стихи Г. Вяткина, их бы давно нужно передать, да все забывал. Нездоровье не мешает: работаю над рассказом и переписываю другой — «Партизаны», написанный еще в Сибири. Чувствую,— не знаю почему, как и с первых дней приезда сюда,— себя прелестно. «Как козел на горе».

До свиданья.

Всев. Иванов.

Пбг
Выб. ст.
пр. К. Маркса
д. 4 кв. 6.

11. А. М. ГОРЬКОМУ

[14 января 1923, Петроград]

Дорогой Алексей Максимович,

посылаю Вам карточку свою. В отличие от 1921 года лик мой расширился в шесть раз, а творческие способности в два. Боюсь, не одолела бы сия шестерка. Послал я Вам большое письмо и книгу «7-й берег», адрес-то у меня был, должно быть, неправильный, и книгу вернули, а письмо, должно быть, пропало. Вот Вам и заграница. Может, получали? Я его еще для легкости читать Вам — перепечатал на машинке. Большое такое, я там восторженные разные штуки о молодежи писал (я уж старик: у меня жена по утрам седые волосы выдирает. Честное слово!): рабфаки там и прочее. Ежели читали, особо не верьте, я и сам теперь многому из написанного не верю.

Пришел я к убеждению, что все, что я раньше написал,— ерунда. Не так работать надо. И новым методом написал «Возвращение Будды». Прочтите, когда выйдет. И там ерунды много, но дело в том, А. М., что я, при всех моих **хороших** изобразительных способностях, **неглубок** по уму. Происходит это не потому, что я мало учен или мало читаю,— ум плохо усваивает и — эта с малолетства механизация букв, скользящая в моих глазах, тоже многому отучила меня. Если, например, кто вслух читает, я это дольше помню. Все ж уверен, кое-что одолею и кое-что сделаю.

У нас здесь в одном из огромнейших кинем[атографов] ставили экспрессионист[скую] (Вашу — германскую) фильму «Кабинет Калигари». Так дирекция на программке следующее пояснение сделала: «Ввиду того что действие происходит в сумасшедшем доме,— декорации картины выдержаны в строго сумасшедших тонах».

— И меня, грешного человека, прет читатель в свои сумасшедшие тона. Не есть ли секрет большого писателя переть поперек писателя? Чувствую, надоел мне быт. И боюсь и вижу: читателю он тоже надоел.

Потому-то Серапионы для нового читателя.

О революции, Алексей Максимович, пишут у нас

страшно много и все сустно. Вышла необходимость как-то ее, революцию, по-особому... а то блины все едят,— ну можно недельку, а коли год? Я говорю о широких замыслах. Может, в эпоху широких замыслов надо человеку создавать маленькое?

Мы, Серапионы, как Вы нас, Алексей Максимыч, усадили да благословили,— так мы и сидим на скамеечке. И не то ж что плохо и холодно,— а весело. Лают нас в Питере преимущественно, на чем свет стоит. Сколь долго мы просидим так, неизвестно, но потешно до чрезвычайности. Люди-то растут, Алексей Максимыч, а штанишки-то все у́же да у́же. Я думаю, будет все же долго так. ⟨...⟩

Хороший роман пишет Федин. Здорово насадил — и сантиментальное есть, а я, грешный, люблю сантиментальное, да коли еще, прохвост, улыбнется еще... конец! Здорово. Хорошо. Вообще он человек размеренный — ему бы протопопом быть, а он вылитый Мозжухин. Помните? Впрочем, кино творит сейчас религию молчания, и протопопы туда переселились. Прекрасная вещь — жест. Вот Шкловскому... я, Алексей Максимыч, про Шкловского писать не буду. Он меня прописал: «глаза, говорит, у него косые, и сам он мрачный...» Разве можно так живых обижать, вот когда меня вышлют... Покажите ему мою карточку и передайте, что я имею трех котят для веселья и Пильняка вижу каждый месяц. Мне мрачным быть с чего же? Пущай вклеит опечатки. ⟨...⟩

Везу в ближайший месяц жену лечить на Кавказ. Там, подле Тифлиса, бандиты поезд остановили и всех догола раздели. В одной половине голые мужчины сидели, а в другой — дамы.

Летом, в июле приблизительно,— едва ли раньше,— решил поехать в Европу. Еду с Фединым. Едва ли Вы раньше осени будете в Азии, а если летом приедете, поедемте, Алексей Максимыч, на Дальний Восток? Право!

Распрыскался я тут порядком. Я сегодня письмишко от приятеля [получил], солдатишками вместе были, в колчаковщину. Немудрящий парень был, астрономию все по Мейеру учил и говорил, что в Сибири звезды не так расположены. А сегодня — бах! письмо! Из Праги! И студент. А узнал про меня, что где-то там в какой-то

дыре «Бронепоезд» прочел и еще про Серапионов. Так и написал: Дом Литераторов, Серапионову брату. (Письмо то на 40, что ль, страницах.)

Желаю счастья,

Ваш Всеволод.

12. А. М. ГОРЬКОМУ

Москва, 4 декабря 1924 г.

4 декабря 1924, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Я и Пильняк работаем сейчас в «Круге», редактируем. И вот у нас к Вам просьба: если б Вам издать в «Круге» книгу последних Ваших рассказов? Может быть, сообщите условия и как и где собрать оную книжку.

А я? Написал я забавную повесть. Сейчас ее перепечатывают, и на днях я ее смогу послать Вам прочесть. Шкловский ее хвалил. Сам же Виктор мотается, заведует литчастью журнала «Кр[асный] журнал», а бывший вообще-то «Синим». Написали мы с ним авантюрный роман о химической войне «Иприт». Сей роман печатается в Госиздате.

Помимо всего прочего,— Виктор имеет сына, Никиту. Мое семейство не прибавляется. Были две дочери, но умерли.

Живут людишки скудно, тесно и грязно. Я к человеческому горю привык, но такое ненужное горе даже и меня пугает. Писатели ходят оборванные и голодные. Авансы просят — 3 и 5 рублей.

На улицах нет снега и продается какой-то странный виноград, который никак нельзя есть. Стоит он 40 к. фунт.

И очень дешевы книги. Дешевле дров. Помните, в Питере я топил печи французской энциклопедией?

О Вас мы слышим мало. И похоже на то, что Вы вернетесь не скоро. А жаль. Нам живется тесно, а Вы человек просторный и легкодышащий.

В марте я поеду за границу.

Пока — всего доброго.

Всеволод Иванов.

Маросейка, Б. Успенский, д. 5, кв. 36, «Круг».

13. А. М. ГОРЬКОМУ

25 августа 1925 г., Москва.

25 августа 1925, Москва

Дорогой Алексей Максимович,— месяца два-три назад послал Вам свои две последние книжки. Книги-то ушли, а письмо-то на столе осталось — и сегодня я его нашел. Очень суетливо и беспорядочно мы живем. Надо думать, к лучшему, ибо захочется же людям быть спокойнее. Если не нам, то детям нашим.

В Москве скука и такое чувство, словно люди ходят по льдам. Писатели да актеры — я только эту среду и знаю более или менее верно — живут отвратительно. Положение с книгами отчаянное, а с театрами лучше тем, что нонче нет картин в кино и народишко будет посещать театры. Впрочем, стоит ли об этом Вам писать, Вы небось превосходно знаете и без меня. Завели в Москве автобусы, а ездить некому, ибо нет денег — смотришь, и мчится этакая машинища с одним пассажиром.

Написал я пьесу. Комедию,— да не знаю, как пойдет. А все больше небольшие рассказики пишу. Летом поехал было в Туркестан, да поднялась жара, и я из Баку свернул на Батум, и Кавказ мне теперь до смерти надоел — словно меду объелся,— и мне хочется поехать во Францию, но не знаю, дадут ли визу. Сбираюсь туда в декабре, примерно.

Посылаю Вам фотографию, снимал меня Леонид Леонов — мы с ним тут фотографией увлеклись, но у меня от беспокойного моего характера снимки получаются столь отвратительные, что я бросил это занятие. Поправка к лицу — и очки роговые я сбросил, и бакенбард нету. Даже голову обрил.

Добрые друзья мои все уехали на юг. В Москве пыльно, холодно. Есть у меня под Москвой снятая хатенка — верстах в 130, — так там иконы во весь угол и все-то висит портрет Николая. Хозяин думал снять, а потом, когда узнал, что я не коммунист,— оставил. Изредка езжу на охоту, но против нашей сибирской дичи — куда же московской! Так я все больше дома сижу.

Привет.

Всев. Иванов.

Адрес мой: Москва, VI, Тверской б., 14, кв. 7.

14. А. М. ГОРЬКОМУ

Батум, 7 октября 1925 г.

7 октября 1925, Батум

Дорогой Алексей Максимович!

Боюсь, письмо проходит долго. Живу я на конце света, газеты московские сюда приходят через неделю. Надеюсь на итальянский пароход, он торчит в порту.

Живу я здесь потому, что в Москве совершенно работать нельзя. Телесно я совершенно здоров, но чувствую себя больным. Написал не меньше 7 листов плохих рассказов и плохой роман «Северо-сталь», который имею мужество не печатать. И многое другое — измотало.

А здесь во вред телу купаюсь по четыре раза в день и плаваю до горизонта. Сегодня на море шторм, море сплошь в пене и шипит, словно в него раскаленное железо суют.

Лето я провел частью на Волге, а частью ездил по Киргизской республике. Киргизы народ смешной и стали непохожими — на тех, что я написал. Совнарком их из Оренбурга переехал в Алаш-Орду, городок такой был Перовск. Раньше в нем населения было 5 тысяч, а теперь с Совнаркомом 25, и на человека полагается $1^1/_2$ кв. аршина площади жилья. Днем работают, а ночью в комиссариатах спят. Самый большой дом в столице этой был сумасшедший дом. Двухэтажный и кирпичный. Там теперь Совнарком, а в комнате секретаря Совнаркома (была раньше для буйнопомешанных) со стен еще не сняли войлок. Так и секретарь принимает.

В Уральске я жил в садах ГПУ. Так и называются: «Сады ГПУ». Этакая Уральская Семирамида. Дали мне дом в 6 комнат, а мне было скучно, и я спал на балконе. Ребята были все милые, но говорили мало. Боялись — «опишу». Стреляли на сорок сажен в спичечную коробку. И без промаха. На прощанье устроили сугубую выпивку, и один говорил длинную речь, закончив:

«Уральск с его основания посетили два писателя: Пушкин и Иванов. Ура!..» И сел очень гордый.

Пушкин был там для «Пугачевского бунта». С тех дней — уральские казаки очень победнели.

Я проехал от «славного города Гурьева» до Уральска по Яику тысячу верст. Зернистая икра стоит 25—35 копеек фунт, а рыбой кормят верблюдов и лошадей

(ей-богу, сам видел. Живую жрут. Даже страшно). Хлеба же на расстоянии тысячи верст кунить нельзя, потому — его там не едят. Земля — песок да глина, хлеб покупной, а ехать за ним надо двести верст на волах.

Про Пугачева казаки помнят, что был царь у них Петр Федорыч и что казнили его за то, что хотел перенести столицу на Яик. И поступила Екатерина несправедливо.

В Батуме же, где я сейчас живу, жизнь лучше и смешнее. Здесь, как известно Вам, зреют апельсины и вообще — советский бамбук. На одной вывеске так и написано — «продажа угля, дров и советского бамбука». Черт ее знает, что за ерунда, но бамбук действительно растет. Кроме бамбука произрастает здесь грузинский национализм. На днях происходил тут краеведческий съезд. Из центра был тут А. Пинкевич и Тан-Богораз.

Жара в городе страшенная. Прямо хоть штаны снимай. Зашел я на этот съезд. Так грузинские ученые (происходила первая встреча их с нашими) в сюртуках до пят и говорят с нашими на немецком. А в академию вообще-то они пишут из Грузии по-французски, не иначе.

Чудеса!

И мне кажется, что литература наша в ближайшие годы будет сугубо национальной не только по языку, как это происходит теперь, но и по духу. Я — о России. ⟨...⟩

У нас полагается быть только мещанству. А облчая мещан — мир не удивишь. Про Европу же, и Европа о нас,— писать всегда не умели.

Родив такое тощее дитя, как «Северо-сталь» — я напугался и романы не пишу. А признаться — очень хочется. Может — позже?

Сейчас работаю над рассказами.

Сделали мы со Шкловским роман авантюрный «Иприт». Писали очень весело. А теперь на нас обижаются. Говорят, не солидно.

Я от этого романа понял и научился делать сюжет.

Но сюжет и русская фраза, ее ритм — очень трудно слить это. И получается часто — словно не пером, а помелом написано. И широко и непонятно.

Этой осенью в литературе российской какое-то оскудение. Каждую осень если не Толстой, то с Толстым

обязательно какого-нибудь да сравнивали. А тут просто даже больших работ нету.

Писатели, материально, в этом году живут лучше.

А вот Сережа Есенин пьет немилосердно. Изо дня в день. Ко всему тому у него чахотка, и бог знает что с ним будет месяца через три-четыре.

Шкловский летом летал на самолете в агитполете до Царицына, участвовал в автомобильном пробеге. Но не изменился. Перед моим отъездом, у меня, ругательски ругал Радека за то, что они — Радеки — не понимают Россию.

Сейчас Шкловский служит на кинофабрике, откуда со всегдашней своей готовностью — устроил мне аванс.

Бабель пытается понять — «смысл жизни», Леонов — продолжает точить на токарном станке, а Сейфуллина переехала в Питер писать советскую «Пиковую даму».

А мне очень хочется поехать в Японию и уехал бы, но по секрету скажу вам,— увязывается со мной Пильняк. Отказаться с ним ехать — как-то неловко, а — с Пильняком в Японии какое же удовольствие? Вот и не знаю, что делать.

Привет Вам крепкий.

Ишь как расписался-то!

Всеволод.

Адрес мой московский: Тверской бульвар, 14, кв. 7.

Из Батума я уезжаю в Москву через две недели. Кончается купанье. Кроме моря — все остальное здесь декорации.

15. А. М. ГОРЬКОМУ

30 ноября 1925 г.

30 ноября, 1925 [*Москва*]

Дорогой Алексей Максимович,

послал я Вам из Батуми письмо, но боюсь, что не дошло — ибо послал его я как-то случайно, с итальянским пароходом, да и адреса Вашего не знал,— прямо в Сорренто.

Там описывал я веселые встречи свои на Кавказе и Яике. Описав, отправился в Баку, и кажется мне — это самый удивительный город в России. Там такая смесь

чадры и автомобиля, нефти и винограда, и так это вкусно пахнет — я прямо влюбился в этот город. Есть там изумительнейший человек — Серебровский, начальник Азнефти. О нем — прямо роман.

Среди прочего дела строят там город. Этакий нефтяной Петербург — со смешным названием пос[елок] Стеньки Разина. На пять верст проложили тротуары и бульвары, взрывают гору — утес Стеньки — и из горы этой строят. Готово уже пятьсот квартир, а через два года — вселится — я верю этому — 40 тысяч рабочих.

Я не был рабочей делегацией, Алексей Максимович, и мне никто очки не втирал (хотя они сами себе больше втирают очки, чем им) — но я уехал оттуда необычайно бодрым. Ибо народишко живет дюже плохо, тесно и пьяно. А тут настоящее дело.

В Москве же — тишина. В прошлом году хоть напостовцы воевали, а теперь они получили свои куски пирога и успокоились. В прошлом году я очень много пил и относился к себе с презрением. Теперь живу всухую — и не оттого, что мне нельзя пить (во мне весу 5 п. 1 ф., и плаваю я в море за три версты), а как-то стало скучно,— а главное, противно смотреть, как пьют. Народишко за эти годы измочалился, с ног валится с рюмки. Не весело.

Писатели — вдарили по кино и театру. Я, грешным делом, пишу комедию тоже, но получается как-то не смешно. Прочел одному — он послушал, почесал за ухом и сказал — «да, тоскливо». Думаю, выпрыгну. А в литературе, сказать по правде, полная неразбериха: гениев наплодили необычайно много. Вот как-то в одном из писем Вы упрекали меня, что я не уважаю свой талант, а я как посмотрю, как теперь уважают себя люди,— прямо плюнуть бог знает во что хочется. Самоуверенность адская — и это очень вредно, и очень скоро люди начинают спиваться, даже не употребляя водки.

Я все сбирался за границу, а Россия манит да манит,— возьму, глядишь, и уеду в какой-нибудь городишко. Жизнь теперь необычайно сложная, очень лживая — и часто пустая. В уезде это видеть куда как чудесно.

В феврале будущего года, Алексей Максимович, исполнится пять лет «Серапионов». Приезжайте в гости, к первому февраля в Ленинград! Будет весело, мы

сбираемся каждый год и веселимся. В прошлом году было очень хорошо.

Пишу я теперь мало. Живу хорошо и чувствую, как горб за моей спиной начинает опадать. Он очень вырос за последние два года. Добиться бы этакого — умиротворенья страстей — и хорошо.

Сын у меня родился три месяца назад, до него было две дочери, да померли, а он живуч будет, верю, курносый, узкоглазый и веселый.

Шкловский чувствует, по-моему, себя плохо. Пишет он не то, что надо — и часто плохо. Он умный человек, понимает — и веселится.

Самый великий писатель теперь в России — П. Романов.

А. Чапыгин написал замечательный роман о Разине — и никто не замечает.

Алексей Максимович, ей-богу, Вас не хватает в России! Пожаловаться некому. Да главное, никто никому не верит — даже Воронский.

Привет Вам.

Всеволод.

Мой адрес: Москва, Тверской б., 14, кв. 7.
(Еженедельно угощаю сибирскими пельменями.)

16. А. М. ГОРЬКОМУ

Москва, 20 декабря 1925 г.

20 декабря 1925, Москва

Какая жалость, дорогой Алексей Максимович, что я не получил Вашего письма мне. Куда Вы его посылали: в Батум или Москву?

В эти месяцы — после поездки — я убедился во многих простых истинах,— что — нельзя пьянствовать, как пьянствовал я раньше,— что — авантюрный роман сейчас России и русскому читателю — не нужен. Пить я бросил — вот уже три месяца, и, кажись, очень надолго,— и покинул свое увлечение авантюрным романом и рассказом. Жизнь, Алексей Максимович, у нас в России достаточно тяжела, авантюрный же роман в том виде, в каком его **допускают** сейчас в России,— жизнь не украшает, не романтизирует, что ли, а **обессмысливает.** **Я** честно возвращаюсь к первым своим вещам,

но, кажется, кое-чему научившись, и, прежде всего, строить вещь. Мне это трудно, я человек хаотический — и, конечно, предков бы тревожить не стоило,— но, я думаю, их колонизаторская сибирская воля перешла ко мне. Хвастать только любили!

Мне бы хотелось, чтоб вы прочли, Алексей Максимович, в январской книжке «Красной нови»— 1925 г. — рассказ мой новый «Плодородие». Там все мои последние думы.

Кончаю я еще — в феврале, в конце — роман «Казаки»,— если угодно, я пришлю его Вам в рукописи. Тема там, приблизительно, такова: казачья станица, разваленная войной, революцией — начинает подниматься... 〈...〉 И вот живет в поселке богатый казак Мельников — старик, при нем старуха — жена и еще — приемыш, подкидыш. И вот должен приехать в поселок епископ, а старик Мельников — приходский старшина, ему и встречать епископа и гостевать. Вымыли, убрали все по дому, старик идет осматривать — все чисто, полы выскоблены, а только девка-приемыш — Маринка глину месит на дворе, сама грязнее глины. Разозлился старик — как ее не убрали, сколь грязна. Старуха и отвечает — во что, мол, ее убрать, когда на ней одно платье всего — и в праздник и в будни. Старик гордый, разозлился — одеть, кричит. Нету времени — отвечает старуха,— разве у соседей занять, платье-то. Ну, тут старик совсем запылал: чтоб он, да занимал у соседей! Раскрыл сундуки и достал сарафан — материнский еще. А уральские сарафаны — тафта с парчой, по застежкам девять серебряных пуговиц. Вымыли девку Маринку, вывели — косы распустила — прямо, старина встала, красавица, каких теперь и в песнях не поют. Епископ похвалил зело — и пошла о ней слава.

Дальше начинается соревнование казаков из-за нее: из-за погибающего идеала **матери** и **утешительницы** скорбей, тихой семьи, кротости. О ней создаются легенды, она гибнет зря,— не подняв и не венчав — былой казацкой удали.

Мне хочется показать мужицкую тоску по семье, по дому, по спокойному хозяйству, а на казаках мне это легче всего выявить. 〈...〉

Что же касается детективного нашего со Шкловским романа, то право **очень** плохо, Алексей Максимович, не стоит его читать, да и браниться не стоит.

Роллану мы адрес пошлем, конечно. Завтра же, я увижу кое-каких писателей, и мы соорудим быстренько.

Писал ли я Вам, что собираюсь в Японию, да еще с кем — с Пильняком. Не знаю, попаду ли — а деньги и все прочее у меня к весне будет, но Пильняк приятель-то хороший, но хочет ехать с женой, она у него актриса, 17 лет работавшая в Малом театре и до сего дня там. Ну, представляете, что за цветок получился. Подумаю — и страшно.

А милее всего думать мне, что перевалю я весной через Каспий на Красноводск, побываю в Хиве, Бухаре и Памире — на тигров подле реки Пядж поохочусь — и по Семиреченскому тракту, мимо Иссык-Куля, полторы тысячи верст — проеду на лошадях: казачьими станицами, среди раскольников и киргиз. Я уже себе и ружье подбираю.

У вас, Алексей Максимович, внучек, а у меня сын — четыре месяца и 15 фунтов весу. Орет, негодяй, работать мешает.

Вижу мало кого — некогда, работаю много, разве деньги выйду собирать,— а это — будь оно проклято это занятие. Напишешь, сдашь — все хорошо, нужно, скажем, триста рублей получить, так мотают тебя, мотают. ⟨...⟩ И никто зла не желает, а такая уж идиотская система, да и как это — книги национализировать? Мысль. Я думаю, нигде нет такой путаницы и ерунды, какая творится у нас вокруг книжного дела. В прошлом году Госиздат выпустил 2 000 000 листов, а в 26 решено выпустить 400 000? А орали все — догнали довоенную продукцию! Догнали? Теперь уже на пуд можно купить книги выпуска 23 и 24 гг. Тошно писать.

Первого февраля у нас **пятилетие** Серапионов. Я еду на пару дней в Питер. Хотели выпустить альманах (увы, 2-й только) — но не знаю, успеем ли.

Шкловский вам кланяется. От себя добавлю — он очень устал, делает работу **очень** для него чужую. Буде вздумаете мне писать — припишите ему пару строк, он очень обрадуется, очень освежится. Не знаю, верит ли он в кого, кроме Вас.

Привет.

Всеволод.

Москва, Тверской бульвар, 14, кв. 7.

17. А. М. ГОРЬКОМУ

22 янв[аря] 1927 [Москва]

Дорогой Алексей Максимович. Разрешите переслать Вам мое письмо в редакцию, которое «Известия» отказались напечатать. Отказ этот меня очень огорчил.

Эти строки я пишу Вам не для оправдания, а для того, чтоб Вы могли выяснить обстоятельства, при которых черт сунул меня согласиться с моими «друзьями» и дать напечатать Ваше письмо. Личные дела мои находились в отвратительном состоянии, меня мотали всякие отчаяния. За неделю приблизительно до Вашего письма я пожег свои рукописи, в том числе роман «Казаки», листов этак пятнадцать,— и вообще размышления были такого сорта: сегодня или завтра застрелиться. Я пишу теперь об этом спокойно, потому что все это сгинуло.

Я саморекламой никогда не занимался. Внутренняя моя насыщенность такова, что я даже не имею друзей. Ваше суждение обо мне важно мне потому, что я знаю, что большей половиной своего существования я обязан Вам — и даже литературными ошибками своими я обязан Вам, ибо никто, как Вы познакомили меня со Шкловским, под влиянием которого я находился года два и который, бессознательно конечно, заставил написать меня листов тридцать очень плохой прозы.

Посылаю Вам последнюю свою книжку «Тайное тайных». Издана она отвратительно — на обложке какие-то раздавленные клопы.

Всего Вам доброго.

Всеволод Иванов.

22 янв. 1927 г.

18. А. М. ГОРЬКОМУ

Тур, 24 августа 1927 г.

24 августа 1927, Тур

Дорогой Алексей Максимович,

при отъезде Воронский просил меня написать Вам, что он послал вам два или три письма, на которые вы не ответили. Письма эти объясняют те обстоятельства, при

которых он вынужден был покинуть «Красную новь». Вы бы на них ответили, несомненно 〈...〉

Я Вам сбирался давно написать, но попал за границу — и у меня от всего увиденного и услышанного получилась такая карусель в голове... Сейчас я еду на автомобиле по Франции, уже восьмой день, проезжу еще недельку и вернусь в Париж.

Мне бы очень хотелось Вас повидать, и если б Вас не затруднила посылка итальянской визы мне и сопровождающему меня Льву Никулину,— я бы с большим удовольствием проехал в Неаполь. Если добыча виз сколько-нибудь сложна — хлопотать не стоит. Я схожу к итальянцам и буду просить у них транзит через Италию на Вену.

В Париже я думаю прожить еще месяц и в октябре вернуться в Москву. В первых числах ноября в Художественном идет премьера моей пьесы «Бронепоезд». Это первый сценический мой опыт, и я страшно волнуюсь.

Воронский грустит — и очень похоже, что его и из «Круга» вышибут. У меня такое чувство, что мы в России живем не весело. Или я сам мрачный?

Кланяюсь Вам.

Всеволод Иванов.

Адрес мой: M-r Vsievolod Ivanov
chez M. Cheftil
5б rue Michel Augē
Paris.

19. А. М. ГОРЬКОМУ

6 сентября 1927 [*Москва*]

Дорогой Алексей Максимович, получил Ваше письмо и огорчился, ибо в тот же день появилось из Москвы сообщение, что пьесу «Бронепоезд» Главрепертком запретил как недостаточно революционную. Что им еще революционнее может быть — бог их знает, но мне приходится возвращаться в Россию — говорить, переделывать, убеждать... скучная наша жизнь!

Думаю, если удастся приехать к Вам из России, как только справлюсь с театральными своими делами,

а на сколько они времени растянутся — тоскливо и подумать.

Подробно и, может быть, веселей напишу Вам из Москвы.

Привет.

Всеволод Ив.

6 сентября 1927 г.

20. А. М. ГОРЬКОМУ

28 октября 1927 г., Москва.

28 октября 1927, Москва

Дорогой Алексей Максимович,— получил Ваше письмо. Очень рад, что «Блаженный Ананий» Вам понравился — рассказ мало кому нравится, и те люди, мнением которых я дорожу, говорят, что в нем есть болезненный уклон и даже извращенность. Мне обидно, потому что рассказ этот я люблю больше всех своих работ.

Последнее время все страдал над «Бронепоездом», говорят, работа удалась, даже старик Станиславский хвалил пьесу. Я только боюсь одного, чтоб это не было настолько патриотично и фальшиво, что через год и смотреть будет невозможно.

Третьего дня вечер был дождливый, слякотный. У меня в ограде словно в бане, в субботний день, грязища и желтые листья. Сыро, тепло. Надел я осеннее пальто,— жарко, неудобно, но приятно. И вот чувствуя — и радуясь теплу и неудобству — иду я по Тверской. На углу Камергерского, против здания строящегося телеграфа (с необычайно грязными стеклами — не успели отмыть — и с гигантским и некрасивым гербом, чем-то похожим на восточные ордена), встретил я Воронского. Воронского я не видал давно, месяц, полтора. Я наилюбезнейше улыбнулся, снял шляпу, остановился было... Воронский кивнул чрезвычайно небрежно и величественно прошел мимо. Оказывается, здороваться не хочет.

И все это потому, что я согласился сотрудничать в «Красной нови» в новом ее редакционном составе, и потому, что не объяснил причин моего согласия ему.

Согласился я работать в «Красной нови» потому, что считаю все литературные споры сейчас — напостовщина и прочее — споры мелкие, кружковые — не слова

«кружки», а кружок, споры эти никак не влияют на развитие русской литературы, ибо литература идет своим необычайно трудным и, я бы сказал, подготовительным путем. Настоящая лет через пять — десять... 5—10... Волею истории мы развиваемся позднее, чем наши учителя и наши отцы, ибо то, что нам нужно выучить и понять, превышает знания, понятия — и даже чувства — наших отцов во много раз. Может быть, это и плохо, может быть, мы и не научимся никогда, то есть никогда не будем цельными, а так и умрем эклектиками.

Как, например, мучительно тяжело понять и поверить, что русский мужик не христианин, не кроткий богов воин,— а мечтательный бандит. Даже того начала, которое создает скупых европейских мещан, в мужике мало, почти нету. Разбогатев, превратившись в кулака, мужицкий род во втором, третьем, редко четвертом колене — разлагается, спивается.

И отход Воронского от «Красной нови» произошел не оттого, что он не напостовец или напостовец, а оттого, что он связан с оппозицией.

Литература в истории развития теперешней России играет ничтожную роль. Мы уже не учителя жизни — мы писатели — мы свидетели, а поэты — бояны. Оно и верно: когда отцы шли из монгольских степей на Европы, их, конечно, вели не поэты.

Работать мне здесь над большой вещью, вы угадали,— трудно, и не потому, что у меня нет помещения или нет денег. Тем и другим — по советским масштабам — я обладаю в избытке. У меня нет спокойствия, нет уверенности в себе и, должно быть, плохо развито чувство честолюбия. Я плохой общественник, я не альтруист, я мало люблю деньги, но работать я люблю, и мне все кажется, что вот пройдет немного, что-то во мне произойдет, и я сяду и буду долго и много работать.

Смогу ли я работать за границей? Не знаю. Что я могу хорошо пить и шляться без толку, с радостью по улицам — это я выяснил с точностью необыкновенной. Надо крепко подумать.

Бабель в Италии. Он у вас был? У этого еврея с русской душой — суматоха в голове. Ему не хочется быть экзотичным, а русскому писателю не быть сейчас экзотичным — трудно.

Пятый день идет дождь то теплый, то холодный.

В мое окно видно развешанное на веревках драное белье; кирпичный сарай, который превращают в трехэтажный дом — уже пробили окна, вставили рамы; окна почему-то завешаны рогожами. 〈...〉

Привет Вам.

Всеволод.

21. А. М. ГОРЬКОМУ

10 января 1928, Москва

Дорогой Алексей Максимович, письмо Ваше я получил — и с того времени произошло много событий.

На пьесе моей, «Бронепоезде», люди зело умилялись и плакали, и я сам был растроган, а теперь присмотрелся — и оказывается: пьеса еле-еле скросна и надо было б ее переписать заново, а нет желания и времени нет. Так, видно, и пойдет.

В «Красной нови» согласился я вести литературный отдел,— а печатать нечего, и карабкаюсь я среди груд сырого материала с великим трудом.

Кстати, о «Красной нови» — нельзя ли нам «Клима Самгина» пустить на месяц раньше «Нового мира»? Возможно Вам это сделать?..

Нашел я очень талантливого паренька Дм[итрия] Еремина — прочтите в февр[альской] книжке его рассказ «Иной период». По-моему, хорошо. Как Вам понравился роман Олеши — «Зависть»?

Сам я работаю очень много, и это единственное, кажется, спасение от тех гнетущих мыслей, кои обуревают меня. Гнетущая мысль — не может обуревать, я неправильно выразился — но и в этой неправильной фразе есть какая-то правда.

Недавно окончил повесть «Гибель Железной», а сейчас пишу «Записки Неизвестного солдата» — это о том солдате, который лежит под Триумфальной аркой в Париже. Я его делаю — русским и по национальности и по характеру.

Четыре дня назад у меня родилась дочь. Детей у меня было уже трое, но все не выживают, умирали. Может быть, четвертая будет счастливее.

У нас усиленно готовятся праздновать Ваш юбилей. Если думаете приехать в Россию, то не приезжайте

только на юбилей — неописуемая скука, однообразие и ложь,— и подхалимство. ⟨...⟩

Желаю вам здоровья.

Всеволод.

10/I 1928
Москва.

22. А. М. ГОРЬКОМУ

[*январь—февраль 1928*]

Дорогой Алексей Максимович,

посылаю Вам первый из томов моего собрания. Рассказы Вы эти все, кажись, читали, изменены они мало, да и посылаю я их не для чтения, а чтоб показать, как издают меня.

В мае, я слышал, сбираетесь к нам? Отлично.

Сейчас мы ждем от Вас с нетерпением (мы «Красная новь») — «Клима Самгина». Кстати, почему нельзя печатать стихи,— забыл фамилию,— того поэта, о котором Вы прислали телеграмму? Кстати, тоже о телегр[амме]: Вяч[еслав] Иванов прислал своему другу Г. Чулкову стихи, отличные стихи. Чулков принес их нам, я хотел их напечатать — и думаю,— неужели автор будет протестовать — послал ему телеграмму с просьбой о разрешении напечатать. Он живет в Риме. И получил такой ответ: «Печатать нельзя, стихи готовятся для посмертной книги». Это мне напоминает поэта Дрожжина, к которому, в прошлом году, довелось попасть мне — в деревню. Водит он меня по комнаткам, показывает фотографии, автографы разных поэтов и говорит так с умилением: «Это я себе музей готовлю. Вот умру, музей-то и сделан».

«Красная новь» идет хорошо, но с редакторами трудно сговариваться. ⟨...⟩

В апреле сбираюсь съездить в Туркестан, а за границу осенью.

Написал я пьесу «Блокада» — о взятии Кронштадта в 921 году. Пьесу хвалят, пойдет она в театре им. Вахтангова. Актеры там не ахти что, но больно молоды, энтузиасты и как-то легко с ними разговаривать.

Привет Вам.

Всеволод.

23. А. М. ГОРЬКОМУ

[18—19 марта 1930, Москва]

Дорогой Алексей Максимович,

извините меня ради бога, что я обращаюсь к Вам с просьбой, но положение мое таково, что никого у меня за границей знакомых нет, а переводчик мой немецкий такая шляпа, что к нему с просьбами обращаться бесполезно: он их все равно не исполняет, а только пишет любезнейшие письма. А просьба моя заключается в следующем: не могут ли кто-нибудь из Ваших домашних зайти в аптеку и купить мне три коробки «фосфатину», весьма необходимого лекарства, которого здесь невозможно достать для маленького моего детеныша. Буде это возможно сделать, очень буду вам признателен.

Во всем остальном я живу удобно и хорошо: вышел, например, позавчера, что ли, «бюллетень Реперткома» или что-то в этом роде, одним словом, орган Главискусства, где черным по белому напечатано, что «Бронепоезд» кулацкая пьеса и ее нужно снять. Надо думать — и снимут.

Написал я роман «Путешествие в страну, которой еще нет», оный роман начал печататься с февральской книжки «Красной нови»,— прочтите, если время будет. А через три дня уезжаю я в Туркестан, сроком месяца на два, на три, посмотреть и народы и жизнь, а затем, если удастся, то и поприсутствовать на открытии Турксиба, где, мечтается мне, увижу кое-что и забавное и трогательное, понеже через Турксиб думаю спуститься на родину, на Иртыш. Компания наша смешная и большая, тут и Леонов, тут и Тихонов Николай, и Луговской, и Санников 〈...〉 Предприятию этому присвоено звание Первой Ударной бригады Госиздата. Почти армия.

Больше, кажется, мне похвастаться нечем.

К осени хотел бы поехать за границу, но едва ли пустят меня, так как одному мне и скучно ехать и дети маленькие остаются, а с детьми и женой едва ли паспорт дадут, прошлый раз, когда я сбирался один поехать, так и то мне сначала отказали в паспорте, а затем уже выдали после некоторого ругательства моих друзей. За лето же хочу написать книжечку своих воспоминаний, в форме новелл, посмешнее.

Желаю Вам полного здоровья и спокойствия.

Всев. Иванов.

Адрес жены моей (так как я буду в Туркестане и посылочку на мое имя посылать не стоит!) Тамара Владимировна Иванова, Москва, Первая Мещанская, д. 68, кв. 2.

24. А. М. ГОРЬКОМУ

[июнь—август 1930, Москва]

Дорогой Алексей Максимович,— перед отъездом своим в Туркестан написал я Вам письмо, но оное письмо, видимо, не дошло — понеже ответа на него не получил.

Сейчас, повидав Русь и памятуя Ваше приглашение, хотел бы я поехать в Италию и в каком-нибудь тихом углу перегнать на бумагу все то, что довелось мне видеть, испытать и подумать. У себя на родине вряд ли мне удастся написать большую вещь,— долгов невероятно много, а отрабатывать их рассказиками трудно, потому что рассказы эти только-только меня питают. Посему у меня к Вам следующая просьба: не затруднит ли Вас отбить телеграмму Союзному Правительству, чтобы меня с семьей (3 штуки ребят и жена) отпустили к вам и разрешили мне вывезти валюты на 1000 долларов, я думаю, что такой суммы на полгода мне хватит, да и к тому же я и человек непьющий и некурящий. С такой же просьбой обращаюсь я и к И. В. Сталину — иначе никак не возможно, потому что все боятся ответственности, еще если б я ехал один, а то с женой, с детьми! А вдруг — черт знает что у него на уме — возьмет и перейдет на сторону буржуазии, а там расхлебывай. Так что пообещать содействие многие пообещают, а сделать никто ничего не сделает. Буде меня пустят, я попрошу Вас еще добыть мне итальянскую визу. Простите, что я вас затрудняю, но уж время такое смешное — иного выхода нэма.

Побывал я в Ср[едней] Азии. Видал там удивительнейшие и приятнейшие вещи. Какой народ! Какие герои! Буде удастся, расскажу вам лично, но в эти два месяца я увидал то, что не удавалось мне увидать во все последние пять лет — и увидал хорошее и не показное, а, так сказать, корни хорошего, настоящего и важного.

В литературе нашей, как Вы видите, происходит брожение и бурление — так же, как и во всей стране. Я ду-

маю, что вряд ли сейчас возможны появления каких-либо крупных и достойных вещей — очень писателю трудно угнаться за эпохой, хотя таланты созревают и созрели большие и настоящие. Время рубит в тайге просеки для искусства, понеже искусство любит катиться по светлым — и по возможности — безопасным полянам.

Желаю всего Вам доброго.

Всеволод Иванов.

Адрес мой: Москва, 1-я Мещанская, д. 68, кв. 2
или на «Кр. новь» — Старопанский пер., д. 4.

25. А. М. ГОРЬКОМУ

5 сент[ября] 1930, Москва

Дорогой Алексей Максимович,

извините,— во-первых, что так неаккуратно Вам отвечаю, но тут набахали на меня, яко на спекулянта какого, девять тысяч налога, все и метался, пытаясь достать денег, но, кажется, не достал, ибо ввиду кризиса бумажного ГИЗ не особенно склонен печатать меня — в общем, думаю, что на днях меня опишут и продадут... Второе мое извинение в том, что пишу на машинке, ибо со дня на день почерк мой делается все отвратительней, и я лучше писание свое решил перешлепать, впрочем, и пишу на машинке я не лучше.

Выехать мне удастся (я думаю) — не раньше первых чисел ноября, поеду я к Вам прямо, не останавливаясь нигде: Москва — Неаполь, не знаю, сколько мне дадут денег, и, следовательно, сколько я могу прожить. Теперь разрешите представить Вам мое семейство, на предмет итальянской визы:

Сам: Всеволод Вячеславович Иванов, рождения год 1892; жена моя Тамара Владимировна Иванòва, рожд. 1900; дети ее: Вячеслав, рожд. 1929 г., Михаил, рожд. 1927 г., Татьяна, рожд. 1919 г. — как изволите видеть, ребятишки все маленькие, самому последнему минул недельки две только год, а посему супруга моя просит спросить у Ваших домашних: нужно ли с собой везти няню или возможно и там найти и как вообще с нянями обстоит в заграничном мире... Кажись, о загранице все.

Денька через два поеду на киевские маневры,— я видал Красную армию пограничную, теперь увижу остальную. Пограничники произвели на меня потрясающее впечатление — герои, честное слово, настоящие герои. Ужасно завидно, что родился слишком рано (мне бы годков двенадцать сбавить и провести свою молодость вот сейчас, и не за глупым реалом и типографской кассой), куда удачнее провел бы я теперь свою молодость. Идя к сорока годам, люди, наверное, все так говорят,— скажете Вы.

Напишите, что Вам отсюда привезти: может быть, книжки какие нужны? У меня книжников много, или что Вас по искусству интересует,— предоставлено будет честь по чести...

Читали ли Вы в «Красной нови» роман Л. Славина «Наследник»? Многим очень нравится, и, по-моему, хорошо написан, отличный роман. Вообще в портфелях редакций сейчас много романов, но вот с рассказами плохо, скупы на мелочь авторы, скупы...

Разрешите поблагодарить Вас за заботу обо мне и пожелать Вам — как говорят у нас в Одессе,— чего вы себе желаете, от себя же скажу, что с большой радостью увижу и поговорю с Вами.

Всеволод Иванов.

5 сент. 1930 г.
Москва, 1 Мещанская,
д. 68, кв. 2.

26. А. М. ГОРЬКОМУ

30 сен[*тября*] *1930* [*Москва*]

Дорогой Алексей Максимович, письмо Ваше, датированное 13 сентября, получил. Зело Вам благодарен касательно денег (что через Крючкова), но с деньгами и с налогом я приблизительно — уладил и через неделю или полторы подам свои паспорта. Разве что после выдачи паспортов понадобится мне Ваша помощь в смысле валюты, тогда я Вам сообщу особо.

Вчера я только что приехал из Украины, где был на маневрах. Превосходная природа и превосходнейшие люди — во-первых, вряд ли в какой иной стране имеется такая крепкая связь между населением и армией, крестьяне необыкновенно ласково и дружно встречают,

любовно — с желанием поучиться — разговаривают, но надо и добавить — во-вторых, что вряд ли есть где такие сознательные и так любящие свое дело и своих товарищей красноармейцы. Один со мной стоит рядом, смотрит вдоль улицы, на которую еще два часа назад пришел отряд, но уже украшенную плакатами, радио, с устанавливающейся кинопередвижкой и с полями вдали, на которых красноармейцы помогали селянам убирать свеклу,— вздохнул и сказал:

— Вот жизнь! Тут за одну красоту воевать можно!

Прекрасный, а самое главное — молодой командный состав, отлично разбирающийся не только в тактических, но и в обычных политических вопросах, работающий, что говорится, до упаду и постоянно веселый и бодрый. Посмотрев на все это, начинаешь ощущать, какие великие десять лет прожили мы и какие еще более великие годы предстоит прожить нам.

Ну а здесь в Москве так называемая «литературная жизнь» — не знаю, все ли попадают к Вам нумера «Лит. газеты», но для характеристики нравов разрешите приложить Вам к письму — «Письмо в редакцию». Автор А. Тарасов возмущается на человека, который написал — еще нигде не напечатал — статью против А. Тарасова... Здесь же, неподалеку, Л. Леонов пишет, что он ужасно уважает талант Ю. Либединского...

О последующих своих действиях напишу.

Всего Вам доброго.

Всеволод Иванов.

30 сент. 1930.

27. А. М. ГОРЬКОМУ

[12 марта 1931, Москва]

Дорогой Алексей Максимович,

самое большое через четыре дня подам я соответствующие документы для того, чтобы мне выдали пачпорт. На меня и на мою скромную женку. Возможно, конечно, что мне выдадут пачпорт тогда, когда Вы уже будете в нашем Союзе, а возможно, что я его получу раньше. И буде я его получу раньше, то нельзя ли изыскать для меня некоторую визу для поездки в Сорренто. Мне, как известно, год рождения 1892, жене моей Тамаре Влади-

мировне Ивановой 1900, остальные биографические сведения об нас вряд ли итальянцам любопытны.

Не буду описывать Вам, как протекает московская весна — Вас и без того загромождают письмами,— не буду описывать, как я снимал дачу (в чем Л. Леонов, сей обольстительный мужчина, кровно заинтересован), и многих захватывающих событий моей жизни. Скажу одно, что я пришел к глубочайшему выводу о необходимости носить галоши, коих не носил никогда. Простите за легкомысленный слог, но трудно быть пессимистом, когда отличный желудок и все кости целы.

Низкий поклон всему Вашему семейству, Вам, и еще кланяюсь Л. Леонову — «под пленительным небом Сицилии», и еще П. П. Крючкову, который напрасно не взял моей палки, и вообще пребываю с неизменной кротостью

Всеволод Иванов.

На бумажке такой пишу не из гордости и чванства, а только из необходимости.

В.

Жена просит поблагодарить за посылку фосфатина. Не знаю, виноват ли здесь фосфатин, но мальчишка отменный.

28. А. М. ГОРЬКОМУ

17 ноября 1932, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Денька три назад получил я паспорта. Французские визы были готовы давно, что же касается итальянских виз, которые Вы мне посылали года полтора назад, то они оказались просроченными. Запросили телеграммой, но не знаю, дождусь ли положительного ответа. Если нет, то попрошу Вас,— если будет возможно,— послать визы в Париж, откуда я Вам напишу. Выеду я из Москвы дней через пять.

Одновременно с этим посылаю Вам [рассказ] молодого писателя из рабочих Борохвостова. Этот рассказ я направил для альманаха «Год шестнадцатый». Парень, по-моему, очень талантливый. Если рассказ Вам понравится и если у Вас будет время, то не черкнете ли Вы

ему несколько слов? Парень зело бедствует — без крова и одежи, спит у нас в редакции, а когда его выгонят управдомы, то и на лестнице. Ваше внимание ему очень поможет.

Надеюсь скоро увидеть Вас.

Всев. Иванов.

17/XI 1932

Адрес Василия Борохвостова: Москва, Никольская, 10, ГИХЛ, «Красная новь».

29. А. М. ГОРЬКОМУ

Hôtel des Stats-Urnis,
135, Boulevard du
Montparnasse,
Paris, 6.

8 декабря 1932, Париж

Дорогой Алексей Максимович!

С превеликими сборами и тяготами добрались мы с женой — до Парижа. Я имел желание посмотреть «Бронепоезд», который шел в новом рев[олюционном] парижском театре, но я сбирался столь долго, что как раз накануне моего приезда театр прогорел.

В Берлине я встретил К. Федина — прямо на улице — совсем неожиданно. Оный Федин растолстел, обрюзг — и с животиком, словом на 5 кило крупнее меня. Через несколько дней сбирается в СССР. Здоровьишко его неважное, и я боюсь, как бы питерский климат не навредил бы ему.

Я рассчитываю прожить в Париже до начала января, а затем — если разрешите — позвольте проехать к Вам на несколько дней. Люди мы тихие, водку не пьем — даже в Париже, сидим на скамеечке да на природу любуемся.

Привет Вам и Вашему семейству от меня и моей жены.

Всеволод Иванов.

8/XII 1932

30. А. М. ГОРЬКОМУ

[19 декабря 1932, Париж]

Дорогой Алексей Максимович!

Как парижская зелень, так и парижские девицы — от запаха бензина и кризиса — чахнут зело. Наверное, со дня создания Париж не был так скучен и тяжел, как мы его наблюдаем. Правда, Берлин еще хуже. Оба хуже. Словом, радости от поездки мало. Может быть, тому виной и старость: пять лет назад Париж мне казался иным, но и то сказать, что тогда во Франции не было безработицы. Очень здесь тяжело и грустно.

Визы у нас есть. Вполне возможно, что приедем к новому году, если только не произойдет осложнения с теми же визами — дело в том, что мы согласно отметке на визе должны были проехать через погранпункт — Вентимилью — до 8 декабря, а сегодня, кажись, 19-е. Придется зайти в Ит[альянское] консульство и попросить соответствующую отметку. Вообще-то итальянцы народ любезный и таковую отметку, наверное, сделают, а в крайнем случае запросят телеграфно Москву — но и в этом случае, я думаю, успеем смотаться. Ежели все будет благополучно, то при отъезде мы Вам телеграфируем — для пышности.

Вс. Иванов.

31. А. М. ГОРЬКОМУ

14—21 февраля [1933, Москва]

Во первых строках нашего письма — как это пишется у нас в деревне — разрешите приветствовать Вас, Алексей Максимович, от имени моего и от имени семейства, а также поблагодарить за совет — заехать во Флоренцию. Оная Флоренция нам зело понравилась — до того, что жена моя в галерее Уффици даже прослезилась. И есть с чего. Сейчас мне, утопающему в снегах,— понеже свирепствует метель и т. к. во дворе производится стройка дома, а значит, навалены кирпичи и бревна и все это превратилось в великие сугробы,— сейчас мне кажется, что из всех городов европейских за эту поездку Флоренция ослепила меня больше, чем что-либо иное. Попрошу Вас, в связи с этим, передать Яковлеву, если

сей философ-живописец обитает еще в ваших краях и если он помнит наш спор об российском искусстве, происшедший в Неаполе, ночью, возле лодок, что я беру свои слова обратно и согласен с оным Яковлевым,— в честь чего и прошу влить в него добрую порцию «Белого коня».

Возвратясь в Москву, я немедленно попал на заседания — и от этих заседаний, чтения рукописей и разговоров о прочем житейском все еще никак не могу приступить к работе. К числу не особенно оживленных заседаний относится и происходящий сейчас пленум Оргкомитета, хотя помещение, где он происходит, довольно обширное. Спорят не сильно — и впечатление такое, что и спорить не о чем: и кажется мне, что забывается самое главное, что наша литература отстает безбожно от жизни, об этом надо бы сказать порезче. Весьма кстати — как я заметил по приезде — было Ваше выступление с браковкой материала для «Года 16-го». Я уже приехал к концу и захватил только часть разговоров, но вначале, видимо, впечатление было ошеломляющее, ибо представьте себе, чтоб сотне классиков сказал бы кто-нибудь, кому они, несомненно, верят, что работка-то сделана плохо... Классики даже, я полагаю, слегка обиделись, но задумались — и весьма полезной думой. Жаль только, что в связи с этим разгромом вы не обратились к ним с неким частным письмом, это бы еще больше заставило их подумать: ибо очень часто литература наша палит холостыми. 〈...〉 Главная беда тут в том, что нету у нас авторитетного критика, к голосу которого прислушался бы писатель и указания которого он бы ценил.

В развитие тех мыслей — об расширении материала для писателя,— если помните,— мне еще хочется добавить, что хорошо бы составить для писателей «словари производств». Например, у меня имеется книжка: «Словарь волжских судовых терминов» — эта книга, если б, скажем, я вздумал изучать жизнь реки, во многом бы мне помогла. Словари можно составить краткие, но чтоб они вводили писателя в тот особый язык, на котором говорит горняк, печатник, художник или врач. Как вы смотрите на это? Я говорю не о тех предложениях, которые мы высказывали в статейке вместе с Леопольдом и Перцовым, а о другом — насчет создания писательского архива, лаборатории и чего-либо вроде 〈...〉

Книжная лавка изд-ва «Сов. лит.», где работают лучшие букинисты нашего Союза, предполагает в марте издавать бюллетень — о пользе и важности старой и антикварной книги. Очень просим Вас, если будет у Вас время, черкнуть несколько фраз о книге. Дело это хорошее, а находится в большом небрежении. Гибнет много ценных и нужных книг. Мы и хотим говорить, почему книги такие-то и такие-то ценны — и как их надо собирать и как беречь.

С большущим удовольствием вспоминаем мы с женой время, проведенное у Вас, и так как я губами — от застенчивости — вряд ли бы сказал, то позвольте пером,— высказать Вам громадную благодарность: честное слово, ни у одного человека я не встречал такой ясной головы и такого настоящего миропонимания — и... вот и пером не вышло. Для таких изъяснений шепоток надо иметь какой-то особенный, письменный.

Привет!

Всев. Иванов.

14/II 1937

Письмо мое пролежало семь дней, я все сбирался переписать — и отделать, но так и решил послать: письма, должно быть, надо посылать такими, какими они выливаются. Посему — прошу извинить некую безграмотность, беспорядочность.

Заседания Оргкомитета начались в присутствии 1000 зрителей (сам считал) в громадном зале Ком. академии, а кончились в комнатке на Поварской, 50, в присутствии 15 человек (тоже сам считал). Из этого можете судить, насколько был удачен и любопытен пленум.

Получили Вы «Золотого теленка» Ильфа и Петрова? Глубоко рекомендую прочесть. Отличный роман. Тоже рекомендую прочесть «Дневники» М. Шагинян 〈...〉

Вчера вечером сидели у Ар. Халатова. Оный Халатов Вам кланяется. «Разговор затянулся далеко за полночь».

Мой сынишка; его брат и няня, которая обучает их по-французски. На днях — следующий разговор:

Комуся (3 1/2). А что поп?

Учительница (почтенная дама, наверное — религиозная). Какой поп?

Миша (6 лет). Ну поп, который священник.

Комуся. Ну да поп, священник. У него голова тоже la tête называется? Или иначе?

Вс. Ив.

21/II 1939

32. А. М. ГОРЬКОМУ

[26 марта 1933] Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Месяц назад отправил я Вам обширное письмо. Судя по тому, что ответа не получил, полагаю — или мое, или Ваше письмо затерялось. Письмо мое было громадное,— ибо я больше полстраницы обычно написать не умею. А также — нежное по отношению к Вам. Вопросы, кои я там затрагивал, придется теперь передать Вам лично, по Вашем приезде. Я там сообщал кое-что — добавочное — к той статье, которую Вы хотели написать: о писательских «погребах», о сборе и хранении материала. Кое-что у меня и еще собралось, так что выложу все это сразу.

Семья моя здорова. Кланяется Вам. Сегодня сынишка мой $3^1/_2$-летний сказал, не желая слушать конца сказки о страшном сером волке и бабе-яге:

— А тут пришли охотники и сделали из него (волка) медвежью колбасу. (Вчера они ели колбасу, которую я им назвал медвежьей.)

И помолчав:

— Невозможно, чтоб существовала баба-яга, потому что это очень страшно...

Работаю я много. Если удастся организовать спокойствие еще на апрель, май и июнь, то перепишу громадный том, листов на 30,— нечто о своем детстве, юности: до осени 18-го года. Очень хочется сказать о себе правду. Удается это с трудом — нет, нет да и закруглишь ее — эту правду, какой-нибудь выдуманной чепухой.

Целую Вас крепко!

Всеволод.

Москва, Мещанская, д. 66/68, кв. 2
Вс. Иванов.

33. А. М. ГОРЬКОМУ

12 апреля 1933 [*Москва*]

Дорогой Алексей Максимович!

Фашизация Германии дело, по-моему, зело временное, это видно по тем яростным, почти средневековым формам, которые она приняла; я полагаю, что оная штука будет короче империалистической войны, хотя морально не менее, если не более противно; что же касается интеллигенции, «духовного костяка», то этот костяк во всех крепко критических случаях дрожит и сгибается — и дрейфит. Я понимаю Вашу горечь и очень сочувствую ей — Вы так близко находитесь к этому адову пеклу, что поневоле от сего зловония заболит голова. Никакой пирамидон, кроме нашего весеннего воздуха, не поможет. Ждем Вас с радостью. Черт ее знает, сколько я уже весен видел, а все не могу привыкнуть — каждый раз приятно. Форточка открыта, стекла в окне вымазаны этакой серовато-голубой приятной грязью, желтая замазка из пазов вываливается, баба широко шагает по грязи. Кстати, о грязи. Сокольнический район, где я живу, признан самым антисанитарным из всех московских, а дом, где я имею честь обитать, самым антисанитарным в Сокольническом районе. Везет!

Третьего дня закончил пьесу. О гуманности и гуманизме. В наших, советских, условиях. Если пожелаете — прочту.

Целую Вас.

Всеволод.

12/IV 1933

Живет у меня в Москве мать, 75 лет. Приехали к ней родственники из Сибири, из поселка. Пока ехали, долго, долго — потеряли ее адрес. Где же искать им Аришу? Ну, как Вы полагаете?

Они стояли на трамвайных остановках и смотрели: **не проедет ли мимо.** Постояли-постояли, три дня, на остановках и вернулись в поселок. Вот люди!.. А вы говорите — Шекспир!

В. И.

34. А. М. ГОРЬКОМУ

17 июля 1934 [Москва]

Дорогой Алексей Максимович,

за два часа перед отъездом в гор. Горький я получил Ваше письмо об Литфонде. Но и раньше я предпринять бы ничего не смог: три дня тому назад я выписался из больницы. Рука оказалась и вывихнутой и переломанной, теперь у меня на руке гипс — от ладони до плеча, этак фунтов 20. Ни ходить, ни писать, ни заседать, ни тем более разговаривать с П. Юдиным! Этакое мое беспомощное положение протянется не меньше месяца. Три дня назад я просил Юдина ко мне заехать, но их сиятельство не соблаговолили.

Примите поклон от меня, Там[ары] Вл[адимировны] и всех прочих украшений моего семейства.

Вс. Иванов.

17/VII 1934

В больнице прочел «Петра Первого». Разительное явление, еще не отмеченное нашей критикой: Петр чудовищно похож на Б. Пильняка! Ростом, правда, побольше и — храбер в делах воинских, но храбрость, к сожалению, лубочная. В конце романа, когда русские побили шведов, я возгордился, что и требовалось доказать.

В.

Не успел отправить письма, как вошел Юдин. Как видите, я его обругал почти зря. Мы договорились. Он согласен. 25-го устроим первое заседание Правления.

Вс. Ив.

35. А. М. ГОРЬКОМУ

4 октября 1934, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Ко мне обратились т. Венкстерн и тов. Баталов, актер МХАТа. Они переделали в пьесу Вашу книгу «Трое». Я знаю, как Вы отрицательно относитесь к переделкам, но тем не менее я прошу Вас прочесть эту пьесу. Я плохой судья театра и драм, но мне кажется, что эта переделка удалась и вполне сохранила весь аромат

В[ашей] книги — извините за гладкую фразу! — так что работу театра следует поддержать. Театр, который намерен ставить «Трое», называется Театр Рабочей Молодежи. И он подлинно собран из драмкружковцев с заводов. Руководит постановкой режиссер И. Судаков из МХАТа, постановщик «Дней Турбиных», «Страха», «Горячего сердца» — и готовит «Грозу»,— и они, театр, надеются с этой пьесой «Трое» — о молодежи — выйти на большую театральную дорогу. Уже сделали две картины, которые и были показаны всей труппе театра; картины эти были одобрены всячески. Пьесу хотят поставить к 5-летнему юбилею театра, в конце года.

Прочтите, Алексей Максимович! Работа задерживается потому, что на постановку пьесы нет В[ашей] санкции. Театр просит В[ашего] благословения, и один из участников оного представления сидит сейчас против меня, и лоб его потен от волнения. Так-то! Буде что укажете, то театр только порадуется.

Привет Вам от меня и моего семейства.

Всеволод Иванов.

4/X 1934

Москва, Нащокинский пер., 3/5, кв. 57.

36. А. М. ГОРЬКОМУ

16 окт[ября] 1935 [Москва]

Дорогой Алексей Максимович!

Посылаю Вам свою пьесу «12 молодцев», произведение, от которого мне сейчас ужасно скучно. Не подумайте, что я прибедняюсь,— действительно меня терзает эта моя страсть к драмам! Ставить их никто не ставит, печатают их с испугом, читают плохо... Писать, придумывать,— сознаюсь, приятно.

Желаю, чтоб выдумки мои доставили Вам удовольствие!

Живу по-прежнему: ни шатко ни валко. Сын лежит, обитаем поэтому за городом...

Хорошо бы в Абиссинию уехать!

Всего Вам доброго.

Всеволод.

16 окт. 1935 г.

37. А. М. ГОРЬКОМУ

[*Конец 1935 — начало 1936, Москва*]

Извините, дорогой Алексей Максимович, что пишу Вам на машинке: у меня грипп, озноб, шум в голове и «порошки на столе», а чернилами пиша делаю много ошибок, что не только неприятны Вашему опрятному мышлению, но даже и моему туманному.

Слышал, что не приедете зимой в Москву. Это печально. Литературная жизнь наша, несмотря на уверения Щербакова и прочих писательских аппаратчиков, все же очень сухая, разобщенная и малоплодотворная. У Вас же, при всей Вашей «неодобрительности» к литераторам, имеется литературный пламень и организаторский талант в самом отличном понимании этого слова, качества весьма полезные нам и необходимые просто. Есть в литературе и отрадные явления, вроде романа «Одиночество» и прилагаемой при сем книжки молодого писателя Еремина «Возвращение», но и эти события мы не способны «поднять на должную высоту» из-за недостатка смелости, заинтересованности в общем деле, а главное — организованности,— и в результате такое явление, как «Литературная газета», которая ухитряется существовать не существуя, или, прямо сказать, отчаянное положение с книгами «Люди пятилетки» и «День мира». Мне это больно писать еще и потому, что, как выяснилось, я совершенно лишен организаторского дара,— и даже с трудом могу звонить по телефону... Кроме того, весьма неважно положение и с так называемой «обыкновенной» не классической, не гениальной литературой. Должна ли она существовать? Если должна, то каковы ее законы, по которым она будет развиваться? Если вы просмотрите продукцию наших издательств 1934 года, то так называемых «обычных» романов вы найдете весьма немного, тогда как, как Вам известно, в одной Англии в течение года выходит 3000 романов. Несомненно, эти романы приносят буржуазии огромную пользу. Должны ли мы отказываться от этих романов, должны ли мы отказываться от популяризации идей нашего социалистического отечества,— которое, несомненно, мы любим все больше с каждым днем, а эта любовь самая верная, это, знаете, не вспышка страсти, не аффект... Мне кажется, надо обратить внимание на эту сторону дела. Помимо прочих неурядиц, вроде того, что

Союз мало обращает внимания на обычного среднего автора, что низки и плохо выплачиваются гонорары (например, издательство «Советский писатель» даже мне не выплачивает гонорара,— что же тогда и как получает средний автор? Не ложь, что Финку издательство дает по 50 рублей зараз или направляет авторов в Литфонд за субсидиями), надо подумать и о тирании,— я пишу об этом прямо,— редакторов. Хорошо, когда на недостатки указываете Вы или иной почтенный и опытный литератор, а когда малоопытные редактора, к тому же безумно занятые и вследствие этого читающие книги невнимательно, заставляют автора переделывать книгу по нескольку раз, добывая из него гениальность, и когда книга лежит в портфеле издательства по году, не меньше... работать в этих условиях, Алексей Максимович, среднему писателю трудно, гениальных же авторов все-таки мало, да и просто по усвояемости они не всем доступны... Я пытался достать в издательствах сведения о том, сколько времени идут книги по аппарату издательства, но мне этого, к сожалению, не удалось, так что я пишу по личным беседам с авторами и не могу подкрепить свои соображения цифрами, но Вам, полагаю, удастся собрать такие сведения. Все это я пишу опять-таки к подкреплению своего соображения о необходимости строгой организации и даже, если хотите, плана наших работ.

Вот-с.

Теперь сообщу Вам два забавных случая из моей жизни. Уговор: не обобщать.

Звонок. Выхожу в переднюю. Человек в рваном пальто, с шапкой за пазухой, с громадным, набитым чем-то легким мешком на спине, возбужденный и бледный, называет мне торопливо свою фамилию, а затем оглядывает лестницу и просит закрыть за ним дверь. Закрываю, но фамилии вспомнить не могу.

— Да как же не помните, товарищ Иванов, я вам месяца полтора назад стихи приносил...

С достойной моего почтенного корреспондента суровостью я сказал, что стихи помню, читал, но по-прежнему думаю, что они плохи. Тогда человек с мешком, не покидая передней и даже держась за ручку двери, сказал поспешно:

— Я склонен и даже подвержен алкоголю. Ну и дерусь с женой, известно! Ну, меня за драки с женой

посадили осенью на два месяца... выхожу,— а на моей жилплощади уже другой муж. Теперь я уже подрался по другой причине, и за эту причину дали мне два года высылки в пределах стокилометровой зоны от Москвы. Поступил в колхоз, зоотехником...

Он указал на мешок, но я так и не понял, что у него там зоотехнического, в этом мешке, ибо разговор был весьма краток. Он торопливо говорил:

— В Москву мне появляться нельзя... пришлось удрать... ночей не спал. А на городском вокзале заметил меня инструктор, знакомый... за мной... Я на трамвай... Боюсь, как бы не застал он меня у вас на квартире... неудобно, еще скажет, уголовный элемент принимает писатель... к тому же я выпивши... я вас задерживать не могу...

Он приблизился совсем близко к моему лицу и, сильно видимо страдая, спросил с мучительнейшей тоской:

— Скажите, товарищ Иванов, решительный совет: может быть, мне на прозу перейти?

Я пожал ему руку и ответил как мог решительно:

— Попробуйте.

Он сразу же ушел.

И второй случай:

В громадных сапогах, стеганой куртке и теплой кепке, одеянии весьма удобном для езды в моей зябкой машине, я вернулся с дачи. Я остановился возле книжного магазина. На прилавке выбрал несколько книжек по Арктике. Продавщица не знала меня. Возвращаюсь с чеком, протягиваю его продавщице, а она его не видит, так как на нее орет какая-то мохнатая шапка:

— Да как же вы в магазине не знаете его адреса?

— Обратитесь в Союз писателей...

Шапка еще громче:

— Да как же не знать адреса Всеволода Иванова! В Союзе мне тоже не говорят.

Спрашиваю достаточно участливо:

— Зачем вам нужен его адрес, гражданин?

Он горячо заговорил:

— Приехал я из провинции, из Саратова... билеты-то как трудно добывать, пойми... а тут адреса не достанешь, бюрократы... Специально отпуск взял, так как написал поэму из личной жизни. Носил к Безыменскому и Вересаеву... Ничего, одобрили... Теперь надо к Всеволоду Иванову...

Признаюсь, мне было лестно это слышать, Вересаев — как-никак традиции, Безыменский — комсомол, а я, видимо, нечто среднее, однако рукописей у меня чудовищное количество, а объяснять достоинства, а тем более недостатки стихов я просто боюсь, поэтому я и сказал:

— Бросьте, Иванов очень тяжелый и неприятный автор.

— Да я слышал, что он паршивый человечишко... (Так и сказал: человечишко.) Но, сказать по совести, мне его мнение даже и не нужно, а дело, видите ли, в том, что он, говорят, вхож к Горькому и если надавить на Иванова, так он рукопись к Горькому передаст...

— Очень неприятный и даже сволочной парень,— сказал я,— этот Иванов.

Он посмотрел на меня внимательно. Моя горячность, видимо, удивила его,— к тому же я и выбранился не без горячности,— ибо совесть моя нисколько не страдала, когда не удержишься и обругаешь собрата.

— А ты-то чего разоряешься? — спросил он.

— Дело в том, брат, что я сам ходил к Иванову с тем же и ничего не вышло. — Я взял книги. Он не остановил меня, так как, должно быть, сочувствовал моим тяжелым воспоминаниям.

Я несколько дней ждал его с поэмой, но он не пришел. Жаль, что никто не дал ему моего адреса. Я бы смог поговорить о стихах без всякой боязни.

Сложная штука литература. Несколько дней назад окончательно испортились в моей машине аккумуляторы. В магазине их нет. Поехал в трест «Вато». Начальник треста, толстый и скучный дядя в гимнастерке, встретил меня ужасно лениво. Но когда я назвал ему свою фамилию, он оживился и даже встал:

— Как же это вы, товарищ Иванов, сами ездите за такими пустяками. Вы бы секретаря послали. Для писателей и Героев Советского Союза у нас нет отказа.

Писатель, как видите, стоит даже впереди Героя Советского Союза.

И в заключение, товарищ писатель, я сообщу Вам несколько соображений касательно Вашего письма ко мне, последнего, что по поводу моей пьесы «Двенадцать молодцев». Мне почудилось в нем, что вы **авторскую усталость** мою неправильно истолковали... Это напрасно. Пьеса, как Вы и правильно заметили, требует

«приспособления» для театра, да ведь и то сказать, в ней — 6 печатных листов, а для театра надо — три. Кроить можно как угодно. В. Немирович хочет ее поставить в МХАТе... придется, значит, мне над ней попыхтеть, ибо театры сейчас еще хуже редакторов книг придирчивы. Можно сомневаться, что у меня получится комедия; кажись, данных мало... как и для трагедии, впрочем. Не для утешения ли моего посоветовали Вы переделать пьесу в повесть с диалогами. Ведь в «Семи братьях» автор подражал эпосу (у нас, например, есть обрывки чудесных саг в диалогах в сочинениях Ч. Валиханова «Саги дикокаменных киргиз»), а у меня течение событий иное, и если кому подражать, то, по-моему, Стивенсону или А. Дюма. А об авторской усталости я пишу к тому, что когда я Вам написал сопроводительное письмо, то ужасно устал, но судьба моей пьесы тогда не огорчала меня, ибо она уже была принята МХАТом, и не было никаких оснований для депрессии...

Вам не нравится, видимо, вторая и третья часть «Факира». Или, может быть, Вы прочли только вторую часть, тогда посылаю Вам и третью, которая Вам так же, как и вторая, не понравится. Тут уж, конечно, вина автора, что он не смог справиться со своей задачей, а задача его заключалась в том, чтобы показать полную бестолковщину в его «образовании»,— как опыта, в смысле разума, так и в смысле чувств,— если разрешите разделить эти понятия для удобства... Это очень жаль, что не вышло. Должно быть, я перегрузил книгу материалом. Вчера я только получил перевод этой книги на английский язык,— и там переводчик многое выкинул... Надо будет подумать обо всем этом при переиздании. Буду надеяться, что Вам понравится четвертая и пятая части,— там я покидаю разговоры от первого лица и начинаю писать об В. Иванове, лице, несомненно, собирательном, в третьем лице,— и писать по-иному... впрочем, прочтете... рукопись будет готова к весне.

Сейчас я пишу повесть о современной Москве, об одном молодом изобретателе, «стахановце», как говорится в эти дни. Здесь соединены две биографии, которые, в сущности, очень трудно соединить. Несколько лет назад произошел странный случай, который был бы достоин, пожалуй, гения Гофмана: сын незаметной балерины из кордебалета оперетты, некогда ездившей с антрепренером в Пекин, имел монгольское лицо,— и

в остальном жизнь его текла обычно, по-инженерски, а вдруг оказалось, что мамаша его согрешила в Пекине с китайским императором, и так как все сынки императора перемерли, кроме Пу И и этого молодого человека, то он оказался претендентом на престол... дальше идут психологические подробности, ужасно осложнившие его жизнь... Словом, прочтете повесть, ибо в письме это может показаться мало убедительным и, пожалуй, пустяковым замыслом.

Извините длинное мое письмо.

Привет Вам и всем домашним.

Всеволод Иванов.

38. А. М. ГОРЬКОМУ

13 марта 1936 [*Москва*]

Дорогой Алексей Максимович!

Вы как-то выразили желание прочесть книгу Потебни «О символах». Посылаю Вам ее.

Последний месяц переделывал «12 молодцев» — приспособлял оное творение к театру. Из $6^1/_2$ печ. листов сделал три. Увеличилось ли качество от этого арифметического действия — не знаю... И Вы оказались правы — характеры 18 лиц — не влазят, пришлось урезывать себя, и хочется, действительно, как Вы советовали, дочертить их «описательным текстом».

В окрестностях слякоть, непрерывно тает, и снегу осталось вершков шесть.

Город наполнен разговорами о двух врагах советской власти — империализме и формализме.

Целую Вас крепко!

13/III—36

От семейства моего — поклон!

Всев. Иванов.

39. К. К. ХУДЯКОВУ

[*февраль 1918, Омск*]

Кондратий!

Письмо лежало целую неделю, пока собрался отправить, но теперь кое-что еще допишу:

1) Передал твое стихотворение в «Дело Сибири».

Феоктистов сказал, что ты очень талантлив, и взял у меня адрес, желая тебе написать. Получил ли ты?

2) Вышел «Сборник пролетарских писателей». Чапыгин прислал мне экземпляр. Помещены: 2 твоих стихотворения «Осчастливлен наследием дедовым...» и «Ночь» («Ночь, не пролетит и муха...») и моих 2 рассказа «На Иртыше» и «Дед Антон». Может быть, выпишешь, тогда пиши так: Петроград, Невский, 64, издательство «Парус» (цена сборника 3 рубля). Есть стихи хорошие, но прозу еще не читал.

Напиши, когда прочтешь, в «Новом мире» статью (только обо мне, пожалуйста, не пиши, не стоит), да, кстати, вышли № «Крестьянского дня» — я не получал.

Пиши теперь так: Проломная, 119 (Первый дом).

Вс. Иванов.

40. К. К. ХУДЯКОВУ

[1918, Омск]

Дружище!

Сегодня послал в «Сиб[ирские] зап[иски]» рассказ «Шантрапа», посвященный тебе. Реклама-с. Познакомился здесь, во-первых: Павел Оленич-Гнененко (отец очень талантливого сына, но сам очень неталантлив). Поэт. Рост — 3 аршина 14 вершков. Грудь 240 километров, рожа с русыми усами и лысым лбом — $1^1/_2$ арш. Чемпион Западной Сибири по выжиманию тяжестей, дальше не идет. Стихи его: помесь Микулы-Пахаря с Опацким и Пуришкевичем (читал Пуришкевича стихи?).

Во-вторых, Михаил Плотников. Верхняя губа короче нижней. Пенсне. Английский пробор. Синий пиджак и порты, в боковом кармане пиджака — алый кончик платка. Был в Америке, Англии и Германии, учился в университете. Умен, вдобавок мошенник! Читал свои рассказы: «До», недоумевающие взгляды на мой, слишком скромный костюм. Недоверчивое молчание на выкрики А. Сорокина — «гений». В начале чтения — малая доза внимания. После: «А-а... Талант...» и приглашение заходить в гости с обещанием хорошего угощения.

Был.

Ответствуй.

Всеволод и его Марья.

41. К. К. ХУДЯКОВУ

16—29 июля [1918, Павлодар]

Дружище Кондратий!

Сегодня уезжаю на время в Омск, будут делать операцию моему брату. Из Омска предполагаю на день-два заехать в Курган. Как ты на это смотришь? Нельзя ли у тебя остановиться? Отвечай: Омск, типография «Земля и Воля», угол Гасф[ортовской] и 2-го взвода. В Омске думаю прожить месяц-полтора. Готовь к моему приезду больше стихов. Кланяйся друзьям. Из Омска еще напишу.

До свидания.

Всеволод Иванов.

42. К. К. ХУДЯКОВУ

[сентябрь 1918, Омск]

Кондратий Кузьмич!

Давно я с тобой не перебрасывался. Пишу по делу, почти официально: здесь группа местных и приезжих из центров писателей из народа организует кооперативное издательское т[оварищест]во писателей-рабочих. Желаешь ли вступить в сие т-во? Деньги не нужны, ибо мы их думаем получить от ЦК партии, кооп[еративных] орг[анизаций] и пр. Скоро появится по сему вопросу несколько статей в газетах. Пришлю.

От тебя требуется: заявление о твоем согласии на издание т[оварищест]вом твоих произведений (плата по взаимному соглашению), заявление о вступлении в число членов т[оварищест]ва.

Думаем кадило раздуть.

Перепиши стихотворений штук 30—40 для небольшого сборничка. На первых порах мы будем выпускать небольшие брошюры 1, 2, 3 и т. д. под одним общим заглавием: «Пролетарская библиотека» или что-либо в этом роде.

Жена, Ант[он] Семен[ович] Сорокин, К. Тупиков — тебе кланяются. Ал[ександр] Павл[ович] Оленич-Гнененко — тоже. «Сидит» он.

Ан[тон] Сорокин в нашем предприятии не участвует.

Всеволод.

Нет ли у тебя там еще кого-нибудь — тащи к нам. Адрес: Омск, Семинарская, д. Суслова — 6, Вс. Иванову.

43. К. К. ХУДЯКОВУ

16—2—1919

16 февраля 1919 [*Омск*]

Дружище Кондратий!

Единовременно с этим писанием посылаю «Ниеллы» и «Джатаки» для газ[еты] «Земля и труд».

Как здравствуешь? Что чертишь?

Во втором № «Возрождения» идут твои стихи «Дедушка Ермак» — «Братья». Как только отпечатают № — я вышлю, печатается он в той типографии, где служу я. Первые 8 полос уже в машине.

В «Сибирский рассвет» К. Ковальский послал мой рассказ «Незнамая Самоядь». Страниц на 40. «С[ибирский] р[ассвет]» превращен, говорят, в ежемесячник? Оно и понятно — по техническим условиям невозможно выпускать сейчас журнал двухнедельный, да у них и сотрудников мало. В Екатеринбурге скоро выйдет новый журнал «Уральские записки». По типу толстых журналов.

Как, однако, богатеет наша Сибирь литературой!

О фокусах А. Сорокина читаешь? Ходит он сейчас с собственноручно сгравированным значком и называет себя профессором! Выпустил ряд небольших газет, тебе присылал он? В одном выпущенном им журнале «Сибиряк» напечатано твое стихотворение — «Не пришла». Дело в том, что, когда были «Согры», он твои стихи списал у меня и теперь таскает, пользуясь каждым удобным случаем.

Доставь ему удовольствие, напиши пару слов о книге его «Тююн-Боот» и рецензию пошли ему. Все омские литераторы говорят, он талантлив, но... губят его трюки.

Твоему другу Малютину я с Ант[оном] Сорокиным посылал свой адрес, прося его зайти ко мне и побеседовать. Но он, по-видимому, меня не обрел, ибо живу я вдали от центра — «на окраине города...».

Не знаю, когда мы с ним встретимся.

Кланяйся Ольге Петровне и Антонине Мих[айловне] Петровой.

Жму руку.

Вс. Иванов.
В. Тараканов.

44. К. Н. ХУДЯКОВУ

В. В. Иванов (Всеволод Тараканов)
Омск, 2 Гороховая, д. 48 Лыкова.
20/II

20 февраля [1919], Омск

По поводу «Д[едушка] Е[рмак]» и «4 брата».

В «знойной» пляске не годится. Больше бы подошло в «злобной» или как?

«Просторов дремлющую ширь...» Просторы и ширь — синонимы. Какая в просторах может быть ширь. Это не совсем понятно и портит общее впечатление.

Снежно-стар — очень хорошо.

Повторения «родимые» и «родимые» плохо.

«Ермак» лучше — «4 братьев». Последние напоминают былины А. Толстого и носят фельетонный характер. Про природу у тебя лучше выходит, а в общем, эти два стихотворения мне не нравятся. Чего-то не хватает. Торопился ты, что ли?

В «Возрождение» советую больше послать.

Писали ли они тебе, что беллетристику они печатают отдельными оттисками и выпустят в форме книги. А в наше безкнижное время это куда как хорошо! Шли, я беседовал о тебе с редактором, он о тебе, т. е. о твоих стихах, хорошего мнения.

Не пришлешь ли ты мне оттисков твоих стихов. Я бы написал о тебе статью в «Зарю».

А то, что я имею, слишком мало.

Если мои рассказы не пойдут — возврати, возможно, скорее, а если напечатают, пришли по 3 №№ с моими работами.

Жму руку.

Всеволод Иванов.

45. К. Н. ХУДЯКОВУ

[*Июль 1919, Омск*]

Квадратура!

Ну, иноче,— как дела? Получил от тебя ругательную цидулю — что-де пишу мало. Верно!

Ленивый я человек, во-первых, во-вторых, скучно. Писать нечего, новостей нет.

Наш журнал —«Жизнь и творчество» (вместо «Фистулы») выйдет недели через две. Типографии завалены работой — трудно выпускать. Есть чудные стихи Г. Дружинина — поэт он, по-моему, первоклассный, кстати сказать, сейчас он в войсках служит — мобилизован.

Пришли стихов. Мы их, знаешь, под таким заголовком пустим — «Из выходящей на днях новой книги», как помнишь, бывало, в «Журнале журналов».

Не удалось мне лицезреть твоего редактора. Пе-чаль-но.

Со следующей недели начинаю работать на наборной машине — любопытная штука. В день сделает больше, чем десять наборщиков.

Пишу я еще в «Единстве»— контракт, так сказать. Три фельетона и рассказ — полтинник строчка.

Крути, Гаврила!

Нужно мне до зарезу словарь Вл. Даля и нигде не могу найти — тоска.

«Кубок крови и вина»

На книгу К. Худякова

С ясным взором иду я навстречу вечности,
Под ее белоснежное, теплое крыло.
Я — атом,
Я — дух, воплощенный в материю.
Мне ничто не страшно,
Мне ничего не жаль.
Мне нравятся
Звуки набата — языки восстания,
И том Спинозы,
И желтый билет проститутки,
И я сам — и размышляющий,
И пьяный.
Ибо — во мне Вечность,
И я — ее возлюбленный.
За зелеными далями
Всплывает алый цветок — солнце...
Степи пахнут полынью,
Из логов веет прохладой.

— Эх! Подними выше кубок,
Не роняя слез об умерших.
Кинь улыбку прекрасному, серому городу.
Ты, гордый,— вечен;
Ты, дух бунтующий, не умрешь —
Ты, воплощение огня, возродишься снова...

Всеволод Иванов.

Теперь после доли поэзии перейду к прозе:

Квартиру занимаю убогую, тесную. Когда жена затопляет плиту — дым наводняет комнату, и мы бежим вон, изрыгая брань.

Писать приспособляюсь на колене (у себя, конечно), так что половина вдохновения уходит в пол.

Я уже не надеюсь иметь когда-либо в Омске сносную квартиру — примирился. По-толстовски — непротивление злу.

Иван Петрович покупает и перепродает книги. Коммерция, так сказать. Чем и живет.

Его квартира немного больше моей, но тоже неудобная, мука здесь, а не житье.

Ну, пока прощай.

Дела открылись.

Пишу я ведь на службе.

Вс. Тараканов.

1-я Мещанская, 55, Омск.

46. К. К. ХУДЯКОВУ

[*первая половина 1920. Омск*]

Кондратий Кузьмич!

Приехал я на несколько дней в Омск, а завтра уезжаю обратно, в Татарск.

Посетил своих знакомых. Пахнуло омским духом — и опять в свою берлогу. Хотел летом ехать в Москву или Питер, но запугивают голодом, и не знаю, что делать.

Из дома напишу некие достокональности.

Вс. Тараканов.

В. Рябков в Н[ово]Николаевске, в секретариате Закупсбыта.

Г. Маслов — умер. А. Оленич-Гнененко здравствует и мало пишет.

47. К. К. ХУДЯКОВУ

28/III 1920 год

28 марта 1920 [*Татарск*]

Дорогой друг Кондрат!

Получил твое письмо, но так как был в это время в поездке по уезду, то ответить тебе сразу не смог. Очень рад, что ты благополучно перенес хворь, теперь долго будешь здравствовать. О впечатлениях, вынесенных из поездки по уезду, я не буду тебе говорить. Быт современной деревни, ее мысли и настроения ты, я полагаю, знаешь лучше меня. Недавно ставили здесь пьесу Б. Четверикова «Ихтиозавры». Пьеса имела успех. Сейчас он заведует внешкольным подотделом Отдела народного образования, а я — секцией народных домов и клубов. Супружница моя служит в Народном доме актрисой и, черт возьми, получает жалованье вдвое больше моего. Мы с Б. Четвериковым читаем лекции, участвуем, где можно, а тетради с твореньями мирно почиют на столах. Не знаю почему, но нет никакого желания писать и настроение отнюдь не грустное, а так что-то. Получил недавно от К. Тупикова письмо, он тоже перенес тиф. Да еще вдобавок жену потерял и остался с маленьким ребенком на руках. Он обитает в г. Кокчетаве, Акмолинской области, тоже в Отделе народного образования, как и аз грешный.

Написать тебе о своих настроениях? Не впадая в лирический тон, придется написать немногое. Чувствую бодрость и веру в том, что возможность творчества новых, хотя бы малоценных произведений духа возвратится. А вместе с нею цена жизни увеличится. Те уроки жизни, которые вкушаешь сейчас,— принесут, я думаю, колоссальную пользу. Кругозор расширяется с каждым днем. Учишься сам и других учишь. И книга теперь является советчиком в вопросах жизни, а не самоцелью, как было раньше. Ей-слово! Я приемлю жизнь теперь с неожиданной для себя верой, с верою, что теперь под

звон оружия, где-то внутри, в сгустках крови рождается и крепнет новая мысль, которая толкнет и поведет к новым возможностям. Мы, художники, самовлюбленны больше, чем, пожалуй, другие смертные, и в этом ценность наша. Самовлюбленность эту, эту торбу мы выложим перед зрителем-читателем. Чем писатель иль художник будет откровеннее, тем лучше. Я это говорю к тому, что самовлюбленность эта у некоторых, а в частности у меня, расползается. Исчезает. Появится, я верю, что-то новое. Это появление родит и заставит трепетать те «струны сердца», выражаясь вульгарно, которых до сего времени у меня не было. Может быть, для тебя это написанное туманно, но я не могу отлить мысль, которая гнездится в моем мозгу, в ясные и точные формы.

Здесь последовал небольшой перерыв. Дело в том, что меня постигла крупная неприятность семейного романического характера. Как из этого выберусь — напишу подробнее, следующий раз.

Пиши, друг.

Адрес. Татарск. Омской губ.
Отдел народного образования, мне,

В. Иванов.

Слушай! Подумываю я — нельзя ли к вам приехать служить, но об этом после.

В. Иванов.

48. А. С. НЕВЕРОВУ

Алекс. Неверову
Самара, Крестьянская, 259,
кв. 2.

[1921, Петроград]

Дорогой товарищ!

Не знаю, сообщили ли Вам, что Ваш рассказ «Хочу жить» будет напечатан в «Грядущем», но выйдет не скоро, ибо здорово задерживается дело с тисканьем. Рад бы с Вами познакомиться ближе. Я заметил Ваши писания еще во времена Директории — я тогда писал в газетах омских и тоже хлопотал об Учредительном собрании для русского народа.

Голодаете, наверное? Здесь гримаса болезненная — голодный Питер хочет кормить Поволжье.

Да, сказки Ваши к «Грядущему» не подходят. Здесь ведь материалисты и насчет разных Богов и Христа — туго. О Вашем «Стишке» в «Понизовье» я даю пару слов в «Грядущем».

Роман Вам надо писать. Способности у Вас большие и человек — спокойный. Вон, Степной — чехарда в голове у человека.

Привет.

Всев. Иванов.

49. Ф. А. БЕРЕЗОВСКОМУ

Петроград, августа 23

23 августа [1921], Петроград

Ох, дружище Кондратий!

Хандрю что-то немилосердно прямо. Добро хоть наружу не вылазит ⟨...⟩

Писать не хочется, Петроград скучен — камни, и на камнях люди яблоками торгуют. Ни одного журнала, ни книг, и никто ни во что не верит.

Написал я повесть «Бронепоезд 14-69»— еще ряд задуманного есть, но никак не подымается рука к работе. Получил от Четверикова письмо, он на Боровом, лечится и хочет ехать сюда осенью. Я не советую, я никому не советую ехать в Петроград. Здесь скучно — да и вообще — надоело мне все!

Ты все-то еще хочешь попасть в П[етербур]г? Плюнь. Хотя в Н[овониколаевс]ке еще хуже, это я чувствую. Вообще до отупения много чувствую.

Мне до смертельной тоски ничего не хочется чувствовать, даже твое сочувствие, а я тебя люблю очень, потому что в тебе много жизнерадостности и уверенности в других.

Знаешь так называемую предсердечную тоску? Мучительная вещь.

Приезжай хоть в гости, угощу яблоками и рассказами... Больше ничего не имею.

Привет Винокурову, я твое письмо не успел прочесть при нем и потому не послал книжек, а сейчас, откровенно, лень и закупоривать и идти на почту. Приезжай сам — а мне — скучно.

Знаешь, что я сейчас делаю — по вечерам — читаю лекции по русской литературе в Петропавловской крепости. Номер?

Всев. Иванов.

50. А. К. ВОРОНСКОМУ

Петроград, 24 февраля
22 года

24 февраля 1922, Петроград

Тов. Воронский,

браните Вы меня зря. «Голубые пески» разрослись до романа, и напечатаем мы его лучше в 7 № журнала. Браниться Вам со мной — и мне с Вами — не выгодно. А про «Дите» я, кажется, так и понял из письма, как Вам передавал Лунц. Пишите яснее.

Я очень устал. Написал много, а книга моя печатается четыре месяца и выйдет еще, наверное, в марте.

Какие олухи сидят в Главполитпросвете, и зачем они переиздали «Партизан». За такие дела я бы дал по физиономии — но ехать далеко — и скучно. Разве вот роман привезу, тогда по пути. Я им написал ругательное письмо и боюсь — слишком мягко. Ради создателя, пусть не переиздают «Бронепоезд». Честное слово, зашибу на месте.

Занимаюсь тем, что в «Правде» и в «Красной [газете»] печатаю рассказы и весной уеду на Дальний Восток.

«Голубые пески» я привезу в Москву сам.

В Петербурге выходит много книг и журналов (библиографических чуть ли не 6) и нет ни одного литературного, т. е. печатающего беллетристику. Это все равно, что корни без стебля.

Не хочет ли московский Госиздат издать мой «Бронепоезд»... Если у Вас будет время — переговорите. Только не по журналу, а по рукописи, которую я пришлю — я его переделал. Если издадут в месяц, я согласен, здесь частные издательства напечатают в 2 месяца, а Ионову я не хочу передавать.

На меня не обижайтесь. Работать мне приходится много — служить я нигде не служу, а в Петербурге много сволочи... Я устал...

Всев. Иванов.

51. С. А. ГАРИНУ

12 сент. 1922

12 сент[*ября*] *1922, Петроград*

Дорогой
Сергей Александрович!

Посылаю Вам приятеля своего — Дм. Четверикова, очень талантливого поэта, на днях приехавшего с Украины. Думаю — работами своими будет он зело полезен «Красной газете». Нуждается он в монете, и, буде возможно, устройте ему нечто вроде аванса.

Сам же я пребываю в хорошем здравии, лежу, пишу, лопаю яблоки.

Привет Нине Михайловне.

Жму вашу руку.

Всев. Иванов.

ПБГ

52. К. А. ФЕДИНУ

[*1922*]

Дорогой Костя,

дай мне на несколько дней 15 червонцев. А?

Нет, не надо,— а скажи только, где мы сберемся во вторник, понеже я никак не смогу раньше выбраться из комнаты.

Ох, и устал!

Пишем, молодой человек, пишем.

Всеволод.

53. К. А. ФЕДИНУ

[*1922*]

Дорогой Костя,

посылаю тебе серап[ионовский] червонец.

Где во вторник сбираемся?

Лежу.

Все пытаюсь писать, но туго.

Чехов хороший писатель.

Привет.

Всеволод.

54. К. А. ФЕДИНУ

[1923]

Константин!

У меня к тебе большая просьба: приходи в субботу, будут крестить мое произведение, ты его у купели подержишь.

А кумом я удумал записать Горького? Это ловко — дескать, любим, и уважаем, и помним... Первый ребенок, родившийся в эпоху Серапионов.

Приди на мою квартиру после четырех — в субботу,— там на квартире все и распишется.

И между прочим раздавим мы с тобой в ознаменование сего полбутылки спирту. Это верное.

Процессию завершим в течение часа, выпьем, и можно будет идти к Серапионам.

Жду.
Всеволод.

Рукописи в Москву отправлены. О деньгах — написал.

55. К. А. ФЕДИНУ

Ялта,
Чукурларская, 12

[9 апреля 1923] Ялта

Дорогой дружище,

Я ногой на Черном море. Впрочем, цвет его не черный, а выцветшего стекла. Ну, все прочее тоже бесплатно.

Не то чтоб очень холодно, но и не жарко. О природе Крыма, о фауне и флоре отсылаю тебя к новому моему рассказу «Заповедник». Если еще в письмах лирики писать, совсем терпежу не будет.

Вино здесь паршивое и дорогое.

Обедать можно в одном ресторанишке — но дорого, дороже Москвы.

Жуликов тьма.

Буду жить здесь все лето В начале мая приеду в Питер, чтоб забрать кое-какие книжки.

Рассказ «Долг» я после разумного размышления в альманах решил не давать. Малоценен. Если к маю не соорудите, я даю новую вещь — «Заповедник» — это будет потверже, да и вообще прибой волн ⟨...⟩

Тень Слонимского витает по Ялте. Какой-то жуткий паренек в студенческой фуражке остановил меня на знойных улицах, когда я тоскливо искал хороших обедов, и нежно сказал:

— Не узнаете?

— Не помню.

— Я из «Звучащей раковины».

Я скромно пожал ему руку. Он обрадованно сообщал:

— Как вы сюда попали? Михаил Леонидович хотел сюда в начале февраля... я уже здесь...

На что я ему возразил крепко:

— Михаил Леонидович написал плохой рассказ «В Бразилию» и женился на Чуковском.

Хлопец решил остаться здесь еще на три месяца. Увы, не дождется.

Как твой роман? Не тот, о котором вы говорите с Зощенко, о сладострастии, а другой — рукоблудный, под эпиграфом —«он когда-нибудь окончится»?

Привет: черноглазой Полонской,

трубке Тихонова,

величавой зрелости Каверина,

Никитину, которому я забыл отдать сто миллионов и которые я перевел на курс золотого рубля; Слонимскому; сладострастному павиану Зощенко; Лунцу — которого Лев Толстой забыл поместить в «Круг чтения» и не помещают в круг Пильняка, и великолепному классику —

Илье
Абрамовичу
Груздеву,—
Ничтожный раб —
и тень теплых песков

Всеволод.

56. К. А. ФЕДИНУ

Ялта, Чукурларская, 12

10 октября 1923, Ялта

Дорогой Костя,

как здравствуешь ты, твоя дочь и жена? Кланяйся.

Моя же дочь растет и пухнет, мешает писать и думать. Жена просит написать 3 м. и 10 д. = 18 ф.

Жена прочитала и обиделась, просит опровергнуть не вес,— а мешанье. Да! Пишу пьесу и боюсь.

А в литературе российской — насколько я вижу — огромная чепуха, ерунда и свалка. Скучно и не хочется писать.

Скажи — почему тебя нигде не видишь печатно, бросил, что ли. А тут в последнем № 5 «Кр[асной] нови» Воронский идиотскую статью накатал и о тебе ни звука. Не понимаю. Как наши круговские англичане, скоро ли Никитин напишет английский кол? Нет, братишки, ей-богу, я здорово здесь постарел, и возвращаться мне не хочется — а нужно.

Сейчас кончаю «Северо-сталь»— т. е. не сейчас, а через месяц. Спешу, пыхчу, разные умные мысли в голове (по моим размерам, конечно), ни копья денег, долги и еще всяческие страсти — вплоть до выпивок в пещерах 〈...〉

Друг мой, напиши мне хорошие слова и перечисли тех умных людей, которых ты встречаешь.

Море стало холодное, купаться нельзя,— я окончу роман, схожу в горы и приеду в Питер. А не закончив романа, мне нельзя ехать, нужны деньги, поеду в Сибирь, в Китай, в Италию, надо дочери приданое.

О всяких своих приключениях расскажу дома, а приеду я в ноябре и привезу на компанию ведро вина. Боченочек есть такой с крантиком, отвернешь — и течет, густое, как пильняковский рассказ и вкусное присутствие Шкловского. Где его буйная головушка?

Всеволод.

10 октября 1923 г.

57. К. А. ФЕДИНУ

11 янв. 25 г.

11 янв[*аря*] *1925* [*Москва*]

Дорогой Костя,

романа твоего, грешным делом, все-то еще не читал. Пошли, пожалуйста. Ни то что его нет в магазинах, но я туда редко попадаю, а если вдруг попаду, то денег нету. Пошли еще один экземпляр Виктору. Он имеет желание писать о твоем романе.

А мне скучно. Даже писать. Печатаю всякие кусочки из Северо-стали, которые проходят только благодаря моему имени. Тем и живу. Впрочем, написал повесть, которую отдал в «Ковш» к Вам и о которой балдистый Воронский отозвался, что это непонятнее еще А. Белого. Мол, начал мудрить.

Да. Тут помудришь.

Милый, числа двадцать пятого приедем мы с Виктором в Питер, к годовщине Серапионов.

Прикажи, чтоб улицы расчистили попышнее.

Снега в Москве ползут, и мне обидно, потому что мой двор только благодаря снегу стал сносным. Попрежнему на улицах продают апельсины и Полное собрание сочинений Гоголя за полтинник. Я купил, начал читать — и охнул. Вот пишет! Старички-то, а?

Даже смешно, до чего я дурак.

Вот и Горький написал мне на днях письмо. Собирается помирать, а рядом просит выслать какую-то книжку 〈...〉

Собрались тут пролетарские писатели со всей России. Напостовцы нагнали на всех такого страху, что аж Луначарский потек с докладом. Пильняк, трепеща сердцем, отправился взглянуть — действительно ли так страшно.

А мне скучно, я сижу дома и играю с женой в «подкидного дурака» и убежден, что никаких пролетарских писателей нет и не будет.

Да и все в этом убеждены, а в дураки играют другими мастями.

Трефями, что ли?

Пить мне нельзя, и вот уже пять дней — я никак. До Питера потерплю.

Водка на глазах как-то отражается. Требуют сведущие люди воздержания.

Воздержусь.

Костя, передай, пожалуйста, Семенову, что перевода мне нет, и пускай он, коли наврал, поспешит перевести. Деньги, как всегда, до зарезу. Я почему в Питер не продаю — деньги ждать долго приходится.

Бабель хитрый, как пресс-папье. Пошел в ЦК, взял записочку и скромно определился в Главкино на «фикс» этак червяков на 30. А я и этого не могу.

Господи, чтобы моей бабушке хоть на одну минуточку согрешить с евреем!

Целую.

Всеволод.

Поздравь Мишку.

58. К. А. ФЕДИНУ

Батум.
9 окт. 925

9 окт[ября] 1925, Батум

Дорогой Костя,

прости, пожалуйста, что пишу на каких-то объедках. Такая моя мрачная жизнь — бумаги нету. Последнюю сейчас потратил, написав сорок пословиц. Занятие, что и говорить, глупое и невыгодное.

А потом у меня еще перед тобой вина. В укр[аинском] Госизд[ате] вышла книга моя «Экзотические рассказы», экзотика там, правда, выражена больше насчет развешивания кишочек. Но уж такая наша страш-шная страна.

Но суть в том, что там есть рассказ «Лощина Кара-Сор», добродушно посвященный тебе, что там и напечатано.

Так вот, надо бы тебе книжку послать. Я все в Москве сбирался, да как-то больше все в пивную ударялся. Теперь, лежа у моря, вспоминаю грехи свои и каюсь.

Ей-богу, пошлю из Москвы. А если я не приеду на съезд «Круга», зайди ко мне на квартиру и возьми сам. Еще роман наш со Шкловским написанный «Иприт», тоже возьми. Ей-богу — смешной роман.

Пиши, если захочется, мне на Москву. Я отсюда скоро уеду дальше по Черному морю,— потом при встрече расскажу куда и как и почему.

Не думаешь ли поехать этой зимой за границу? У меня есть большие возможности поехать в Японию, но со мной **хочет** ехать Пильняк. Товарищ он милый и хороший, но по секрету: как же можно с Пильняком ехать, да еще в Японию? С ним в Одессу-то и то чудно. А отказаться ехать с ним как-то неудобно.

Так вот, не хочешь ли со мной поехать, во-первых, по Германии, а потом — по Италии. Боюсь, что во Францию мы визы не достанем. Наскребем по сотняге червонцев (в Москве я тебе гарантирую добыть 50 черв[онцев] авансом) — и?

Черкни свои соображения ⟨...⟩

Ну, а что касается писания, то мы больше все рассказики-с, рассказики-с. И медленно ж они идут, сукины дети, как американское признание. Кстати, об Америке. Мой рассказ «Дите» переведен и напечатан в каком-то Чикагском **богословском** журнале? Вот чудо! А немцы напечатали его в «Соплитицимусе»! Название, кажется, верно передал? Но если неверно, то похоже. Вспомнишь.

Сценарий пишу. Скучно и не особенно выгодно. Надо бы пьесу. Хотел, подражая Щеголеву и Т[олсто]му, написать «Кирилл I» ⟨...⟩

Шутки шутками, а пьесы, браток, надо писать. Потому литература кормит с напряжением. Журналы то есть.

Что касается вина, то ты никому не верь. Самые лучшие вина и закуски в Москве и Питере.

Впрочем, здесь растет бамбук. Сам видел. Саженей пять, стерва, вышины и гудит, как полое ведро. Толщиной с бутылку и такого же цвета блестящего. Синевато-зеленый.

Из птиц водятся бакланы с неприлично длинными шеями, а из зверей — турки, причем жены их носят чадры по сие время и не спешат их снимать, т. е. чадры, а не мужей. Последнее мне неизвестно.

Пиши в Москву: Твер. б., 14, 7.

Целую крепко.

Всеволод.

59. К. А. ФЕДИНУ

19 дек. 1925 г.

19 дек[абря] 1925 [Москва]

Милый Костя,

прошел здесь слух — будто бы ты был у Краснова — «Пролетарии» — и одним словом, в Москве. Но, оказывается, не был — понеже не был и в прочих местах.

А дела обстоят так. Альманах «Круг» едва ли сможет издать, так как у него совершенно нет денег, в кассе 200 рублей, а надо выкупить из типографии книг на тысячи. Согласятся-то они, конечно, с радостью — но что из того, коли книгу выпустят в мае или сентябре. Ищи питерские пути 〈...〉

Что же касается моих работ — то я дам два рассказа размером $1^1/_4$ п[ечатных] листа, объединенные одной «идеей». Рассказы — настоящие, и такие, что один из них я дал, для пробы, в одну из редакций — так там от ужаса завыли. Мрак, безвыходность — и еще многое: где тут их печатать. Я не хвастаюсь, но у меня действительно — писательские мои настроения очень попортились и веселость — прошлогодняя — отошла прочь.

Как остальные Серапионы
и пионы:
— (прости плохой каламбур) —
Никитин и Каверин?
Пишут для альманаха?

Если дело наладится — к новому году могу выслать рассказы. Сообщи.

Начал писать пьесу, а потом загрустил и вместо комедии — перешел к драме 〈...〉

Целую,
Всеволод.

60. К. А. ФЕДИНУ

[25 января 1926, Москва]

Дорогой Костя, получил твою телеграмму и не ответил телеграммой вот почему: т. к. я, по-видимому, в Японию **не поеду** по соображениям, кои я тебе выскажу в Ленинграде,— то с книжкой мне спешить и деньги получать очень не стоит. На условия ваши я согласен

и книжку сдам в марте, с таким расчетом, чтобы она вышла в свет в августе — сентябре, начале книжного сезона. Я хочу отделать рассказы и еще написать пару свежих. Значит, поговорим подробно об этом на месте.

Теперь об нашем Юбилее. Кто поедет, еще неизвестно, мы сообщим в четверг. Приеду я вместе с Н. Никитиным, Пильняк не знаю — растрясется или нет.

Никак не могу сесть за письменный стол. Запьянствовал и все не могу остановиться.

Целую.
Всеволод.

61. К. А. ФЕДИНУ

[8 февраля 1926, Москва]

Дорогой Костя,

получил твою телеграмму и не мог ответить тем же, так как ни копейки за душой, и так суждено жить два дня, и, значит, письмо дойдет скорее.

Никак не могу я представить рукопись к двадцать пятому февраля — нет времени. Тогда давай лучше отложим подписание договора на две недели.

Раньше десятого марта у меня ничего не выйдет, в Москве так тяжело и неудобно работать.

Целую.
Всеволод.

62. К. А. ФЕДИНУ

20 марта 1926 г.

20 марта 1926 [Москва]

Дорогой Костя, получил ли ты мое письмо с фотографиями — во-первых; во-вторых — узнал ли ты причину, почему согласно договора Л. — Г. из денег мне за «Бамбуковую хижину» не шлет. Я тогда рукопись посылать не буду, а продам ее в другое место. Мне даже выгоднее — а значит, веселее.

А мы в Москве все писателей хороним. Не полезное занятие.

Фотографию я усвоил. Сегодня покупаю дога, а на той неделе ружье — и я готов к далеким путям.

Грустно что-то! Или, может, действительно я дегенерат и меланхолик к тому же?

Ой, господи, до чего писатели скучные. А бухгалтера еще скучнее 〈...〉

Целую крепко.

Всеволод.

63. К. А. ФЕДИНУ

28 сент[ября 1926, Москва]

Костя!

Прими труды мои и надейся, что когда-нибудь они будут лучше — все в мире идет к лучшему, как сказал Воронский.

«Злоба дня» Москвы — «Белая гвардия», сей советский Карамзин утверждает, что и Эразмы «могут чувствовать». Пьеса действительно превосходная, и играют на такой простоте и так здорово,— что лучше нельзя.

Я по-прежнему мрачен и не общителен.

Погода, как правильно отмечал Николай Вторый, отвратительная — дождь.

Денег нету и не предвидится.

Собаки растут.

— Волга впадает в Каспийское море.

Целую.

Всеволод.

28 сент.

64. К. А. ФЕДИНУ

[октябрь 1926, Москва]

Милый Костя,— отвратительнейшая погода и отвратительнейшая моя пьеса, которая называется наконец-то **«Алфавит»**— вынуждают меня отдохнуть на эпистолярной форме творчества. Каково загнул-то, а? Уехал ли Соколов-Микитов и благополучно ли получил он свое ружье? Сегодня — кстати, о приезжих — приехал Б. А. Пильняк, но видать я его еще не видал. Я по-прежнему свеж и трезв, как вышеупомянутый Б. Пильняк, и постепенно начинаю наполняться оптимизмом. Авось не пропадем, а? Недельки через три засяду за роман,

да так и подохну на нем — чтой-то зудятся у меня пальцы листов на 20—25. Возможно рождение второй «Северо-стали», ну что же, я человек решительный — и иногда бываю справедлив — стою, в письменном столе сгною, суку.

Не помню, видал ли ты мою собаку. Симпатичный песик растет — все углы уже обсикал, и многие книги обтрепал. Борзая, зовут Шалый. Ращу и льщу себя надеждой — авось и получит золотую медаль.

Сегодня кончил рассказ — «На покой», прочел и ахнул — рассказики-то у меня мра-ачные. И не знаю, как и помочь. А да черт с ними, пускай умирают да режут друг друга. Все умрем, все перерешимся — на то и капитализма.

Ну, что ж, объясниться тебе в любви, что ли, да я думаю, ты и сам это знаешь,— из друзей-то ты у меня один, да вот и того друга загнало в невеселый тот Петербург.

Оно и в Москве-то не веселей,— а если насчет сволочи всякой, то еще неизвестно, где ее больше. Но ленинградскую сволочь хоть украшает монументальная архитектура, а здесь что? Про сволочь я потому — идет, вижу в окно,— один секретарь.

Целую тебя, милый мой дружочек,—

Всеволод.

65. К. А. ФЕДИНУ

[3 ноября 1926, Москва]

Дорогой Костя, получил твое печальное письмо. Не журись, хлопчик, скоро затвердеет снег, и ты сможешь ходить на лыжах. Занятие физкультурой спасает от меланхолии.

Я мужественно пишу роман. С деньгами у меня наладилось, так что обедаю каждый день (ей-богу, осенью обедать часто не на что было) и даже хочу купить медвежью шубу, которую мне некогда пророчил Лунц. Вчера от Горького письмо получил, так там он между прочим пишет: «Пушкины и Толстые родятся не каждое поколение, но Вы, например, можете стать крупнейшим писателем, и вы это начинаете понимать». А я, откровенно говоря, сомневаюсь и продолжаю утверждать ему (он со мной спорит), что Русь — провинция, а мы провин-

циальные писатели. Писатели Империи это не чувствовали, а он все-таки таковым писателем Империи остался и будет таковым впредь.

Очень хочется куда-нибудь уехать. В Сибирь хотя бы, на медведей охотиться. Кстати, о медведях: к какому времени ты хочешь поехать к Соколову-Микитову?

Ко всему прочему, кажется, влюбился. Беда.

В начале недели окончательно сдаю в театр свою пьесу «Алфавит». М. б., с ней приеду к Вам в Питер.

О-хо-хо...

Горький находит, что о тебе излишне молчат и вообще пишет так: «Когда сообразишь, в каких условиях творится современная русская литература, как трудно всем вам живется — проникаешься чувством искреннего и глубокого почтения к вам».

Любит ободрять старик.

У меня этой бодрости хватило на один день, а затем опять скис ⟨...⟩

Привет.
Всеволод.

66. К. А. ФЕДИНУ

[16 декабря 1926, Москва]

Милый Костя! 1) Сообщение — между нами секрет — Первый МХАТ просит твоего разрешения на переделку в пьесу «Города и годы». Переделку ты утвердишь сам и вообще сговоришься, вопрос в принципиальном согласии. Будут играть: Дикий, Волков, Пыжова — и другие — ядро, так сказать, реалистическое в сим театре. Ответь поскорей, **мне** — и ни гугу, ибо они боятся, что сия идея может быть перехваченной. Прошу тебя очень.

Я грустный. На днях в припадке меланхолическом сжег все свои рукописи, в том числе и новый роман. Писать теперь дико не хочется, денег нет и по утрам такая усталость — словно мне тысяча лет.

Найди и прочти книгу «В дебрях Уссурийского края» Арсеньева, издана во Владивостоке изд[ательством] «Книжное дело». Прочтешь и поблагодаришь меня.

Возможно, приеду на новый год, если не сберусь в санаторий. Да хрен редьки не слаще.

Целую.
Всеволод.

67. К. А. ФЕДИНУ

17 мая 1927 [*Москва*]

Милый Костя!

Получил твою книгу. Порадовался и позавидовал. Издали превосходнейше. И бумага и печать — обложка — все отлично. Очень тебя благодарю за память. Когда у меня выйдет подобно изданная книга — ехидно пошлю тебе два экземпляра.

Живу уединенно и тихо. Писателей не вижу. Собрался лететь вокруг света с тремя чудаками, выигравшими оное путешествие по лотерее Авиахима,— но оные чудаки возжелали получить стоимость деньгами. Полечу, видимо, в Голицыно, ж.-д. станцию под Москвой, и буду жить на даче.

Написал пьесу «Бронепоезд 14-69»; сия пьеса пойдет во МХАТ 1-м, и Вершинина будет играть В. Качалов. Я сильно доволен своим драматургическим даром.

На Тверском бульваре — против меня — книжный базар. Десятка два-три нелепейших конструктивистских киосков. Смотрю — подходит к одному киоску человек, изможденный, серый. Сухо, а он в галошах и шарфе. Долго-долго шарился в книгах, перебрал все — и затем уныло спрашивает продавца:

— Нет ли у вас книжечки по мозолям!

Эх, ты, великое вечное!..

Целую тебя.

Всеволод.

17/V 1927

68. К. А. ФЕДИНУ

(телеграмма)

2 февраля 1934. Москва

Титулярный советник в отставке и неудавшийся Киршон сообщает, что к тринадцатой годовщине, где бы она ни состоялась, он будет непременно, кроме того, выражает сожаления, что не смог Вас поздравить хотя бы телеграфно, так как долго и бесплодно мучался над составлением веселой телеграммы и должен был признать,

что на оную у него не хватает дара и посему он решил перенести от Вас все обиды и огорчения только бы не печалить Вас. Целую нежно всех. Брат алеут Иванов.

69. К. А. ФЕДИНУ

1 января 1948 г.
под вечер

1 января 1948 [*Москва*]

Дорогой Костя!

С удовольствием выполню все твои предначертания. Это тем более легче, что я уже вступил на новую стезю. В течение всего вчерашнего вечера, проведенного в ЦДРИ, ну, и разумеется, ночи,— я не выпил и рюмки водки, равно как и вина. Подобное событие не случалось со мной лет 25-ть.

Желаю тебе здоровья, романа с благополучным концом и вообще побольше счастья!

Извини, что я не мог ответить тебе вчера: письмо я прочел только сегодня, т. к. уехал на встречу рано.

Привет Доре Сергеевне, и Нине, и Вареньке: добра, красоты и света!

Целую.
Всеволод.

70. К. А. ФЕДИНУ

27 июня 1948 [*Переделкино*]

Дорогой Костя!

Я был у черта на куличках: за озером Зайсан, у китайской границы. В Семипалатинске был я в доме, где жил Ф. М. Достоевский. Фотографии сего дома и предлагаю твоей любознательности: а) комната, где жил Федор Михайлович,— я посажен для масштаба; б) дом со стороны двора.

Сожалею, что не могу облобызать тебя, т. к. послезавтра уезжаю в Ригу, лечить спину и описывать свое путешествие.

Привет, дорогой!
Всеволод.

27/VI—48

71. К. А. ФЕДИНУ

31 декабря 1948, Москва

Дорогой Костя!

Как тебе известно, у Гауптмана есть пьеса «Бобровая шуба». Так вот некто Вулков говорит:

— Вы прогадали: я давным-давно пролетел. Вот уже сорок лет, как мыкаюсь. А что у меня сегодня? Ревматизм. Встанешь рано утром и собачонкой воешь. Уже много лет я собираюсь обзавестись шубой, это мне все доктора советовали, потому что здоровье мое чувствительно, и все не мог купить...

Есть также русское сочинение, где говорится следующее:

«— Нет,— сказал Петрович решительно,— ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте себе из нее онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтоб побольше себе денег забирать. *(Петрович любил при случае кольнуть немцев.* Курсив мой. — *В. И.*), а шинель уж, видно, вам придется новую сделать.

При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах...»

* * *

Опираясь на два эти авторитета, я и справил себе новую шинель.

А ты желаешь мне, можно сказать, не только тепла от сей одежды, но и тепла в смысле возвышенном!

Ужасно признателен и благодарен!

Желаю тебе, твоему семейству и всем тебя окружающим — счастья, радости и самое главное — здоровья и мира!

Целую.

Всеволод.

Дано в Первопрестольной в последний день 1948 года.

72. К. А. ФЕДИНУ

[апрель 1949, Москва]

Дорогой Костя!

Посидеть перед Л. Н. Сейфуллиной не трудно.

Однако, к сожалению, не могу. Я написал пьесу о М. Ломоносове, замысел которой говорил тебе как-то зимой. Оную пьесу я читал сегодня, и кусочки из нее (с соответственной закуской) — завтра, а также в понедельник и т. д. Это не потому, что пьеса хороша (а м. б., и хороша! Примечание, чтоб не сглазить), а потому так получается.

Жалко, что у тебя грипп!.. Но вылеживайся, молодой человек, ибо гриппы ныне суровые, и от них даже, говорят, люди слепнут.

Привет и желаю здоровья.

Всеволод.

73. К. А. ФЕДИНУ

24 апр[еля] 1956, Переделкино

Дорогой Костя!

Ко мне раза два заходил какой-то несчастный, письма которого я и прилагаю. Он просил меня обратиться к тебе как депутату Верховного Совета РСФСР: не сможешь ли ты ему помочь? Я сказал, что охотно передам его письмо, но что обращаться ему нужно не ко мне, а — на твое имя. Однако он написал письмо почему-то на мое имя и — кстати уж! — приложил письмо в ЦК КПСС. Из этого можно заключить, что у парня в голове не все в порядке. Может быть, это случилось уже после того, как его уволили, а, может быть, он уволен был после того, как обнаружилось, что у него не все в порядке. Во всяком случае, твоя секретарь по депутатской работе сможет, наверно, навести справки и сообщить о результатах этому молодому человеку, которого, право, жалко.

Извини, что побеспокоил!

Привет от моего семейства!

Всев. Иванов.

24 апр. 1956
Переделкино.

Озабоченный бессмертием, написал на меловой бумаге и тушью.

В. И.

74. К. А. ФЕДИНУ

29 сент[*ября*] *1956* [*Переделкино*]

Дорогой Костя!

У Над[ежды] Ал[ексеевны] Пешковой завтра именины. Она приглашает нас и тебя завтра к ней на обед к 4-м часам, в Барвиху, на дачу, где она живет.

Все хорошо, мы согласны ехать (т. е. я и Т[амара] Вл[адимировна]), но у нас еще нет шофера.

Если вышеуказанный шофер найдется, мы известим тебя.

Если шофера не найдем, будем, видимо, обедать каждый в своей конуре чем бог послал...

Тут я вспомнил Ахматову и спор с ней и подумал: «а, м. б., не правильно?» Ни **чем** бог послал, а **что** бог послал. Но что именно он способен послать в его теперешнем настроении духа, совсем неизвестно и неизвестно, когда будет известно.

Я придумал новый роман. Название хорошее, а главное, многозначительное, как ячмень в глазу — «Ухабы». Самое лучшее удовольствие придумывать, писать — второе, а ожидать, когда тебя напечатают — последнее. Впрочем, я сомневаюсь — удовольствие ли это?

Целую.
Вс. Иванов.

29 сент.
1956.

75. К. А. ФЕДИНУ

30 ноября 1959 [*Переделкино*]

Дорогой Костя!

Приехала из Англии Мария Игнатовна Будберг.

Она желает видеть тебя и меня.

О том звонила Н. А. Пешкова, которая просила тебя сообщить ей, когда ты свободен, чтоб увидеться с Марьей Игнатьевной. Она проживет в Москве недели две.

Можно пригласить ее, скажем, к нам в Переделкино на этой неделе. Но только именно на этой, т. к. в будущий понедельник, 7 дек[абря], я и Тамара Владими-

ровна уезжаем в Индию. Нам уже привили холеру, и мы ходим, косясь влево и стоная от боли: прививка оказалась очень болезненной.

Впрочем, как тебе будет удобно.

Целую!

Всеволод.

30 ноября 1959.

76. К. А. ФЕДИНУ

[*между 1—4 декабря 1959, Переделкино*]

Дорогой Костя!

Марья Игнатьевна уезжает в пятницу ночью куда-то (наверное, в Питер: они все туда едут), и у нее свободен именно вечер пятницы. Но так как она дама пожилая, а мы — люди молодые, и мы, жалея ее здоровья, т. е. чтоб не таскать ее в Переделкино, согласились быть у Тимоши **вечером, в пятницу в 7 час.,** с тем чтобы посидеть с Марией Игнатьевной до того, как она уедет на «стрелу». По сим причинам откладывается Переделкино и тебя просят быть у Тимоши в пятницу.

Вот-с.

Здоровье лучше.

Странное дело: оно всегда лучше, когда можно не писать. Вроде даже к молодому состоянию возвращаешься. Даже вина б выпить не прочь.

Со всем тем целую и жду — «у Тимоши». Получилось что-то вроде кабачка?

Всеволод.

77. Н. А. ФЕДИНУ

[*31 декабря 1962, Переделкино*]

Дорогой Костя!

Семейство Ивановых поздравляет семейство Фединых с новым 1963 странным годом. Почему — странным? Ну, а погода, а иней,— все как на олеографии в «Родине» в детстве, а тогда все казалось странным.

Целуем Вас и желаем Вам счастья!

Всеволод.

78. М. Л. СЛОНИМСКОМУ

[*без даты*]

Записка

Насчет регламента, уважаемые группачи, вы правы; но как быть председателю, если у него нет часов и группа Ваша не в состоянии подарить их ему?

В.

79. М. Л. СЛОНИМСКОМУ

17/IX—21

17 сентября 1921 [*Петроград*]

Михаил Леонидович!

Случилось необычное:
я женился!
Привет —«Серапионам»!
Жена — Анна Веснина,— из Пролеткульта. Беллетрист и ничего, способный.
Шкловский ея читал.
Сие к тому, что я к «Серапионам» не приду и то, что наше издательство, организуемое Горьким, увеличиться должно на 1 (одного) — человека.
Правда, я ей пока еще ничего не говорил, но думаю сказать после точных переговоров об дне выпуска сборника «Серапионов». Вы сообщите Горькому о числе участвующих в сборнике, да? И мне скажите, когда идти на окончательные переговоры.
Я у вас буду в среду, а сейчас — не могу.
Я — два! Удивительно!
Вообще, я сепаратный человек! Да?..

Всев. Иванов.

80. М. Л. СЛОНИМСКОМУ

3 января 1923, Петроград

Миша!

Рассказ для альманаха я не переписал. Многие, я уверен, сделали так же. Перепишу по возвращении. Не буду потому, что спешно вырабатываю 45 листов «Голубых су-песков» для издания. Отдельного.

Буде будут какие поручения, прошу оные, запечатлев на бумаге, передать Четверикову, а коли что лично — заехать днем ко мне, завтра.

Привет Братьям!

Всеволод.

3—I
1923
Никола — на Посадьях
Петербург.

81. М. Л. СЛОНИМСКОМУ

28 окт[ября] 1926 [Москва]

Милый Михаил,— разреши представить тебе Ник[олая] Иванова, молодого сибирского писателя. Он будет жить и работать в Питере и, может быть, соорудит в «Прибое» книжицу, в чем я прошу тебя оказать ему содействие.

Впрочем, ты поговоришь с ним сам.

Кланяюсь.

Всеволод.

28 окт. 1926.

82. М. Л. СЛОНИМСКОМУ

3 ноября 1926 [Москва]

Дорогой Михаил,—

я тебе посылаю роман Большакова — «Девятнадцатый» все с теми же словами, что и об Сухотине и Мариенгофе. Суди сам. К «Прибою» все мои рекомендации кончились, и я не знаю, чем могу представить Москву.

Пишу я много и об своем романе соображения свои представлю тебе к субботе. Пока почитай Большакова.

Привет.
Всеволод.

3 ноября 1926.

83. М. Л. СЛОНИМСКОМУ

[Начало ноября 1926, Москва]

Дорогой Михаил,— о романе я думаю так: Воронский предлагает мне его печатать в «Кр[асной] нови», но дать в № может не более 2 печ[атных] листов. Если, допустим, я роман для «Кр[асной] нови» сокращу до 12 п[ечатных] листов, то и тогда печатание его растянется на полгода считая с января. Роман отдельным издание[м] тогда можно лишь выпустить к осени, что мне никак не выгодно, ибо к осени я думаю написать второй роман, буде, конечно, этот удастся. Поэтому, возможно, я напечатаю отрывки или, что вернее всего, если роман будет хорош,— **совершенно** ни строки не напечатаю,— но тогда мы с тобой слегка поговорим об оплате. Одним словом, я предполагаю сготовить добрую половину роман[а] через месяц и весь к Рождеству. К этому времени все выяснится.

Книжку рассказов —**«Дыхание пустыни»**— я пошлю в понедельник. Не могу сегодня, потому что, во-первых, нет одного рассказа — он будет напечатан в «Ниве» завтра, а раньше я его не могу у них взять, т. к. с «Нивой» поссорился; во-вторых — дописываю крошечный 1/4 листа бухарский рассказик, без коего книжка как-то мне кажется пустой.

Теперь о романе Большакова. Оный роман читали я и Пильняк и одобрили. Не знаю, как Вы, но единственный недостаток романа — это то, что говорится в нем о 19 годе, что зело приелось.

Привет.
Всеволод.

84. М. Л. СЛОНИМСКОМУ

30 августа 1929 [*Москва*]

Дорогой Миша, прости, что так задержал ответом: я был в отъезде.

Статьи о том, «как я пишу», сделать я не могу —
1) поелику считая себя изобретателем, я открывать методов своей работы не желаю;
2) поелику я еще сам не знаю, в чем заключаются эти методы и не являюсь ли я бледной копией почтенных наших классиков;
3) поелику я считаю самым важным сейчас для писателя не «как» писать, а «что» писать;
4) поелику мне надоел оптимизм во всех его видах.

Если приедешь в Москву, звони мне по телефону 81—02 и приходи в гости, я на старой квартире не живу и с Анной Павловной разошелся.

Целую тебя крепко.
Поклон Серапионам.

Очень хорошую книжку выпустил М. Зощенко — «Письма к писателю».

Всеволод.

— Но, каково, Миша,— ты стал «левым попутчиком», а я «правым»? А еще говорят, что бога нет!

В.

30—8—29

85. М. Л. СЛОНИМСКОМУ

29 июля 1933 [*Москва*]

Дорогой Миша,

сейчас могу сказать, что к 15 или к 25 октября сего года у меня набежит листов 10 рассказов, включая сюда и «Мельника», и новую мою пьесу. Оную книжечку, если вы обладаете желанием и средствами, могу предложить Вашему вниманию, издательства то есть. Одно из условий — мне хочется получить аванс в размере 3000 рублей между 1 и 15 сентября, т. к. намереваюсь жить сентябрь месяц роскошно, то есть переехать с дачи и каждое утро съедать по крайней мере два яйца.

Ну, в остальном жизнь обыкновенна. Доканчиваю перепечатку романа «У», который с радостью бы вам

отдал, но, к сожалению, набрал уже 20 000 аванса под него, столь ошеломляющая любезность издательства выводит меня из себя и воздвигает вокруг моих поступков великие нравственные стены. Сплетен, к сожалению, литературных никаких сообщить не могу, так как уже полтора месяца никого не видал.

Привет тебе и твоему семейству от меня и моего семейства.

Всеволод.

29 июля 1933 г.

86. М. Л. СЛОНИМСКОМУ

11 ноября 1933 [*Москва*]

Дорогой Миша!

Во-первых, благодарю за хлопоты о деньгах, а во-вторых — вообще за память.

Пишу с трудом. Замучила заседательская суетня. Меньше 4 раз в день заседать никак нельзя — и все важные. Сбежал бы, но денег нету. А тут еще в декабре роман «У» непременно в печать сдавать. А долгов? Ох!

Сегодня заседание было в «Кр[асной] нови». Твой роман идет с января. Я, кажись, буду с тобой рядом.

Привет Тебе! Супруге! Как дите? Мои ничего, почти здоровы, понеже здоровых ребят не бывает.

Всеволод.

11/XI—33

87. В. П. ПОЛОНСКОМУ

17 марта 1926 [*Москва*]

Дорогой Вячеслав Павлович,

рассказ для Вашего журнала у меня будет готов в ближайшие дни, и название даже есть — «Бамбуковая хижина». Я задержал его потому, что тема ответственная и большая — о беспризорных,— и не хотелось ударить лицом в грязь. Теперь дело затем, чтоб подчистить кое-что и переписать.

О критиках — пришлю, скоро. Надо их.

Кстати, о критиках: мать моя, что написал Коган о Есенине (в «П[ечати] и р[еволюции]»). Этакому критику язык каленым железом жечь!

Привет.
Всев. Иванов.

17/III 1926

88. М. М. ЗОЩЕНКО

[24 января 1928, Москва]

Дорогой Миша, напоминаю тебе о твоем обещании написать для «Красной нови» повесть или рассказ. Раскачайся и напиши.

Не собираешься ли в Москву?

Мы живем по-прежнему тесно, изредка вспоминая о Петербурге и о прекрасных днях Серапионовых братьев.

Шкловский ходит наполненный Толстым.

Жду повести. Нельзя ли к мартовской или апрельской книжке?

Целую.
Всеволод.

89. М. М. ЗОЩЕНКО

(телеграмма)

[10 августа 1955, Москва]

Дорогой друг рад поцеловать и поздравить тебя шестидесятилетием Всегда любовался твоим талантом Тамара Владимировна Таня и все наше семейство шлют тебе привет и поздравление

Всеволод Иванов.

90. П. И. ЧАГИНУ

2 апреля 1929, Москва

Дорогой Петр Иванович,

приехал ко мне в Москву за помощью поэт и сотрудник сибирских газет Рябов-Бельский, человек, сидевший много в колчаковских тюрьмах и много страдавший в

жизни, настолько, что часто производит впечатление — не совсем в уме. Я ему помог как сумел, но дело в том, что в Москве он жить не может, а в Питере он промышляет тем, что декламирует стихи по вагонам и — вообще побирается. Едва ли он способен теперь к какой-нибудь систематической службе, но стишки — маленькие фельетоны на заданные темы, для различных отделов, он писать может и в «Красной газете» писал. Нельзя ли сделать так, чтобы писанья его появлялись изредка и давали бы ему немного, ну рублей тридцать или сорок в месяц. Я думаю, что это ты сделать бы смог и, будь добр, помоги ему,— человек этот поистине несчастен. Я его знал в Сибири, да и позже, в Ленинграде — и что он теперь представляет по сравнению с прежним Рябовым-Бельским, страшно подумать.

Вот она, жизнь-то.

Кланяюсь тебе низко и целую, все сбираюсь в Ленинград и все не могу собраться.

Всеволод Иванов.

2 апреля 1929 г.
Москва.

91. В. ПОЗНЕРУ

29 октября 1930 [*Москва*]

Дорогой В. Познер! Простите, не знаю Вашего отчества — письмо Ваше я получил и, хотя писать ленив действительно, однако одному из «Серапионов» не могу не ответить — и впредь отвечать буду. Все, что Вы перевели из моих писаний, я видал, прочел — хотя прочесть могу в силу своей неграмотности — только свою фамилию и имя; касательно же того, чтоб оттиснуть мою книжку по-французски, здесь спорить не о чем, я согласен, у меня только есть соображение след[ующего] порядка: я сейчас пишу книгу «Знаменитого факира и дервиша Бен-Али-Бея десять тетрадей его неодобрительной жизни», куда войдут и те рассказы, коими Вы желаете возглавить книжку. Я полагаю, что куда будет любопытнее издать целую книгу, сократив и выкинув елико вздумается (в ней 25 печ. листов!..), а буде понравится — и не сократив. Книга веселая, без кровопролитий и смертей — я ее сейчас очень люблю... Кончу

я ее через месяц-два — и немедля смогу Вам ее выслать,— тем более что Вы пишете, что времени у нас много.

Что же касательно гонорара, то должен Вам сказать, что никто мне ни хрена не платит,— только одни аккуратные немцы заплатили мне, даже договор с «Ульштейном» подписал,— но обманул их... Условия же Вами предлагаемые нормальны, тем более что мы с Вами заработаем вряд ли много.

В ноябре сбирался я поехать за границу, в Италию, но вряд ли удастся — обремененный гигантской семьей (10 душ!) и гигантскими долгами (12 тысяч!) вряд ли смогу до весны наладить свои дела, а весной там видно будет.

Книг у меня не много — 5 томов, на днях выходит 6, и я Вам дошлю недостающие у Вас 3 тома. 〈...〉

Как будто все.

Привет Вам

Всеволод Иванов.

92. В. ПОЗНЕРУ

[1931, начало года, Москва]

Дорогой Володя,

посылаю Вам те книги, которые пока смог найти. Предупреждаю, что книги более дефицитный товар у нас, чем хлеб и мясо, и потому их найти трудно. Особенно трудно найти издания провинциальные, которые Вы желаете иметь. Я думаю, что лучше всего, насчет провинциальных изданий, пойти Вам в парижское отделение «Международной книги» и там заказать. Им это найти легче. Правда, вы получите книги через год, но все-таки получите. Возможно, что я получу «Монголию» Майского. Книга для вас м. б. очень полезной, но человечек, который ее имеет, просит с меня Пясецкого и первое издание Записок Охотника. Такой гад. Я подумаю и, м. б., оные книжки ему отдам. А за деньги отдавать не хочет.

Посылаю, кроме того, оттиски из журнала «Красная новь» моего романа «Путешествие в страну, которой еще нет». Так как вы хлопочете о том, чтобы издать

мою книжку, то чем издавать рассказы, то лучше издать роман. Тем более что роман о факире будет окончен не раньше, чем через три-четыре месяца. На немецком языке «Путешествие в страну, которой и т. д.» скоро выйдет. Прочтите во всяком случае. Я все ждал, когда он выйдет отдельным изданием, а выйдет он не раньше, как месяца через два, и поэтому я послал оттиски.

До свиданья.

Всеволод.

93. В. ПОЗНЕРУ

22 июня 1931 [*Москва*]

Дорогой Володя, посылаю Вам № 2 «Рев[олюции] Востока» и еще одну книжку о Монголии, которую я еще не читал и которую, когда Вы ее прочтете, попрошу вернуть. И еще моего «Бригадира М. Н. Синицына».

Простите, что долго не отвечал. Был в отъезде. Посылку получил — все очень хорошо. Большое Вам спасибо от меня и моей жены.

Советую Вам обратиться в библ[иотеку] нашего посольства: возможно, там есть номера «Советской Сибири», газеты за 1921 г., где печатались отчеты о процессе Унгерна. Остальных книжек, коих Вы просите, еще не нашел.

Извините, что кратко пишу — зело тороплюсь на дачу.

Привет.

Всеволод.

22 июня 1931.

94. В. ПОЗНЕРУ

[*август 1931, Барвиха*]

Дорогой Володя,

напрасно Вы меня хвалите, что я хороший человек. Наоборот. Я вот сейчас смотрю на стол, и на нем опровержение: лежат те книги, которые, я Вам написал, что посылаю, я их не послал. Их большой сверток, и было жарко их тащить на почту, и жара все усиливается и усиливается, а костюм вы мне прислали тоже жаркий-прежаркий. Но все-таки когда-нибудь я наберу в себе

сил и оттащу их, тем более что и книги-то уже запечатаны и перевязаны. Что же касается долгов, о которых Вы пишете, то смею Вас обрадовать, что у меня их еще больше,— хотя количества ваших долгов не знаю, но наверняка капиталисты дают вам меньше,— у меня их грешным делом тысяч десять с хвостиком. Насчет гонораров не верьте,— получаем мы здесь в одном учреждении, в сберкассе преимущественно и вообще, откровенно говоря, писатели живут хорошо, тем более что пишут зачастую невозможную дрянь, за которую вообще-то платить бы не стоило, но искусство вещь таинственная: никто в нем ничего не понимает и в нем легче, чем в другой области, втирать очки. И как еще втирают. Но не будем сплетничать.

Живу я на даче, в Барвихе, под Москвой. Дача оная расположена на самом берегу Москвы-реки, вдаль вы увидите «жемчужные поля», влево Архангельское, до коего мы ходим пешком и где перевозчик, доставляя нас на противоположный берег за гривенник, сообщает, какова была раньше жизнь: оказывается лучше. Когда я был молод, то все старики мне говорили, что раньше была жизнь лучше. Возможно, что я в старости скажу, что жизнь была лучше, но сейчас никак этого не скажу. В реке неисчислимое количество купальщиков и рыболовов, рядом со мной, на следующем квартале, живет Л. Леонов. Оный писатель купил спиннинг за 300 рублей и сколько бы ни ходил, ни черта не поймал. Также и остальные рыболовы. Рядом лес, в нем малина, немного, земляника — много и грибы, которые только что вылазят. Молодые и страшно веселые. Грибов у вас при капитализме нету. Можете позавидовать. Зато у нас плохой табак — на таможне из 250 грамм, которого вы мне послали, уперли у меня 100, чем я был очень огорчен. Хожу на удивление всех окрестностей в огненной пижаме. Вот и все об моей жизни. Детей у меня много, характер их описать невозможно за большой сложностью, но дети все хорошие и — все купаются. Вода теплая, доложу я вам, до удивления, и вообще лето прекраснейшее, но я боюсь, как бы не было засухищ, хотя и Московская область не столь важна в сельском хозяйстве, но все же. Имею огород в три гряды. Сам поливаю. Выяснилось, впрочем, что огородник я никудышный, а вот Л. Леонов молодец. Я ему завидую.

Что же касается нашего собратства с Вами по наборному делу, то мне из всех путей, которые я выбирал в начале своей жизни, необходимо было б окончательно выбрать наборное. Самое легкое и спокойное. Но я выбирал всегда тот путь, где человек меньше всего имеет дела с материей и больше всего с собой, собственным духом. Операции с собственным духом, на голых чувствах, так сказать, больше всего удавались героям Достоевского, а нам грешным, т. е. пока мы не свершили никакого преступления, в коем и есть развязка всей гордыни, т. е. той же операции с духом, нам и тяжело бывает и скучно от этого выбранного пути. Я говорю о пути индивидуальном, не общественном, потому что как только удастся окунуться в общественное, так человеку нашего типа станет легче, но и в общественном он скоро заскучает и начнет баловать, даже и сам не желая этого баловства. Извините за туманное сожаление наборщика, который утерял свою верстатку. Что же касается Вашего утверждения, что я хороший писатель, то это сомнительно. Возможно,— это не утверждение, а гипотеза,— что я смогу быть хорошим писателем, пока же все, что я написал, только лепет. Я вам пишу это без шутки, т. к. чем я больше живу, тем глубже чувствую, что вознаграждение за свои труды я получаю сверх меры, и это верно, иначе бы мне хотелось большей славы, ибо тогда я б чувствовал себя оскорбленным, как большинство моих писателей — спутников — современников, уже почувствовавших себя классиками. Еще раз извините за сплетни, но, откровенно говоря, писатели мне порядком надоели. Все они, может быть, и отличные люди, но люди, которые ничего не прибавляют мне в жизненном опыте, но убавляют. Впрочем, все самоучки, к которым принадлежу я, недооценивают своей среды, а ищут другой, которой обычно никогда не находят. Отсюда — можно было б заключить афоризмом — водка и одиночество. Но это было б ложью. Отсюда невозможно найти свою форму, в которую должно вливаться слово, а это посложнее, чем водка и одиночество. Боюсь быть самонадеянным, но мне кажется, что я нащупал уже форму или, вернее, какие-то намеки на форму.

Пока что,— говоря о более ощутимом,— я написал пьесу. Комедию. Девять сцен.

Из современной московской жизни. С переодеваньями и переобуваньями. Действующие лица: А. С. Пушкин. Сервантес. Бригадир М. Н. Синицын и друг мой Леон Леоныч Черпаковский, который одновременно пишет воспоминания о «Знаменитом факире и дервише». Ни одного положительного героя и, думаю, ничего смешного. Поставлю, если удастся, у Мейерхольда. Пьеса, пока временно, называется «Введение в металлургию». Название занятное, но совершенно неблагозвучное, какой-то сплошной — вввллл... Может быть, подберу удачнее.

Когда я приеду в Париж. Раньше осени вряд ли. Тем более что вы губите и давите моих немцев, единственную нацию, которая платит мне свою несчастную марку за переводы, а так как возможна к осени инфляция, то и все те немногие сотни марок, которые я имею с «Ульштейн-ферляг», совсем ни хрена не будут стоить. С чем мне приехать в Париж. Авансов же мне французские издательства не дадут, ведь, для того, чтобы задолжать, как вы, необходимо было кончить Сорбонну,— насколько я понял из Вашего письма, в Сорбонне мне уже учиться поздно, разве что дети мои, но опять на детей где же денег достать. Очень трудно жить, доложу я вам.

Об Унгерне. Он был белес, совсем-совсем белый, как бы седой. И девственник.

Поклон от Тамары Владимировны и деток, которые все еще пьют шоколад и какао — младший особенно любит, он говорит: «кака». Костюмчик ему оказался мал, так как он очень толст, и живот у него в этом костюмчике, как арбуз. А за носочки, благодарю вас, взяли пошлины 75 рублей. Они и с шелком и — вообще сверх нормы. В этом я уж сам виноват.

Водка и вина у нас есть хорошие, но вот насчет ликеров: мы никак. Так на днях я сделал открытие. Взял такую траву, «пижма» в цвету, и наложил в водку. Запах, разрешите сообщить, совершенно божественный. Нектар. Дар богов. Самые злейшие мои завистники были потрясены. Теперь бы мне спиртику, и я открою шартрез.

Целую Вас, друг мой.

Вс. Иванов.

95. В. ПОЗНЕРУ

10 августа 1931 [*Москва*]

Дорогой Володя,

рассказ «Когда я был факиром» войдет в «Соломенную собаку», которая будет готова никак не раньше начала 32-го года. Второй рассказ не войдет. Получил «La revue européenne» с моим рассказом. Чем он Вам понравился? По-моему, рассказ плохой.

Вчера довелось беседовать с Е. Ярославским. Он, автор, умолял меня дать ему брошюру его об Унгерне: почему-то он решил, что она у меня есть. Унгерн носил на теле громадный серебряный крест, который в тюрьме просил разрешения «загнать» на папиросы и прочее.

Если Вас не затруднит: пошлите мне книжки — по-французски или по-немецки — о Сервантесе. Биографию. Я хочу написать о нем книгу. Листов в 10-ть.

Привет.
Вс. Иванов.

10 августа 1931 г.

96. В. ПОЗНЕРУ

19 сент[*ября*] *1931, Москва*

Дорогой Володя, получил Ваше утешительное письмо. Думается мне, что сборник составлен удачно. Желаю успеха — и Вам и мне.

Паспорт для поездки в Европу я подам между 15 и 25 окт[ября] сего года. В Германию я визу получу в два счета, но вот с французской визой туже. Как Вы — французский писатель и свой человек в дымчатом Вашем городе Париже, то не сможете ли оказать содействие? Едет:

«Всев[олод] Вячеславович Иванов, год рождения 1892».

«Тамара Владимировна Иванова, год рождения 1900».

Дети остаются в Москве — поскольку мы люди бедные и разъезжать с няньками не в состоянии. Должно сказать, что года 3 тому назад я имел франц[узскую] визу, но ей не воспользовался, т. к. за границу не по-

ехал. Выеду я в середине ноября или самое позднее в конце; и если Вы добудете визу, то катану прямо в Париж.

На этот раз я не надую, а действительно приеду.

Привезу новый роман.

О Монголии пока нового еще не нашел. Мало книг.

Каких поэтов Вы любите? И первые издания? И автографы? Захвачу — сообщите. На днях я купил «Бориса Годунова» 831 г. — на форзаце надпись, тогдашним почерком: «Сия книга приобретена 9 сент. 1836 г. за 10 руб. Жаль 10 рублей!»

Насчет Сервантеса не торопитесь. Я работаю медленно, успеется. Разве к случаю вспомните.

На днях вышлю Вам роскошные виды со всего моего семейства.

Целую Вас.

Всеволод.

19 сент. 1931
Москва.

97. В. ПОЗНЕРУ

25 июля 1932 [*Москва*]

Дорогой Володя!

С удовольствием бы согласился на Ваше «ты», но просто вы по скупости захотите зажилить от меня необходимые при брудершафте бутылки, заменяя их тощими чернильными каплями. Исходя из вышеизложенного, откладываю «ты» до соответствующей бурной встречи на стогнах Парижа. С поездкой у меня не столько не вышло, сколько я дико разленился, и мне просто не хотелось суетиться, доставать визу, паспорта, думать при переезде за границу, что немец[кие] издатели — ввиду кризиса — деньги мне не уплатят... М. б. — осенью, и м. б. — никогда! Жизнь длинная, не будем спешить.

«Юманите» с «Лит[ерой] Т.» получил. Но они оную литеру подавали такими каплями, что вряд ли можно разобрать ее очертание. Кажется, в №№ 5 шла — повесть в $^3/_4$ п[ечатного] листа? Как дело с моей книжкой, издателя которой Вы даже нашли? Кризис сожрал?

Мебели мои и биллиарды, о которых Вам сообщил ренегат Замятин, стоят в полном порядке и столь мне

надоели, что я их на днях замою и куплю вместо карельской березы — книг. Да-с, м[илостивый] г[осударь], если б Вы видали книги мои о Монголии, вы бы охнули, милостивый государь! Все, имеющееся о Монголии, Средней Азии и Туркестане, все уже стоит на моих полках — или будет стоять в непродолжительном времени.

С Сервантесом можете не спешить, вряд ли я буду писать эту книгу. Убежден, что и с этим фактом спешить некогда.

В феврале перевалило мне 37 лет. Чем дальше, тем жить интереснее, да к слову сказать, и видим мы теперь больше, словно поднимаемся на большую гору. А что же я скажу, когда будет мне 100 лет?

Целую Вас.

Всеволод.

10/IV 1932

Насчет «Путешествия в страну»,— Вы не правы. Роман наполовину сырой.

98. В. ПОЗНЕРУ

25 июля 1932 [*Москва*]

Дорогой Володя,—

извините, пожалуйста, что я долго вам не отвечал — я потерял Ваш адрес и должен был написать Мише Слонимскому — в Берлин! — и он мне сообщил таковой.

Конечно, я буду чрезвычайно рад, если мой «Бронепоезд» проедется по Парижу, но мне вообще с театром не везет, а с заграничными постановками и подавно,— боюсь и на сей раз.

Фотографии Вам я пришлю.

Пьеса играется в значительно измененном от находящегося у Вас текста, сокращена, есть сцена в городе, в депо — по-моему, совершенно лишняя; вся пьеса — по-моему, опять-таки кончается тогда, когда партизаны взяли бронепоезд.

Если желаете, могу выслать мхатовский текст.

Я рад бы приехать на постановку,— но виза? Гоните визу, Володя! — и проваливающий в бездну «Бронепоезд» будет шикарно украшен моим присутствием.

Кончаю роман из московской жизни. Если интересуетесь или можете подыскать интересанта — пришлю, в октябре.

Целую.
Всеволод.

25/VII 1932

99. В. ПОЗНЕРУ

15 августа 1932 [*Москва*]

Дорогой Володя!

Сегодня отправил к Вам мхатовский экземпляр «Бронепоезда» и четыре посланные Вами документа и мое удостоверение личности. По количеству печатей на оных поймете, каких хлопот мне это стоило — будет печально, если с «Бронепоездом» произойдет то же, что с ним произошло при постановке в Токио: его сняли в день премьеры.

Что касается фотографий и музыки, то это проделать удачно можно только после 20-го, до этих дней и Музей МХАТа, и прочие его отделы находятся в отпуску,— фотографии же без их помощи я найти не могу — фотограф покинул прежнее свое помещение и переехал черт его знает куда.

А визы? Мне и жене?

Сижу на даче. Лето было страшно жаркое. Грибов еще нет.

Пишу ежедневно по 6 часов.

Привет! Вс. Иванов.

15/VIII 1932

Экз[емпляр] пьесы, посланный Вам, не выверен, с диким количеством ошибок. Если будете пользоваться, сверьте с печатным текстом моей книги.

В. И.

100. В. ПОЗНЕРУ

6 октября 1932 [*Москва*]

Дорогой Володя!

Сегодня мне сообщили из французского посольства, что визы для меня и моей жены получены. Очень признателен Вам за хлопоты. Предполагаю выехать из

Москвы в первых числах ноября, то есть через месяц или, самое позднее, после октябрьских торжеств. Дело в том, что хочется переписать и оставить для печати новый мой роман «У», в котором суть 22 печ. листа, этакую громаду выправить трудно, кроме того, велика еще и нагрузка моя по части заседаний. Как видите, на премьеру я не попаду. Надеюсь, что пьеса моя выдержит до моего приезда. Очень вас прошу известить — по телеграфу, если не лень,— как она пройдет, впрочем, если плохо, то можно и не извещать, неприятности всегда легче выслушивать лично. Не скрою, что вопрос сей меня зело волнует.

М. б., Вас интересуют какие-нибудь книги, тогда я захвачу с собой? Известите. Роман мой, как только он выйдет из-под машинки, я, дабы его не таскать с собой, вышлю Вам. Страшно подумать — 22 печ. листа, из которых уже добрая половина лежит передо мной на столе перепечатанная!

Целую.

Всеволод.

6/X 1932

101. В. ПОЗНЕРУ

23 ноября 1932 [*Москва*]

Дорогой Володя!

Одновременно с сим отправляю Вам свои книжки, а также Лазурского — два тома. Возможно, что письмо и книги придут раньше, чем мы приедем,— мы уже совсем собрались выезжать 25-го, но заболел ребенок. Опасного ничего нет, грипп, но мы решили обождать. Во всяком случае выедем до 30-го ноября.

Мои книги можете взять, а Лазурского поберегите для меня, так как он мне необходим для справок — предполагаю написать на досуге статью — «Что такое характер» — для начинающих писателей, а также и для себя. С собой не взял потому, что на границе поляки отбирают все книги, которые вышли после революции.

Привет!

Вс. Иванов.

23/XI 1932

102. В. ПОЗНЕРУ

22 февраля [*1933, Москва*]

Многоуважаемый! Володя!

Где вы пропали? Почему Вы мне не написали, когда я жил у М. Горького? Прислали Вы мне 2 номера «Юманите», и больше вестей от Вас не было. То, что я не писал,—это понятно, понеже я сидел в Сорренто без денег — и грустил. Деньги, посланные мне из Москвы, так и затерялись неизвестно где.

Описывать сего путешествия не буду. Под старость. Берегу для воспоминаний. Потому под старость меня печатать не будут, и молодежь будет смеяться надо мной: «вот живучий!»

Как Ваши литературные дела? Как товарищи и семья. Изложите мне все, Володя, на отличной бумаге посредством отличной вашей машинки. Вы трудолюбивы, аккуратны, не в пример мне. Как мои доклады? Вы их предполагали напечатать. Словом — все, все.

Скоро — месяца через $1^1/_2$ я уеду на Урал, Туркестан и Сибирь. Буду шляться, купаться — и любить природу.

Привет Вашей супруге, детке Вашей. Мои детки процветают, катаются на салазках. У нас метель, холодно. Пришлите мой парижский снимок.

Как Н. Альтман? Целую Вас.

Всеволод.

22/II 1932

Адрес Ваш я, кажется, опять перепутал. Отдохнул в Берлине: нашел хороший трубочный табак, голландский. Так я на него наскочил столь яро, что купил сразу кило. А ваши французские табаки — ужасны.

103. В. ПОЗНЕРУ

12 апреля 1933 [*Москва*]

Дорогой Володя!

Третьего дня закончил свою пьесу. Отдал в переписку и, наверное, через неделю вышлю ее Вам. Не знаю, насколько она подойдет к французской сцене, но все же прочтите. Декорации несложные, действующих

лиц — десять, четыре акта — словом, со всеми удобствами. Тема — о гуманизме. То есть крушение гуманизма. Действие — наши дни, наше строительство.

Живем по-прежнему.

А что у вас в Европе-то делается? Ой, какой стыд. Германия-то, страна мудрости, и — такая похабщина.

Привет вам!

Всеволод.

12/IV 1933

104. В. ПОЗНЕРУ

[1960, первая половина, Москва]

Дорогой Володя!

Чувствительно признателен Вам за присланную книгу о Горьком. Я еще не прочел ее из-за полного незнания французского языка, но или, надеюсь, научусь, или Тамара Владимировна переведет, или она будет издана по-русски: «Серапионы» всегда были, отчасти, чудаками.

В ответ Вам я пришлю на днях свой новый роман «Мы идем в Индию». Это автобиография несколько на восточный манер: много прикрас в пользу автора (а что делать в 65 лет?).

Я вообще «богатый»: вышло собрание сочинений в 8 томах и я пишу еще 8-мь, которые думаю окончить к Новому году. Семейство мое трудолюбивое, дом просторный, и сапоги не жмут.

Приезжайте в Москву! Мы вас угостим пельменями или чем-либо другим, по Вашему вкусу. М[ожет] б[ыть], когда-нибудь мы приедем в Париж: и это бывает.

Вс. Иванов.

105. В. ПОЗНЕРУ

18 окт[ября] 1960 [Переделкино]

Привет Вам, дорогой Володя!

У нас — зима, снег, топим; живем на даче и блаженствуем. Я пишу не то роман, не то повесть, не то рассказ.

Внуков у нас действительно двое, но они стоят двадцати: и умом и телосложением.

Приезжайте в Москву!

Обнимаю. *Всеволод.*

18 окт. 1960.

106. В. ПОЗНЕРУ

23 декабря 1960 [*Москва*]

Дорогой Володя! Спасибо за хорошие слова об «Мы идем в Индию»! Примите наши поздравления с Новым годом, вам, супруге!

Всев. Иванов.

Присоединяю свои поздравления.

Тамара Иванова.

23/XII — 60

107. В. ПОЗНЕРУ

29 ноября [*1961*], *Переделкино*

Дорогой Володя!

Тамара бегло, но красочно описала все, вплоть до погоды. Мой слог бессилен.

Я пишу, но медленно. Пройдет старость, буду писать быстро. В промежутке между строчками — сплю. Не пью вина, отчего чувствую себя мудрым, т. е. дальновидным. Скоро буду вегетарианцем. Похудею.

К нам приезжайте непременно. Вы катали меня по Парижу, я поведу Вас по грибы или рыбу удить (в Восточной Сибири), а также по древним русским городам, где очень красиво.

Привет Вашей семье!

Всеволод.

29 ноября
Переделкино.

108. В. ПОЗНЕРУ

[*31 января 1962, Москва*]

Дорогой Володя! Я написал книжку о поездке в Вост[очную] Сибирь, теперь пишу об Индии и Японии.

Отдохнули мы действительно хорошо: Крым в январе, на мой старческий взгляд, великолепен.

Недавно расстались, а встретиться уже пора? Верно! Судьба нас последнее время балует на встречи; может быть, побалует еще и мы встретимся в Париже?

Нежный привет Иде!

Вс. Иванов.

109. О. С. НЕХЛЮДОВОЙ

8 января 1938 [*Москва*]

Уважаемый товарищ!

Я с большим удовольствием прочел Вашу «Повесть о гадком утенке». Вы несомненный писатель, и Вам надо заниматься этим трудным и приятным делом.

Я сделал кое-какие поправки к Вашей рукописи, мне кажется, их стоит сделать. Подумайте также о том, чтобы сократить несколько середину. Надо сильно сократить главу о пушкинском спектакле. Перепечатайте страницы, которые я сильно запачкал своими пометками,— и отнесите рукопись в «Новый мир» к тов. Хамадану. Надеюсь, что они примут ее, а если не возьмут,— обратитесь тогда ко мне,— напечатаем в другом журнале или сборнике.

8/I—38

Письмо к т. Хамадану прилагаю.

Желаю успеха.

Всев. Иванов.

Рукопись передана мной т. Факторович в Союз писателей.

110. О. С. НЕХЛЮДОВОЙ

24 марта 1940 [*Москва*]

Здравствуйте, Ольга... и дальше написать не могу, так как не знаю Вашего отчества.

Я прочел Вашу повесть «Ветер меняет вывески».

Повесть мне понравилась. **Написана она с тем же уменьем, что и «Гадкий утенок»,** и, пожалуй, с тем же персонажем,— но последнее отнюдь не упрек, а только в смысле одобрительном.

Сцены родов Ады и вообще все, что о ее «семейной» жизни,— превосходны. Очень хорош и муж ее.

И только — мне совсем не нравится конец. И конечно, не потому, что героиня исправилась и нашла свое счастье,— это очень хорошо, мне вообще нравятся рассказы с хорошим концом, и я сам стремлюсь к тому, чтоб у меня были хорошие концы. А не нравится потому, что последняя часть мне кажется пристегнутой автоматически. Ведь и герои ее входят в повесть словно придуманные для последнего конца, для нарочитой концовки. Раньше в повести они не встречались, о них не только не было сказано ни слова, но даже и мысли не было — я говорю о комсомольской организации, и вышло так, как будто человек отчаялся и пошел, или, вернее, этого человека нашли под забором и приютили. Ну, добро бы Ада пошла со злости,— это подходило бы к ней,— пошла, дескать, вот посмотрю, какие вы люди, и так как совершенно не верю вам, то и — наплевать. А люди-то оказались хорошие и понимающие. Здесь — вы делаете вроде того, что она идет неизвестно зачем.

Наставления давать легко, дескать, исполнил свою обязанность — и до свиданья. Я пишу это не для советов, потому что и не люблю давать советы, влазить в чужую душу, которую, к слову, и редко понимаешь, и не люблю, когда мне советуют. Я хочу сказать о некоторой шероховатости в композиции. Самое лучшее, конечно, если можно было,— это просто-напросто выкинуть последнюю часть, оставив описание жизни,— весьма полезное, с моей точки зрения,— одной несчастной, хотя и милой девушки. Но вряд ли это возможно. Но и с таким концом вряд ли редактора примут: скажут, искусственно. Так что видите — совета не вышло.

Но, помимо этого недостатка, который в конце концов Вы, несомненно, преодолеете, повесть хороша, и читал я ее с удовольствием, что, надеюсь, и испытают читатели.

Извините, что пишу так несвязно: сегодня провалился в реку и километра два шел мокрый по снегу, так что чувствую себя в ознобе и пишу только потому, что опасаюсь расхвораться и, значит, задержать ответ.

Всего доброго.

Рукопись у меня. Если Вам нужно письмо куда-либо, к редактору,— позвоните. **Кстати, один из редакторов**

Гослитиздата — очень хороший, кстати сказать,— Лукин хвалил вашего «Гадкого утенка» и даже хвастался, что приложит все усилия к тому, чтобы издать его.

Вс. Иванов.

24 марта 1940 г.

111. В. Б. ШКЛОВСКОМУ

29 июня 1942 [*Ташкент*]

Дорогой Виктор!

Я в обращении к Киностудии написал привет тебе, но тут же вспомнил, что никто не мешает мне написать тебе письмо, что я и делаю с огромным удовольствием.

Недели три тому назад я окончил роман «Проспект Ильича», т. е. перепечатал его окончательно на машинке. Получилась, по современным возможностям, цифра невиданная: 17½ печатных листов! Я просто охнул. Но, охнув, я задумался и огорчился.

Как-то все выходит, что приятно писать, но крайне неприятно печатать, и эта трудность увеличивается год от году. Так, окончив роман, я ходил возле него недели две, глядя на него с ненавистью и просто боясь пустить его в действие. Мне казалось, что я писал его не столько для печати, сколько для показа своей мужественности и ума (долой скромность!), и что напечатать его невозможно, да и не стоит.

Не знаю, рассказывал ли я тебе про медведя. Это я видел в 1920 году в зоологическом саду в Петербурге. Медведя кормили мороженой и квашеной капустой. Когда к нему подкатывали бочку, медведь от ужаса закрывал глаза — и начинал выть. Он выл, сидя на корточках, мотая головой и махая лапами. Боже мой, как я понимал его! Однако проходило время, и медведь начинал есть капусту. Он вздыхал, бил по бочке лапами, крутил головой — и все-таки съедал столько, сколько нужно было ему.

Когда я стал править роман, т. е. расставлять точки и выпрямлять фразы,— занятие, к которому нас приучают редактора и которые, в конце концов, испортят весь стиль нашей литературы,— тогда я испытывал это самое состояние медведя, кормимого капустой.

Отправив роман, я уже не думаю, что он капуста,

и медвежье чувство мое прошло, но все же, надо сказать правду, наши редактора сделали все возможное, что[бы] привить нам отвращение к печатному слову. ⟨...⟩

Ну, поплакав, разреши перейти к дальнейшему!

Отправив роман и не очень надеясь не только на успех, но и на печатание его, я тем не менее, как и всегда, ищу утешения в работе, как в молодости искал утешения в любви.

Поэтому я приступил к работе. Я был на геологоразведках в ущелье Ак-Таш, это в семидесяти приблизительно километрах от Ташкента. Места чудеснейшие и положения — санатория и разведки — как раз такие, которые я придумал еще до поездки туда. Одно из двух: или действительность беднее фантазии, или фантазия тащится сейчас за действительностью? Вот что я понял, побывавши в Ак-Таше.

Словом, я напишу сценарий «Судья у дверей» или же, если Студии не понравится тема, напишу повесть. Мне все равно. Но, милый, если Студии тема подойдет, поторопи их с деньгами. За роман я не получил ни гроша, за «Пархоменко» тоже пока ничего, и вообще я бедный и тощий, как та копировальная бумага, посредством которой сейчас печатают на машинке.

Семья моя здорова. В Ташкенте жарко. В столовой выдают вермишель, а вчера — тухлую рыбу. Но ничего, авось выживем, а не выживем, встретимся при следующем **возрождении Будды**.

Целую тебя, милый Виктор!

Привет семье!

Всеволод.

29 июня
1942 г.

112. Н. Л. ЗЕЛИНСКОМУ

19 мая [*1943, Переделкино*]

Дорогой Корнелий!

Если у тебя будет время и ты попадешь в Узгосиздат, спроси там, каково положение с изданием моего романа «Проспект Ильича»? Я бы им написал, но они, разумеется, не ответят, и поэтому тратить время не стоит. Ты бы тоже не ответил, если б я не написал вышестоящих строк, но — не волнуйся: это меня не встре-

вожит, ибо я как-то охладел к роману, «Советский писатель» здесь, в Москве, предлагает издавать, что-то там подчитать и исправлять, а мне даже скучно и возиться с ним. Я занят другим романом, который сейчас пишу, это «Сокровища Александра Македонского», фантастика, бред, чепуха, философия самоучки, откровение дурака, и, однако, пишу. Так что, если ты занят, особо для меня в Узгосиздат ходить не стоит. Мой адрес: Лаврушинский, д. 17, кв. 42.

Это часть официальная.

Перехожу к другой. Я живу на даче у Сейфуллиной, в Переделкино, там копаю огород и готовлю книгу рассказов, а также пишу роман. В Переделкине живет еще Погодин, и это все, что осталось от мощного «городка» писателей. Дачи стоят такие же, кроме моей, от которой даже и пепла не осталось. Поют соловьи, по вспаханному полю летают грачи, похожие на академиков республиканского масштаба, течет ручей. Когда я устаю от писания, копки грядок, я читаю Шекспира в двух переводах одновременно — Крейтера и Соколовского: «в уединении ты счастлив: ты поэт!» Определение — поэт относится не ко мне, а к Шекспиру.

Поскольку я представляю собой «уединительный снаряд», я не могу сообщить тебе литературных новостей, кроме тех, или, вернее, никаких, которые ты прочтешь в «Литературе и искусстве», самый заголовок каковой говорит о бессмысленности, ибо литература и есть искусство. Из Чистополя приехала группа писателей и их жен, и в Чистополь к семье поехал Л. Леонов. Вот и все. А. Крученых по-прежнему собирает автографы, А. Толстой написал вторую часть «И. Грозного», К. Федин пишет роман о судьбе одной семьи, М. Зощенко, приехавший из Алма-Аты, огласил нам интересное свое беллетристическое исследование о причинах того, почему у него неровный характер, в Союзе писателей заседают, Н. Погодин написал 987 пьес и все на острые темы, В. Шкловский такое же количество статей, и у меня от всего этого такое чувство, что я уделан уже в тюк,— прочно, исправно,— приготовленный для издания полного собрания сочинений, которое Гослитиздат, с присущей ему забытчивостью, пообещает, но не издаст.

Жена моя здорова. Дети тоже. Они все или копают грядки, или покупают семена, или учатся. И все они

кланяются тебе низко! Они, т. е. дети, растут так быстро и мощно, что я буду скоро по сравнению с ними мальчик с пальчик: «растерзаше сосуд его», что поделаешь.

У вас жарко? Завидую жаре, хотя и переношу ее с трудом. Вот единственное, что манит меня в Ташкент, хотя к нему у меня, вообще-то говоря, самые нежные чувства, но это вопрос воспоминаний уже.

Пиши, если захочется. Не ручаюсь за скорый ответ, ибо — хлопоты, заботы, дети, годы, свойство безмолвствовать — все это способно меня задержать. Однако помни: у тебя есть «удьбище», место на реке, означенное вехою как способнейшее к успешному лову рыбы, которая блеском и увертливостью своей, как известно, походит на человеческую мысль.

Привет супруге, друзьям, встречным и всем, кто нас любит. Пан, наделы наши в разных местах, но доля их равна, и сердце наше одинаково!

Целую тебя, не кашляй!

Всеволод.

19/V

От профессора, кандидата на Нобелевскую премию, бессмертного Вс. Иванова, что в Москве живет на Лаврушинском пер., д. 17, кв. 42.

113. УФИМЦЕВУ В. И.

[19 мая 1943, Переделкино]

Дорогой друг, Виктор!

Извини, пожалуйста, что пишу тебе с таким перерывом. Москва — город заполненный, все надо урядить, уладить. То вычинить крышу от течи, то забор от пролазу. Глядь — дня и нету, написать письмо другу некогда. И так пройдет жизнь, опомнишься, помирать пора, а ты и не уделил времени беседе. Охваченный такими мыслями, я сел за машинку и решил написать тебе, дабы и ты, занятый не меньше меня, вспомнил о человеке, который сидит в Москве, пишет книги, от болезней не страдает, но и не так, чтобы уж был замечательно здоров.

Москва все такая же опрятная, прибранная, спокойная, трудолюбивая. Художественная жизнь, несмотря

на военное время, могла бы быть и получше. Мне кажется, что у вашего брата — художника — даже лучше, чем у нас — писателей, но художники тоже не довольны. Это недовольство естественное и доказывает, что искусство наше жизнеспособно, ибо довольное искусство — не искусство, а мура! Завтра, в Совинформбюро откроется выставка картины П. П. Кончаловского — «Лермонтов». Выставку сопровождает игрой Д. Шостакович. Петь будет на мотивы стихов поэта Обухова. Я, к сожалению, не пойду — срочная работа, надо сдавать книгу рассказов в издательство. Сижу, пишу за городом у знакомых на даче. Для выпрямления пальцев — копаю огород. Вся моя семья тебе кланяется.

Твой казахстанский «Турксибовский» рисунок висит у нас на стене под стеклом и в раме, и все одобряют его!

Что ты поделываешь? Знаю, у вас солнце и сильная жара. Мы тоже живем в тепле, хотя три дня уже льет дождик, но это хорошо для посадок, ибо вся Москва пашет и садит огороды. Я тоже что-то такое посадил. Живу уединенно. Много пишу. Мало печатаюсь, по обстоятельствам, как говорится, от меня не зависящим. Сейчас пишу роман «Сокровища Александра Македонского», роман, навеянный еще Азией,— это будет нечто приключенчески-комически-сатирически-философски скучное, ибо получается длинно, запутанно и не смешно. Пока я написал листа три, а надо 30 — значит, одну десятую. Если соответственно пойдет, то окончу через год. Ну и пусть!

По дороге (удел мой таков) пишу рассказы. Только что заходил ко мне В. Шкловский. Увидал твой «Турксиб» и еще раз похвалил. Нежнейший привет тебе, ты у моей души всегда. Я вспоминаю нашу прогулку к мечети, твой дворик со странными деревьями — касторкой, картины, нашу беседу на диванчике. Сбруя нашего быта весьма неудобна, и дыхание от нее часто бывает спертое, но все же спасибо за все, что мы видели и что увидим.

Дни наши из платины, а она, как известно, по удельному весу в 21 раз тяжелее воды — водички сладенькой, подсахаренного быта — прозябаньишка.

Целую и желаю, как всегда старательно стоять у мольберта, сильно ударяя в колокол искусства. *Всеволод.*

114

[4 марта 1945, Москва]

⟨...⟩ От всей души благодарю тебя за теплое письмо. Мне тем более было приятно его получить — оно пришло ведь незадолго до того дня, когда мне стукнуло 50 годков. Я вспомнил странные снежные дни в Омске, когда мы познакомились с тобой, и, признаться, сердце защемило. Жизнь оказалась короче волоса, а сделать хотелось гору. Это, конечно, не жалоба, а только сожаление, что не выпьешь всего мира, а дай бог рюмку. Ну что ж, чокнемся рюмками! Твое здоровье, милый Виктор! Ты уже почтенный Народный художник. Это очень приятно, и ты, безусловно, заслужил. И у меня достаточно седин, а поэтому — хорошо бы встретиться! Не правда ли? Надеюсь, приедешь на выставку.

Я работаю много, заканчиваю книгу «Фантастические рассказы». Это, собственно, не фантастические в прямом значении, а размышления на эту тему. Помимо рассказов, обдумываю пьесу, а послезавтра уезжаю на фронт — на месяц — писать очерки для «Известий». Поездка большая: от Москвы до Бранденбургской провинции на автомобиле. По возвращении — напишу тебе.

Собирался весной в Среднюю Азию, в Казахстан, но едва ли удастся, так как весной же надо съездить за материалом для пьесы на Урал ⟨...⟩.

115

[1947, Москва]

⟨...⟩ Пишу новый роман, два последних моих романа провалились. Авось выйдет третий. Был я на Урале — в Свердловской области, очень интересно, оттуда рукой подать до Омска, однако не доехал. Времени не было. Все собираюсь в Среднюю Азию, но времени мало и денег тоже ⟨...⟩.

116

[1948, Москва]

⟨...⟩ Отвечаю с опозданием, хворал, старость. Мечтаю о поездке в Узбекистан, но мешают замыслы, работа

и 53 года за спиной и на спине, в частности в пятом позвонке, который поет. Над чем работаешь? Пришли краткое коммюнике. *Всеволод.*

117

[*декабрь 1949, Переделкино*]

Ну вот тебе мое поздравление, Виктор! Если бы я писал его в Москве, оно было б коротким (из-за занятости), а теперь оно длинное и обстоятельное, как московская зима. [Живи ты в Москве, давно был бы очень знаменит и, возможно, даже восседал в Академии, рядом с А. и С. Герасимовыми, которые все время шипят друг на друга.] Серьезно! Ты чрезвычайно талантливый человек, и, конечно, Ташкент поставит тебе памятник и соорудит картинную галерею Уфимцева. Я не знаю, когда это случится, но что это случится — я уверен. На нашем совместном юбилее, когда мне будет 100, а тебе около, мы вспомним это письмо и скажем в голос: «А ведь был прав!»

Вот как, дорогой мой. Пиши побольше и поярче и не унывай. Впрочем, я строчу это письмо к тебе вовсе не затем, чтобы в чем-то утешить тебя — ты в общем не из грустящих, а потому, что люблю тебя. К сожалению, жизнь так складывается, что нет времени ни для писем, ни для встреч, ни для телеграмм даже. Но есть следующая возможность: я живу, главным образом, за городом в Переделкине, во вновь отстроенной даче (два этажа, пять комнат, центральное отопление, электрическое освещение, ванна и теплый нужник). Приезжай в Москву! Приезжай ко мне на дачу и будешь жить неделю, ходить по снегам. Ты напишешь несколько этюдов и в благодарность за гостеприимство — подаришь мне один. И когда гости мои будут любоваться им, я скажу: «Он может и не такое!» И опять я буду прав.

Эх, жалко, что я не Лев Толстой, мы бы с тобой продали это письмо в Лит. музей минимум за 500 рублей и пропили б их. К сожалению, из-за хворей пью теперь мало и преимущественно кофе ⟨...⟩.

118

[апрель 1960, Москва]

То, что мы с тобой, дорогой друг, редко видимся — это плохо. Погляди на меня хотя бы на этих страницах, как они ни выцвели от времени, все же былую мечту можно при усилии разглядеть. А твоя «Чайхана» мысленно у меня. Я ее вижу и тебя ⟨...⟩.

119

[23 июня 1960, Переделкино]

Посылаю открытки для курьеза, которые прислал мне из Америки Давид Бурлюк.

Я собираюсь в Казахстан, в Чимкент, а вернее, в горы Каратау, что идут параллельно железной дороге возле станции Туркестан. Собираюсь в августе — сентябре побродить, поохотиться. Может быть, это будет последняя охота в жизни. Во-первых — уже не тянет, во-вторых — болят ноги, а в-третьих — вообще 66 год. (Боже! как я стар!) Ну, и по дороге (если поеду) заверну в Ташкент. Жил в Ялте месяц. Превосходно! ⟨...⟩

120

[10 августа 1960, Переделкино]

⟨...⟩ Вернулся из Чехословакии и нашел на столе два твоих милых гостеприимных письма. В Казахстан я по-прежнему собираюсь. Но мой спутник, казахский писатель, живущий в Москве,— уехал в Крым. И я никак не могу поймать его, чтоб согласовать с ним время отъезда. И когда заедем в Ташкент: по дороге туда или по дороге оттуда?

В Ташкенте думаю прожить не долго: дня три-четыре, погулять по городу, съездить в Чимган и все.

Хочется мне съездить на родину в город Павлодар (где не был с 1918 года), Омск, Курган. Не знаю, хватит ли силенок: я быстро устаю, старость, 66-й все-таки.

Вышел у меня восьмой том Собрания сочинений. Скоро ты на барахолке по дешевке сможешь купить эти восемь томов и прочесть в них «Похождения факи-

ра». Омск, впрочем, я там не описываю: плохо помню (как все дурное), но, может быть, когда-нибудь напишу еще один том об омских «Робинзонах» ⟨...⟩

121

[20 сентября 1960, Переделкино]

⟨...⟩ Я кое-что перепутал. Самолет мой уходил не в 10.30 вечера, как я тебе говорил, а, как потом оказалось, по правильно прочтенному билету — в 10.30 утра. Но все кончилось благополучно. Я улетел в 12 часов ночи из Ташкента. В Москву явился что-то около 6-ти утра (ссаживали по дороге каких-то альпинистов в Свердловске). Меня уже никто не ждал,— так я запутал свою семью самыми разнообразными телеграфными сведениями.

Я сел в такси и приехал в Переделкино, где было все тихо и мирно, выпил кофе, лег спать, спал три дня с небольшими перерывами, а сейчас, отоспавшись, еду в Москву.

На даче тихая красивая, золотая осень. Свежо и хорошо.

В связи с Л. Толстовским юбилеем предложили мне поехать на неделю в Данию, но я считаю, что в 66 лет даже заграничные поездки надо делать с выбором. И я отказался. Скоро, по-видимому, примусь за работу. Да и из твоей мастерской чувствую запах краски. Напиши, брат, «С. М.», что-то его давно никто не писал, а тема куда как серьезная.

122

[18 октября 1960, Переделкино]

⟨...⟩ Приехав, сразу же написал тебе, а дня через три-четыре получил твои замечательные фотографии. Я их тут же отдал гостившей у меня чешской переводчице Н. В., которая пишет обо мне книгу для Чехии. Может быть, фотографии будут напечатаны. Ну-с, живу я теперича, трудясь денно и нощно, чего и тебе желаю. Пишу **роман**! Работы хватит до слез. Населить оный сад хочу плотно, чтобы всякое украшение было, ну, а насчет плодов,— что бог даст.

Роман называется «Погоня вдоль песков».

Ездил ли ты куда-нибудь? Я, видимо, буду трудиться всю зиму.

А там — опять ехать, пока сердце держит.

В Москве два художественных чуда: Мексиканская выставка и, в связи с юбилеем Рублева, выставка икон в Третьяковке. Посмотрел я выставку икон и еще раз убедился в высшей гениальности и в высшей предназначенности нашего народа ⟨...⟩

123

[22 февраля 1961, Переделкино]

⟨...⟩ Мы с тобой как в карты играем. Я — в Индию, ты — в Тунис. Руки полны козырей. Завтра лечу в Париж. В апреле — в Японию. В мае — в Англию. В июне — в Монголию. Козырей-то сколько!

Разумеется, по тем или иным причинам некоторые козыри окажутся «битыми». Но все равно — размах был.

Всю зиму делал наброски. Капитального, как писал Ф. Достоевский, ничего не сделал, а придумал много. А ты? Надо нам летом обязательно вместе походить по горам. Я приеду. Когда еще не знаю, но приеду. ⟨...⟩

124

14 июня 1961, Москва

Итак, дорогой, ты лег отдохнуть, все ничего бы: полежать иногда даже приятно, кабы не болезнь. Мне тоже случается лежать, и не могу сказать, чтобы это обстоятельство так уже меня радовало. Но примиряешься — жизнь! Она убедительна!

Желаю тебе, дружище, скорейшего выздоровления.

Что же касается того, о чем ты пишешь, т. е. что [тебе] нельзя [будет] никогда гулять по горам,— я сомневаюсь. Может быть, месяц, три, полгода или год, а там все устроится, и, глядишь, будем костылять полегоньку по тропинке. А я, брат, кручусь. Побывал, как ты знаешь, в Японии. Сейчас приехал из Англии и Шотландии. И скоро, дней через 10 (как только соберу де-

нег), поеду на Дальний Восток в Читинскую область, где задумана славная прогулка по тайге и таежным рекам. Затем в октябре думаю съездить опять, как в прошлом году, в Южный Казахстан и, может быть, опять завернуть в Ташкент. Уже после всех этих прогулок намерен зимой засесть за роман. Роман вроде придумал, ну а там что бог даст. Он, то есть бог,— хитрый: дар дает, а прилавок, через который распространять этот дар, сам ищи! Семейство мое здорово и благополучно. Старший сын, Миша — художник.

А пока ты лежишь, то пиши-ка воспоминания. И поди не один я тебе советую. Жизнь у тебя интересная, большая. Есть все данные, что она будет долгой, долгой. Почему бы не написать воспоминаний? Сибирь, молодость, Омск, а затем Средняя Азия с ее своеобразным укладом. Куда как хорошо! Пиши, дружище!

Целую тебя! Привет супруге. *Всеволод.*

14 июня 1961 г. Москва.

125. Ф. И. ПАНФЕРОВУ

16 мая 1946 [*Алма-Ата*]

Дорогой Федор Иваныч!

Я прочел начало романа Ив. Шухова «Метель». Прочел, правда, немного, так как автор не мог дать мне всю имеющуюся у него рукопись, которую он получает из машинки едва ли не сегодня,— но, судя по тому, что я прочел — роман обещает многое. Он написан хорошо, отличным языком; психология героев очерчена тонко. Повторяю, трудно судить по началу, но недостатком романа, быть может, является одно — слишком медленное развитие действия. Впрочем, я только гадаю, не больше. Во всяком случае, если роман окажется весь написанным так же, как главы первые,— я высказываюсь за печатание его в «Октябре».

Живу я нормально и через день отправляюсь дальше, в глубины края.

Привет.
Всев. Иванов.

16/V

126. В. В. ВИШНЕВСКОМУ

8 декабря 1947 [Москва]

Дорогой Всеволод Витальевич.

Посылаю Вам для ознакомления, в «Знамя», роман «Вечная в детях своих». Автор — писательница, живущая в Свердловске; пишет она уже давно, у нее вышло несколько книг, недавно лишь напечатана в Свердловске ее повесть о ремесленниках, т. что автор опытный. Но все ее прежние работы были работами, как это случается, предварительными. Мне кажется, что только в этом романе автор нашел себя.

Роман — хороший. Очень рекомендую его Вашему вниманию. В бытность мою в Свердловске, осенью этого года, я сам отредактировал роман, и автор исправил его по моим советам. М. б., потребуются, в случае печатания, какие-нибудь доделки, тогда автор приедет.

Возможно, вы спросите — почему я не направил роман в журнал, к которому я имею, в некотором смысле, служебное отношение? Дело в том, что там уже «исправили» одну мою редакторскую работу так, что мне не хочется повторять этот опыт.

Привет.
Всев. Иванов.

8 декабря
1947 г.

127. Л. Н. СЕЙФУЛЛИНОЙ

2 апреля 1949, Москва

Дорогая Лидия Николаевна!

От всего сердца поздравляю Вас с замечательным днем Вашего 60-летия!

Неизлечимая болезнь — драматургия — лишила меня возможности лично приветствовать Вас. Мне повезло. Я знаю Вас 25 лет, а эти двадцать пять лет были, по-видимому, самыми блистательными и великими годами в истории нашей Родины,— и годы эти неизменно отражались в Вас и в Вашем творчестве, и годы эти в моем уме и сердце неизменно стоят рядом с Вами.

Мне повезло еще и потому, что, помимо дружбы с Вашим талантом, я близко знал и видел всю Вашу пылкую и человеколюбивую душу, а это в писателе, как я убеждаюсь на опыте многих лет, едва ли не одно из важнейших и нужнейших качеств. Ваши книги всегда были возвышенны и чутки, и всегда на их страницах я читал, ощущал биение чудесного сердца и радость, которую Вы чувствуете, видя другие, такие же как и у Вас, чудесные русские сердца.

Желаю Вам много — неисчислимо много! — хороших творческих дней, удивительная и хорошая Лидия Николаевна!

Всеволод Иванов.

2 апреля
1949 г.
Москва.

128. А. К. КОТОВУ

16 июля 1950 [*Москва*]

Уважаемый Анатолий Константинович!

Посылаю Вам для ознакомления рукопись романа «Пархоменко», переделанного и исправленного мною в этом году.

Роман, как Вам, наверное, известно, посвящен теме защиты молодой Советской республики от интервентов и белогвардейцев. В нем достаточно полно раскрыта эта тема. Однако мне казалось необходимым расширить и дополнить одну — наиболее важнейшую — сторону этой темы, а именно: руководящую роль правительства США в деле интервенции и блокады, которой тогда подвергалась неоднократно Советская Россия. Эта роль правительства и капиталистов США возрастала с каждым годом все сильнее и сильнее, особенно поднявшись в год, когда на Советскую республику брошены были армии белополяков.

Для того, чтобы более выпукло показать, куда и как вело правительство США польских панов, которые, в свою очередь, старались всячески обмануть и натравить на Советскую Россию польский народ, я совершенно переработал 4-ю часть романа и значительно дополнил и развил другие его части.

По имеющимся у меня сведениям, роман «Пархоменко», последний раз издававшийся в 1947 году, разошелся полностью: в книжных магазинах и складах его нет.

В 1951 году исполняется 30 лет со дня героической гибели А. Я. Пархоменко.

Если Вы найдете нужным и возможным издать роман «Пархоменко» в 1951 году, прошу поставить меня в известность.

С товарищеским приветом

Вс. Иванов.

16 июля 1950 г.

129. В. М. ФИЛАТОВУ

1 мая 1951 [*Москва*]

Дорогой Валентин!

Разумеется, я не имею знакомых, которые могли бы быть Вам полезны в том деле, что Вы задумали. Да, мне и кажется, что такое дело Вам не с руки. Лучше пишите побольше, и писания Ваши в конце концов, быть может, принесут больше пользы, чем те предприятия, о которых Вы думаете.

Что ваша повесть? Внесли ли Вы в нее изменения? Если Вы ее исправили, пришлите мне. Я говорил о ней с А. Фадеевым, и он обещал ее прочесть. Но не обижайтесь, если он будет читать долго: человек он чрезвычайно занятый, читает медленно, но зато, если вещь ему понравится, он поможет ее напечатать.

Все собираюсь в Казахстан. Но, к сожалению, нет свободных денег,— и поездки откладываю с осени на весну, а с весны на осень. Однако когда-нибудь да и приеду.

Желаю Вам всего хорошего. Сочиняйте рассказы и повести, не обращая внимания на препятствия, неизбежные в нашем трудном и хлопотливом деле.

Вс. Иванов.

1/V—51

130. Б. Л. ПАСТЕРНАКУ

[Июль 1951, Переделкино]

Дорогая Зинаида Николаевна
и Борис!

Кома окончил университет и даже получил диплом. По сему достопамятному случаю сегодня у нас семейное торжество: испекли пирожки и приготовили по бокалу вина. Просим униженно быть — в 9 часов вечера. Дорогой Борис! Дорогая Зинаида Николаевна! Забудьте о заботах. Приходите. Не оставьте нас грешных. Целую. Отец и сочинитель.

Всеволод.

131. Б. Л. ПАСТЕРНАКУ

10 февраля 1958, Переделкино

Дорогой Борис!

Поздравляем тебя с днем рождения. Ужасно жаль, что поздравляю не за столом и не на даче, а в смутном больничном лесу. Нам скучно без твоего голоса, шуток, без той веры в человека, которой всегда пышешь ты, как жарко натопленная,— историей,— печь. Желаю тебе быстрейшего выздоровления, а также чтобы ты, обдумавши новый роман, вернулся и с первого дня возвращения сел писать его: в конце концов самое вернейшее и длительнейшее наслаждение, которое когда-либо имел человек,— это писать!

Целую тебя!
Всеволод.

10 февр. 1958
Переделкино.

132. А. А. СУРКОВУ

10 января 1953 [Москва]

Уважаемый Алексей Александрович!

Пять лет назад я был в Малеевке, в санатории им. Серафимовича. Там в эти дни жил Мих. Пришвин, и там ему исполнилось 75 лет. Сколько помню, Союз писателей запамятовал прислать Мих[аилу] Михайло-

вичу поздравление, и 75-летие его было лишь отмечено отдыхающими в санатории писателями.

5 февраля с. г. исполняется 80 лет Михаилу Михайловичу Пришвину, великолепнейшему писателю, одному из несравненных мастеров русского языка.

Мне думается, что в дни, когда советские писатели обратили особо пристальное внимание на слог, язык; в дни, когда ведется усиленная борьба за чистый, ясный, выразительный слог и язык писателя, нам необходимо особенно хорошо почтить 80-летие Михаила Пришвина, необходимо написать и напечатать о его творчестве статьи, необходимо ходатайствовать перед правительством о награждении писателя орденом.

Извините, что побеспокоил Вас и напомнил Вам о том, что, наверное, Вам и без меня известно.

С товарищеским приветом

Всеволод Иванов.

10. I. 53

133. О. Д. ФОРШ

27 мая 1953, Москва

Дорогая Ольга Дмитриевна!

Поздравляю Вас с великолепным днем — днем Вашего Восьмидесятилетия. Это праздник для всех людей, которые любят искусство, вдохновение, правду, ум, смелость, молодость — все настоящие чудеса мира, а Вы и Ваше творчество — первейшее из чудес мира сего!

Я люблю Ваши книги. Они воспитывали меня и поныне продолжают воспитывать. Ваши книги облагораживают жизнь, выпрямляют душу и помыслы человека, показывают человеку прекрасное в этом мире, убеждают его в том, что выше этого прекрасного — выше службы человечеству — нет ничего и ничего быть не может!

С душевным волнением раскрываешь Ваши ранние книги: «Одеты камнем», «Сумасшедший корабль» — и наслаждаешься в них не только Вашим превосходным мастерством, но и теми волнами воспоминаний, которые идут ряд за рядом, поднимая в сердце картины прошлого, картины прежних замечательных лет, когда Вы писали и печатали Ваши книги и вся страна наша читала их. Ваш новый роман о декабристах дает нам

те же художественные и моральные наслаждения, как и ранние Ваши романы, а значит, сулит нам надежды, что в будущем, когда мы будем перечитывать роман Ваш, он воскресит перед нами картины изумительно красочной эпохи, в которой мы живем и ради которой мы творим. Ибо Вы не только исторический романист и драматург. Вы — мыслитель, мыслящий историческими картинами, а значит, Вы глубоко современны, и поэтому Ваше творчество запоминается рядом с творчеством эпохи социализма, великой эпохи, выковавшей и выковывающей советского человека, человека с необычайным размахом и необычайно чутким сердцем...

Я пишу Вам как автор, работающий на ниве литературы российской рядом с Вами, и вместе с тем как ученик Ваш.

Я пишу Вам как читатель, один из бесчисленных читателей Страны советской.

В дни Вашего чудесного Восьмидесятилетия желаю Вам долгих дней жизни, дней творчества и счастья.

И еще — как автор и как читатель — прошу Вас, дорогая Ольга Дмитриевна, напишите Книгу Воспоминаний! Вы прожили изумительно интересную жизнь, Вы видели замечательно интересных людей, и Вы так блистательно рассказываете о встречах с ними. Рассказами этими Вы радуете узкий круг друзей Ваших и Вашу семью — обрадуйте же весь народ советский и всех зарубежных почитателей Вашего таланта!

Целую Вас и благодарю глубочайше за книги Ваши, за Ваше сердце, за Вашу нежную и пылкую душу, за счастье знать Вас!

Всеволод Иванов.

27 мая 1953 года
Москва.

134. А. Н. ОБРАЗЦОВУ

[Ноябрь 1958, Переделкино]

Уважаемый Александр Николаевич!

Я с большим удовольствием прочел Вашу рукопись — рецензию на книжку «Памятные места Омска». К сожалению, рецензия эта наряду с объективными оценками книжки носит и чисто личный характер, переходя порою просто в воспоминания. От этого рецензия теряет

свою ценность и цельность — вряд ли в таком виде она может быть напечатана. Мне кажется, рукопись нужно доделать, удалив из нее все личное, с тем чтобы это личное перенести в книгу воспоминаний, над которой Вы, кажется, и работаете. Мне кажется, эта книга воспоминаний может быть удачной. Когда Вы ее окончите, не откажите в любезности прислать ее мне на прочтение.

Прочитав Вашу небольшую рукопись — автобиографию, я подумал: «Сколько способных, энергичных ученых людей живет у нас на периферии, и какую действительно упорную, я бы прямо сказал, героическую деятельность ведут они, и как было бы полезно нашему обществу, если б биографии этих самоотверженных тружеников науки печатали, с тем чтобы общество знакомилось с ними!»

Рукопись «К истории одной борьбы» я не знаю, к сожалению, кому в Москве направить: у меня нет соответствующих знакомых, а незнакомые обратят на мое письмо столько же внимания, сколько и на Ваше.

Книжка Палашенкова «Памятные места Омска» сообщает много данных, о которых я забыл, например, о днях Октября в Омске. Значение некоторых писателей, живших в Омске, автор, к сожалению, преувеличивает. Нельзя Ф. Березовскому уделять почти столько же места, сколько уделено Достоевскому. Работу, которую делал в свое время Березовский, можно охарактеризовать двумя-тремя фразами, и этого было бы вполне достаточно.

Но в общем книжка интересная и полезная, и, надо думать, год от году она будет улучшаться.

За посылку стихов П. Драверта я буду Вам признателен — я встречал его у А. Сорокина и, кажется, у Оленича-Гнененко, но встречал редко и помню его слабо. Стихи его тогда казались мне сухими. Кстати, о прошлом. Журнал «Багульник» редактировал не критик Чужак, а поэт В. Пруссак, поэт, на мой взгляд, талантливый; он умер от тифа, кажется, в Москве, не то в 1919, не то в 1920 году.

Пришлите, пожалуйста, хотя бы перечень главных работ Сорокина, которые будут на выставке, о которой Вы сообщаете. За сколько лет эти работы? Сколько листов? Может быть, зимой мне удастся приехать в Омск на два, на три дня, с тем чтобы ознакомиться

с трудами Сорокина. Ознакомление это мне нужно для литературного портрета Сорокина, который я хочу написать,— я ведь совсем забыл, что и как он писал, помню лишь что-то оригинальное, смелое, необычное,— особенно в условиях того времени.

Поздравляю Вас с сорокалетием Октября и желаю Вам счастья.

Не сохранилась ли среди бумаг Сорокина однодневная газета «Согры», которую я издал в Омске в 1918 году?

135. М. АУЭЗОВУ

6 января 1958 [*Переделкино*]

Дорогой друг Мухтар!

Спасибо тебе за новогоднее поздравление!

И мне, и семейству моему весьма приятно, что Ты и семейство Ваше вспоминаете иногда неких людей, заваленных сейчас в Переделкино снегом, скованных морозами (сегодня было 28 ниже нуля!), огорченных литературными неурядицами, восьмитомным Собранием Сочинений, с которым много возни, внуками, которые уже начинают говорить на городском жаргоне: «мирово! телик!» (т. е. телевизор) и так далее, и тому подобное.

А между тем, несмотря на мороз, а может быть, и благодаря ему,— на небе солнце, на деревьях великолепный упитанный иней, и на душе не так погано, как следовало бы ожидать.

На душе, я бы сказал даже, очень не плохо.

Мы любим тебя, Мухтар!

Любим в тебе — Казахстан, широкий, замысловатый, изящный весной и язвительный зимою. Мы любим вспоминать тебя и любим читать тебя. В твоих книгах есть мудрость — и наивность. А наивная мудрость — самая великая вещь на свете, самая несокрушимая и самая долговечная.

Обнимаю тебя!

Нежнейшие и дружелюбнейшие поздравления Валентине Николаевне.

И от меня и от Тамары Владимировны и от всего многочисленного семейства.

6 января 1958 года.

136. В. Г. НИКОНОВУ

18 июня 1958. Москва

Уважаемый Василий Григорьевич!

Не отвечал Вам долго, т. к. ездил за границу, на «Грузии» вокруг Европы. При встрече расскажу об этом весьма интересном и поучительном путешествии.

Теперь о встрече.

Я приеду,— если не отвлекут чрезвычайные происшествия,— между 20—30 июля. Думаю поездить по области, пособирать камни, людей повидать, себя показать. Кроме того, я (сдав сценарий «Часовой у Смольного», который будет сниматься в текущем и будущем году) работаю сейчас над новым сценарием о совр[еменной] Сибири; значит, надо собирать материал, Читинская область, мне кажется, весьма пригодна для этого.

Будете ли Вы в числа мной написанные в Чите?

И как вы себя чувствуете вообще?

Вчера, на дискуссии в Моск[овском] Доме литераторов о совр[еменной] прозе, я с похвалой отзывался о Вашей повести «Семья Крыловых». М[ожет] б[ыть], похвала эта проникнет в печать, и вы прочтете ее.

И еще вопрос чисто технический. Брать мне ружье, двустволку 16 калибра или не брать? М[ожет] б[ыть], у вас есть ружье? По совести говоря, ружье дело громоздкое, и не очень хочется с ним таскаться. А с другой стороны, в тайге и у сибирских рек с ружьем как-то уютнее. Если ружье не трудно добыть,— на время,— в Чите, я свое не возьму; тем более что в Иркутске предстоит пересадка с «Ту» на самолет обычный, летящий на Читу.

М[ожет] б[ыть], со мной приедет мой сын, художник. Но это еще не решено. Сейчас он улетает на север, за Петрозаводск, и опасаюсь, устанет от этой поездки и не поедет со мной.

Чувствую себя отлично, чего и Вам желаю.

Где Петряев? В Чите? Я получил от него книжку и письмо, но адрес — на письме — потерял и не смог ему ответить, т[ак] к[ак] адрес был не читинский.

Привет Вам и всем товарищам.

Вс. Иванов.

18 июня 1958
Москва.

137. В. Г. НИКОНОВУ

4 окт[ября] 1958, Переделкино

Дорогой Василий Григорьевич!

Рад, что Вам позволили печатать «Забайкалье». Когда первый №? Я с удовольствием пришлю приветствие; думаю, что и другие московские товарищи не откажутся это сделать. Кроме приветствия, хотелось бы вести у Вас в альманахе, по возможности в каждом номере, некие «Заметки писателя»: воспоминания о поездке, мнение о книгах сибиряков, ну, и московское кое-что. Это, во-первых, может вызвать подражание, и кто-нибудь подобную писательскую «Хронику» сделает лучше меня, а, во-вторых, усугубит внимание к альманаху. Но не знаю, выйдет ли что. Не то чтоб я стал ленив, воодушевление снижено.

К новому роману еще не приступал. Доделываю «Мы идем в Индию» и порчу, наверно. Всегда, когда хочешь перескочить через себя, прыгаешь в лужу.

Г. Федосеев прислал мне новую свою книгу «В тисках Джугдыра». Рекомендую Вам прочесть, во-первых, и, во-вторых, написать о ней. Это талантливо, своеобразно, хотя, временами, отдает густой газетчиной, особенно в истории с «перековавшимся» беспризорным. Читаешь, и завидно. Какие красивые места видел человек! Какие там, наверное, встречались камни (о которых он не сказал ни слова).

В окно влетела бабочка. Откуда? Уже было 5 гр[адусов] мороза, позавчера ночью.

Здоровье у меня сносное, но работается плохо: от неприятностей с Собранием Сочинений. Но «пройдет и это» как сказал Бен-Акиба. ⟨...⟩

Жду Вас к себе в ноябре.

Привет Гоше, супруге и детям.

Желаю Вам много денег, которые, как известно, дают бодрость и остроумие!

В. И.

4 окт. 1958
Переделкино.

138. В. Г. НИКОНОВУ

11 марта 1959, Переделкино

Дорогой Василий Григорьевич!

Послал сегодня приветствие Балданжабону.

Ваше письмо получено.

Отрывок?

Нет отрывка.

Пишу сценарий «Сибиряки», который хотя и не написан, но уже принят к постановке и уже назначен режиссер. Режиссер этот сидит у меня на шее, торопит, т[ак] к[ак] хочет в этом году снять картину. Однако опасаюсь, что, получив сценарий, оный режиссер раздумает... И так бывает.

Но поскольку сценария еще нет, то нет и отрывка.

Остальная моя работа — редакторская: над своим Собр[анием] Сочинений (вышло 4 тома) и над дипломами студентов Лит[ературного] Института.

Скоро увидимся?

Меня Вы напрасно читаете. Мои сочинения — не для чтения, а для печатания. Читать их надо было в двадцатых годах — иначе ничего не поймешь. А так как Вы их не могли тогда читать, то и не надо.

В семействе у нас все хорошо.

Привет Вам и Семейству!

Вс. Иванов.

11 марта 1959
Переделкино.

139. В. Г. НИКОНОВУ

13 декабря 1959, Бенерес

Дорогой Василий Григорьевич!

Жили в Дели. Были в Агре и Джайпуре, а сейчас живем в Бенересе на реке Ганг!

Вот куда мотануло!

Сегодня ходили по древнему городу и были на том месте, где родился Будда. Две тысячи лет — с гаком — тому назад на этом месте Ашоха, император Индии, построил храм, от которого до нас дошли развалины, среди

которых ходят туристы, паломники-буддисты, факиры с латуневыми трубами. Тепло. Многие босиком и все без шапок. Какой-то босой парень косил траву косой, похожей на саблю. Потом мы шли мимо «ступы», вокруг которой кружили паломники в темных одеждах. Дорожки посыпаны красным толченым кирпичом. Я подошел к дереву, родственнику или отпрыску того, под которым когда-то проповедовал Будда, и увидал ленточки, повешенные паломниками на ветки,— и вспомнил тайгу, березы, недалеко от «ступы», которую мы с Вами видели.

Впечатления большие, хотя путешествие не легкое; не вследствие каких-либо трудностей, их нет, все идет хорошо, а потому, что не хватает времени — ни выспаться, ни даже толком записать виденное. Вперед, вперед!

Горячий Вам поклон, равно как и всем читинским друзьям!

Всеволод Иванов.

13/XII—59
Калькутта *
Бенерес.

---

* Записавшись, написал Калькутта. Там еще не были.

140. В. Г. НИКОНОВУ

[*Февраль — март 1960, Москва*]

Дорогой Василий Григорьевич!

Спасибо Вам за теплое письмо.

Вы на юге, что ли? У нас, например, полная зима, снег, солнце выглядывает изредка, о весне нет и помину. Кроме, конечно, весеннего состояния душ.

Что касаемо Ваших сомнений относительно моей поездки,— они вызваны, конечно, моим прошлогодним малодушным поступком, когда я поверил докторам и стал печалиться по поводу своего давления. Оное давление из года в год не повторяется, и, надо еще добавить, в этом году я себя не переутомляю. Как будто и Вы тоже? То есть в смысле писания?

Настроение у меня хорошее. Жажда путешествовать большая. Вы совершенно правильно замечаете, что мне

хочется отхватить большой кусок путешествия еще до появления гнуса. Что же касается холода, то привезу из Москвы теплые вещи, а коньяк, наверное, и на месте найдется.

Душевно радует меня Ваша забота о камнях: геологи, карты и тому подобное. Чувствую, что Вы унаследуете от меня эту страсть и в Чит[инском] от[делении] писателей организуете небольшой Музей Краеведения.

Не удивляйтесь рисункам наверху. Это я сам напечатал с клише, возвращенных мне «Лит[ературой] и жизнью». Мы с Тамарой Владимировной, справляя свое 125-летие, вздумали напечатать приглашение на ужин типографским способом. ⟨...⟩

Гульбище свершилось 17-го, в день рождения Т[амары] В[ладимировны]. Но пили очень мало, так что если вздумаете приехать в Москву, кроме обычной порции можно выпить дополнительную — из остатков.

Гошу увижу с радостью.

На днях вышлю Вам экземпляр «Мы идем в Индию», акварели и гравюры. Акварели и гравюры окантуете и повесите на стену, а книжку, надеюсь, прочтете.

Простите кляксы.

Привет семейству!

Вс. Иванов.

141. В. Г. НИКОНОВУ

24 марта 1960, Переделкино

Уважаемый Василий Григорьевич!

Очень рад, что Вы веселы и сочиняете. Спешите. В мае Вам будет не до сочинений: холодная река, дождь, слякоть, ветер, нудные спутники, постоянно портящийся мотор лодки... страшно и приятно подумать!

У нас наконец весна, хотя морозы ночью до 10 ниже 0. Но днем великолепно: солнце, тает, серый снег, в комнате уже летают мухи и писать не хочется более чем когда-либо.

Приезжал Гоша. Глаза вытаращены. С изумлением едет в Крым. Послал я его в магазин «Турист» посмотреть лодку. Лодок нет. «Будут позже». Наверное, он струсил, решив, что поездка не состоится. А я почему-то уверен, что — наоборот. Собственно, это плохая при-

мета — верить. Но что поделаешь с Тартареном из Тараскона?

Антон Вам кланяется. У него сейчас каникулы, и он шумит сейчас на даче. Давид,— его отец,— лечится в Швеции, и как будто удачно. Кома заседает. Миша мучается, так как ему кажется, что гибнет наша живопись. Остальное семейство переводит, кто хорошо, кто плохо, кого печатают, кого нет.

Желаю Вам побольше написать, побольше понаблюдать, а все остальное придет само собой!

Смиренный Всеволод, схимонах Переделкинского погоста. 24 марта 1960.

Никак не могу собраться отправить Вам «Мы идем в Индию». Книга наконец вышла. И акварели. Но все-таки пошлю. Все приготовлено.

142. В. Г. НИКОНОВУ

18 апр[еля] 1960, Переделкино

Дорогой Василий Григорьевич!

Получил Ваше «авиа» и решил ответить пакетом из Союза писателей. Дай, думаю, испугаю мужика! Он подумает: заседание или что другое...

По поводу Ваших соображений о книжке «Путешествие по Онон-реке и далее». Мысль недурна, но мало осуществима,— если про меня говорить. Я очерки или рассказы писать не собираюсь и не скоро соберусь. У меня лежит отлично обдуманный роман, и мне его хочется написать. Кроме того, множество романов и прочего, что надо отредактировать. Не делаю я этого из-за отсутствия нервных сил: истощен. Но это когда-нибудь, рано или поздно, пройдет. Значит, я, как писатель, выпадаю. Я только собираю материал для романа. И еще — камни.

Кроме того, задуманная книжка потребует другой распланировки маршрута, чем сейчас. Сейчас маршрут такой: куда попадем; и еще хорошо, если там есть камни. А имея в мыслях книжку, надо останавливаться в типичных местах и искать типичных людей и обстоятельств. Это тоже не лишено прелести, но это уже другая прелесть, и у меня лично, например, нет даже для этого времени. Так как с нами не едет геолог и так как камней благодаря этому я найду мало,— мне нужно после

водной поездки,— на которую ассигную три недели,— поехать в сухопутную за камнями: тоже три недели. Затем — две недели на Бурятию; вот вам и конец!

Впрочем, как известно, бог располагает, а не человек.

Извините, если письмо Вам покажется эгоистичным и я, разговаривающий, кем-то вроде судовладельца. Просто, каждый дурак по-своему с ума сходит, а я в особенности.

Прочел новую книгу В. Шкловского о худ[ожественной] прозе. Там между прочим, описывая 1921 год в Петрограде, он описывает меня — с рыжей бородой. Я **никогда** бороды не носил. Но раз человек видит бороду, пусть. Хорошо, что хоть не написал — крашеная.

Погода у нас прелесть. Солнце. Тепло. Дождей нет и не было.

Почему Гоша написал Вам, что я приеду 22—25? Чего? Мая, очевидно. Тоже борода. Я сказал, что буду в Чите 15 мая. Но, впрочем, еще раз — на все бог.

Бог да бог, да сам не будь плох. Аминь.

Привет!
В.

18 апр. 1960
Передельцы.

143. В. Г. НИКОНОВУ

10 мая 1961, Переделкино

Дорогой Василий Григорьевич!

Извините, что задержал с ответом. Все ждал отсрочки поездки в Англию, которая намечена (и выполнены все формальности) на 15 июня. Но отсрочки вроде бы и не получается; все данные за то, что поедем. Возможно, конечно, что к дню поездки все изменится, и тогда будет ужасно грустно — ни туда, ни сюда. А мне очень бы хотелось месяц плыть по сибирской реке. Поэзии-то сколько! Впечатлений! Прошлый раз, что мы ездили на Витим? Три дня. А до сих пор ничего и нисколько не забыто.

В общем,— с тяжелым сердцем,— скажу: поезжайте без меня. Я, по-видимому, приеду к Вам в конце лета, из Англии... Между прочим, ведь намечалась поездка в Монголию, меня и Вас? Но подтверждений приглаше-

ния нет. Отложили, что ли, празднества? Итак, приеду, возьму котомку, пойду искать камешки.

Здоровье мое довольно сносное. Поездка в Японию была чрезвычайно интересной; жаль, что не пишу стихи, вы б вот небось написали целую книжку. Ну, конечно, было порой и утомительно, достаточно сказать, что я произнес,— по скромному подсчету,— 108 речей?! После этого я буду молчать десять лет... Но вдумайтесь, какой был маршрут: Москва — Дели — Бангкок — Филиппины — Токио! А обратно летели через Гонконг; порт и город очень красивы. Жарко было только в Дели и Бангкоке, а по всей Японии в апреле совсем сносно, вроде как у нас в Крыму; на северном острове Хоккайдо местами (в горах особенно) лежал снег. Но, разумеется, цвела «сакура», род декоративной (деревья) вишни, и было очень красиво. Японцы принимали нас гостеприимно; они большие знатоки классической нашей литературы (Достоевский, Чехов, Горький) и совсем не знают современной: руки не дошли. Но надо сказать, мы и классической ихней не знаем, не говоря уж о современной.

А жаль, что не поплывем вместе!

Привет семейству и друзьям!

Мои все здоровы и кланяются.

В.

10 мая 1961, Переделкино.

144. В. Г. НИКОНОВУ

25 сентября 1961 [*Москва*]

Здравствуйте, дорогой Василий Григорьевич!

Всему Вашему семейству: от бабушки до Леночки — привет от меня и моего семейства! Если б Вы знали, сколько раз поминали мы Вас, вкушая Ваши чудесные грузди.

Ну, что ж, собрались из поездок, курортов, пишем, пишем, всем домом. Я написал пять (да, да!) печ[атных] листов — «Хмель, или Навстречу осенним птицам»; не то очерк, не то рассказ, выдумка и правда перемешаны, иначе не могу,— о нашей поездке: Онон — Шерловая гора — Чара. На днях сдаю это в «Лит[ературную] газету» и «Новый мир». Ручаться не могу, что получилось. М[ожет] б[ыть], обругают так же, как и Вас за повесть, скажут — подражание В. Шишкову!

Между прочим, прежде чем отчаиваться, почему Вы не послали повесть мне? Я бы прочел с удовольствием. Ну, и уж, во всяком случае, не сказал бы, что подражание В. Шишкову. Привезите повесть с собой, когда полетите на пленум. Захватите камни (и тот, из музея, от Иванова).

В первых числах ноября улетаю в Индию, не надолго, на две недели. Так что к тому времени, когда будете в Москве, буду и я. Лечу один (с переводчиком) по командировке, без Тамары Владимировны, да она и не рвется. Она удивляется на меня, что я могу лететь в Индию четвертый раз. 〈...〉

«Хмель», т[о] е[сть] то, что о поездке, даю в «Новый мир». Но, конечно, ручаться, что возьмут — нельзя.

Вышла из печати книга стихов М. Цветаевой и книга Б. Пастернака. М[ожет] б[ыть], к вашему приезду добуду для вас экземпляры, но пока нет.

С огромным удовольствием вспоминаю нашу поездку. Так — все хорошо, но чувствую — на Адун-Чолоне жили мало: хоть бы еще три дня. Никогда не надо спешить.

Привет Гоше!
Речкину!
Шелесту!
Лаврову!
Обнимаю Вас!

В. И.

25/IX—61

145. В. Г. НИКОНОВУ

26 янв. 1962
Москва

26 янв[аря] 1962, Москва

Дорогой Василий Григорьевич!

Очень рад, что Вы и Ваши (не считая гриппа) здоровы: когда Вы исчезли с моих глаз, я подумал — «не захворал ли? А главное, не захворали ли родные?» Что же касается выпивки — это не страшно и случается с многими. Жаль только, что Вы не побывали ни на московских выставках, ни в театре (например, у Охлопкова идет превосходный спектакль «Медея»,— и приятно

смотреть, и поучительно: в смысле истории современных нравов).

Отдохнули мы в Крыму превосходно, и не только отдохнули, но и поправили здоровье: у меня было повышенное кровяное давление, которое теперь стало нормальным. Санаторий «Н.-Ореанда», пожалуй, лучший из наших советских: море — рядом, горы — тоже рядом, парк — великолепный, есть и морские ванны, и закрытый бассейн для плавания. А главное — тишина. Она, бесспорно, лечебная. Такая тишина есть только в тайге.

О весне, лете — ничего не знаю. Предоставим это Судьбе. Сейчас же располагаю писать. К осени собираюсь к Вам, а если почему-либо не удастся (Вы будете заняты или что-либо в этом роде), поеду в Якутию или на р[еку] Илимпею, о которой узнал кое-что новое: подробности и возможности путешествия.

Желаю Вам хорошо поработать. Вы знаете, я не люблю учить, считая это довольно бесполезным занятием, но не для учебы, а для справки — говорю Вам, что Ваши годы — лучшие годы для писателя, об этом не нужно забывать и нужно работать. Потом будете кусать локти, но будет поздно.

Привет Вашему семейству, Гоше!

Мои все здоровы.

Вс. Иванов.

146. В. Г. НИКОНОВУ

16 мая 1962 [*Переделкино*]

Дорогой Василий Григорьевич!

Получил Ваше письмо — от жарких печей, плавящих металл, и от вас, пытающего переплавить свое дарование на провинциальное... хм... скажем, бытописание. Во времена РАППа это называлось «социальный заказ», а сейчас называется по-другому,— иногда кое-что выходит, и дай бог чтоб и у Вас вышло. Вообще-то мне кажется, Вам следует писать мужицкое — романы — пьесы — рассказы — стихи, что хочется,— т[о] е[сть] ближе к земле, к исконному крестьянскому быту, к запаху навоза и пота.

Я, прочтя Вашу повесть и одобрив ее и послав с соответствующим письмом в «Наш современник» (ко-

торое, письмо, т[о] с[сть] копию — я вам тоже послал), написал Вам поздравительное письмо, которое Вы, наверное, теперь получили. Думаю, что обратный адрес на конверте «от иеромонаха Всеволода» не способствовал задержке Вашего письма в канцелярии читинского отделения? ⟨...⟩

Мы здоровы. Тамара Владимировна выбирает чемоданы: какой взять с собой в Японию. Я пишу. Идет, вроде, и славно. У нас в Переделкине шестой день дожди, а не расслабляют. Зелень великолепна. Дышится легко.

К. Паустовскому, о болезни которого я писал в прошлом письме,— лучше, он даже написал В. Каверину что-то.

Сдал в «Молодую гвардию» книгу сибирских рассказов, в том числе «Хмель» (который, кстати сказать, переводится на четыре языка — английский, немецкий, польский, испанский. Ну, и братья чехи, поди, переведут) 16 печ[атных] листов.

У меня сегодня была в гостях внучка Оленушка,— дочь моей дочери, которая живет от меня отдельно,— очаровательное белокурое существо, существо, похожее на вашу Леночку; ей два с половиной годика.

Внучка моя Оленушка сегодня у меня в кабинете рисовала вместе с Петей и часто меняла карандаши, а их много стояло в стакане перед ней.

Меняя карандаши, она говорила:

— Возьму **свежий** карандашик!

Обжигающий язык у детей. А у детских писателей, увы!..

Привет семейству!

Вс. Иванов.

16 мая 1962.

147. В. Г. НИКОНОВУ

11 июля 1962 [*Переделкино*]

Дорогой Василий Григорьевич!

Дня три тому назад послал предложение в «Литературную газету» о командировке. Думаю, не откажут, а откажут — найду деньги в другом месте. В общем тороплюсь — оканчиваю свою работу,— чтобы выехать после 20 июля. Работа идет сносно. ⟨...⟩

«Хмель»,— надеюсь, к нашему взаимному удоволь-

ствию,— имеет успех, меня очень удивляющий и радующий, ибо это успех всех нас, говоря высокопарно. Я уже писал Вам, что в Москве он печатается на четырех языках. Сегодня получил из Парижа письмо от известной писательницы Натали Саротт: «Хмель» выйдет книгой в изд[ательстве] «Галимар» и там же «Мы идем в Индию», т[о] е[сть] двумя отдельными книгами. А статью в «Лит[ературной] газете» читали? Вы там превращены в литературный персонаж, и выйдет, что я поеду в гости к героям своей книги. Прямо — Вершигора или кто-то в этом роде! Но, право, это приятно. Кстати, уж если о своих книгах — а о чем ином мы, несчастные литераторы, можем писать? — сообщу Вам, что получил перевод «Цветных ветров», довольно замысловато написанной повести из цикла «Партизанские повести»,— на чешском языке,— очень милое, приятное издание т[ак] н[азываемой] «Всемирной библиотеки».

По-видимому, я вряд ли еще успею написать Вам: сборы, окончание работы, пришлю уж телеграмму о выезде — поеду я, полагаю, на поезде: мне прошлая поездка из Читы в Москву очень понравилась, чудесный отдых. Наверно, так хорошо не будет,— два раза на то же место даже комар не садится — но все же поезд, чай, пейзажи. А как хорош Байкал и дорога вокруг него! И как будет волнительно и приятно подъезжать к Чите!

О дне выезда и прочем пришлю телеграмму, разумеется.

Мне жалко Гошу: он, наверное, со стыда умрет, увидев меня,— был в Москве и не зашел. Или, пожалуй, выживет?

Э. Казакевича перевезли домой: положение его безнадежное. К. Г. Паустовский поправился, звонил мне даже по телефону, уехал долечиваться в санаторий «Барвиха» и хотел, по возвращении, видеться, но это будет, должно быть, уже по возвращении из Вост[очной] Сибири.

Погодка так себе: много дождей, все растет сильно, а тепла, чтоб по-настоящему погреться, вроде бы и нет, не получается.

Если Вам что нужно привезти — напишите, время есть. А я вот хожу три дня и никак не могу вспомнить — куда я девал шведские удочки, купил за границей хороший запас, сунул их куда-то и никак не вспомню: куда!

За сим,— мой Вам привет, привет Вашему семейству, Гоше, Речкину-Ручкину-Печкину, в которого я абсолютно не верю — и всем, кто сколько-нибудь мной интересуется!

Вс. Иванов.

11 июля 1962.

148. В. Г. НИКОНОВУ

9 сентября 1962 [*Кунцево*]

Дорогой Василий Григорьевич!

Уже неделю лежу в больнице. Кровотечение кончилось давно, болей нет (больна, как выяснилось, левая почка), но когда выпишусь, еще неизвестно, и как будут лечить — тоже. Одно несомненно: болезнь давняя и поездка в Читинские края тут ни при чем. Пишу это потому, что Вы, наверное, терзаетесь, что способствовали моим скитаниям и тем самым — якобы — моей болезни. Наоборот, я-то очень доволен, что съездил.

Меня часто навещают родные и друзья, я читаю, много гуляю — больница за городом, в большом и молодом лесу, много света: даже и в больничных палатах. Это ведь тоже своеобразное «путешествие»: порой докучное, порой интересное, а порой и томительное.

Вышел и получен мною № 10 «Советской литературы на иностранных языках» — на каждом языке отдельный №-р — на испанском, польском, английском и немецком,— где напечатан «Хмель». Там напечатан мой портрет (на берегу Байкала!) и карта, схематически, нашего путешествия. Постараюсь достать Вам №№ и прислать (мне прислали четыре — каждый на своем языке, и жалко еще расставать[ся] с комплектом): читать не будете, но мысленно пробежать хотя бы [по] карте наше путешествие и собирание камушков, куда как приятно! Камушки, кстати сказать, на этот раз я привез дивные.

Привет Вашему семейству, Гоше (очень жалею, что не могу лежать в больнице на медвежьей шкуре) — Шпундику: он же Г. И. Шелест, великолепному Ручкину, который так и не покатал нас на своем катере!

Вс. Иванов.

9/X 1962. Больница.

149. В. Г. КИКОНОВУ

28 марта 1963, Москва

Вчера трудился весь день — сценарий «Бронепоезда» и рецензии на дипломы студентов Лит[ературного] института. Сегодня утро свободно,— поеду заседать в институт в 3 часа дня,— поэтому имею возможность написать письма.

Подготовка к постановке «Бронепоезда» идет вовсю. По-видимому, лето будет использовано для натурных съемок в Сибири. Я предлагаю Байкал и Адун-Чолон; кинематографщики, по-видимому, более склонны к Владивостоку и побережью океана. Ну, то и другое интересно. Я даже,— собрав последние стариковские силенки,— собираюсь с ними сам поехать.

А пока,— 19 апреля, на 24 дня,— уезжаю под Ялту в санаторий «Нижняя Ореанда». Там очень хорошо: превосходные прогулки, море рядом, да и горки есть; да и комнаты не плохие. Хочется отдохнуть: хотя от операции прошел срок большой, пять месяцев, все же хочется полежать и почувствовать себя больным,— тем более что предстоит большая поездка в Сибирь: «Бронепоезд».

Кстати сказать, «Бронепоезд», пьеса, усиленно репетируется во МХАТе и выйдет к Октябрю.

Работать? Работаю, вместе с режиссером фильма, над вариантом «Бронепоезда». Хотя темка и старенькая, но приятно погружаться — как говорится — «в другую специфику», представлять вещь движущейся. Это не роман, не пьеса,— это что-то совсем другое, и по-своему очень интересное.

Получил от Гоши хорошее письмо. И опять потянуло в родные читинские места.

Привет друзьям и всему Вашему семейству!

Неужели Саша все еще не получил пятерки? Антон, увы, тоже нет. И нет надежд. Сейчас каникулы, и он дует непрестанно, по снегу, на велосипеде. Лыжи он считает пошлостью.

Вс.

28/III — 63
Москва.

150. ТОВАРИЩУ З.

[*без даты*]

Уважаемый товарищ З.!

Я внимательно прочел Ваш роман «Между Москвой и Ленинградом».

В Вашем письме ко мне вы сетуете, что «нет Горького». Об этом мы все сетуем много лет. Но в данном случае Вы говорите эти слова напрасно. Уверен, что и М. Горький не одобрил бы Вашего романа, так как роман слаб.

Есть люди, которые любят, скажем, лес и умеют его растить. А есть люди, которые любят степь и умеют взращивать на ней полезные злаки. Есть люди, которые любят литературу и помогают ей расширяться. Но имеются люди, которые хотя и любят и первое, и второе, и третье, но полезными в области лесоводства, полеводства и литературы быть не могут, так как у них на это нет способностей, а есть способности на что-то иное, быть может, и для них самих неясное. Мне кажется, Вы принадлежите к этому виду людей, т. е. Вы любите литературу, многое видели и испытали в жизни, но не обладаетс способностью писать. Это Вам нужно сказать прямо, чтобы Вы не обольщались и не обижались на людей, которые Вам говорят, что роман Ваш к печати не годен. Он действительно не годен, и его не исправят никакие редактора, никакие советы, никакие писатели. Вы просто-напросто не обладаете даром слова, и тут не нужно огорчаться, так как ничего не поделаешь. Мне, например, очень хотелось бы стать музыкантом,— я очень люблю музыку,— но у меня нет слуха, нет дара к музыке, и я не могу обижаться, если мне это прямо говорят.

Простите меня за мои слова, которые могут показаться резкими, но мне хотелось помочь Вам, сказав правду.

151. М. В. МИНОКИНУ

29 ноября 1960 [*Москва*]

Роман «У», как значится в подзаголовке, написан в 1932—1933 гг. Отрывки из него печатались. Рукопись дана мною в редакцию журнала «Красная новь», где,

кстати сказать, я был членом редколлегии. Рукопись отвергли. Больше я ее никуда не давал. Мне стало скучно, и я не закончил романа.

Сейчас, после перепечатки с оригинала, я романа не перечитывал.

Первая глава — пародия на наукообразные горы «примечаний» и «предисловий», с которыми тогда выпускали книги. К «Пикквикскому клубу», например, был приложен изд[ательст]вом «Академия» целый **том**, отдельный, примечаний и разъяснений.

Вс. Иванов.

29 ноября 1960.

152. М. В. МИНОКИНУ

19 января 1961, Переделкино

Дорогой Михаил Васильевич!

На меня нападает иногда страшная усталость, и я могу месяц-два-три ничего не делать,— не испытывая при этом никаких неприятных ощущений.

Так и тут.

Я просто лежал, читал книги, иногда писал две-три строчки, придумал две повести, которые, наверное, никогда не напишу, и так прошло два, а может быть, и три месяца.

Работу Вашу прочел, даже написал черновик письма в издательство «Искусство», рекомендующее ее к изданию (или в качестве предисловия к сборнику моих пьес, которые я прошу издать), но все еще не переписал этого письма набело. — Но близок час, когда я его перепишу и пошлю! М. б., даже послезавтра (завтра поеду в Москву).

В мнении о своих пьесах я придерживаюсь мнения почтенного своего наставника М. Горького, который считал себя плохим драматургом. Он не всегда был прав: он был новатором в области драматургии, что уже само по себе ценно — как борьба с пошлостью.

Я могу тоже считать себя новатором — и Вы это правильно уловили, указывая на две линии моих работ (тематически) — крестьянскую («Бронепоезд») и рабочую («Блокада»). 〈...〉

Последняя глава Вашей работы меня не удовлетворила. Много натяжек и сравнений с драматургами, которые лишь явление газетной шумихи. Если работа будет принята к печати, эту главу надо доделать. Надо также подробнее рассказать о художественных достоинствах драматурга: чем он отличен от других? И насколько? А то ведь если не отличен, то грош ему цена, пусть он даже и поставил «Бронепоезд» в Худ[ожественном] театре. И поменьше цитат. Например, много Станиславского. Ведь это пишет Горчаков, а что думал действительно старик — мы не знаем: во всяком случае, насколько мне известно, он думал не совсем в лоб, как пишет Горчаков. Следует также подчеркнуть заслугу режиссера И. Судакова и критика А. Воронского: по его мысли (Воронского) возникла инсценировка повести.

Спасибо за «Проспект Ильича» и за горячность письма. 〈...〉 И, конечно, роман можно и сейчас напечатать,— но вот руки не доходят подредактировать его. Да я и не совсем уверен, что его сейчас напечатают.

Физически чувствую себя хорошо; душевно — так себе, ни шатко ни валко.

Через месяц собираюсь на две недели во Францию, а в марте — в Японию.

Привет Вам!

Вс. Иванов.

19.I.1961
Переделкино.

153. А. ВЫСОЦКОМУ («СИБИРСКИЕ ОГНИ»)

15—9—1958

15 сентября 1958, Москва

Уважаемый товарищ!

Извините, что отвечаю поздно.

У меня нет романа о 30-х годах. По-видимому, Ваш сотрудник не понял меня: и действительно я выражаюсь не всегда ясно. Разговор, если не ошибаюсь, шел о последней части «Похождений факира». Я предполагал написать Екатеринбург войны 1914 г. Но я отложил этот замысел,— попросту говоря не хватает сил: годы. Да, если б и не отложил, Вашему журналу этот роман вряд ли был бы интересен.

Сейчас у меня нет ничего. Новый роман о современной Сибири еще не вышел на большую дорогу, т. е. пока ограничиваюсь набросками.

Статья, о которой Вы пишете, напечатана в «Лит[ературе] и жизни». Материалу о сибиряках-писателях много, но руки все не доберутся. Кажется, я жалуюсь во второй раз? Ай, как нехорошо! Да, дождливая осень, обалдение от читки чужих рукописей и 64-й год жизни дает себя знать.

Но все же о «Сибирских огнях» помню и при первой же возможности постараюсь подбросить туда дров, чтоб они получше горели.

Привет всем товарищам!

154. В ГАЗЕТУ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

2 дек[абря] 1958 [Переделкино]

Я уверен, что предстоящий Первый съезд писателей Российской Федерации будет большим культурным событием в истории нашего отечества времен первой Семилетки.

Мы стоим у порога Семилетки, и естественно, что все творческие люди нашей страны взволнованно обсуждают задачи великой Семилетки и то, как она будет осуществлена.

Писателям Семилетки, подобно тем писателям, которые активно работали в годы первых пятилеток, предстоит сделать многое и, быть может, более сложное. Достаточно вспомнить романы и пьесы первых пятилеток, чтобы понять разницу между теми временами и временем, в котором мы живем сейчас. То были, преимущественно, рассказы о том, как люди из полуграмотной деревни приходили к первым начаткам знания и как партия из не очень-то тоже грамотных рабочих создавала советскую интеллигенцию: учителей, инженеров, руководителей строек, ученых. Теперь у нас своя огромная интеллигенция, очень грамотный рабочий класс и крестьянство, которым вполне по плечу гигантские задачи первой Семилетки, задачи, которые в дни первых пятилеток могли бы звучать совершенно фантастически.

В годы первых пятилеток создатели художественной литературы жили, преимущественно, в столице. Тогда

в моде были «бригады»: несколько писателей, объединившись, уезжали, как говорится, «за материалом» в края, области и республики. Ныне, мне кажется, книги о людях Семилетки хлынут из областей и республик в столицу. Писатели в областях есть, писатели хорошие, а в течение Семилетки, при хорошо налаженном литературном хозяйстве, количество областных и республиканских писателей должно увеличиться в несколько раз. Этому увеличению количества областных и республиканских писателей и должен способствовать наш Первый съезд.

И увеличению не только количественному, но и главным образом качественному.

Книг мы сейчас выпускаем не мало.

Не мало выпускаем и слабых книг.

Я не говорю, чтобы все книги должны быть написаны очень хорошо, это уж закон искусства, что наряду с отличными произведениями встречаются и слабые, а иногда и совсем плохие. Нужно только, чтоб этих слабых и плохих произведений было день ото дню меньше, а не наоборот. Поэтому надо у писателей, особенно у молодых, развивать вкус и любовь к красоте и отвращение и ненависть к безобразию, подражательности, конъюнктурности. Надо добиться также, чтоб не только писатели писали о работах молодых авторов, но и критики перестали быть академическими, отвлеченными. Мне кажется, например, что пора бы издавать двухнедельник, типа «Огонька», который был бы посвящен задачам современной литературы, и в частности областной литературы, которая требует очень большого внимания.

И если на нашем Первом съезде мы правильно решим наши задачи,— в частности, те, о которых я говорил выше,— следующий Съезд мы можем провести в каком-нибудь областном центре нашей Федерации, в центре, который сделает многое за годы Семилетки, выдвинув новых талантливых писателей, создав новые высокохудожественные произведения, которые прочтет не только читатель Советского Союза, но и прогрессивный читатель мира, напряженно и любовно наблюдающий за нашей работой, за нашим строгим и нежным отношением к родной русской советской литературе.

2 дек. 1958.

155. В ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

14 июля 1959 [*Переделкино*]

Уважаемые товарищи!

Рекомендую для издания роман молодого писателя Ник. Кузьмина — «Первый горизонт».

Писатель этот живет в Казахстане, работал на Алтае, жил там и хорошо знает быт и нравы алтайских рабочих, жизни которых в наши времена посвящен роман «Первый горизонт». Превосходно обрисованы образы Плетнева, Красницкого, Алексея, Христины... за ними следишь с неослабным интересом.

Хорош диалог романа, не перегруженный областными речениями, но и не забывающий о живой русской речи.

Композиционно роман построен отлично.

Есть, разумеется, и недостатки. Мне кажется мало убедительным рассказ о прошлом, которым начинается роман: слишком рассказ этот смахивает на газетный очерк, носит какой-то, я бы сказал, юбилейный характер. Затем — сектанты. В описаниях и рассказах о них отдает подражанием Леонову. Леонов — превосходный писатель, и в подражании, в учении у него нет никакого порока, но, мне думается, Н. Кузьмин может и писать довольно самостоятельно, как я помню по его прежним произведениям. Но — это частности, к тому же легко исправимые.

В общем же роман «Первый горизонт» следовало бы издать. Роман этот,— в довольно скудной еще литературе о русском рабочем классе нашего времени,— займет свое место, во-первых; найдет своего читателя, во-вторых; и, наконец,— что тоже очень важно,— ободрит молодого писателя и толкнет его к дальнейшим работам на неисчерпаемую тему советского строительства.

Повторяю, молодого писателя Н. Кузьмина следовало бы поддержать в его работах и поддержать не субсидиями и не хорошими словами на заседаниях (что тоже не так-то уж плохо), а поддержать самым важным — изданием романа, над которым он много, усиленно — и с большими надеждами — работал.

Очень прошу не разбивать этих надежд.

Со своей стороны,— в случае принятия романа,— рад буду, если понадобится, помочь автору при издании романа более конкретными советами, товарищеской редактурой (не вмешиваясь в редактуру издательства) и вообще всем, чем можно помочь в том, чтобы выпустить эту книгу в свет.

С товарищеским приветом

(Всеволод Иванов)

14 июля 1959 г.

156. БЮРО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ЗАВОДЕ ЗИЛ

17 октября 1959 [*Переделкино*]

Уважаемые товарищи!

Спасибо вам за письмо и приглашение.

Плохое здоровье не позволяет мне, к сожалению, осуществить в данное время встречу с Вами.

Позвольте пожелать Вам счастья в труде за станком,— и в труде за письменным столом над чтением художественных произведений, и в работе над созданием рассказов, стихов, пьес, романов. То и другое счастье — славны, прекрасны и, как всякое настоящее счастье, трудно достижимы. Однако достижимы! Тому пример — вся наша огромная, многонациональная советская литература, когда-то,— еще на моей памяти,— совсем небольшая, а сейчас — не охватишь и взглядом. Буквально ведь невозможно прочесть **все** книги, выходящие в Советском Союзе!

И еще одно пожелание.

Напишите книгу о ЗИЛе.

Роман, книгу рассказов, очерков.

Все, что хочется.

Вы несете большую и почетную вахту.

Расскажите о ней!

Пора.

А уж мы найдем, чем поблагодарить Вас.

Привет!

17 октября 1959 г.

157. Т. В. ИВАНОВОЙ

[1 июня 1929, Ярославль]

Здравствуй, дорогая Тамара,— прости, что не пишу так подробно, как ты: не умею, а также не могу посоветовать тебе не пить воды из Москвы-реки!

Брожу по фабрике: видал много любопытного, по части быта, того, чего не придумаешь,—«жирок на вещь», так сказать: не совсем нужное, но для дураков и критиков убедительное.

Во вторник поеду утром в Ростов Великий, это в 60 верстах от Ярославля, а в среду в Юрьевец, а оттуда в Москву.

Письмо твое получил: идут письма ровно один день. Чувствительно благодарю — и тебя и почту.

Посмотри на карту: поезда из Костромы есть и идут они через станцию Нерехта, через Ярославль, на Москву. Шляпа!..

Иван Петрович ласковый, но чрезвычайно утомительный старичок, но так как я сбираю «жир», то я отношусь к нему как субъекту из книги — и примиряюсь.

Целую тебя крепко.

Всеволод.

158. Т. В. ИВАНОВОЙ

[3 апреля 1930, Ашхабад]

Милая Тамарушка,

целую и кланяюсь тебе.

Дела наши идут хорошо, оживленно, видим мы много, но утомляемся сильно от разных выступлений.

5-го мы уезжаем в «провинцию» — сначала в Мерв, затем в Чарджуй и оттуда в Керки. Затем я и Леонов поедем домой, а остальные или на Турксиб или еще останутся в Туркмении. ⟨...⟩

Видим мы много, но описать все это в письме совершенно невозможно, потому что все в голове спуталось и смешалось. Прямо и не знаю, как все это рассортировать! Публика здесь скучающая, и путешествие наше похоже на то, как говорил знаменитый персонаж, что «и почтмейстер хороший человек!» — вчера, например, в доме Кр. Армии нас встретили и провожали под Интернационал и говорились такие пышные речи, что и

не рассказать и не описать невозможно. А на представлении «Бронепоезда» меня так качали, что порвали штаны, и затем пришлось мне уйти в костюмерскую, где костюмерша дрожащими от волнения руками зашивала штаны любимого автора.

От тебя я еще не получал ни одного письма, кроме двух телеграмм, и посему не знаю, что у вас делается и что происходит.

Еще раз целую тебя и Комочку.

Всеволод.

159. Т. В. ИВАНОВОЙ

[*5 апреля 1930, Ашхабад*]

Милая Тамарушка, сегодня получил твой ответ на последнюю телеграмму мою, в оном ответе ты просишь, чтобы я телеграфировал тебе ежедневно. Дело в том, что нас так мотает из стороны в сторону, что спим мы не более шести часов в сутки и к почте не всегда удается подойти. Буду посылать как смогу.

Сегодня уезжаем в Мерв, а оттуда в Кушку. Я предполагаю, что мы промотаемся здесь еще недели три, не больше, а затем возвратимся в Москву.

Почта работает здесь столь отвратительно, что еще до сегодня я не получил от тебя ни одного письма, а уже со дня отъезда из Москвы прошло две недели.

Представление о крае мы получим полное. Мы видали и крестьянство, и К[расную] Армию, и местный пролетариат — и все прочее. Отношение к нам местных работников замечательное и предупредительное елико возможно, но из-за этой предупредительности совершенно нельзя работать. ⟨...⟩

Целую крепко — тебя, Комочку и всех.

Всеволод.

Напишу из Мерва.

160. Т. В. ИВАНОВОЙ

22 июня 1935, Париж

Привет!

В предыдущих письмах, которых я, к сожалению, не писал, т. к. было очень жарко и не находилось подходя-

щего конверта, следовало б сказать, что Вена очень хороший город, что Чехословакия, Австрия и Швейцария красивые страны, ибо все это мы проехали днем, но надеюсь рассказать об этом лично.

Париж такой же, только люди другие, не столь разительные от наших, впрочем, как это мы с тобой видели года два назад. Сильная жара. Однако гуляю очень много, вчера, например, ходил пешком часов 6.

Конгресс очень интересный, но мешает мне то, что языка нету, и как я предчувствовал — не хватает переводчиков, которых захватил Киршон. Народу конгресс посещает много, несмотря на жару. Закончится он числа 26, а 2 или 3 я уже, наверное, выеду в Москву.

Духота мешает мне писать. Кроме того, я должен сегодня говорить, следовательно, волнуюсь, несмотря на то, что за меня будут читать.

Целую детей. Коме и Мише скажи, что игрушки, маленькие, заводные, им уже куплены, очень хорошие.

Целую, Тамара!

Всеволод.

22/VI—35

161. Т. В. ИВАНОВОЙ, В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ

5 сент[*ября*] *1941* [*Переделкино*]

Дорогая Тамара! И дорогие детишки!

Шлю вам пылкий привет из очаровательного Переделкина.

Только что пообедали. Татьяна едет в город, пытаясь не уехать в В/республику, так как ей (Татьяне, а не республике) хочется остаться в Москве. Она уже получила путевку до Казани и хочет оную путевку сдать. По-моему, напрасно. Ехать так ехать. Но я плохой воспитатель и поэтому предоставляю событиям идти своим чередом. 〈...〉

Пишу я теперь только в «Известия», так как на радио не хватает сил.

Кроме того, я сильно измучился с пьесой. Пьесу я написал, передал в Комитет по делам искусств, в Малый театр и в Театр Красной Армии. Выходит, что погнался не за двумя зайцами, а чуть ли не за пятью. Во всяком случае, ни тот, ни другой из оных зайцев ответа

мне не дали. Дала ответ только «Красная новь», где вышеозначенная пьеса и будет тиснута,— в каком номере еще не знаю.

Кроме того, в из-ве «Советский писатель» выходит книжка моих статей. Деньги, вам пересланные, и есть гонорар за те статьи. ⟨...⟩ Книжка, в ней оказалось почти три листа, выйдет на днях,— как только выйдет, я вам пошлю немедленно ее.

В Переделкине все по-прежнему. Цветут усиленно цветы, было много ягод, и одичалые огурцы не сдались, как на них ни наседали дикие травы,— принесли плоды, и мы засолили чугун и глиняный большой горшок собственным солением, которое оказалось среднего качества, но тем не менее мы его едим. В общем иногда, особенно вечером, когда я остаюсь один, я читаю «Робинзона Крузо» и нахожу между ним и собой много сходства, разве что не веду дневника и не читаю Библии. Но кошка у меня есть, собака есть и малообитаемый остров — Переделкино тоже есть. Правда тут живут еще Пастернак, Федин и прочие, но Федин, и Пастернак, и Леонов собираются, по всей видимости, ехать на зимовку в Чистополь, к вам.

Что касается меня, то я в Чистополь приехать скоро не смогу, а что же касается вызова тебя, то, по-моему, тебе надо обжиться в Чистополе, а затем и приехать, к октябрю так. Потому что тут неизвестно, как в доме будет с топливом, а сидеть тебе одной на даче, когда я буду ездить каждый день в город,— скучно. Да и по детям будешь скучать. В общем чеховский вопль — «В Москву, в Москву», советую отложить.

Война есть война. Я могу тоже очутиться на войне,— что тебе Москва без меня и ребят? Уж лучше поскучай. А если мне удастся приехать даже и зимой в Чистополь, то это ничего,— мороза я не боюсь, дорога меня санная не испугает, и вообще все в порядке!

Ко мне приехала Дуня. Так что насчет обедов и чая не беспокойся. А кроме того, я и сам готовить умею,— а вчера даже,— попробовав написать статью и из-за головной боли не написав ее,— мыл посуду, и, по признанию эксперта Тани, довольно успешно. Надеюсь, что смогу готовить,— к вашему приезду,— и суп и сладкое!

Ребят прошу написать, как идет их обучение и чем

оно отличается от московского. Читают ли они книги?

Думаю послать с литфондовским агентом им кое-какие книги и бумагу.

Целую крепко!

Всеволод.

5 сент. 41 г. ⟨...⟩

162. В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ

16 ноября 1942, Москва

Дорогие юноши! Только что был у Героя Сов[етского] Союза Н. Бочарова. Этот юноша был комвзвода и стоял в почетном карауле от 14 дивизии им. Пархоменко, когда я посетил ее во Львове. А сейчас он — заместитель командующего армией по политчасти.

Чего и Вам желаю!

Живем по-прежнему в гостинице. Исправляю роман, печатая на плохой машинке, и жалею, что не взял свою, равно как и валенки, ибо предстоят холода. Целуем!

Отец!

$\frac{XI}{16}$ 42 г. Москва.

163. В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ, Т. В. ИВАНОВОЙ

18 ноября 1942 [*Москва*]

Уважаемые товарищи!

Только что получили от Вас бессмертную телеграмму следующего содержания: «Питаемся превосходно. Ждем молоко со шоколадом тупила нет кило изюма десять брусков смыла деньги тесть». Все ясно и понятно и мы все одобряем, только просим сообщить фамилию и имя тестя.

Сейчас у нас сидят племянницы Маруси: Тоня и Паня. Паня принесла бумагу для меня, я на ней и пишу это письмо, так что не будь Маруси, вообще, может быть, и не получилось бы этого письма. Горюем о том, что не достали пропуска для Дуни, мамка хлопотала дней десять, но милиция отказала. Теперь на будущей неделе я поеду туда сам, вернее, поеду до Мордвесса, а оттуда пойду пешком. Надо думать, метели не заметут вашего глубокоуважаемого отца и охотника за пушниной.

Кстати, о бобрах. Бобра с моего романа «Проспект Ильича» никак не удается убить. Я его переделываю, снимаю излишек розовой воды, который,— если приглядеться московским оком,— в нем имеется. Но черпак, которым я снимаю розовую накипь, действует смело, но не очень продуктивно. Впрочем, как говорит митрополит Сергий, все от бога, и, надо полагать, я одолею препятствия творчества.

Болен дядя Коля. У него, по словам врача, грипп. Так как он истощен и вдобавок, занимаясь донорством, отдал много крови, то болезнь свою он переносит тяжело. Температура невысокая: 38,7. При этой температуре Мишка читает книжки — но, старикам нашего с дядей Колей возраста, такую температурку переносить значительно труднее, я, например, просто-напросто, чтобы не заниматься делами в жару, начинаю бредить. То же самое с дядей Колей. Сегодня мама пойдет к нему вечером, посидеть.

Сегодня в городских кино идет «Три мушкетера» американский фильм, говорят очень хороший. Мы еще не смотрели его, пойдем смотреть на днях. Тогда напишем впечатления. Вы, наверное, увидите его месяца два спустя после Москвы.

В Москве плотный снег. Вчера был морозец, а сегодня оттеплило. Появилось солнце. В гостинице тепло, впрочем, и в мороз в ней тепло, и вообще тепло.

Ну, вот и все, что я мог сообщить своему потомству.

Изредка приходит А. Крученых. Увы, я так беден, что он не предлагает книг, и я не спрашиваю.

Привет, привет— от племянниц Маруси, от мамки, от Гусевых, от Ливановых, от всей снежной Москвы!!!...

Всеволод Иванов.

18/XI—42

164. В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ, Т. В. ИВАНОВОЙ

27/XI—42 г.

27 ноября 1942, Москва

Дорогие дети!

Получили от вас сегодня телеграмму — о состоянии вашем денежном, которое выражается в 2500 рублях. Ну, что ж, скоро, надеемся, мы кое-что прибавим.

В последние два дня у меня было две встречи с партизанами. Позавчера я видел двух партизан-разведчиков пар[тизанских] отрядов. Один — юноша 18 лет, другой — девушка лет 22-х, бывшая учительница. Мне о них надобно написать в книгу «В тылу врага», которую выпустит изд-во «Молодая гвардия». То, что они мне рассказали, поразительно интересно, но, к сожалению, только о себе, так как по молодости они еще лишены наблюдательности и поэтому могут рассказать только о себе, но и рассказы эти, повторяю, очень интересны. Рассказы застенографированы, и то, что не войдет в мой рассказ,— останется. Вчера же пришел П. Л. Жаткин, похудевший, без зубов (выпали от цинги). Он в августе только вернулся из партизанского отряда. Рассказ его представлял соединение трех элементов: а) правды о себе, б) правды о партизанах, в) обычной писательской трепотни, приправленной обычной же ложью. Если добавить ко всему этому еще рассказы И. Андроникова о партизанах, да то, что завтра придет муж Шишмаревой, который тоже был у партизан,— то окажется, что мне можно уже начинать жизнь сначала, ибо, когда я написал «Бронепоезд» и «Партизаны», я столько рассказов не слышал.

Зубы у Жаткина все — целы. [Приписка Т. В. Ивановой.]

Ну, живем мы пока в гостинице. Я говорю потому «пока», что есть все данные, нас из нее выгонят. И не потому, что мы неблагонравны, а потому, что такова железная метла истории — больше месяца в гостинице жить нельзя!

Выпал сильный снег. Крыши, дороги — все белое. Даже небо такое, словно и на него выпал снег. Но настоящих холодов еще нет,— и я хожу в шляпе. Впрочем, и в холодах я буду ходить в шляпе, ибо мало надежды, что попаду в Мартемьяново, где лежит и хранится моя шапка мономаха, равно как и мало надежды, что шапка появится сама. Впрочем, мало ли чего бывает. Вдруг починят нашу машину и она повезет мамку в Мартемьяново?

В свободные минуты привожу свои книги в порядок. Самое удивительное не то, что разокрали полные собрания сочинений, а то, что из оставшихся всех полных взято по одной книге. Зачем? Почему? Нашел еще один

каталог марок, так что их теперь уже пять. Мишка, можешь радоваться!

Целую Вас в сахарные уста.

Остаюсь

В. И.

Привет Всем, а в особенности проф[ессору] Шемякину, Бриньзе и Каримову — дворнику. Без него мне жить трудно, все о нем думаю.

В. И.

Никто не выгонит.

Поживем до тех пор, что захотим уехать.

Т. И.

165. В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ

10 декабря 1942, Москва

Дорогой Кома!

Получили твое письмо. Очень признательны.

Был сегодня И. Минц. Он рассказывал разные вещи, которые я не имею времени описать, но достаточно сказать, что вещи все хорошие и благоприятные. Если будет время и человек, с которым можно будет послать письмо о всяких наших семейных и прочих делах, я напишу и пошлю. Завтра уезжает Познанская, но, к сожалению, она едет через Свердловск и пробудет в дороге неизвестно сколько, поэтому мы с ней письма не посылаем, а шлем почтой.

Живем мы по-прежнему, в гостинице. Тепло. Светло. Читаю и пишу. Приступил к биографии Героя Советского Союза П. Сгибнева, о котором, кажется, уже писал вам. Это юноша 22 лет с бесчисленными заслугами и орденами, наш ас.

Кроме того, думаю,— по сегодняшнему предложению И. Минца,— написать для «Истории гражд[анской] войны», которая думает выпускать «Энциклопедию героев», еще биографию Героя для первого тома Биографий.

Приехала О. Д. Форш. Она была у нас сегодня утром, веселая и бодрая. Она живет на квартире у ак[адемика] Комарова, куда завтра мы пойдем. О. Д. будет нам читать свою пьесу о «Рождении Руси» — о том, как Вл[адимир] и Ольга выгнали варягов и крестили Русь. Чтение пьесы опишу в особом письме.

Мамка ездила в Переделкино и получила насморк. Ходит по комнате и чихает и сморкается.

Вот, кажется, и все наши происшествия.

Целую! *В. Иванов.*

Поклон: Тане, Марусе, Зин[аиде] Вл[адимировне], бабушке, проф. Шемякину (м. проч. я пошлю его сыну Ф. М. две брошюры Хлебникова относительно чисел), Каримову, Шестопалу и Бриньзе. Всего доброго!

В. И.

10/XII—42 г.

Миша!

Открытки твои, несмотря на их неясность выражения, имеют большой успех в той среде, где мы вращаемся. Минц сегодня даже сказал, что тебя не надо очень расхваливать, а то можно испортить. Но я думаю, что кашу, политую хлопковым маслом, уже ничем не испортишь. Для тебя, неизвестно откуда, обнаружились в моем кабинете листов 10—20 ватмановской бумаги. Думаю, остатки тетки. То-то порадуемся. Есть еще там же обрезки холста, уже загрунтованного,— при усилии,— если картины будут размером в ладонь,— можно нарисовать картин штук 15! Тоже хлеб! Сегодня в книжном магазине нашел было каталог марок 924 года на фр[анцузском] языке, но какой-то негодяй купил его за час до моего прихода. Все же каталогов у нас много.

Целую. *В. И.*

Кома!

Пришли мне номера томов энциклопедии «Гранат», имеющиеся у тебя. Здесь есть возможность докупить остальные.

Цифры пиши словами, а не цифрами.

Папа.

166. В. В. ИВАНОВУ

21 декабря 1942 г. Москва

21 декабря 1942, Москва

Кома!

Прилагаемое при этом письмо Пиксанову отпустишь тогда, когда получишь,— на адрес тетки,— том «Литературного наследства»,— по почте.

Книги мои по почте надо послать: философию, беллетристику. Словарь «Граната». Если представится возможность, хорошо бы послать и словарь «Просвещения», но его можно оставить для Зин[аиды] Вл[адимировны], выдрав карты, на худой конец. Мне, например, нужна карта Греции и походов А. Македонского. Несколько книг по технике, океанографию тоже можно оставить у Зин[аиды] Вл[адимировны]. С собой, в поезд, прошу взять (или в багаж) — Стивенсона, Честертона, «Тысячу одну ночь», О. Генри — то, что я боюсь потерять. Обязательно захватите рукописи мои, Хлебникова и чистую бумагу — особенно эстонскую в синих обложках, которой мне не хватает. Здесь бумага есть, но дрянная.

Таковы мои бытовые распоряжения.

О политике мамка передаст. В общем, англичане трубят,— по радио,— о нашем наступлении в районе Ср[еднего] Дона. Ты, наверное, уже слышал, что в районе Сталинграда мы отрезали 21 дивизию немцев, что-то около 200 тыс. войск. Немцы окружены, но сдаваться не желают. Говорят, нем[ецкое] командование издало приказ, что будут расстреляны родные сдавшегося до десятого колена. Удар в районе Ср[еднего] Дона грозит немцам вторым, более серьезным окружением,— как ты, наверное, заметил по карте. К тому моменту, когда ты будешь читать это письмо,— ты уже, вероятно, будешь знать результаты боев в районе Ср[еднего] Дона.

Минц думает, что союзники высадятся на Балканах или в Италии.

Эренбург — думает, что американцы, по примеру Дарлана, хотят купить круги и лиц оппозиционных Гитлеру и, так сказать, взорвать немцев изнутри.

Но все это догадки, а толком ничего не известно. А. Н. Толстой говорит, что все наступления наши пока еще куски какого-то большого плана, который скоро разовьется.

Из отрадных сведений — американцы доканчивают «ледяную трассу», ж. д. путь по Аляске до Берингова пролива. Мы, со своей стороны, ведем дорогу тоже к Берингову проливу. Через пролив грузы будут перевозиться или на судах, или по льду. Кроме того, ж. д. ведется по берегу Каспийского моря — на Гурьев, через Красноводск,— для соединения с Трансперсидской. Таким образом, нам удастся сделать два хороших потока грузов. Дай-то бог!

Вот и все наиболее интересное. Конечно, я кое-что пропустил, но мама, понемногу, вспомнит. Надеюсь, к вашему приезду кое-что еще подкоплю.

Целую.
Папа.

167. Т. В. Ивановой, В. В. Иванову, М. В. Иванову

[*декабрь 1942, Москва*]

Дорогая Тамара и дети!

Сегодня с помощью Николая Владимировича и Д[уни] покинул наконец гостиницу «Москва», в которой прожил ровно два месяца. Меня попросили уехать. Я не особенно сопротивлялся.

Вас интересует, наверное, самое главное, холодно ли у нас на квартире. У меня в кабинете, где заклеены окна и навешаны шторы,— почти совсем тепло. То есть я сижу приблизительно так же, как и сидел бы прежде. Правда, на мне валенки (Бобкины), которые мне одолжил дядя Коля, но, в крайнем случае, я мог бы обойтись и без валенок. Отопительных приборов я не употребляю, а на дворе мороз градусов 10. В общем, полагаю, что жить можно.

В. Гусевы переехали в «Метрополь». Так как мне лень звонить и лень выходить, то я о них не знаю ничего. Я поступил в «Гудок», сегодня подписал соответствующее соглашение. По приходу корреспондента «Гудка», который сможет мне сообщить о вашем быте, вы, наверное, уже вывели то же заключение, которое приведено в предыдущей фразе.

Сейчас пишу статью для новогоднего номера «Известий», затем буду писать о Сгибневе и так далее.

По сравнению с гостиницей у нас удивительно тихо. Так что даже странно. Там непрерывно орало радио, ходили какие-то люди по коридору и тоже орали, а здесь совершенно неправдоподобная тишина, как в горах.

11 часов ночи. Дуня сварила картошку, я поел и ложусь спать. Завтра воскресенье, но я буду работать.

Целую крепко. Буду теперь писать ежедневно.

Письма будем номеровать,— это первое.

Всеволод.

168. Т. В. ИВАНОВОЙ. В. В. ИВАНОВУ. М. В. ИВАНОВУ

[31 декабря 1942, Москва]

Дорогая Тамара и дети!

Вечер. Канун Нового года. В обширной и прохладной квартире сижу один. Однако не подумайте, что так уж холодно. Я сижу в халате и туфлях войлочных, и этого вполне достаточно. Один потому, что и Юговы и Дуня ушли в кино. Часов в 8 или 9 уйду, наверное, и я: звали к себе Корнейчук и В. Василевская, которые недавно приехали. Вообще-то я собирался провести вечер один и с этой целью даже купил сегодня на базаре редьку. Хотел выпить в одиночестве рюмку водки, закусить редькой и лечь спать. Чего лучше. Может быть, так и получится еще.

Сегодня написал и сдал уже статью для «Учительской газеты» об учителе Балабае. Если статья не запоздает к номеру, возможно, она будет напечатана завтра. Вообще продуктивность моя растет, за восемь дней я написал три статьи — одну для «Известий», другую для «Гудка» и третью для «Учительской».

Вот и все мои новости.

Так как я наслаждаюсь тишиной и возможностью думать и читать хорошие книжки, то я мало кого вижу. Впрочем, не будем о сем обстоятельстве горевать — еще нагляжусь на людей. Грустно только, что нет радио и я лишен возможности слушать сводки, но так как с завтрашнего дня будут приходить газеты, то все будет нормально.

Между делом привел в полный порядок свою библиотеку. Все влезло,— лишними книгами загородил окно, чтобы не дуло,— осталось только три пачки поэзии, которые, пользуясь тем, что мне делать нечего, и буду вмещать на одну из полок.

Сегодня приходила знаменитая Панька. Принесла Дуне баночку меду, а мне бумаги.

Дуня выстирала чехлы, вымыла полы, в переулке попрежнему удивительнейшая тишина, и мир мне кажется совершенно нереальным. Я перебираю десять костяшек, оставшихся от моих длинных четок, и едва ли мне не кажется, что это все и прошлое и будущее.

Сегодня наконец в «Сов[етском] писателе» сказали, что получили багаж Зазовского — тот самый, где лежал

посланный Таней сахар. Послезавтра или в понедельник, то есть через три дня, они его привезут со станции, где получу эту посылку. Мне-то она ведь не нужна, пускай лежит до вашего прибытия.

С Гусевыми говорил по телефону. Они жалуются, что в «Метрополе» холодно, и сбираются переехать на Лаврушинский.

Привет и поцелуи.
Всеволод.

Ухожу к Корнейчуку. Сейчас около девяти вечера,— значит, в Ташкенте уже полночь. Надеюсь, вы за мое здоровье выпили? ⟨...⟩

Позвонил Ник[олаю] Вл[адимировичу], чтобы поздравить его, загодя, с Новым годом. А он, бедняга, даже и водки не достал. Я пообещал завтра угостить его — пригласил к себе. Вчера Дуня в распределителе достала пол-литра.

Еще раз целую.
Всеволод.

169. В. В. ИВАНОВУ

3 января 1943 [*Москва*]

Дорогой Кома! Как твои дела? Что читаешь? Я много пишу, много читаю: сейчас все об Ал[ександре] Македонском. Мужчина был серьезный, и агитация у него была так поставлена, что люди спустя 2275 лет с лишним все еще думают, что его ни разу не побеждали. Но роман будет написан вовсе не об этом. А о чем — прочтешь. Думаю, к твоему приезду уже будет начало романа.

Целую.
Папа.

3/I 1943

170. В. В. ИВАНОВУ

6/I 1943

6 января 1943 [*Москва*]

Дорогой Кома! Тебе, как будущему историку, будет любопытно взглянуть на эту открытку. Я ее купил в Самарканде 15 лет тому назад. Как видишь, она напеча-

тана в типографии «Прогресс», но как не прогрессивен теперь арабский шрифт на открытке, а того более «намаз» в таком огромном масштабе. Вчера О[льга] Форш показывала мне книгу о Комарове, оказывается, его именем названо 30 растений и 5 насекомых, на что я сказал:

— Видите, у него даже есть свои насекомые, а у меня нету.

— К 70 годам и у вас будут,— сказала О[льга] Д[митриевна].

Целую.
Папа.

171. Т. В. ИВАНОВОЙ, В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ

6/I—43

6 января 1943 [*Москва*]

Дорогая Тамара и дети!

Приветствую Вас из своего строгого уединения.

Правда, я прервал его. Вчера вечером был у Ольги Дмитриевны (она все еще возится с пьесой, которая, как ты и предчувствовала, находится в неопределенном положении). 〈...〉

Затем побывал у Бажанов. Там появился Чагин — с черным котенком, на которого я смотрел с ужасом. Так оно и случилось. Котенок вдруг влез ко мне на колени и начал мурлыкать. Я увидел в этом нечто гофмановское. Некоторое время спустя появился Каверин, многозначительный, как герой Лермонтова. Разговор сразу принял литературный характер. Вспомнили «Серапионов», Чагин стал рассказывать об Есенине и Маяковском. Затем появился Петро Панч и стал жаловаться на то, как он был перегружен работой во Львове и какой я — молодец, что не «барахолил», как прочие, а собирал марки. Вскоре я ушел спать.

На улице мороз, солнце и ветер. В квартире — тепло, не холоднее, чем в гостинице, несмотря на то, что труба отопления в кухне сегодня почему-то холодная. Дуня ходит мне за обедами. Сейчас к ней пришла Тоня с ребятками. Вчера я дал интервью о своей работе для английской газеты, сегодня сам иду брать интервью у одного железнодорожника, о котором прочтешь позже.

Привет. Целую.
Всеволод.

172. *Т. В. ИВАНОВОЙ, В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ*

10 янв[*аря*] *1943* [*Москва*]

Дорогая Тамара и дети!

Вчера наконец через Нину Петровну узнал о вашем житье-бытье. Привыкнув, несколько, к мысли, что Мишка болен, я, естественно, был очень огорчен, что заболел Комуся, который и без того достаточно принял болезней. Но бог даст все кончится благополучно, и, надеюсь, вы скоро поправитесь и приедете.

Гусевы, а вчера и позавчера и я, звонили к Романченко. Попасть к нему невозможно. Я попробую завтра пойти к Войтинской и позвонить по ее аппарату. Может быть, что и выйдет.

Теперь с деньгами. У меня на текущем счету 7800. Есть получений,— в лучшем случае,— около 3000. Это все, что я имею.

Надежды на деньги? Их очень мало. В «Новом мире» роман отказались печатать, мотивируя тем, что роман «надуманный». Что же они думали, когда три месяца назад писали мне, что роман хороший? Спрашивается, зачем я его переделывал? Все это, конечно, «вопль в пустыне»— и тебе, Тамара, советую не очень распространять этот вопль. Отдельное издание? Не знаю. Редактора Военмориздата прочли роман и высказались за печатание. Решение, однако же, выносит гл[авный] редактор, которому мнение редакторов будет доложено — значит, все дело в том, найдет ли этот редактор возможность печатать у себя роман с тематикой не совсем морской. Дело вкуса и, наконец, дело его смелости. Во всяком случае, у меня надежд мало. «Комс[омольская] правда» мямлит и, видимо, не сегодня-завтра скажет мне «спасибо за доставленное удовольствие».

А я недавно, через Совинформбюро, как дурак, дал интервью в английские газеты о своем романе, да еще напечатал в «Учительской газете» изложение, которое ты видела. Пишу тридцать лет, напечатал миллионы своих книг,— и все глуп как пробка!

Ну, извини, что посетовал,— что поделаешь — есть склонность!..

Сетовать сетую, но писать я пишу. Написал еще статью в «Гудок».

Завтра перевожу все, что получу в сберкассе, послезавтра — остальные, а там — по мере получения.

Не огорчайся и не огорчай других. Я говорю о романе. Я бы не стал тебе писать, если б у тебя, в связи с печатанием романа (как и у меня), не возникли иллюзии. М[ожет] б[ыть], его в Ташкенте все-таки напечатают?

Все остальное,— кроме судьбы романа,— вполне благополучно.

Целую.
Всеволод.

10 янв.
1943.

173. В. В. ИВАНОВУ

14 января 1943 [*Москва*]

Дорогой Кома!

Сегодня приобрел пять томов «Граната», все в хорошем состоянии. Так что моя библиотека пополняется значительно. В списке авторов значится «приват-доцент Б. И. Сыромятников». Это не тот ли седенький и злой старикашка, который все время орет на бабушку? Если он, передай ему мои соболезнования.

Чувствую себя хорошо — физически. Окреп. Поздоровел. Помолодел. Ежедневно принимаю горячие ванны с мылом (мыло кусок — двести рублей уже), ем на завтрак бифштекс, пью какао и, взяв свою собаку, иду гулять. Но иногда выезжаю, для разнообразия, на лихаче. Впрочем, иногда, для разнообразия, обедаю и завтракаю в ресторане. Так что моя материальная жизнь бьет ключом. Ну, и духовная, конечно. Роман мой печатается сразу в семнадцати журналах и ста семидесяти газетах,— не считая иностранных, конечно. Он выходит в сорока двух изданиях, одно из них на веленевой бумаге с рисунками Густава Доре, отредактировано Оноре де Бальзаком и Г. Флобером. Консультировали Лев Толстой и Ал. С. Пушкин!

Чего и тебе желаю!

Целую — твой классик-отец.

14/I 1943

174. Т. В. ИВАНОВОЙ

17 января 1943, Москва

Дорогая Тамара!

У нас все идет заведенным мною порядком. Телефон звонит по-прежнему от меня. Я сижу дома, всунув ноги в мешок из волчьего меха,— подобно герою Джек Лондона,— и пишу статьи, поругивая редакторов журналов и издательств. Дуня ходит за жалкими обедами в Союз, по воскресеньям бывает роскошная еда с базара, а равно и выданная по карточкам. Вечером я читаю книги об Ал. Македонском и «Оправдание добра» Вл. Соловьева, которое, как выясняется, не есть оправдание добра вообще, а оправдание христианского добра, причем он вычеркнул даже буддизм и Платона, с чем я не согласен, и что, наверное, ужасно важно сейчас. Ко мне не ходит никто, как ни странно, но тому причиной — отсутствие телефона. Раза два забегала Н. П. Гусева, встревоженная тем, что я не иду к Романченко за пропусками. Но я не иду и потому, что больна Войтинская (она появится в редакции 18, и я тогда пойду туда со статьей), и потому, что ребятам, конечно, надо поправляться не меньше месяца, да к тому же в течение этого месяца мне надо достать деньги на переезд. Откуда? Если роман не принят? Мне думается, что недели через две у меня наберется книжка статей «О Героях» — листов 5—6. Это кое-что даст, да и сами статьи тоже.

Ждем Татьяну. Чем ознаменовать ее приезд, не знаю. М[ожет] б[ыть], исправят телефон? Телефонным звонком к нам? Из соседней квартиры, скажем, от Федина. 〈...〉

Событий в жизни писателя как будто не много? Но для оного субъекта, всегда ставящего под сомнение объективную ценность своего ремесла, вполне достаточно.

Целую.

Всеволод.

17/I 1943
Москва.

Газеты получаем.

Получили Вашу телеграмму, сообщающую, что вы имеете первое мое письмо. Их будут сотни!

Всеволод.

175. М. В. ИВАНОВУ

23 января 1943 [*Москва*]

Дорогой Миша!

Здесь все прилично. Идет снег. Действует водопровод, уборная, газ, и даже телефон действует ко мне, но люди, запуганные его бездействием, не звонят. Я сижу большей частью дома, в халате, и читаю книги общеобразовательного характера, чтобы в каком-нибудь словаре, которых впоследствии будет много, написали: «систематического образования не получил, но много читал и тем пополнил недостатки» или что-нибудь в этом роде.

Вчера было 30°. Сегодня меньше, но не немного,— градуса на три. Впрочем, жду потепления, так как идет снег. Зима вообще снежная, в прежнее бы время мы б на лыжи — и с горы, в Переделкине! Но — не суждено.

Вот и все мои соображения жизни, которые я мог запечатлеть.

Миша Левин работает усиленно на заводе и стал заметно важнее, его даже возят на автомобиле и дают согревательного в гораздо большем количестве, чем мне в Союзе писателей.

Целую.

В. Иванов.

23/I 1943

176. Т. В. ИВАНОВОЙ

2 июня 1943, Переделкино

Е. В. П-ву
Т. В. Ивановой
От пребендария
Всеволода.

Дорогая Тамара!

Здесь произошла крупная неприятность. Не знаю, как про нее и написать.

Дело в том, что грачи не дают мне покою. Они сожрали весь горох, выплывший на поверхность, и теперь требуют еще, добавки. Я человек вежливый, понимаю, что такое голод, но гороха у меня нет, а грачи невероятно ругаются, обзывают меня всевозможными именами, и вообще происходит черт знает что.

Помидоры принялись и уже выше человеческого роста. Горох на грядке, посаженный Николаем Владимировичем, догнал их и требует хозяина. Я боюсь, что это не горох, а хмель. Надо бы выяснить и пригласить ботаника. Пусть Комка там прочтет соответствующую литературу, пока у него есть время.

Остальные посадки в земле. Думаю, что к осени выяснится, что это за происшествие.

Спасибо за газеты. Я всецело согласен с рецензиями относительно «Нашествия», потому что нашествие Леонова на театр, слава богу, не немецкое нашествие и ничем нам не грозит, опричь плохих рецензий, которые завтра забудутся всеми, кроме благодарного автора,— я знаю по собственному опыту, ибо до сих пор помню Авербаха, что на единственную рецензию по поводу моей пьесы «Компромисс Наиб-хана» написал — «такие компромиссы нам не нужны».

Работа моя над повестью идет очень успешно. Я уже написал четыре строчки в начале и две в конце. Осталась середина — дело пустяковое.

Курица уже варится. Мишка внес ценное предложение — откопать спаржу и вкатить в суп. Я сказал, что если мы туда добавим дубовых листьев,— они, наверное, по вкусу похожи на лавровые, так как те и другие идут на венки победителей,— то будет совсем хорошо. Если в результате этого супа ты, подходя к дверям нашей комнаты, услышишь вонь, то знай, что не от наших протухших трупов, а от курицы, до которой мы не осмелились дотронуться.

Полы не мыты и мыть их не будем! Хватит того, что мы умываем лицо по утрам. Пол не лицо, подождет.

Мне очень понравилась речь Уоллеса. Там обо мне сказано,— насчет меньшинства, поскольку я меньшинство в нашем доме. Раз меня не защищает Союз писателей, я жду помощи от Уоллеса, или как там его правильно зовут, не знаю.

Кроме грачей меня никто не посещает. Тетка перерыла весь участок, насадила картофеля и уехала.

Я вас всех приветствую и остаюсь.

Ваш покорнейший слуга

Всеволод.

2/VI—43
Стан в Переделкино
у Сейфуллихи.

177. Т. В. ИВАНОВОЙ

25 марта 1945 [*действующий фронт*]

Дорогая Тамара!

Лев Исаевич Славин расскажет тебе подробно о моем житье-бытье. От себя скажу, что я только что освоился с обстановкой и начал глядеть на все удивительное, окружающее меня не столь широко раскрытыми глазами. Это обстоятельство мешало и писать. Сейчас ум мой отрезвел, и я надеюсь, что больше увидишь в печати моих наблюдений и выводов. Кстати, попрошу позвонить в «Гудок» и сказать, что я удален от железной дороги и на нее попаду недели через две и тогда только смогу написать им ⟨...⟩

В Москву, если разрешат обстоятельства, думаю приехать машиной, заехав, кстати, в Минск и Оршу с тем, чтобы написать о Заслонове.

Вот и все, что могу сказать. Остальное надо описывать при встрече.

Вчера был на приеме у маршала. Беседа продолжалась $1^1/_2$ часа.

Крепко целую тебя и детей. Славин передаст тебе,— если не заберут на границе,— продовольственную посылку. Кушайте и вспоминайте! Скоро увидимся.

Всеволод.

25 марта
1945 г.

178. Т. В. ИВАНОВОЙ

18/IV—45

18 апреля 1945 [*Цилепциг, фронт*]

Дорогая Тамара и дети!

Дела идут хорошо.

Я живу на берегу Одера, в квартире одного командарма, чудеснейшего человека, из тех людей, мягкость которых мог описывать только Чехов. Извиняюсь за литературное сравнение, другого, за недостатком времени, подобрать не могу, т. к. встретил Трегуба, приехал к нему в г. Цилепциг, чтоб повидаться и через него отправить это письмо, а затем вернуться на Одер.

Если я предполагал вернуться домой после взятия Берлина, то можно считать — до возвращения остались

считанные дни: повторяю, дела идут хорошо. Но, конечно, я еще тут поживу, так как мой кошель наблюдений еще не полон.

Сегодня встретил друга детства — наборщика, с которым когда-то работал в Кургане в 1916 году. Вошел седой, морщинистый старик — на два года старше меня. Я посмотрел в лицо времени. И трогательно,— он принес мне в подарок пачку карандашей⟨...⟩.

Вот и все краткие сведения, которые я мог наскрести. Добавлю еще, что здесь весна — цветут вишни, много тюльпанов и прочего. Одер шириной с Москва-реку возле Крымского моста; я катался по нему на лодке, а сейчас часто сижу на берегу и слушаю, как глухо, вдалеке, говорит тяжелая артиллерия.

Все остальное — в сводках и салютах.

Баканов, полк[овник] из «Известий» прислал телеграмму с просьбой — написать статью для первомайского номера. Наверное, напишу, если не оторвут от работы события, как говорится, мирового масштаба.

Пожалуйста, не беспокойся обо мне — все в порядке.

Целую тебя и детей.

Всеволод.

179. Т. В. ИВАНОВОЙ, В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ. Т. В. ИВАНОВОЙ

24/IV—45

24 апреля 1945 [*действующая армия, фронт*]

Дорогая Тамара и дети!

Сегодня написал статью для «Известий», ее везет летчик, в числе прочего материала, и я пользуюсь случаем написать несколько слов.

Как видите, дело приближается к счастливому для нас концу. Надеюсь, скоро увидимся.

В Берлине я еще не был. Поеду завтра. Все время я находился в армии, которая брала Франкфурт. Ну, видал я, конечно, много и вот только что написал статью в 14 страниц, а изложил, может быть, сотую часть того, что видел, да и то едва ли. Все это материал для книги, романа, пьесы, и я не знаю для чего еще⟨...⟩.

Из Берлина я вернусь завтра — надо писать статью. Напечатание статьи примите как мой поклон из этого

города, который, говорят, сильно изменился с того времени, когда мы с тобой в нем были. Вряд ли я найду гостиницу, где мы жили.

Привет знакомым. Хотел послать Кончаловскому коробку сигар, но нет оказии: офицера, который везет это письмо и статью, я не увижу.

Целую.

Всеволод.

180. Т. В. ИВАНОВОЙ, В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ, Т. В. ИВАНОВОЙ

Берлин, 9/V—45

9 мая 1945, Берлин

Дорогая Тамара и дети!

Итак, война окончилась. В Берлине — только салюты да экскурсии: машины едут к рейхстагу и по другим достопримечательностям.

Я просил режиссера Райзмана, с которым мы вместе были при подписании фельдмаршалом Кейтелем акта о капитуляции, позвонить тебе. Не знаю, исполнил ли он мою просьбу. Я по-прежнему чувствую себя хорошо и думаю скоро выехать. 〈...〉

Поеду вместе со Славиным. К сожалению, не на той машине, о которой я вам писал. Ту машину, во время боев, 1 мая раздавил танк. Раньше я не писал вам об этом, чтоб не волновать вас, а теперь это дело прошлое. Теперь вместо «ханемака» я получил «оппель»— машина исправная, мотор новый, но кузов имеет следы пуль, и прострелены стекла, которые, конечно, заменим.

Очень жалею, что не смог написать в газету описание акта подписания немцами капитуляции. До этого я не спал ночь: мы ездили в американскую армию, за Эльбу, к Гамбургу и сделали 600 километров. Ночь капитуляции я тоже не спал — поэтому не было сил на другой день. Написал Л. Кудреватых и Л. Славин,— впрочем, Славин описал только приезд союзных делегатов на аэродром — этого я не видал, так как приехал позже, в здание, где происходило подписание акта. Зрелище было удивительное и вот уж, верно, незабываемое. После акта был банкет, но я так устал, что не остался и уехал домой спать.

Я здоров и бодр по-прежнему.

Это письмо передаст или перешлет по почте кор[респондент] «Красной звезды» Трояновский.

Целую крепко, поздравляю с победой и началом мирного строительства. Передай мой привет друзьям и знакомым.

Берлин разрушен, и узнать ничего нельзя. Но зоологический сад цел, и целы обезьяны, среди которых, как шутят здесь, и спрятался Геббельс.

Всеволод.

181. Т. В. ИВАНОВОЙ, В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ, Т. В. ИВАНОВОЙ

23 мая 1945, Берлин

Дорогая Тамара и дети!

Как я писал в телеграмме Ильичеву, я собирался выехать 24-го. Но теперь, по-видимому, выеду на дня два-три позже: точный день выезда сообщу дополнительно. Была большая волокита с машиной Славина — он получил машину, но машина у него слабенькая, и мы опасались, что она не дойдет до Москвы. Пришлось обменивать на другую, а раз другая — надо и другой паспорт. Та же беда и у меня. Вы, наверное, не получили моего письма, посланного с Трояновским, где я сообщал, что мой роскошный «ханемак» раздавило 1 мая танком. Мне тотчас же на КП, возле которого раздавило машину, выдали «оппель»— машина хорошая, но маленькая. Вскоре я поехал в одну армию. Там, увидав скромные размеры моей машины (я поехал на чужой, славинской), подарили мне хорошую. Но у меня не было шофера, он находился в Штраусберге, я сказал, что приеду за машиной. Генерал, подаривший мне машину, захотел быть любезным до конца: он послал подаренную машину вслед за мной, на другой день после моего отъезда. Неопытный шофер, снятый с грузовой, ночью наскочил на дерево, разбил машину и разбился сам. После этого я поехал в армию ген[ерала] Цветаева. Там мне подарили «супер-оппель-6». Машина очень хорошая, хотя прошла и много: 50 000 км, но, надо думать, сделает еще столько же. Таким образом, на моем счету две разбитых машины и две целых, которые стоят в саду под окнами дачи, на которой я живу. В Москву я предполагаю ехать на «супере-6»,

а маленького «оппеля» отдам Л. Кудреватых, который тоже уезжает в Москву.

Но ввиду большого количества уезжающих пропуска за границу тыла выдаются с трудом, но мы надеемся их получить, а если не удастся — придется, к сожалению, плюнуть на хорошие машины и ехать на самолете с этой грудой багажа, который накопился здесь, у меня. В общем, завтра все выяснится, и думаю, двадцать пятого узнаешь о дне моего выезда.

Погода здесь прохладная и дождливая. В Берлине открылись кабаре и пивные; кормят немцы недурно.

Я был очень огорчен вестью о смерти К. Тренева. Смерть ходит по нашему дому как по кладбищу.

Целую Вас.

Всеволод.

23/V—45. Берлин,
предместье Копеник.

182. Т. В. ИВАНОВОЙ, В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ, Т. В. ИВАНОВОЙ

Ночь на 24/X—45
Нюренберг.

24 октября 1945, Нюрнберг

Дорогая Тамара и дети!

Во-первых, извините, что посылаю письмо без конверта: Германия такая страна, что конвертов в ней не обнаружено, а из дома взять конверт я не догадался.

Во-вторых, ехали мы долго, т. е. летели,— а ехавшие из Берлина товарищи на автомобилях, вроде Леонова или Кукрыниксов, еще не доехали; мы же, на третий день, благополучно снизились в Нюренберге.

Сегодня первый день были на процессе. Завтра об этом событии напишу или, вернее сказать, буду писать статью в «Известия».

Что же касается впечатлений, то нет слов — насколько это интересно. Места у нас прекрасные, и вообще достаточно сказать, что в десяти шагах от вашего почтенного мужа и отца сидят Геринг, Гесс, Кейтель и вся прочая шатия, а в комнату подсудимых их ведут — можно рукой дотронуться. И вообще обстановка необыкновенно любопытная.

Что же касается бытовых условий, то все хорошо.

Живем мы в доме рядом с замком карандашного фабриканта Фабера, и в этом замке находится клуб Прессы — столовая, бар, читальня и все такое. Нюренберг — разбит, поэтому мы живем в 5—6 км от города и ездим в город на автобусах. Пища отличная. В общем, жаловаться ни на что не могу. Но немцы живут здесь погано, и, судя по их газетам, у них туго: в немецких газетах напечатано воззвание к нем[ецкому] населению от их властей, что Нюренберг еще никогда не переживал такой суровой зимы, которую ему предстоит пережить.

Письма все же, видимо, буду пересылать с оказией: никаких признаков почты не найдено: наши юристы жаловались, что живут уже здесь месяц и советских газет в глаза не видали.

Не знаю, слышали ли вы о том, что К. Федина помяла в Берлине машина? Мы вышли из столовой, он хотел сесть в автомобиль, а из-за угла выскочил грузовик и прижал его к легковой. Но перелома нет, и в общем он приедет дня через три-четыре в Нюренберг. Однако родным об этой контузии он просил не говорить, так что ты, пожалуйста, умолчи.

Журналистов здесь уже 280 человек.

Зало заседания суда маленькое — человек на 500. ‹...›

Живем трое в одной комнате,— без собаки: Кирсанов, Вишневский и я. В комнате — печка-времянка, кровати и белье, но к утру очень холодно. Впрочем, зимы здесь нет, а так — нечто вроде глубокой осени.

Обед стоит 3 марки, и в общем в день можно израсходовать 20 марок: т. к. купить ничего нельзя или как сказал один французский корреспондент: «Здесь все дешево, но ничего нет, а в Париже все есть, но ничего купить нельзя, так дорого». Впрочем, все это пустяки, а я пишу об этом только потому, чтоб описать быт.

Суд — наряден и очень своеобычен. Но это уже постараюсь описать в корреспонденции, а не в письме.

Долго ли это продлится?

Говорят — два месяца.

И так как мне уезжать всегда трудно, то я, наверное, и буду торчать эти два месяца здесь.

Возможно, что летчик подп[олковник] Денисов, который привезет это письмо, полетит обратно. Тогда прошу послать с ним весточку или с кем-нибудь дру-

гим,— мне думается, жена Вишневского будет знать,— он дотошный и укажет ей пути узнавания.

Целую вас — крепко!

Всеволод.

— Все-таки жалко, что Татьяна не поехала сюда: это любопытно.

Всеволод.

24/X—45

183. Т. В. ИВАНОВОЙ, В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ, Т. В. ИВАНОВОЙ

16/V—46
Алма-Ата.

16 мая 1946, Алма-Ата

Дорогая Тамара! Дети! Друзья!

С поездками по Казахстану все устроилось хорошо. Вчера я был у секретарей ЦК Казахстана. Приняли меня превосходно. Я получил машину-вездеход, 300 литр[ов] бензина, продовольствие — и даже ящик яблок, который, быть может, удастся переправить к вам,— еще не знаю каким способом.

Маршрут поездки остается тот же, что я писал в прошлом письме, т. е. а) Джунгарский Алатау. б) Возвращение в Алма-Ату к 1-му июня на открытие казахской Академии наук. в) Поездка на Балхаш и Караганду. г) Возвращение на празднества 100-летия со дня рождения Джамбула, которые начнутся 1 июля.

Таким образом, на Урал я не попаду, а самолетом в первых числах июля вернусь в Москву. На Урал поеду уже осенью.

В поездке по Дж[унгарскому] Алатау меня будет сопровождать казахский писатель и, кроме того, корр[еспондент] «Известий» Махонин. Поездка будет, по-видимому, очень интересная.

Для поездки на Балхаш будет предоставлен самолет.

Как видите,— против всех твоих ожиданий,— я еду со всеми удобствами.

Мало того. Один из секретарей предложил мне найти дом в Алма-Ате, где я жил 35 лет назад, когда шел пешком из Семипалатинска, отремонтировать его — и передать в мое распоряжение. Если же дом снесен, то на этом месте будет построен новый. Из этого

можете заключить, что мои мечты о возможности жизни в Дж[унгарском] Алатау вполне осуществимы. Я еще не дал согласие на этот дом. Но почему бы мне не приезжать в А[лма]-Ату почаще?

Получил Вашу телеграмму о рассказах. Надеюсь, ты заменила их другими, а если и не заменила,— не беда, книга и без этих рассказов имеет 50 печ[атных] листов.

Сейчас прервал писание; приходили мои спутники, и мы составили список на продовольствие. Список такой, словно я действительно еду в поиски «Сокр[овищ] А[лександра] Македонского». Между прочим, любопытно, что Джунгарские ворота, куда я еду, были древнейшим путем, по которому китайцы сообщались с Европой и во времена А[лександра] Македонского везли «в греки» — шелк. Путь так и назывался «шелковый путь». А на озере Ала-Куль, куда я попаду, говорят, есть фламинго! То-то будет смеху, если я подстрелю. Охоты там, сказывают, прекрасные. А патроны я правильно сделал, что привез. Здесь нет.

Вчера был вечер — встреча с казах[скими] писателями и читателями. Что значит — родина! Я говорил три часа, рассказывая о романе «При взятии Берлина» и Нюренбергском процессе. Сегодня — еду на несколько часов в сельсовет, в 18 км от города, а вечером состоится собеседование на ту же тему, что и вчера. Завтра хочу написать статью о сельсовете для «Известий», завтра Ауэзов дает обед в мою честь, а послезавтра — в путь!

Погода?

Два дня были солнечные, яркие. Вчера ночью хлынул иней. Сегодня — светло, но облачно. Но, по-видимому, погода все-таки налаживается.

Целую и желаю здоровья.

Скоро у Комы начнутся экзамены? То-то, наверное, страдает. Хотелось бы мне, ко дню окончания экзамен[ов], доставить ему мой ящик яблок, который мне-то совершенно не нужен. Может б[ыть], с яблоками мне поможет корр[еспондент] «Известий» Махонин, он очень милый и обязательный человек.

Всеволод.

⟨...⟩

184. Т. В. ИВАНОВОЙ

23 окт[ября] 1947 [Свердловск]

Дорогая Тамара!

Получил два твоих письма.

Ты упрекаешь меня, что я не пишу.

Но я,— с разъездами,— очень уставал. Один раз я ездил за 200 км; другой раз сделал 500— на машине. Дороги здесь среднего качества, вернее, ниже среднего. Но, к удивлению, стоит великолепная погода, солнце, тепло и в шубе ходить жарко 〈...〉

Поездка по колхозам дала богатейший материал для романа. Встретил такого директора колхоза, что глазам, буквально, не верил! Умница, интеллигент в самом высоком значении; просто какой-то Петр Великий колхозного дела.

Но поездки заняли много времени. Поэтому позвони Величко, объясни про дороги, большие расстояния и скажи, что статью они получат числа 27—28-го.

Одно плохо. С охотой не вышло. Глухарей не встретил, а утки (они, как ни странно, еще не улетали) не подпускают: листья на деревьях облетели и озера гладкие, как ледяные. Природа здесь очень хороша. 〈...〉

Я думаю приехать 4 или 5-го. Если будет хорошая погода — прилечу, но скорее всего приеду поездом. Два дня проходят совершенно незаметно. За прошлую поездку я прочел 150 стр[аниц] —«Русский язык» Виноградова, осталось еще 600, значит, спокойно можно доехать до Алма-Аты, а не то что до Москвы 〈...〉

Был в здешнем драм[атическом] театре. Силы не плохие. Но в голове — роман, а не пьеса. Кроме того, «Главный инженер» и мука с ним отбили охоту. Приеду, буду писать роман!

Целую.

Поклон детям.

Всеволод.

23 окт. 1947 г.

185. Т. В. ИВАНОВОЙ

7 декабря 1949 [*Переделкино*]

Дорогая Тамара!

Чехов написал повесть. Послал ее А. Суворину, издателю и редактору газеты «Новое время». Суворин ответил какой-то неопределенной телеграммой, из которой Чехов вывел заключение, что повесть никуда не годится. И он написал Суворину письмо, в котором зверски бранил свою плохую повесть и себя, исписавшегося. Суворин ему пишет, что, наоборот, повесть ему понравилась...

Эта повесть называется — «Дуэль».

Ах, если б такой же случай, как с Чеховым и «Дуэлью», произошел бы и с моим, прилагаемым рассказом!.. На всякий случай посылаю его тебе, в трех экз[емплярах]. Если уж повезет, так пусть везет в тройном размере! Один экз[емпляр] оставил у себя, если в негодовании на мою бездарность редактора съедят все три экземпляра.

Здоровье мое улучшается. Сегодня, за обедом, ел такое вареное мясо, которое и волк, голодавший три недели, не стал бы есть. Глазные капли, по-видимому, помогают. Но они обладают странным свойством: проливаться. Я совсем легонько уронил бутылку на пол, а они пролились. Хотел их собрать с пола обратно в бутылку, но вспомнил, что глаз не рот и пылинка может ему навредить. Поэтому (хотя капель осталось еще дня на три, кроме тех, которые высохли на полу, исцеляя его от конъюнктивита) прошу повторить рецепт, который и посылаю вам. Писал сегодня четыре часа, и голова не болит...

Ходил гулять. Всю ночь и день шел снег; температура на 0°. В воздухе — мгла, идешь словно окруженный невидимым опаловым стеклом. 〈...〉 Но под ногами скользко, гадко, и пока я обошел полянку, вышел к железнодорожной линии и спустился к дому по адмиральскому шоссе, я выпустил столько проклятий, что ими вполне можно вымостить аллею классиков.

В доме тихо. С одной крыши, как вчера и позавчера, каплет на другую. Каштанка, мокрый от снега, спит у лестницы. Пахнет мокрым бельем. Бабушка ску-

чает, как Чехов (судя по его письмам) у себя на даче, и ждет вас не дождется.

Я не скучаю, так как мечтаю в ближайшие два дня написать *три* статьи. У, какие сладкие мечты!

Между прочим, за одной из этих статей хотели прислать из Совинформбюро, в субботу. Может быть, ты приедешь с этим посланным? ⟨...⟩

Со всем тем пребываю
рассказчик
и публицист
«par Vsevolod Ivanov»

(как напечатано в журнальчике на фр[анцузском] язычишке, привезенном мне сегодня совинф. мальчишками: моя статья о Бальзаке перепечата[на]. О, слава!).

7/XII 1949

186. Т. В. ИВАНОВОЙ

[Декабрь 1949, Переделкино]

У Каштанки выявились новые качества: он ловит мышей. Честное слово! Он делает в поле вот так (ставит свое тело вертикально): К, затем внезапно бросается в снег — и вчера, к крайнему моему изумлению, поймал мышь, которая пищала в его зубах дискантом. Но тут в нем исчезли инстинкты лисицы, которая таким образом зимой «мышкует», и пробудились инстинкты той собаки, которой наш физиолог И. Павлов (это в дни советской власти-то!) поставил памятник: Каштанка схватил мышь и притащил ее домой, с явной целью устыдить ленивого и беззаботного рыжего кота. ⟨...⟩

А что эти, сукины дети, из «Лит[ературной] газеты» с моей статьей сделали? Огрызки какие-то.

В Москву ехать, по морозу, не хочется. Буду переписывать пьесу. Уже переписал 40 стр[аниц]. С 50 стр[аницы] дело пойдет легче: там исправлять мало. Но вообще-то я исправил только сцену с академиками во 2 акте, сделал кое-что в третьем и доделаю в 4-м (насчет показа будущего).

Мороз 22° с северным ветром, довольно сильным. Нижние этажи (защищает лес) оный мороз не трогает, но до верхних, по-моему, дотягивает. Однако жить можно. При открытой двери в бак температура в Комкиной комнате держится от 13 до 18° тепла! У меня

около 18°. В общем **заклейка окон** весьма помогла, да-с!

Ходить в тужурке моей по ветру, при 22°, не особенно приятно: ноги мерзнут. Поэтому привези: а) белую румын[скую] шубу, б) синие брюки — под сапоги, в) замш[евую] куртку, для Комки, ходить на лыжах, г) две пары ботинок с голенищами — брезент и кожаные финские, лежат у меня в кабинете, на книгах, как войдешь у дверей налево; — конечно, если поедете на машине.

Кома пусть захватит (налево, против письменного стола, второй шкаф, длинная сплошная полка внизу, где лежат газеты — над ней — том сочинений Ломоносова, изд[ание] Смирдина с его «Размыш[лениями] о божьем величии») и привезет на дачу.

Снегу много, ходить на лыжах будет хорошо; но я уж начну с нового года. Вообще от 1950 года жду огромных событий как внешнего, так и внутреннего содержания.

Как жаль, что Андрониковы уехали! А если не уехали, сообщи им, что я сегодня с завистью видел, что им делают **сплошной**, как у Фадеева, забор. А у меня последнюю, поганую, гнилую муру и ту мальчишки растаскивают! Боже, как гнусно быть не знаменитым!

Посмотри и сверь экз[емпляр] для Кроля!

Целую.

Всеволод.

— Нужно дать копию статьи Кролю, сократив гл[аву] 3, о ДОСАРМ-е.

В. И.

187. Т. В. ИВАНОВОЙ

15 марта 1950 [*Переделкино*]

Тамара!

Посылаю сочинение в пяти частях под названием «Ломоносов».

Я устал и поэтому пьесы не просматривал, всецело положившись на твой дар догадчика того, *что* я пишу, ибо там, наверное, есть совершенно непонятные слова.

В углу каждого экземпляра есть цифра, цветным карандашом, на первом чистом листе (на обложке) — 1-й, 2-й и т. д. — 6-й экземпляр я оставил у себя.

Мне кажется, что первый или второй послать Фадееву, третий — Ливанову, четвертый — Кедрову или Флягину, дир[ектору] МХАТа, а пятый — к черту на кулички!

Привет!

Начинаю читать сочинения М. Горького!

В. И.

15/III—50

188. Т. В. ИВАНОВОЙ

[*Без даты*]

Тамара!

Завтра пришлют корректуру рассказа из «Огонька». Прочти, подпиши * и завтра же вечером верни, т. к. рассказ, по-видимому, будет напечатан в воскресенье.

В. И.

* Вс. Иванов, а не Т. Иванова!!

189. Т. В. ИВАНОВОЙ

[*Лето 1951, Коктебель*]

Дорогая Тамара!

Большое спасибо за то, что ты оказалась таким хорошим корреспондентом. И конечно, очень плохо, что я пишу мало.

Но погода стоит такая хорошая, и я так устаю от прогулок, что буквально рука не поднимается писать.

Вчера, например, поднялся на Карадаг и опустился на дно его, где и нашел камень такой неописуемой красоты, что и не мечтал. Однако оказалось, что камень весит много — едва ли не полпуда. А жара среди скал стояла удушающая: достаточно сказать, что в это время **на берегу** моря было 30°! Ну, я все-таки обливаясь потом, притащил этот камень в рюкзаке. К довер-

шению всего, черный рюкзак вроде увеличительного стекла: сосредотачивает на себе весь жар.

На днях даже Марочка и Ник[олай] Вл[адимирович] поднимались на Карадаг!

Кроме моих прогулок никаких происшествий здесь нет, если не считать происшествием неумолкаемый гам на территории сего Д[ома] творчества — от детей.

Судя по Коктебелю, основное творчество писателей заключается в рождении детей. Самих творцов здесь нет. Они отдыхают где-то в других местах. Ник[олай] Вл[адимирович] расселяет дам и младенцев по комнатам, ужасно волнуется.

Марочка получила сегодня письмо, что Бобка женится и делает вид, что это ей нипочем.

А я получил тоже сегодня от тебя известие, что Комка — может быть членом СП, и тоже делаю, что это мне нипочем.

Камень, найденный мною вчера, лежит передо мной — ах, как красиво. Сердолик, сапфир и еще что-то... дивно!

Интересно, что будет с «Ломоносовым» в Комитете? Неужели угробят? Значит, мои поездки вредны (карандаши ломаются: отсюда перемена цветов в письме); поехал в Казахстан — зарезали «При взятии Берлина», поехал в Коктебель... Ну, что ж, будем писать что-нибудь другое. Силы есть.

Выеду, по-видимому, 11-го.

Целую.

Всеволод.

— Судя по письмам, Пиквик причиняет вам много беспокойств. Уши ему обрезали?

190. Т. В. ИВАНОВОЙ

22 августа 1952 [Алма-Ата]

Дорогая Тамара и дети!

Снегин, как Вам уже известно, оказался в Москве. Когда я прилетел в Алма-Ату, никто, конечно, меня не встретил, хотя на другой день в Союзе клялись всеми богами, что меня-де тщетно искали по всему аэродрому, но, видите, не нашли. Обнаружив, что меня никто не встретил, я начал с присущей мне в поездках

энергией искать легковую машину «на-лево». Легковых не оказалось. Тогда я нанял,— не более и не менее,— как **автобус** и на нем приехал к Снегину, где и выяснилось, что оный мужчина, увы, в Москве. Я разозлился, но преодолел себя. Более того, я немедленно (чтоб не передумать) передал жене его все подарки. Отлично выспавшись на диване этого почтенного, но легкомысленного мужчины, на другой день, утром, я переехал в гостиницу. Номер у меня чистый, но так же, как и в Ташкенте, четыре года назад, я живу **над** кухней и сквозь мой номер проходит горячий дымоход и в комнате 30—40° тепла. Вечером это даже и не плохо, но днем находиться в номере невозможно. Сейчас я в нем, правда, сижу, потому что жду машину, чтобы ехать с корреспондентом «Известий» в табачный совхоз в 20 км от города. Впрочем, самого — настоящего — корреспондента «Известий» не оказалось, и действует его заместитель, приятный и средней расторопности молодой человек. Думаю, что денька через три-четыре уеду в горы, на высокогорные пастбища — пастись и стрелять архаров.

Жара небольшая, переносится легко, ночи совсем прохладные.

Я пока что запланировал одну поездку в горы, к архаромериносам (станция такая животноводческая есть). Затем по возвращении думаю полететь или в Зайсан, или в Джунгарский Алатау, или уеду в Киргизию. «Объектов» для осмотра мне назвали здесь много, но, как всегда, затруднения с передвижением. Разумеется, в конце концов, все устроится, но, к сожалению, время идет.

Сломался карандаш.

Уезжаю в совхоз, напишу конец после возвращения оттуда.

Тщетно прождав машину три часа и так не дождавшись... я не успел закончить фразу, как позвонили из совхоза и сказали, что оттуда пришлют машину: значит, она будет приблизительно через час, а я пока пошел на почту — опустить это письмо.

Целую!
Всеволод.

22/VIII—52

5 сентября 1954 [*София*]

Дорогая Тамара и дети!

Извините, что долго не писал — писал, преимущественно, в местные газеты и посещал, посещал... Сегодня, например, вернулся из гор[ода]. Там на высоте 1700 метров находится бывш[ий] охотничий дом бывш[его] царя Фердинанда. Его, т. е. дом, а не царя, два-три месяца назад передали местному Литфонду. Я был, таким образом, первым русским писателем, посетившим этот дом. Мне, по этому случаю, предоставили спальню царя, и я спал под балдахином, на золоченой царской кровати. Впечатления? Тяжелые, т. к. вечером был чересчур сытный ужин, я, по глупости, наелся, и мне снились беспокойные царские сны, преимущественно, почему-то Павленко. Смущал также и фарфоровый ночной горшок, на котором среди синих сосновых ветвей (символ, по-видимому, охоты) находилась царская корона и стоял вензель «Ф». Ходил я и пешочком в горы. Дорога чудесная: коридор из высоченных елей и пихт, а навстречу с полными корзинами черники и малины идут крестьянки и везут на телегах дрова. Поднялся на две тысячи с гаком, и вид оттуда изумительнейший.

А утром сегодня поехал в Софию. По дороге, через небольшой городишко Симоков, на базаре, увидал расписные красивейшие горшки: бутыли, кувшины и т. п. Я накупил их добрый десяток *) и, как их отправить, не знаю — но, в общем, отправлю. Горшками вы будете обеспечены на всю жизнь. 〈...〉

Касаемо способов передвижения, — у меня имеется машина БМВ, фотографию ее, специально для Антона, я пришлю; есть шофер, переводчик и, как говорится, все удобства, за что я должен благодарить свое доброе имя, а не журнал «Новое время», который, к сожалению, мало кому здесь известен.

Когда ты едешь, Тамара, в Карловы Вары и едешь ли?

Погода здесь теплая, но жары нет.

Город украшен флагами; в частности, окно моей

* Нет, гораздо меньше.

комнаты закрыто огромным красным флагом. Так, кажется, было и в прошлый мой приезд. У меня в комнате всё красно и нет солнца, что хорошо. Гостиница наполнена народом из всех стран: китайцы, французы, немцы, чехи и т. д. Сегодня приезжает советская культурная делегация и среди нее, говорят, худ[ожник] Серг[ей] Герасимов. Ему есть что пописать здесь, и я, когда увижу какую-нибудь красоту, все вспоминаю Мишку: вот бы пописал.

Я проживу в Софии до 16-го (за этот период — 14 и 15 уеду в Благоевград), а 17 поеду в Пловдив и затем в Родопы, в горы. До отъезда напишу статью для «Нового времени».

Привет и поцелуй!

Всеволод.

5/IX 1954

на обороте

Я купил Комс «Проблемы минойского языка». Завтра пойду к автору этой книги, ссылаясь на Комкин авторитет, и буду его расспрашивать об этих самых минойцах: що воне таке?

Вс. Иванов.

Посылаю свой образ таким, каким я выгляжу в Болгарии.

192. Т. В. ИВАНОВОЙ, В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ, Т. В. ИВАНОВОЙ

24/VI—56

24 июня 1956 [*Агинск*]

Дорогая Тамара и дети!

Я встретил корреспондента «Правды» на местном колхозном празднике и попросил его отвезти это письмо в Читу. Из здешнего городка — Агинска, где я нахожусь, письмо пройдет долго.

Чувствую себя отлично. Уже побывал в трех колхозах, геолого-поисковой партии, воинской части у очень приятного генерала Драгунского (где выступал с чтением своих произведений, впрочем, вчера выступал и в Агинске, в педучилище), в двух буддийских монастырях, в степи и в горах.

Сегодня под Агинском был в «действующем» буддийском монастыре, настоятель коего, почтенный старый лама, поднес мне в подарок буддийскую статуэтку, завернутую в голубой шелк, в газету «Правда» и в ситцевый платок. Статуэтка была укутана до головы и завязана шнурком, а голова — чуть прикрыта, т. к. голову, оказывается, завязывать нельзя — чтобы бог мог дышать. Лама подал мне статуэтку обеими руками, и я принял ее обеими тоже; одной рукой бога принимать нельзя — обидно.

Затем лама сказал:

— Почему же вы не сообщили нам заранее, что приедсте, мы бы приготовили вам угощение.

Я извинился и сказал, что так уж неудобно сложились обстоятельства.

В это время приехал заместитель настоятеля, тоже почтенный седой лама, который сообщил, что улетает в Москву, а оттуда, кажется, в Бирму на празднование 2500-летия Будды.

После этого, побеседовав еще немного с ламами, мы отправились на священную гору, где праздновался прежде летний праздник. Наш «вездеход» без особого труда поднялся, без дороги, на довольно высокую гору, где мы нашли много «обо» (куча камней, приносимых в жертву богам) и белый домик с поднятыми углами крыши, в котором буддисты кладут свои иконы, курбе (молитвенные барабаны) и прочие священные вещи перед богослужением. Возле обо лежали упавшие шесты с выцветшими флажками, на которых фигуры слонов и какие-то буддийские формулы. Вид отсюда на несколько речных долин и горы в отдалении был великолепный. Я нарвал букет больших желтых диких лилий, такого же размера, как и в нашем саду, и машина потащилась обратно. Лилии пахнут очень хорошо.

Миновав снова монастырь, миновав ливень и лужи воды, мы попали на скачки. Зрители-колхозники, приехавшие на грузовиках, во множестве, расположились по склону горы. Всадники, без седел, скакали прямо по степи. Победила гнедая лошадь, и все побежали за ней, крича в восторге.

Вернулись, поужинали в местной «чайной» среди множества пьяных, мои спутники ушли в клуб на кон-

церт бурятских артистов, а я, насмотревшись за день, читаю поэмы Пушкина, трехтомник которого я приобрел в Агинске.

Впечатлений, как видите, много, и я очень доволен. Спутники мои — писатели: бурят и русский, сносны, а более ничего не требуется.

Вестей от вас не имею, т. к. отрезан от Читы и попаду туда только через неделю. Завтра уезжаю на р[еку] Онон и на рудники. Целую.

Всеволод.

193. Т. В. ИВАНОВОЙ

9 авг[уста] 1962 [Омск]

Дорогая Тамара!

Качает вагон, поэтому и каракули.

До Тюмени поезд шел в проливном дожде; мир был во мгле и тумане, не говоря уже о грязи. За Тюменью, т. е. за Уралом,— солнце и довольно сухо. Я посмотрел в окно на Тюмень — вокзал тот же, что 48 лет назад, домишки те же и та же пыльная зелень. Прибавились высоковольтные столбы и трубы заводов, что тоже не мало.

В газете прочитал — местной,— что работает в городе цирк, наверное на том же месте и городской театр, где я ставил «Позор Германии».

Затем проехали Ишим — здесь я выдавал себя за австрийского пленного и шил у венского портного визитки!

В поезде хорошо. Не жарко и не холодно; пьяных нет. Разносят — кефир, икру, лимоны, а на станции Никонов купил свежепросольные огурцы.

Жизнь роскошна!

Подъезжаем к Омску, где я и сброшу это письмишко.

Всем привет!

Целую.

В. И.

9 авг. 1962 г.

[*14 августа 1962, Чита*]

Дорогая Тамара и дети!

Пишу на Читинском аэродроме.

Утро, 7 часов, 14 августа. Вчера было светло и тепло, так что жарко было ходить по городу в пиджаке. Сегодня прохладно, туман, но говорят, туман рассеется, и мы полетим.

А летим мы над тайгой — в село Красный Чикой, оттуда через хребты и реки, в село Менза, куда колесных дорог нет, только тропы. Из этого села, на двух лодках, мы будем спускаться вниз по реке Мензе до Чикоя, откуда поедем на машине в Читу. С нами едет лоцман, человек, который месяц назад плавал по реке Менза,— очень хвалит тамошние места, заселенные — не очень густо — потомками раскольников. По-видимому, будет любопытно и поучительно, а пока сижу, ожидая самолета, на гранитных ступеньках порта. Поднялся ветерок, туман, по-видимому, разгонит, и мы сможем улететь. Груз огромный — с таким грузом я еще не летал: 140 килограмм!

После поездки на Чикой предполагаем съездить на рудники, в город, километрах в 300, на машинах и там, дальше, на Онон. Название,— спросонья,— города вылетело у меня из памяти, но вчера я получил карту заброшенных рудников, где когда-то до революции добывались драгоценные камни, и, среди владельцев — копей топазов, значится госпожа Пешкова.. Надо съездить, рудники эти вблизи города — сейчас вспомнил: Балей. С нами поедет бывш[ий] директор рудников, ныне зам. председателя совнархоза.

Пока я писал, посветлело, ветер усилился, но свежо по-прежнему.

Целую ребят и внуков.

Подходят автомашины, мотоциклы, против меня — клумба, а за подъездной площадкой — фонари. Уже 7. 20, утра, т. е. в Москве 1 час. 20 мин. ночи. Сейчас подадут самолет.

В. И.

195. Т. В. ИВАНОВОЙ, В. В. ИВАНОВУ, М. В. ИВАНОВУ, Т. В. ИВАНОВОЙ

2 сент. 1962

2 сент[*ября*] *1962* [*Чита*]

Дорогая Тамара и дети!

Сегодня — поездом — мы приехали в Читу, через город Петровско-Забайкальский, куда явились на машине, через горы, из села Красный Чикой. Шесть или восемь дней из нашего 17-дневного путешествия была хорошая солнечная погода, остальное время — дожди, ветры, пасмурность. Десять лет (описка: читай десять дней!) мы плыли по реке, не имея возможности снестись с внешним миром ни по телефону, ни по телеграфу: письма и газеты приходят туда (в селения из пяти — семи дворов; охотники) через два месяца. Отойдешь от берега на полсотню шагов — всё изрыто кабанами и медведями, словно перекопано. Проплыли четыре порога, два из них обошли возле берега, а через два перемахнули среди ревущих бурунов. Картины природы здесь, на Мензе-реке, изумительны: река течет как в коридоре среди скал и гор, покрытых лесом, ревет в камнях и стремительность ее такова, что нет ни одного старого русла, ни одной заводи. Летишь с быстротой 7—10 километров в час, и картины, одна величественней другой, сменяются непрестанно. Были замечательные встречи, но самая любопытная, пожалуй, была вчера, на хребте, когда мы ехали по тайге к ж[елезно]дор[ожной] станции. Была ночь, часов десять. Фара машины осветила зайца. Он сидел обалделый, поводя глазами. Пока Гоша доставал ружье, наш шофер выскочил и поймал его руками, а затем сказал:

— Сейчас я вам покажу удивительную вещь: вы узнаете, что такое заячья трусость. У меня это уже случалось. Я не буду его ни бить, ни давить, он просто умрет у меня в руках от страха.

И действительно, заяц умер через три минуты: я смотрел на часы.

Как это называется: инфаркт или инсульт?

Как я уже телеграфировал, я поеду дня через два на Онон: на машине, собирать камни. Думаю, поездка займет дней десять — двенадцать, после чего попытаюсь пробраться к вулканам на Витиме, куда мы когда-то пробирались с Комой, но это не надолго: дня три. В об-

щем, самая сложная и трудная часть путешествия окончилась благополучно,— как со стороны физической, так и морально-политической. Я рассказывал в таежных селах об Индии — люди удивлялись не тому, что я был в Индии, а тому, что я попал к ним. Парикмахерша, брившая меня в одном селе, узнав, что только что проплыл по Мензе-реке, воскликнула:

— Господи! И охота вам так губить свою старость. Там так страшно, что даже мы, здешние, боимся туда плавать.

Целую вас!

— Мне подарили для Петьки рога изюбра, но они весят килограмм 20 и [я] их не взял. Обещали послать по почте.

В. И.

КОММЕНТАРИИ

В настоящий том включены произведения Всеволода Иванова разных лет, написанные в жанрах, которые еще не были представлены предыдущими томами. Это «Хмель, или Навстречу осенним птицам», последнее крупное произведение, опубликованное при жизни писателя (сам Иванов затруднялся в определении его жанра, но ближе всего оно к лирическим очеркам), автобиографии, публицистические статьи периода Великой Отечественной войны, статьи и выступления о литературе, воспоминания. Большую часть тома занимают дневники писателя, его черновые заметки по литературе и, наконец, эпистолярное наследие.

В раздел статей и выступлений включены те работы Иванова, которые, на наш взгляд, имеют не только исторический интерес, но сохраняют до сих пор свою актуальность и могут быть по праву отнесены к лучшим страницам ивановской прозы.

Некоторые статьи Иванова находятся на границе с жанром воспоминаний. Выступая на вечере памяти Ю. Н. Тынянова, Иванов сетовал на то, что о советских писателях, ушедших из жизни, еще очень мало вспоминают. Сам старался восполнить пробелы в этой области. «Сентиментальная трилогия», написанная еще при жизни Горького, самое раннее выступление Иванова в жанре воспоминаний. Позднее он дополнял их, испытывая потребность полнее и шире рассказать о своем великом современнике, выразить глубокую любовь к нему и сказать о его роли в своей писательской судьбе.

В конце жизни Вс. Иванов задумал целый цикл «Портреты моих друзей». Из него успел написать о Кондратии Худякове, Антоне Сорокине. Портрет С. Есенина не был завершен. К некоторым другим остались лишь разрозненные заготовки.

Весьма примечательно, что Иванов в первую очередь отдал дань благодарной памяти своим землякам Худякову и Сорокину, которые сопровождали его, когда он делал первые шаги в литературе. Очерки «К. Худяков» и «А. Сорокин» характерны для манеры Иванова-мемуариста. Писатель отправляется от реальных фактов, но не стремится ни к буквалистской точности, ни к документальности. Он рабо-

тает как художник, стремясь воссоздать атмосферу жизни, исторические обстоятельства, формирующие личность его «героя». Главная задача — уловить неповторимые черты внутреннего психологического портрета, постичь и объяснить его своеобразие.

Как можно убедиться по двум автобиографиям, публикуемым в настоящем томе, Иванов не был буквалистски точен и в отношении к самому себе. Он мог бы поручиться за точность и правдивость общего смысла происходящего с ним, за точность и правдивость своего внутреннего отношения к этому. В передаче же внешних фактов у него нет единства. И в разных автобиографиях можно встретиться с разными версиями.

Наше представление о Вс. Иванове как писателе и человеке существенным образом обогащают его дневники, которые приведены в настоящем томе в извлечениях. Вс. Иванов вел дневник с 1924 года, первое время не регулярно. Более систематично — с конца 30-х годов. Во время Великой Отечественной войны ежедневно, с редкими пропусками. И так продолжалось до конца жизни.

Записи разнохарактерны. Иные из них, сделанные на календаре, умещаются в одной-двух строчках. Словно зарубка памяти, намек, понятный лишь самому писавщему,— беглое обозначение пережитого, фиксация факта. Но есть среди них и развернутые, богатые информацией. Они касаются не только внешних событий жизни писателя, но его настроений, впечатлений от увиденного, от прочитанного.

Вс. Иванов не склонен превращать дневниковые записи в заготовки для будущих сочинений. Однако в его дневник так щедро включается весь круг впечатлений, идущих от внешнего мира, от встреч с людьми искусства или совершенно не связанными с ним, что невольно открывается жизненная основа произведений, и осуществленных, и только замышляемых. Многое Иванов записывал во время поездок. Чтоб не допускать повторений, за пределами настоящего тома пришлось оставить дневниковые страницы, посвященные путешествию по Забайкалью. По материалу, по интонации они весьма близки лирическим очеркам «Хмель, или Навстречу осенним птицам». Однако и эти и подобные страницы подтверждают, что воистину в Иванове постоянно жила душа странника, желающего померяться силами с горными, порожистыми, непроходимыми реками, приобщиться к таежным просторам, набрать камней-самоцветов, до которых он был большой охотник.

Особое место принадлежит дневникам периода войны. Иванов вел их для себя, но считал обязанным оставить для будущих лет свои свидетельства о времени настоящем, времени тяжелом, удивительном и героическом. Москва начала войны, потом далекий тыловой Ташкент, затем снова военная Москва, наконец, последние месяцы войны, фронт и дни Нюрнбергского процесса над военными пре-

ступниками фашистской Германии. Через эти исторические точки прокладывало в дневниках Иванова свою дорогу Время, воспринятое, пережитое, осмысленное первым откликом, первой реакцией, живой, непосредственной, очень личной.

Круг внимания писателя достаточно широк, от положения на фронтах до мелочей военного быта. И неизменно присутствует тема искусства в разных поворотах и соотношениях. Иногда она звучит очень лично, как отражение каких-то писательских исканий, как момент рождения замысла или хода работы над ним. Иногда она живет в теоретических рассуждениях, вызванных конкретными обстоятельствами, в отзывах и характеристиках прочитанного. Дневники дают возможность представить, чем питаются эстетические впечатления Иванова.

Из обширного дневникового материала в настоящий том взята лишь часть, представляющая интерес для широкого читателя. Опущены подробности интимно-семейного, сугубо личного характера, некоторые субъективные оценки, задевающие еще живых людей, заметы, вызванные минутными настроениями и опровергнутые последующими записями.

Нельзя не согласиться с К. Г. Паустовским, который участвовал в составлении книги при первой публикации дневников и записных книжек Иванова и оценил дневники так: «... «Дневники» изумительны по какой-то «пронзительной» образности, простоте, откровенности и смелости. Это — исповедь огромного писателя, не идущего ни на какие компромиссы и взыскательного к себе. Множество метких мест, острых мыслей, спокойного юмора и гражданского гнева. Это — исповедь большого русского человека — доброго и печального» («Вс. Иванов — писатель и человек». М., 1975, с. 439).

К дневниковым записям примыкает раздел заметок, черновых набросков, отразивших размышления Вс. Иванова о литературе, о собственном творчестве, фрагменты из произведений, оставшихся неопубликованными или незавершенными.

Заметки, как правило, не датированы. Судя по почерку, Иванов вел их всю жизнь, во всяком случае с конца 20-х годов, большая их часть падает на последнее десятилетие, то есть на ту пору, когда постановка новых творческих задач вывела Иванова на дорогу к циклу фантастических произведений, к «приключенческому» роману и «роману тайн». Иванов испытал потребность продумать для себя заново многие профессионально важные темы, ответить на вопросы о построении романа, о возможностях разных его типов, о способах развертывания сюжета, о принципах создания характера и т. д.

Рассуждения Иванова включают в себя нередко краткий или более развернутый анализ произведений Сервантеса, Шекспира,

Гейне, Бальзака, Стендаля, Флобера, Уэллса, Дж. Лондона, М. Твена, Брет-Гарта, Стивенсона, Конан-Дойля, Ф. Купера и др. Ориентируясь на богатейший опыт мировой литературы, Иванов часто оперирует и примерами из русской литературы, из произведений Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова и Горького. Прочитывая их по-своему, пристрастно, он, однако, неизменно ищет в них «союзников» и «единомышленников», выверяет ими свои рабочие гипотезы.

Интенсивной разработке вопросов искусства в немалой степени содействовал давний замысел романа «Поэт», это произведение Иванов хотел специально посвятить проблемам искусства. Споры главного героя с разными лицами на эти темы составляют едва ли не наибольшую часть заготовок к роману.

Наконец, у черновых заметок о литературе была и своя особая цель. Они обозначают контуры той книги, которую Иванов намерен был написать для молодых литераторов. Некоторые части этой, к сожалению, не написанной книги, отчетливо проступают в заметках. Таков, например, раздел «Теория прямой речи» или «Прямая речь». Иванов даже хотел дать это название всей книге.

Его намерения были тем более обоснованы, что, в сущности, с самого начала писатель не ограничивал себя решением узких практических задач, и его размышления о литературе сразу вышли на широкий теоретический простор, обозначив диапазон внимания от смысловых оттенков отдельного предлога или слова до сути нравственно-философских общечеловеческих категорий.

По теоретическим проблемам литературы Иванов в печати не высказывался, развернутых выступлений по поводу своего эстетического credo не делал. Обычно его литературно-критические выступления конкретны и поводом своим, и содержащейся в них характеристикой произведения или писателя. Особый интерес черновых набросков и заметок в том, что они, вслед за дневниковыми записями, дают богатейший материал именно для суждений об эстетических позициях писателя, проливают свет на суть его творческих исканий в последние годы жизни, вводят в «тайны» его творческой лаборатории.

Черновые заметки в настоящем томе публикуются выборочно. Необходимость такого подхода к ним диктуется самим материалом: у Иванова он не упорядочен, имеет характер заготовок, как правило, разрозненных, изобилует повторениями, длиннотами, а некоторые записи не всегда понятны по смыслу. Поэтому в том вошло лишь то, что является наиболее цельным и разработанным.

Материал расположен по тематическому принципу. Принятая здесь композиция повторяет, в основном, ту, что была предложена при первой публикации заметок вдовой писателя, Т. В. Ивановой.

Заголовки, взятые из рукописей, чередуются с редакционными (они заключены в квадратные скобки). Более общие названия, употребляемые Ивановым для ряда заметок (например, «К теории», «К сюжету»), отмечены в примечаниях, когда записи воспроизводятся лишь частично. В примечаниях приводятся также даты, не имеющие непосредственного отношения к тексту записи, но косвенно помогающие установить ее время. Слова, подчеркнутые автором, выделены полужирным шрифтом.

Завершают настоящий том письма Вс. Иванова. Некоторые из них были целиком или частично опубликованы и давно уж, как, например, письма А. М. Горькому, вошли в научный обиход. Некоторые публикуются впервые.

В процессе подготовки тома к печати были получены письма Иванова от К. А. Федина, И. И. Слонимской, вдовы М. Л. Слонимского, от Владимира Познера, от семьи Б. Пастернака, от В. Г. Никонова и М. В. Минокина. Часть писем взята из фондов Центрального государственного архива литературы и искусства, рукописного отдела Института мировой литературы им. Горького и архива А. М. Горького. Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук СССР предоставил возможность опубликовать открытку и поздравительную телеграмму Иванова Михаилу Зощенко. В рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина было обнаружено письмо, адресованное Л. Н. Сейфуллиной. Мы приносим глубокую благодарность всем лицам, которые предоставили материал для публикации в разделе писем настоящего тома.

Однако работа по собиранию писем не закончена. Не все адресаты направили письма Иванова в комиссию по литературному наследству. Не все адресаты обнаружены. И личные фонды многих советских писателей, находящиеся в Государственных архивах, еще не разобраны.

Поэтому публикуемые письма — лишь часть эпистолярного наследия Иванова. Но и она способна отразить все этапы его биографии, ярко очертить его облик, его жизненную позицию, характер его взаимоотношений с людьми, в частности с молодыми литераторами.

Письма публикуются, как правило, полностью. Исключены лишь подробности интимно-семейного характера, а также субъективные оценки произведений некоторых ныне здравствующих авторов.

Расположены они в хронологическом порядке. Этот порядок нарушается лишь в тех случаях, когда одному и тому же лицу адресовано несколько писем. Такие циклы сохранены, и в них возникает, естественно, своя внутренняя хронология. Открывают раздел письма к А. М. Горькому, завершают — письма, адресованные различным организациям и семье. Все письма имеют общую нумерацию.

Дата и место отправления письма, если они указаны автором, воспроизводятся в соответствии с оригиналом. В правом верхнем углу дается редакционная дата, дата и место отправления письма, установленные косвенно, заключены в квадратные скобки. Обоснование датировки письма приводится в комментариях.

Слова, сокращенные в оригинале и дополненные редакцией, заключены в квадратные скобки, купюры обозначены угловыми скобками.

Материал в томе расположен по датам публикации произведений (кроме раздела писем, о порядке публикации которых говорилось выше). Авторские даты, если они есть в тексте, сохранены. Произведения, не печатавшиеся при жизни автора, расположены по датам написания.

Имена, названия, факты комментируются при первом упоминании.

Принятые условные обозначения: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах. М., Гослитиздат, 1958—1960 — 2-е собр. соч.; Вс. Иванов. Переписка с Горьким. Из дневников и записных книжек. М., «Советский писатель», 1969 — «Переписка с Горьким»; «Всеволод Иванов — писатель и человек». М., «Советский писатель», 1970 — «Вс. Иванов» (1); «Всеволод Иванов — писатель и человек», изд. второе, дополненное. М., «Советский писатель», 1975 — «Вс. Иванов» (2).

Автобиографии — впервые — в сб. «Литературные записки», 1922, № 3 — первая; вторая — в сб. «Писатели об искусстве и о себе». М. — Л., 1924.

Автобиографии Иванова своеобразны, они с полным основанием могут быть отнесены к области художественной прозы. В качестве источника биографических фактов они не всегда надежны. Но писатель правдив и интересен создаваемой версией собственной жизни, передачей своего восприятия людей и событий, общего смысла пережитого.

Иванов написал много автобиографий, все они весьма значительно отличаются друг от друга. Это всякий раз определяется задачей, которую писатель ставит перед собой. Для настоящего тома выбраны две первые автобиографии. Это биографии автора «Партизанских повестей» и «Голубых песков», который шел сквозь огонь революции и гражданской войны дорогой смертной. Во вторую автобиографию властно вошло и ощущение на своих плечах бремени — тяжелого и радостного, чувство человека, прочно и навсегда связавшего свою жизнь с литературным трудом.

Печатаются по текстам изданий: «Литературные записки», 1922, № 3 и сб. «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков», изд. 2-е. М., 1928.

Стр. 9 ...*Г. Устинов — друг вечный.* — Литератор, в 1918—1919 годах работал в редакции «Правда», в начале 20-х в «Известиях».

Пишу я с 1916 года... — Неточность. Первое печатное произведение относится к 1915 году (стихотворение «Зимой» 29 ноября опубликовано в газете «Приишимье»).

Всю революцию не писал... — Вс. Иванов не совсем точен. В 1919 году он печатал в сибирских газетах рассказы «Моль», «Рогульки» и др.

В перечислении напечатанных книжек Иванов опустил сборник «Рогульки», изданный в 1919 году небольшим тиражом.

...*роман «Ситцевый зверь».* — Роман не был написан.

...*точно не помню.* — В автобиографиях и других личных документах Вс. Иванова встречается несколько дат его рождения. В период колчаковщины, спасаясь от мобилизации в армию, он убавлял себе года. По традиции 1895 год был признан годом его рождения.

Стр. 11. *В конце 20-го года...* — Это произошло в начале 1921 года.

Хмель, или Навстречу осенним птицам — впервые «Новый мир», 1962, № 3. Вошел в сб.: Вс. Иванов. Рассказы. М., «Советский писатель», 1963. С небольшими сокращениями и стилистической правкой — в сб. Иванова «Хмель. Сибирские рассказы 1917—1962 гг.», «Молодая гвардия», 1963.

В основу произведения легли впечатления Иванова от многократных поездок по Забайкалью, хотя писатель в этот период не имел в виду писать очерки, считая, что материал у него для этого не того порядка; надо путешествовать так, чтобы «останавливаться в типичных местах,— писал он по этому поводу своему спутнику по путешествию В. Г. Никонову,— искать типичных людей и обстоятельств» (см. наст. том, письмо Никонову от 18 апреля 1960 г.). И когда работа над «Хмелем» все же началась, Иванов признает, что это «быль с легкой, непритязательной выдумкой» (письмо Никонову от 17 сентября 1961 г.).

«Хмель» был хорошо встречен критикой: в «Литературной газете» (от 10 июля 1962 г.) появилась рецензия Гелия Ковалевича «Хмель жизни». Автор ее хорошо уловил стиль произведения, сказав, что в нем предстал «незнаемый мир в полусказочном свете древних легенд и в электрическом огне новых поселков с их праздничными буднями и праздниками, иногда не похожими на праздники».

Не стараясь отыскивать границу между вымыслом и реальностью, критик утверждает: «В поиски истинной радости, света таинственной и облагороженной силы устремлен автор очерка».

И все же писатель, радуясь успеху своего произведения, считал, что его литературные герои неверно интерпретируются как живые лица.

В 1962 году в «Советской литературе на иностранных языках» (№ 10) «Хмель» был напечатан на четырех языках.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Хмель. Сибирские рассказы 1917—1962 гг. М., «Молодая гвардия», 1963.

СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ

Михайло Ломоносов — впервые «Известия», 1936, 18 ноября. Статья написана к 225-летию со дня рождения Ломоносова. Интерес Вс. Иванова к фигуре великого русского ученого был устойчив. Написана еще одна статья о нем, опубликованная в 8-м томе 2-го собрания сочинений. Следы чтения его трудов обнаруживаются в романе «У». В 1951 году Иванов написал рецензию на монографию А. Морозова о Ломоносове. В 1950 году закончил пьесу о нем. Пьеса была поставлена МХАТом в 1953 году.

В настоящем томе статья печатается по тексту, опубликованному в «Известиях», 1936, 18 ноября.

Стр. 108—109. *Иль мало смертны мы родились...* — Цитируется последняя строфа оды 1759 года, посвященной императрице Елизавете Петровне. См.: М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 8. М. — Л., 1959, с. 657.

Встреча в степи — впервые «Комсомольская правда», 1939, 8 марта.

Статья написана в связи со 125-летием со дня рождения Т. Г. Шевченко.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 8. М., Гослитиздат, 1960.

Стр. 113. *Ой три шляхи широкії...* — стихотворение 1847 г., создано Шевченко в каземате.

Мое отечество — впервые «Известия», 1941, № 147, 24 июня. Статья входила в сборники Вс. Иванова «Мое отечество». М., 1941; «Щит славы», Ташкент, 1942 и «Избранное». М., 1948. При включении во 2-е собрание сочинений подверглась небольшим сокращениям, единичным исправлениям.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 8. М., Гослитиздат, 1960.

Русское поле — впервые «Известия», 1943, № 13, 16 января. Печаталось отдельным изданием в 1943 году в г. Хабаровске и входило в «Избранное». М., 1948. При включении во 2-е собрание сочинений автором были сделаны небольшие сокращения.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 8. М., Гослитиздат, 1960.

Бальзак — впервые «Литературная газета», 1949, 21 мая, под названием «Гений французского народа».

С небольшими сокращениями и стилистической правкой включена в сборник: Вс. Иванов. Повести, рассказы, воспоминания. М., «Советский писатель», 1952. Этот текст вошел во 2-е собрание сочинений.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 8. М., Гослитиздат, 1960.

Стр. 129. Вс. Иванов цитирует письмо Ф. Энгельса М. Гаркнесс по изданию: К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVIII. Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940, с. 28—29.

Анатоль Франс — впервые «Литературная газета», 1949, 12 октября, под названием «Анатоль Франс — писатель и борец». В сильно переработанном виде с большими дополнениями была включена в сборник: Вс. Иванов. Повести, рассказы, воспоминания. М., «Советский писатель», 1952. В таком виде вошла в 8-й том 2-го собрания сочинений.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов, Собр. соч., в 8-ми тт., т. 8. М., Гослитиздат, 1960.

Стр. 134. *«Золотая свадьба»* — явная ошибка, вкравшаяся в текст издания, по которому печатается статья. Книга стихов А. Франса называется «Золотые поэмы».

Иван Касаткин — впервые в кн.: Касаткин И. Избранные рассказы. М., 1957. С небольшими сокращениями вошла во 2-е собр. соч.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 8. М., Гослитиздат, 1960.

Речь на Третьем Всесоюзном съезде писателей — впервые, в сокращении, «Литературная газета» 24 мая 1959 года под названием «О самом главном». Полностью впервые в кн.: Третий съезд писателей СССР. Стенографический отчет. М., 1959. Вошла во 2-е собр. соч.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 8, М., Гослитиздат, 1960.

Большой свет (О творчестве М. М. Пришвина) — впервые во 2-м собр. соч., т. 8. М., 1960.

В основе статьи выступление Вс. Иванова по радио 5 февраля 1953 года в день восьмидесятилетия М. М. Пришвина.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 8. М., Гослитиздат, 1960.

Шолом-Алейхем — впервые в 8-м томе 2-го собр. соч. М., 1960).

В основу статьи легла речь на вечере, посвященном столетию со дня рождения Шолом-Алейхема.

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми тт., т. 8. М., Гослитиздат, 1960.

О Тынянове. — Публикуется впервые.

Статья представляет собой речь, заготовленную для вечера памяти Ю. Н. Тынянова по случаю десятой годовщины со дня смерти. Вечер состоялся в декабре 1953 года в Клубе литераторов.

Печатается по авторской машинописи, хранящейся в архиве писателя.

Сто десять авторов и одна мышь. — Публикуется впервые. Основная ее часть относится к 1935 году, когда Вс. Иванов, увлеченный идеей Горького о создании «Истории фабрик и заводов», сам принимал участие в работе такого рода и склонен был преувеличивать ее значение. В статье упоминаются подлинные книги: «Люди Сталинградского Тракторного [книга очерков]». М., изд. «История заводов», 1933, составители Я. Ильин и Б. Галин; «Были горы Высокой. Рассказы рабочих Высокогорного железного рудника о старой и новой жизни», вышедшие в 1935 году под редакцией А. М. Горького. Упоминаемая фантастическая повесть «Мышь» имеет свой реальный «прототип». В 1935 году Вс. Иванов написал фантастический рассказ «Странный случай в Теплом переулке» (опубликован в журнале «30 дней», 1935, № 5), близкий по фабуле повести «Мышь».

Дополнения к статье, сделанные Вс. Ивановым в 1944 и 1961 году, говорят не только о меняющемся отношении писателя к литературной славе в разные периоды жизни, но и о трудностях, даже о драматизме его поисков способов сближения литературы с жизнью. Именно в середине 30-х годов Иванову приходилось выбирать между непосредственно-очерковой формой изображения социалистической нови и условно-фантастической формой, которая была найдена им для философски-сатирического романа «У». Первый путь осмысляется Ивановым как требование эпохи, ее «социальный заказ», второй отвечал больше природе его дарования, но был для него далеко не бесспорен. Отсюда колебания, отразившиеся в статье. Бóльшая уве-

ренность пришла позднее, когда Вс. Иванов на основе собственного опыта имел возможность убедиться в глубокой жизненности и эстетической оправданности своей фантастики.

Статья печатается по авторской машинописи, хранящейся в архиве писателя.

Об Александре Малышкине. — Публикуется впервые. Время написания статьи установить не удалось.

Печатается по авторской машинописи, хранящейся в архиве писателя.

ВОСПОМИНАНИЯ

Сентиментальная трилогия — впервые в журнале «Красная новь», 1928, № 3. Впоследствии неоднократно перепечатывалась как самостоятельное произведение и в составе воспоминаний «Встречи с Максимом Горьким». При включении в сборник «Вс. Иванов. Повести великих лет» (М., «Федерация», 1932) подверглась незначительной стилистической правке. В таком виде перепечатывалась в книге: Вс. Иванов. Избранные произведения в 2-х томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1938 и в других изданиях.

М. Горький в Италии — впервые в «Правде», 18 июня 1937 года и в журнале «Новый мир», 1937, № 6. Также входил в цикл «Встречи с Максимом Горьким».

Случай с индийскими часами — впервые в составе воспоминаний «Встречи с Максимом Горьким» — журнал «Сибирские огни», 1946, № 3.

Комиссия по литературному наследству Вс. Иванова приняла решение выделить для настоящего тома эти очерки из цикла «Встречи с Максимом Горьким», ибо именно они имеют фактическую основу, являются в собственном смысле слова воспоминаниями, документальный характер которых подкреплен письмами Горького. При этом комиссия исходила из следующих соображений:

1. Цикл очерков, из которых Иванов создал «Встречи с Максимом Горьким», нельзя считать окончательно сформировавшимся. Впервые сведенный в 1946 году для «Сибирских огней», а затем для отдельной книги, вышедшей в 1947 году в издательстве «Молодая гвардия», он при последующих публикациях, вплоть до второго собрания сочинений, менялся по своему составу.

2. При объединении очерков в цикл Вс. Иванов ограничился внешней связью и не достиг подлинного художественного единства. В результате «Воспоминания о Горьком» оказались весьма неодно-

родными по своей художественной природе. И в них обнаруживается, по крайней мере, два разных пласта. Один, как говорилось выше, документальный. Другой по существу своему отношения к воспоминаниям не имеет. Вс. Иванов здесь дает волю вымыслу и воображению, словно перепевая мотивы некоторых ранних романтических рассказов Горького. К тому же здесь возобладал тот выспренно-патетический стиль, во власти которого Иванов находился в первые послевоенные годы и от которого позднее стремился избавиться.

3. Право рассматривать очерки, входящие в цикл как самостоятельные произведения, дал сам Иванов, поскольку он считал возможным публиковать некоторые из них даже после того, как весь цикл был уже напечатан. Так, например, после выхода третьей книжки «Сибирских огней» отдельно появился рассказ «Случай с индийскими часами», отдельно был напечатан «Много любопытного на Руси» и некоторые другие.

«Сентиментальная трилогия» печатается по тексту: Вс. Иванов. Избранные произведения в 2-х томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1938; «Горький в Италии» — по тексту «Новый мир», 1937, № 6. «Случай с индийскими часами» — по тексту литературно-художественного альманаха «Казахстан», 1946, № 3.

«Лермонтов» П. П. Кончаловского — впервые в газете «Литература и искусство», 1943, 17 апреля, № 16. Вошла в кн.: Вс. Иванов. Избранное. М., Гослитиздат, 1948. В 8-м томе 2-го собрания сочинений вошла в состав воспоминаний: «Художник П. П. Кончаловский».

[«В мастерской художника»] — публикуется впервые.

Для этих воспоминаний Вс. Иванов механически соединил три разных по жанру, написанных в разное время произведений о Кончаловском. Видимо, поэтому они не образовали единого целого, а писатель, чувствуя это, оставил их отдельными разделами. В некоторых местах они даже повторяют друг друга.

Исходя из этого, комиссия по литературному наследству Вс. Иванова приняла решение в настоящем томе печатать лишь два из этих произведений: статью о Лермонтове и воспоминания о работе Кончаловского над портретом сына Иванова.

«Лермонтов» П. П. Кончаловского» печатается по тексту газеты «Литература и искусство», 1943, 17 апреля.

[«В мастерской художника»] — печатается по тексту, хранящемуся в архиве Вс. Иванова.

От «Сцены на колокольне» к «Бронепоезду 14-69» — впервые «Театр», 1952, № 2, с. 82—98.

Качалов. — Публикуется впервые.

Вс. Иванов опубликовал множество статей и воспоминаний о Московском Художественном театре им. Горького, о великих мхатовских деятелях, о работе театра над его пьесами.

Публикуя в журнале «Театр» свою статью «От сцены на колокольне» к «Бронепоезду 14-69», писатель сделал к ней послесловие, в котором отметил возвращение интереса театров и зрителей к его пьесе в последние годы. В связи с этим он вспомнил историю возникновения и первой постановки пьесы, обработав печатавшиеся в разное время заметки.

Одновременно писатель сделал второй сводный вариант «Рассказа о МХАТе» для другого издания: Вс. Иванов. Повести, рассказы, воспоминания. М., «Советский писатель», 1952.

По своему характеру эти варианты несколько отличаются друг от друга. Первый сосредоточен, главным образом, на истории спектакля по «Бронепоезду 14-69», на творчестве артистов Московского Художественного театра, занятых в спектакле.

Второй вариант включает также общую юбилейно-патетическую характеристику деятельности театра.

Оба эти варианта сосуществуют на равных правах, так как в последующие годы Иванов считал возможным перепечатывать и тот и другой. Так, например, в 1953 году для сборника «Идейность и мастерство» был взят вариант из журнала «Театр».

Во 2-е собрание сочинений вошел второй вариант. Комиссия по литературному наследству Иванова приняла решение для настоящего тома взять вариант журнала «Театр», а также имеющийся в архиве писателя очерк о Качалове, частично использованный в «Рассказе о МХАТе». Их публикация дает возможность воссоздать рассказы Иванова о МХАТе с наибольшей полнотой и без повторений.

«От «Сцены на колокольне» к «Бронепоезду 14-69» печатается по тексту журнала «Театр», 1952, № 2.

«Качалов» — по авторской машинописи, хранящейся в архиве Иванова.

Стр. 256. *...фильма «Октябрь».* — Речь идет об историко-хроникальном фильме Сергея Эйзенштейна, созданном к десятой годовщине Октября.

Кондратий Худяков — впервые «Звезда Прииртышья» (Павлодар), 1964, 4, 5, 7 и 8 января.

В архиве писателя хранится папка с заглавием «Портреты моих друзей», где находится план всего этого цикла. Вслед за общим заголовком — *Встречи (друзья)* — идет перечень имен: К. Худяков, А. Сорокин, Б. Пильняк, А. Афиногенов, С. Есенин, К. Федин, Б. Пастернак, С. Лебедева, А. Ахматова. Имена К. Худякова и А. Соро-

кина отмечены красным карандашом, очевидно, потому, что очерки о них были написаны. В архиве хранятся также черновые наброски к очеркам об А. Афиногенове и Б. Пильняке.

Очерк «Кондратий Худяков» открывает собой этот цикл. Основанием для него частично послужили письма Вс. Иванова, адресованные к Худякову. Они были возвращены Иванову семьей поэта (см. наст. том). Одно письмо — 1920 года из Татарска — Иванов хотел включить в очерк.

Печатается по авторской машинописи, хранящейся в архиве писателя.

Стр. 273. *...в стиле... Сурикова и Дрожжина.* — Иван Захарович Суриков (1841—1880) и Спиридон Дмитриевич Дрожжин (1848—1930), русские поэты, выходцы из народных низов, воспринявшие демократическую поэтическую традицию А. Кольцова, Т. Шевченко, Н. Некрасова и по мотивам, связанным с жизнью трудового народа, и по форме — проникновенной, простой и напевной.

Стр. 274. *...«гимелетика»* — должно быть «гомилетика» — часть богословия, излагающая принципы церковного проповедничества. Термин возник в XVIII веке от греческого глагола ὁμιλέω — разговаривать, беседовать.

Стр. 276. *...под названием «Сибирь».* — Книга вышла в Кургане в 1916 году.

Стр. 277. *...в редакцию газеты «Новая жизнь»* — ежедневная газета, издаваемая с апреля 1917 года по июль 1918 года в Петрограде. В составе редакции был А. М. Горький.

Стр. 278. *...В. Пруссак* — Владимир Владимирович Пруссак (1898—1918), поэт. Петербургским гимназистом был сослан в Сибирь за революционную деятельность. Печатался в сибирских газетах и журналах. После Февральской революции вернулся в Петроград, но связей с Сибирью не порывал.

...Г. Маслов — Георгий Владимирович Маслов, поэт, бежавший из революционного Петрограда в Сибирь. Умер от сыпняка в Красноярске в конце 1919 года.

Стр. 281. *...Кондратий Кузьмич внезапно скончался.* — К. Худяков умер 7 апреля 1920 года.

Антон Сорокин — впервые «Звезда Прииртышья» (Павлодар), 1964, 25, 28, 29, 31 января и 4 февраля.

Печатается по авторской машинописи, хранящейся в архиве Вс. Иванова.

Стр. 288—289. *Я ему устраивал скандалы...* — Из этого выросла книжка А. Сорокина «33 скандала Колчаку» — см. сб.: А. Сорокин. Напевы ветра. Новосибирск, 1967.

Стр. 292. ...*Колчак ушел, ведя под руку свою даму.* — Эпизод, приводимый здесь, по всей вероятности, вымышленный, или, как предполагает Л. Мартынов, Иванов стал жертвой очередного сорокинского розыгрыша (Л. Мартынов. Воздушные фрегаты).

Стр. 294. ...*наша переписка порвалась.* — Подробности отношений Вс. Иванова и А. Сорокина изучены Е. И. Беленьким в статье «Всеволод Иванов и Антон Сорокин» (сб. «Всеволод Иванов. Труды межвузовской конференции, посвященной 70-летию со дня рождения писателя». Омск, 1970).

Стр. 295. ...*некролог об Антоне Сорокине...* — Некролог напечатан в «Известиях» 27 марта 1928 года без подписи. Умер Антон Сорокин 24 марта 1928 года.

...*писатель Ф. Березовский* — Феоктист Алексеевич Березовский (1877—1952), печатался с 1900 года. Главные произведения свои посвятил изображению революционного движения в Сибири, большевистского подполья в период колчаковщины и становлению Советской власти в Сибири. Участвовал в создании журнала «Сибирские огни».

Стр. 296. *Некоторое время спустя...* — По этому поводу Т. В. Иванова, жена писателя, свидетельствует:

«В этом очерке сказалось чрезвычайно характерное для Всеволода Иванова смещение временных представлений.

Антон Сорокин умер в 1928 году (на моей памяти, когда изд-во «Круг» уже не существовало, а вызван Всеволод был, когда звонила с вокзала жена Сорокина, на заседание редколлегии журнала «Красная новь». Сергей Есенин умер в 1925 г. (за 3 года до Сорокина), следовательно, не на похоронах Есенина, а, скорее всего (это мое предположение), на похоронах Тынянова в 1943 году (когда мы зашли и на могилу Есенина и вообще побродили по кладбищу) увидел Всеволод ту надпись на надгробии Сорокина, которой кончает свой очерк».

С. Есенин — впервые посмертно в кн.: Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. М., «Советский писатель», 1969. Очерк задуман был в серии «Портреты моих друзей». Остался незавершенным. В архиве писателя хранится несколько планов этого очерка. Один из них приведен в основном тексте.

В публикуемых воспоминаниях в большей степени обработано начало. Далее идут заготовки и наброски к портрету, еще не организованные и не связанные композицией.

Т. В. Иванова, комментируя план портрета С. Есенина, вспоминает некоторые рассказы писателя, которые он не успел написать. В частности, это касается «Дуэли» и «Малого театра». «Однажды придя к Есенину, Всеволод застал у него красивую женщину. Есенин представил ее 〈...〉 Завязался общий разговор. Пошутили, посмеялись. Когда женщина ушла, Есенин сказал: «Теперь мы с тобой будем драться из-за нее на дуэли. 〈...〉 Во-первых-де, дуэль в традициях русской литературы: все великие поэты дрались на дуэли или гибли во время дуэли. Во-вторых, для рекламы 〈...〉 не придумать ничего лучше и романтичнее дуэли 〈...〉

Отговорить Есенина от этой затеи 〈...〉 так и не удалось 〈...〉 Однако никаких кровавых последствий «дуэльная» выдумка не имела».

Воспоминания о Есенине печатаются по рукописи, хранящейся в архиве писателя.

Стр. 297. *Галя Бениславская* — Галина Артуровна Бениславская (1897—1926), друг С. Есенина. Жила некоторое время одной семьей с сестрами Есенина Екатериной и Александрой. Через год после смерти поэта (3 декабря 1926 г.) застрелилась на его могиле, оставив записку: «В этой могиле для меня все самое дорогое».

Стр. 298. *М[отя], беги за Костей...* — Матвей Давидович Ройзман и Константин Аристархович Большаков — московские литераторы.

Стр. 299. *...назвать «Москвитянин».* — Из-за ссоры Есенина с Мариенгофом и имажинистами ни журнал, ни издательство не были созданы.

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ЗАМЕТОК РАЗНЫХ ЛЕТ

Впервые посмертно, с наибольшей полнотой напечатано в кн. Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким. До этого были разрозненные публикации в журналах и газетах, осуществленные вдовой писателя, Т. В. Ивановой.

Поскольку рукописи представляют собой черновики, написанные карандашом, в иных местах почти стершимся, изобилуют сокращенными словами, в прежние публикации проникли невольные искажения, ошибочно прочтенные слова; непонятные фразы иногда в текст не включались.

Для настоящего издания текст тщательно сверен с авторскими рукописями, в него внесены существенные исправления,

Текст дневников печатается по рукописям, хранящимся в архиве писателя.

Текст черновых заметок разных лет — по оригиналам, находящимся в фонде Вс. Иванова Рукописного отдела Государственной библиотеки им. В. И. Ленина в Москве.

1939

Стр. 305. *Врубель — на стене церкви XII века...* — Художником выполнены росписи и иконы в Кирилловской церкви (середина XII в.).

...переделку «Битвы в ущелье». — «Битва в ущелье» — незавершенное произведение Вс. Иванова.

И одновременно «Кесарь и комедианты» — первоначальное название пьесы Вс. Иванова «Вдохновение».

...написанный 30 сентября. — Видимо, здесь описка, нужно читать «30 августа», ибо запись сделана 2 сентября.

Дженни — жена советского драматурга А. Н. Афиногенова, американка.

Стр. 306. *...мнение о моей пьесе...* — Речь идет о пьесе «Вдохновение».

1940

Стр. 308. *Позвонил Виленкин...* — Виталий Яковлевич Виленкин (1911 год рожд.), сотрудник МХАТа, впоследствии его историк, педагог студии МХАТа.

...убиты Левин и второй корреспондент «Правды». — Речь идет о Борисе Михайловиче Левине и Сергее Владимировиче Диковском, которые погибли в бою с белофиннами 6 января 1940 года.

— Здорово сказали! — Вс. Иванов не сказал ничего. Начал говорить, остановился, махнул рукой и отошел от микрофона — примечание Т. В. Ивановой.

...смерть Макса. — Максим Алексеевич Пешков, сын А. М. Горького.

...ненавидел страстно Крючкова. — Петр Петрович Крючков, секретарь А. М. Горького.

...статью «Улицы»... — Статья опубликована в газете «Известия» 5 ноября 1940 года.

...вечером Луков... — Лев Давыдович Луков (1909—1963), советский кинорежиссер, ставивший фильм «Пархоменко» по сценарию Вс. Иванова.

1941

Стр. 309. *...утром 23-го написал...* — Статья «Мое отечество» была опубликована 24 июня.

Дементьев — водитель машины, работавший в Союзе писателей и в свободные дни у Вс. Иванова.

Стр. 310. *...Тардова сообщила...* — жена писателя Тардова (1892—1948) из Киева, остановившаяся у Ивановых.

...был у Над[ежды]Алексеевны. — Надежда Алексеевна Пешкова — невестка А. М. Горького.

Стр. 311. *Шилькредт сзываег пожарников...* — У Вс. Иванова описка — нужно Шильдкрет Константин Георгиевич (1886—1965), писатель, в войну начальник домового ПВХО.

1942

Стр. 313. *Конец № 8 — Шах-Зайнутдин, мазар.* — Речь идет о пригородном районе Ташкента, куда ведет маршрут трамвая № 8.

Стр. 314. *Худ[ожник] Уфимцев.* — Виктор Иванович Уфимцев (1899—1964), друг Вс. Иванова. О своих отношениях с Ивановым Уфимцев вспоминал в кн.: «Говоря о себе». М., «Советский художник», 1973. См. также письма Иванова к Уфимцеву в наст. томе.

...«Проспект Ильича» — роман о Великой Отечественной войне. Были напечатаны лишь отдельные главы.

Стр. 315. *Богословский приходил...* — Н. Богословский, композитор.

...авторское «Щит славы». — Речь идет о сборнике статей Иванова, вышедшем в Ташкенте в 1942 году.

Стр. 316. *... актр[иса] Раневская...* — Фаина Григорьевна Раневская (р. в 1896 г.), советская актриса.

...по поводу стих[ов] Гафур Гуляма.— «Тоска по сыну» — стихотворение узбекского советского писателя Г. Гуляма в русском переводе Светланы Сомовой «Жду тебя, сын мой» было опубликовано в «Ташкентском альманахе» (Ташкент, 1942). Вс. Иванов был одним из редакторов альманаха.

Стр. 317. *...и Живов.* — М. С. Живов, журналист, критик.

Стр. 320. *...во времена Моти Погребинского.* — Речь идет о знакомом А. М. Горького сотруднике НКВД, одном из инициаторов создания исправительных трудовых коммун.

Стр. 321. *Храпченко и его помощники.* — Храпченко Михаил Борисович (1904 г. р.), литературовед, общественный деятель, с 1966 г. академик. В упоминаемое время (1939—1948) — председатель Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР.

Стр. 322. *...приехала О. Д. Форш.* — Знакомство Иванова с Ольгой Дмитриевной Форш (1873—1961) началось в 1921 году, когда Иванов, приехав из Сибири в Петроград, вошел в группу «Серапионовых братьев». О. Д. Форш посещала вечера этой группы в Доме искусств. Переезд Вс. Иванова в Москву не оборвал знакомства, так как Форш часто наезжала в Москву по своим литературным делам, оно выросло в многолетнюю дружбу. Об этом говорят письма О. Д. Форш Вс. Иванову и его жене, Т. В. Ивановой (см. воспоминания Т. В. Ивановой — «Иванов» (1), с. 309. и в сб. «О. Форш в воспоминаниях современников». Л., «Советский писатель», 1974 («Неистребимо молодая»).

В момент дневниковой записи О. Форш возвращалась из эвакуации. См. также письмо Иванова сыновьям (декабрь 1942 г.).

Штейнер ругал русских... — Рудольф Штейнер (1861—1925), философ — мистик, основатель «Антропософского общества».

Стр. 323. *...дети ее дочери.* — У Иванова ошибка, нужно: «сына».

Уэтли — «Основания логики»... — Речь идет о книге Ричарда Уэтли, архиепископа дублинского, вышедшей в русском переводе А. П. Шимкова в СПб., 1873.

Днем пришли Гусевы... — Речь идет о Викторе Михайловиче Гусеве (1909—1944), известном советском поэте, драматурге, и его жене, Нине Петровне.

Читал книжку русских юмористов... — Какую именно книгу читал Вс. Иванов, установить не удалось.

Стр. 324. *...данных мне Ник*[*олаем*] *Вл*[*адимировичем*] — Н. В. Михаловский, брат Тамары Владимировны Ивановой.

Стр. 325. *...книгу с нетерпением.* — Эта часть записи была сделана сразу по окончании романа, в феврале 1939 года. К 30 декабря 1942 года относится лишь ее продолжение (запись чернилами сменилась записью карандашной).

1943

Стр. 327. *«История Эллинизма» Дройзена.* — Иоганн Густав Дройзен (1808—1884), известный немецкий историк. В русском переводе его труд вышел в 1890—1893 гг.

...рассказ «На святом Лазаре». — Рассказ (1912) русского писателя и поэта В. Я. Брюсова (1873 — 1924) вошел в его сборник «За моим окном» (изд-во «Скорпион», 1913).

Стр. 332. *«На улице пыль и ветер».* — В единственном вышедшем из печати номере газеты «Согры» этих стихов не было. Возможно, что Вс. Иванову изменила память, а может быть, эти стихи предназначались для последующих «Согр», которые не увидели свет.

Стр. 334. ...*об изумительном К. Заслонове.* — Константин Сергеевич Заслонов (1909—1942), один из руководителей партизанского движения в Белоруссии. Великая Отечественная война застала его начальником паровозного депо в Орше. Летом и осенью 1942 года бригада Заслонова вела активные боевые действия в районе Витебск — Орша — Смоленск. Погиб 14 ноября 1942 года. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Стр. 336. ...*для «Гудка» о Заслонове.* — Статья напечатана 9 апреля 1943 года под названием «Народный герой».

1945

Стр. 341. ...*звонить к Баеву.* — Полковник Баев, в то время начальник отдела печати Главного политического управления РККА.

Стр. 343. *Поехали к Крюкову.* — Владимир Викторович Крюков, генерал, командовавший конным корпусом. Во время гражданской войны воевал в бригаде А. Пархоменко.

Повернули к Цветаеву. — Генерал-полковник, командовавший армией.

Кудреватых и Мгржанов уехали в Ландсберг... — Леонид Александрович Кудреватых (р. в 1906 г.), писатель, во время Великой Отечественной войны корреспондент «Известий». Об отношениях с Ивановым в ту пору см. его воспоминания «Штрихи к портрету» в кн.: «Вс. Иванов» (1 и 2). Мартын Мержанов, журналист, военный корреспондент «Правды».

Стр. 346. ...*и Горбатов* — Горбатов Борис Леонтьевич (1908—1954), советский писатель, в конце Великой Отечественной войны его корреспондентские маршруты пересекались с ивановскими.

Стр. 349. *Нюрнбергские встречи...* — Эта часть корреспонденций Иванова впервые была напечатана в кн.: Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким. Она дополняет те корреспонденции с Нюрнбергского процесса, которые Иванов публиковал в 1945 году в газете «Известия» и которые были включены во второе собрание сочинений (8-й том).

1946

Стр. 356. Запись 27 декабря сопровождает вклейка из «Вечерней Москвы» от 26/XII 1946 года. В статье «Образ современного героя в драматургии и на сцене» говорится о том, что кабинет актера и режиссера ВТО устраивает заседания, посвященные проблемам истории искусства советского актера и образу героического современника. Упомянут доклад о Качалове — Вершинине, о работе Хмелева над Пеклевановым. Сообщается также о вечерах в Доме актера, где артистами московских театров были показаны сцены из советских спектаклей, в том числе из «Бронепоезда».

Стр. 360. *...авторские И. Судакову...* — Илья Яковлевич Судаков (1890—1969), режиссер, ставил в МХАТе пьесы Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69» и «Блокада».

Стр. 361. *...судьба портного Биллингса из Теннеси?* — В рассказе Марка Твена «Путешествие капитана Стормфилда в рай» о портном Биллингсе говорится, что он писал стихи, какие не снились Гомеру и Шекспиру, но никто их не читал, кроме невежественных соседей, зато в раю ему устроили пышную встречу.

...до «При взятии Берлина». — Роман был опубликован в журнале «Новый мир» в 1946 году (№№ 1—6).

Стр. 362. *В китайской письменной сказке (Ляо Чжай).* — Имеются в виду новеллы китайского писателя Пу Сун-лина (1640—1715), писавшего под псевдонимом Ляо Чжай. Ко времени упоминания Вс. Иванова о нем вышел ряд сборников новелл Ляо Чжая в переводе академика В. Алексеева — «Лисьи чары» (1922), «Монахи-волшебники» (М. — Пг., 1923), «Странные истории» (Л., 1928), «Рассказы о людях необычайных» (М. — Л., 1937).

Стр. 364. *Статья о Пастернаке в газете «Культура и жизнь».* — Имеется в виду статья А. Суркова, опубликованная 21 марта 1947 года «О поэзии Пастернака».

Читал О. Генри — О. Генри (1802—1910), американский новеллист.

...ночью рассказ «Джунгарский цветок». — Рассказ впервые был опубликован в журнале «Огонек», 1947, № 18.

«Липовый медведь». — Рассказ впервые напечатан в кн.: «На охоте». М., 1949.

...Лабиша. — Лабиш Эжен Марен (1815—1888), французский драматург, снискавший славу «короля водевиля».

Стр. 366. *Писал — сценарий...* — Речь идет о сценарии «Город в пустыне». Главы из этой киноповести опубликованы в журнале «Советский воин», 1947, № 21, под названием «Эксперимент».

Приехал И. Груздев. — Илья Александрович Груздев (1892—1960), советский литературовед, критик, автор работ о Горьком. Вс. Иванов был с ним дружески близок еще со времен существования группы «Серапионовых братьев», в которую они оба входили.

Стр. 367. *Встретил Соколова-Микитина...* — Речь идет о советском писателе Иване Сергеевиче Соколове-Микитове (1892—1975), с которым Иванов был знаком еще в 20-е годы.

...Полторацкого... — Виктор Васильевич Полторацкий (1907 г. р.), советский писатель, очеркист и поэт, позднее (в 1958—1960) главный редактор газеты «Литература и жизнь».

1954

Стр. 368. ...*как я работал над «Фаустом».* — Речь идет о переводе «Фауста» Гете.

...*написал Вильмонт.* — Николай Николаевич Вильям-Вильмонт (1901 г. р.), советский историк литературы и переводчик, автор монографии о Гете, редактор и составитель однотомника сочинений Гете.

1959

Стр. 370. ...*прогулка с Матусовским...* — Михаил Львович Матусовский (1915 г. р.), советский поэт.

Стр. 372. ...*во рту С. Северцева.* — Сергей Леонидович Северцев (1924 г. р.), поэт-переводчик.

1961

Стр. 374. ...*вместе с Познером.* — В. Познер (1905 г. р.), французский писатель, коммунист, друг Вс. Иванова. В. Познер раннюю юность провел в Петрограде, был членом группы «Серапионовы братья». Здесь с ним и познакомился Иванов. Между ними шла переписка (см. письма Познера в настоящем томе). Вс. Иванов всегда виделся с ним, приезжая во Францию.

Стр. 377. ...*где живет писатель Д. Линдслей.* — Джек Линдслей (1900 г. р.), английский писатель, историк и критик. Создатель антологии русской советской поэзии на английском языке. Бывал в СССР, его книги переводились на русский язык.

Стр. 378. ...*позавидовавший Андроникову...* — Ираклий Луарсабович Андроников (1908 г. р.), писатель, литературовед, мастер исполнения устных рассказов.

...*а Сурков о литературе...* — Алексей Александрович Сурков (1899 г. р.), советский поэт.

Стр. 379. ...*В. Стифенсон* — по-видимому, название одного из замков в Шотландии.

Стр. 380. ...*почитав И. Анненского.* — Иннокентий Федорович Анненский (1856—1909), русский поэт, драматург и переводчик.

...*очаровательного Пети.* — Петя, внук Вс. Иванова от сына Михаила.

...*о смерти Мухтара Ауэзова...* — Мухтар Омарханович Ауэзов (1897 г. р.), советский писатель, умер 27 июня 1961 года в Москве. Иванова связывали с ним тесные дружеские отношения. Высокую оценку личности и творчества Ауэзова Иванов высказывал в печати: в 1948 году напечатал статью о романе «Абай» — «Роман о пе-

сне» («Литературная газета», 10 ноября), в 1959 году — приветствие по случаю шестидесятилетия (М. Ауэзову. Сборник статей к его 60-летию. Алма-Ата, 1959).

1962

Стр. 381. *Переписывал «Генералиссимуса».* — Имеется в виду незавершенный рассказ Вс. Иванова об Александре Даниловиче Меншикове. Хранится в архиве писателя.

...перечитывать «Портрет Д[ориана] Грея»... — Речь идет о романе английского писателя Оскара Уальда (1854—1900).

Стр. 384. *Храм Бориса и Глеба.* — Речь идет о церкви XII века в селе Кидекша на р. Нерль в 4 км от г. Суздаля.

Стр. 387. *Никонов поймал...* — Василий Григорьевич Никонов (1921 г. р.), читинский писатель, спутник Иванова. Об отношении Иванова к нему можно судить по письмам, публикуемым в настоящем томе.

Стр. 389. *Гоша ловил...* — Речь идет о читинском поэте Граубине Г. Р. (1929 г. р.).

Стр. 391. *Александр Григорьевич Федоров отговорил...* — Об А. Г. Федорове, краеведе, живущем на Шерловой горе, Вс. Иванов писал в «Хмеле». Там он назван Алексеем.

...даже Павел Гамов. — Работник читинского радиокомитета, вместе с Г. Граубиным, В. Никоновым и Вс. Ивановым путешествовал по Забайкалью.

Стр. 394. *Скажем, «Боярыня Морозова» или «Золотая осень»...* — Речь идет о картинах В. И. Сурикова (1848—1916) (оконч. в 1887 г.) и И. И. Левитана (1861—1900) (1895 г.).

Стр. 395. *...подарила Алеку фонарь...* — больной мальчик из соседней палаты.

Читал «Прозу» М. Цветаевой. — Иванов имеет в виду прозаические произведения поэтессы М. И. Цветаевой (1892—1941) «Пленный дух» и воспоминания о М. Волошине (см. журнал «Москва», 1967, № 4 и «Литературная Армения», 1968, №№ 6, 7).

Рассказ Сергея Андреевича — палатный врач.

«О построении града» — неосуществленный замысел романа Вс. Иванова, о котором он писал так: «В сентябре 1960 г. я поехал в Южный Казахстан: мне захотелось увидеть в теперешнем их состоянии те места, в которых много лет назад (в 1913 году) происходит действие романа моего, отчасти автобиографического: «Мы идем в Индию». Разумеется, в жизни народа сорок семь лет — срок большой, а в жизни народа, строящего новое общество,— срок гигантский, срок потрясающий, что я и увидел своими глазами. Мне захотелось написать об этом. Я возмечтал написать роман «О построении града» («Московский литератор», 1961, 14 сентября).

Стр. 396. *«Кремль»* — неопубликованный роман Вс. Иванова. В первой редакции был завершен в 1929 году, но писатель до конца жизни неоднократно возврашался к работе над ним.

«Художник» — неосуществленный замысел книги, в которой должны были отразиться впечатления от поездок Вс. Иванова в Европу, Азию, Японию, Забайкалье и Читинскую область. Вс. Иванов мыслил себе эту книгу как большую повесть «о советском художнике, его творческих исканиях на пути более верного, глубокого и яркого выражения современной темы в произведениях изобразительного искусства. Действие повести развертывается в Восточной Сибири, старой и новой Москве, в зарубежных странах» («Вечерняя Москва», 1961, 11 октября).

«Рассказ о голубом костюме»— неосуществленный замысел Вс. Иванова.

Стр. 397. *«Две сиротки» прошли чуть ли не две тысячи раз.* — Речь идет о мелодраме Деннери и Кормона. В обработке В. Масса она была поставлена К. С. Станиславским в МХАТе в 1927 году под названием «Сестры Жерар».

1963

Стр. 400. *...сценарий «Бронепоезд».* — Был опубликован в журнале «Простор», 1963, № 11.

Стр. 401. *Вечером — Капица, Нилин, Тарковский.* — Петр Леонидович Капица (1894 г. р.), известный советский физик, академик, друг семьи Ивановых. Павел Филиппович Нилин (1908 г. р.), прозаик и драматург. Арсений Александрович Тарковский (1907 г. р.), поэт.

Стр. 402. *...директор и Грибанов...* — Борис Тимофеевич Грибанов в то время — главный редактор творческого объединения писателей и киноработников студии «Мосфильм».

* * *

Стр. 404. *«Второй рас[ска]з о лампе Аладдина»* — название одного из трех предполагавшихся вступлений к циклу «Фантастические рассказы». См. рассказ «Медная лампа» в т. 5 наст. собр. соч.

Приключ[енческая] литература — запись на листе с заголовком: «К теории».

Стр. 405. *И он прив.* — Запись относится к периоду работы над романом «Поэт», в котором предполагалась разработка «семейной» линии сюжета.

Стр. 407. *...добрые поступки?* — Запись на листе с заголовком: «Добро».

Я уже писал, что у Льва Толстого... — Фрагмент из записи под заголовком: «Л. Толстой».

Стр. 408. *...буддийский священник в «Карме»?* — Речь идет о рассказе Л. Н. Толстого (1894) — вольном переводе сказки американского писателя Поля Каруса.

Стр. 410. *«Получился идеал — Соломин».* — Упоминается персонаж из романа И. С. Тургенева «Новь».

Стр. 411. *«Заблуждение».* — На оборотной стороне листа, где сделана эта запись, есть дата: 5 января 1961. Переделкино.

Стр. 412. *(«Вел[икодушный] рогоносец» или —«Ты хотел этого, Ж. Данден!»).* — Речь идет о пьесе Ф. Кроммелинка и комедии Мольера.

Стр. 413. *«Д-р Гааз»...* — Вероятно, речь идет о биографическом очерке Александра Федоровича Кони (1844—1927), русского писателя и общественного деятеля, посвященном Федору Петровичу Гаазу (1780—1853), российскому гуманисту, общественному деятелю, с 1829 года занимавшему пост главного врача полицейских больниц и тюремных госпиталей в Москве. Кони называет его «неутомимым утешителем страждущих». Очерк А. Ф. Кони выдержал 5 изданий (см. собрание сочинений А. Ф. Кони в восьми томах, т. 5. М., «Юридическая литература», 1968).

Стр. 414. *Слишком уж она жестока.* — Эти записи сделаны на листках, которые Иванов заполнял в последний год жизни. Стопка таких же листков, оставшихся не заполненными, по свидетельству Вячеслава Всеволодовича Иванова, лежала на письменном столе вплоть до самой кончины писателя.

Стр. 423. *Читал вчера... Канта.* — Этот фрагмент дан как вставка в текст на листке, имеющим заголовок: «К теории».

Стр. 428. *...путь, проделанный Кохаревым.* — Речь идет об одном из героев незавершенного романа «Поэт».

Стр. 429. *...и Ватулове.* — Герой пьесы Вс. Иванова «Главный инженер». Тернов, Маша, упоминаемые далее — также персонажи этой пьесы.

Стр. 430. *...«к полному и безусловному порабощению чужой воли».* — Вс. Иванов здесь цитирует книгу русского психолога Александра Федоровича Лазурского (1874—1917) «Классификация личностей». Как видно из письма В. Познеру от 23 ноября 1932 года, Иванов уже тогда интересовался работами Лазурского в связи с намерением написать статью «Что такое характер».

Стр. 432. *Пьер Лоти, «Галилея».* — Пьер Лоти — псевдоним Луи Мари Жюльена Вио (1850—1923), французского писателя. «Галилея»— повествование о его путешествии из Иерусалима в Дамаск через Галилею.

Стр. 437. *Преследование.* — На этом фрагменте помечено: «К сюжету».

Стр. 438. *...композиция в беллетристике?* — Запись помечена заглавием: «К теории».

Стр. 439. *Из романа «У».* — Приводимый здесь отрывок представляет собой фрагмент из неопубликованного сатирико-философского романа (1932—1933), в котором речь шла о крахе буржуазного сознания под давлением социалистической нови.

Стр. 447. *Так же, как математика...* — Фрагмент обозначен заглавием: «К теории».

Стр. 448. — *Подумайте о конце романа или повести...* — Диалог имеет название: «Разговор о жизни и искусстве».

1. Характер героя. — Запись сделана на листе с заголовками: «Подготовка к действию. Прямое действие».

Стр. 449. *Фантомы профессиональные, служебные...* — отрывок из раздела «Контраст жизненной обыденности».

Стр. 450. *Контраст — резкое различие...* — Запись помечена 23 апреля 1949 года.

Стр. 452. *Разница между психиатрией и литературой.* — На листе с этой записью пометка: «К теории».

Стр. 453. *...энергия у него есть.* — Запись завершается повторением даты: 12 окт[ября] 1958.

Стр. 456. *Ломоносов и Рихман.* — Материалы к пьесе Вс. Иванова «Ломоносов», оставшиеся неиспользованными.

Стр. 458. *Баальбек* — прославленный архитектурный комплекс в Ливане, сооруженный в I—III вв. н. э.

Стр. 464. *...даже и отвратительно* — одна из последних записей Иванова, сделанная за несколько месяцев до смерти.

Пешковский. — В библиотеке Иванова имеется несколько экземпляров книги советского языковеда Александра Матвеевича Пешковского (1878—1933) с многочисленными его пометками.

Стр. 465. — *Быть может...* — Этот фрагмент имеет заголовок: «К теории».

Стр. 466. *...сановника из ямы.* — Здесь дается описание кабинета Вс. Иванова на даче в Переделкине.

Стр. 467. *...совсем другим развлечена.* — Цитируется 34 строфа четвертой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

Стр. 470. *«Заголил на березке подол»...* — строка С. Есенина.

Стр. 472. *...(как думает Бергсон).* — Анри Бергсон (1859—1941), французский философ, автор книги «Смех в жизни и на сцене» (русский перевод. Изд. «XX век», П., 1900) или то же под названием «Смех» — в собрании сочинений, т. 5, изд. М. Семенова. П., 1914.

Стр. 475. *Гости съезжались на дачу...* — первая фраза прозаического отрывка А. С. Пушкина.

Стр. 475. *Все смешалось в доме Облонских* — начало романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

Стр. 481. *(Достоевский о рассказах По).* — Имеется в виду статья Ф. М. Достоевского «Три рассказа Эдгара По», впервые опубликованная в журнале «Время» в 1861 году (январь) в качестве редакционного предисловия к переводу рассказов «Черный кот», «Сердце-обличитель» и «Черт в ратуше».

Стр. 484. *...направляется в Смольный* — запись, относящаяся к работе Иванова над сценарием «Ленин в Смольном» (закончен в 1958 г.).

Стр. 487. *...(например, Калмыков).* — Персонаж из романа Вс. Иванова «Мы идем в Индию».

...смотрел на Денисова... — цитата из романа «Война и мир» Л. Н. Толстого.

«Матрона из Эфесы» — произведение Гая Петрония (? — ум. в 66 г. н. э.), римского писателя, вышедшее в переводе с латинского в 1923 году.

Стр. 491. *Что такое роман?* — Этот фрагмент относится к записям под заглавием: «К сюжету».

Стр. 492. *Веселовский утверждает...* — Иванов ссылается на статью историка литературы Веселовского Александра Николаевича (1838—1906) «Сказки тысячи одной ночи в переводе Галлана». — А. Н. Веселовский. Собр. соч., т. 16. М. — Л., Изд-во Акад. наук СССР, 1938, с. 231—257.

Стр. 493. *Рассуждение идет о древности.* — Запись имеет общий заголовок: «К теории».

Стр. 495. *Л. Н. Солдатов, Усниев* — персонажи романа Вс. Иванова «Сокровнща Александра Македонского».

Стр. 496. *По-видимому, преследование...* — К этой записи относится заголовок: «К сюжету».

Стр. 497. *Романтизм не изобилует...* — запись на листке с надписью: «Сюжет. Новелла — рассказ».

Стр. 499. *...(«Тайна корабля»)* — роман английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850—1894).

Стр. 501 *...авантюристы в «Копях царя Соломона»...* — произведение английского писателя Генри Райдера Хаггарда (1856—1925), известного своими приключенческими романами.

Стр. 502. *...в «Докторе Джекиле и мистере Хайде».* — Речь идет о романе Р. Стивенсона.

...всеми современными знаниями. — Запись сопровождается пометой Вс. Иванова: арх[еология] — А[лександр] Мак[едонский] и его прест[упления].

Стр. 503. *Фантастические рассказы.* — На листе с этой записью — помета: «К сюжету».

Стр. 505. *«Что такое рассказ?»* — Снова на листе помета: «К сюжету».

Стр. 508. *Фантастическое происшествие.* — Запись к роману «Поэт».

Появление экстракта — глава, предназначенная для одного из вариантов романа «Поэт». Среди черновых заметок Иванова есть листок с надписью «Поэт», вслед за которой подзаголовок: «фантастическое, а возможно, и не фантастическое,— происшествие». И далее обозначены две главы:

Глава первая — Появление экстракта «Ж 42»

Глава вторая — Выступление поэта...

Стр. 509. *...Эти рассказы вымышленные.* — На листе, где находится эта запись, стоит заголовок: «Самый фантастический из всех моих фантастических рассказов».

Рассматривая жизнь человека... — Эта запись помечена 18 января 1952 года.

Стр. 513. *«Что такое реализм?»* — По свидетельству Вячеслава Всеволодовича Иванова, эта запись из тех, что лежали на столе Вс. Иванова до последних часов его жизни.

Стр. 515. *Образ, то есть человек.* — На листке есть помета: «К теории».

Стр. 518. *Почему врач может гипнотизировать...* — Запись сделана на листе с заглавием: «К сюжету».

Стр. 519. *Читал Г. Успенского.* — Запись помечена январем 1950 года.

Стр. 522. *...чтоб на «Б[одуэна] де К[уртенэ]»!* — Иванов имеет в виду труд русского языковеда Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ (1845—1929) по дополнению словаря В. Даля «непечатными» бранными словами и выражениями.

ПИСЬМА

1

Впервые двадцать пять писем Вс. Иванова А. М. Горькому вместе с девятью письмами Горького, не включенными в Собрание сочинений Горького в 30-ти томах, появились в журнале «Новый мир», 1965, № 11 (публикация архива А. М. Горького, подготовка текста и комментарии кандидата филологических наук С. И. Доморацкой). Затем в составе двусторонней переписки Горького и Иванова тридцать восемь писем последнего вошло в сборник: Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким.

Начало переписки относится к концу 1916 года, когда Иванов, тогда еще безвестный наборщик в типографии курганских газет,

послал Горькому свои первые рассказы и получил ответ, сыгравший первостепенную роль в его будущей литературной судьбе. Личное знакомство с Горьким после приезда Иванова из Сибири в Петроград в феврале 1921 года упрочило их взаимоотношения. До конца жизни Горького сохранялась их дружба. Вс. Иванов неоднократно возвращался к воспоминаниям о Горьком, высоко оценивая его роль в своей писательской биографии.

Письма Вс. Иванова являются существенным дополнением к этим воспоминаниям. Им свойствен доверительный тон, они искренни и откровенны. Иванов делится с Горьким своими творческими планами, посвящает его в свои литературные дела, делится сомнениями, терзаниями и находками. В письмах Иванова немало подробностей литературной жизни двадцатых и тридцатых годов. Некоторые письма интересны развернутыми зарисовками, хранящими непосредственность и яркость впечатлений писателя.

Письма печатаются по подлинникам, хранящимся в архиве А. М. Горького (Институт мировой литературы им. Горького, фонд КГ—П).

В примечаниях учтены комментарии С. И. Доморацкой.

Самое раннее письмо (без авторской даты) датируется по письму Горького 17 (30) октября 1916 года. В этом письме Горький сообщает, что рассказ Иванова «На Иртыше» будет напечатан во 2-м Сборнике писателей-пролетариев, находит у Иванова литературное дарование и советует заняться чтением, работой над языком, вообще самообразованием (см.: М. Горький. Собр. соч. в 30-ти тт., т. 29. М., 1955, с. 370).

Посылаю «Деда Антона»— рассказ, который был принят Горьким к опубликованию в том же сборнике, о чем сообщалось в письме Горького начала февраля 1917 года.

2

Датируется по письму Горького, полученному Ивановым 7(20) февраля 1917 года. В этом письме, снова называя Иванова человеком талантливым, Горький настойчиво говорит о необходимости самообразования, обещает выслать книги (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти тт., т. 29. М., 1955, с. 378).

3

Датируется по содержанию. Упоминаемая книга стихов К. Худякова вышла в самом конце 1916 года. И рассуждения Вс. Иванова о выработке воли и любви к жизни, рассказ о судьбе К. Худякова воспринимаются как ответ на мысль Горького, высказанную

им в письме начала февраля: «А Вы ищите за всем скотским — человечье, доброе. Не все люди — «стервы», далеко не все, хотя они и одичали за последнее время.

Знайте, что всем нам, знающим жизнь, кроме человека, верить не во что» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти тт., т. 29. М., 1955, с. 378).

...посылаю рассказ «Степная царевна»... — Рассказ Иванова не разыскан.

...книгу стихов Кондратия Худякова. — К. Худяков. Сибирь. Изд. Вс. Иванова. Курган, 1916. См. также в настоящем томе очерк о К. Худякове.

4

Датируется предположительно по содержанию (см. автобиографии наст. тома).

5

...книжку своих рассказов «Рогульки...» — Первый сборник рассказов, набранный самим Ивановым, вышел под псевдонимом Всеволод Тараканов.

...(я был тогда мобилизован)... — Когда в 1919 году во время захвата Омска войсками Колчака Иванов попал под закон о всеобщей мобилизации, знакомые помогли ему устроиться наборщиком в типографию фронтовой газеты «Вперед».

6

...несомненно, забыли. — Из письма Горького от 20 декабря 1920 года видно, что Иванов на этот счет ошибался.

...зимой прошлого года... — Точнее было бы сказать прошедшей зимой.

7

Получил я Ваше письмо давно... — Речь идет о письме от 20 декабря 1920 года.

«Фарфоровая избушка». — Повесть не сохранилась и в печати не появлялась.

«Алтайские сказки». — Полностью были опубликованы в журнале «Красная новь», 1921, № 2.

8

В письме автором ошибочно указано 5 января, когда Иванов был еще в Омске. Письмо написано сразу по приезде в Петроград.

9

...т. Ионов спрашивает... — Ионов Илья Ионович (1887—1942) с 1918 по 1924 год был заведующим петроградским отделением Госиздата.

Ивану Ерошину... — Иван Евдокимович Ерошин (1894—1965), поэт, был в это время связан с петроградским пролеткультом. У Иванова с ним были приятельские отношения еще со времен жизни в Омске.

10

У Иванова ошибочно указан 1920 год, нужен — 1921.

...посылаю стихи Г. Вяткина... — Вяткин Георгий Андреевич (1885—1938), сибирский писатель.

...переписываю другой — «Партизаны»... — В ближайшие дни рассказ был передан Горькому и получил его одобрение, что известно из письма Горького Иванову от 24 марта 1921 года.

11

Датируется по дате на фотокарточке Вс. Иванова, приложенной к письму.

Послал я Вам большое письмо и книгу «7-й берег»... — Письмо не было получено Горьким. Книга: Вс. Иванов. Седьмой берег. Рассказы «Круг». М. — Пг., 1922.

...написал «Возвращение Будды». — Повесть вышла в альманахе «Наши дни», 1923, № 3.

...фильму «Кабинет Калигари». — Фильм немецкого режиссера Роберта Вине называется «Кабинет доктора Каллигари».

...поперек писателя? — Явная описка. Нужно: поперек читателя?

Потому-то Серапионы для нового читателя. — Имеется в виду литературная группа «Серапионовы братья», с которой в эти годы был связан Вс. Иванов. В группу входили К. Федин, В. Каверин, М. Зощенко, Н. Никитин, Н. Тихонов, М. Слонимский, И. Груздев, Ел. Полонская.

Мы, Серапионы, как Вы нас, Алексей Максимыч, усадили да благословили... — Горький возлагал серьезные надежды на писателей, входящих в эту группу, пристально следил за их творчеством, содействовал их развитию, подвергал дружеской и требовательной критике их новые произведения. Об отношении Горького к «Серапионовым братьям» свидетельствует его статья для бельгийского журнала, на русском языке в сокращении впервые опубликованная в 1923 году (газета «Жизнь искусства», 1923, № 22). См. приложение к переписке Горького и К. Федина в кн. «Литературное наслед-

ство. Горький и советские писатели», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 561—563, письма Горького к В. Каверину, М. Слонимскому, М. Зощенко, К. Федину — там же. А также книгу К. Федина «Горький среди нас».

Лают нас, в Питере преимущественно... — Иванов имеет в виду прежде всего статью поэта Сергея Митрофановича Городецкого (1884—1967) «Зелень под плесенью».

Хороший роман пишет Федин. — Имеется в виду роман К. А. Федина (1892—1977) «Города и годы».

...он вылитый Мозжухин. — Мозжухин Иван Ильич, популярный киноактер, снимавшийся до революции в ролях героя-любовника.

...про Шкловского писать не буду. — Виктор Борисович Шкловский (1893 г. р.), писатель и критик, теоретик литературы. Вс. Иванов впервые познакомился с ним на собраниях серапионов.

...и Пильняка вижу каждый месяц. — Б. Пильняк, псевдоним писателя Вогау Бориса Андреевича (1894—1937). Вс. Иванов был связан с ним по книгоиздательству артели писателей в Москве — «Круг».

«...астрономию все по Мейеру учил...» — В России имели хождение две популярные книги В. Мейера по астрономии: «Звездное небо и его явления. Общедоступное изложение некоторых вступительных понятий по астрономии» (СПб., 1889 и СПб., 1891) и «Мироздание. Астрономия в общепонятном изложении» (СПб., «Просвещение», 1900).

12

...книгу последних Ваших рассказов? — В издательстве «Круг» (1922—1929) рассказы Горького не выходили.

...забавную повесть. — По-видимому, речь идет о повести «Чудесные похождения портного Фокина».

...печатается в Госиздате. — В. Иванов и В. Шкловский. Иприт. Роман в девяти выпусках, пятидесяти восьми главах. М., Госиздат, 1925.

13

Печатается по фотокопии.

...две последние книжки. — Какие именно книги были посланы, установить не удалось. Но в 1925 году вышли сборники: «Экзотические рассказы», «Когда расцветает сосна», Рассказы и сказки. (Б-ка «Огонька»), Рассказы (с предисловием А. Луначарского и вступительной статьей А. Воронского), а также отдельным изданием повести «Хабу» и «Чудесные похождения портного Фокина». Поскольку только повести и «Экзотические рассказы» представляли

собой новые произведения, очевидно, две из них и были посланы Горькому.

Написал я пьесу. Комедию... — Речь идет о комедии «Алфавит», из московской жизни времен нэпа. Не ставилась и не печаталась.

14

...плохой роман «Северо-сталь». — Имеется в виду роман о революционной переделке жизни в начале 20-х годов; в 1924—1925 годах публиковались лишь небольшие отрывки в журналах «Красная нива», «Зори», «Красная новь», «Рупор», «Ленинград», в газете «Известия».

Из центра был тут А. Пинкевич и Тан-Богораз. — Пинкевич Альберт Петрович (1883—1939), профессор, доктор педагогических наук. Тан-Богораз Владимир Германович (1865—1936), русский советский этнограф, языковед и фольклорист.

15

...хоть напостовцы воевали. — Речь идет о группе пролетарских писателей и критиков, издававших в Москве в 1923—1925 годах журнал «На посту», ставший печально известным своим нетерпимым критиканским отношением к непролетарским писателям. Коммунистическая партия в резолюции 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы» осудила эту тактику.

...сын у меня родился... — сын Юлий от брака с А. И. Ивановой-Весниной, умер в младенческом возрасте.

П. Романов — Романов Пантелеймон Сергеевич (1885—1938), популярный в 20-е годы беллетрист, значение которого преувеличивалось некоторыми критиками.

...роман о Разине. — Речь идет о романе советского писателя Алексея Павловича Чапыгина (1870—1937) «Разин Степан».

16

...я не получил Вашего письма мне. — Не был получен ответ на ивановское письмо из Батуми, о котором Горький упоминает в письме от 13 декабря 1925 года: «Ответил длинно — едва ли вразумительно и, кажется, сердито». См.: Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким, с. 34.

...роман «Казаки». — Роман не был завершен, а сюжетные мотивы, изложенные в письме, в трансформированном виде вошли в новый замысел романа «Кремль», над которым Вс. Иванов работал уже в конце 20-х годов.

Роллану мы адрес пошлем... — В письме от 13 декабря 1925 года Горький сообщал, что в январе 1926 года будет празднование шестидесятилетия французского писателя и общественного деятеля Ромена Роллана (1866—1944). «Я считаю обязательным оказать внимание одному из лучших писателей Европы» (Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким, с. 35).

У Вас, Алексей Максимович, внучек... — описка, надо читать: внучка.

...(увы, 2-й только)... — Второй альманах «Серапионовы братья» из печати не вышел.

17

...«Известия» отказались напечатать. — Речь идет о заявлении, в котором Иванов приносил Горькому «глубочайшие извинения» и высказал сожаление по поводу того, что дал разрешение напечатать письмо Горького Иванову с отзывом о его рассказе «На покой». Это письмо было использовано в статье М. Ольшевца «Писатель в одиночестве. Почему?», опубликованной в «Известиях» 1 января 1927 года. А 19 января там было напечатано «Письмо в редакцию», в котором М. Горький высказал свое неудовольствие фактом публикации различными литераторами его писем.

В письме Иванову от 30 января 1927 года Горький выразил радость по поводу того, что «Известия» отказались печатать заявление Иванова, объяснив, почему он «освирепел», когда увидел в печати личные письма («это дело интимное, это только «между двумя»), и уверил Иванова, что он попал под руку случайно.

...свою книжку «Тайное тайных». — Вс. Иванов. Тайное тайных. Сборник рассказов. М. — Л., Госиздат, 1927.

18

...вынужден был покинуть «Красную новь». — В августе А. К. Воронский (1884—1943) писал Горькому: «В «Нови» я числюсь, но давно уже фактически не работаю» (Литературное наследство. Горький и советские писатели, т. 70. М., Изд-во АН СССР, с. 91).

19

...получил Ваше письмо... — Письмо Горького не сохранилось.

...Главрепертком запретил... — По этому поводу режиссер-постановщик пьесы И. Я. Судаков вспоминал: «Я не подчинился требованию реперткома и не прекратил репетиций, а пошел к председателю реперткома тов. Гундобину, спрашиваю его: «Почему запрещена пьеса?» Он ответил: «В пьесе не отражена роль партии в партизанском движении на Дальнем Востоке». Понимая всю

серьезность замечания, но не имея возможности привлечь Иванова, который был в это время в Париже, к доработке, Судаков нашел подходящий текст в самой повести. «Через неделю было получено разрешение... Темп репетиций не был нарушен» («Вс. Иванов» (2), с. 156). Премьера состоялась 8 ноября 1927 года.

20

...«Блаженный Ананий» Вам понравился... — В письме от 13 октября 1927 года Горький писал: «Ананий — отличная вещь» (Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким, с. 45). Рассказ был опубликован в кн.: «Круг». Альманах, кн. 6. М., 1927.

21

...роман Олеши — «Зависть»? — Роман советского писателя Юрия Карловича Олеши (1899—1960), напечатан в журнале «Красная новь», 1927, №№ 7, 8.

...окончил повесть «Гибель Железной»... — Повесть напечатана в журнале «Красная новь», 1928, № 1.

...пишу «Записки Неизвестного солдата»... — В печати не появлялись. В качестве вставной новеллы вошли в роман «Кремль» (не опубликован).

...у меня родилась дочь — дочь Мария от брака с А. П. Ивановой-Весниной.

...праздновать Ваш юбилей. — В марте 1928 года в стране широко отмечалось шестидесятилетие со дня рождения А. М. Горького.

22

Датируется по содержанию.

...ждем от Вас с нетерпением (мы — «Красная новь»). — Речь идет о романе «Клим Самгин». В «Красной нови» были напечатаны главы из второй части романа Горького (1928, №№ 5, 6, 7, 8).

...Вы присылали телеграмму? — С. И. Доморацкая предполагает, что речь идет о поэте Алексее Фотинском, студенте Технологического института в Праге. Его стихотворение «Демонстрация» Горький хотел напечатать в «Красной нови», но не смог, т. к., невзирая на запрещение автора, оно было напечатано эсерами в «Воле России» («Новый мир», 1965, № 11, с. 249).

23

Датируется по содержанию. Писательская бригада отбыла из Москвы в Туркмению 21 или 22 марта 1930 года.

...для маленького моего детеныша. — Речь идет о сыне Вячеславе.

Написал я роман «Путешествие в страну, которой еще нет»... — Роман печатался в «Красной нови» (1930, №№ 2—5).

24

Датируется по содержанию. Письмо написано после возвращения из двухмесячной поездки по Средней Азии, но до начала сентября, когда было написано следующее письмо.

25

...рождения год 1892... — В автобиографии и личных документах Вс. Иванова фигурируют два разных года рождения — 1892 и 1895. См. прим. к автобиографии: 1.

...роман Л. Славина «Наследник». — Роман советского писателя Льва Исаевича Славина (1896 г. р.) публиковался в «Красной нови» в 1930 году (№№ 6—9).

26

...письмо Ваше, датированное 13 сентября... — ошибка. Письмо Горького датировано 14 сентября.

...касательно денег (что через Крючкова)... — В упомянутом выше письме Горький писал: «...если Вам потребны советские деньги — рекомендую обратиться к Петру Крючкову, у него есть, и он охотно вручит Вам, сколько нужно». (Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким, с. 58).

...автор А. Тарасов возмущается... — Речь идет о «Письме в редакцию» А. Тарасова, опубликованном «Литературной газетой» 29 сентября 1930 года. Автор письма возмущен неким Коничевым, который передал в журнал «На литературном посту» разносную статью о его романе «Ортодоксы», хотя Тарасов знал, что статья не будет напечатана.

27

Датируется по штемпелю на конверте.

28

...для альманаха «Год шестнадцатый». — Рассказ Василия Борохвостова в альманахе не появился.

29

...в новом рев[олюционном] парижском театре... — Пьесой в переводе В. Познера открывался первый сезон Театра интернационального действия, организованного А. Барбюсом, Л. Муссинаком и В. Кутюрье.

30

Датируется по содержанию.

31

В дате письма Вс. Иванов ошибочно или в шутку указывает 1937 и 1939 годы.

...передать Яковлеву — Яковлев Василий Николаевич (1893—1953), народный художник РСФСР.

...Ваше выступление с браковкой материала... — О непригодности некоторых материалов, предназначенных для первого альманаха «Год XVI», Горький, сам входивший в редколлегию, писал другому ее члену, Л. Авербаху, 22 декабря 1932 года.

...в статейке вместе с Леопольдом и Перцовым... — О какой статье идет речь, установить не удалось. Леопольд Леопольдович Авербах (1903—1938), литературный критик; Виктор Осипович Перцов (1898 г. р.), критик и литературовед.

...прочесть «Дневники» М. Шагинян. — Речь идет о книге советской писательницы М. С. Шагинян (1888 г. р.) «Дневники» 1917—1931, изданные с предисловием автора в Ленинграде в 1932 году.

...сидели у Ар. Халатова. — Артемий Багратович Халатов в то время директор Государственного издательства художественной литературы.

32

Датируется по штемпелю на конверте.

...нечто о своем детстве, юности... — Речь идет о работе над романом «Похождения факира».

33

Третьего дня закончил пьесу. — Имеется в виду пьеса «Поле и дорога». Горький ее читал до опубликования и внес небольшие изменения в текст. Пьеса не ставилась. Была опубликована в журнале «Театр и драматургия», 1934, № 8.

34

...Ваше письмо об Литфонде. — В это время Вс. Иванов ведал делами Литфонда. И после Первого съезда советских писателей был избран председателем правления Литфонда. В переписке нашло отражение критическое отношение обоих писателей к тому, что до конца не выдерживались права правления Литфонда.

...разговаривать с П. Юдиным! — Павел Федорович Юдин (1899—1968) был тогда заместителем председателя Всесоюзного оргкомитета Союза писателей СССР, впоследствии академик.

36

...свою пьесу «12 молодцев» — полное название пьесы «Двенадцать молодцев из табакерки». Прочитав, Горький признал ее «очень интересной», но недостаточно театральной, громоздкой для сцены. В письме, написанном после 19 октября 1935 года, он дал ее подробный анализ (см.: А. М. Горький. Собр. соч. в 30-ти тт., т. 30. М., 1956, с. 405—406). Пьеса была опубликована в журнале «Новый мир», 1936, № 1.

Сын лежит... — Речь идет о Вячеславе, у которого был костный туберкулез.

37

Датируется по содержанию.

...отрадные явления, вроде романа «Одиночество» — роман советского писателя Николая Евгеньевича Вирты (1906—1976).

...молодого писателя Еремина... — Повесть Еремина Дмитрия Ивановича (1904 г. р.) «Возвращение» издана Воронежским областным издательством в 1935 году.

...положение с книгами «Люди пятилетки» и «День мира». — «Люди пятилетки» — одно из первоначальных названий коллективного труда, задуманного по инициативе Горького к двадцатилетию Советского Союза. В 1937 году вышел только один том, под названием «Творчество народов СССР». «День мира» — сборник, вышедший в 1937 году по инициативе Горького, под редакцией его и М. Кольцова.

...среднему писателю трудно... — В ответном письме от 10 января 1936 года Горький просил Иванова собрать документальный материал об отношении к авторам и выразил намерение написать статейку о тирании и малограмотности редакторов (М. Горький. Собр. соч., т. 30, с. 417).

В. Немирович хочет ее поставить в МХАТе... — Пьеса поставлена не была.

Ведь в «Семи братьях»... — В письме от октября 1935 года Горький рекомендовал историческую пьесу Иванова «Двенадцать молодцев из табакерки» издать как «Повесть в диалогах», подобно повести Алексиса Киви «Семеро братьев».

...в сочинениях Ч. Валиханова... — Чокан Чингисович Валиханов (1835—1865), казахский просветитель, историк и этнограф.

...вторая и третья часть «Факира». — Признания Иванова по поводу второй и третьей частей романа «Похождения факира» вызваны письмом Горького, где есть такие слова: «Факира» Вы в конце написали тоже очень жидковато и наспех. Не похвально, хороший мой друг» (М. Горький, Собр. соч., т. 30, с. 405).

Словом, прочтете повесть... — Замысел не был осуществлен.

38

...империализме и формализме. — 28 января 1936 года в «Правде» была опубликована статья «Сумбур вместо музыки», положившая начало выступлениям печати против формализма в искусстве.

39

Письма Кондратию Худякову — впервые опубликованы в томе 3 «Литературного наследства Сибири» (Новосибирск, 1974). Публикация Т. В. Ивановой сопровождается вступительной статьей и комментариями М. В. Минокина.

Однако, как справедливо отмечено в статье Т. Александровой «Обязанности публикатора, ответственность издателей» («Вопросы литературы», 1976, № 3), в публикации есть текстологические неточности, вызванные тем, что текст не был дан на проверку Т. В. Ивановой. Неточности относительно датировки писем проникли и в примечания М. В. Минокина, который, как явствует из самих примечаний, оригиналов не видел и ошибочно указал их местонахождение.

Кондратий Кузьмич Худяков (1886—1920), сибирский поэт, выходец из крестьянской среды, был для Вс. Иванова и товарищем, и первым литературным учителем. При этом, как видно из писем, Вс. Иванов и сам не отказывался давать Худякову литературные советы, содействовать публикации и пропаганде его стихов, выступал как его критик.

О поэте и своих взаимоотношениях с ним Иванов подробно рассказал в очерке «Кондратий Худяков» (см. наст. том).

С двадцати лет до конца жизни Худяков жил в Кургане. Здесь Вс. Иванов и познакомился с ним. Переписка начинается с того момента, когда Вс. Иванов уехал из Кургана в Омск,

Вслед за первыми письмами Горькому письма Худякову являются самыми ранними документами, характеризующими Иванова в пору, когда он формировался как человек и делал первые шаги на литературном поприще.

Письма печатаются по подлинникам, хранящимся в архиве Вс. Иванова.

Первое письмо к К. Худякову датируется по упоминанию о вышедшем и присланном в Омск «Сборнике пролетарских писателей». Газета «Новая жизнь» сообщила о выходе сборника 28 января 1918 года.

...твое стихотворение в «Дело Сибири». — Ежедневная газета левоэсеровского направления. Иванов печатался в ней. Стихи Худякова в ней не появлялись.

Феоктистов сказал... — Феоктистов Николай Васильевич (1884 — 1949), прозаик и поэт, сотрудник «Дела Сибири» и других сибирских периодических изданий. При Колчаке был арестован.

Вышел «Сборник пролетарских писателей». Чапыгин прислал мне экземпляр. — Сборник вышел под редакцией М. Горького, Н. Сереброва (псевдоним советского писателя Александра Николаевича Тихонова — 1888—1956) и А. Чапыгина. А. Чапыгин был привлечен Горьким к издательству «Парус» и журналу «Летопись».

...в «Новом мире» статью... — курганская газета, выходила в 1917—1918 гг.

40

Датируется по содержанию письма. Речь идет о периоде вхождения Вс. Иванова в литературную среду. Омска, т. е. о первых месяцах пребывания в нем.

...послал в «Сиб[ирские] зап[иски]»... — Журнал выходил в 1916—1919 гг. в Красноярске под ред. Вл. Крутовского. Рассказ «Шантрапа» в журнале не был опубликован.

Павел Оленич-Гнененко — Павел Павлович Оленич-Гнененко (1867—1942), общественный деятель и поэт, отец поэта Александра, коммуниста, дружбой с которым Иванов очень дорожил.

...помесь Микулы Пахаря с Опацким и Пуришкевичем... — местные литераторы. Микула Пахарь — псевдоним Николая Кузьмича Кузнецова, курганского поэта-самоучки.

Во-вторых, Михаил Плотников. — Михаил Павлович Плотников (1892—1938), поэт и прозаик, печатавшийся в сибирских газетах и журналах.

...выкрики А. Сорокина. — См. очерк «Антон Сорокин» в наст. томе.

41

Год устанавливается по содержанию.

...моему брату. — Речь идет о младшем брате Вс. Иванова, Палладии, умер в Омске в 1919 году.

42

Датируется по упоминанию об организации кооперативного издательства писателей-рабочих. Статья Вс. Иванова (под псевдонимом Вс. Тараканов) «О кооперативном издательстве писателей-рабочих» была опубликована 26 сентября 1918 года в газете «Дело Сибири».

...К. Тупиков — тебе кланяются. — Псевдоним Кондратия Никифоровича Урманова (1894—1976).

«Сидит» он. — 8 августа 1918 года газета «Дело Сибири» сообщила, что на днях в своей квартире арестован А. П. Оленич-Гнененко. Вс. Иванову удавалось поддерживать связь с ним, и Оленич-Гнененко вспоминал об этом позднее с благодарностью. См.: А. П. Оленич-Гнененко. Суровые дни. — «Сибирские огни», 1958, № 10.

43

«Ниеллы» и «Джатаки». — Неизвестные рассказы Иванова. В газете «Земля и труд» не появлялись.

Во втором № «Возрождения» идут твои стихи «Дедушка Ермак» — «Братья». — «Возрождение» — двухнедельный журнал рабочих кооперативов, издавался в Омске с декабря 1918 года и в 1919 году. № 2—4 (январь — февраль) вышел 19 марта 1919 года, в нем опубликованы стихотворения К. Худякова «Дедушка Ермак» и «Четыре брата».

В журнале сотрудничали А. Сорокин, Г. Вяткин, Г. Дружинин, А. Оленич-Гнененко, Вс. Иванов, Ив. Малютин.

В «Сибирский рассвет» К. Ковальский послал мой рассказ «Незнамая Самоядь». —«Сибирский рассвет» — литературно-художественный и научно-популярный журнал, выходил в 1919 году в Барнауле под редакцией С. Исакова. В нем печатались Г. Вяткин, Г. Дружинин, А. Новиков-Прибой и др. Казимир Адольфович Ковальский — сибирский литератор. «Незнамая Самоядь»— неизвестный рассказ Вс. Иванова. Напечатан не был.

...журнале «Сибиряк»... — Единственный номер этого журнала вышел в Омске в феврале 1919 года.

...были «Согры». — Единственный номер газеты вышел в Омске 15 апреля 1918 года.

...о книге его «Тюнн-Боот». — Так назывался сборник рассказов А. Сорокина. Тюнн-Боот — название таежного растения, по-казахски означает: «шаги смерти».

...другу Малютину.. — Иван Петрович Малютин (1873—1962) был сослан в Сибирь за участие в революции 1905 года. Литератор, печатавшийся в сибирской периодике. С К. Худяковым и Вс. Ивановым познакомился в Кургане еще до Великой Октябрьской революции.

В. Тараканов — один из псевдонимов Вс. Иванова во времена колчаковщины.

44

Год установлен по содержанию.

...статью в «Зарю» — газета, издававшаяся в Омске в 1917—1919 гг. Иванов в ней печатался.

45

Датируется по упоминанию стихотворения Худякова «Кубок крови и вина». Оно было опубликовано 8 июля 1919 года в газете «Земля и труд».

Наш журнал — («Жизнь и творчество»...). — Такого журнала не было. Возможно, что речь идет о замысле альманаха молодых писателей и поэтов города. Об этом вспоминает Г. Дружинин — «Его молодость» («Простор», 1963, № 11, с. 48).

...бывало, в «Журнале журналов». — Иванов имеет в виду «Новую библиотеку «Журнал — Журналов», каждый выпуск которой посвящался отдельному автору. Эти издания выпускал «Журнал журналов», выходивший в Петрограде в 1915—1917 гг. под редакцией писателя и журналиста И. Василевского (Не — Буквы).

46

Датируется по содержанию. Вс. Иванов живет еще в Татарске. Намерение ехать в Москву или Петроград связывается с предстоящим летом.

В. Рябков в Н[ово]николаевске... — По-видимому, речь идет о Владимире Павловиче Рябове-Бельском (1847—1943), поэте и журналисте, который после революции 1917 года был в Омске, при Колчаке был арестован, а после освобождения Омска из-под колчаковщины сотрудничал в газете «Советская Сибирь», в журнале «Искусство», издававшихся в Омске.

47

...пьесу Б. Четверикова «Ихтиозавры»... — Борис Дмитриевич Четвериков (1896 г. р.), писатель, вместе со Всеволодом Ивановым работал тогда в Татарске. Об отношениях с Четвериковым Иванов вспоминает в очерке «К. Худяков» (см. наст. том).

48

Публикуется впервые. Датируется по содержанию.

Александр Семенович Неверов (1886—1923), советский писатель, прозаик и драматург. Письмо Вс. Иванова написано на бланке пролеткультовского журнала «Грядущее», с которым Вс. Иванов был связан в первые месяцы пребывания в Петрограде.

Печатается по оригиналу, хранящемуся в ЦГАЛИ, фонд № 337, оп. № 2, ед. хр. № 19.

...Ваш рассказ «Хочу жить»... — Рассказ «Я хочу жить» был опубликован в кн. 9—12 журнала «Грядущее» в 1921 году.

О Вашем «Стишке» в «Понизовье» я даю пару слов в «Грядущем». — Рассказ «Стишок» был опубликован в самарском журнале «Понизовье», 1921, № 1—3. Свою рецензию на этот журнал Иванов начал с оценки рассказа Неверова (см. журн. «Грядущее», 1921, кн. 7—8, подпись И.).

Вон, Степной. — Н. Степной — псевдоним писателя Николая Александровича Афиногенова.

49

Публикуется впервые. В письме указан месяц. Число в скобках подтверждает штемпель на конверте. Год — упоминание об окончании работы над повестью «Бронепоезд 14-69».

Вызывает недоумение обращение «Кондратий». В Омске, куда отправлено письмо, среди близких Иванову литераторов был Кондратий Урманов. Не исключена возможность, что письмо предназначалось ему, хотя адресат на конверте — Ф. А. Березовский.

Настроение тоски и усталости вызвано, главным образом, чрезвычайно напряженной работой Иванова в первый год пребывания в Петрограде.

Печатается по оригиналу, хранящемуся в ЦГАЛИ, фонд № 178, оп. № 1, ед. хр. № 121.

Привет Винокурову. — О ком идет речь, установить не удалось.

50

Публикуется впервые.

С А. К. Воронским Вс. Иванов был связан по журналу «Красная новь» и по издательству «Круг».

Печатается по рукописи, хранящейся в рукописном отделе ИМЛИ, фонд № 62, оп. № 1, ед. хр. 10.

...как Вам передавал Лунц. — Лев Натанович Лунц (1901—1924).

...а книга моя печатается четыре месяца... — Речь идет о сборнике рассказов Вс. Иванова «Седьмой берег», вышедшем в издательстве «Круг» в 1922 году.

51

Публикуется впервые.

С. А. Гарин — псевдоним С. А. Гарфильда, писатель, сотрудник «Красной газеты».

Печатается по оригиналу, хранящемуся в фонде № 146 ЦГАЛИ, оп. № 1, ед. хр. 32.

...лежу, пишу... — Привычка работать лежа у Вс. Иванова сохранилась на всю жизнь.

52

Письма К. А. Федину — публикуются впервые. С Константином Александровичем Фединым Вс. Иванов познакомился в Петрограде в 1921 году, вскоре по приезде из Омска. Как вспоминает К. Федин в книге «Горький среди нас», знакомство состоялось на квартире А. М. Горького. Возникла дружба, продолжавшаяся до самой смерти Вс. Иванова. В воспоминаниях об Иванове К. А. Федин признает, что тот был для него больше, чем дорогой друг — был братом, с уходом которого из жизни ушла часть собственной жизни, собственного сердца («Вс. Иванов» (2), с. 5).

Письма Иванова Федину с небольшими перерывами охватывают четыре с лишним десятилетия.

Наиболее интенсивной переписка была в 20-е — начале 30-х годов, когда Иванов переселился в Москву, а Федин жил в Ленинграде. Письма военных лет К. А. Фединым не обнаружены, хотя по ответным письмам Федина, имеющимся в архиве Иванова, они существовали.

После Великой Отечественной войны, когда оба писателя подолгу жили в Переделкине, характер переписки, естественно, изменился.

Из 57 писем (вместе с записками и телеграммами) отобрано 25, имеющих наибольший биографический, общественный и литературный интерес.

Печатаются по оригиналам, хранящимся в архиве К. А. Федина.

Первая по времени записка датирована примерно 1922—1923 гг.,

На конверте надпись: Госиздат, 3-й этаж, налево, в конце коридора, последняя дверь с белой никелевой ручкой, редакция журнала «Звезда». К. А. Федину.

53

Датируется по содержанию.

...серап[ионовский] червонец. — По-видимому, речь идет о подготовке к праздничному собранию «Серапионовых братьев» по случаю первой годовщины их существования.

54

Датируется по упоминанию о крестинах первой дочери от брака с Анной Павловной Весниной.

См. письмо 79 М. Л. Слонимскому.

Супружество с Весниной длилось с 1922 по 1927 год. Было четверо детей, трое из них умерли в младенческом возрасте. Все дети были крещены. Инициатива исходила, видимо, от матери, ибо, по свидетельству Т. В. Ивановой, детей от следующего брака не крестили.

55

Датируется по штемпелю на конверте.

— *Я из «Звучащей раковины»* — круг любителей поэзии, собиравшихся на квартире у Наппельбаума М., знаменитого фотографа.

...рассказ «В Бразилию». — Такой рассказ у М. Слонимского действительно есть, был опубликован в «Огоньке» (1923, № 1).

Как твой роман? — Речь идет о романе «Города и годы», над которым Федин работал уже в это время.

Илье Абрамовичу Груздеву. — Здесь шутка. Груздева звали Ильей Александровичем.

56

...в последнем № 5 «Кр[асной] нови» Воронский... — Вс. Иванов имеет в виду статью А. Воронского «Искусство как познание жизни», где, в частности, идет речь о многих писателях-«попутчиках».

Как наши круговские англичане... — Речь идет о Н. Никитине и Б. Пильняке, которые ездили в Англию.

...английский кол? — Одно произведение под названием «Кол» (1922) у Н. Никитина уже было.

57

...писать о твоем романе. — В. Шкловский тогда о романе «Города и годы» не писал.

...повесть, которую отдал в «Ковш». — Видимо, речь идет о «Чудесных похождениях портного Фокина», но повесть в «Ковше» не была напечатана. «Ковш» — литературно-художественный альманах, выходивший в 1925—1926 гг. в Ленинграде. Вышло четыре книжки. К. А. Федин был членом редколлегии альманаха. Ответственный редактор — писатель С. Семенов.

Собрались тут пролетарские писатели со всей России. — 6 — 11 января проходила Всесоюзная конференция пролетарских писателей. А. Луначарский делал доклады о текущем моменте и по работе Международного бюро связи пролетарской литературы.

...никаких пролетарских писателей нет и не будет. — Ирония Вс. Иванова относится к сектантству журнала «На посту», который резко противопоставлял пролетарских писателей не-пролетарским.

58

...в «Соплитицимусе» — шутка, журнал называется «Симплициссимус»; немецкий иллюстрированный еженедельник, изд. с 1896 г., особенно популярный в годы первой мировой войны. Был закрыт после фашистского переворота в Германии.

59

Альманах «Круг» едва ли сможет издать... — Речь идет об издании альманаха к пятилетнему юбилею «Серапионовых братьев». Издание не состоялось.

...перешел к драме. — Речь идет о работе над комедией «Алфавит», по поводу которой Иванов не раз признавался, что комического в ней ничего не осталось.

60

Датируется по штемпелю на конверте.

...книжку сдам в марте... — Речь идет о сборнике рассказов, вышедшем в Ленинграде в 1927 году под названием «Дыхание пустыни».

61

Датируется по штемпелю на конверте.

62

...мое письмо с фотографиями. — В это время Вс. Иванов увлекся фотографией, но был в этой области малоудачлив.

...продам ее в другое место. — «Бамбуковая хижина» появилась в московском альманахе «Земля и фабрика» (кн. 3, 1928).

...все писателей хороним. — Была еще свежа память о гибели С. Есенина. 9 февраля умерла Л. М. Рейснер, 15 марта — Д. А. Фурманов.

63

Год письма установлен по содержанию.

«Белая гвардия»... — Так первоначально называлась пьеса М. Булгакова «Дни Турбиных», генетически связанная с романом «Белая гвардия». Пьесу поставил МХАТ.

64

Дата письма указана К. А. Фединым на конверте.

...засяду за роман. — Иванов в это время задумал роман «Казаки», о чем см. 15 письмо Горькому.

65

Датируется по штемпелю на конверте.

На первой странице письма — расштрихованная клякса. Около нее приписка: «это клякса какая опрятная. Лидин прямо». Владимир Германович Лидин (1894 г. р.), советский писатель, прозаик.

66

Датировано по штемпелю на конверте.

67

Получил твою книгу. — Видимо, речь идет об издании иллюстрированных художником К. Эрбштейном «Абхазских рассказов» К. А. Федина (М. — Л., ГИЗ, 1927).

68

...к тринадцатой годовщине — тринадцатая годовщина со дня основания «Серапионовых братьев».

69

Доре Сергеевне, и Нине, и Вареньке — жена, дочь и внучка К. А. Федина.

72

Датируется по содержанию.

74

«Ухабы» — неосуществленный замысел.

75

Мария Игнатовна Будберг — секретарь и друг Горького, приехала в СССР из Лондона.

76

Датируется по содержанию письма № 75.

...у Тимоши — семейное прозвище Н. А. Пешковой, невестки А. М. Горького.

78

Письма М. Л. Слонимскому. — Полностью публикуются впервые. Часть из них приводилась в воспоминаниях М. Л. Слонимского, впервые опубликованных в журнале «Звезда», 1965, № 1, под названием «О Всеволоде Иванове», а затем вошедших в сборник воспоминаний «Вс. Иванов» (1 и 2).

С Михаилом Леонидовичем Слонимским (1897—1972) Иванов познакомился в Петрограде в 1921 году, когда стал посещать вечера писателей, собиравшихся в комнате Слонимского в «Доме искусств» и назвавших себя «Серапионовыми братьями».

Письма относятся к 20—30-м годам и хорошо передают атмосферу дружбы, установившуюся между «Серапионами».

С отъездом Вс. Иванова в Москву в письмах усилились мотивы, связанные с товарищеской поддержкой в издательских делах. Характерно, что многие письма Иванова из Москвы в Ленинград, касающиеся публикаций произведений Слонимского, отправлены спешной почтой.

Печатаются по оригиналам, хранящимся в архиве М. Л. Слонимского в Ленинграде.

Первое по времени письмо — записка на клочке бумаги, даты не имеет. Вероятно, относится к одному из заседаний группы «Серапионов», на котором пришлось председательствовать Иванову.

79

...выпуска сборника «Серапионов». — Речь идет, вероятно, об альманахе, задуманном Горьким. Альманах под названием «1921 год» должны были подготовить «Серапионы». У Горького был продуман его план (см.: «Литературное наследство», т. 70. М., 1963, с. 375—376). План не был осуществлен.

80

Рассказ для альманаха... — Было намерение издать журнал «Двадцатые годы». Издание не состоялось.

...Никола — на Посадьях — шутка Вс. Иванова, вполне возможно, что она вызвана выходом в свет книги рассказов Б. Пильняка с таким названием.

81

...представить тебе Ник. Иванова... — Речь идет о писателе, выступавшем под псевдонимом Николай Анов (1891), с которым Иванов сблизился в трудные годы колчаковского режима в Омске. Иванов стремился помочь Анову перебраться в Москву или Ленинград. О своих отношениях с Вс. Ивановым Н. Анов рассказал в воспоминаниях «Старый друг» (см. «Вс. Иванов» (1, 2) и книгу Анова «На литературных перекрестках». Алма-Ата, 1974).

82

...роман Большакова — «Девятнадцатый»... — Роман К. А. Большакова в «Прибое» не был напечатан.

...об своем романе... — Речь идет о романе «Северо-сталь».

83

Письмо датируется по упоминанию о публикации рассказа в «Красной ниве» из тех, что вошли в состав сборника «Дыхание пустыни». Это может быть лишь рассказ «Зверье», опубликованный в 1926 г., № 45 (начало ноября).

...бухарский рассказик... —«Шестнадцатое наслаждение эмира», опубликован в «Прожекторе», 1927, № 4.

84

Письмо написано на бланке со штампом редакции журнала «Красная новь». На обороте конверта рукой К. А. Федина и за его подписью написано: «Вскрыл и прочел с удовольствием. 5. IX. 1929».

Письмо является ответом на просьбу Михаила Слонимского написать для сборника «Как мы пишем». Сборник очерков по технологии литературного мастерства вышел в 1930 году в издательстве писателей в Ленинграде без участия Вс. Иванова.

...выпустил М. Зощенко... — Произведение советского писателя Михаила Михайловича Зощенко (1895—1958) «Письма к писателю» вышло в 1929 году.

...а я «правым»? — Речь идет об определениях, которые в это время давала Иванову и Слонимскому критика журнала «На литературном посту».

85

Оную книжечку... — Книжка в таком составе не вышла. Издательство писателей в Ленинграде в 1933 году выпустило «Обыкновенные повести» Иванова, куда вошли повести 20-х годов.

86

Твой роман идет с января. — Роман «Крепость» в журнале не был опубликован.

87

Публикуется впервые. Вячеслав Павлович Полонский (настоящая фамилия Гусин; 1886—1932), советский критик и журналист, в 1926—1931 гг. редактировал «Новый мир».

Печатается по оригиналу, хранящемуся в ЦГАЛИ, фонд № 1328, оп. № 1, ед. хр. 157.

...рассказ для Вашего журнала. — Названный здесь рассказ в «Новом мире» не появлялся.

О критиках — пришлю... — На страницах «Нового мира» Иванов о критиках не высказался. Свое отношение к ним опубликовал в ответе на анкету «Что я больше всего ценю» в «Журналисте», 1926, № 4, с. 22.

...Коган о Есенине... — В журнале «Печать и революция» (1926, № 2) была опубликована статья П. Когана «Памяти Есенина», где утверждалось, что муки Есенина — от вечной схватки, в которой находятся «требования общественности и дух, рвущийся к выявлению всех своих творческих сил» (с. 42), что Есенину не было места «в социальном конфликте наших дней» и «вся его жизнь была

ожиданием смерти» (с. 43) и что в его пороках был смысл его жизни, что, наконец, хулиганство Есенина — «озорство простака, запутавшегося в сетях ложной культуры» (с. 44).

88

Письма к М. М. Зощенко — публикуются впервые.

С Михаилом Михайловичем Зощенко Вс. Иванов был связан дружескими узами с весны 1921 года. Отношения поддерживались и после переезда Иванова в Москву. Интерес к творчеству Зощенко Иванов пронес через долгие годы, он высоко ценил его талант, о чем, в частности, свидетельствует поздравительная телеграмма по случаю шестидесятилетия со дня рождения Зощенко. Но регулярной переписки между ними, по-видимому, не было. В настоящее время известны лишь открытка и телеграмма, которые и печатаются здесь по оригиналам, хранящимся в Рукописном отделе Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом).

Датируются по штемпелю.

...написать для «Красной нови». — В 1928 году в журнале произведения М. Зощенко не появлялись.

...Шкловский ходит наполненный Толстым. — Б. Шкловский в 1928 году выпустил книгу «Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир» (М., «Федерация»), а также опубликовал о Л. Толстом ряд статей в журналах. Занятия Л. Толстым отразились и в книге «О теории прозы», вышедшей в 1929 году (М., «Федерация»).

90

Публикуется впервые.

Петр Иванович Чагин, крупный партийный работник, журналист и критик, один из близких друзей С. Есенина. Вс. Иванов был с ним знаком еще со времен своей дружбы с поэтом. В этот период Чагин — редактор ленинградской «Красной газеты» и ее изданий.

Печатается по оригиналу, хранящемуся в ЦГАЛИ, фонд № 2550, оп. № 1, ед. хр. 27.

91

Письма Владимиру Познеру. — Полностью публикуются впервые. Отдельные фрагменты из писем приводились во французском переводе в предисловии Познера к книге: Ivanov V. Quand j'était un fakir. Paris, 1970.

Владимир Познер, сын политического эмигранта из царской России, в Советской России был лишь ранней юностью. Большую часть жизни провел во Франции. Коммунист, писатель яркого гражданского темперамента, друг Советского Союза, В. Познер — про-

пагандист советской литературы во Франции, переводчик произведений советской поэзии, прозы, драматургии.

Начало переписки с Ивановым было положено В. Познером в 1930 году, когда он начал подготовку сборника ивановских рассказов для французского читателя. Переписка очень скоро стала оживленной, благодаря предполагаемой поездке Иванова во Францию и Италию, а затем и в связи с началом работы в Париже над спектаклем по «Бронепоезду 14-69» в переводе В. Познера. Отношения адресатов очень скоро приобрели характер дружбы. Она оказалась устойчивой, хотя обстоятельства второй мировой войны оторвали их друг от друга на долгие годы. Приезды В. Познера в Советский Союз и поездка Вс. Иванова во Францию в феврале 1961 года восстановили радость их общения друг с другом и оживили переписку.

В письмах Познеру хорошо отразились черты Иванова-книголюба, готового к тому же книгой прийти на помощь собрату по перу, черты Иванова — человека дружелюбного, обязательного и черты Иванова — художника, привыкшего много работать, требовательного к себе, постоянно неудовлетворенного сделанным и постоянно ищущего.

Печатаются по фотокопиям писем, любезно предоставленным В. Познером в распоряжение комиссии по литературному наследию Иванова.

...пишу книгу «Знаменитого факира и дервиша Бен-Али-Бея десять тетрадей его неодобрительной жизни». — Так первоначально назывался роман «Похождения факира».

92

Датируется по упоминанию о том, что роман «Путешествие в страну, которой еще нет» отдельным изданием не вышел.

...я получу «Монголию» Майского. — Речь идет о книге И. М. Майского (1884—1975), будущего академика, «Современная Монголия», Иркутск, 1921.

...с меня Пясецкого... — Полное название книги: П. Я. Пясецкий. Путешествие по Китаю в 1874—1875 (Через Сибирь, Монголию, Восточный, Средний и Северо-Западный Китай). Из дневника члена экспедиции доктора П. Я. Пясецкого. В 2-х тт. СПб., 1880.

93

Посылку получил... — Речь идет о купленном на гонорар костюме для сына Вс. Иванова.

...о процессе Унгерна. — Роман Унгерн-фон-Штенберг — один из соратников Колчака, жесточайший враг большевизма, организатор

поголовных убийств целых деревень на территории Даурии, Монголии во имя восстановления монархии. Был расстрелян по приговору Чрезвычайного революционного трибунала Сибири 15 сентября 1926 года.

В. Познер собирал материал об Унгерне для романа «Le mors aux dents», 1937, в русском переводе «Закусив удила».

94

Письмо датировано В. Познером.

Комедию... из современной московской жизни. — Такого произведения у Вс. Иванова нет. Видимо, замысел трансформировался, ибо персонажи М. Н. Синицын и «друг мой Леон Леоныч Черпаковский» стали героями романа «У». Отрывок из этого романа «Л. Л. Черпаковский на заводе» был опубликован в журнале «Красная нива», 1931, № 33. В романе «У» Л. Л. Черпаковский был позднее превращен в Леона Ионовича Черпанова.

95

...брошюру его об Унгерне... — Речь идет о брошюре Емельяна Михайловича Ярославского (1878—1943) «Барон Роман Унгерн-фон-Штенберг», изданной в Пб. в 1922 году.

96

...сборник составлен удачно. — Сборник не был осуществлен.

97

...ренегат Замятин... — Замятин Евгений Иванович (1884—1937), русский писатель, не принявший советской действительности, в 1932 году уехал за границу.

98

...если мой «Бронепоезд» проедется по Парижу. — В. Познер писал Иванову о постановке «Бронепоезда 14-69» в открывающемся Театре Интернационального действия.

...роман из московской жизни. — Речь идет о романе «У».

101

...Лазурского — два тома. — Видимо, речь идет о книгах «Классификация личностей» и «Очерк науки о характерах».

102

Письмо ошибочно датировано 1932 годом. Нужен 1933 год, ибо оно написано после возвращения из заграничной поездки.

Как Н. Альтман? — Натан Исаевич Альтман (1889—1970), советский художник, много и успешно работавший для театра. В Театре Интернационального действия был художником спектакля «Бронепоезд 14-69».

103

...закончил свою пьесу. — Пьеса «Поле и дорога».

104

Датируется по содержанию.

...книгу о Горьком. — Речь идет о книге В. Познера «Souvenirs sur Gorki». Paris. Les Editeurs Français Réunis. 1957.

105

Я пишу не то роман, не то повесть, не то рассказ. — Вероятно, речь идет о «Вулкане».

107

Год уточнен по содержанию письма. Оно написано явно после посещения Вс. Ивановым Франции в 1961 году.

108

Датируется по упоминанию об отдыхе в Крыму в январе. Это было в январе 1962 года.

...о поездке в Восточную Сибирь... — Речь идет о произведении «Хмель, или Навстречу осенним птицам».

109

Письма к О. С. Нехлюдовой — публикуются впервые. Они относятся к тому периоду, когда Ольга Сергеевна Нехлюдова делала свои первые шаги в литературе. В последующие годы вышло несколько ее книг с повестями и рассказами.

Печатаются по оригиналам, хранящимся в ЦГАЛИ, фонд № 2509, оп. № 1, ед. хр. 40.

...прочел Вашу «Повесть о гадком утенке». — Повесть появилась не в «Новом мире», как предполагал Иванов, а в «Молодой гвардии» (1938, № 7) под названием «Гадкий утенок».

110

...повесть «Ветер меняет вывески». — По всей вероятности, данная повесть не была напечатана.

111

Публикуется впервые, по авторской машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ, фонд № 562, оп. № 1, ед. хр. 578.

...видел в 1920 году... — Здесь ошибка. Иванов, как известно, приехал в Петроград лишь в феврале 1921 года.

...я напишу сценарий «Судья у дверей»... — неосуществленный замысел Иванова.

112

Печатается впервые, год и место отправления установлены по содержанию письма.

Корнелий Люцианович Зелинский (1896—1970), критик и литературовед.

Печатается по оригиналу, хранящемуся в ЦГАЛИ, фонд № 1604, оп. № 1, ед. хр. 600.

...К. Федин пишет роман... — Речь идет о работе над романом «Первые радости».

...свое беллетристическое исследование... — Имеется в виду «Перед восходом солнца», частично напечатанное в журнале «Октябрь» (1943, №№ 6—7, 8—9).

113

Письма Вс. Иванова народному художнику Узбекской ССР Виктору Ивановичу Уфимцеву относятся к периоду с 1943 по 1961 год, но за ними стоят долгие годы дружбы. В одно из свиданий Иванов подарил Уфимцеву том своего «Избранного» с такой дарственной надписью: «Дорогому и старинному другу времен Омска — Ташкента — Москвы Виктору Уфимцеву от всей души — автор Вс. Иванов. 29 апреля 1949 г. Москва».

Знакомство началось в Омске, в 1919 году, продолжалось в Москве. Дальнейшему сближению способствовали встречи в Ташкенте, где Уфимцев жил постоянно, а Иванов в эвакуации с конца 1941 по ноябрь 1942 года. После возвращения Иванова в Москву и началась их переписка, отмеченная неизменным интересом к творческой работе друг друга, чувством глубочайшей приязни и любви, пониманием ценности сделанного каждым.

К сожалению, комиссия по литературному наследству Вс. Иванова не располагает подлинниками писем. Тексты взяты из книги воспоминаний В. Уфимцева «Говоря о себе» («Советский художник»,

М., 1973), где они не всегда приводятся полностью. По этому изданию, с приведенными в нем датами, они печатаются в настоящем томе.

«Лермонтов». — О картине Вс. Иванов написал статью, опубликованную в газете «Литература и искусство» 17 апреля 1943 года. Вошла в наст. том.

...сдавать книгу рассказов в издательство. — В это время Иванов работал над подготовкой сборника «На Бородинском поле. Рассказы 1939—1943 гг.».

Твой казахстанский «Турксибовский» рисунок... — В. И. Уфимцев подарил Иванову два своих этюда о Турксибе. Об одном из них и идет здесь речь.

114

...за материалом для пьесы на Урал. — Замысел пьесы не был осуществлен.

115

...два последних моих романа провалились. Авось выйдет третий. — Речь идет о романах «Проспект Ильича» и «При взятии Берлина». Под «третьим» Иванов, очевидно, подразумевает «Сокровища Александра Македонского», роман, начатый еще в годы войны.

117

Если бы я писал его в Москве... — Письмо написано, вероятно, из Переделкино.

118

Написано на книге Вс. Иванова «Мы идем в Индию» (М., «Советский писатель», 1960).

119

...из Америки Давид Бурлюк. — Давид Давидович Бурлюк (1882—1967), художник и поэт, которого до революции звали «отцом русского футуризма». После Октября эмигрировал за границу, жил в США. В 1956 году приезжал в Москву, встречался с советскими писателями, в том числе и с Ивановым. Открытки, которые он прислал, — репродукции с его произведений.

121

...напиши, брат, «С. М.»... — Что имеет в виду Вс. Иванов, расшифровать не удалось.

122

...чешской переводчице Н. В. ... — Надежда Слабигудова.

«Погоня вдоль песков» — неосуществленный замысел Иванова.

125

Печатается впервые.

Федор Иванович Панферов (1896—1960), советский писатель, прозаик, был в это время редактором журнала «Октябрь».

Письмо написано из путешествия и подсказано встречей с писателем Иваном Петровичем Шуховым (1906—1977) в Алма-Ате, который в то время был членом редколлегии альманаха «Литературный Казахстан».

Печатается по оригиналу, хранящемуся в ЦГАЛИ, фонд № 1128, оп. № 2, ед. хр. 193.

...начало романа Ив. Шухова «Метель». — В «Октябре» это произведение Шухова не появилось. Первоначальный вариант его был напечатан в «Сибирских огнях» (1946, № 1) и в кн.: «Родная земля». Алма-Ата, 1946, под названием «Накануне». В переработанном виде — в журнале «Простор», 1963, № 12.

126

Публикуется впервые.

Всеволод Витальевич Вишневский (1900—1951), советский драматург, в это время был главным редактором журнала «Знамя».

Речь идет о произведении свердловской писательницы Ольги Ивановны Марковой (1908 г. р.).

Печатается по оригиналу, хранящемуся в ЦГАЛИ, фонд № 1038, оп. № 1, ед. хр. 2816.

...роман «Вечная в детях своих». — Произведения с таким названием у О. И. Марковой в печати не появлялось. Видимо, речь идет о повести, которая называлась «Семья», а затем «Улица Сталеваров». Впервые была опубликована в журнале «Сибирские огни», 1949, №№ 3, 4.

...ее повесть о ремесленниках... — Речь идет о повести «Разрешите войти!», выпущенной Свердлгизом в 1947 году.

127

Публикуется впервые.

С писательницей Лидией Николаевной Сейфуллиной (1889—1954) Вс. Иванова связывали многолетние дружеские отношения, завязавшиеся с момента, когда и Сейфуллина (в 1923 г.) и Вс. Иванов (в 1924 г.) обосновались в Москве.

Во время войны у Иванова сгорела в Переделкине дача, и он в 1943 году одно время жил на даче Сейфуллиной.

Сейфуллина не оставила развернутых воспоминаний о Вс. Иванове, хотя в ее очерке «Человек» есть страницы, ему посвященные (см.: Л. Н. Сейфуллина. Собр. соч., т. 4, с. 163).

Вс. Иванов выразил свое отношение к личности и творчеству Сейфуллиной в данном письме.

Печатается по оригиналу, хранящемуся в фонде Л. Н. Сейфуллиной в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

128

Публикуется впервые.

Анатолий Константинович Котов (1909—1956) был в то время директором Государственного издательства художественной литературы.

Печатается по оригиналу, хранящемуся в ЦГАЛИ, фонд № 1460, оп. № 1, ед. хр. 115.

129

Печатается впервые.

Валентин Михайлович Филатов, журналист, которому было поручено семипалатинской газетой сопровождать Вс. Иванова в путешествии по Иртышу в 1948 году. После путешествия между Филатовым и Ивановым завязалась переписка. Публикуется одно из первых писем по оригиналу, хранящемуся у В. М. Филатова.

130

Письма Б. Л. Пастернаку — публикуются впервые.

С Борисом Леонидовичем Пастернаком (1890—1960), советским поэтом, Вс. Иванов познакомился в 1923 году. Знакомство впоследствии переросло в дружбу, скрепленную сердечностью отношений между семьями Иванова и Пастернака.

Будучи в течение многих лет в Переделкине соседом Пастернака и имея возможность непосредственно общаться с ним, Иванов писем ему не писал. Его немногие записки приглашают к встрече. Здесь воспроизводится одна из них с приглашением на семейное торжество.

Другая записка Иванова по случаю дня рождения Б. Л. Пастернака адресована в клинику, где в это время находился поэт.

Печатаются по оригиналу, хранящемуся в архиве Б. Л. Пастернака.

Датируется по содержанию.

...получил диплом — Вячеслав Всеволодович Иванов окончил филологический факультет Московского Государственного университета в 1951 году.

131

...обдумавши новый роман... — Иванов имеет в виду не какой-либо конкретный роман, а употребляет слово «роман» как синоним нового большого творческого замысла.

132

А. А. Суркову — печатается впервые. Алексей Александрович Сурков, советский поэт, секретарь правления Союза советских писателей.

Печатается по оригиналу, хранящемуся в архиве Вс. Иванова.

133

Впервые «Русская литература», 1973, № 2, с. 188 (З. И. Власова. Из архива О. Д. Форш). Письмо связано с 80-летием писательницы.

Печатается по оригиналу, хранящемуся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в фонде О. Д. Форш.

«Сумасшедший корабль» — книга 1931 года, в которой есть картина литературной жизни Петрограда первых лет революции.

...роман о декабристах... — роман «Первенцы свободы» (1953).

...и драматург. — О. Форш написаны пьесы: «Смерть Коперника», «Равви», «Сто двадцать вторая», «Князь Владимир», «Рождение Руси», «Камо», «Живая вода».

134

Печатается впервые. Датируется по содержанию: Иванов поздравляет адресата с сорокалетием Октября.

Печатается по авторской машинописи, хранящейся в архиве писателя.

За посылку стихов П. Драверта... — П. Л. Драверт, поэт, сотрудничал в сибирских журналах и газетах.

Журнал «Багульник» редактировал не критик Чужак, а поэт В. Пруссак... — Иванов здесь не совсем точен. Редактором-издателем этого литературно-общественного и сатирического журнала, выходившего в 1916—1917 гг. в Иркутске, была А. И. Миталь. В числе игравших ведущую роль был и В. Пруссак и Н. Насимович-Чужак, публицист, литературный критик и политический деятель.

...В. Пруссак... умер... не то в 1919, не то в 1920 году. — В. Пруссак умер в 1918 году.

135

Публикуется впервые. С Мухтаром Омархановичем Ауэзовым Иванова связывали многолетние приятельские отношения. См. примечания к дневниковой записи от 7 июля 1961 года.

Печатается по авторской машинописи, хранящейся в архиве писателя.

136

Письма В. Г. Никонову — впервые частично были опубликованы в книге В. Г. Никонова «В горах мое сердце», Восточно-Сибирское издательство (1966) и в его воспоминаниях «Письма в Сибирь» — «Дальний Восток», 1975, № 6.

Василий Григорьевич Никонов — читинский писатель. К его литературной судьбе Иванов проявлял живейший интерес и участие, охотно читал его произведения с карандашом в руках, писал отзывы о них, содействовал их появлению в печати. Это отразилось и в письмах. Вместе с тем в них запечатлены некоторые важные страницы творческой биографии самого Иванова.

Очень сблизили Вс. Иванова с Никоновым и другими читинскими писателями совместные путешествия.

Переписка Иванова с Никоновым была обильной. Иванов написал более 50 писем. Недаром он шутил, говоря, что если издательство захочет печатать эту переписку, у него на это не хватит бумаги.

Для настоящего тома отобраны письма, представляющие общественный интерес. Печатаются по фотокопиям, любезно предоставленным В. Г. Никоновым в Комиссию по литературному наследию Вс. Иванова.

Где Петряев? — Евгений Дмитриевич Петряев (1913 г. р.), литературовед, очеркист, исследователь культуры старого Забайкалья.

137

...позволили печатать «Забайкалье». — Речь идет об альманахе, изданном в Чите.

...новую свою книгу «В тисках Джугдыра». — Григорий Анисимович Федосеев (1899—1968) до 1957 года работал инженером-геодезистом, руководил экспедициями по составлению карт малоисследованных районов на Кольском полуострове, в Закавказье, Сибири и на Дальнем Востоке. Из этих путешествий вырастали его книги, в том числе «В тисках Джугдыра». Вс. Иванов сам писал о повести Федосеева «Мы идем по Восточному Саяну». См. кн.: «Держать руку на пульсе жизни». М., 1958 («Рука художника»).

...как сказал Бен-Акиба. — Равви Бен-Акиба, персонаж из трагедии Карла Гуцкова (1811—1878) «Уриель Акоста».

Привет Гоше... — Речь идет о Граубине Г. Р.

138

...приветствие Балданжабону. — Жамьян Балданович Балданжабон (1909—1967) — один из зачинателей бурятской литературы, в то время жил в Агинске.

140

Письмо может быть датировано концом февраля — началом марта 1960 года по упоминанию о совместном юбилее Вс. Вяч. Иванова и Т. В. Ивановой, праздновавшемся в феврале 1960 года.

Не удивляйтесь рисункам наверху. — В верхней части листа отпечатаны с клише рисованные портреты Тамары Владимировны и Всеволода Вячеславовича. Последний носит иронически шутливый характер.

141

Антон Вам кланяется. — Внук Вс. Иванова от дочери, Татьяны.

Давид — Давид Александрович Дубинский (1921—1960), художник, член-корреспондент Академии художеств; муж дочери, Татьяны Всеволодовны.

142

...новую книгу В. Шкловского... — Речь идет о книге «Художественная проза. Размышления и разборы» (М., «Советский писатель», 1961). Иванов имеет в виду строки: «У Всеволода Иванова тогда была молодая, еще никогда не бритая, рыжая, очень жидкая борода» (с. 608).

144

...не послали повесть мне? — Речь идет о повести «Шалый плес», отвергнутой Восточно-Сибирским издательством.

...книга стихов М. Цветаевой и книга Б. Пастернака. — Имеется в виду: М. Цветаева. Избранное (1961); Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы (М., 1961).

Речкину! Шелесту! Лаврову! — Названы сибирские писатели, с которыми Иванов общался в поздние годы жизни. Г. Шелест — псевдоним Георгия Ивановича Малых (1903—1963); его лучшие рассказы и повести были посвящены героике гражданской войны в Сибири. Последние годы жизни жил в Чите. Илья Михайлович Лавров (1917 г. р.), прозаик, живет в Новосибирске. Речкин-Ручкин, бывший начальник автодороги Улан-Уде — Забайкалье.

145

У Охлопкова идет превосходный спектакль «Медея»... — «Медея» Еврипида была поставлена режиссером Н. П. Охлопковым в театре им. Вл. Маяковского в 1961 году.

146

...Прочтя Вашу повесть... — «Шалый плес» был послан Иванову. Об этом сам Никонов вспоминает: сначала сделал из повести сценарий, дважды его переписал, затем снова превратил в повесть с учетом прежних промахов. «В таком виде повесть и попала к Иванову». В. Никонов. Письма в Сибирь. — «Дальний Восток», 1975, № 6, с. 135.

В «Нашем современнике» повесть не появилась, была напечатана в журнале «Урал», 1963, № 2.

Сдал в «Молодую гвардию»... — Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1963 году.

...переводится на четыре языка. — «Хмель» был опубликован в журнале «Советская литература» (1962, № 10), выходящем на иностранных языках.

147

...статью в «Лит[ературной] газете»... — 10 июля 1962 года опубликована статья Гелия Ковалевича «Хмель жизни».

Прямо — Вершигора... — Имеется в виду Герой Советского Союза Петр Петрович Вершигора (1905—1963), автор книг о партизанах, действовавших против фашистских захватчиков («Люди с чистой совестью» и др.).

149

...выйдет к Октябрю. — Постановка была осуществлена И. М. Раевским (1900—1972), который рассказал о работе МХАТа над «Бронепоездом» в своих воспоминаниях. См. кн.: «Вс. Иванов» (2), с. 158—160.

...вместе с режиссером фильма... — Постановку фильма должен был осуществить Файнциммер Александр Михайлович, с 1954 года заслуженный деятель искусств Литовской ССР. Тогда фильм не был поставлен.

150

Публикуется впервые по авторской машинописи, хранящейся в архиве писателя. Письмо не датировано, и установить время написания не удалось.

151

Впервые частично опубликовано в книге М Минокина «Путь Вс. Иванова к роману» (Орел, 1966) и в воспоминаниях «Письма и беседы, которые нельзя забыть» в кн.: «Вс. Иванов» (1). Сопроводительная записка к рукописи романа «У», подаренной автором Михаилу Васильевичу Минокину, литературоведу, доктору филологических наук, исследователю его творчества. Она носит характер «примечаний», которые сопровождали копии рукописей романов «У» и «Проспект Ильича».

Печатается по оригиналу, хранящемуся у М. В. Минокина.

...и я не закончил романа. — Очевидно, писатель не считал работу над романом полностью законченной потому, что хотел еще раз вернуться к нему. Но в архиве писателя хранится беловая авторская машинопись романа, написанного от первой до последней строчки.

152

Впервые частично опубликовано в статье М. Минокина «Письма и беседы, которые нельзя забыть» в кн.: «Вс. Иванов» (1), где М. Минокин рассказал о своем знакомстве с писателем и привел фрагменты из его писем.

Данное письмо написано после знакомства Иванова с рукописью Минокина «Драматургия Вс. Иванова».

Печатается по оригиналу, хранящемуся у М. Минокина.

...пишет Горчаков... — Речь идет о книге Н. Горчакова «Режиссерские уроки К. С. Станиславского».

153

Печатается впервые.

Иванов ценил журнал. В 1947 году к 25-летию «Сибирских огней» он написал статью-приветствие «Любимый журнал сибиряков» («Сибирские огни», 1947, № 1).

Печатается по авторской машинописи, хранящейся в архиве писателя.

...о последней части «Похождений факира». — Она была написана в 1959 году.

Новый роман о современной Сибири... — Речь идет о романе «Поборение Сибири». О работе над ним Вс. Иванов рассказал, отвечая на анкету — «Что читать», 1958, № 9.

Статья, о которой Вы пишете... — «Рука художника» напечатана 24 сентября 1958 года, № 72.

154

Публикуется впервые по авторской машинописи, хранящейся в архиве писателя.

155

Публикуется впервые по авторской машинописи, хранящейся в архиве писателя.

«Первый горизонт». — Этот роман Николая Павловича Кузьмина был опубликован в 1960 году в Алма-Ате Казгослитиздатом.

...живет в Казахстане... — Теперь Н. П. Кузьмин живет в Москве.

156

Публикуется впервые по авторской машинописи, хранящейся в архиве писателя.

157

Письма родным — впервые частично опубликованы в статье: Т. В. Иванова. Всеволод Иванов (В дневниках, письмах, воспоминаниях) — «Волга», 1970, № 1. Затем: Т. В. Иванова. Воспоминания, письма и комментарии к ним. — В кн. «Вс. Иванов» (1); Т. В. Иванова. Перелистывая страницы... — В кн. «Вс. Иванов» (2).

Эта часть эпистолярного наследия писателя ярко и полно охарактеризована в названных выше воспоминаниях Т. В. Ивановой. К ним мы и отсылаем читателей настоящего тома.

Письма публикуются по оригиналам, хранящимся в архиве Вс. Иванова.

Первое из писем датируется по штемпелю на конверте.

Брожу по фабрике... — Речь идет о фабрике «Красный перекоп», в прошлом — Большие Мануфактуры. Пребывание в Ярославле связано с работой над романом «Кремль».

Иван Петрович ласковый — И. П. Малютин.

158

Датируется по штемпелю на конверте. Это и следующее письмо написаны из поездки Иванова по Туркмении в составе писательской бригады.

...знаменитый персонаж... — Упомянут Чичиков в известном диалоге с Маниловым («Мертвые души» Гоголя).

160

...года два назад. — В Париже Вс. Иванов был в 1932 году.

Конгресс очень интересный... — Речь идет о Международном конгрессе писателей в защиту культуры, созванном по инициативе группы прогрессивных писателей Франции и представлявшем литературу тридцати пяти стран.

...захватил Киршон. — Упоминание имени советского драматурга, члена советской делегации Владимира Михайловича Киршона (1902—1938) здесь метафорично и юмористично.

161

...измучился с пьесой. — Имеется в виду пьеса «Пархоменко». В «Красной нови» не появлялась. Была опубликована отдельным изданием в 1941 году.

...книжка моих статей. — Речь идет о сборнике публицистических статей Иванова «Мое отечество», «Советский писатель», 1941.

...приехала Дуня — домработница семьи Ивановых.

162

...посетил ее во Львове. — Вс. Иванов был во Львове осенью 1939 года.

Исправляю роман... — Имеется в виду роман «Проспект Ильича».

163

...племянницы Маруси... — Маруся — Мария Григорьевна Трунина, няня, прожила в доме Ивановых 35 лет.

...поеду до Мордвесса... — станция, откуда надо добираться до Мартемьянова, деревни няни.

Изредка приходит А. Крученых. — Алексей Елисеевич Крученых, в прошлом поэт-футурист, в последующие годы занимался литературно-музейной работой, собирал рукописи советских писателей.

164

Вчера же пришел П. Л. Жаткин... — Петр Лазаревич Жаткин, писатель (1894—1968), был знаком с Ивановым с 1923 года. См. его воспоминания «Плюсквамперфектум» («Вс. Иванов» (2), с. 102—117). В 1941—1942 годах около восьми месяцев провел в тылу врага, на Смоленщине.

...проф. Шемякину, Бриньзе... — Михаил Федорович Шемякин, художник; Бриньзя — шутливое прозвище писателя Василия Георгиевича Радыша, данное сыном Иванова, Мишей.

165

Был сегодня И. Минц. — И. И. Минц (1896 г. р.), советский историк, в то время член-корреспондент АН СССР (впоследствии академик), участвовал в создании «Истории гражданской войны СССР».

Завтра уезжает Познанская... — В. С. Познанская, лауреат Государственной премии за заслуги в области производства кокса. Иванов посвятил ей статью «Человек славы» («Правда», 1942, 21 марта).

...две брошюры Хлебникова... — См. комментарий к письму 166.

166

...письмо Пиксанову... — Пиксанов Николай Кириакович (1878—1969), профессор, литературовед, член-корреспондент Академии наук СССР. «Литературное наследство», о котором идет речь, посвящено Лермонтову.

Обязательно захвати рукописи мои, Хлебникова... — В архиве Вс. Иванова до сих пор хранятся рукописи В. Хлебникова, которыми писатель очень дорожил. Среди них «Труба Гуль-мулль. Основной закон времени», «Проверенный список уравнений солнцу», от руки написанные целые брошюры «Царапины по небу», «Ритмы человечества» и др. произведения.

...американцы, по примеру Дарлана... — Речь идет об одном эпизоде второй мировой войны. Готовя вторжение в Северную Африку, американцы стремились расколоть французское правительство Виши, сотрудничавшее с гитлеровцами, и преуспели в этом. В частности, адмирал Дарлан, главнокомандующий вооруженными силами Виши, дал им приказ прекратить сопротивление англичанам и американцам в Северной Африке.

167

Датируется по содержанию.

...валенки (Бобкины). — Бобка — сын Николая Владимировича и Марины Ивановны Михаловских.

168

Датируется по содержанию.

...и Юговы... — Писатель Алексей Кузьмич Югов (1902 г. р.) с семьей в это время жил в квартире Иванова.

...об учителе Балабае. — См. дневниковую запись от 27 декабря 1942 года.

170

...на эту открытку. — На открытке изображен намаз на Регистане в Самарканде, о чем свидетельствует надпись на русском и арабском языках.

171

Затем появился Петро Панч... — П. Панч — псевдоним украинского советского писателя Петра Иосифовича Панченко (1891 г. р.). Среди его произведений есть книга об Александре Пархоменко.

172

...через Нину Петровну... — Н. П. Гусева.

...звонили к Романченко. — Начальник учреждения, выдающего пропуска на въезд и на выезд из Москвы.

...еще статью в «Гудок». — Речь идет о статье «Партизаны-железнодорожники из отряда генерала Орленко» («Гудок», 1943, 13 января).

173

...все время орет на бабушку? — Борис Иванович Сыромятников, доктор юридических наук, отчим Т. В. Ивановой.

175

Миша Левин работает... — Михаил Львович Левин, друг семьи, ныне доктор физических наук.

176

Е. В. П-ву. — Расшифровывается так: Ее Высокому Превосходительству.

...понравилась речь Уоллеса... — Здесь шутка, но Иванов имеет в виду следующий факт. Заместитель государственного секретаря США Уэллес на вечере в колледже для негров штата Северная Каролина в Дэрхеме выступил с речью, где сказал: «Нужно устранить всякую необходимость для существования проклятого термина «расовое или религиозное меньшинство» («Правда», 1943, 2 июня).

177

Лев Исаевич Славин... — В период Великой Отечественной войны Л. И. Славин — военный корреспондент. О встречах с Ивановым в этот период рассказал в своих воспоминаниях «Три восхищения Всеволода Иванова» («Вс. Иванов» (2), с. 182—189).

178

...встретил Трегуба. — С. Трегуб, советский критик и литературовед.

180

...просил режиссера Райзмана. — Райзман Юлий Яковлевич (1903 г. р.), советский режиссер и драматург. Во время войны создал полнометражный документальный фильм «Берлин».

181

...вестью о смерти К. Тренева — Константин Андреевич Тренев, советский драматург, умер 19 мая 1945 года, 69 лет.

182

Кирсанов. — Семен Исаакович Кирсанов (1905—1972), советский поэт.

184

«Главный инженер» и мука с ним... — пьеса, которая была принята к постановке МХАТом, но постановка не состоялась.

186

Письмо не датировано. Может быть отнесено к концу 1949 года по упоминанию о предстоящем 1950 годе.

...переписывать пьесу. — Иванов работает над пьесой «Ломоносов».

...экз[емпляр] для Кроля! — Кроль — литературный сотрудник журнала «Огонек».

189

Датировано Т. В. Ивановой.

...Пиквик причиняет... — собака породы курухар, жившая в доме Ивановых.

Интересно, что будет с «Ломоносовым»... — См. прим. на с. 714.

190

Снегин... оказался в Москве. — Д. Снегин — псевдоним Дмитрия Федоровича Поцелуева, писатель, прозаик, живет в Алма-Ате, был спутником Вс. Иванова в некоторых его поездках по Казахстану.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. В. ИВАНОВА, ВХОДЯЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ[1]

[1] В указателе полужирным шрифтом обозначен том, обычным — страницы текста, курсивом — примечания.

СОДЕРЖАНИЕ

Иванов В.

И20 Собрание сочинений. В 8-ми томах. Т. 8. Хмель, или Навстречу осенним птицам. Статьи и выступления. Воспоминания. Из дневников и заметок разных лет. Письма. Изд. осуществляется под ред. Т. В. Ивановой, А. И. Пузикова, С. В. Сартакова. Сост. Т. В. Ивановой. Коммент. Л. Гладковской. М., «Худож. лит.», 1978.

783 с.

В восьмой том Собрания сочинений Вс. Иванова вошли одно из последних произведений писателя —«Хмель, или Навстречу осенним птицам», статьи, выступления, воспоминания, дневниковые записи и литературные заметки разных лет, письма.

И $\frac{70302\text{-}398}{028(01)\text{-}78}$ **подписное** **Р2**

ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИВАНОВ

Собрание сочинений

Том 8

Редактор *Т. Аверьянова*

Художественный редактор *В. Горячев*

Технические редакторы *В. Кулагина* и *Л. Синицина*

Корректор *З. Тихонова*

ИБ № 467

Сдано в набор 12.04.77. Подписано к печати 8.02.78. А00914. Бумага тип. № 1. Формат 84×108[1]/32. Литературная гарнитура. Высокая печать. 41,16 усл. печ. л. 40,814 уч.-изд. л. Заказ № 1220. Тираж 100 000 экз. Цена 3 р. 10 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская, 26